

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Филипп Филиппович  
ВИГЕЛЬ

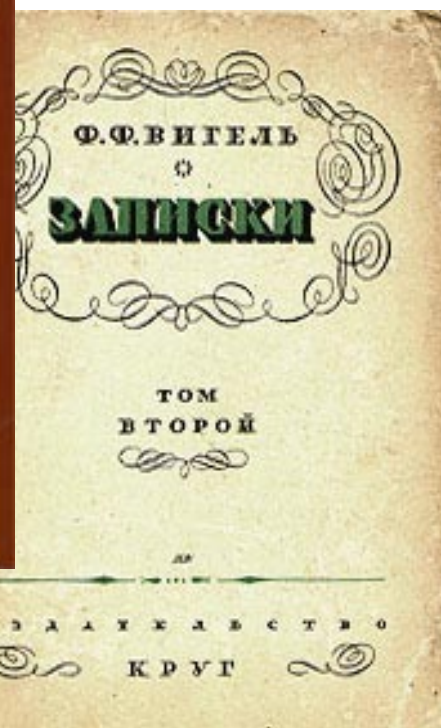
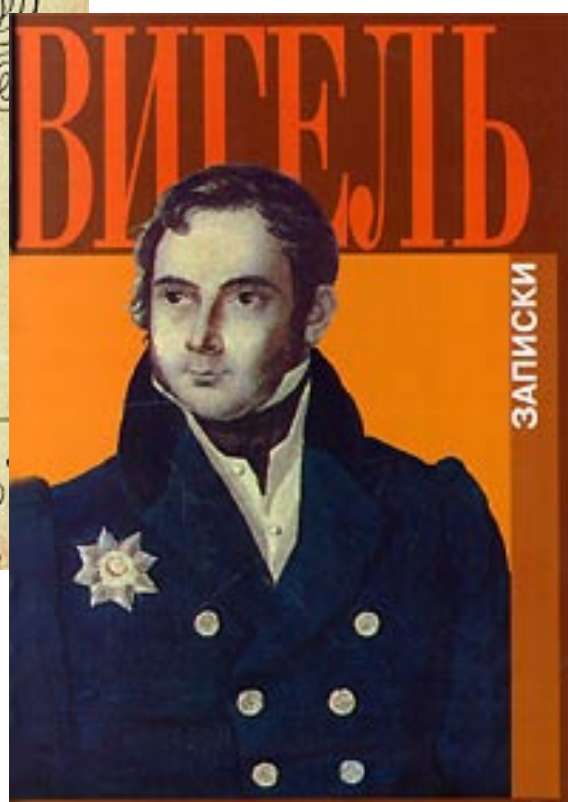
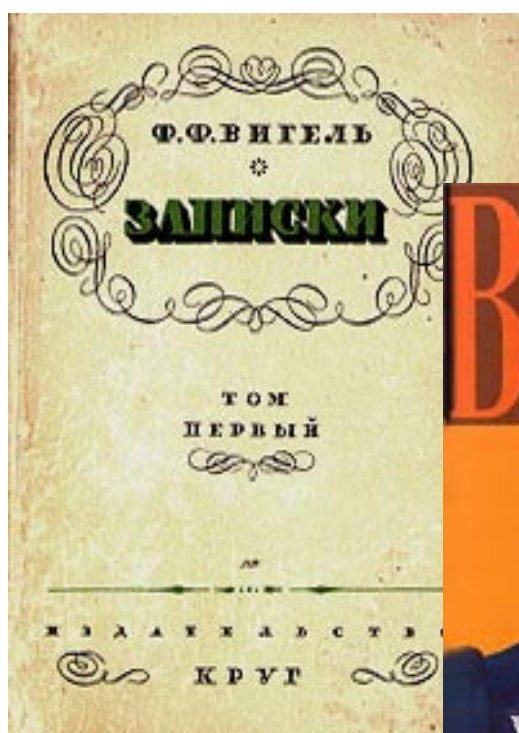
ЗАПИСКИ



ImWerdenVerlag  
München 2005

## СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.....	3
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.....	56
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.....	121
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ .....	172
ЧАСТЬ ПЯТАЯ .....	206
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ.....	241
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ .....	297



© Текст соответствует изданию Ф. Ф. Вигель «Записки»  
(под редакцией С. Я. Штрайха). Захаров, М.: 2000

© Оцифровка и вычитка — Константин Дегтярев

Впервые в интернете опубликовано на сайте «Российский мемуарий»

© «Im Werden Verlag». Некоммерческое электронное издание. 2005

<http://imwerden.de>

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В наше время появилось бесчисленное множество исторических записок; ими наводнен Запад Европы. Иные из них мало занимательны, другие мало правдивы; но все могут, для будущих историков, быть более или менее полезны. Сии источники, иногда весьма мутные, быв собраны, пропущены сквозь беспристрастную критику, очищены вкусом и гением, могут составить величественный, ясный поток, коим Карамзины грядущих времен будут напоять любопытную жажду к познаниям, более и более увеличивающуюся в моем отечестве.

Давно родилась во мне мысль и желание обратиться в один из сих источников, продлить к концу приближающееся, тленное и малозначительное бытие мое, превратить его в существование столь же неизвестное, невидимое, в журчание неслышимое, с надеждою случайно брызнуть когда-нибудь из мрака и земли и быть замечену каким-нибудь великим мужем, который удостоит приобщить меня к своему бессмертию или, по крайней мере, долговечию.

Обстоятельства, не благоприятствующие намерению моему, препятствовали мне доселе приводить его в исполнение. Они не переменились, но я решился вопреки им приступить к труду сему, столь заманчивому, быть может, бесполезному для других, но для меня уже тем полезному, что доставляет мне занятие на весь остаток дней моих.

По большей части исторические записки составляются государственными людьми, полководцами, любимцами царей, одним словом, действующими лицами, которые, описывая происшествия, на кои они имели влияние и в коих сами участвовали, открывают потомству важные тайны, едва угадываемые современниками: их записки — главнейшие источники для истории. Но если сим актерам ведомо все закулисное, то между зрителями разве не может быть таких, коих замечания пригодились бы также потомству? Им одним могут быть известны толки и суждения партера; прислушиваясь к ним внимательным ухом, они в то же время могут зорким оком проникать в самую глубину сцены, и если они хоть сколько-нибудь одарены умом наблюдательным и счастливою памятью, то сколько любопытного и неизвестного могут сообщить они своим потомкам!

От самого рождения природой и фортуной быв осужден, по мнению моему, более чем на ничтожество, во всем получив от судьбы посредственность в удел, я, однако же, беседовал много с мудрейшими из моих соотечественников, был в самых близких сношениях с просвещеннейшими из них; глупцы и невежды мне также вовсе не были чужды: я долго жил посреди их и в мыслях часто мерил пространство, тех и других отделяющее. Я не убегал также от нищеты и не отказывался от знакомства с богатыми: от знатного до простолюдина, все состояния мне были известны. Пространнейшее государство в мире проезжал я от Востока до Запада и от Юга до Севера и был вне пределов его; его блестящие столицы и отдаленнейшие от них провинции, непроходимые леса Сибири и безлюдные степи Новороссийского края мне равно знакомы. Я пил воды Селенги и Сены и от вершины Хамар-Дабана странствовал до Содомы Нового Завета [т. е. от Забайкалья до Парижа], который посетил я после падения минутной великой империи.

Я родился при Екатерине, записан в службу при Павле, действительно и деятельно продолжал оную при Александре и оканчиваю ее при Николае. Еще в младенческом возрасте все

окружавшее меня сильно возбуждало во мне внимание и любопытство, все врезывалось мне в память и все в ней сохранилось.

Пока еще лета не лишили меня сей способности, желаю я внукам моих соотечественников, за неимением собственных, завещать повесть о разнообразных предметах, встреченных мною на длинном пути не совсем обыкновенной жизни.

О себе буду говорить мало: скромность не позволит мне хвалиться добрыми, но весьма обыкновенными свойствами, которые едва могут служить перевесом бесчисленным недостаткам или даже порокам; а стыд, который еще знали в наше время, не допустит меня открывать последних. Не имея великой славы Жан-Жака Руссо, не имею и прав на бесстыдство его.

В описываемом мною я буду ничто: я буду только рама или, лучше сказать, маляр, вставляющий в нее попеременно картины и портреты и многообразием их старающийся заменить недостаток в искусстве живописном.

Младший из всего многочисленного своего семейства, он (отец автора) родился 12 июня 1740 года; не знаю, когда поступил он в кадетский корпус, но знаю только, что в последний год царствования Елисаветы Петровны был уже он в нем прапорщиком и преподавал науки кадетам, из коих многие были ему ровесниками.

Немецкое происхождение и совершенное знание фронтовой службы ввели его в особенную милость к наследнику престола. Сделавшись императором, Петр III уравнивал кадетских офицеров с гвардейскими и, щедрый на награды, как сын и внук, в продолжение шестимесячного царствования своего, произвел отца моего в подпоручики, в поручики и в капитан-поручики. Приближался Петров день, царские именины, и барон Унгерн-Штернберг, генерал-адъютант и двоюродный дядя моего отца, объявил именем государя, что в сей день он будет пожалован флигель-адъютантом. Можно посудить о радости двадцатидвухлетнего юноши; он из Ораниенбаума поскакал в Петербург, чтобы закупить все нужное к обмундировке. Но прежде 29 июня было 28-е. В этот день, проходя утром чрез Исаакиевскую площадь и ничего не ведая, он был схвачен и посажен под караул: Екатерина вступила на престол.

«Тогда попали в честь Орловы», а отец мой, подобно деду Пушкина, — «в крепость, в карантин». Но он не долго в нем оставался, не более двух недель; его выпустили и, не бывши в числе крупных любимцев, он скоро исчез в толпе и возвратился к своим корпусным занятиям.

С величайшим любопытством прислушивался я в ребячестве к рассказам покойного отца о благодетеле его, Петре III. Он не хвалил его наружности, об уме слова не было; но зато с восторгом говаривал он о душевной его доброте и беспримерной снисходительности к окружающим.

Я рос в Киеве, никогда не видал царей и представлял их себе хотя и людьми, нам подобными, но имеющими еще более важности и величия, чем сам митрополит. Оттого бывал я в крайнем изумлении, когда слышал об огромнейшей чаше с пуншем, о целой горе курительного табаку и о десятках трубок, находившихся по вечерам в приемной у императора, который расхаживал, балагурил, и если не приневоливал, то усердно приглашал всех этим потешаться. Мне это казалось слишком милостиво.

Около тридцати пяти лет служил мой отец Екатерине Второй верой и правдой, всегда с благоговением произносил ее имя, никогда не позволял себе осуждать ее слабостей (о том у нас в доме и помину не было), но зато никогда и не удавалось мне слышать от него тех заслуженных похвал, коими все ее превозносили. С растроганным видом говаривал он о ее наследнике: по уверению его (а ему верить было можно) и многих других, Павел Петрович был в детстве прекраснейший ребенок и между тем чрезвычайно похож на отца своего, который, однако же, был ни хорош, ни дурен.

В 1764 году отец мой, после долгой разлуки, посетил слепого и умирающего своего отца, принял его благословение и последний вздох (но наследства никакого) и, возвратись в Петербург, был выпущен в армию с чином премьер-майора и определен в генеральный штаб.

Отец мой охотно посещал Пензу: он свел там дружбу с воеводою, Андреем Алексеевичем Всеволожским; отличавшимся некоторою образованностью, кротким нравом и приятным обхождением.

Некогда слобода, а со времен царствования Алексея Михайловича — провинциальный город, Пенза состояла тогда из десятка не весьма больших деревянных господских хором и нескольких сотен обывательских домиков, из коих многие были крыты соломой и имели плетневые заборы. Соборная каменная церковь, которая величиною едва ли превосходила многие сельские храмы, с тех пор построенные, и несколько каменных и деревянных небольших приходских церквей служили единственным ей украшением. Чтобы судить о неприхотливости тогдашнего образа жизни пензенских дворян, надобно знать, что ни у одного из них не было фаянсовой посуды, у всех подавали глиняную, муравленую (зато человек хотя несколько достаточный не садился за стол без двадцати четырех блюд, похлебок, студеней, взваров, пирожных). У одного только Михаила Ильича Мартынова, владельца тысячи душ, более других гостеприимного и роскошного, было с полдюжины серебряных ложек; их клали пред почетными гостями, а другие должны были довольствоваться оловянными. Многочисленная дворня, псарня и конюшня поглощали тогда все доходы с господских имений.

По случаю рождения первого внука Екатерины, столь славного Александра Павловича, было во всей армии большое производство по старшинству. В сие производство попал и отец мой: он пожалован полковником в Нарвский карабинерный полк, сверх комплекта. Тогда полковник был и чин, и место; название полковых командиров не было употребляемо, а полковники, не имеющие полков, были приписываемы к ним сверх комплекта и могли к ним почти и не являться и жить где угодно, в ожидании назначения. И потому-то отец мой возвратился опять в свое поместье.

Недолго, однако же, мог он подышать свободой и заняться хозяйством: ему скоро дали Алексопольский пехотный полк, который был расположен на берегах Днепра, во вновь занятых тогда степях Новороссийского края.

Начали строить Херсон.

Явился сам Потемкин. В младенчестве моем я так много слышал о сем гиганте, столь внезапно свалившемся тогда во гроб, что мне невозможно, хотя вкратце, не изобразить его.

Невиданную еще дотоле в вельможе силу свою он никогда не употреблял во зло. Он был вовсе не мстителен, не злопамятен; а его все боялись. Он был отважен, властолюбив, иногда ленив до неподвижности, а иногда деятелен до невозможности. Одним словом, в нем видно было все, чем славится русский народ, и все то, чем по справедливости его упрекают; а со всем тем он русскими не был любим. Сие покажется загадкой, а ее можно объяснить весьма естественно. Не одна привязанность к нему императрицы давала ему сие могущество, но полученная им от природы нравственная сила характера и ума ему все покоряла: в нем страшлись не того, что он делает, а того, что может делать. Бранных, ругательных слов, кои многие из начальников себе позволяли с подчиненными, от него никто не слыхивал; в нем совсем не было того, что привыкли мы называть спесью. Но в простом его обхождении было нечто особенно обидное; взор его, все телодвижения, казалось, говорили присутствующим: «вы не стойте моего гнева». Его невзыскательность, снисходительность весьма очевидно проистекали от неистощимого его презрения к людям; а чем можно более оскорбить их самолюбие?

Его рассеянно-прихотливый взгляд в обществах иногда останавливался или, лучше сказать, скользил на приятном лице моей матери. Сего достаточно было, чтобы встревожить совсем не ревнивого, но благородно-самолюбивого отца моего. В один вечер звездоносные шуты тешили светлейшего разговорами о женской красоте; один из них объявил, что он никогда не видал столь прелестной маленькой ножки, как у моей матери. «Неужели? — сказал Потемкин. — Я не заметил. Когда-нибудь приглашу ее к себе и попрошу показать мне без чулка». И не прошло двух дней, как мой отец узнал о сем разговоре. Можно себе вообразить страх и гнев, коим он вскипел; он представлял себе отчаяние супруги, если б ей осмелились сделать

столь обидное предложение. Для предупреждения всяких неприятностей он упросил ее отправиться немедленно в деревню.

Несколько времени спустя после сей домашней тревоги, о коей виновник ее вовсе ничего не знал, прибыл в Херсон Виртембергский принц Фридрих для командования дивизией, в которой находился мой отец. Своенравию, странностям его не было пределов. С таким начальником трудно было ужиться отцу моему; взаимные жалобы их наскучили князю Потемкину, и он решился развести их. В разлуке с женою, с детьми, посреди таких неприятностей, моему отцу самому желательно было отойти с честью.

Он был уже семь лет полковником; ему доставалось в бригадиры, а в сем чине немногим оставляли полки. Потемкин представил его к чину и вместе с тем полк его отдал другому. Сие не совсем было приятно, но делать было нечего: он был, по крайней мере, утешен мыслию близкого свидания с семейством и вскоре потом отправился в Пензу. Возвратившись туда, он недолго дожидался производства: он получил бригадирский чин, но с назначением к определению в обер-комендантскую или комендантскую должность.

Не прошло года но прибытии отца моего в пензенскую деревню свою Симбухино, как я в ней родился среди сельской тишины.

Я был еще на руках кормилицы, когда в жизни моих родителей произошла важная перемена. Вот как сие случилось. Князь Потемкин наконец поссорился с Виртембергским принцем и, так сказать, почти его прогнал. Один из его любимцев, Василий Степанович Попов, с которым отец мой был хорошо знаком, но не имел никаких связей, разговорился об нем с князем и представил как жертву своенравия принца. Потемкин был великодушен, как все люди сильные и умные: он начал с того, что бригадиру, почти в отставке жившему, доставил генерал-майорский чин, а потом чрез г. Попова прислал ему письмо, адресованное на имя тогдашнего статс-секретаря (после канцлера) Безбородки. В сем письме, выражаясь с величайшим участием о своем клиенте, он требовал повелительно, чтоб ему дано было первое вакантное место, согласно с его желанием.

С сим письмом оставалось только отцу моему поскакать в Петербург: с таким талисманом в руке хлопотать ему там было нечего. Безбородко объявил ему, что открываются две вакансии: олонецкого губернатора и киевского обер-коменданта. Он предпочел последнее из сих двух мест, в хорошем климате, почетное, спокойное и законно-прибыльное, ибо доходы с тысячи душ давались на содержание занимавших оное. Сие место было обещано другому, но нельзя было идти против воли Потемкина.

Едва исполнилось мне семь лет, как мне наняли учителя немца, Христиана Ивановича Мута.

Еще до г. Мута учил уже меня русской грамоте по Псалтырю и Часослову наш крепостной, молодой человек Александр Никитин, род дядьки при братьях моих. Разумеется, я редко принимался за книгу, но метода моего русского учителя была прекрасная: сколь бы ни ничтожны были успехи мои в чтении, он всегда дивился чудесной понятливости маленького барина и тем возбуждал меня к новым чудесам. Совсем противное делал г. Мут: часто пожимал он плечами, с состраданием говоря о моей бестолковости; наказывал редко, и то за явные слушания, и как наказывал! Ставил в угол на колени, а иногда бил линейкой.

С детским простодушием человек сей соединял самую чистейшую нравственность. Он имел удивительную память и познания, посредством ее приобретаемые: знал хорошо историю, географию, знал правильно французский язык, но выговаривал на нем Бог знает как. Что сам знал, тому помаленьку учил и меня. Когда я по привычке к нему и начал понимать по-немецки, то разговоры с ним начали для меня становиться занимательнее; мало-помалу начал я даже заимствовать и некоторые из его привычек. Например, он любил собирать гербовые печати со всех пакетов, получаемых отцом моим и кем бы то ни было, он их потом наклеивал на большие листы; мне это понравилось, я скоро начал то же делать и мог узнавать гербы всех известнейших в России фамилий. Хотя он не был ботаник, но собирал разные цветы, травы и растения, клал их по листам, одним словом, составлял гербарий, и у меня до сих пор страсть

к коллекциям. Все, что касается до хронологии достопамятнейших происшествий в мире, до генеалогии знаменитейших домов в Европе, знал он наизусть, и впоследствии по этой части мог бы и я с ним состязаться.

Некоторое время жили мы с ним, так сказать, с глазу на глаз, но скоро одиночество мое прекратилось, и общество мое умножилось несколькими товарищами. Средства воспитания были тогда так скудны, что их родители у моих выпрашивали как милости дозволения детям своим со мной учиться. Их было трое: сыновья артиллерийского генерал-майора Нилуса, гарнизонного майора Яхонтова и штаб-лекаря Яновского. Между ними, как хозяйский сын, брал я натурально первенство; но г. Мут не оказывал мне ни малейшего предпочтения, а иногда в молчании улыбался прилежнейшему. Поутру задавал он нам уроки, которые мы твердили и должны были сказывать ему перед обедом; а он между тем читал про себя что-нибудь из истории и географии с тем, чтобы после обеда в виде повести нам это пересказывать. Таким образом узнал я историю иудеев, ассириян, мидян, персов и греков, но до Рима едва только с ним дошли. Говоря словами Пушкина, мы учились чему-нибудь и как-нибудь.

Сверх того я брал еще другие уроки: софийский кафедральный протоиерей Сигаревич преподавал мне Закон Божий, артиллерийский штык-юнкер Скрипкин учил меня арифметике и геометрии, наукам, в коих, мимоходом сказать, я весьма мало успевал. Один малороссийский виртуоз, которого очень хвалили (кажется, звали его Чернецкий), учил меня играть на фортепиано, а какой-то маляр учил рисовать. Не моя вина, если в обоих сих искусствах я не мастер: нашли, что они бесполезны, и скоро заставили бросить, тогда как к музыке я всегда чувствовал особенную склонность. Старшие братья, выпущенные гораздо после в кавалерийские полки, учили меня ездить верхом, а про танцы еще речь впереди.

Хотя в 1797 году детский возраст мой еще не прошел, но как это был год великих перемен в судьбе целой России, равно как и в моей ребячьей жизни, то им следует заключить здесь главу сию. В сем первом периоде моего существования являлись мне, однако же, некоторые примечательные лица, о коих я ни слова не упомянул, вопреки обещанию, данному самому себе и читателю. И потому прежде всего прошу позволения обратиться к ним и исправить сделанное мною упущение.

Всего памятнее мне одна вельможная дама, которая почти каждый год посещала Киев и коей приезд приводил в движение, можно сказать, в волнение весь дом наш. Это была графиня Александра Васильевна Браницкая, любимая племянница князя Потемкина и жена польского коронного гетмана. Не знаю, где и как познакомилась она с моею матерью; но она ее полюбила, и когда езжала в собственный городок, известный под именем Белой Церкви, находившийся тогда за границей, хотя только в 80 верстах от Киева, то проездом чрез сей город всегда у нас останавливалась и жила по неделе и по две. Потемкина уже не было на свете; но любимица его, принявшая его последний вздох, все еще как будто бы озарялась его славой. Умнейшая из пяти сестер, урожденных Энгельгардтовых, она была их и богаче. Императрица особенно благоволила к ней и, сверх того, ласкала ее как жену довольно сильного польского магната, преданного России. По всем сим причинам знаки уважения, ей оказываемые, были преувеличены, и, чтобы посудить об обычаях тогдашнего времени, чему ныне с трудом поверят, все почетнейшие дамы и даже генеральши подходили к ней к руке; а она, умная, добрая и совсем не гордая женщина, без всякого затруднения и преспокойно ее подавала им. Мать моя смотрела на то без удивления, нимало не осуждала сего, но, вероятно, чувствуя все неприличие такого раболепства, сама от него воздерживалась. Вообще обхождение ее с графиней Браницкой было самое свободное, приятное, и разницу во взаимных их отношениях можно было только заметить из *ты* и *вы*, которые они друг другу говорили.

Могущество Потемкина вызвало из смоленской деревни прекрасных его племянниц, где получили они обыкновенное тогдашнее провинциальное воспитание. Старшая из них, Браницкая, уже неспособна была к принятию блестящей образованности Екатеринына двора. Но, имея ум, характер, бывши в самых тесных, иные говорят, в непозволительных связях со всемогущим своим дядею, она облеклась в какую-то величественность и ею прикрывала

недостатки своего воспитания. Вышедши замуж за человека расточительного, который был вдвое ее старше, в такой век, который нравственностью не отличался, она всю жизнь осталась примером верности супругу, несколько раз спасала его от разорения и бережливостью своею, может быть и скупостью, удвоила огромное его состояние.

Жил-был тогда в Киеве один барин, да еще же и князь, который, кажется, почитал себя выше обыкновенной знати. Фамилия Дашковых происходила от рода князей смоленских, потомство коих, за исключением Вяземских, при польском правительстве утратило княжеское свое достоинство. Князья Дашковы не размножились, как другие княжеские роды, и их имя в русской истории нигде не встречается. Первый и последний блеск дала ему честолюбивая женщина, которая почитала себя рожденною с тем, чтобы располагать судьбою царей (Екатерина Романовна Дашкова, помогавшая Екатерине убрать с престола ее мужа, Петра III). Сын ее, последний в своем роде, был ею воспитан на славу; она возила его с собою по всем иностранным государствам, всему его учила и в Эдинбурге доставила ему диплом на звание доктора прав, богословия и даже медицины. Но учение и самый опыт не дают того, что природа отняла.

Участию матери своей в возведении на престол Екатерины Второй был обязан князь Дашков быстрым повышением в чинах: в двадцать пять лет он командовал уже сибирским гренадерским полком и стоял с ним в Киеве. Тут ему приглянулась одна девочка, дочь облагороженного чинами купца Семена Никифоровича Алферова. По высоким философическим понятиям, которые почерпнул он в своих путешествиях, по примеру английских лордов, коим он старался подражать и кои часто ничтожных тварей, из одной оригинальности, возводят в звание супруг своих, он долго не задумался, взял да и женился, не быв даже серьезно влюблен. Сей брак поссорил его с матерью, разорвал связи его с обществом столиц и заставил его поселиться в Киеве. Он сдал полк; но, по старой памяти к услугам матери, производство для него не остановилось, и он получил чины бригадира и генерал-майора.

Горе ученым глупцам! Для головы их обширные познания то же, что жирная пища для слабого желудка: их беспрестанно несет вздором.

Самолюбивейший из смертных, Дашков полагал, что способен управлять государством, и осужден был скрывать свое величие в низеньком доме самого грязного киевского переулочка. Там собирал он около себя веселых людей, каких мог найти в Киеве, шутов, всякую иностранную сволочь, шумом сего общества старался заглушить страдания своей гордости. Несчастный утешался презрением, которое мог он изливать на всех окружающих его, на жену, на тестя, на всю родню их.

Несмотря на несправедливое пренебрежение, которое он также оказывал как жителям того города, который выбрал он постоянным местопребыванием, так и обычаям их, они сначала приглашали его на все праздники свои, на все вечеринки. Он был красивый, видный мужчина и страстный охотник до танцев, которые тогда были едва ли не более в моде, чем ныне; но он не хотел на вечерах сих ни одну даму, ни одну девицу пригласить, а с начала до конца беспрестанно танцевал с одной своей женой. Как бы не замечая, что есть хозяйева, есть гости, он без церемонии сажал ее к себе на колени и целовал взасос; потом, за что-нибудь поссорившись с ней, при всех начинал ее бить по щекам.

Мои родители застали его уже женатого и сначала, как и все другие, водили с ним знакомство. Досадуя на целый мир, он всех поносил, всех клеветал и тем уже охолодил отца моего. Один вечер, будучи у нас, он за что-то прогневался на жену и дал ей толчка; тогда отец мой ему напомнил, что он не дома, и просил для супружеских исправлений избрать другое место. Он гордо поглядел на него, не сказав ни слова, потом взял под руку битую жену и вышел с нею с тем, чтобы никогда не возвращаться; с тех пор он сделался непримиримым врагом отца моего. Сей пример подействовал на киевлян; наскучив его отвратительными странностями, один за другим перестали к нему ездить и звать его к себе. Несколько лет прожил он потом в шумном своем уединении, среди грубых, отчаянных наслаждений, ни на что не употребляемый, забытый двором и ненавидимый обществом.



Мне необходимо говорить теперь о вельможе, в 1797 г. начальствовавшем в Киеве. Его пребывание в сем городе имело большое влияние на судьбу некоторых членов моего семейства и на мою собственную. В графе Иване Петровиче Салтыкове можно было видеть тип старинного барства, но уже привыкшего к европейскому образу жизни; он любил жить не столько прихотливо, как широко, имел многочисленную, но хорошо одетую прислугу, дорогие экипажи, красивых лошадей, блестящую сбрую; если не всякий, то по крайней мере весьма многие имели право ежедневно садиться за его обильный и вкусный стол. В обхождении его, весьма простом, был всегда заметен навык первенства и начальства; вообще он был ума не высокого, однако же не без способностей и сметливости; он не чужд был даже хитрости, но она в нем так перемешана была с добродушием, что его же за то хвалили. Как воин, он более был известен храбростию, чем искусством.

Семейство его находилось в Петербурге. Для перемены любил он раз или два в неделю проводить вечера у нас, и обыкновенно в сопровождении Алексеева, любимейшего из своих адъютантов.

У этого Алексеева была самая счастливая физиономия, самый счастливый характер; я не знал почти людей, которые бы его не любили, и ни одного, которого бы он не любил.

Умному отцу моему и умной сестре Наталье с самого начала полюбилось в нем что-то такое, что лучше богатства, ума и знатности: прекрасная душа в стройном теле, которая отражалась на свежем, как утро, румяном, красивом лице.

Не прошло месяца после сговора, который был 14 октября 1797 года, как граф Салтыков получил известие, что он переведен военным губернатором в Москву.

Надобно было приготовляться в одно время и к свадьбе, и к разлуке. Среди сих приготовлений отцу моему пришло на мысль отправить меня с зятем и сестрой, коей попечением, несмотря на ее молодость, можно было поручить меня с полною доверенностью.

Свадьбу сыграли мы 20 января 1798 года, а в путь отправились 16 февраля.

Есть чувствования, которые не только другим, но и самому себе объяснить весьма трудно. Первый раз в жизни покидал я все родимое, все мне любезное, священный Киев и благословенное семейство, в котором я родился. Голова моя была полна слышанными рассказами про Москву белокаменную, про ее обширность, ее великолепие, ее сорок сороков церквей. В сем расположении духа, с печалью и радостью вместе, выехал я из Киева.

Москва произвела на меня то действие, которое обыкновенно производят большие столицы на провинциалов, никогда их не видавших, старых ли или малых: я был еще более оглушен ее шумом, чем удивлен огромностью ее зданий. По набожности сестры моей, мы от заставы отправились прямо к Воскресенским воротам помолиться Иверской Богоматери; вокруг часовни, где поставлен ее образ, в двух узких отверстиях, ведущих к Кремлю, беспрестанно кипит народ, ломаются экипажи. Во время молебна мне все казалось, что подле нас идут на приступ.

Квартира, которую дали зятю моему в казенном доме, называемом Тверским или Чернышевским, или домом главнокомандующего, была просторна, довольно красива, а мне показалась даже великолепна. Мы занимали комнат двенадцать в одном из загнутых флигелей внутри двора сказанного дома. Из окошек были видны только высокие палаты, в коих жил начальник Москвы и зятя моего и пред коим наш флигель казался на коленях, да еще не весьма обширный двор, с утра до вечера наполненный каретами, в коих приезжали не к нам с посещениями, а с поклонением к фельдмаршалу и жене его.

Мы жили почти в совершенном уединении: сестра редко делала и принимала визиты. Шум и блеск были вокруг стен наших, а внутри царствовала тишина и молчание. Я начинал сравнивать настоящее положение наше с прошедшим... Тяжело вздохнул я; мне казалось, что наша доля самая низкая в мире. Моральная болезнь, врожденная, хотя и не наследственная, которую ни религия, ни рассудок, ни опыт доселе совершенно излечить не могли, жестокое самолюбие, источник немногих для меня наслаждений и бесчисленных страданий в жизни, сия болезнь в

первый раз открылась во мне с некоторою силою; тогда-то заронились мне в сердце первые семена отвращения от аристократии, впоследствии столь постоянно развивавшиеся.

В Киеве мечтал я о Москве; в Москве только и думал что о Киеве. Но без нас все уже там переменялось. В марте месяце генерал Розенберг (преемник Салтыкова в Киеве) переведен был военным губернатором в Смоленск, а на его место назначен граф Иван Васильевич Гудович. Сей последний не успел еще с Кавказа приехать в Киев, как его перевели в Каменец-Подольск, а на его место назначили... кто бы мог ожидать? того самого князя Дашкова, который жил в Киеве, брошенный всеми. Он находился шефом какого-то полка, был за чем-то вызван в Петербург и там до того полюбился императору, что вдруг получил ленту, чин генерал-лейтенанта и место киевского военного губернатора. Трудно объяснить, что побудило кн. Дашкова говорить царю об отце моем. Павел Первый не задумался, он церемониться не любил: вдруг приказал без всякой другой причины отца моего отставить от службы. Лишить почетного, выгодного места человека, который десять лет занимал его с честью, который в глазах его ничем не провинился и даже был ему угоден, ему казалось делом самым обыкновенным, никакая несправедливость его не утрашала: помазанник Божий, он твердо веровал и свою непогрешимость; во всех жестоких проказах своих видел он волю небес.

В Москве жил я, между тем, в совершенной праздности и скуке, не имел знакомых, не имел книг и нетерпеливо ожидал минуты, когда отдадут меня в какое-нибудь учебное заведение. Но зять мой, по-своему пекшийся о моем благе, полагал, что для меня будет величайшая честь воспитываться вместе с молодым графом, сыном его начальника: у него шли о том negotiations, и оттого медлили решить мою участь. Я знал о его намерении и трепетал от ужаса сделаться наперсником московского дофина. В Киеве естественным образом брал я верх над своими маленькими товарищами, в Москве я ожидать сего не смел; но все-таки не хотелось же находиться в свите сына, как зять мой был при особе отца. В одном равенстве видел я свое спасение.

Моего мнения не спрашивали, и дело было почти полагено. В один вечер пригласили меня, то есть призвали, к знатному моему ровеснику. Я чувствовал, что иду на смотр: московское житье сделало меня робким, застенчивым; но отчаяние дало мне силы, и я вооружился неведомою мне дотоле наглостью. Я нашел графчика одного; я ожидал найти в нем спесь, но он мне показался в смущении, в замешательстве. Притворная смелость моя его ободрила, мы начали говорить вздор и, как водится между мальчиками, через несколько минут коротко познакомились. Я уже умягчался душой, как вдруг показались мои судьи, сперва мусью Моринно, наставник графа, за ним г. Лоран, воспитатель его, и, наконец, сама г-жа Лоран, супруга последнего. Она была вся разряжена и, благосклонно улыбаясь, сказала мне: «Bonjour, mon petit»; не имея понятия о ее интригах, не знаю сам от чего, я весь вспыхнул и готов был в нее вцепиться. С трех сторон посыпались на меня вопросы. Я прескверно говорил по-французски; тут нарочно я коверкал язык, врал и дурачился. Плечи пожимались, уста насмешливо улыбались, и все мне показывало, что я успел в своем намерении. Может быть, я и напрасно приписываю себе успех в сем деле; я не имел довольно ума и искусства, чтобы прикидываться глупым; может быть, я показался бы им неуклюжим и без всяких усилий; но, как бы то ни было, я торжествовал, чувствуя, что мне не выбрали затылок.

Я сказал выше, что у меня в Москве не было знакомых, забыв, что одному нечаянному случаю был я обязан весьма приятным знакомством.

Дом князя Одоевского, коего сделался я частым посетителем, не был шумен, пышен, как другие дома богатых в Москве людей, но он был, однако же, верное изображение тогдашних нравов древней столицы; и описании его вижу я обязанность принятого мною звания рассказчика. В одеянии, поступи, в самом выражении лиц господских людей виден характер господина: там, где беспорядок, они ленивы, неопрятны, оборваны; там, где их содержат в строгости, они одеты довольно чисто, вытянуты в струнку, но торопливы и печальны. Вид спокойствия, довольство, даже тучность домашней прислуги князя Одоевского, почтительно-свободное ее обхождение с хозяевами и гостями, вместе с тем заметный порядок и чистота показывали, что

он отечески управляет домом. Действительно, он был барич, который, по достижении совершеннолетия, долго путешествовал за границей и, возвратись оттуда, сохранил в доме своем обычаи старины, прибавив к ним устройство и опрятность, которые заимствовал он у европейских народов. Из целой Москвы едва ли не у него только была передняя, в которой можно было дышать незагрязненным воздухом.

Он был сухонький старичок, но весьма живой и, как говорят французы, еще зеленый. Мне сказали, что он отставной полковник; а я, признаюсь, сначала принял его за отставного камергера. Он несколько не походил на тех отважных екатерининских полковников, которых прежде я видел в Киеве; несмотря на имя его, я даже не вдруг поверил, что он русский: не знаю, природа ли, или искусство дали ему совершенно французскую наружность, хрустальные ножки и какое-то затруднение в выговоре. Но в доме его все напоминало русское барство, и в нем только он один был аристократ. Различие между сими двумя названиями — аристократией и барством, надеюсь я объяснить в другом месте.

Он не гнался за почестями: в это время бригадирским шитьем или камергерским ключом заключалось обыкновенно поприще честолюбивейших или тщеславнейших из москвичей. Он жил в кругу родных и коротко знакомых, довольствовался их любовью и уважением, наслаждался спокойствием, богатством и воспоминанием молодости, проведенной в Париже, там был он в конце царствования Людовика XV и, в качестве русского принца, был представлен ко двору его. Так очарователен пример старой греховодницы Франции, что добрый и честный князь завел свою мадам де Помпадур (любовница Людовика XVI).

Большая, набожная княгиня редко выходила из внутренних своих покоев. Это было не нужно: как в гостиной, так и в сердце ее супруга место ее занимала молодая дворянка, Анна Васильевна Сабурова, неимущая сирота, не столько ею, сколько мужем ее призренная. Но это еще не все; была в одно и то же время и мадам Дюбарри (вторая любовница Людовика XV). Видно, в это время французские гувернантки занимали везде более одной должности. Мамзель Дюбуа, которая воспитывала двенадцатилетнюю дочь князя Одоевского, была совершенная красавица и до того мила, что во мне... стыдно сказать, родилось сожаление, что я не девочка и что не она моя наставница. Я не могу понять, как согласилась она играть второстепенную роль, тогда как подле девицы Сабуровой казалась она как пышный цвет подле миниатюрного скелета; предпочтение же Анне Васильевне было очевидно.

Несмотря на эти княжеские прихоти, которые у нас в России могли бы войти в пословицу, как за границей баронские фантазии, совершенное согласие царствовало в сем доме. Посетителей в нем видел я весьма мало, молодых ни одного; но зато посетительницами он изобиловал. Большая часть из них были так называемые московские старые девки. В Москве было в старину одно почтенное, трогательное обыкновение: в каждом доме, смотря по состоянию, принималось на жительство некоторое число убогих девиц, преимущественно дворянок; одни старелись в них и даже умирали, других с хорошим приданым выдавали замуж; связи первых с своими благодетельницами от времени становились иногда крепче, чем самые родственные узы. В домах женатых людей положение сих девиц было не совсем безопасно, но у вдов и у незамужних старушек их общества составляли род светских монастырей или, лучше сказать, капитулов, коих они были канониссами. Их жизнь была деятельно-праздная; в доме они кой за чем присматривали, исполняли некоторые комиссии своей хозяйки-аббатисы, раскладывали с ней гранд-пасьянс, посещали иногда подруг своих. Их набожность ограничивалась одними наружными обрядами религии, но они соблюдали их с точностью мелочною; они знали все храмовые праздники, и там, где бывало архиерейское служение, ими наполнялась половина церкви. Так проходила их беспорочная, их бесполезная жизнь.

Целыми стаями слетались эти барышни к своим знакомым у князя Одоевского; бывало, спросишь: кто они такие? Скажут: такая-то живет у княгини Марьи Ивановны, такая-то у княжны Лисаветы Федоровны. Нельзя себе представить их детского добродушия; разговор их был невинный лепет первого возраста. Они меня чрезвычайно любили, осыпали ласками и, будучи сами престрашные лакомки, и меня прикармливали вареньями и пастилой: сладко мне

о них воспоминание! Изредка попадают нынче такого рода женщины, и я всегда встречаю их с сердечным удовольствием. Дому Одоевских останусь я всегда благодарен за приятные минуты, в нем проведенные, хотя, впрочем, меня, свежего мальчика, довольно оригинального, любили там и тешились мною среди единообразной жизни, как забавляются обезьяной, карлицей или попугаем. Князя Одоевского благодарить мне нечего: он, кажется, не любил мой пол, я же был не совсем ребенок, и он всегда на меня косился. Когда после воротился я в Москву уже взрослым мальчиком, то не мог быть принят в его доме, где, видно, наблюдались все строгие правила гаремов.

Мне было весьма трудно уговорить сестру сделать первое посещение княгине Одоевской; с каждым днем она более дичала, но решилась наконец сие сделать, чтобы поблагодарить за оказанные мне ласки. В разговоре о затруднениях, куда бы меня лучше пристроить, была призвана на совет мамзель Дюбуа; она рассыпалась в похвалах пансиону г-жи Форсевиль, своей единоземки. Мне чрезвычайно хотелось учиться в университетском пансионе; но французский язык, коим преимущественно и почти исключительно говорили тогда высшие сословия, был вывескою совершенства воспитания; я на нем объяснялся плохо, а воспитанники университетские не славилась его знанием. Это заметила мамзель Дюбуа, прибавляя, что из рук г-жи Форсевиль молодые люди выходят настоящими французами. Рассуждая, что мне предназначено быть светским и военным человеком, а не ученым и юристом, сестра моя нашла, что действительно лучше отдать меня к французам. Видно, на роду у меня было написано не получить основательного образования.

Исполнение намерения предать меня в руки мадамы замедлилось на несколько дней по случаю тревоги, в которой находилась вся Москва, и особенно свита графа Салтыкова. Ожидали скорого прибытия императора, полки собирались на маневры, и все исполнены были страха, надежд и любопытства. Я стоял с трепетом 10 мая 1798 г. на Тверской, подле дома главнокомандующего, когда Павел Первый в нескольких шагах проехал мимо меня. Он сидел в открытой коляске с своим наследником и с улыбкой кланялся (безобразием его я был столько же поражен, как и красотой Александра). В продолжение шестидневного пребывания своего в Москве он всех изумил своею снисходительностью: щедротами он удивить уже не мог. Войскам объявил совершенное свое удовольствие. Шефа одного полка, который был действительно очень дурен, он наказал только тем, что ничего ему не дал, но не позволил себе сделать ему даже выговора; всех же других завешал орденами, засыпал подарками. Никто не мог постигнуть причины такого необыкновенного благодушия; узнали ее после. Любовь, усмиряющая царя зверей, победила и нашего грозного царя: пылающие взоры известной Анны Петровны Лопухиной<sup>1</sup> растопили тогда его сердце, которое в эту минуту умело только миловать. Графу Салтыкову пожаловал он четыре тысячи душ в Подольской губернии, а всех адъютантов его, в том числе и зятя моего, произвел в следующие чины.

В пансионе, в который наконец отвезли меня, воспитывались дети обою пола, под непосредственным наблюдением содержательницы его. Я ожидал найти в ней другую мамзель Дюбуа; может быть, лет двадцать до нашего знакомства была она и лучше. Тогда она была женщина лет сорока пяти, высокая, полная, белая, которая задыхалась от здоровья, которой щеки алели всегда от удовольствия, когда не багровели от гнева. Она деспотически управляла вверенными ей ребятишками, и мне казалось обидным, что меня ставят на одну с ними ногу, тогда как почти все они были меня моложе. Я, напротив, имел притязания на совершенную свободу, коею пользовался соученик мой Лутовинов, пятнадцати- или шестнадцатилетний дюжий мальчик, который ничему не учился, ничего не делал или, лучше сказать, делал все, что ему было угодно. Если б я был несколько постарее, то, может быть, умел бы присвоить себе равные с ним права; а может быть, и нет, ибо румянец осеннего листа, ветчинная свежесть г-жи Форсевиль мне были вовсе не по вкусу.

---

<sup>1</sup> Любовница Павла, имевшая на него хорошее влияние. Он выдал ее замуж за кн. П. Г. Гагарина, которого в награду за согласие сделал генерал-адъютантом. Гагарин впоследствии (1831) женился на балерине М. И. Спиридоновой.

Был также и мусью Форсевиль; он принадлежал к тому роду незаметных мужей, коих существование поглощается и исчезает в великой знаменитости супруг, как муж г-жи Жоффрен или г-жи Каталани<sup>2</sup>. Заведение находилось под его фирмой, но в нем почти ни во что он не мешался. Он мало выходил из своей каморки, прозванной кабинетом разве только потому, что в ней находился маленький шкаф с двумя дюжинами каких-то книг, прозванный библиотекой. Тут не было ни письменного столика, ни даже чернильницы, а одни станки да пилы, буравы, все принадлежности токарной и столярной работы: все было засорено стружками и опилками, и все обличало присутствие более мастерового, чем грамотного человека. На природном языке говорил он как простолюдин, зато уверял, что весьма хорошо знает английский, и взялся два раза в неделю учить меня оному. Недостаток ли в его знании или в моих способностях был причиною, что я никаких успехов не сделал. Он был совершенный сморчок, старичишка добрый, по крайней мере для меня; доверенность его ко мне до того простиралась, что из учеников я только один имел вход в так называемый кабинет его, где таинственно предавался он своим занятиям. Он долго жил в Англии и всегда предпочитал ее своему отечеству; теперь я уверен, что он там был ремесленником. Бог весть, как занесло его к нам и как встретился и совокупился он с француженкой, в России родившеюся, хотя безграмотною, но досужею и проворною бабой. Обо всем он говорил равнодушно, кроме Англии; самая покорность его супруге, кажется, была не что иное, как следствие уважения его к той земле, где королевы женятся.

Девицы, которые с нами воспитывались, обедали, а иногда и учились за одним с нами столом, жили, однако же, в особой половине. Они были также маленькие провинциалки, но грациознее и остроумнее мальчиков. Из двадцати или из двадцати пяти одну только Ложечникову можно было назвать хорошенькою; не знаю, где умели набрать таких уродцев. Обхождение с ними Форсевильши было более строгое: от взгляда ее, от одного движения губ бедняжки приходили в ужас. Более всех тирански преследовала она бедную четырнадцатилетнюю или пятнадцатилетнюю француженку, дочь какого-то приятеля, которая училась у нее даром, а за то употреблялась для разных домашних упражнений без платы; расцветающие прелести были ее виною в глазах отцветшей мадамы. Ее звали Лаборд; она родом казалась более из Индии, чем из Франции: весь пламень Востока и Юга блистал в черных глазах ее, самый яркий румянец выступал на смугло-свежих ее щеках; ее волосы, уста и губы позволил бы я себе сравнить с эбеном, кораллом и перлами, если б от частого употребления сии сравнения мне самому не надоели; выражение же лица юной одалиски словами невыразимо. Живши с ней под одной кровлей, видя ее часто, я бы влюбился в нее, если бы был постарее; однако же, несмотря на отрочество мое, я не был к ней совершенно равнодушен, написал какой-то вздор и всунул ей потихоньку в руку во время танцевального класса, который для девочек почти столь же опасен, как балы для девиц, а для меня всегда был часом искушений. Я ожидал ответа, но тиранка Форсевиль имела свою тайную полицию: кто-то из уродцев подсмотрел и донес. На другой день тревога, позор и срам: призвали виновных, осыпали их ругательствами, самыми грубыми, непристойными укоризнами; я стоял как вкопанный, не внимал им, а только смотрел на слезы и на тяжко вздохами волнуемую грудь, и был весь раскаяние. Определено было обоих выгнать из пансиона, и приговор исполнили в тот же день; меня отослали к родным, но, как шурин адъютанта главнокомандующего, я на другой же день воротился с письменным уверением, что дома строго был наказан. Наказание мое состояло в грустных, нежных упреках сестры; зять же мой расхохотался, называя меня молодцом. Через три дня явилась и бедная Лаборд, но с тех пор я не смел уже подходить к ней, а она на меня даже и глаз не подымала. Пример сей нужен, чтобы доказать, сколь опасно воспитывать вместе детей разного пола; теперь это вывелось, а в старину полагали, что до пятнадцати лет все дети должны быть столь же бесстрастны, как грудные младенцы.

Главный вопрос, который должен был сделать всякий и который могу я сам себе сделать: да чему же мы там учились? Бог знает; помнится, всему, только элементарно. Эти иностран-

---

<sup>2</sup> Мария Жоффрен (1699—1777) — хозяйка знаменитого литературного салона, где 25 лет собирался весь образованный и талантливый Париж. В числе посетителей г-жи Жоффрен были энциклопедисты. Муж ее был фабрикант. Анжелика Каталани (по мужу Валабрен) (1777—1849) — знаменитая итальянская певица.

ные пансионы, коих тогда в Москве считалось до двадцати, были хуже, чем народные школы, от которых отличались только тем, что в них преподавались иностранные языки. Учители ходили из сих школ давать нам уроки, которые всегда спешили они кончить; один только немецкий учитель, некто Гильфердинг, был похож на что-нибудь. Он один только брал на себя труд рассуждать с нами и толковать нам правила грамматики; другие же рассеянно выслушивали заданное и вытверженное учениками, которые все забывали тотчас после классов. Мы были настоящее училище попугаев. Догадливые родители недолго оставляли тут детей, а отдавали их потом в пансион университетский. Сие неминуемо должно было со мной случиться, но странность судьбы моей к тому не допустила.

Письмами своими старался я разжалобить родителей и в том успел; но не вполне достиг своей цели, ибо вместо того, чтоб отдать меня в университетский пансион, велено было обратно меня отправить в Киев. Причина тому была нижеследующая. В числе имений князя Потемкина, коим наследовали племянницы его, находилось в Киевской губернии село Казацкое, доставшееся княгине Голицыной, жене известного князя Сергея Феодоровича. Муж ее некогда воспитывался в кадетском корпусе, в одно время с отцом моим, и хотя на несколько лет был его моложе, всегда помнил его, любил и сохранял с ним сношения; она же была родная сестра графини Браницкой. По сим уважениям (как часто говорится в канцелярских бумагах), проезжая в сказанное имение через Киев, она прямо остановилась у моей матери, хотя до того не была с ней знакома. Ее супруг начальствовал тогда над корпусом, посылаемым на помощь Австрии против французов, а она намеревалась несколько лет прожить в деревне, для поправления расстроенных хозяйственных дел.

Покойная мать моя, которая с ней скоро подружилась, не в состоянии была не говорить о том, что ей казалось моей миловидностью и затейливостью, и о тяжелой для нее разлуке со мною; слушая ее, княгиня Голицына предложила ей взять меня к себе, чтобы неподалеку от Киева воспитываться вместе с ее сыновьями, и прибавила, что многочисленность ее семейства и разные учителя делают из ее дома настоящий пансион. Предложение было принято, и я, ничего о том не ведая, несказанно возрадовался, в уповании вновь узреть богоспасаемый град Киев.

Одну московскую барыню, на житье переселившуюся в Киев и находившуюся тогда в Москве, по каким-то делам, просила мать моя привезти меня с собою. Итак, госпожа Королькова взяла меня от госпожи Форсевиль и передала госпоже Турчаниновой: тогда судьба моя была переходить из рук в руки к женщинам.

Но прежде чем отправлюсь из Москвы, хочу описать сколь можно вкратце как особу, с которою должен был совершить путешествие, так и семейство ее.

Во время походов Миниха и Ласси маленький турчонок был взят русскими в плен и привезен в Петербург к Анне Иоанновне, которая его крестила. Елисавета Петровна отдала его в услужение наследнику своему; он сделался Кутайсовым<sup>3</sup> при Петре III. Господин и государь его не имел времени пожаловать его графом или светлейшим князем, и в день кончины его он назывался только Александром Александровичем Турчаниновым, камердинером полковничьего ранга. При Екатерине он скрывался, потом на сбереженные деньги купил имение в Орловской губернии, потом женился на соседке, девице Сибилевой, также с некоторым достатком. Семейство их втихомолку плодилось и множилось, равно как и состояние; наконец, они имели даже дом в Москве, у Пречистенских ворот.

Воцарение Павла пробудило давно заснувшие надежды малого числа приверженцев Петра III; в числе их предстал и г. Турчанинов пред новым императором, который приказал производить ему все содержание, кое получал он при отце его, а сверх того выдать ему оное за все время царствования Екатерины с выросшими процентами и рекамбиями. Составился значительный капитал, на который искал он купить хорошее имение. Тогда в Киевской губернии продавались за ничто поместья князя Станислава Понятовского, брата последнего короля;

---

<sup>3</sup> Иван Павлович Кутайсов — из крещеных турок, брадобрей и любимец Павла Первого, который сделал его графом; имел большое влияние на государя и пользовался этим.

для сбыта их был дан ему самый краткий срок; ибо он переехал в Австрию и не хотел сделаться русским подданным. Бывши в Киеве на богомолье, г-жа Турчанинова о том проведала, купила селение Степанцы, состоявшее из 1000 душ, кажется, не более как за 60 000 рублей и потом подвластного ей мужа выписала из Орла.

Он был сухонький сладенький старичок, который всегда улыбался и до того ко всем был ласков, что рождал недоверчивость. Супруга его, женщина еще видная, соединяла твердость с добротою душевною; слабость ее, впрочем, весьма простительная, была желание казаться моложе, и потому-то погибшие на лице ее розы и лилии она весьма неискусно заменяла искусственными. Из многочисленного семейства их одна только младшая дочь была примечательна и сделалась даже впоследствии известною.

Не имея еще двадцати лет от роду, она избегала общества, одевалась неряхою, занималась преимущественно математическими науками, знала латинский и греческий языки, сбиралась учиться по-еврейски и даже пописывала стихи, хотя весьма неудачно; у нас ее знали под именем философки. Вся киевская ученость скрывалась тогда под иноческими мантиями в стенах Братского монастыря; она открыла ее и, чуждая мирских слабостей, не побоялась свести явную тесную дружбу с некоторыми монахами, преподававшими науки в духовной академии. С такой высоты вдруг опустила она внимание на маленького невежду, которого пугали и странность ее наряда и мрачное выражение ее лица.

Когда она выпросила меня к себе в гости и меня в первый раз к ней послали, то я отпавился весьма неохотно. Только сей первый шаг был для меня труден, а потом я надоедал просьбами о дозволении посетить ее. Чистота ли ее души сквозь неопрятную оболочку сообщалась младенческой душе моей, или магнетическая сила ее глаз, коих действие испытывали впоследствии изувеченные дети, действовала тогда и на меня: я находился под ее очарованием. Я не нашел в ней и тени педанства: всегда веселая, часто шутливая, она объяснялась с детскою простотою. Правда, иногда бралась она допрашивать меня о том, чему я учился, и ужасалась глубине моего неведения; но вдруг потом, как пифия на треножнике, как бы содрогаясь от вдохновения, сверкала очами и начинала предрекать мне знаменитость. Увы, пророчества ее столь же мало сбылись, как и удалось ее лечение!

Разговоры ее были для меня чрезвычайно привлекательны: она охотно рассказывала мне про связи свои с почтенными учеными мужами, профессорами Московского университета, хвалилась любовью и покровительством старого Хераскова, дружбою Ермила Кострова и писательницы княжны Урусовой. Поэзия доступна понятиям младенчеству как народов, так и людей, и хотя она была для меня халдейским языком, девица Турчанинова заставляла меня иногда читать некоторые места из Россияды и негодовала, когда неодолимая зевота мешала мне продолжать сие чтение. Тогда принималась она за мелкие стихотворения, потчевала меня ими, упрашивала выучить наизусть, и одно только из них, «Ода на смерть сына моего» Капниста, мне полюбилось и осталось доселе у меня в памяти. Первое знакомство с русскими музами сделал я в запыленном, засаленном кабинетце моей любезной Турчаниновой.

Лет тридцать спустя увидел я ее опять в Петербурге, вскоре после того, как имя ее наделало в нем великий шум, но столь же кратковременный, как и надежды, кои возбудила она в сердцах скорбных родителей обещанием исцелить их детей<sup>4</sup>. Я не нашел в ней почти никакой перемены: черные, прекрасные, мутные и блуждающие глаза ее все еще горели прежним жаром; черные длинные нечесанные космы, как и прежде, выбивались из-под черной скуфьи, и вся она, как черная трюфель в масле, совершенно сохранилась в своем сальном одеянии.

<sup>4</sup> Анна Александровна Турчанинова (1774—1848), писательница, магнетизерша. В конце 1820-х годов нашумела ее полушарлатанская система лечения магнетизмом, встретившая живой отклик в мистически-настроенном столичном обществе. Одним из ее поклонников был кн. А. Н. Голицын, который писал в 1829 году известной сектантке кн. А. С. Голицыной: «Девица Турчанинова действительно феномен. Излечивает она взглядом и начала с горбатых, а теперь лечит паралитиков, расстроенные нервы, глазные болезни и даже глухонемых; множество девиц из общества приезжают к Турчаниновой для лечения кривобокости. Я спрашивал у Турчаниновой о силе, действующей на этих детей, и она отвечала мне, что ее можно сравнить с насосом, извлекающим жизненную силу в природе, чтоб передать ее, посредством взгляда, больным...» В 1843 г. она хотела ехать в Турцию, чтобы «попробовать магнетическую силу глаз своих над чумою». Николай Первый тоже считался с этой полусумасшедшей старухой и назначил даже для исследования ее способов лечения комиссию под председательством знаменитого Н. С. Мордвинова, при участии шефа жандармов Бенкендорфа и других.

Я не упомянул об ней, говоря о Киеве; там видел я еще много других примечательных особ и умолчал об них с намерением после описать их, по мере того как в совершеннолетии случай опять сводил меня с ними.

С ее родительницей я должен был отправиться, и отъезд наш был назначен на третий день после Рождества. Я был вне себя от радости; но, в самую почти минуту сего отъезда, к ней примешалось маленькое горе. Младший сын г-жи Турчаниновой, по совету сестры, учился в университетском пансионе; к нему пришли товарищи и начали при мне читать «Московские Ведомости», лежавшие на столе. В них было помещено известие об экзамене, за несколько дней перед тем в сем пансионе происходившем, и имена учеников, получивших награды. Двум только даны были золотые медали; один из них, г. Кириченко-Астромов, находился тут налицо; приветствия ему и поздравления хозяйки были мне как острый нож. Отец его занимал какую-то маленькую должность в Киеве, и он ласково подошел ко мне, называя себя моим земляком; но я спесиво и холодно отвечал ему, что никогда имени его не слыхивал (этой глупости я ввек себе не прощу). Имя другого ученика, целой России после знакомое, имя Жуковского, было тогда столь же мало известно. Уверяли, будто он поляк; другие утверждали, что он малороссиянин; он сам долго не мог решиться, кем ему быть, и оставался покамест русским, славя наше отечество и им славимый. После восторгов, произведенных во мне его стихами, мне нечего раскаиваться в зависти, которую возбудило во мне имя его, в первый раз, как я его услышал.

Князя Дашкова уже в Киеве не было. Новым поведением своим он заставлял забывать прежние свои поступки, с усердием исправлял лежащие на нем обязанности, и все им были довольны. По какому-то недоразумению или наговору, Бог весть за что, царь на него прогневался и без всякой церемонии просто отставил его от службы; он поклонился и уехал в деревню.

Только в одной наружности Киева не нашел я ни малейшей перемены; в обществе же его почти наполовину встречались мне совершенно новые лица. Я не успел еще ознакомиться с ними, не успел еще хорошенько узнать их имен, как родители мои объявили мне о намерении своем отдать меня в дом Голицыных для усовершенствования моего образования и самим везти меня туда. Мне это было очень не по сердцу, но делать было нечего. Итак, Киев мелькнул только передо мною, ибо в первых числах февраля отправились мы в новое для меня место-пребывание.

В первый день остановились мы в Белой Церкви и весь следующий провели у графини Браницкой; я говорю, у графини, ибо супруг ее в доме ничего не значил, так точно, как мужья господж Форсевиль и Турчаниновой. Он был человек старый, но образованный и довольно еще любезный, ума весьма посредственного; славился же он беспримерным аппетитом вместе с утонченным вкусом в гастрономии. Несмотря на свою скупость, графиня Браницкая нанимала изящнейшего повара-француза и ничего не щадила для стола, дабы сим приятным занятием отвлечь супруга от хозяйственных дел, в которых он ничего не понимал и в кои от скуки он захотел бы, может быть, мешаться. Они жили в обширном деревянном доме, внутри оштукатуренном, коего стены были выкрашены просто, а потолки выбелены. Но главные комнаты сего дома были наполнены драгоценными вещами, бронзовыми, мраморными, фарфоровыми, хрустальными, из коих, как уверяли, ни одна не была куплена графиней Браницкой: все они были даны дружбою и щедротою Екатерины, а иные подарены или завещаны князем Потемкиным. Изо всех мне более показалась примечательна одна высокая бронзовая гора, на вершине коей сидел двуглавый русский орел; из боков ее струились живоносные хрустальные ручьи, а внутри ее устроенный механизм производил музыку, которая подражала журчанию вод. На полугоре сидел Сатурн с косою за плечами, одною рукой опираясь об часы, а другою держа миниатюрный портрет Екатерины, на меди писанный, в оправе из стразов, как бы забывая время свое и любясь ее изображением.

При двух сыновьях и трех дочерях, так же как у графа Салтыкова, находились учитель и гувернер с гувернанткой, муж с женой, г-н и г-жа Дориньи и мусью Бробек. Сверх того жили в сем доме польские и русские дамы и барышни, иностранный медик и несколько отставных



военных, неимущих, довольно образованных чиновных людей, занимавших должности домоправителей, приказчиков над деревнями, конюших и тому подобное<sup>5</sup>. Две враждебные нации жили тут в совершенном согласии. Домашняя услуга вся состояла из шляхтичей, и в сем доме, без лишних прихотей, все напоминало, однако же, феодальное могущество.

Княгиня Голицына, к которой везли меня, была родная сестра графини Браницкой; но в это время произошла между ними если не явная ссора, то, по крайней мере, сильная простуда родственной любви. Обе хотели купить Корсунь, поместье князя Понятовского, которое вместе с окружающими его деревнями имело до восьми тысяч душ. У Браницкой были огромные капиталы, а у Голицыной не было даже большого кредита; следственно, первая сторговала имение. Павел Первый помирил их, купив оное для Петра Васильевича Лопухина, отца своей любимицы, которого, вместе с тем, пожаловал светлейшим князем. Мать моя взялась довершить примирение, начатое императором, и, кажется, в том успела.

Село или местечко Казацкое, в которое мы приехали, было из числа тех имений, кои польские короли раздавали магнатам в Украине после разделения ее на русскую и польскую и по совершенном порабощении последней. Магнаты никогда в них не приезжали, жили в Варшаве или Вильне и получали с них только доходы; казацкая вольница не страдала от панского присутствия. Князь Потемкин, еще при польском правительстве, властью и деньгами приобрел все те имения, которые находились в соседстве с Новороссийским краем; по смерти его они достались его наследникам. Проезжая чрез сии имения, чрез Богуслав, Корсунь, я не мог надивиться тому, что везде вижу православные церкви, везде слышу малороссийское наречие и только изредка встречаю поляков. Невежество мое, которое, впрочем, разделял я со всеми жителями внутренней России, заставляло меня думать, что все находящееся за старою нашею границей есть и было всегда настоящая Польша.

Еще не было году, что семейство Голицыных поселилось в Казацком. Мы приехали туда в сумерки. Бесконечный двор, обнесенный тыном, в глубине коего открывались деревянные барские хоромы, наскоро выстроенные, а по бокам находились шесть довольно просторных мазанок, вместо флигелей, и сад, разведенный только осенью и представляющий одни только ряды прутьев, все это, занесенное снегом, имело в глазах моих вид мрачный и угрюмый. Те, кои вспомнят, как тяжела мне была мысль сделаться приемышем в знатном доме даже среди шума блестящей столицы, могут посудить о том, что во мне происходило в сию истинно горестную для меня минуту.

Нам отвели особливые комнаты. В тот же самый вечер меня представили княгине, и я познакомился как с губернатором, коему меня поручили, так и с маленькими моими товарищами.

Я не скажу теперь ни слова о впечатлении, которое произвело на меня мое новое знакомство: ибо всех членов многочисленного семейства, среди коего пришлось мне жить, также и все лица, кои, находясь в сем доме, составляли его общество, намерен я впоследствии перебрать поодиночке. Права гостеприимства я почитаю священными; но я нимало не нарушу моих обязанностей, если о посторонних людях скажу истину с такою же откровенностью, с какою говорил о самых близких родных. Чрез два дни родители мои воротились в Киев, оставив меня между людьми, мне дотоле вовсе не знакомыми.

С нетерпением ожидала княгиня Варвара Васильевна (так звали г-жу Голицыну) известий от мужа из армии, которая на походе находилась тогда в Литве; с исступлением бешенства скоро получила она письмо его, коим он ее уведомлял, что государь за что-то на него прогневался, отставил его от службы, отдал корпус его генералу де-Ласси, велел ему жить в деревне и что фельдъегерь не замедлит привезти его к нам. Конечно, было за что подосадовать, но гнев княгини Голицыной превосходил всякое описание. Столь ужаснейшего гнева я никогда еще не видывал; он превратил ее в фурию, искажил все черты еще прекрасного ее лица. Забывая, что свидетелями она имеет детей и слуг, она проклинала царя, всех, народ и войско, которые ему

<sup>5</sup> Нельзя себе представить, сколько добрых и честных людей, без всякой вины отставленных или выключенных из службы, в сие мрачное время скиталось без пропитания. Они принимали всякие низкие должности в знатных и помещичьих домах. У князя Куракина жил в деревне один видный собою майор, которого обязанность состояла только в том, чтобы с палкою в руке ходить перед князем, когда он изволил шествовать в свою домовую церковь. — *Авт.*

повинуются, и успокоилась только от изнеможения сил. Этот первый взрыв яркими чертами осветил в глазах моих весь характер той особы, у которой я находился в зависимости, и заставил меня в поступках своих быть весьма осторожным.

Дни три спустя после того прибыл или был привезен сам князь Голицын, в сопровождении второго сына своего Федора, отставного гвардии корнета, который отправился к нему в армию, в надежде под начальством его опять вступить в службу, но, встретясь с ним на дороге, вместе воротился.

Не прошло недели, как из Петербурга прислали старшего сына его князя Григория, генерал-адъютанта и любимца Павла Первого, внезапно отставленного и высланного из столицы. Это было в феврале, а в половине лета еще прислали к нам третьего и четвертого сыновей князя Голицына, Сергея и Михаила, семеновских офицеров, также без просьбы отставленных, но не совсем, однако же без вины и причины. Итак, Казацкое сделалось местом заточения целого семейства, мне совершенно чуждого, но которое, однако же, я должен был с ним разделять.

Я не был свидетелем свидания супругов; мы в это время сидели за книгами; когда же кончился класс и меня представили хозяину дома, то вид его, спокойный, довольно веселый, и ласково-покровительственный прием меня чрезвычайно ободрили.

Теперь приступлю к обещанному выше, к изображению людей, с коими прожил я около года в совершенном удалении от мира и коих характер следственно мог хорошо изучить. Чтобы успокоить читателя, спешу предупредить его, что между ними были лица отменно-замечательные, и начинаю с главы семейства.

Воспитанный в кадетском корпусе, в конце царствования императрицы Елисаветы, князь Сергей Федорович учился с успехом математическим наукам и, исключая русский, знал еще хорошо немецкий язык. Вышед из него, он в обществе получил навык к французскому; знание языков было тогда не безделица: оно вело к повышению. Он не принадлежал к знаменитой ветви Голицыных, Дмитрия и двух Михайлов Михайловичей, коих счастье при Петре Великом равнялось великим их заслугам и коих семейства приобрели новую славу в глазах русского народа, падая умильными жертвами немецкого тиранства при Анне Иоанновне. Его отец, князь Федор Сергеевич, был человек и не чиновный, и не богатый, и не расчетливый: прельстившись всем заграничным, куда как-то его занесло, он получил необоримое отвращение ко всему отечественному. Рассказывали, что, по возвращении из путешествий он тотчас завел флёртовую фабрику и потом, гнушаясь названиями ржи и проса, он все поля свои засеял французским табаком и скоро до того разорился, что наконец не на чем ему было посеять и репы. Когда просвещение блеснет перед полуварварами, то прежде всего хватаются они за роскошь, как дети, которые ловят огонь.

К счастью молодого сына, он вовсе не походил на отца; в нем билось истинно русское сердце, он был наружности приятной, был добр, умен и храбр: без того, несмотря на сиятельное свое происхождение, ему бы невозможно было выбиться из княжеской толпы. Много ему способствовало к тому родство с известным фельдмаршалом, графом Захаром Григорьевичем Чернышевым, президентом военной коллегии, коего по матери был он родной племянник; а еще более женитьба на племяннице князя Потемкина, который, впрочем, не очень его любил, но не мог отказать ему в уважении. То же самое было и с другими тогда царскими любимцами.

Это знал Павел Первый и, вступив на престол, осыпал его ласками и наградами. Долго это продлиться не могло: только в Екатеринино время можно было безнаказанно соединять верную службу и преданность престолу с некоторою независимостью характера. Скоро должен был князь Голицын оставить службу и поселиться в Москве. Но когда война с французами заставила вызвать Суворова из заточения, тогда вспомнили и о других брошенных мечех Екатерины: на гатчинских фрунтовиках трудно бы было выехать. Признанный в Петербург, обласканный Голицын отправился ко вверенному ему корпусу, а вскоре потом в ссылку за какое-то откровенное письмо к императору.

Он был тогда полный генерал и обвешан всеми первостепенными орденами, за военные подвиги полученными. Он был в крепости сил и лет, ибо ему еще не было пятидесяти, и по его опытности, деятельности и бесстрашию казалось, что судьба предназначала его быть одним из лучших наших полководцев; сии ожидания никогда не сбылись. Но можно утвердительно сказать, что если б ему поручен был корпус Корсакова или Германа, то слава русского оружия в Голландии или Швейцарии прогремела бы тогда не менее, чем в Италии; самые важные происшествия взяли бы тогда, может быть, иной оборот.

Как домашним, так и деревенским хозяйством исключительно занималась княгиня, «его супруга златовласа, Пленира сердцем и лицом» (так называет ее Державин в известном стихотворении: «Осень во время осады Очакова»). Когда я начал знать ее, такое название уже ей не было прилично, хотя черты ее были бесподобные и в сорок лет она сохраняла свежесть двадцатилетней девы. Но сильные страсти, кои вследствие дурного воспитания, она никогда не умела обуздывать, дали ее лицу весьма неприятное выражение. В ее власти находились чада и домочадцы, слуги и крестьяне; однако же муж не переставал быть господином, и хотя всем она управляла, всем повелевала, но он сохранял права генеральной инспекции и контроля: самый благоразумный образ правления в доме.

Я худо объяснился, если мои читатели увидят в княгине Голицыной злую женщину: между злою и сердитою разница превеликая. Если бы гнев ее иногда не был продолжителен, то ее просто можно было бы назвать вспыльчивою. Она чрезвычайно любила власть и деньги, любила без памяти мужа и одного из сыновей своих и терпеть не могла противоречий; а как рассудок ее был не весьма обширен, то никакие доводы не могли ее убеждать. Сообразуясь с сим, можно было избежать неприятных с нею столкновений, и в ее управлении не было заметно и тени тиранства; но горе тому, кто, возбудив ее гнев, не спешил покорностию смягчить его: тогда она забывала все, и свой сан и свой пол, и начинала даже рукам давать волю. Рассказывали ужасы, будто бы один раз она приятельницу свою, помещицу Шевелеву, у себя в гостиной при всех таскала за волосы; будто бы дорогой, измучившись от неисправности, в которой она находилась, она среди поля при себе велела разложить сопровождавшего ее заседателя и высечь плетью: тогда еще был жив князь Потемкин, и не было даже возможности жаловаться на нее. Надобно сказать, однако же, к ее чести, что на совершенно беззащитных, например, на горничных девок, никогда рука ее не подымалась.

С таким нравом ей не легко было жить в обществе. В столицах она обыкновенно вела жизнь уединенную, стараясь окружать себя одними только угодниками и угодницами, а в деревне тогда не трудно было знатной барыне соседних мелкопоместных дворянок обращать в свои прислужницы. Потому-то ее Зубриловка в Саратовской губернии была любимым ее местопребыванием: там степень ее доверенности указывала места всем уездным барыням.

Получив село Казацкое по наследству от дяди, она долго не решалась в него приехать. Одни только сильные привычки удерживали тогда на севере новых помещиков завоеванного края; но они восхищались мыслию, что могут, когда захотят, поселиться в теплом, прекрасном климате; ныне, если б государь имел власть раздавать имения близ Ниццы и Флоренции, то получившие их наши руссо-европейцы едва ли бы тому так радовались. Княгиню Голицыну к переселению побудили другие причины: все эти имения, находящиеся в руках арендаторов, заброшенные, забытые польскими помещиками, приносили чрезвычайно мало дохода в сравнении с великороссийскими деревнями; она хотела личным присутствием стараться его умножить.

Часто, часто вздыхала она о своей Зубриловке. В благословенной стране, среди роскошной природы, она жила как в пустыне; вокруг были одни крупные поместья, и самые ближние соседи во ста верстах. Все ее навыки, все ее вкусы были старинные русские. Кому было угождать им, кому было разделять их с нею? Конечно, она бы могла собрать рассеянных в округе шляхтянок, но как их подпустить к себе? В глазах ее они стояли ниже ее служанок. Одна своя семья и живущие в ней составляли ее бессменное, единообразное общество. Поутру она занималась делом, за обедом хорошо кушала (и по большей части одни русские блюда); после обе-

да она сидела за столиком в софе, как изобразил ее Державин. Скука ее одолевала. «Что бы нам делать? — иногда говорила она. — Чего бы нам поесть?» И моченые яблоки, и рябиновая пастила, и брусничная вода, и клюквенный морс, и морошка в сахаре, иногда просто липовый мед — все северные лакомства предпочтительно южным плодам сменяли друг друга, чтобы прогонять нашу скуку. Добрая, сердитая княгиня! Истая боярыня! Несмотря на твой постоянно угрюмый вид, на твои страшные иногда взоры, я чу, я люблю твою память; прости мне мою откровенность: ты теперь в обители вечной истины и позволишь мне говорить ее о тебе.

Десять сыновей родила княгиня Голицына мужу своему, и один только из них умер в малолетстве. Старший, князь Григорий, при рождении был пожалован гвардии капитаном, как первенец из внуков Потемкина, то есть сыновей его племянницы. Император Павел, при вступлении на престол, сделал его, тогда семнадцатилетнего мальчика, полковником и своим флигель-адъютантом, а года через полтора генерал-адъютантом.

Тут нет ничего мудреного, и цари могут, когда им угодно, жаловать новорожденных фельдмаршалами; но вот что удивительно: он несколько времени управлял военною канцелярией и докладывал по делам ее государю, следственно — был вроде начальника штаба; кто его знал прежде и после, тому это покажется вовсе непонятным. Он лицом походил на отца, хотя был красивее его и ростом выше; не имел пылкого характера матери, но у нее заимствовал страсть первенства над мелкими людьми. Его воспитывал какой-то барон Эйбен, который, даром что немец, ни сам ничего не знал, ни его ничему не учил. Много придется мне говорить об этом человеке впоследствии времени; теперь сказанного здесь почитаю достаточным.

Второй сын, восемнадцатилетний князь Федор, не только в нашем маленьком обществе, но и в самом блистательном, многочисленном, был бы замечателен. Получив столь же плохое воспитание, как и братья, он приобрел, однако же, в большом свете этот хороший тон, который человеку, одаренному умом, дает так много средств его выказывать, а неимущему скрывать его недостатки. Более всего помогает он обходить затруднительные вопросы, которые могли бы изобличить в невежестве: имея самые поверхностные познания, можно с ним прослыть едва ли не ученым. Во Франции, где родился он, прикрывались им пороки и даже злодейства, пока революция не истребила его, как бесполезный покров. Давно уже вывезли его к нам молодые, знатные наши путешественники, Шуваловы, Белосельские, Чернышевы, но более всего эмигранты распространили его в лучшем обществе. В нем образовался князь Федор Голицын; а как французский язык был исключительный орган хорошего тона, без которого и поныне он у нас не существует, то он выражался на нем так свободно и приятно, как я дотоле не слыхивал.

Казалось, что он взял себе девизом: все для большого света, его успехов и наслаждений. И потому-то я мало знал людей, которые бы имели столько светской любезности и ума. Лицо русской кормилицы, белое, полное, широкое, румяное, но с огненным взглядом и привлекательною улыбкой, делали наружность его весьма приятною; самой необычайной толщине своей умел он в молодости, посредством туалета, давать щеголеватую форму. Он прекрасно пел романсы и прилежно читал романы; в этом, кажется, заключались все его знания.

Сверх того был он одарен необыкновенным вкусом, не тем изящным вкусом, который умеет давать цену произведениям ваятеля, зодчего или живописца и которого одобрение почитают они лучшею наградой, — нет, он сам сознавался, что ничего не смыслит в наружной архитектуре, что красоты ее для него не существуют, и никогда не хотел взглянуть на картину. Но что касается до внутреннего расположения комнат, до убранства их всеми драгоценными безделками, то на вымыслы в этом роде был он настоящий гений. Если б он остался жив и захотел бы себя на то для других употребить, то я уверен, что в нынешнее время он бы затмил, уничтожил Монферрана<sup>6</sup>.

Еще одну великую способность имел князь Федор: никто в России не умел так славно готовить великолепные праздники и быть их распорядителем. С большим состоянием, которое

---

<sup>6</sup> Август Монферран (настоящая фамилия его Рикар) — строитель Исаакиевского собора, Александровской колонны, дома Лобанова на углу Вознесенского и Адмиралтейской и Петербурге и других зданий.

наконец он получил, и с маленькою бережливостию, которой никогда он не имел, такие люди, как он, служат если не подпорою государства, то по крайней мере украшением двора.

Моложе его годом, князь Сергей, третий брат, был похож на него лицом, но лучше его, выше ростом и не так толст. Он его взял за образец, и сие искусное подражание была одна только его блестящая сторона.

Но четвертым, Михаилом, не без причины гордился отец; его любила мать, любили братья, товарищи по службе, весь дом, все знакомые. Нельзя было сыскать дурного лица, столь приятного, в невысоком росте нельзя было найти более мужественного вида; из-под наморщенного чела, из-под нахмуренных всегда бровей никакие глаза не выражали столько сердечной доброты, столько веселой смелости. Он без памяти любил женщин и был столько в них счастлив, сколько скромнен насчет успехов своих. С первого взгляда физиогномист мог узнать в нем русского человека. Изо всего семейства своего он один был одарен основательным умом и любознанием и один был бы в состоянии поддержать весь падший ныне род князя Сергея Федоровича. Но смерть всегда выбирает лучшие жертвы, и он погиб в сражении при Прейсиш-Эйлау, имея не более двадцати трех лет от роду.

За ним следовал пятый брат, Николай, несчастный, больной, искаженный в ребячестве от испуга, лишенный рассудка, и который потом, двадцати лет, умер на руках у няньки.

Шестой и седьмой, Павел и Александр, были мои товарищи, но двумя или тремя годами моложе меня. Ни тот, ни другой далеко не пошли. Первый, весьма плохоголовый, еще в ребячестве имел лакейские манеры и самые подлые наклонности; он долго страдал следствиями порочной жизни и в низких должностях старался держать себя вдали не только от столичных, но и от губернских городов. Другой, Александр, был умен и храбр; но ложные понятия о чести и слишком упрямый нрав рано остановили его на военном поприще, которое бы он мог с успехом проходить.

Самые меньшие, Василий и Владимир, едва выходили тогда из младенчества. Первый весьма не глуп и всегда оставался добрым и честным человеком; он мог бы быть человеком более полезным, но баловство страстной к нему матери много повредило ему. Вообще все члены этого семейства погибли, одни в блестящем, другие в жалком ничтожестве.

Более всех из братьев наделал шуму меньшей, Владимир, употребляя во зло дары природы. Его называли Аполлоном, он имел силу Геркулеса и был ума веселого, затейчивого, и оттого вся жизнь его была сцепление проказ, иногда жестоких, иногда преступных, редко безвинных<sup>7</sup>.

Источником всех неприятностей в жизни, неудач по службе, разорения для этих Голицыных было дурное их воспитание.

Отец более всего заботился о физическом образовании детей: ему желалось их всех видеть молодцами. Конечно, это весьма похвально, особливо в то время, когда родители не только высшего, но и среднего состояния думали отличиться от простонародья, воспитывая детей своих в совершенной неге, державши их вечно в тепле и не давая никакой свободы ни их мыслям, ни их движениям. Человек, однако же, не растение, и нужно приготовить его к перенесению непогод и нравственной атмосферы. Об этом, кажется, никто не думал в том доме, где я находился. Молодые князья были искусны во всех гимнастических упражнениях: они шибко бегали, высоко лазили, славно катались на коньках, мастерски перепрыгивали через рвы; смотря по возрасту, у каждого из них были разных величин свайки, и они тешились ими между собою или дворовыми людьми; зимою и летом каждое утро обливали их холодной водой. Развитие же их умственных способностей оставлено было на произвол судьбы; никаких наставлений они не получали, никаких правил об обязанностях человека им преподаваемо

---

<sup>7</sup> «Наделавший шуму» Владимир Сергеевич Голицын (1794—1861) известен романом с фрейлиной В. И. Туркестановой (1775—1819), которая была влюблена в Александра I. Голицын хотел жениться на этой фрейлине, которая была старше его 20 годами, но, застав у нее однажды ночью Александра, отказался от мысли о браке. Когда же Туркестанова родила от Александра I дочь и отравилась, придворные толки обвинили в этой драме Голицына, чтобы «оградить священную особу государя». Тогда это удалось настолько, что даже Пушкин в своем дневнике приписывает Голицыну вину в беременности фрейлины.

не было. Гувернер ими очень мало занимался и только изредка, как Онегина, слегка бранил. Дядьки говаривали: «Полноте, ваше сиятельство; ведь за вас на мне взыщут».

Что касается до наук, то, исключая гувернера, который учил их по-французски и знал хорошо правописание, несмотря на то что он был эмигрант, находился еще при них учитель математики. Имея намерение их всех посвятить военной службе, отец чувствовал всю необходимость для них сей науки.

Будучи воспитан как благородное дитя, то есть ленивый телом и мало приученный к холоду, новая метода, которой и я должен был следовать, была мне вовсе не по вкусу. Делать было нечего, и я привык к ней. Здоровое и крепкое сложение, которое получил я от природы, могло бы со временем быть обессилено телесным бездействием, и я весьма благодарен дому Голицыных за сохранение многих физических способностей. Но как добро бывает редко без худа, то в сем же доме (с горестью должен в том признаться) в первый раз познакомился я с идеями порока и разврата. Опасность явилась с той стороны, где ее менее ожидать было можно. Старший из моих маленьких товарищей, моложе меня, как сказал я выше, заговорил со мной таким языком, который сначала показался мне непонятен; я покраснел от стыда и ужаса, когда его понял, но вскоре потом начал слушать его с удовольствием.

Кто бы мог поверить? Другой соблазнитель мой был сам наш гувернер, шевалье де-Роллен-де-Бельвиль, французский подполковник, человек лет сорока. Не слишком молодой, умный и весьма осторожный, сей повеса старался со всеми быть любезен и умел всем нравиться, старым и молодым, господам и даже слугам. Обхождение его со мною с самой первой минуты меня пленило. Я еще помнил строгую мораль, которую читал в глазах г. Мута; недавно расстался с брюзгливым Форсевилем, и вдруг нахожу наставника, который хочет уверить меня, что я уже не ребенок; а в отроческие лета кому не хотелось быть постарее! Он начал давать мне дружеские советы и одну только неловкость мою исправлять тонкими насмешками; я чувствовал себя совсем на свободе. Во время наших прогулок, которые начались с открывшейся весной, он часто забавлял меня остроумною болтовней; об отечестве своем говорил, как все французы, без чувства, но с хвастовством, и с состраданием, более чем с презрением, о нашем варварстве. Мало-помалу приучил он меня видеть во Франции прекраснейшую из земель, вечно озаренную блеском солнца и ума, а в ее жителях избранный народ, над всеми другими поставленный. Революционеры, новые Титаны, по словам его, только временно овладели сим Олимпом, но, подобно им, будут низвергнуты в бездну. При слове *религия* он с улыбкой потуплял глаза, не позволяя себе, однако же, ничего против нее говорить; как средством, видно, по мнению его, пренебрегать ею было нельзя. Он познакомил меня с именами (не с сочинениями) Расина, Мольера и Буало, о которых я, к стыду моему, дотоле не слыхивал, и возбудил во мне желание их прочесть.

Посреди сих разговоров вдруг начал он заводить со мною нескромные речи и рассказывать самые непристойные, даже отвратительные анекдоты. Я не знал, что мне делать: я так уже привык в него веровать, что стыдился своего стыда; а он, злодей, наслаждался моим смятением. Еще приятнее было ему видеть, как постепенно исчезала моя робость и умножалось бесстыдство. Какая была цель его? Просто в этих людях есть нечто демонское. Когда между французами таковы были поборники веры и законного правительства, то что же такое были их противники?

Изобразив поступки этого человека, надобно сказать несколько слов и о наружности его. Он был высок и сухощав, имел самые маленькие серые сверкающие глаза и огромный нос, который, описывая правильную дугу, составлял четверть круга. Он был чрезвычайно опрятен и никогда не покидал крестика святого Лазаря, который доставляли не заслуги, а доказательство старинного дворянства.

И вот в каких руках находилась тогда, конечно, половина благородного русского юношества! При Павле, в числе других зол и беспорядков, размножились у нас эмигранты: не было полка в армии, в коем бы не находилось их по два и по три человека. Вообще тем, коим удалось попасть в службу, более других посчастливилось. Графский титул, который по бесчисленно-

ти носящих его мелких, мало известных дворян во Франции уже был нипочем, у нас тогда еще был в редкость, и наши знатные или богатые невесты охотно выходили за сих мнимознатных людей, особливо, когда они имели русский чин. Таким образом Лавали, Модены, Кенсона у нас сделались величайшими аристократами, не только сравнялись с знаменитейшими нашими фамилиями, но начали почитать себя выше их. Не такова была участь тех, кои принуждены были приняться за воспитание детей: звание учителя, в наших варварских понятиях, казалось нам немного выше холопа-дядьки, вечного соперника мусьи. Французы это заметили; но как не было возможности их всех поместить, ибо прибывающие их толпы беспрестанно увеличивались, то, следуя нашей пословице (я думаю, у них же заимствованной) «плоха честь, когда нечего есть», они рассеялись по лицу земли русской, чтобы каким-либо образом добывать себе хлеб. Умножающееся употребление французского языка способствовало им к отысканию мест; скоро в самых отдаленных губерниях всякий небогатый даже помещик начал иметь своего маркиза. Я знал в Пензенской губернии одного г. Жедринского, у которого было не более трехсот душ, обремененных долгами. Его сына воспитывал виконт де-Мельвиль.

Когда между французами, между эмигрантами, встретится человек благоразумный, просвещенный, скромный, с религиозными чувствами и строгою нравственностью, то надобно говорить об нем как о диковинке. Такая диковинка находилась у нас в селе Казацком. К сожалению, не ему было поручено воспитание наше: он только давал нам уроки. Г. Керлеро, о коем хочу говорить, не приехал, а пришел в Россию с корпусом принца Конде. Как искусного инженерного офицера, его бы охотно приняли во всякую иностранную службу; но он предпочел надеть ледунку, взять ружье и стать в ряды простых воинов, защитников королевских прав, кои почитали они священными; когда корпус, к коему принадлежал он, был принят в русскую службу, то скоро, наскучив гарнизонною жизнью, он определился учителем в дом Голицыных.

Он с добродушною настойчивостью победил во мне отвращение к математическим наукам, и в одно лето прошли мы с ним геометрию и алгебру; ему обязан я тем, что не остался совсем бессчетным. С величайшим терпением учил он маленьких князьков, но усердно и успешно занимался с шестнадцатилетним отставным офицером, князем Михаилом, который один из братьев пожелал вознаградить потерянное на службе время.

Итак, в сем доме было два француза. Было еще и два немца: отставной ротмистр, который заведовал конюшнею и смотрел за лошадьми, и лекарь, который морил людей; последний был женат. Потом был грек, отставной майор, главный управитель над деревнями, который всегда улыбался, прищучивал и обкрадывал своих верителей. В нем одно только мне памятно: от него ужасно несло курительным табаком; цвет лица он имел совсем кофейный и ежедневно пил по двенадцати чашек кофе. Всех вышесказанных, но не вышеименованных особ, лет двадцать тому назад мог бы я назвать читателю, который, впрочем, немного бы от того выиграл, и горе только одному мне, кому память столь приметно изменяет<sup>8</sup>. Наконец, был и поляк, Заурский, пан эконом с своей паньей. Грек и немцы обедали с нами только по праздникам и по воскресеньям, а шляхтича с женой, тоже по воскресеньям, пускали только поутру с поклоном к княгине, которая милостиво давала им целовать ручку.

Все это были должностные лица; но в нашем обществе находились еще два почетные члена, из коих один давно уже был членом Российской академии, а другой доселе тщетно ожидает сей чести.

Родной племянник Александра Петровича Сумарокова, одного из известнейших наших старинных писателей, Павел Иванович служил в Преображенском полку под начальством князя Сергия Федоровича и женился на двоюродной сестре его, княгине Марии Васильевне Голицыной. Он свел ее с ума, где-то оставил, а прижитых с нею двух детей, сына и дочь, отдал он на воспитание в дом своего родственника и покровителя. Принужден будучи, подобно мно-

<sup>8</sup> Чтоб иметь по образчику каждой нации, учился с нами маленький, красивый англичанин Джон Лич, сын какого-то ремесленника. Я недавно знал его архитектором медико-хирургической академии, но что определил его известный его единоземец Виллие, лейб-медик императора и начальник академии, хотя он никогда архитектуре и не думал учиться. — *Авт.*

гим, оставить службу при Павле и не имея большого состояния, он находился тогда вместе с ними и гостил в Казацком.

Непомерная спесь г. Сумарокова превосходила всякое описание: никакие успехи не смягчали его гордости; бесчисленные неудачи не могли никогда его образумить. В обращении со всеми, кого смолоду не привык он почитать выше себя, было всегда что-то грубое, жесткое, нестерпимое. В глубокой старости он остался так же тяжел и несносен, как в первой молодости; более он сделаться не мог.

Два раза был он губернатором, обе губернии должен был оставить, истощив терпение начальства, подчиненных и жителей; теперь он состоит инвалидным сенатором.

Он один видел в себе государственного человека и литературного гения; никто даже в шутку его в том не уверял. Вероятно, у него был двойник, и их взаимное удивление, обожание, утешало его в мнимой несправедливости людей. Нельзя думать, чтобы творения его дошли до потомства; библиоманам было бы, однако же, не худо их сохранять: они могут служить образцами дурного слога, дурного вкуса, наглости, самохвальства и самой грубой неблагопристойности. Стараясь спасти их от забвения, в котором, может быть, и сам потону, спешу назвать известнейшие: «Досуги крымского судьи», «Прогулка за границу» и повесть «Феодора», которая такая же дура, как и сам сочинитель.

В ненастное время пернатые певцы скрываются в густоте леса: деревню и дом князя Голицына избрал тогда убежищем один весьма мохнатый певец, известный чудесными дарованиями. Я назвал его певцом мохматым, потому что в поступи его и манерах, в росте и породстве, равно как и в слоге, есть нечто медвежье: та же сила, та же спокойная угрюмость, при неуклюжестве, та же смышленость, затейливость и ловкость. Его никто не назовет лучшим, первейшим нашим поэтом; но, конечно, он долго останется известнейшим, любимейшим из них. Многие догадаются, что я хочу говорить о Крылове.

Он был тогда лет тридцати шести и более двенадцати известен в литературе. Он находился у нас в качестве приятного собеседника и весьма умного человека, а о сочинениях его никто, даже он сам, никогда не говорил. Мне это доселе еще непонятно. Оттого ли сие происходило, что он не был иностранный писатель? Оттого ли, что в это время у нас дорожили одною только воинскою славой? Как бы то ни было, но я не подозревал, что каждый день вижу человека, коего творения печатаются, играют на сцене и читаются всеми просвещенными людьми в России; если бы знал это, то, конечно, смотрел бы на него совсем иными глазами.

Собственное его молчание не может почитаться следствием скромности, а более сметливости: он выказывал только то, что в состоянии были оценить, истинные же сокровища ума своего ему не перед кем было расточать.

Происхождение его мало известно; кажется, он должен быть сыном нового, мелкого, бедного дворянина. Природа сама указала ему путь, на котором он встретился с фортуной; потому-то он мало заботился о службе. Но в России, особливо лет пятьдесят тому назад, никак нельзя было оставаться без чина, и его куда-то записали. Неимущий, беспечный юноша, он долго не имел собственного угла и всегда гостил у кого-нибудь. Таким образом попал он к князю Голицыну и жил у него уже два года до нашей встречи. Он сопутствовал ему в армию в звании частного секретаря, надеялся за границей получить новые впечатления, приобрести новые познания; но неблагоприятный оборот, который взяли дела его патрона, заставил его с ним вместе укрыться в деревне.

В тучном теле его обращалась кровь не столь медленно, как ныне, в нем было более живости, даже более воображения; но уже тогда был он замечателен неопрятностью, леностью и обжорством. В этом необыкновенном человеке были положены зародыши всех талантов, всех искусств. Природа сказала ему: выбирай любое, и он начал пользоваться ее богатыми дарами, сделался поэт, хороший музыкант, математик. Скоро тяжестью тела как бы прикованный к земле и самым пошлым ее удовольствиям, его ум стал реже и ниже парить. Одного ему дано не было: душевного жара, священного огня, коим согрелась, растопилась бы сия масса, пог-



лотившая у нас столь много наслаждений. Мы дивимся, мы восхищаемся тем, что ускользнуло от могущества плоти, что бы мы увидели, если б она могла быть побеждена!

Крылова называют русским Лафонтеном; тот и другой первые баснописцы в своей земле; но как поэт, мне кажется, француз стоит выше. Как он бывает иногда трогателен, увлекателен, например, в басне «Два голубя»! Читая его, никто не спросит: был ли он добрый человек? Всякий это почувствует. Если б о Крылове мне сделали сей вопрос, то я должен бы был отвечать отрицательно. Чрезмерное себялюбие, даже без злости, нельзя назвать добротой; в деяниях Крылова, в его разговорах был всегда один только расчет; в его стихах чистота, стройность и размер, везде ум, нигде не проглянет чувство, а ум без чувства то же, что свет без теплоты. Человек этот никогда не знал ни дружбы, ни любви, никого не удостаивал своего гнева, никого не ненавидел, ни о ком не жалел. Никогда не вспоминал он о прошедшем, никогда не радовался ни славе нашего оружия, ни успехам просвещения; если он и завидовал другим знаменитым современным нашим писателям, то разве втайне; был с ними приветлив, но никогда их не читал, никогда не хотел говорить о их сочинениях. Единственную страсть, или, лучше сказать, что-то похожее на нее, имел он к карточной игре, но и в ней был всегда осторожен и всегда презирал игроков, с коими, однако же, прожил век. Две трети столетия прошел он один сквозь несколько поколений, одинаково равнодушный как к отцветшим, так и к зреющим.

С хозяевами домов, кои, по привычке, он часто посещал, где ему было весело, где его лелеяли, откармливали, был он очень ласков, любезен; но если печаль какая их постигала, он неохотно ее разделял. Если б его спросили, какое слово в русском языке ему кажется нежнейшим, то я уверен, что он бы отвечал: кормилец мой. Что делать! Видно, сердце у него в желудке; из сего источника почерпнул он большую часть своих мыслей, и надобно сказать правду, он им нехудо был вдохновлен.

Тот, кто остается чужд житейских бурь, кто на страсти людей, благородные или пагубные, смотрит с улыбкою презрения, тот не должен иметь их слабостей, а еще менее их предрассудков. Но таковы несообразности в каждом из нас, такое несогласие бывает между рассудком и склонностями, что не сыщется ныне человека, который бы более Крылова благоговел перед высоким чином или титулом, в глазах коего сиятельство или звезда имели бы более блеска. Положим, это следствие господствовавшего прежде мнения, под влиянием коего он вырос, и я очень далек, чтобы видеть тут что-нибудь худое; но зачем же богатство имеет равное право на его почтительную нежность? Отчего же такое жестокое невнимание ко всем, кто обижен не природой, а фортуной? Где же твердый муж? Где же философ? Надобно было видеть в Казацком его умное, искусное, смелое раболепство с хозяевами; надобно было видеть, как он сам возбуждал их к шуткам, как часто в угождение им трунил над собою.

Грустно это вспомнить, а еще грустнее подумать, что на нем отпечатался весь характер простого русского народа, каким сделали его татарское иго, тиранство Иоанна, крепостное над ним право и железная рука Петра. Часто этот народ должен трепетать перед тем, что он презирает, и если Крылов — верное изображение его недостатков, то он же и представитель его великих способностей. В простом языке его, который иногда употребляет он и в разговоре, из простых его изречений схватил он все, что показывает его глубокомыслие, и без лишних украшений, без приправы, составил из них оригинальные стихотворения, как славный повар из простых, но самых свежих припасов готовит вкусный стол, который может удовлетворить прихотям взыскательнейшего гастронома. Подобно восточным стихотворцам, в коих самовластие не могло заглушить таланта, но кои не дерзают явно говорить истину, решился и он ясным мыслям своим, верным наблюдениям дать форму аполога.

Несмотря на свою лень, он от скуки предложил князю Голицыну преподавать русский язык младшим сыновьям его и, следственно, и соучащимся с ними. И в этом деле показал он себя мастером. Уроки наши проходили почти все в разговорах; он умел возбуждать любопытство, любил вопросы и отвечал на них так же толковито, так же ясно, как писал свои басни. Он не довольствовался одним русским языком, а к наставлениям своим примешивал много нравственных поучений и объяснений разных предметов из других наук. Из слушателей его

никого не было внимательнее меня, и я должен признаться, что если имею сколько-нибудь ума, то много в то время около него набрался.

Обхождением ею со мной я был очень доволен; правда, он напоминал мне иногда о почтении, коим обязан я ребятам, молодым князьям, моим товарищам, что мне было весьма не по сердцу; но зато маленькому англичанину Личу при мне говаривал он, что ему не следует забываться передо мной, генеральским сыном.

Чтобы никого не пропустить из нашего деревенского общества, должен я назвать еще два лица: отставного капитана Таманского, побочного сына князя Сергея Федоровича, и живущую у княгини русскую барышню, Прасковью Андреевну, которые ничтожества свои, во время пребывания моего в Казацком, совокупили законными брачными узами.

Нас человек двадцать каждый день садилось за стол, но по праздникам бывало и более двадцати пяти. Казалось, будто мы океаном или непроходимыми горами отделены от других частей мира, и только один раз в неделю, посредством почты, имеем с ним сообщение. Меня уверяли после, будто за нами присматривали; но кажется, кому бы было? Земской полиции мы в глаза не видали, а между нами не было ни одного человека, который бы когда-либо запятнал себя предательством.

Почтовые дни были для нас днями радости. Я знал тогда хорошо по-немецки и с жадностью бросался на гамбургские газеты, которые по прочтении вручал мне князь с одобрительною улыбкой. «Московские Ведомости» не менее тогда были любопытны: не было номера, в коем бы не упоминалось о Суворове. Я шел за ним через Адиг, Требию и По, за ним летел на высоты Альпов и с нетерпением ожидал его в Париже; голова моя горела, сердце билось при чтении блистательных его реляций. Я дома был изнежен и, следственно, труслив; тут откуда взялась бодрость: с восхищением мечтал я об опасностях, стыдился малейшей робости и побеждал ее. Так сильно действуют великие люди, в отдаленнейших от нас местах, на самые низшие классы и на самый нежный возраст.

Слава Суворова отражалась на пославшем его Павле Первом, ослабляла чувство ненависти к нему, утешала угнетенных им, ссыльных, и разливала радостный свет среди скорбной тьмы его царствования. Дерзали даже ликовать, и известия из Киева говорили о беспрестанных там увеселениях.

Тут в первый раз узнал я сладостное чувство любви к отечеству, меня потом никогда не покидавшее; в этот достопамятный для меня год познакомился я с пороками и добродетелями, мне дотоле неизвестными; в уединенном углу России вкусил я от древа познания добра и зла. Скучны были мы настоящими происшествиями; но зато, исключая детей, все были богаты воспоминаниями, и потому-то большая часть разговоров проходила в рассказах. Из разных стран собрались тут образчики разных наций и состояний; с обыкновенным вниманием я все выслушивал, позволяя себе вмешиваться в разговоры, делать вопросы и получал снисходительные и удовлетворительные ответы. Таким образом в самом тесном кругу, в коем прожил я тогда близ года, чрезвычайно расширился круг моих идей.

Например, я узнал между прочим, что знатный род и блестящие связи не только заменяют заслуги и чины, кои они доставляют или должны доставлять, но стоят на высоте, для сих последних недостижимой. Сию веру исповедовали все члены семейства, в коем я жил; из них, кажется, первый князь Федор принял ее в тогдашних петербургских гостиных, куда вывезена была она прямо из Сен-Жерменского предместья статскою советницей княгиней Натальей Петровной Голицыной, урожденной графиней Чернышевой, сестрой фельдмаршалыши Салтыковой. Находясь в Париже во время революции, сия знаменитая дама схватила священный огонь, угасающий во Франции, и возжгла его у нас на севере. Сотни светского и духовного звания эмигрантов способствовали ей распространить свет его в нашей столице. Составилась компания на акциях, куда вносимы были титулы, богатства, кредит при дворе, знание французского языка, а еще более незнание русского. Присвоив себе важные привилегии, компания сия назвалась высшим обществом и правила французской аристократии начала прилагать к русским нравам столь же удачно, как в нынешних французских водевилях маркизы

де-Сенваль и виконтессы де-Жюссак на нашей сцене перерождаются Авдотьями Дмитриевными и Марьями Семеновнами. Екатерина благоприятствовала сему обществу, видя в нем один из оплотов престола против вольнодумства, а Павел Первый даже покровительствовал ему, представляя себе, однако же, право немилосердно тузить его членов, чего французские короли себе позволять не могли.

Не один раз придется мне говорить о сем высоком сословии, не более как с полсотни лет у нас образовавшемся, о преимуществах, коими оно пользуется, о сомнительных нравах некоторых из его членов. Чтобы с некоторою подробностью изобразить его, я хочу дожидаться времени, когда мне дано было почтительно приблизиться к его святыням; сказанное теперь почитаю покамест достаточным. В малолетстве не совсем деликатно давали мне чувствовать его могущество, но оно еще являлось мне, как огромный блестящий фантом, коего образ сокрыт был от меня таинственным покровом, коего не видел я слабых сторон и коего власти не знал я границ.

Барская спесь, с примесью французских предрассудков, делала самохвальство молодых Голицыных иногда несносным. Ни у одного не было дурного сердца, не было даже гордости, но губительное для них впоследствии тщеславие и легкомыслие. Им все еще грезилась тень дедушки Потемкина; из слов их можно было узнать, что они более видят в себе побежденных сильным противником, чем караемых грозным владыкой. С своими слугами они обходились так же просто, как и с живущими у них в доме; эта ласка была такого рода, какая оказывается любимой лошади, собаке или птице. Такой ласки я снести не мог и смею похвастаться, что умел отразить покровительственный тон, который хотели взять со мной молодые люди; с родителями их было дело другое.

Прошло лето, наступила осень, и уже близилась зима; с каждым днем все у нас в деревне становилось мрачнее и печальнее. Заграничные известия сделались менее радостны, уменьшалась быстрота полета Суворова; сколь ни славен был переход его через Альпы, но он отдалял нас от цели; наши французы-роялисты повесили голову, а я чуть не плакал от досады.

Мои родители из Киева отправились в Москву, чтобы быть при родах сестры моей Алексеевой, которая в октябре благополучно и разрешилась сыном Александром. Это известие меня обрадовало и возгордило: в первый раз я сделался дядей.

К концу года приготовились для меня новые перемены в жизни. Тайный иезуит, аббат Николь, завел в Петербурге аристократический пансион. Он объявил, что сыновья вельмож одни только в нем будут воспитываться; и не столько с намерением затруднить вступление в него детям небогатых состояний, сколько из видов корысти положил невероятную плату: ежегодно по 1500 рублей, нынешних шесть тысяч. Обстоятельства способствовали успехам сего заведения, которое находилось у Обухова моста, на Фонтанке, рядом с великолепным домом князя Юсупова. Супруга его, княгиня Татьяна Васильевна, отдала сына своего к аббату Николу, коего чрезвычайно поддерживала; будучи сестрою княгини Голицыной, она письменно и ее убеждала прислать туда же младших сыновей своих, на что последняя долго не изъявляла согласия. Но как невозможно было наконец не подметить безнравственности г. Ролена, так как совестились ему прямо отказать и затруднились в приискании ему преемника, то и решились отправить мальчиков в Петербург. О сем намерении уведомили также и моих родителей, возвращавшихся тогда из Москвы.

Едва успели они воротиться, как прислали за мной доверенного слугу. Исключая Михаила Голицына и учителя Керлери, я расстался почти без всякого сожаления с людьми, с коими, казалось, одна свычка должна уже была меня связать; не меня винить надобно, а их равнодушие даже между собою, даже друг к другу. В самое Рождество, отужинав, простился я со всеми довольно холодно и пошел к себе спать с тем, чтобы до света выехать. Странное дело! Лишь только пришел в свою комнату и стал раздеваться, как мне сделалось грустно. Так после со мною бывало и везде, особенно там, где люди не оказывали мне и не возбуждали во мне большого участия: вместо их родился я с местами и их только покидал как друзей. Менее суток пробыл я в дороге и далеко за полночь, когда уже у нас все спали, приехал я в Киев.

Когда поутру увидели меня родители, то едва могли узнать: так много с небольшим в десять месяцев изменилась моя наружность. Они оставили меня отроком, я предстал им юношей. Я похудел, я вытянулся как спаржа; в теплице порока насильственно и быстро я созрел.

Они не знали, что со мной делать: мои лета требовали еще продолжения учебных занятий, мой рост и тогдашние обычаи делали меня годным для службы. К тому же им жаль было со мной расстаться; из многочисленного семейства находился я при них тогда почти один, ибо старшая сестра и старший брат остались гостить у замужней сестры в Москве, а средний брат поехал в Петербург попытаться войти опять в службу.

В звании военного и гражданского чиновника вместе обер-прокурор Александр Андреевич Беклешов, дабы в глазах государя облагородить одно звание другим, предложил ему составить новый пехотный полк под именем Сенатского и его назначить шефом того полка; не ограничивать числа вступающих в него подпрапорщиков из дворян, а сим последним в одно время преподавать законоведение и учить их фронтовой службе. Сия мысль была довольно курьезна, чтобы полюбовиться Павлу Первому, и она немедленно была приведена в исполнение. Брату моему, находившемуся тогда в Петербурге, поручил Беклешов написать к моим родителям, чтоб они прислали меня к нему для определения в этот полк и не заботились потом о моей судьбе. Выгоды казались очевидны, и только ожидали случая, чтоб отправить меня в Петербург.

Одно поразило меня тогда в Киеве: новые костюмы. Казня в безумстве не камень, как говорит Жуковский о Наполеоне, а платье, Павел вооружился против круглых шляп, фраков, жилетов, панталон, ботинок и сапогов с отворотами, строго запретил носить их и велел заменить однобортными кафтанами с стоячим воротником, трехугольными шляпами, камзолами, коротким нижним платьем и ботфортами. В столицах уже давно успели привыкнуть к сей уродливости, в провинциях позже, а к нам в деревню или приказание не дошло, или оно в ней не исполнялось. И мне все платье пришлось перекроить, ибо уже года два ходил я в галстук и снял куртку.

В первых числах февраля княгиня Варвара Васильевна прислала к нам в дом двух сыновей своих, Павла и Александра, чтобы всем нужным запастись для дальнейшего пути. Сих законных сыновей князя Голицына привез в Киев незаконный сын его Таманский, он должен был сопровождать их до самого Петербурга. Вот и удобный случай меня отправить; им воспользовались, наскоро меня снарядили и поручили попечениям и надзору г. Таманского.

Этот раз поехал я уже без всякого восторга, с одним только чувством горести. В чужбине так мало испытал я радостей, что в будущем ничего не смел себе приятного обещать. В виду у меня были двойные занятия и военная служба, в которой, как уверяли, дворяне, не имеющие офицерского чина, не избавлялись тогда от телесных наказаний. Зима была ужасная и продолжительная; мы сидели закутанные в крытых кибитках и света божьего не видели. Но нас было четыре мальчика, сорвавшихся с узды: двое Голицыных, англичанин Лич и я, а над нами Таманский, которого никто не слушался, на которого никто из нас не хотел глядеть. В такой веселой компании скоро можно было забыть горе: Таманский рассчитывался, расплачивался, суетился, а мы, без забот, даже без замечаний, скакали день и ночь, меняли лошадей, а на станциях только что проказничали и резвились: последний раз в жизни был я ребенком!

В одном только Витебске чрезвычайная стужа заставила нас остановиться на сутки, чтоб отдохнуть и обогреться. В Порхове узнали мы от одного проезжего, что Беклешов отставлен и уже уехал из Петербурга. «Что же Сенатский полк?» — спросил я у проезжего. «Переименован в Литовский, — отвечал он, — у Сената нет уже гвардии: один государь может ее иметь». «Что же со мной будет?» — подумал я и тяжело вздохнул.

Наконец, 18 февраля 1800 года, поутру в Гатчине едва выпив чашку чаю второпях, к полдню в первый раз я увидел Петербург и поселился у брата.

Были мы вхожи в дом одного приятеля наших родителей, если только Никита Иванович Пещуров мог быть кому-нибудь приятелем. Он веровал в одно только могущество при дворе; любимцы царей, любимцы вельмож и их любимцы составляли его Олимп, небесную иерархию,

которой он униженно кланялся. Что всего страннее, он не был честолюбив, не искал власти, а любил ее в других; ему нужно было молиться, и как праздные женщины, которые в Москве всякое утро таскаются от часовен к соборам и от приходских церквей к монастырям, так и он, прежде нежели отстраниться к должности, любил возить набожность свою по приемным. За других он никогда не хотел просить, а за себя очень редко. Он ездил без всякой нужды; просто приедет, подождет; выйдет боярин, скажет: «Здравствуй, братец Никита Иванович, каков ты?» — а он с благодарностью поклонится, слава, мол, Богу, и потом на целый день доволен, а когда пригласят откушать, то и совершенно счастлив. Говоря всегда с восхищением о сильных, он никогда не позволял себе злословить падших, в ожидании, что они когда-нибудь восстанут; он не шел против них, а почтительно и молчаливо их убегал: это была в одно время и врожденная, и систематическая, и самая откровенная, и самая утонченная подлость. Генеральский чин нашего отца, который в то время предполагал некоторые важные связи, давал нам право на его улыбку, по крайней мере на ласковый, рассеянно-покровительственный его прием.

О жене его говорить мне не хочется; низкие пороки между женщинами, худо образованными, в это время встречались нередко; вино согревало и веселило тогда женские сердца чаще, чем любовь. С двумя сыновьями его, тогда офицерами Семеновского полка (меньшой убит в Фридрихланде, а старший был впоследствии губернатором в Пскове), я сблизился, несмотря на разность наших лет. Как все молодые люди того времени, они были образованы для света и для военной службы, но и в том не имели ничего блестящего. Они были со всеми отменно вежливы, а ко мне особенно внимательны. Я много им обязан тем, что не совсем праздно провел тогда время в Петербурге: они ссудили меня новыми «Новостями» Флориана, и я перевел их на русский язык, но как? Это бы мне любопытно было теперь знать. Я полагаю, что этот перевод не существует; ибо мой брат, который был не великий литератор, хотя любил чтение, нашел, что он достоин быть напечатан, и с этим намерением взял его к себе, а потом затерял.

Странный был состав маленькой библиотеки молодых Пещуровых, особливо для офицеров: полное собрание сочинений Флориана, все творения Дората, маленький том Буффлера, Театр Мариво, письма к Эмилии о мифологии г. Демутье, Шолье и Лафар, Бернис и Жанти Бернар; все легкое, розовое, амурное, ни одной военной, ни одной русской книги. Вместе с версальскими предрассудками вошла у нас в моду и французская литература; в высшем обществе знали наизусть классических ее авторов и век Людовика XIV ставили выше веков Августа и Перикла: знатные дамы с восхищением читали Массильйона и Бурдалу, и некоторые из них аббатами приготовлялись уже к восприятию католицизма; полупросвещенные повесы проповедовали безбожие и клялись Вольтером и Дидеротом; чувствительные юноши, женщины, принадлежащие ко второстепенным обществам, и молодые литераторы, также чуждые высшему кругу, пленялись нежностями, мадригалами, гримасными улыбками мелких французских писателей. Духом сего времени созданы Измайловы и Шаликовы с их отвратительною чувствительностью.

Третий дом, нами посещаемый, был полуаристократический, не по знатности, не по тону, а по богатству, по связям, а еще более по претензиям. Мой брат учился в пансионе вместе с одним молодым Демидовым, свел и сохранил с ним дружбу и сделался домашним у его родителей. Потомки знаменитого кузнеца, во дни Петра Великого открытием руд и усовершенствованием железных работ стяжавшего столь великое богатство, что каждая из раздробленных между многочисленными его правнуками частиц составляет еще миллионы, потомки сии почти все отличаются железным упрямством и удивительными причудами. Внук сего Акинфия Демидова, Петр Григорьевич, отец товарища моего брата, тот самый, к которому мы ездили, если всех их не превосходил странностями, то никому и не уступал. Я скажу только о тех, кои в глазах света казались смешными, а по моему мнению, ему делают честь.

Около тридцати лет был он тогда уже женат. Заведенный им порядок с тех пор ни на волос не изменялся, и сей порядок, кажется, существовал еще в доме его отца и деда. В убранстве комнат, в обычаях, в распределении времени, во всем было заметно нечто голландско-немецкое. Сверх нижнего жилья, одноэтажный каменный дом его в Большой Мещанской сохранил

еще и поныне старинный свой фасад. Несколько узких длинных комнат сего дома были назначены для приема гостей; гораздо же большее число внутренних, как сердце г. Демидова, открывалось только задушевным его друзьям. Все они были с прочными сводами, украшены лепными изображениями; стены одних были завешаны множеством хороших и дурных картин, в других они были составлены из изразцов, в иных видна была дубовая резная работа; столовые и стенные часы, люстры, все мебели одни другим соответствовали: везде встречались опрятность и роскошь Монплезира и маленького Екатерингофского дворца. Одна из комнат была убрана китайскими шелковыми обоями; она называлась чайною, и в шесть часов вечера, не позже, разливали в ней сей горячий напиток, разводили огонь в камине и гостям мужского пола подавали каждому по маленькой белой трубке с табаком: обычай, который, конечно, ни в одном порядочном петербургском доме тогда встретить было невозможно.

Из сего можно видеть, что Петр Григорьевич чрезвычайно любил старину. Одни седины и морщины давали право на его приветливость; на молодых людей, даже на молодых женщин, он не обращал ни малейшего внимания. Ими с большею любезностью занималась супруга его, Екатерина Алексеевна, урожденная Жеребцова. Родной брат ее был женат на известной некогда в Петербурге Ольге Александровне (она принимала большое участие в подготовке убийства Павла Первого), родной сестре князя Зубова, любимца Екатерины; родная же племянница г. Демидова была замужем за одним графом Головкиным, а родной племянник, также Демидов, женат на княжне Лопухиной, родной сестре княгини Гагариной, любимицы Павла Первого. Столь знатное родство, посещавшее сей дом, давало ему некоторый блеск; но странности, в нем встречаемые, всегда удаляли от него цвет тогдашнего лучшего общества.

Странная мысль вошла тогда брату моему в голову. Он никогда не бывал в доме у Григория Александровича, племянника г. Демидова, а с молодою, прекрасною, меланхолическою женой его, которую муж ревновал к целому свету, редко имел случай разговаривать. Ему показалось, впрочем, весьма безосновательно, будто она к нему неравнодушна. Желая казаться более интересным и воспользоваться мнимым ее хорошим расположением, он стал описывать ей братскую ко мне любовь и нежные попечения о моей участи. Женское ли самолюбие, которое дало угадать сильное впечатление, сделанное на человека, хотя не красивого, но молодого, смелого и пылкого, просто ли доброта женского сердца возбудили в ней сострадание к бедному мальчику, но она сама вызвалась говорить обо мне графу Растопчину, министру иностранных дел, и сдержала слово. Трудно было тогда отказать в чем-нибудь сестре княгини Гагариной, и министр через нее велел мне подать просьбу об определении в службу.

Запрещение принимать в гражданскую службу молодых дворян все еще существовало, но из сего правила сделано было изъятие для дипломатической части. Дозволено было при иностранной коллегии иметь двадцать человек юнкеров 14 класса и десять при московском ее архиве, дабы таким образом ограничить число привилегированных юношей. Легко себе можно представить, как много было желающих занять такие места и какое нужно было покровительство, чтобы получить их.

Вместе с двором находился тогда граф Федор Васильевич Растопчин в Петергофе. Надобно было лично подать ему просьбу, и одним утром мы отправились туда с братом в наемных дрожках. Этой поездки я век не забуду. Страх был во мне сильнее радости. Я видел много вельмож, ласкавших мое отрочество, робеть мне, казалось, было нечего; но во всех официальных действиях и отношениях при Павле был сокрыт какой-то тайный ужас, и приближенные его, подобно ему, прослыли грозными. День был прекрасный, воздух жаркий, но беспрестанно прохладяемый ветерком, дующим со взморья. Петергофская дорога, по которой ехал я в первый раз, была тогда, в окрестностях столицы, единственное место, где богачи всех сословий проводили лето, люди же других состояний такой прихоти себе не позволяли и жили все в городе. Двадцать шесть верст почти непрерывно тянулась предо мною двойная цепь красивых дач, ныне в развалинах или обращенных в фабрики, дворцы, барские палаты, киоски и пагоды, монументы, местами каскады и фонтаны, каналы и затейливые через них мостики; целые рощи цветов, украшающие крыльца и балконы, попеременно мелькали пе-

редо мною, и я с жадным вниманием смотрел на все то, чем искусства и произведения чуждых нам климатов так удачно прикрывают уродливую петербургскую природу. Я был очарован, переходил от изумления к изумлению и во всю дорогу забыл и горе свое и свои надежды.

На заставе у Петергофа должен был я о том вспомнить. Караульный офицер посмотрел на нас с видом подозрительным, спросил наши имена, зачем мы приехали и долго ли пробудем; и записав все это, потребовал, чтобы мы долее назначенного нами времени не оставались. Растопчин жил в деревянных, так называемых кавалерийских домиках, близко от дворца, и чтобы сколь возможно миновать сие место ужаса, мы, оставя дрожки наши где-то в поле, старались пробраться оконечностью нижнего сада. Когда мы пришли, то нас ввели в небольшую комнату и, оставя в ней одних, тотчас пошли об нас докладывать. Мы дожидались недолго: отворилась дверь, и вышел граф Растопчин, с видом довольно угрюмым. Зверообразное, калмыковатое лицо его и свирепый взгляд, когда он бывал невесел, должны были в каждом производить страх. Брат мой назвал госпожу Демидову, а у меня чуть не подкосились ноги, когда я безмолвно подал просьбу. Приняв ее, министр сказал только: «Хорошо, посмотрим»; и мы, поклонясь, тем же путем отправились обратно в Петербург.

Не прошло двух дней после того, как мы получили грозное письмо от родителей. Пятимесячное пребывание наше в столице становилось для них тягостно; они делали всевозможные пожертвования, чтобы содержать нас прилично, но брат мой, как сказал я где-то выше, был более чем нерасчетлив и наделал долгов. Не видя никакого успеха в моем определении, наш отец решился приказать нам немедленно оставить Петербург и отправиться в Москву к зятю и сестре, чтоб отдать меня там в Екатеринославский кирасирский полк, тогда называвшийся именем шефа своего, фельдмаршала графа Салтыкова. Делать было нечего: малейшее отлагательство в исполнении родительской воли казалось делом невозможным, а согласие, изъявленное графом Растопчиным, весьма походило на отказ.

Сборы наши были недолги; несколько дней спустя, с двумя слугами, сели мы в две телеги и на перекладных поскакали в Москву.

Прежде нежели оставлю я Петербург, молодой город, который тогда не праздновал еще и первого своего юбилея, мне хочется вкратце описать его и дать понятие о тогдашнем его состоянии; читатели не только простят мне сие, но, может быть, и поблагодарят за то. Все уверяют, будто, после двадцатилетнего или даже десятилетнего отсутствия, никто не может узнать Петербурга. Сие могло быть справедливо при Екатерине; но при ней сделано в нем все основное; перемены же, которые с тех пор последовали, суть только прибавления к целому (*accessoires*). К несчастью, она усвоила себе гибельную мысль Петра Великого, развила ее и, так сказать, осуществила. Все творения ее носят печать вечности, и город сей, который тридцатипятилетними ее стараниями возвысился и распространился, город, которым щеголяет Россия, забывая, что кости сотен тысяч наших братии, погибших при ископании сей бездны, служат ему основанием, сей город простоит в велелепии столь же долго, как и слава царства русского. Без Екатерины он скоро потонул бы в болоте, среди коего возник. В моих глазах он как здание, которое, близ сорока лет тому назад, увидел я в первый раз совсем оконченным, но коего некоторые только части не были совсем отделаны и из коих многие потом изукрасились. Главные примечательнейшие строения тогда уже существовали и почти в таком же виде, в каком находятся и поныне: дворцы — Зимний, Аничковский, Мраморный, Таврический, три академии, Большой театр; кадетские корпуса, церкви — Спаса на Сенной и Николы морского; стены Петропавловской крепости и берега Невы, Фонтанки и Екатерининского канала были уже выложены гранитом, решетка Летнего сада уже изумляла красотой. Михайловский, что ныне Инженерный, замок тогда достраивался.

Ничто так меня не прельстило в Петербурге, как театр, который увидел я первый раз в жизни; ибо в Киеве его не было, а в Москве меня туда еще не пускали. Несколько о том слов будут здесь не лишние. Русской труппы я тогда не видал или, лучше сказать, о ней и не слышал, и название ни одного из актеров мне не было известно; знающих по-французски в сравнении с нынешним временем не было и десятой доли, и отличающимся знанием сего языка было

бы стыдно, если бы их увидели в русском театре: он был оставлен толпе приезжих помещиков, купцов и разночинцев. Тощий наш репертуар ей казался неистощим; без скуки и утомления слушала она беспрестанно повторяемые перед ней трагедии Сумарокова и Княжнина; национальные оперы: «Мельник», «Сбитеньщик», «Розана и Любим», «Добрый солдат», «Федул с детьми», «Иван Царевич» лет двадцать сряду имели ежегодно от двадцати до тридцати представлений. В это же время переведенные с итальянского оперы придворного капельмейстера Мартини «Редкая вещь» и «Дианино Древо» начали знакомить нашу публику с хорошею музыкой, а комедии фон-Визина чистить вкус и нравы. Сему вкусу, однако же, угрожала порча от драматических произведений Коцебу, коими переводчики наводнили тогда наш театр.

Когда брат бывал мною доволен, что случалось весьма редко, то брал с собою во французский театр. Так как кресел было тогда не более двух рядов, то обыкновенно все ходили в партер, куда за вход платили только по одному рублю. Всего удалось мне видеть спектакль три раза, и, следственно, награды мне за хорошее поведение стоили не более трех рублей медью. В первый раз играли комедию «*Le Vieux Célibataire*» [«Старый холостяк»], как бы в предзнаменование моей будущей судьбы. Я не в состоянии был судить об искусстве, и потому-то, вероятно, чудесная игра г-жи Вальвиль не могла примирить меня с ее безобразием; старый Офрен играл старого холостяка и для этой роли мне показался слишком стар; он был знаменитый трагический актер: комедия была не его дело. Несмотря на все это, я не дышал во время представления, боялся проронить слово; новое удовольствие, которое ощутил я тогда, было столь сильно, что в этот вечер дал я себе слово не пропускать спектакля, коль скоро позволено мне будет располагать собою и своим карманом.

От второго представления, которое я видел, я было совсем сошел с ума. Давали оперу Гретри «*Прекрасная Арсена*», коей музыка и тогда была не весьма новая, но всех еще восхищала. Оркестр, богатые костюмы, декорации, превращения, все меня очаровало, но более всего мадам Шевалье — красавица, столь же славная певица, как и актриса. Когда она запела: *et je règnerai dans les cieux* [и я буду царствовать на небесах], мне казалось, что она меня туда за собою увлекла. В последний раз видел я вторично эту сирену в маленькой опере «*Le Prisonnier*» («Пленник»); ничего не могло быть милее, и ни одна актриса меня с тех пор так не пленяла. После оперы был балет или дивертисмент, утвердительно сказать не могу; помню, что были пастухи и пастушки, гирлянды и амуры. Были две молодые танцовщицы, которые в то время друг у друга оспаривали пальму первенства и на которых смотрел я с большим удовольствием, даже тотчас после Шевалье. Одна из них, француженка, Роза Колинет, вышла потом замуж за известного балетмейстера Дидло и, кажется, еще и поныне находится в живых; другая — русская, Берилова, более известная под простым, нежным названием Настеньки, воплощенная грация, которая через год или два после того увяла цветком. Я никогда не был великий охотник до балетов и всегда полагал, что лишь язык может говорить уму и сердцу, а одни прыжки и телодвижения говорят только чувственности, и сего рода наслаждения я никогда не искал на сцене. Привязанность графа Кутайсова<sup>9</sup>, женатого человека и отца семейства, к г-же Шевалье и щедрость его к ней казались многим весьма извинительными; но влияние ее на дела посредством сего временщика, продажное ее покровительство, раздача мест за деньги всех возмущали. Уверяли, будто Кутайсов ее любовью делился с господином своим Павлом I, будто она была прислана сюда с секретными поручениями от Бонапарте, что подвержено сомнению, ибо он был еще в Египте, когда она в Россию приехала; но впоследствии, будучи уже первым консулом республики, мог он употребить ее как тайного агента. Как бы то ни было, но она почиталась одною из сильных властей государственных; царедворцы старались ей угождать, а об ней, о муже ее, плохом балетмейстере, и о брате ее, танцовщице Огюсте, говорили как о знатном семействе; а когда она в гордости своей воспротивилась браку сего Огюста с дочерью актера Фрожера, то находили сие весьма естественным. Она все реже и реже стала являться публике, как бы гнушаясь городским обществом и сберегая

<sup>9</sup> Граф Кутайсов до конца (ум в 1830 г. от холеры) носил на груди вместе с образками портрет г-жи Шевалье (слышано от Прасковьи Николаевны Барановой).



прелести лица своего и таланта для одного двора, на театре Эрмитажа. Следующей зимою пожаловали мужа ее прямо коллежским асессором; тогда ее высокоблагородие, говорят, совсем перестала показываться.

В Петербурге был тогда один только театр, Большой или Каменный, близ Коломны; ибо манеж, отведенный для немцев в доме Ланского, ныне Главного штаба, на Дворцовой площади, сего имени не заслуживает. Русские, французы и итальянцы играли попеременно на Большом театре; первые обыкновенно по воскресеньям и праздничным дням, когда торговый народ, который весь почти у нас русский, ничего не делает, и он-то поддерживал национальные представления. Ремесленный же класс, всегда состоящий здесь из расчетливых немцев, охотно, за весьма умеренную цену, ходил слушать на сцене Ифланла и Коцебу; общество и образованные иностранцы наполняли французский театр. Но откуда брались слушатели для итальянской оперы, когда и теперь еще у нас так мало дилетанства? И что всего удивительнее, первая итальянская труппа была выписана при Елисавете Петровне, когда еще не существовало ни французского, ни немецкого здесь театра, а русский был еще в пеленках. Как тогда, так и теперь музыка у нас роскошь, в Италии — потребность, в Германии — наука. Представления итальянских опер были весьма редки; со всем тем, как уверяли, чудесный голос Павла Мандини гремел, и волшебные звуки Маджиорлетти раздавались часто в пустой почти зале.

Я хотел сказать несколько слов о театре и написал три страницы о любимом предмете. Кто, не посвящая себя литературе и музыке, подобно мне, страстно их любит и имел много праздного времени, тот в хорошем театре находит свое блаженство. Я тогда едва хлебнул только от чаши наслаждений, которая потом так упоила мою молодость.

Но пора оставить Петербург; я слишком долго прощаюсь с ним, хотя и не на долгое время.

Первая молодость сливается с телегой в воспоминаниях всех русских моих современников; ни дорожного, ни домашнего комфорта мы столько не знали, как нынешние молодые люди. Недавно остроумнейший из наших стихотворцев Петр Андреевич Вяземский, в 1838 году украсил тележную езду всею прелестью поэзии; трогательная шутка его расшевелила мне сердце до самой глубины. Улыбаясь сквозь слезы, читал я прекрасные его стихи к Орловскому о былом мучении, которое мы так весело выносили. Мне казалось, он описывал первую поездку мою из Петербурга в Москву. Все нашел я тут: и вихрю подобный бег тройки, и ловкость ухарского ямщика, и шляпу его, украшенную даровою лентой, и руку его, вооруженную вдохновительным кнутом, и русоколых красоток, коими любовался, несмотря на боль моих ребер. Ни я, ни он, хотя меня моложе, добровольно не согласились бы теперь без памяти и скакать и прыгать по крупным камням и мелким бревешкам тогдашней мостовой, а вспоминать о том, право, приятно!

Первую ночь я никак не мог уснуть от быстроты и силы движения, в коем находился; на другую ночь довольно крепко заснул, а третий день, при беспрестанных толчках, почти весь проспал преспокойно. Конечно, я с нетерпением ожидал конца того, что почитал моею пыткой; однако же любопытство, коим я одарен или одержим, как угодно, не позволяло мне ни единого предмета пропустить без особого внимания: ни башен и куполов древнего Новгорода, ни Валдайских гор, ни девок и баранок, ни Вышневолоцких шлюзов, ни сафьянных изделий Торжка, ни улиц Твери, по указу и шнуру выстроенных.

Мы спешили приехать в Москву 20 июля, день именин нашего зятя, а прибыли только 21-го перед рассветом, и ни его, ни сестры не нашли в городе: они были это время в подмосковной графа Салтыкова. Я и забыл сказать, что зятя моего произвели в полковники и что вслед затем не без причины он был отставлен от службы. Государь прогневался на графа Салтыкова, который младшую дочь свою выдал за графа Орлова, родного племянника ненавистных ему Орловых. Он без церемонии отставил бы его, но был удержан уважением к графине, которая, как одна из пожилых дам, внушала ему к себе почтение и которая приезжала в Петербург ходатайствовать за мужа. Но чтобы каким-нибудь образом показать ему свою

немильность, отставил он его адъютантов. И так, бедный Алексеев несколько времени должен был жить одною помощью своего бывшего начальника.

Я увидел Москву с великим удовольствием, как старую знакомку; один Киев тогда почитал я родным местом. Мы въехали на квартиру зятя и сестры, которые сохранили ее, по милости главноначальствовавшего в Москве, в том же самом загнутом флигеле казенного Тверского дома, где жили и прежде.

В один вечер, между разговорами, сестра не скрыла от графини Салтыковой опасений своих насчет моей участи, находя, что незаметно было во мне ни охоты, ни способностей к тому роду службы, который принуждены были для меня избрать, и упомянула о неудачной попытке у графа Растопчина. Услышав его имя, графиня воскликнула: «Зачем же вы мне прежде не сказали! Ведь мы с ним большие друзья: он мне ни в чем отказать не может; завтра же пишу к нему».

Разумеется, что с просьбою к полковому командиру мы приостановились. Ответ графа Растопчина не заставил себя долго ждать: мы получили его с небольшим через неделю. Вот содержание его письма: «Покровительствуемый-де вами давным-давно определен в число юнкеров, при коллегии положенных, но доселе неизвестно было, куда он девался; если вам непременно угодно его иметь в Москве, то хотя в архиве комплект уже наполнен, я беру на свою ответственность перевести его туда сверх штата».

В самый день именин сестры моей, 26 августа, графиня Салтыкова прислала ей письмо министра вместо подарка; лучшего она ей сделать не могла. Повезли меня к обедне, отслужили молебен, послали за портным, заказали мне мундир, созвали кого успели из приятелей и в два часа пополудни сели пировать. На другой день поручили господину Яковлеву, чиновнику почтамта, представить меня господину Бантышу-Каменскому, его старинному знакомому, а моему новому и первому начальнику. Бумага обо мне еще не была получена, и только в первых числах сентября начал являться я на службу в московский архив коллегии иностранных дел.

Эти две недели был я в беспрерывном восторге: я пользовался всеми выгодами службы, не подозревая ни одной из ее неприятностей. Мне принесли мундир. Я не знал, что делать; прежде нежели облекся я в сию одежду мужа, *gobe virile*, мне хотелось расцеловать ее. Я пошел благодарить графиню Салтыкову, которую в первый раз увидел и вблизи; она обласкала меня и даже поцеловала с чувством содеянного благодеяния, а на другой день, уже как юношу, прислала пригласить обедать. Дома в шутку величали меня благородием, а я не шутя тем гордился. Не один только чин 14 класса возвышал так меня в глазах моих; всякое звание имеет только ту цену, которую дает ему общее мнение; а молоденькие децемвиры [члены правительственной коллегии в Древнем Риме] архива, коллегии юнкера, казались существами привелигированными. В московских обществах, на московских балах архивные юноши долго, очень долго заступали место екатерининских гвардии сержантов и уступили его, наконец, только числу нынешних камер-юнкеров.

Никакая эпоха так живо не осталась в моей памяти, как первые месяцы по вступлении моем на службу. Никогда еще, ни прежде, ни после, не встречал я сближения таких противоположностей, соединения таких странностей, как в первом месте моего служения.

В одном из отдаленных кварталов Москвы, в глухом и кривом переулке, за Покровкой, старинное каменное здание возвышается на пригорке, коего отлогость, местами усеянная кустарником, служит ему двором. Темные подвалы нижнего его этажа, узкие окна, стены чрезмерной толщины и низкие своды верхнего жилья показывают, что оно было жилищем одного из древних бояр, которые, во время Петра Великого, держались еще обычаев старины. Для хранения древних хартий, копий с договоров ничего нельзя было приискать безопаснее и приличнее сего старинного каменного шкапа, с железными дверьми, ставнями и кровлею. Все строение было наполнено, завалено кипами частью разобранных, частью неразобранных старых дел: только три комнаты оставлены были для присутствующих и канцелярских.

В мрачном сентябре предстал я в мрачной хранилище пред мрачного старца, всегда сердитого и озабоченного. Он позвал какого-то худощавого, безобразного человека, с отвислою, распух-

шею нижнею губою в нарывах, и указал ему на меня. Тот меня усадил в той же комнате против самого брюзги-начальника и зачем-то ушел. Прежде нежели он воротился, сделался я, как новичок, предметом любопытного, но непродолжительного внимания моих новых товарищей. Скоро притащил безобразный человек тетрадь чистой бумаги и огромный пук полуистлевших столбцов, наполненных мертвыми для меня буквами, в чистых обертках с нумерами и надписями о их содержании, и велел надписи сии переписывать в тетрадь. Работа нетрудная, но всякий день это делать и видеть то, что я увидел, мне показалось тяжело. Тоска уже мной овладела, как вдруг легкий, но внятный шепот начал пробегать по всей комнате. Я стал прислушиваться; отрывистый, шуточный, довольно умный разговор окружившей меня молодежи оживил меня и изумил. С первого взгляда все лица мне показались печальны, и в таком месте я не ожидал ни встретить улыбки, ни услышать веселого слова. Тихие вокруг меня звуки голосов мне были столь же приятны, как шум живого, игривого ручейка среди могильного молчания. Но я скоро заметил, что разговаривающие не смеют ни поднять головы, ни возвысить голоса.

Наш начальник имел несчастье лишиться слуха от побоев разъяренной черни, когда она, во время чумы, вломившись в комнаты родного дяди его, московского архиепископа Амвросия Зертыс-Каменского, убила мудрого своего пастыря. Из уважения к памяти сего мученика приложил он русское фамильное его имя к своему молдавскому прозванию. Дед его, Константин Бантыш, при Петре Великом прибыл в Россию в свите князя Кантемира, а отец вступил в службу и женился на его матери, священнической дочери Каменской, сестре убитого архиерея.

Итак, он был глух. Люди, одержимые сим недугом, бывают обыкновенно подозрительны, в каждом движении губ видят они предательство. Вот почему Николай Николаевич, управлявший архивом, не любил, чтобы при нем разговаривали: прилежание к делу, которого было так мало, служило ему предлогом требовать всеобщего молчания. Сейчас мы видели, как исполнялись в этом случае его приказания.

В помощь к г. Бантышу-Каменскому, управлявшему архивом, дан был Алексей Федорович Малиновский в звании канцелярии советника или младшего члена. Лет двадцать моложе его, сей последний был у нас представителем новейших времен. Он был, уже без примеси, русского и духовного происхождения. [Его брат Василий Федорович Малиновский был первым директором Царскосельского лицея, где учился Пушкин.]

Из сослуживцев моих одни часто будут встречаться мне в жизни, с другими, оставив архив, я мало имел сношений. Говорить о первых буду иметь много случаев, а изображение последних представит мало занимательного. По большей части все они, закоренелые москвичи, редко покидали обширное и великолепное гнездо свое и преспокойно тонут или потонули в неизвестности. Ни высокими добродетелями они не блистали, ни постыдными пороками не запятнались; если имели некоторые странности, то общие своему времени и месту своего жительства. Мне, однако же, весьма памятны сильные впечатления, которые оставили во мне некоторые из моих товарищей, и я не могу упустить, чтобы не описать их.

К старшему сыну моего главного начальника, уже надворному советнику и весьма зрелому молодому человеку, я почувствовал омерзение при первых словах, которые обратил он ко мне. Не краснея, нельзя говорить об нем; более ничего я не скажу: его глупостию, его низостию и пороками не стану пачкать сих страниц. Меньшой сын, Димитрий, едва выходил из детства; между нами он прослыл дурачком. С тех пор сделался и литератором, и компилятором, и губернатором; но многие еще и поныне разделяют ребячье наше мнение об нем<sup>10</sup>.

Двое братьев Евреиновых, взрослые молодые люди, о коих я уже упомянул, жили в большом свете, ко всем знатным ездили на балы. Голова вскружилась у них от сего счастья; они бредили им и часто, с самодовольным состраданием, рассказывали мне о том, стараясь, но тщетно, возбудить во мне зависть.

<sup>10</sup> Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский имел немалые заслуги в русской исторической науке. Его история Малороссии долго была одним из лучших сочинений и этой области. Некоторые его работы переведены на главные европейские языки. Старший его брат, В. Н., был заточен в монастырь за мужеложство — порок, которым страдал и Вигель, не желавший «пачкать сих страниц» его именем.

Что не могли братья Евреиновы, то сделали братья Булгаковы. И было чему позавидовать! Два красавца, лет по двадцати, сыновья знаменитого и чиновного человека, неоднократно прославившегося в посольствах, Якова Ивановича Булгакова, пред всеми своими сослуживцами брали неоспоримое первенство как в архиве, так и в обществах. Они родились в Константинополе от чужестранной матери, которая, к несчастью их, не имела тогда мужа. И они носили на себе отпечаток Востока. Старший, Александр, имел лицо более нежное и веселое, выражавшее одну чувственность сладострастия, что на молодом лице весьма не противно; меньшей, Константин, был одарен красотой мужественной и тогда уже смотрел на женщин с видом скромного победителя, как бы приглашая их к безопасному падению. С самой колыбели сии братья были связаны теснейшею дружбой: одно прекрасное чувство, коим могли они хвалиться. Действуя заодно, к достижению желаемого употребляли двойные силы и каждым успехом вдвойне наслаждались. Но старший должен был чаще заимствовать помощь у младшего, который в высшей степени владел искусством, немногим тогда известным: он имел то, что французы называют *aplomb* и что по-русски не иначе можно перевести, как смешение наглости с пристойностию и приличием. И ум, и любезность, и знание, и добродушие — все им приписывалось и старыми, и молодыми, и мужчинами, и женщинами; а они имели одну только наружную красоту. Сколько раз потом, в продолжение жизни моей, готов я был, глядя на них, воскликнуть, как Ипполит о Федре: «Боги, кои знаете их и награждаете, неужели за добродетели!» Но Бог любви незаконной не награждает, а только всегда покровительствует родившихся под его владычеством и беззаконный их путь усеивает успехами. По неопытности моей и я некогда веровал в их совершенство.

Другой юноша, о коем похвалы не гремели в московских гостиных, цвел тогда уединенно в семейном кругу и украшал собою молодое наше архивное сословие. Андрей Тургенев, со всею скромностию великих достоинств, стоял тогда на распутии всех дорог, ведущих к славе: какую ни избрал бы он, можно утвердительно сказать, что он далеко бы по ней ушел. Но из отличных людей провидение сохраняет только нужное число для его благотворных видов; остальные гибнут рано, и старший Тургенев не долго оставался на свете. Ему завидовать я не смел; несмотря на свое самолюбие, я чувствовал, что успехов, какие сулит ему будущность, я обещать себе не мог. Меньшой брат его Александр был совсем не то, чем мы его после видели: тоненький, жиденький, румяный, ласковый мальчик, чрезвычайно застенчивый.

Этого нельзя было сказать о другом молодом мальчике, которого всякий с первого взгляда в нашей толпе мог бы заметить. Чрезвычайная живость его, необыкновенная смелость слова и взгляда неприятным образом меня поразили, и я избегал с ним разговор; а между тем, когда он вел речь с другими, я заслушивался. В идеях, кои выражал он, все мне казалось так ново, так внезапно, и, всегда лакомый до ума, я невольным образом начал с ним сближаться. Непонятно мне было чувство, которое он во мне производил: все меня отталкивало от него, и все меня к нему привлекало. Не доказывает ли это, что между людьми, как и между небесными телами, есть также законы тяготения, гравитации? Маленький Блудов был тогда блуждающая комета, которая, как бы без цели быстро несясь в пространство миров, могла в нем встретить разрушение. Я не мог тогда предвидеть, что скоро ход ее сделается столь правильным, но уже как будто предчувствовал, что мне суждено долго обращаться вокруг нее и даже соделаться одним из ее спутников, когда, достигнув созвездия министерства, она будет сиять в нем столь тихим, чистым и благотворным светом.

Жеманство, которое встречалось тогда в литературе, можно было также найти в манерах и обращении некоторых молодых людей. Женоподобие не совсем почиталось стыдом, и ужимки, которые противно было бы видеть и в женщинах, казались утонченностями светского образования. Те, которые этим промышляли, выказывали какую-то изнеженность, неприличную нашему полу, не скрывали никакой боязни и, что всего удивительнее, не совсем были смешны. Между нами были также два молодца, или, лучше сказать, две девочки, которые в этом роде дошли до совершенства, Колычев и Ижорин. Время их наружность и все вокруг них

изменило, но не изменило их склонностей и характера; теперь обе уже старушки, а последняя весьма добрая и почтенная. Истребляя между нашими молодыми людьми наружные формы, столь поносные, особенно для русских, нынешний век перенес их в другую крайность и мужественности их часто придает мужиковатость.

Последствия прежнего французского воспитания сильно между нами обнаруживались: почти все мои товарищи не могли ступить без французского языка. Говоря на нем, хотя многие делали часто ошибки, но с русскою переимчивостию весьма удачно умели перенять голос и манеры французов, живших у их родителей. Никто, однако же, не успел столько в том, как молодой Ефимович; он был вылитый француз: маленький рост, тоненькие ножки, увертки его и самое безобразное его старообразие делали его настоящим маркизом. Для многих из нас был он предметом уважения и подражания. Впрочем, он был не без ума, хорошо занимался литературой и принадлежал к числу тех людей, которые берутся за все, обещают много и из которых, наконец, не выходит ничего.

Исключая двух Тургеневых и Блудова, едва ли кто знал из моих товарищей, что есть уже русская словесность. Живши в одном городе с Дмитриевым и Карамзиным, они слыхали об них, может быть, встречались с ними, знали, что они что-то пишут, но читать их? Этого не приходило им в голову. Честь и хвала малому числу избранных юношей-отроков, которые, пленяясь и заграничным просвещением, не заражались, однако же, окружавшими их примерами. Гений России с ранних лет вдохнул в сердца их чувство ее величия, а уму их дал способность постигать красоты благозвучного языка нашего и искусство выражаться на нем. Увы, сих похвал я не заслуживал. В доме Голицыных положено основание моей галломании, которая так быстро усилилась в кругу архивных юношей. Они снабжали меня французскими книгами, по большей части романами, и я воображал, что занимаюсь полезным чтением, когда пожирал их по ночам; часто бывал я вне себя от ужасов г-жи Радклиф, кои мучительно приятным образом действовали на раздражительные нервы моих товарищей.

В продолжение зимы занимали нас переводами с французского. Не знаю, были ли они хороши, по крайней мере не мои; а впрочем, как мне кажется, г. Малиновский, руководитель наш в сем деле, не весьма был в состоянии о том судить. Потом г. Бантыш-Каменский заставлял нас в один формат переписывать начисто древние грамоты и договоры, с намерением отдать собрание их потом в печать. Впоследствии я сделался с ним гораздо смелее, а он ко мне снисходительнее. Одна только беда: мой почерк ему не нравился; в угождение ему я начал прямишь свои литеры по-старинному до того, что пишу теперь как церковник.

Я напрасно хвалюсь иногда твердостью: я всегда был довольно человекоугодлив; старшим, равным и даже подчиненным всегда готов был сказать или сделать что-нибудь приятное; когда же поступки их лично против меня, а еще более против совести или закона заставляют меня делать противное, они мне становятся ненавистны, ибо лишают меня величайшего удовольствия. В нежном возрасте кто не чувствовал влияния людей и обстоятельств, среди коих жил? Но ни на кого они столь сильно не действовали, как на меня: мне кажется, я был восковой. Всякое впечатление сглаживалось, но не совсем изглаживалось новым; каждое положение, в коем я находился, каждое общество, чрез кое проходил, оставляли на мне следы, и так-то в описываемые мною последние два-три года образовались все странности моего характера. К счастью, посреди сего сохранилось во мне чувство справедливости и чести. Данное мне природой и первым воспитанием и никогда меня не покидавшее.

Месяца через полтора по вступлении моем в службу, вновь был принят в нее и зять мой, отставной полковник Алексеев. Между гатчинскими офицерами был пруссак Эргель, которого сама природа создала начальником полиции: он был весь составлен из капральской точности и полицейских хитростей. С конца 1798 года был он обер-полицеймейстером в Москве. Эртель был человек живой, веселый, деятельный и совсем не мстительный; он стал любезничать с начальником, угождать ему и, чтобы скрепить с ним союз, испросил у него позволения представить отставного, любимого его адъютанта к должности полицеймейстера, что он и сделал прямо от себя.

Когда, бывало, попадешь на Эртеля, то трудно от него отвязаться, и потому должен я еще несколько об нем поговорить. Москва весьма его не любила, потому что не любила Павла и никогда не любили большого порядка. Все знали, сверх того, что он часто делал тайные донесения о состоянии умов в старой столице; всякий мог опасаться сделаться предметом обвинения неотразимого, часто ложного, всегда незаконного, и хотя нельзя было указать ни на один пример человека, чрез него пострадавшего, но ужас невидимой гибели, который вокруг себя распространяют такого рода люди, самым неприязненным образом располагал к нему жителей Москвы. Но они не могли, однако же, не согласиться, что цель хорошей полиции — спокойствие их — была совершенно при нем достигнута. В нем была врожденная страсть настигать и хватать разбойников и плутов, столь же сильная — как в кошке ловить крыс и мышей. Никакой вор, никакое воровство не могли от него укрыться; можно везде было наконец держать двери наотперти; ни один большой съезд, ни одно народное увеселение не ознаменовались при нем несчастным приключением; на пожарах пламень как будто гаснул от его приближении. Он был совсем не спесив, в обхождении нецеремонен и негруб, но только жесток с людьми, хотя бы дворянами, коих мошенничество было доказано.

Главная, непростительная вина его в глазах москвичей было строгое наблюдение за сохранением странных форм одевания, предписанных императором. Москва разнообразна, пестра и причудлива, как сама природа: гнуть и теснить ее столь же трудно, как и бесполезно. В ней выдуманы слова *приволье, раздолье, разгулье*, выражающие наклонности ее жителей. Как в старину, так и ныне, никто почти из них не мечтал о политической свободе; зато всякий любил совершенную независимость как в общественной, так и в домашней жизни. Между ними и западными вольнодумцами та же разница, что между постом, составившим себе идеал совершенства, которого всю жизнь он проищет напрасно, и простым человеком, который скоро найдет любимую женщину, без великих затруднений женится на ней и преспокойно в любви и совете проведет с нею век. Только не касайся их вседневных привычек, их безвинных предрассудков, и москвичи предовольны. Но коль скоро самодержавие вздумает слишком распрямлять своевольную старушку, она закричит голосами тысячи вралей своих, тысячи своих болтуний, и правительство, если без уважения, то не совсем, однако же, без внимания может оставить бессмысленный сей шум. Даже в царствование Павла удары его самовластия, которые так метко, так разительно на всех упали в Петербурге и в целой России, смягчались над царственной Москвой.

Зять мой, человек недостаточный, поневоле принужден был принять должность полицеймейстера и сделался весьма полезным сотрудником Эртеля, хотя не имел ничего с ним общего ни в правилах, ни в нраве.

У графа Салтыкова было в Москве три дома; в одном, на Дмитровке, жила дочь его, г-жа Мятлева, с семейством; другой, загородный, служил ему для прогулок, а третий, маленький у Тверских ворот, подле церкви Димитрия Селунского, стоял совсем пустой. При новой должности Алексеева не было положено казенной квартиры; желая избавить его от убытков наемной, графиня Салтыкова, которой принадлежал собственно последний из сих домов, предложила ему поместиться в нем, и мы переехали в него около половины ноября.

Имея офицерское звание, мне казалось, что я вправе почитать себя совершеннолетним.

Отлучаясь, должен был я, однако же, всякий раз спрашиваться и сказывать, куда иду. Три раза в продолжение зимы воспользовался я такими позволениями, чтобы видеть московский театр, не знаю, зачем названный Петровским, ибо во всем городе был он тогда один. Он сгорел еще до большого пожара 1812 года, а в 1823-м перестроен в увеличенном размере. Играли на нем одни только русские актеры. Из них чета Сандуновых более всех приманивала публику; муж Сила Николаевич играл лакейские роли в комедиях, а жена Лизавета Семеновна была примадонной в опере; ни тот, ни другая мне что-то не понравились. Думая искусно подражать природе, Сандунов был чрезвычайно подл на сцене; а жена, лет двадцати пяти, не более, почитаемая красавицей, казалась гораздо старше, ибо имела большие, правильные черты, черные глаза и волосы, римский нос и была чрезвычайно дородна. Играя почти всегда

роли молодых девочек, она была довольно отвратительна; сверх того, имела привычку часто хохотать самым непристойным образом. Голос ее был силен, чист, но не имел для меня ни малейшей приятности.

В комедиях, драмах и трагедиях замечательны были Плавильщикова и Померанцев. Первый — литератор и актер, занимал главные роли и, по-моему, был очень дурен, хотя ему и рукоплескали. Последний превосходно играл стариков; он имел благородную осанку, нежный и трогательный голос и, если можно так сказать, всю прелесть маститости, настоящей или искусственной. Главная трагическая актриса была госпожа Сахарова. Пусть представят себе Дидоной рязанскую или симбирскую помещицу, уже пожилых лет, мало знакомую с столицей и великую охотницу декламировать стихи: это была Сахарова. Как в дочери госпожи Синявской, первой женщины, которая у нас в России согласилась выступить на сцену и некогда блистала в «Хорене», в «Синаве» и «Труворе», в ней особенно уважалась кулисная ее знатность.

Более из тщеславия, чем из охоты, многие богатые помещики составляли из крепостных людей своих оркестры и заводили целые труппы актеров, которые, как говорили тогда в насмешку, ломали перед ними камедь. Когда дела их расстраивались, они слуг своих заставляли в губернских городах играть за деньги; один между ними, г. Столыпин, нашел, что выгоднее отдать свою труппу внаймы на московский театр, который тогда не находился в казенном управлении. Содержатель его был некто Медокс<sup>11</sup> — жид, вероятно, крещеный. Умеренная плата сим лицедеям, жалкое одеяние, в коем являлись они перед зрителями, соответствовали их талантам. Все это было ниже посредственности. Жид, видно, был не очень расчетлив; и как было ему не разориться? Все три раза, что зимой я был в театре, видел я почти пустой партер. Когда я слышу строгие замечания критиков на нынешний московский театр, мне всегда досадно; я вспомню прежний и нахожу, что одного столетия мало, чтобы произвести удивительную между ними разницу.

В эту зиму я увидел и московские балы; два раза был я в Благородном собрании. Здание его построено близ Кремля, в центре Москвы, которая сама почитается средоточием нашего отечества. Не одно московское дворянство, но и дворяне всех почти великороссийских губерний стекались сюда каждую зиму, чтобы повеселиться в нем жен и дочерей. В огромной его зале, как в величественном храме, как в сердце России, поставлен был кумир Екатерины, и никакая зависть к ее памяти не могла его исторгнуть. Чертог в три яруса, весь белый, весь в колоннах, от яркого освещения весь как в огне горящий, тысячи толпящихся в нем посетителей и посетительниц, в лучших нарядах, гремящие в нем хоры музыки и к концу его, на некотором возвышении, улыбающийся всеобщему веселью мраморный лик Екатерины, как во дни ее жизни и нашего блаженства! Сим чудесным зрелищем я был поражен, очарован. Когда первое удивление прошло, я начал пристальнее рассматривать бесчисленное общество, в коем находился; сколько прекрасных лиц, сколько важных фигур и сколько блестящих нарядов! Но еще более, сколько странных рож и одеяний!

Помещики соседственных губерний почитали обязанностью каждый год, в декабре, со всем семейством отправляться из деревни, на собственных лошадях, и приезжать в Москву около Рождества, а на первой неделе поста возвращаться опять в деревню. Сии поездки им недорого стоили. Им предшествовали обыкновенно на крестьянских лошадях длинные обозы с замороженными поросятами, гусями и курами, с крупкою, мукою и маслом, со всеми жизненными припасами. Каждого ожидал собственный деревянный дом, неприхотливо убранный, с широким двором и садом без дорожек, заглохшим крапивой, но где можно было, однако же, найти дюжину диких яблонь и сотню кустов малины и смородины.

Все Замоскворечье было застроено сими помещичьими домами. В короткое время их пребывания в Москве они не успевали делать новых знакомств и жили между собою в обществе приезжих, деревенских соседей: каждая губерния имела свой особый круг. Но по четвергам все они соединялись в большом кругу Благородного собрания; тут увидят они статс-дам с

<sup>11</sup> Медокс был происхождения английского. Сын его нашумел своими хлестаковскими похождениями в 1812 г. В 30-х годах он затеял провокацию среди декабристов.

портретами, фрейлин с вензелями, а сколько лент, сколько крестов, сколько богатых одежд и алмазов! Есть про что целые девять месяцев рассказывать в уезде, и все это с удивлением, без зависти: недостижимую для них высоту знати они любовались, как путешественник блестящею вершиной Эльбруса.

Не одно маленькое тщеславие проводить вечера вместе с высшими представителями российского дворянства привлекало их в собрание. Нет почти русской семьи, в которой бы не было полдюжины дочерей: авось ли Дунюшка или Параша приглянутся какому-нибудь хорошему человеку! Но если хороший человек не знаком никому из их знакомых, как быть? И на это есть средство. В старину (не знаю, может быть, и теперь) существовало в Москве целое сословие свах; им сообщались лета невест, описи приданого и брачные условия; к ним можно было прямо адресоваться, и они договаривали родителям все то, что в собрании не могли высказать девице одни только взгляды жениха. Пусть другие смеются, а в простоте сих дедовских нравов я вижу что-то трогательное. Для любопытных наблюдателей было много пищи в сих собраниях; они могли легко заметить озабоченных матерей, идущих об руку с дочерьми, и прочитать в глазах их беспокойную мысль, что, может быть, в сию минуту решается их участь; по веселому добродушию на лицах провинциалов легко можно было отличить их от постоянных жителей Москвы.

Девятнадцатое столетие началось для меня довольно счастливо. В январе 1801 года произвели меня в переводчики коллегии, то есть в 10-й класс, без заслуг, без покровительства, а только для того, чтоб очистить место желающим поступить в определенное число юнкеров. Из новонабранных двое имели довольно оригинальности, чтобы найти место в сих записках.

Молва уже говорила нам об одном князе Козловском, молодом мудреце, который имел намерение определиться к нам в товарищи, и мы с любопытством ожидали обещанное нам чудо. Вместо чуда увидели мы просто чудака. Правда, толщина не по летам, в голосе и походке натуральная важность, а на лице удивительное сходство с портретами Бурбонов старшей линии заставили сначала самого г. Бантыш-Каменского принять его с некоторым уважением; разглядев же его пристальнее, узнали мы в нем совсем не педанта, но доброго малого, общительного, веселого и даже легкомысленного. Способностей в нем было много, учености никакой, даже познаний весьма мало; но он славно говорил по-французски и порядочно писал русские стихи. Откормленный, румяный, он всегда смеялся и смешил, имел, однако же, искусство не давать себя осмеивать, несмотря на свое обжорство и умышленный цинизм в наряде, коим прикрывал он бедность или скупость родителей.

Оставаясь в России, добросовестно, усердно посвящая себя занятиям по какой-либо части управления, князь Козловский мог бы, наконец, быть одним из полезных людей государства. Но он в первой молодости получил место за границей, находился при разных миссиях и несколько лет в Сардинии разделял ссылку сардинского короля, при коем был посланником. Впоследствии, когда он был в Штутгарте, неосновательность его поступков заставила правительство отозвать его; но, сделавшись совершенно чужд своему отечеству, он не захотел в него возвратиться<sup>12</sup>. Несчастный, но не первый пример, встречаемый между нашими земляками, для коих навыки заграничной жизни дороже родины, священнее всех обязанностей. На это смотрели у нас доселе с преступным равнодушием. Пользуясь во Франции приличным содержанием, которое оставило ему правительство, князь Козловский казался жертвой, прослыл чуть ли не гением, коему не умеют отдавать справедливость. У кого хороша память и кто много читает, тому куда как легко быть гением в наше время, когда говорится и пишется так много умного! Необходимость принудила недавно Козловского посетить Петербург, и ему дивились, как всему заграничному. Мне казалось, что я вижу перед собой густую массу, которая более тридцати лет каталась по Европе, получила почти шарообразный вид и, как гиероглифами, вся

---

<sup>12</sup> Князь Петр Борисович Козловский (ум. 1840 г.) был талантливый рассказчик, написал хороший (не напечатанный) роман, в котором доказывал вред крепостного права. Вяземский рассказывает, что дед Козловского был отправлен Екатериною к Вольтеру, как образец русского просвещения и русской вежливости, а внук в этом отношении походил на деда. Пушкин писал Чаадаеву, имея в виду свой «Современник»: «Козловский был бы для меня провидением, если б он захотел сделаться раз навсегда писателем».



испещрена идеями, для нас уже не новыми, и множеством несогласных между собою чужих мнений, которые по клейкости ее так удобно к ней приставали. Теперь масса сия в совершенном бездействии остановилась в Варшаве (все-таки как будто не в России) и сохраняется там благодеяниями презираемого ею отечества.

Другой новобранник был Михаил Николаевич Макаров, человек смиренный, но беспокойный, ибо тогда уже был мучим желанием прославиться в литературе. Он, Данаида нашей словесности, более тридцати пяти лет льет чернила, наполняет журналы и ни на шаг не подвигается ни в искусстве, ни в знаменитости. Вообще между тогдашними архивными юношами было довольно талантов в зерне; отчего, не созрев, они гибли? Бог весть, обстоятельства ли и недостатки воспитания препятствовали их развитию? Обещали многие, а один только сдержал слово.

Скоро узнали мы весть, неприятную для нашего чиновничества: далее мы ничего не видели. К концу февраля граф Растропчин был отставлен, а на его место первоприсутствующим в иностранной коллегии и начальствующим над почтовою частью был назначен граф Пален, который вместе с тем сохранял и должность петербургского военного губернатора. Внезапные немилости Павла давно уже перестали удивлять; но удаление вернейшего, из преданных ему, человека, который в продолжение всего царствования его ни на минуту не переставал пользоваться его доверенностью, опытным людям казалось худым предзнаменованием для самого царя; эта перемена, по мнению их, должна была повлечь за собою другие важнейшие перемены. И они не ошиблись, как это теперь всем известно [граф Петр Алексеевич Пален — главный устроитель заговора, приведшего к убийству Павла I].

Опять вступает Россия в новую блистательную эпоху, в новый мир, сначала столь очаровательный. С необыкновенным любопытством и необычайным страхом ожидала Москва видеть императора в половине мая на больших маневрах, которые к тому времени приготовлялись в ее окрестностях, но уже никогда более он не должен был устрашать ее своим присутствием.

Необыкновенно раннее открытие весны предшествовало раннему Светлому воскресенью: еще до половины марта снег начал исчезать, и наступила ясная, совершенно теплая погода. В пятницу на Вербной неделе, 15 марта, был я в архиве; становилось поздно, многие уже разошлись по домам; из начальников оставался один только г. Бантыш-Каменский, разбирая какие-то рукописи. Вдруг вбегают меньшой Тургенев в радостном изумлении, краснея, только не от застенчивости, и прерывающимся голосом объявляет нам, что Павла нет уже на свете и что царствует Александр. «Что ты говоришь!» — воскликнул Каменский и с ужасом перекрестился. Тот продолжает рассказывать нижеследующее.

Проезжая через Кремль, он увидел толпу народа вокруг Успенского собора; желая узнать причину такого стечения, он втиснулся в храм и нашел в нем графа Салтыкова с другими главными должностными лицами, которые присягают новому императору. Более всего он заметил двух генералов в анненских лентах, неумытых, невыбранных, забрызганных грязью. Ему сказали, что один из них князь Сергей Долгоруков, который привез манифест о кончине Павла и о воцарении Александра, а другой — бывший обер-полицеймейстер Каверин, присланный сменить Эртеля и вступить в прежнюю должность. К тому прибавили, что видели их вместе на одной перекладной телеге скачущими от Тверской заставы до дому главнокомандующего и что всех встречающихся они как будто взорами поздравляли и приветствовали.

Никакого не осталось сомнения. Но как это случилось? Он даже не был болен! Все это надеялся узнать я дома и поспешил уйти. От Покровки до Тверских ворот путь не близок; я должен был сделать его пешком, ибо денег на извозчика у меня не было и, вероятно в тревоге, забыли прислать за мною лошадь. Я более бежал, чем шел; однако же внимательно смотрел на всех попадавшихся мне в простых армяках, равно как и на людей порядочно одетых. Заметно было, что важная весть разнесена по всем частям города и уже не тайна для самого простого народа. Это одно из тех воспоминаний, которых время никогда истребить не может: немая, всеобщая радость, освещаемая ярким весенним солнцем. Возвратившись домой, я никак не

мог добиться толку: знакомые беспрестанно приезжали и уезжали, все говорили в одно время, все обнимались, как в день Светлого воскресенья; ни слова о покойном, чтобы и минутно не помрачить сердечного веселия, которое горело во всех глазах; ни слова о прошедшем, все о настоящем и будущем. Сей день, столь вожделенный для всех, казался вестовщикам и вестовщицам особенно благополучным: везде принимали их с открытыми объятиями.

Кто бы мог поверить? На восторги, коими наполнена была древняя столица, смотрел я с чувством неизъяснимой грусти. Я не знал еще, что преступление положило конец минувшему царствованию и, следственно, что вся Россия, торжествующая сие событие, принимает за него на себя ответственность; но тайный голос как будто нашептывал мне, что будущее мне и моим мало сулит радости и что в нем бедствия и успехи, слава и унижение равно ожидают мое отечество. Я вспомнил, что из наград и милостей, кои бросал покойный без счету и без меры на известных и неизвестных ему, по заслугам или без заслуг, упали на меня два чина, а благодарность — ярмо, от которого я никогда не умел и не хотел освобождаться, и я, признаюсь, вздохнул о Павле. Сообщить моих мыслей, разумеется, было никак невозможно: во мне бы увидели сумасшедшего или общего врага.

На другой день, 16 числа, к вечеру, накануне Вербного воскресенья, в Охотном ряду, вокруг Кремля и Китая, где продавали вербы, недоставало только качелей, чтобы увидеть гулянье, которое бывает на Святой неделе: народ веселился, а от карет, колясок и дрожек целой Москвы заперлись соседние улицы. Только два дня посвящены были изъявлению одной радости; на третий загремели проклятия убиенному, осквернившимся же злодеянием начали славить наравне с героями: и это было на Страстной неделе, когда христиане молят Всевышнего о прощении и сами прощают врагам! До какой степени несправедливости, насильствия изменили характер царлюбивого, христоролюбивого народа!

Впрочем, еще при жизни императора Павла число недовольных им было так велико, что, несмотря на деятельность тайных агентов, никто не опасался явно порицать и злословить его. Употребляемые секретной полицией не могли иметь довольно времени, чтобы доносить на всех виновных в нескромности, вероятно, они довольствовались мщением за личности; к тому же они сами трепетали и ненавидели правительство, коему столь постыдным образом служили.

Время, все истребляющее, все более и более покрывает забвением странности сего несчастного царствования; последние памятники его — укрепления Михайловского замка и шутовской наряд Ивана Семеновича Брызгалова<sup>13</sup> — недавно исчезли. Стариков, которые были свидетелями происшествий и могли основательно судить о них, остается мало. Для нас, тогда несовершеннолетних, воспоминание о сем времени — то же, что о кратком, удушливом сне, о кошмаре, который мы забыли, коль скоро перестал он давить нас. Новые же поколения, внимая рассказам, видят более смешную, чем ужасную сторону сей эпохи, чрез которую прошло их отечество.

Итак, вдали от причин ненависти и любви, можно, кажется, беспристрастно судить теперь о человеке, который четыре года, не ведая, что творит, мучил Богом вверенное ему царство. К несчастью, он имел самые ложные понятия о долге царей; он высоко ценил только свои права и не хотел знать, что обязанности, с ними соединенные, не менее священны. Ему казалось, что по воле Высшего Владыки мир размежеван на участки между земными владетелями и что Россия как поместье ему досталась в удел. Он видел в себе одного из больших вассалов самого Бога, но не только народу и потомству, ниже ему самому не обязан никакою ответственностью, ибо, будучи от него помазан, он не только может действовать по его внушениям, одним словом, в этом отношении он был наш Людовик XIV. Слово сего последнего, которое ныне всех возмущает — *l'État c'est moi* [государство — это я], — принял он в точном смысле. Почитая себя государством, могут, конечно, цари под этим разуместь тесные узы, их связую-

<sup>13</sup> Бывший кастелян Михайловского замка, чужак, более тридцати лет не снимавший костюм или придворную ливрею, которую носил при Павле: малиновый мундир, шире и длиннее всякого сюртука, с золотыми позументами, бахромою и кистями. — *Авт.*

щие с ним; его унижение, его несчастья никого более их не могут терзать, но Павел Первый всегда отделял себя от народа и земли, в коих просто видел собственность.

Подобно Людовику XI, имел он своего любимца-брадобрея Кутайсова; но если далеко стоит он от него в жестокостях, то еще гораздо далее в искусстве правительственном. Какая цель была у Павла Первого? Какие препятствия встречал он внутри государства, где были могущественные враги, коих надлежало ему сокрушить для собственной безопасности. Благоустроенное, спокойное, сильное, великое государство получил он в наследство от той, коей обязан был жизнью; не терновый, а самый блестящий венец оставила ему Екатерина. Что, если бы он жил во времена Людовика XI и был в подобных ему обстоятельствах!

В государстве и отце семейства менее чем в ком простителен эгоизм; для нежных забот его так много предметов, что любовь к самому себе должна неприметно ослабеть. Павел везде и во всем видел одного себя, никак не думая о пользах своих подданных.

В наружной политике то же, что и во внутреннем управлении: никакой предусмотрительности, никаких видов, никакой осторожности; одни только царские его личности. Он зол на революцию и посылает Суворова в Италию, рассердился на Австрию и приказывает армии воротиться, прогневался на Англию и преждевременно грозит ей, а она, как уверяют, без угроз его губит. [Английский посол в России Витворт принимал участие в заговоре против Павла Первого.] Действуя без всяких правил, без всякого плана, по одним внезапным побуждениям, он не уважал даже его равными правами других венценосцев и правами человечества и гостеприимства; знаменитому изгнаннику, по праву рождения, королю французскому, которому дал он убежище в Митаве, без всякой политической причины велит безжалостно в одни сутки оставить свои владения; посетившего его гостя, короля шведского Густава IV, по одному капризу высылает из Петербурга. Он жил славою и силою Екатерины. Она их стяжала; а он, как расточительный наследник, скоро умел бы их утратить без великих достоинств Людовика XIV он имел высокомерие и все сумасбродство Карла XII, без мужества его, постоянной, твердой воли и блестящих его подвигов. Уверяют, что в разговорах он показывал ум и острых слова три приводят тому в доказательство: вот все, что можно в его похвалу сказать. Самая щедрость его не может почитаться добродетелью, ибо он полагал, что ему все принадлежит и, что он сегодня дал, может завтра отнять.

В людях видел он бесчувственных автоматов, движимых единою его волею, и он как будто тешился тем, что беспрестанно может изгонять их и призывать, карать и миловать, возвышать и низвергать, мертвить и оживлять. Никому не было от него пощады, ниже самым верным, старым слугам своим, людям, которые еще до вступления его на престол долголетними опытами доказали ему свою преданность: из них под конец оставались при нем только два холопа, Кутайсов и Обольянинов, глупые невежды, которые готовы были все выносить.

И он выдавал себя за рыцаря! Мальтийский орден, романическая чистая страсть его к княгине Гагариной [Анна Петровна Лопухина], все это одни проказы его, одна комедия. Увы, с какой стороны ни станешь рассматривать жизнь и деяния сего несчастного императора, тщетно будешь искать единого похвального свойства. Равнодушный, неверный супруг, дурной сын, дурной отец и друг неблагодарный, не знаю, кем и как он мог быть любим. Многие извиняют его расстройством рассудка, и действительно, в нем равно было заметно повреждение ума и сердца, но один всегда был довольно ограничен, а в другом никогда не было чувствительности.

Плачевная кончина императора Павла не скоро могла примирить подданных с его памятью: они мстят ему забвением. Во мне же сострадание, признательность, а пуще всего всегдашняя склонность не покоряться безусловно общему мнению заставляли меня некоторое время быть его защитником. В четыре года с половиною детского возраста привык я к треволнениям его царствования; всякий мог почитать себя накануне гибели или быстрого повышения, а эта живость, это лихорадочное состояние юношеству не совсем бывает противно. Но теперь как начну припоминать бесчисленные, несносные обиды, как общие, так и частные, нанесенные России и русским, то трудно бывает мне воздержаться от глубокого негодования.

Сии поминки Павлу Первому суть последние, которые я себе позволю. Гораздо приятнее мне будет говорить о восторгах, коими приветствовали зарю, весну нового царствования.

После четырех лет воскресает Екатерина от гроба в прекрасном юноше. Чадо ее сердца, милый внук ее, возвещает манифестом, что возвратит нам ее времена. Увидим после, как сдержал он сие обещание.

Но нет: даже и при ней не знали того чувства благосостояния, коим объята была вся Россия в первые шесть месяцев владычества Александра. Любовь ею управляла, и свобода вместе с порядком водворялись в ней. Не знаю, как описать то, что происходило тогда; все чувствовали какой-то нравственный простор, взгляды сделались у всех благосклоннее, поступь смелее, дыхание свободнее.

Приписать сие должно отчасти хорошему выбору людей, коими всемогущий тогда граф Пален окружил молодого императора. Все они были употребляемы и уважаемы его бабкою. Беклешов, Мордвинов, Трощинский, благонамеренные, умные и опытные люди заняли тогда важнейшие места в государстве. Только три человека принесены в жертву общему негодованию: Обольянинов, Кутайсов и Эртель. Они уволены от службы без всяких преследований; первые два никогда в нее более не вступали, последний не один раз потом правительству пригрозился.

Первое употребление, которое сделали молодые люди из данной им воли, была перемена костюма: не прошло двух дней после известия о кончине Павла, круглые шляпы явились на улицах; дня через четыре стали показываться фраки, панталоны и жилеты, хотя запрещение с них не было снято; впрочем, и в Петербурге все перерядились в несколько дней. К концу апреля кое-где еще встречались старинные однобортные кафтаны и камзолы, и то на людях самых бедных.

В военном наряде сделаны перемены гораздо примечательнейшие: широкие и длинные мундиры перешиты в узкие и через меру короткие, едва покрывающие грудь; низкие отложные воротники сделались стоячими и до того возвысились, что голова казалась в ящике, и трудно было ее поворачивать. Перешли из одной крайности в другую, и все восхищались новою обмундировкой, которая теперь показалась бы весьма странною. Со времен Петра Великого зеленый цвет был национальным и русской армии, но до Павла употреблялся один только светлый; преемник сохранил введенный им темно-зеленый цвет.

Траура в Москве под разными предлогами почти никто не носил. Да и лучше сказать, в траурном платье я помню одну только вдову генерал-лейтенантшу Акулину Борисовну Кемпен, одну из наших киевских знакомок, которая в первом замужестве была за московским купцом Дудышкиным и оттого чрезвычайно гордилась потом своим чином. Несмотря на необъятную толщину свою, она все лето прела под черною байкой для того, чтоб иметь удовольствие показывать шлейф чрезмерной длины.

В апреле все пришло в движение. Несмотря на распутицу, на разлитие рек, на время самое неблагоприятное для путешествий, все дороги покрылись путешественниками: изгнанники спешили возвращаться из мест заточения, отставные или выключенные потянулись толпами, чтобы проситься в службу, весьма многие поскакали затем только в Петербург, чтобы полюбоваться царем. Исключая действительно порочных и виновных, все желавшие вступить в службу были без затруднения в нее принимаемы. Сотням разжалованных и потом выброшенных генералов невозможно было дать мест по чину: им велено числиться по армии с жалованьем, в ожидании назначения; во всех полках удвоился и утроился комплект штаб- и обер-офицеров.

Первые три месяца после кончины Павла граф Пален царствовал в России, кажется, более, чем император Александр. Он был душою заговора против своего благодетеля и хотел быть главою государства; старый, преступный временщик был, однако же, обманут притворною скромностию молодого царя и в один миг с высоты могущества низринут в ссылку. Сей первый пример искусства и решимости нового государя, боготворимого и угрожаемого в одно

время и коего положение было не без затруднений, мог бы удивить и при Павле, когда такие известия почитались самыми обыкновенными. Но Москва и Россия утопали тогда в веселии; сие важное происшествие едва было замечено людьми, еще хмельными от радости. Вице-канцлер князь Александр Борисович Куракин сделался тогда нашим единственным начальником в иностранной коллегии.

Мы почти не видали, как прошло лето. Некоторую его часть провел я за городом, в Марфине, деревне графа Салтыкова.

Приятности сего летнего местопребывания умножились еще любезностию двух хозяек, самой графини Салтыковой и старшей дочери ее, Прасковьи Ивановны Мятлевой. Не знаю, откуда могли они взять совершенство неподражаемого своего тона, всю важность русских боярынь вместе с непринужденною учтивостию, с точностию приличий, которыми отличались дюшесы прежних времен. Если б они были гораздо старше, то можно бы было подумать, что часть молодости своей провели они в палатах царя Алексея Михайловича, с сестрами и дочерьми его, а другую при дворе Людовика XIV. Ни развратно-грубая Россия от Петра до Екатерины, ни гнусно-развратная Франция от регентства до революции не могли показать им образцов, достойных их подражания. Из предания обеих земель составили они себе благороднейший характер аристократии, смешав гостеприимство русской старины с образованностию времен просвещеннейших.

Великую страсть имела г-жа Мятлева являться на сцене в домашнем театре, разумеется, во французских пьесах. Белосельские и Чернышевы, молодые путешественники, возвратившиеся с клеймом Версаля и Фернея, Кобенцели и Сегюры, чужестранные посланники, отличавшиеся любезностию, ввели представления сии в употребление при дворе Екатерины. Избраннейшее общество участвовало в сих просвещенных забавах, и Эрмитаж был одним из каналов, чрез кои начало вливаться к нам могущество Франции. Сюрпризы именинникам были тогда также новостью и принадлежностию одного высшего общества. Большие затеи приготавливались тогда в Марфине к 23 и 24 июня, дням рождения и именин фельдмаршала.

Вероятно, лицо мое выражало страсть к театру, ибо намерение завербовать меня в число актеров заставило пригласить меня в Марфино. Но как не только мне самому никогда не случалось играть, я всего не более семи или восьми раз бывал в театре, то легко можно себе представить, как при первой попытке исчезли надежды на удачное мое соучастие в предпринимаемом важном деле. Мне, однако же, не показали ни малейшего неудовольствия; это было бы уже слишком жестоко: напротив, первую робость, застенчивость мальчика, взброшенного в едва знакомый ему круг, дня через два приветствиями, вниманием умели превратить в смелое, свободное обхождение; и как мне все нравилось, то, кажется, я и сам полюбился. Я не помню, чтобы где-нибудь потом я так живо, так искренно, так безвинно всем наслаждался, как тогда в деревне гр. Салтыкова. Начиналась только весна моей жизни, и это было в первые месяцы владычества Александра, когда в воображении подданных он был еще прекраснее, чем в существе, когда все стремились ему уподобиться, когда исчезли ужасы, погасли зависть и вражда и, возлюбив друг друга, в единомыслии все русские мечтали только о добре... В первый раз был я совершенно свободен в самое благоприятное время года, в прекрасном поместье, где жили непринужденно, и одни веселости сменялись другими. Может быть (кто не без греха, даже и дети), любезность ко мне семейства, которое уважалось в Петербурге и коему поклонялась вся Москва, льстила моему самолюбию; может быть, очарование маленького двора, к коему начинал я принадлежать, сильно на меня подействовало; но все вместе исполнило меня чувством такого благосостояния, что оно выражалось у меня в словах, во взглядах, во всех движениях. И потому-то как было всем не улыбаться моею юности и моему счастию!

Графиня Салтыкова с каждым днем становилась ко мне милостивее. Поощряемый возрастающим ее снисхождением, я решился раз сказать ей со всею откровенностию, что в Марфине я вижу убежище, которое равно спасает меня как от весьма нетягостной власти сестры моей, так и от тяжкого ига г. Бантыша-Каменского, и она обещалась у обоих испросить мне дозволение еще на некоторое время не расставаться с моим эдемом.

Общество наше было многочисленное. Всякий день приезжали гости из Москвы; постоянными же жителями Марфина были все те, кои должны были участвовать в сюрпризах и представлениях: музыканты, певуны, дамы и девицы, взявшие роли. Между сими последними встретил я прежних своих знакомых, трех молоденьких княжон Хованских, дочерей бывшего киевского вице-губернатора, который при Павле был обер-прокурором Синода, а потом отставлен и сослан в Симбирск, откуда только что воротился. Сильно забилося во мне сердце при сей встрече, и они, кажется, не без удовольствия увидели товарища своего детства; но взаимные отношения наши совсем уже переменялись. В меньших я нашел еще простодушие и невинность первого возраста, но в старшей, Наталии, ничего уже не оставалось детского. В шестнадцать лет смелые ее взоры уже искали высоких жертв и, к счастью, почти на мне не останавливались. Пленительный голос ее всех удивлял, и она готовилась восхищать им в опере Паэзиелло «*La Servante-Maitresse*» [«Прислужница-хозяйка»].

Сверх того еще две оперы: одна старинная французская — «Два охотника» — и русская — «Мельник» — да две прескучные комедии Мариво были представлены в три дня, что продолжались марфинские увеселения. Исключая г-жи Мятлевой, которая игрой напоминала мадам Вальвиль, и княжны Хованской, которая пела и играла как записная артистка, все прочие мне показались довольно плохи; особенно же мужчины, с своим нижегородски-французским выговором, совсем не за свое дело взялись. Всего примечательнее была пиеса, ин-термедия, пролог или маленький русский водевиль под названием: «Только для Марфина», сочинение Карамзина. Содержание, сколько могу припомнить, довольно обыкновенное: деревенская любовь, соперничество, злые люди, которые препятствуют союзу любовников, и нетерпеливо ожидаемый приезд из армии доброго господина, графа Петра Семеновича, который их соединяет, потом великая радость, песни и куплеты оканчивают пиесу. Так как все роли были коротенькие, то одну из них, роль бурмистра, мне поручили. Я надел русский кафтан, привязал себе бороду и старался говорить грубым голосом. Как нарочно, пришлось спеть мне следующий куплет:

Будем жить, друзья, с женами,  
Как живали в старину!  
Худо быть нам их рабами,  
Воля портит лишь жену.  
Дома им не посидится,  
Всё бы, всё бы по гостям  
Это, право, не годится,  
Приберемте их к рукам.

Вахмистр

Наш бурмистр несет пустое,  
Не указ нам старина.  
Воля дело золотое, и проч.

Другие представления даны были в небольшом деревянном театре, построенном в саду; но мы играли днем, на открытом воздухе. В двух верстах от господского дома, среди прекрасной рощи, названной Дарьиной, поляна, состоящая из двух противоположно идущих отлогостей, образовала природный театр; сцена заключалась в правильном продолговатом полукружии: тут первый раз в жизни, чуть ли не в последний, являлся я перед публикой.

Сам Карамзин приехал накануне представления, учил нас и даже играл с нами графа Петра Семеновича Салтыкова. Я обомлел, когда невзначай пришлось ему сказать мне несколько слов: власти и заслуженные почести всегда вселяли во мне уважение, но этот благо-

говейный страх могли произвести только добродетели и высокий талант. Встретившись с сим необычайным человеком, я бросаю на время марфинские, забавы, чтобы предаться наслаждению говорить об нем.

Уже был он известен, уже был он славен, уже зависть и клевета в страшное царствование Павла восставали, чтоб его погубить. Но Бог России хранил его; под его щитом, с кротостию улыбаясь самим врагам своим, шел он спокойно, смиренно, прекрасною, цветущею стезею, ведущею его к цели, которую, вероятно, тогда еще сам он не предугадывал. До него не было у нас иного слога, кроме высокопарного или площадного; он изобрел новый, благородный и простой, и написал им путешествие свое за границу и пленительные повести, кои своею новостью так приятно изумили Россию. Можно сказать, что он же создал и разговорный у нас язык и был основателем новой школы, долго поддерживавшей лучшие правила в литературе. Казалось, чего бы более для обыкновенного авторского самолюбия? Но он не знал его, а творениями своими, как врожденным добром, делился с читателями. Скоро почувствовал он еще другое, высшее призвание; скоро лавры должны были заступить место роз, блиставших на молодом челе его. Не тщетно получил он от природы трудолюбие и жажду к познаниям, не даром даны ему были пламенное сердце, высокий ум и чистые уста; ими предназначено ему было вещать современникам и потомству о древней, почти забытой славе предков. Он должен был дать новую бесконечную жизнь Васильку и Мономаху, Ляпунову и Скопину-Шуйскому и грозно судить грозного царя. Промыслу угодно было, как в чистейшем сосуде, воспалить в нем жар просвещенной любви к отечеству, угасавший между высшими сословиями от безрассудной страсти к иноземному, — не грубый, самохвальный патриотизм провинциалов и невежд. Следуя за духом века, напрасно завистливые соперники хотят затмить его славу, стараются своими помоями залить священный огонь, им распространенный (имеется в виду «История русского народа» Н. А. Полевого); от времени до времени он более умножается и усиливается.

Такие люди посылаются на землю, чтобы производить в умах великие и счастливые перевороты, и он был в Москве кумиром всех благородно-мыслящих юношей и всех женщин истинно чувствительных. В тогдашнее еще чинопочитательное время было даже несколько странно видеть стариков-вельмож, почти как с равным, в обхождении с тридцатилетним отставным поручиком. Мне не нужно описывать его наружность; портреты его чрезвычайно схожи; они очень верно выражают глубокие думы на его челе и добродушие во взорах его; конечно, изображения его сохраняются у всех просвещенных россиян.

Из тьмы марфинских посетителей выбираю я для описания одних только литераторов. Тут был еще один поэт, весьма известный в свое время более по странностям своим, чем по числу и изяществу произведений. Пушкин (не племянник, а дядя) Василий Львович почитался в некоторых московских обществах, а еще более почитал сам себя, образцом хорошего тона, любезности и щегольства. Екатерининский офицер гвардии, которая по малочисленности своей и отсутствию дисциплины могла считаться более двором, чем войском, он совсем не имел мужественного вида. Он казался сначала не тем, чем был действительно, а тем, чем ему хотелось быть; за важную его поступью и довольно гордым взглядом скрывались легкомыслие и добродушие; в восемнадцать лет на званых вечерах читал он длинные тирады из трагедий Расина и Вольтера, авторов мало известных в России, и таким образом знакомил ее с ними; двадцати лет на домашних театрах играл уже он Оросмана в «Заире» и писал французские куплеты. Как мало тогда надобно было для приобретения знаменитости! Блестящее существование его в свете умножалось еще женитьбой на красавице Капитолине Михайловне<sup>14</sup>.

Сам он был весьма некрасив. Рыхлое, толстеющее туловище на жидких ногах, косое брюхо, кривой нос, лицо треугольником, рот и подбородок à la Charles-Quint [Карл Пятый], а более всего редееющие волосы не с большим в тридцать лет его старообразили. К тому же беззубие увлаживало разговор его, и друзья внимали ему хотя с удовольствием, но в некото-

<sup>14</sup> Она самым скандальным образом развелась с В. Л. Пушкиным, выманив у него письмо о том, что он изменяет ей с «дворовой девкой». Затем она вышла замуж за И. А. Мальцева, отца известного заводчика С. И. Мальцева.

ром от него отдалении. Вообще дурнота его не имела ничего отвратительного, а была только забавна.

Как сверстник и сослуживец баснописца Ивана Ивановича Дмитриева по гвардии и как ровесник Карамзина, шел он несколько времени как будто равным с ними шагом в обществах и на Парнасе, и оба позволяли ему называться их другом. Но вскоре первый прибрал его в руки, обратив в бессменные свои потешники. Карамзин же, глядя на него, не мог иногда не улыбнуться, но с видом тайного, необидного сожаления: не только на преступления и пороки, даже на странности и слабости людей смотрел он с грустью и, казалось, рад бы был все человечество поднять до себя. Дмитриев, верно, в шутку посоветовал ему приняться за русские стихи, а он и вправду сделался весьма неплохим поэтом. Он писал и басни, и коротенькие послания, и всякого рода мелочи, и из всего этого, под конец его жизни, составилась небольшой том, не богатый идеями, но изобильный приятными звуками и плавными стихами. Главным его недостатком было удивительное его легковерие, проистекавшее, впрочем, от весьма похвальных свойств, добросердечия и доверчивости к людям; никакие беспрестанно повторяемые мистификации не могли его от сей слабости излечить. Он был у нас то, что во Франции *Poinsinet de Sivry*, также автор, который несколько месяцев жарился перед камином, чтобы приучить себя к обещанной ему должности королевского экрана.

В это время завязывались у нас первые сношения с французскою республикой. Еще до кончины Павла отправлены были в Париж сначала граф Спренпюртен для размена пленных, а потом Колычев для переговоров. В мае прибыл в Петербург от первого консула Бонапарте молодой друг его Дюрок, дипломатическим агентом и картинкой модного журнала.

Василий Львович мало заботился о политике, но после стихов мода была важнейшим для него делом. От ее поклонения близ четырех лет были мы удерживаемы полицейскими мерами; прихотливое божество вновь показалось в Петербурге, и он устремился туда, дабы, приняв ее новые законы, первому привезти их в Москву. Он оставался там столько времени, сколько нужно ему было, чтобы с ног до головы перерядиться. Едва успел он воротиться, как явился в Марфине и всех изумил толстым и длинным жабо, коротким фрачком и головою в мелких курчавых завитках, как баранья шерсть, что называлось тогда *à la Дюрок*. Мы скоро с ним познакомились. В глазах моих был он человек пожилой, хотя и модник: вдруг сближается он с мальчишкой, берет его за руку, потом под руку, гуляет с ним, рассказывает ему разного рода неблагопристойности про любовные свои успехи, одним словом, братается со мной. Мне это чрезвычайно полюбилося: тогда почитали чин чина и год года; вдруг я повысился десятию годами, увидел в нем товарища, почти ровесника, а потом начал смотреть на него как на шалунишку, и если бы знакомство наше на некоторое время тогда не прервалось, то скоро стал бы унимать его и журить.

С первых чисел октября напала на меня странная и ужасная болезнь: я всегда был на ногах, мог даже выезжать, но вдруг начал худеть, сон и аппетит меня совершенно покинули, неизъяснимая тоска мною овладела; в одно время чувствовал я озноб и жар, я весь горел, а спина и ноги были как лед; память, которой иногда я сам дивился, внезапно притупела; я сохнул, я таял, и врачи объявили, что в одну минуту могу угаснуть. Все это было следствие невоздержанности, еще не юношеской, а ребячьей. О французы, о Шевалье де Ролен, как мне не проклинать вас!

В сумерки 27 октября посадили или, лучше сказать, положили меня в четвероместную карету, и, при холодном дожде пополам со снегом, выехали мы печально из Москвы (в Киев и оттуда в Пензу, куда отец автора был назначен губернатором).

Нас было в карете четверо: мы с матерью и старшею сестрой Елисаветой да девица Турчанинова, которую, взамен услуги, оказанной ее матерью, отвозили мы в Киев к родителям. Это была та самая ученая и засаленная Анна Александровна, о которой уже имел я случай говорить, магнетизерка, целомудренная естество-испытательница. За нами следовали две или три кибитки, загроможденные горничными и тюфяками: тогда еще в России странствовали по-авраамовски, с рабынями, рабами и навьюченными верблюдами.



Я сидел рядом с матерью, а сестра и Турчанинова насупротив теснились в углу, чтобы дать место ногам моим. Как мучительно для всех нас было начало этой дороги! Особенно же положение бедной сестры моей было ужасное. При отъезде вручили ей медики для меня лекарство, объявив ей одной, что если до назначенного им времени оно не подействует, то смерть моя неизбежна. Нет, этой заботливости, которая, по расстройству нерв моих, меня иногда даже сердила, я ввек не забуду. Лицо ее отражало беспрестанно выражение моего: когда что-то похожее на улыбку показывалось на нем, она как будто на минуту отдыхала от страданий. Более двух суток продолжалось для нее сие жестокое волнение; мы приехали в Тулу, когда, по мнению ее, наступила решительная минута, и мать моя не могла понять причины неотступных ее молений, чтобы там остановиться. Перелом совершился, молодость свое взяла, и сестра ожила вместе со мною.

Чем далее подвигались мы на юг, тем воздух становился чище и теплее. Запас жизненных сил в тогдашние мои лета бывает столь изобилен, что возвращение их, без преувеличения, можно уподобить быстроте потока. Еще несколько дней, и уже я в состоянии был ощутить радость, вступая в Малороссию и предчувствуя Киев.

Всего охотнее собирались поляки не у соотечественника своего, а у англичанина, который тогда был военным или генерал-губернатором киевским. Вследствие какой-то несчастной истории господин Феньш или Феньша (Fenshaw) должен был навсегда оставить свое отечество; он приехал в Россию и вступил в военную службу. Ни в особе, ни в заслугах его не было ничего блистательного; он всегда служил в армии, полегоньку подвигался в чинах и кое-как перебивался, чтобы содержать жену и семейство. Когда его произвели в полковники, то дали ему Елецкий пехотный полк и Московский, вместе с генеральским чином. При Павле, оставаясь не более как шефом этого полка, он успел в короткое время получить по старшинству чин генерала от инфантерии, и когда предместник его, Повало-Швейковский, восьмой в четырехлетнее царствование Павла киевский военный губернатор, чем-то перед императором провинился, то сей последний, заглянув в список, назначил на его место неизвестного ему Феньша. Он за что-то ожидал также себе отставки, когда пришло известие о кончине царя.

Про него говорили, что в военном деле он смыслит очень мало, в гражданском же ровно ничего, а попал в начальники двух или трех губерний! Такие примеры теперь уже не редки и никого более не удивляют. Самая наружность его не могла вселить к нему уважение: коротенький, толстенький человек, не имеющий ни одной оригинальной черты англичан, с самыми бесцветными характером и физиономией, не умный и не глупый, не добрый и не злой, не приветливый и не грубый. Находили, однако же, что он имеет некоторую ученость, потому что хорошо умеет говорить по-английски и знает, что такое парламент, о котором немногие у нас тогда слыхали. Жена его, Софья Карловна, была, по крайней мере, похожа на что-нибудь: она напоминала собою няnek и ключниц своей нации и по-французски английским наречием говорила очень забавно.

Мы проехали Курск и приехали в Воронеж. Там находился на квартирах Малороссийский кирасирский полк, в коем служил средний брат мой Николай, и у него мы остановились. Накануне, сбившись с дороги в сильную метель, мы плутали половину ночи и, измученные, приехали часу в десятом утра. Матушка с сестрами, старшею и маленькою, целый день посвятили отдохновению; а меня тотчас брат повез смотреть город и представлять главным одного лицам. Все это было как на лету, и я их всех перебыл, кроме двух: шефа братнина полка, генерала князя Ромодановского, и главного воронежского откупщика, который садился с гостями за жирный и званый обед и нас убедительно пригласил остаться. Про него несколько слов.

Это был дворянин в купечестве, отставной гвардии полковник Федор Николаевич Петрово-Соловово, праправнук древних бояр, из столбовых первый у нас, который, сбросив предрассудки старины, прозрел будущность России. Муж дальновидный, по ходу дел и по направлению умов он предусмотрел, что скоро не чины, не заслуги, не добродетели будут в России доставлять уважение и вести к знатности, а богатство, единое богатство; он не погнушался

предводительствовать целовальниками и собирать дань с порока и один попятился, дабы с потомством и семейством (коего еще не имел<sup>15</sup>) далеко скакнуть потом вперед.

После убийственно сытного обеда на часок завернули мы домой, чтобы навестить ма-тушку, а в пять часов были уже в театре. Изю всех русских городов в одном только Воронеже была тогда вольная труппа, составившаяся из охотников и отпущенных на волю крепостных актеров. Она не совсем плохо играла «Ненависть к людям и раскаяние» Коцебу. В восемь часов был я на бале у богатого фабриканта Горденина (который почти накануне выдал дочь за дипломата Муратова, впоследствии харьковского губернатора) и проплясал до второго часа ночи, имея в виду со светом отправиться далее в путь. Подвиги невероятные даже в тридцать лет и весьма естественные в пятнадцать или шестнадцать, когда скука более всего утомляет и забавы служат отдохновением.

В Пензенской губернии было тогда семейство безобразных гигантов, величающихся, высящихся, яко кедры ливанские; и прошел век мой, и увы! не мог я сказать: се не бе! И кто взыщет место их, тот обретет еще нечестивое их высокомерие в Симбирске и Саратове. Там живут еще старшие члены семейства Столыпиных. Глава его Алексей Емельянович был человек неглупый, с большим состоянием: он имел труппу актеров и музыкантов, имел каменный дом в Москве и давал балы, каких тогда можно было найти в ней по двадцати каждый день. В чине отставного поручика (дело дотоле неслыханное) был он раз выбран губернским предводителем; если прибавить к тому чрезвычайно высокий его рост, то сколько причин, чтобы почитать себя выше обыкновенных смертных! В нем и в пяти гайдуках, им порожденных, была странная склонность не искать власти, но сколько возможно противиться ей, в чьих бы руках она ни находилась.

Огромнейший из его детищ, Аркадий<sup>16</sup>, служил при Павле в генерал-прокурорской канцелярии; там сошелся, сблизился он с человеком самого необыкновенного ума, о коем преждевременно говорить здесь не хочу [Сперанский]. От него заимствовал он фразы, мысли, правила, кои к представляющимся случаям прилагал потом вкривь и вкось. Известно, как быстро при Павле везде шло производство: в двадцать два года был он уже надворный советник и назначен губернским прокурором в Пензу. Природа, делая лишние усилия, часто истощает себя и, чрез меру вытягивая великанов, отнимает у них телесные силы. Так то было с этим Столыпиным. Глядя на его рост, на его плеча, внимая его грубому и охриплому голосу, можно было принять его за богатыря; но согнутый хребет обличал его хилость, и в двадцать лет не с большим одолевающие его хирагра и подагра заставляли его часто носить плисовые сапоги и перчатки. Бессилие его ума также подавляемо было тяжестью идей, кои почерпнул он в разговорах с знаменитым другом своим и кои составляли все его знание. Свойства, всегда и везде полезные, бесстыдство и хладнокровие, коими одарен он был в высшей степени, ручались ему за величайшие успехи в жизни. Первые месяцы оставался он спокоен, принимая участие в общем веселии и не расстраивая общего согласия. Одно происшествие подало ему повод себя обнаружить. Шатающийся в Пензе отставной офицер, по имени Чудаковский, пьяный, дерзкий и развратный, сделал одно из тех преступлений, которые в России были тогда почти неслыханны: насильственно был он причиною смерти одной несовершеннолетней девочки. По принесенной о том жалобе отец мой велел его засадить и предать уголовному суду. Столыпин немедленно вошел с протестом, в коем, самым неприличным образом порицая злоупотребление власти, старается оправдывать виновного, увлеченного якобы силою любви. Это было в начале Страстной недели; все, что было порядочных людей, пришло в ужас, а в других сначала

---

<sup>15</sup> Он вскоре потом женился на красавице княжне Щербатовой. Сын его женат на княжне Гагариной, родной племяннице адмирала князя Александра Сергеевича Меншикова. Дочь его за высокоумным Александром Ивановичем Кошелевым, писателем и славянофилом. Прибавляет ли сие что-нибудь к знатности этого семейства? Нет, ничего: но прибавит, если сей последний разбогатеет, как он надеется, и если в России не переменится общее мнение. — *Авт.*

<sup>16</sup> Аркадий Алексеевич Столыпин (1778—1825) — один из ближайших друзей Сперанского, обер-прокурор Сената, затем сенатор. Был женат на дочери знаменитого Николая Семеновича Мордвинова, Вере Николаевне. Сестра его — Елизавета Алексеевна Арсеньева — была бабкой Михаила Юрьевича Лермонтова, а сын его — друг Лермонтов — «Монго» Столыпин.

сие возбудило одно только любопытство. Бумагу сию можно почитать манифестом зла против добра. Безнаказанность такой наглости, несколько времени спустя, ободрила всех врагов порядка: знамя было поднято, они спешили к нему. Скоро все пороки, даже злодеяния, стали группироваться вокруг колоссального трибуна. Наконец, малейшее неудовольствие на губернатора за всякую безделицу, за невнимание, за рассеянность (чего бы прежде не смели и заметить) бросало в составившуюся оппозицию многих помещиков, впрочем, не весьма дурных людей, но необразованных и щекотливых.

Не скоро отец мой мог все это понять; служивши долго при Екатерине, когда власть уважали и любили, и несколько времени при Павле, когда трепетали перед нею, ему не верилось, чтобы было возможно столь несправедливо, безрассудно и нахально восставать против нее. Он не скрывал своего негодования и жаловался старому другу своему генерал-прокурору Беклешову, а тот, с одной стороны, успокаивал его конфиденциальными, совершенно приятными письмами, а с другой, грозил официально Столыпину, что выкинет его из службы, если он не уймется. Но сей последний умел скрывать получаемые им бумаги, коих содержание сделалось известно только по оставлении им должности: казался весел, покоен и каждый день затевал новые протесты. Отец мой был в отчаянии, не зная, что подумать о генерал-прокуроре, а Столыпин ничего не страшился: он знал, что происходит в Петербурге, и ничего так не желал, как, наделав шуму, явиться туда жертвою двух староверов. Наконец, действительно велено ему подать в отставку, и он послал просьбу; но она пришла уже к преемнику Беклешова, который, с честью его уволив, причислил к себе. Я не знаю ничего позорнее этой краткой борьбы между умным, пылким и благородным старцем и бессмысленным, бесстрастным и безнравственным юношей.

В поступках этого человека можно было видеть нечто отчаянно-смелое, и можно было в нем предполагать необычайную силу духа; напротив, трудно было сыскать человека, более его трусливого. Старшие братья мои и иные молодые люди говорили ему в глаза жестокие истины, от коих всякого другого бы взорвало; мне случилось видеть, как один граф Толстой в бешенстве взял его за ворот, но он остался непоколебим, понюхивал табак и, величественно улыбаясь, старался все обратить в шутку. Мне сказывали потом, как при всех объявлял он, что не согласится ни за что в мире на поединок. Подобно одному глупцу нынешнего времени, он любил твердить о своей магистратуре; ею, по словам его, как священной мантией прикрывался он от ножа или кинжала убийцы (чего опасаться, кажется, было трудно), но никогда не упоминал о шпаге или пуле противника, который, однако же, мог бы явиться.

Я видел только самое начало этой брани, ибо шестимесячный срок моего отпуска миновался, и далее мая месяца мне в Пензе нельзя было оставаться.

Но и после Столыпина война не прекращалась.

Отъявленным, главным врагом нашим почитался некто ст. с. Петр Абросимович Гориховостов, семидесятилетний старик, утопавший в постыдном любострастии. Владея хорошим родовым имением, он чрезвычайно умножил его экономическими средствами, будучи экономии директором и потом вице-губернатором в Вятской губернии, населенной, как известно, почти одними только казенными крестьянами; его экономическая система что-то не понравилась; нашли, что она накладна для казны, и не совсем учтиво отказали ему от должности. Он приехал на житье в уездный тогда город Пензу, где всех он был богаче, всех старее летами и чином, где не весьма строго смотрели на средства к обогащению и охотно разделяли удовольствия, ими доставляемые. Старость его, которую называли маститою, была отменно уважаема: ибо за дешевый, хотя множеством блюд обремененный стол его садилось ежедневно человек по тридцати. Только что за обоняние, вкус и желудки были у гостей его! Кашами с горьким маслом, ветчиной со ржавчиной, разными похлебками, вареными часто в нелуженой посуде, потчевал их этот человек, в коем тщеславие спорило с ужасною скупостью. Одним обыкновенным хлебосольством не ограничивалось его великолепие; длинный ряд комнат довольно низкого одноэтажного деревянного дома его был убран с большими претензиями; но

все там было неопратно, нечисто, как совесть хозяина. В огромном мезонине, подавлявшем сей низенький дом, помещался театр, где играли доморожденные его актеры и музыканты<sup>17</sup>. Официальная сила отца моего не могла нравиться народности пензенского гранда; к тому же самая противоположность характеров не допускала их сблизиться. Оказывая ему всевозможную учтивость, отец мой воздерживался, однако, от всего, что могло произвести короткость, и один раз, захворав от его обеда, старательно отклонял потом новые его приглашения. Чего же более для совершенного разрыва?

Тот, о коем кончил я рассказ, может почитаться добродетельным в сравнении с тем, о ком я стану говорить и о ком без омерзения не могу я вспомнить. Нравом, сердцем, правилами и поступками, равно как и лицом, фигурой, взглядом и голосом я не знавал человека хуже Семена Алексеевича Охлебинина. В нем одно совершенно отвечало другому и равно было гнусно и отвратительно. Распространяться об нем я много не буду, опасаясь, чтобы не стошилось, а скажу только о необыкновенном способе, который употреблял он для стяжания себе богатства. Он заводил тяжбы со всеми соседями, преимущественно же с мелкими дворянами; когда он приводил их в отчаяние, то мирился с ними не иначе как с условием уступить ему их малые участки за низкую цену, которую он сполна не выплачивал, и они отступались от нее, чтобы от него как-нибудь отвязаться. Когда у других шел спор об имении, то с предложениями о покупке его он обращался единственно к тем, кои лишались надежды выиграть дело, и таким образом за самую умеренную цену приобретал поместье и процесс. Этот ябедник действовал не подкупом, а страхом; он во всех судах был ужас и бич присутствующих, секретарей и по-вытчиков. Когда мы приехали в Пензу, говорили, что у него в одно время было тридцать два процесса. Такие люди редко бывают щекотливы, а этот еще требовал уважения: дело невозможное для человека с честью, каков был отец мой; а вот еще и новый злодей!

Многочисленное семейство его было примечательно родовым, наследственным свинообразием. Жена его никуда не показывалась: какая-то ужасная болезнь, коей начало приписывали сожитию ее с мужем, до того изуродовала лицо ее, и так уже весьма некрасивое, что лишила ее даже носа. Из его детей мне особенно памятна одна дочь его, Авдотья, которую, по преувеличенным пропорциям тела ее, сами родители прозвали Дунаем и у которой была удивительная страсть ловить мух и глотать их. Со взором дикого зверя, имела она туловище коровы и птичий вкус: ламайские язычники могли бы почесть ее божеством.

На другой дочери его, Елизавете, женился несколько лет потом спустя один из глав коалиции, игрок Ошанин. Выгнанный сперва из столиц, потом из губернских городов, сей смелый, но, видно, не довольно искусный человек, неоднократно изобличенный в мошенничестве и воровстве, избрал убежищем свободную тогда Пензу. Довольно уже неопытных юношей, довольно неосторожных мужей прошло чрез хищные его руки, чтобы дать ему средства завести хороший дом и жить в нем прилично. Некоторая роскошь есть одна из приманок, одно из необходимых условий для промышленников такого рода, и обращается им под конец в привычку и потребность; она дом его сделала привлекательным. Меры, при отце моем принятые полицией к прекращению публичных заседаний в сем доме, ожесточили г. Ошанина, хотя никто не мог воспретить ему действовать тайно и хотя для ловитвы его открыто широкое поле на всех окрестных ярмарках.

Не высчитывать же мне всех пакостников, вошедших в сообщничество с вышесказанными людьми, всех подлых их приверженцев! Не без труда и с частыми позывами ко рвоте мог изобразить я змей, а до ядовитых насекомых уже не спущусь. Сии нечистые стихии образовали не тучу, как говорит пословица, а навозную кучу, из которой, однако же, гром не переставал греметь во время управления отца моего. Она составила, разумеется, не в один день. Столыпин положил ее начало, но обстоятельства, в коих находилась тогда вся Россия, ее умножили и усилили.

---

<sup>17</sup> Житье г. Горихвостова под именем Рукавицына очень удачно описано в «Искусителе», романе Загоскина. Там же очень верно изображены бывший при Екатерине губернатор Ступишин и родственник его Еф. Петр. Чемесов, под именем Двинского. — *Авт.*

Пусть смеются надо мной, а в низких и глупых беспорядках Пензы я и доселе вижу глухой, невнятный отголосок 1789 года. Только после двоекратного посещения нами Парижа, в 1814 и 1815 годах, страшные звуки его начали становиться у нас понятнее и яснее. Но как либерализм и безверие так рано забралось в такое захолустье, когда ни в Киеве, ни в Петербурге и Москве я, по крайней мере, об них и не слыхивал? Киев от заблуждений Запада был защищаем ненавистью и презрением к Польше, откуда они могли в него проникнуть; в Петербурге и в Москве видал я только людей, напуганных ужасами революции. В нечестивой Пензе услышал я в первый раз насмешки над религией, хулы на Бога, эпиграммы на Богородицу от таких людей, которые были совершенные неучи; впрочем, они толковали уже о Нонотте, о Фрероне и об аббате Гене [писатели эпохи перед французской революцией, противники Вольтера] и топтали их в грязь, превознося похвалами «Кандида» и «Белого быка» Вольтера; авторы и сочинения мне были тогда вовсе неизвестны. Я не хочу быть пророком; не судя о будущем по прошедшему и настоящему, и теперь уверен в душе моей, что если б когда-нибудь (помилуй нас Боже) до дна расколохалась Россия, если б западные ветры надули на нее свирепую бурю, то первые ее валы воздыматься будут в Пензе. Нельзя обвинять Столыпина, что первый бросил он в Пензе зловредные семена; но очень удачно сделал он первую вспашку на почве, самой удобной для восприятия разрушительных идей. Во время Пугачевского бунта вероломством и жестокостью никто не превзошел ее жителей; в 1812 году изо всех ополчений одно только пензенское возмутилось в самую минуту выступления против неприятеля.

Да, так: почти сорокалетнее негодование мое и поднесь не истошилось; неугасимая ненависть к Пензе и поныне наполняет мое сердце. Пусть люди добрые, но не знающие глубоких ощущений, равнодушные к добру и злу, в шуме светских увеселений или в заботах службы терпящие память о иных обязанностях, пусть подозревают они меня в клевете, пусть обвиняют в жестокосердии, в ужаснейшей злобе! Я не ропщу на них: им не понять меня. Не всякому дано священное, небесное чувство беспредельной сыновней любви, не у всякого отец был праведник, не у всякого распинали его, как у меня.

На самом темени высокой горы, на которой построена Пенза, выше главной площади, где собор, губернаторский дом и присутственные места, идет улица, называемая Дворянскою. Ни одной лавки, ни одного купеческого дома в ней не находилось. Не весьма высокие деревянные строения, обыкновенно в девять окошек, довольно в дальнем друг от друга расстоянии, жилища аристократии, украшали ее. Здесь жили помещики точно так же, как летом в деревне, где господские хоромы их так же широким и длинным двором отделялись от регулярного сада, где вход в него так же находился между конюшнями, сараями и коровником и затрудняем был сором, навозом и помоями. Можно из сего посудить, как редко сады сии были посещаемы: невинных, тихих наслаждений там еще не знали, в чистом воздухе не имели потребности, восхищаться природой не умели.

Описав расположение одного из сих домов, городских или деревенских, могу я дать понятие о прочих: так велико было их единообразие. Невысокая лестница обыкновенно сделана была в пристройке из досок, коей целая половина делилась еще надвое, для двух отхожих мест: господского и лакейского. Зажав нос, скорее иду мимо и вступаю в переднюю, где встречает меня другого рода зловоние. Толпа дворовых людей наполняет ее; все ошипаны, все оборваны; одни лежа на прилавке, другие сидя или стоя говорят вздор, то смеются, то зевают. В одном углу поставлен стол, на коем разложены или камзол, или исподнее платье, которое кроится, шьется или починивается; в другом подшиваются подметки под сапоги, кои иногда намазываются дегтем. Запах лука, чеснока и капусты мешается тут с другими испарениями сего ленивого и ветреного народа. За сим следует анфилада, состоящая из трех комнат: залы (она же и столовая) в четыре окошка, гостиная в три и диванной в два; они составляютлицевую сторону, и воздух в них чище. Спальная, уборная и девичья смотрели на двор, а детские помещались в антресоле. Кабинет, поставленный рядом с буфетом, уступал ему в величине и, несмотря на свою укромность, казался еще слишком просторным для ученых занятий хозяина и хранилища его книг.

Внутреннее убранство было также везде почти одинаковое. Зала была обставлена плетеными стульями и складными столами для игры; гостиная украшалась хрустальной люстрой и в простенках двумя зеркалами с подстольниками из крашеного дерева; вдоль стены, просто выкрашенной, стояло в середине такого же дерева большое канапе, по бокам два маленьких, а между ними чинно расставлены были кресла; в диванной угольной, разумеется, диван. В сохранении мебели видна была только бережливость пензенцев; обивка ситцевая или из полинялого сафьяна оберегалась чехлами из толстого полотна. Ни воображения, ни вкуса, ни денег на украшение комнат тогда много не тратилось.

Когда бывал званый обед, то мужчины теснились в зале, вокруг накрытого стола; дамы, люди пожилые и почетные и те, кои садились в карты, занимали гостиную, девицы укрывались и гинесее [женская половина в древнегреческом доме], и диванной. Всякая приезжающая дама должна была проходить сквозь строй, подавая руку направо и налево стоящим мужчинам и целуя их в щеку; всякий мужчина обязан был сперва войти в гостиную и обойти всех сидящих дам, подходя к ручке каждой из них. За столом сначала несколько холодных, потом несколько горячих, несколько жареных и несколько хлебных являлись по очереди, а между ними неизбежные два белых и два красных соуса делили обед надвое. Странное обыкновение состояло в обязанности слуг, подавая кушанье и напитки, называть каждого гостя по имени.

Вообще Пенза была, как Китай, не весьма учтива, но чрезвычайно церемонна; этикет в ней бывал иногда мучителен. Барыни не садились в кареты свои или колымаги, не имея двух лакеев сзади; чиновники штаб-офицерского чина отменно дорожили правом ездить в четыре лошади; а статский советник не выезжал без шести кляч, коих называл он цугом. Случалось, когда ворота его стояли рядом с соседними, то передний форейтор подъезжал уже к чужому крыльцу, а он не выезжал еще с своего двора. С воцарением Александра дамы везде перестали пудриться, только в Пензе многие из них не кидали обычая носить пудру. Щеголеватостью ни форм, ни нарядов прекрасный пол в Пензе не отличался, ни даже приятною наружностью. Только в первые дни пребывания моего там, на Масляной, две красавицы мелькнули предо мною, как мимолетные видения: одна генеральша Львова, урожденная Колокольцева, была тут проездом; другая, госпожа Бекетова, урожденная Опочинина, три четверти года жила в саратовской деревне, и скромная добродетель ее часто походила на суровость.

Просрочив и опасаясь грубостей Бантыша-Каменского, я не спешил к нему явиться; но он принял меня, о диво! как бы ни в чем не бывало. Умный старик сметил наконец, что взыскательность с мальчишками, кои на год или на два записываются в его архив для получения чина, совсем неуместна, когда все гласит о снисходительности.

Но вместе с уменьшением его строгости архив лишился многих приятностей. Никто уже (и я в том числе) так часто в него не ходил: скука была ужасная, не с кем почти было слова вымолвить. Куда девались все наши молодцы? Одни переселились в спокойный уже Петербург под покровительство к родным; другие получили места при миссиях; одни путешествовали за границей, другие доучивались в иностранных университетах; а иные, не покидая архива, выпросились на лето в деревню. Единственную для меня отрадой были встречи с двумя сослуживцами: прежним, Блудовым, и новым, Губаревым. Я нашел, что первый чрезвычайно вырос, потерял немного прежней живости (чему причины я тогда не знал), зато, кажется, еще более поумнел; другой был добрый, остроумный весельчак, который потом деревенскую жизнь предпочел исканию почестей.

Многие из жителей Москвы и оставшихся моих товарищей все твердили о Петербурге, жилище светозарного ангела, земном рае, где люди свободны, блаженствуют и трудятся единственно только для добра. Очарование все еще длилось. Венчанный юноша уже хладел в пламенных объятиях России, уже неверные взоры его с любовью обращались к Западу; а ее восторги не истощились. Все завидовали тем счастливым, кои, служа в столице, могли участвовать в великих гражданских подвигах, преднамереваемых царем. Увы, несчастный! Зачем увлекся я общею молвою! Зачем послушали меня родители! Зачем вице-канцлер исполнил их

желание! Около половины августа причислен я был к делам коллегии, с тем чтобы, по прибытии в Петербург, поступить в канцелярию князя Куракина.

Я бы мог спокойно жить в беспечной Москве; изредка повышаемый в чинах, я бы до седых волос мог оставаться архивным юношей. В старике Каменском привычка обращалась в чувство; я бы стал копаться с ним в древних рукописях и мог бы сделаться полезным его сотрудником. А если бы недостаточное состояние понудило меня искать содержания более выгодного, то сколько мест в Москве, где служба — продолжительный, приятный сон! Кремлевская экспедиция, Почтамт, Опекунский совет и другие. Нет, всю будущностью, спокойствием всей жизни пожертвовал я честолюбию, которое велели мне иметь и которого даже во мне не было. Кто знает? Не столь разборчивый, я мог бы встретить скромную, тихую деву, без причуд и шумихи петербургского воспитания; я был бы ею счастлив, а она мною. В благо-растворенном климате, ближе к природе, может быть, я полюбил бы сельскую жизнь, малый достаток жены соединив с собственным; врожденною моею бережливостью я мог бы их умножить; семейство, научаемое мною умеренности, наследовало бы моему скромному счастью, и ныне ясный день тихо догорал бы для меня. Но нет! На путь жестоких испытаний круто своротила меня судьба с той мирной стези, которую указывали мне и природные наклонности и положение, в коем я находился.

И что же? Много ли я выиграл перед теми, кои никогда не знали петербургской службы? То я прыгал, то должен был на время останавливаться; а они спокойно шли ровным, тихим шагом и от меня не отставали. И что за жизнь моя была, о Боже! Почти вся она протекла среди болот Петрограда, где воздух физически столь же заразителен, как нравственно. Сколько нужд перенес я в сем городе! Как постоянно рвался я из него! И в преклонных летах еще осужден я влачить в нем тяжелые оковы службы.

В последний раз сопровождаем я был спасительным обо мне попечением моего семейства; мне не дозволили ехать одному. Старший брат мой Павел, за болезнь, опять оставил службу; его прислали из Пензы в Москву, чтоб отвезти меня и устроить на новом жительстве. Мы отправились 31 августа, а 4 сентября 1802 года прибыли в Петербург.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Мы остановились в «Лондоне», в одном из двух только известных тогда трактиров и заезжих домов, из коих другой, Демутов, принадлежащий к малому числу древностей столетнего Петербурга, один еще не тронут с места и не перестроен.

Большой живости не было заметно. Город только через десять лет начал так быстро наполняться жителями; тогда еще населением он не был столь богат; обычай же проводить лето на дачах в два года между всеми классами уже распространился: с них не успели еще переехать, и Петербург казался пуст.

Но если по наружности не было заметно большого движения, то в правительственных местах и канцеляриях была тогда большая деятельность; ибо 8 сентября издан достопамятный указ об учреждении министерств.

Двор находился тогда в Гатчине, и потому-то мы не нашли ни генерал-прокурора Беклешова, к которому брат имел поручение от отца, ни вице-канцлера князя Куракина, к которому я ходил являться. По странному стечению обстоятельств, приезд мой был вторично как будто сигналом удаления для Беклешова; меня же другой раз встретили в Петербурге обманутые надежды.

С учреждением министерств, можно сказать, уничтожался весь прежний ход дел в государстве и устанавливался совершенно новый.

О неудобствах, о вредных последствиях сего важного события, по крайней мере по моему мнению, пагубного для России, должен я буду часто, почти беспрестанно говорить в сих записках. Здесь ограничусь объяснением, как умею, в чем состояла разница между старым и новым порядком вещей.

Кажется, простой рассудок в самодержавных государствах указывает на необходимость коллегиального управления. Там, где верховная, неограниченная власть находится в одних руках и глас народа, через представителей его, не может до нее доходить, власть главных правительственных лиц должна быть умеряема совещательными сословиями, составленными из мужей более или менее опытных. Если суждения их, споры, даже несогласия несколько замедляют ход дел, зато перед государем они одни только обнажают истину, выказывают ему способных людей для каждого места и таким образом облегчают ему выборы. Так было в России до Петра Великого. Приказы, думы, суды превратились при нем в коллегии; число их умножилось: переменились названия, но не изменился существовавший порядок. Пред обновленною им древностью благоговели все его преемники до Александра.

Молодость сего государя, по образу мыслей, данному ему воспитанием, и по внушениям почти столь же юных советников, пренебрегла опытом веков.

В Англии, во Франции есть министры, облеченные обширною властью и за то подвергнутые строжайшей ответственности. Там же парламенты и представительные палаты, следящие за всеми их действиями. Чтобы поставить Россию на одинаковую степень с другими просвещенными государствами, надобно также иметь в ней министров, но перед кем будут они отвечать? Перед государем, который долго уважает в них свой выбор, которого делают они участником своих ошибок и который, не признавшись в оных, не может их удалить? Перед народом, который ничто? Перед потомством, о котором они не думают? Разве только перед своею совестью, когда невзначай есть она в котором-нибудь из них. Но разве нет Сената? Рас-



пространить его права, до некоторой степени подчинить ему властителей сих: доселе не имел он других прав, как указами доносить министрам; они не имели к нему других обязанностей, кроме рапортов, коими давали ему свои предписания.

В тишине кабинета, поработав с безгласным или всемогущим директором, министр несет к государю свои или его предположения; когда он пользуется уверенностью, то без дальнейшего рассмотрения дело тут же и оканчивается; если же нет, то отсылается в комитет министров, где, как уверяют, часто царствует рассеянность и где почти беспрестанно взаимное умовение рук. Может же когда-нибудь случиться, что рассеянный государь вверится небрежным министрам, которые вверяются ленивым директорам, которые вверяются неразумным и неопытным начальникам отделений, а они вверяются умным и деятельным, но не весьма благонамеренным и добросовестным столоначальникам. Тогда сии последние, без общей цели и связи, будут одни управлять делами государства.

Вот будущность, которая с 8 сентября 1802 года открывалась Для России. Кто был душою заговора против нее? Кто был его главою? Кто подавал мысли и кто приводил их в исполнение? Чтобы объяснить это, необходимо будет кратко и резко изобразить новые лица, которые выступают на сцену.

Всех старше если не летами, то чином был граф Кочубей, родной племянник умершего канцлера князя Безбородки. Чтобы составить гений одного человека, натура часто принуждена бывает отобрать умственные способности у всего рода его. Так поступила она с великим Суворовым и славным Безбородкой. Окинув взором всех ближних и дальних родственников, покойный канцлер в одном только из них заметил необыкновенный ум, то есть что-то на него самого похожее: сметливость, чудесную память и гордую таинственность; и племянника своего, Виктора Павловича, предназначил быть преемником счастья своего и знаменитости. Ничего не пощадив на его воспитание, в самых молодых годах отправил он его в лондонскую миссию, к искусному дипломату, посланнику нашему графу Воронцову на выучку. Оттуда прямо, через несколько лет, нашел он средство, с чином камергера, перевести его самого посланником в Константинополь. До смерти своей сохранив при Павле неограниченный кредит, он сначала вызвал его оттуда членом иностранной коллегии, а потом, в короткое время, успел доставить ему графское достоинство и звание вице-канцлера. Один, без дяди, при Павле Кочубей долго не мог оставаться и, как многие другие, был сослан в деревню.

В царствование Александра надобно уже было ему жить собственным умом; ему было тогда не с большим тридцать лет. Он пренебрег обыкновенными ничтожными занятиями дипломатов, по большей части сплетнями хорошего тона, и хотел посвятить себя внутреннему преобразованию государства. Перед соотечественниками ему было чем блеснуть: он лучше других знал состав парламента, права его членов, прочитал всех английских публицистов и, как львенок Крыловой басни, собирался учить зверей вить гнезда. Красивая наружность, иногда молчаливая задумчивость, испытующий взгляд, надменная учтивость — были блестящие завесы, за кои искусно прятал он свои недостатки, и имя государственного человека принадлежало ему, когда еще ничем он его не заслужил.

Другой сообщник в важном предприятии был тайный, непримиримый враг России, слишком известный потом изменник Чарторыйжский. Исступленным патриотизмом его мать заслужила от поляков название матки ойчизны; в объятиях этой матки, польской Юдифи, русский Олоферн наш, князь Николай Васильевич Репнин не потерял, однако же, головы, и отчизну ее, когда был послом в Варшаве, заставлял трепетать перед собою. Князь Адам был плодом всем известного сего чудовищного союза<sup>18</sup> С малолетства налитанный чувствами жесточайшей ненависти к истинному своему отечеству, он посвящен был его же служению. Несколько времени находился он адъютантом при Александре Павловиче, когда тот был наследником престола, умея угодить ему, и составленную с ним связь сохранил почти всю жизнь его. При его воцарении вызван он был из Рима, где находился посланником нашим при сар-

<sup>18</sup> Адам Адамович Чарторыйжский родился в 1770 г., когда Николай Васильевич Репнин был в Варшаве русским послом.

динском короле, который, лишившись Пьемонта, не очень спешил отправиться в Сардинию. Чтобы сойтись с другими любимцами царя, надобно было ему притвориться англоманом, что ему небольшого стоило. Кроме зла, не мог он желать России, и участие его в замышляемом ее преобразовании, по крайней мере, показывает в нем много ума.

Третий соучастник был двадцатидевятилетний Павел Строганов, единственный сын графа Александра Сергеевича, известного покровителя художеств и муз. Совершенным мальчиком видел он в Париже ужасы революции и был в восхищении от сего народного волкана. (Его воспитателем был якобинец Жильбер Ромм.) С трудом могли его извлечь оттуда и перевести в Лондон, где глазам его представилось другое зрелище. Там увидел он блестящий призрак свободы, коим искусный деспотизм лордов тешил народ, и еще более пленился; и молодой русский лорд долго еще потом бредил Англией. Приятное лицо и любезный ум жены его сблизили с ним императора Александра, а ее добродетель не могла его после разлучить с ним. Ума самого посредственного, он мог только именем и фортуною усилить свою партию.

Весьма еще не старый моряк был тогда уже контр-адмиралом. Он сим обязан был не собственным заслугам, а славе отца, одержавшего над шведами знаменитую морскую победу. Имя Чичагова, прославленное отцом, впоследствии осквернено было сыном<sup>19</sup>. Он также в душе был англичанин, в Англии учился мореплаванию и женат был на англичанке. В последние дни царствования Павла смелые, даже дерзкие ответы его нетерпеливому деспоту, за которые засажен был он в крепость, приобрели ему общее уважение, которое сохранил он, пока другой известности не имел. Суровость моряка, в соединении с надменностью англичанина, сделала его потом ненавистным для русских; последний же его подвиг заставил их всех презирать его. Проклиная Россию, оставил он ее навсегда и с лихвою платит ей за ненависть и презрение, коими она его обременяет<sup>20</sup>. Он был в числе затейников, которые думали устроить счастье ее на прочном основании.

Всех старее летами и, конечно, всех выше умом был Николай Николаевич Новосильцев. Будучи сыном побочной сестры старого графа Строганова, он-то в Париж ездил выручать молодого и сей услугой еще более скрепил родственные связи с дядей. Это было не одно путешествие, которое на его счет делал он за границу. Англия совершенно обворожила его; в ней только могла утолиться жажда его к познаниям, как и всякого другого рода его жажда. Там увидел он, что великий разврат не мешает быть великим человеком, и, кажется, Фокса<sup>21</sup> взял он себе за образец. Отчизну портера и эля, где не рождаются, а льются мадера и портвейн, где опрятность и роскошь у самых грубых наслаждений отнимают все, что есть в них отвратительного, сию землю втайне сердца избрал он своим отечеством. Он числился в армии подполковником и оставил службу вслед за смертью Екатерины. При Александре, который прежде его знал, сделан он был тотчас камергером и статс-секретарем. Молодой царь видел в нем умного, способного и сведущего сотрудника, веселого и приятного собеседника, преданного и откровенного друга, паче всех других полюбил его и поместил у себя во дворце. Его друзья держались им более всего и через его посредство только могли действовать на государя.

И вот люди, которые, едва достигнув зрелости, хотели быть опекунами России и брались ее перевоспитывать. Нет сомнения, что они не могли бы иметь такого успеха, если б сам царь не имел склонности подражать всему английскому. Его воспитание было одною из великих ошибок Екатерины. Образование его ума поручила она женевцу Лагарпу, который, оставляя Россию, столь же мало знал ее, как и в день своего приезда, и который карманную республику свою поставил образцом правления будущему самодержцу величайшей империи в мире. Иде-

<sup>19</sup> Имеется в виду неудача Чичагова при Березине, где он не сумел поймать бежавшего из России Наполеона.

<sup>20</sup> Павел Васильевич Чичагов (1767—1849), живя за границей, всегда с любовью говорил о России, отстаивал необходимость свободы для нее и в статьях своих противопоставлял русское крестьянство дворянству, высказывая уверенность, что народ свергнет насилие и произвол. Чичагов терпеть не мог придворных льстецов, с пренебрежением относился к подобию тогдашней русской знати, за что она его, действительно, ненавидела. Отголоском этой нелюбви и является отзыв Вигеля о нем.

<sup>21</sup> Чарлз Фокс, знаменитый английский политический деятель (1749—1806), бывший попеременно то консерватором, то либералом, не признававший в политике ни честного слова, ни совести.

ями, которые едва могут развиваться и созреть в голове двадцатилетнего юноши, начинили мозг ребенка, которого женили ранее шестнадцати лет. Не разжевавши их, можно сказать, не переваривши их, призвал он их себе на память в тот день, в который начал царствовать. Иногда у себя спрашиваешь: что было бы с красотой его души, если б любовь к отечеству сохранила ее, если б ее не исказило безотчетное пристрастие к иноземному? И где бы тогда в летописях найти подобного ему царя?

Со времен Петра Великого судьба велит России покорствоваться которому-нибудь из государств или народов европейских и поклоняться ему как идолу. Чтоб угодить Петру, надобно было сделаться голландцем; Германия владычествовала над нами при Анне Иоанновне и Бироне; при Елисавете Петровне появился Лашетарди, и начались соблазны Франции; они умножились и усилились страстию Екатерины Второй к французской литературе и дружбою ее с философами восемнадцатого века. Петр III и Павел I хотели сделать нас пруссаками; в первые годы Александрова царствования Англия была нашею патроншей. Уж не Польша ли становится нашим кумиром?

Из-за пентархии, мною описанной, как будто скрываясь, выглядывал Сперанский. Сие ненавистное имя в первый раз еще является в сих записках. Человек сей быстро возник из ничтожества. Сын сельского священника, возросший под сению алтарей, он воспитывался сперва во Владимирской семинарии и учился потом в Александро-Невской духовной академии. Дух гордыни рано им овладел; как падшие ангелы, тайно восставал он против самого Бога и в первой молодости уже отвергал бытие Его. А между тем неверующий сей делал удивительные успехи в богословских науках, и враг церкви приготавливался быть ее служителем. В лета непорочности и чистосердечия приучал он таким образом лживые уста свои выражать то, чего он не думал. Может быть, оставаясь в духовном звании, келейная жизнь дала бы другое направление его мыслям, и демон, вынужденный хвалить Господа, убедился бы наконец в истинах, кои обязан был вседневно возвещать. Но случайно он был перенесен на сцену мирской жизни.

Меньшой брат князя Куракина, Алексей Борисович, хотел единственного сына своего воспитанием приготовить к занятию со временем одного из высших мест в государстве и для того просил митрополита Гавриила выбрать ему наставника из студентов или магистров духовной академии. Он прислал ему двух, из коих предпочтен был Сперанский<sup>22</sup>.

В сей новой сфере угождал он отцу, нравился матери, баловал сына и прельщениями очищал себе дорогу к будущим успехам. Он был причислен к экспедиции казначейства, коею управлял князь Куракин; когда же сей последний при Павле сделан генерал-прокурором и пробыл им два года, то можно себе представить, как побежал он по ступеням почестей. При трех преемниках Куракина, князе Лопухине, Беклешове и Оболянинове, был он также деятельно употреблен и награждаем, но не имел главного влияния на дела.

Фортуна его сделал граф Пален, человек столь же мало, как и он, проникнутый светом христианской морали. Находясь в канцелярии генерал-прокурорской, он в то же время был правителем канцелярии какой-то комиссии о снабжении резиденции припасами, коей Пален был президентом, по званию военного губернатора. Им был он представлен молодому императору, который тотчас же сделал его своим статс-секретарем. Заметив склонность Александра к нововведениям, он предложил, как первый опыт, разделение дел тогдашнего императорского совета на экспедиции и взял одну из них в свое управление.

Никто из пяти преобразователей не умел ничего написать. Сперанский предложил им искусное перо свое и, принимая вид, как будто собирает их мнения, соглашает их, приводит в порядок, действительно один составил проект учреждения министерств. Тут увидел он всю пустоту претензий людей, почитавших себя у нас государственными, узнал все их ничтожество, опытность старцев и зрелых мужей презирал, уважал одну только ученость, в этом от-

---

<sup>22</sup> Оба брата Куракины любили показывать пышность. За двумя студентами послана была цугом великолепная четвероместная карета с гербами и ливрейными лакеями. Неопытный в делах света Сперанский, говорят, до того изумился, что бросился становиться на запятки и решился сесть в карету, следуя только примеру своего товарища, более смелого. — *Авт.*

ношении на гражданском поприще равных себе не видел и с тех пор приучился ставить себя выше всех.

В высоких, блестящих качествах ума никто, даже его враги, ему никогда не отказывали. Несмотря на безнравственность его правил (хотя и не поведения), в других обстоятельствах, в другое время он мог бы оказать чрезвычайные услуги государству и пользоваться чистой славой. Он был еще молод, спешил блеснуть и второпях не нашел ничего лучшего, как списать точь-в-точь учреждение министерств, коим французская директория надеялась поболее людей привязать к своему существованию, со всем преувеличенным его содержанием, со всем излишеством должностей. В нем признали творца, точно так же, как предки наши, не знавшие Корнеля и Расина, дивились изобретательности Сумарокова и Княжнина. Потомство будет уметь оценить создания Сперанского.

Хотя он (пусть простят мне сие простонародное выражение) и корчил иностранца, но в нем заметна была отличительная черта истинно-русского человека: он не знал мести, не умел ненавидеть. Но зато никто из его соотечественников, даже сам Потемкин, так глубоко не умел все презирать, с тою только разницей, что он умел делать сие неприметно. Я полагаю, что это происходило от совершенного равнодушия ко всему, кроме самого себя и своих творений. Он не любил дворянства, коего презрение испытал он к прежнему своему состоянию; он не любил религии, коей правила стесняли его действия и противились его обширным замыслам; он не любил монархического правления, которое заслоняло ему путь на самую высоту; он не любил своего отечества, ибо почитал его не довольно просвещенным и его недостойным. Тайный недруг православия, самодержавия и Руси, и в ней особенно одного сословия, он, однако же, их не ненавидел, в будущем довольствуясь мысленно их падением, не истреблением. Никто никогда ни в чем не мог его уличить; но кто знал его характер и правила, тот из действий его мог вывести достоверное заключение, что все они направлены к сей отдаленной цели. Когда сей зловещий дух показался на нашем горизонте, никто его не понял; все любили, ласкали его, дивились ему, даже гордились им, для всех был он надежда-Сперанский. Неблагодарный! И он мог не любить своего отечества? Только впоследствии, когда воспарил он гораздо выше и заключился в самом тесном кругу, когда он окружил себя какою-то таинственною, непроницаемою атмосферой, тогда только открылось поле для догадок и невыгодных об нем толков.

Он имел лицо весьма приятное и белизну молочного цвета. Голубые взоры его ни на что не устремлялись, никогда не блуждали, никогда не потуплялись, но, медленно поворачиваясь в сторону, как будто избегали встречи с другими взорами<sup>23</sup>; голос его был тих и несколько протяжен, улыбка принужденно-ласковая. В одеянии, в образе жизни старался он прилаживаться к господствующему вкусу. К счастью его, был он женат на девице Стивене, дочери бывшей английской гувернантки в доме графини Шуваловой; он ее лишился, но сохранил много из навыков ее земли. Например, тогда уже завтракал он в одиннадцать часов, и завтрак его состоял из крепкого чая, хлеба с маслом, тонких ломтей ветчины и вареных яиц. Он не знал по-английски; умел, однако же, говорить маленькой дочери своей, нынешней Толстой-Багреевой<sup>24</sup> *my dear, my pretty child, my sweet girl*. Летом думал он ездить верхом, едва держась на кляче с отрубленным хвостом. Вот единственно смешная его сторона, которую неохотно я представил: мне не хотелось бы ничего в нем видеть смешного, а одно удивляющее, ужасающее. Впрочем, может быть, и это было притворство, а не претензия.

Читатель увидит далее, что мне случилось быть с ним если не в близких, то в частых отношениях. Я разделял всеобщее к нему уважение; но и тогда близ него мне все казалось, что я слышу серный запах и в голубых очах его вижу синеватое пламя подземного мира.

Слово министерство было мало употребляемо: их знали более под названием департаментов, ибо при каждом министре находилось их первоначально не более, как по одному. Только впоследствии, с некоторым уменьшением, превратились иные в канцелярии, а под-

<sup>23</sup> Одна умная современница Сперанского говорила нам, что глаза у него были точно у издыхающего теленка, что подтверждают некоторые его портреты. — *Авт.*

<sup>24</sup> Дочь Сперанского Ел. Мих. была замужем за А. А. Фроловым-Багреевым, а не Толстым-Багреевым.

ведомственные министрам коллегии образовались в департаменты. Иные читатели полюбопытствуют, может быть, знать состав первого министерства в России.

Министром иностранных дел и государственным канцлером назначен был престарелый граф Александр Романович Воронцов. Последняя должность, которую занимал он при Екатерине, было место президента комерц-коллегии, где до того прославился он бесстыдным грабительством, что она принуждена была его выгнать, а Павел Первый никогда не хотел его употребить. К брату его, Семену Романовичу, почти двадцать лет сряду послу нашему в Лондоне, любимцы государя имели сыновнее уважение; он же сам был известен угодливостию молодым людям. Причины гонения на него были забыты, он казался жертвой, был умен, сговорчив, на все согласен и, несмотря на внутреннее и наружное его безобразие, на его неопрятность, на столь же запачканное платье, как и репутацию, занял он первое место в государстве. Товарищем его был назначен князь Адам Чарторыжский.

Президенты военной и адмиралтейств-коллегий, фельдмаршалы граф Николай Иванович Салтыков и Иван Логинович Голенищев-Кутузов уволены от упраздняемых должностей, а вице-президенты сих коллегий, Вязмитинов и Мордвинов назначены министрами. Покорность к предержавшей власти была девизом старика Сергея Кузьмича [Вязмитинова]. Его доброта и честность были столь же известны, как ум его и деятельность: трудолюбием и долговременною беспорочною службой единственно попал он наконец в люди. К сожалению, нахождение его в малых чинах при лицах строгих и не весьма вежливых начальников оставило в нем какое-то раболепство, не согласное с достоинством, которое необходимо для человека, поставленного на высокую степень. Ни английского, никакого другого иностранного в нем решительно ничего не было; в нем также никто не мог бы узнать и древнего русского боярина, а старинного, честного, верного и преданного русского холопа. Это был не Беклешов, и такой человек должен был пригодиться при составлении министерства. Товарища ему не дали, и оттого он долее мог усидеть на месте, ибо генерал-адъютант граф Ливен, управляющий военною канцеляриею при государе, чаще его видел и не имел нужды быть министром.

Известный своими добрыми намерениями, обширными сведениями, живым воображением и притязанием на прямодушие, Николай Семенович Мордвинков более нежели когда кипел в это время проектами. Он почитался нашим Сократом, Цицероном, Катонем и Сенекой. Политический сей мечтатель, с превыспренними идеями, с ложными понятиями о России и ее пользах, должен был естественным образом сойтись в мыслях с молодыми законодателями. К тому же и он был женат на англичанке Кобле, говорил и жил совершенно по-английски. Но не более трех месяцев пробыл он морским министром. Он вообразил себе, что у нас подлинно парламент; мнения, им подаваемые, были столь смелы, что через два года после Павла показались даже мятежными, и он должен был оставить место товарищу своему Чичагову.

Державин, гений и дитя, поэт и пророк, как Давид, видя на троне воспетого им при рождении порфирородного отрока, увлекался сладчайшими мечтами. Все, что происходило, в глазах его слишком отзывалось поэзией, чтоб ему не нравиться, и он с благодарностию принял звание министра юстиции и все, что уцелело от генерал-прокурорской должности. Год спустя после учреждения министерств всемогущий Новосильцев имел скромность не отвергнуть названия товарища министра юстиции.

Вышеописанные мною граф Кочубей и граф Строганов сделались: первый — министром внутренних дел, последний — его товарищем.

Столь благосклонный к отцу моему граф Румянцев был президентом комерц-коллегии, с званием министра, еще до учреждения министерств. В новом порядке другой перемены для него не последовало, кроме умножения власти и прав. С ним началось и прекратилось министерство коммерции.

Между министрами, наконец, встречаем лицо, сохранившее физиономию прежних времен. Необходимость заставила молодежь приобщить графа Васильева к своим предприятиям; а он, не в силах будучи остановить потока, решился, по крайней мере, пустив огромную ладью свою по его течению, стараться, сколько возможно, спасти ее от бурь. Финансовая наука

была не столь трудна и многосложна, как ныне; однако же, кроме его, некому было часть сию поручить. Он с самых молодых лет и малых чинов всегда прилежно занимался ею и хотя в звании государственного казначея и подчинен был генерал-прокурору, но действовал почти независимо. В нем была вся скромность великих истинных достоинств; он был в отношении к Мордвинову, как мудрец к софисту. Простота его жизни была не притязание на оригинальность, не следствие расчетов, а умеренности желаний и давнишних привычек. Будучи происхождения незнатного, едва ли дворянского, он не ослеплялся счастьем, никогда не забывался среди успехов. Сам Сперанский рассказывал при мне, как даже он был тронут патриархальностью, которою все дышало в его доме. Вероятно, для контраста, дали ему Гурьева в товарищи; но о сем последнем пока ни слова.

Человек, который некогда красотою столько же славился, как и умом, и не одним последним умел нравиться Екатерине, который, не зная опалы, видел множество перемен при ее дворе и, без всяких для себя неприятностей, осторожно и спокойно прошел бурные года царствования Павла, при Александре принимает участие в новообразуемом министерстве. Граф Завадовский, украинская умная голова, когда-то любимый секретарь Румянцева-Задунайского, всегда умел пользоваться жизнью и обстоятельствами. Исключая Сперанского, он один только знал по-латыни, а ведь это ученость: кому же приличнее его поручить министерство просвещения? Правда, его было весьма мало, но сначала нужно было только известное имя, под которым Сперанский брался распространить его. Товарищем к сему министру назначен Михаиле Никитич Муравьев (отец декабристов Александра и Никиты Муравьевых), муж ученый, кроткий и добросердечный, умный и приятный писатель, один из наставников императора, к сожалению, не довольно пылкий и твердый, чтобы сделаться одним из доверенных его советников. Он везде и во всем видел добро и столь же страстно любил его, как и искренно в него веровал.

Утверждают, что в это время благонамеренный и неопытный царь, подстрекаемый письмами из Женевы от учителя своего Лагарпа (кои после имел я случай читать и даже переписывать), хотел без всякого приготовления, единым махом издать для России какую-то конституцию. Уверяют, будто приближенные его, несмотря на свое неведение и англomанию, столько еще смыслили, чтобы знать великую разницу между Англией и Россией, что они убедили его на время отложить свое намерение и взамен предложили учреждение министерств, как первый к тому шаг. Хороши бы мы тогда были! Родившись в России и никогда дотоле ее не покидавши, напитанный русским воздухом самодержавия, Александр любил свободу как забаву ума. В этом отношении был он совершенно русский человек: в жилах его вместе с кровью текло властолюбие, умеряемое только леностью и беспечностью. Дай русскому народу немецкое прилежание и терпеливость, и он владыка целого мира. Сейчас мы видели, как, пренебрегая общим мнением, столь выгодным для Мордвинова, за несколько смелых его выражений император внезапно удалил его. С другой стороны, невежественный наш народ и непросвещенное наше дворянство и теперь еще в свободе видят лишь право своевольничать. Что бы произошло от столкновения властей? Бог знает. А может быть, мы бы мигом прошли кровавое время беспорядков, и давным-давно из хаоса образовались бы устройство и народность. Но все-таки лучше, чтоб наши правнуки собирали плоды понесенных ими опасностей.

Итак, министерства были первыми из тех бесчисленных опытов, кои мы видим в течение почти сорока лет. Долго ли еще мы будем пытаться? Страшно подумать, что эти беспрестанные пробы могут довести нас, наконец, до какого-нибудь ужасного представления.

Я должен был посвятить изображению сего важного события, имевшего неисчислимое влияние на судьбу моего отечества, моего семейства и мою собственную, всю первую главу второй части сих записок. Теперь пора мне возвратиться к самому себе и представить читателю первые шаги малоумного мальчика, брошенного без всякой подпоры в опасный для каждого столичный мир.

Узнав о великих переменах, кои занимали весь город, в недоумении, что мне делать, я пошел отыскивать архивского своего знакомого, князя Козловского, служившего в канцеля-

рии князя Куракина. Имея весьма скудное состояние, он на его иждивении жил в самом верхнем этаже занимаемого им дома. К удивлению моему, нашел я его в десятом часу поутру на постели, хотя здорового; он дружески протянул мне руку, но воскликнул: «Как ты здесь, зачем ты приехал?» Я сказал ему причину и приезда моего и посещения, сказал, что пришел к нему разведать о всем пообстоятельнее и требовать его добрых советов. Он заговорил со мной непонятным для меня тогда языком петербургских гостиных. Я увидел, что он попал в большой свет, им только и бредит, и вне его все кажется ему ничтожным. Легкомысленный толстяк очень равнодушно говорил о перемене, последовавшей с его начальником, как будто она не должна была иметь никакого влияния на его участь; он оставался в том же кругу, не переставал ездить в те же общества. Из вздора, который он мне наговорил, мог я заключить только одно, что, зная мой нрав, мои привычки, судя по моим манерам, он предсказывал мне, что я никогда не буду блистать в петербургском свете и что лучше было бы оставаться в Москве. Дело шло совсем не о том, и я вышел от него очень недоволен. По крайней мере, взялся он предупредить обо мне Куракина и сказал время, в которое он принимает. Все это было совершенно не нужно; но почему мне было это знать?

Бывший вице-канцлер принял меня, по обыкновению своему, чрезвычайно ласково, расспросил о родителях, о службе ни слова, и пригласил на другой день на вечер. Действительно, вот все, что он мог для меня сделать; а я по неведению моему полагал, что найду случай просить его о рекомендации, чего при всех сделать не осмелился. Вместо того очутился я в ярко освещенных гостиных, наполненных мужчинами и дамами самого высшего круга, мне вовсе незнакомыми. Князь сидел за бостоном и назвал меня тем, кои близко его находились. Козловский подошел ко мне с видом наполовину дружеским, наполовину покровительственным, поговорил немного и пожал руку, как будто поздравляя с первым успехом, который, может быть, он же и приготовил. Мне от того было не легче, я прижался в угол. К счастью, сын никогда не женатого хозяина Сердобин имел человеколюбие подойти ко мне и немного заняться мною. Всего несноснее, всего досаднее показался мне один весьма красивый мальчик, самонадеянный, заносчивый, многоречивый, который громогласно, без всякого милосердия, рассуждал о французской литературе и театре: это был нынешний министр Уваров. Те, кои от самолюбия застенчивы, поймут, как мучителен для меня был этот вечер. Через несколько дней князь Куракин уехал в Москву.

Итак, мне ничего не оставалось, как потащиться в коллегия и представиться обер-секретарю ее, Илье Карловичу Вестману, человеку очень приятному, совсем не похожему на Бантыша и Малиновского. Он мне сказал, что по возможности будут занимать меня, и пригласил, а не приказал явиться в коллегия в такой день, в который она осчастливлена будет посещением канцлера графа Воронцова, товарища его и других ее членов.

Сии последние, исключая столь важных случаев, не знали, как отворяются в нее двери.

Сколь ни молод я был, но в первую зиму пребывания моего в Петербурге мог я увидеть, что в нем только две дороги — общество и служба — выводят молодых людей из неизвестности, в коей погрязают из них девять десятых. Самые успехи в русской литературе, коею так мало тогда занимались, если они не были чрезвычайные, не могли спасти от забвения.

Высокое общество не совсем похоже было на нынешнее. Оно было не столько еще снимок с прежнего парижского, сколько копия с венского. Там венгерские магнаты, на собственном содержании имеющие войска, там немецкие князья, из коих многие пользуются правами, присвоенными владетельным государям, имперские графы, фамилии коих обладают несколькими майоратами, польские, богемские и итальянские роды, соединяющие древность происхождения с огромными богатствами. Из них составила плотная масса, совершенно отделенная от других сословий, заимствующая часть блеска своего от императора и его двора, но самостоятельная, совершенно от них независимая. Кому известна Россия, тот знает, на каком зыбком основании поставлена наша так называемая аристократия. Казалось, подражание тут дело невозможное; однако же оно отчасти удалось: мы где что подметим, то хотя на время, а уже верно искусно перейдем.

Богатые фортуны не были еще разделены между потомками, не были еще враздробь промотаны. Они принадлежали по большей части людям, коим титул и высокий чин давали хотя иногда новую, но настоящую знатность. Камергерство четвертого класса и камер-юнкерство пятого сыновьям их, одним в двадцать пять, другим в восемнадцать лет, открывали рано дорогу к почестям. Унизительная, убийственная обязанность переписывать в канцеляриях бумаги для них не существовала. Предшественники Екатерины, как и она сама, как и сын ее, возводя кого-нибудь на высокую степень, давали ему средства не только поддержать блеск даруемого ему титула, но даже разливать его на своих потомков. Все было в гармонии, пока неосмотрительная щедрость Павла Первого не повысила чинами людей, коих всех не в состоянии был он обогатить.

В таком положении не совсем было трудно усастой княгине Голицыной, с умом, с твердым характером, без всяких женских слабостей, сделаться законодательницей и составить нечто похожее на аристократию западных государств<sup>25</sup>. К тому же в ней самой оставалось еще довольно много русского, чтобы переход к новым идеям не был столь ощутителен.

К чести сего общества, коего и поныне сохранилось еще несколько образчиков, должно сказать, что оно отличалось чрезвычайною учтивостью, то есть ласковою, нимало не церемонною, строго соблюдаемою взаимною внимательностью. Холодная же учтивость, без малейшего вида пренебрежения, служила ему защитой от вторжений в его собрания таких людей, коих почитало оно того недостойными. Оно вынуждено было при Павле поставить главным своим догматом, что чины суть ничто: предпочтение, сделанное тогдашнему генералитету, скоро обратило бы его в кабак. Беда только в том, что французский язык был также первым его условием и сделал его доступным людям, коих не следовало бы в нем видеть: всякого рода иностранцам, аферистам, даже актерам.

Тогдашний двор сему обществу служил также прекрасным образцом. Им правила вдовствующая императрица Мария Федоровна, пример всех семейных и общественных добродетелей, «жена сильная», о коей гласит Святое Писание, в преклонных летах еще блиставшая величественною красотой, пышность истинно царскую умевшая сочетать с бережливостию истинно народолюбивою. В тихом величии скромно стояла близ нее Елисавета Алексеевна, и немому бессильному божеству тем не менее усердные воссылались моления. Наконец, сам император знанием приличий превосходил всех современных государей. Правда, желая, может быть, чтобы видели, как он храним народною любовью, один прогуливался он пешком по набережным и таким образом ежедневно царствие свое показывал на улице. Но он действительно был ненагляден; ему всегда радовались как солнцу, которое, однако же, никому не в диковинку; какая-то сила, право волшебная, спасала его от неуважения, которое мы, особенно русские, невольно получаем к предметам, беспрестанно и везде встречаемым. Даже во время первой молодости в публичных местах видели его очень редко, в частных домах — почти никогда; посещение его одному из первых его вельмож почиталось историческим происшествием, ставилось выше всех оказанных им милостей. О вечерних собраниях у императрицы, весьма немногочисленных, в публике знали очень мало; известно было только, что с одной стороны являлась там самая милостивая снисходительность, с другой — искреннейшее благоговение; фамильярства — ни с которой.

В гостиных лучшего общества также царствовала величайшая пристойность: ни слишком повысить голоса, ни без пощады злословить там не было позволено. Такие вечера не могли быть чрезвычайно веселы, и на них иному не раз приходилось украдкой зевнуть; но в них искали не столько удовольствия, сколько чести быть принятым. Самим женщинам некоторая принужденность в манерах давала более правильности в поступках, а они в обществе всегда служат примером для мужчин. Гораздо позже, когда Кочубеи и Гурьевы какими-то финансовыми оборотами, более чем щедротами монарха, стяжали себе великое состояние и сделались

---

<sup>25</sup> Мать московского ген.-губернатора, знаменитая княгиня Наталья Петровна Голицына (с нее Пушкин писал Пиковую даму) имела усы и бороду. Властная, очень гордая, она заставляла все так называемое высшее общество считаться с нею. Цари полагали необходимым оказывать ей внимание. Она умерла в 1837 г. — 97 лет от роду.



первыми вельможами, тон общества стал приметно грубеть; понятия о чести начали изменяться и уступать место всемогуществу золота. Но все это было очень далеко от того, до чего мы ныне дожили.

Особые милости двора, кому бы они ни были оказаны, конечно, и тогда служили лучшей рекомендацией в лучшее общество. Иногда прихоть старой дамы, ее покровительство, иногда докучливость и наглость искателя в него и тогда открывали вход; но эти случаи были редки, и оно почти все составлено было из людей, в нем родившихся, выросших и, так сказать, в день крестин своих получивших от него приглашение. Новое лицо, неизвестное имя человека самого образованного всегда сначала вооружали против него. Люди средних лет, незнакомые с уставами сего общества, менее других могли надеяться в него вступить; но они, впрочем, о том мало и заботились. Молодость была счастливее: там, где нравственность не последнее дело, робость юноши принимается за добрый знак, и все стараются поощрить его.

Принадлежать к сему обществу было верхом желаний моего тщеславия. В средствах к тому, казалось, не было недостатка. Отец мой готов был прислать мне письма, которые открыли бы мне двери двух или трех знатных домов, с хозяевами коих был он хорошо знаком. Было другое средство, еще вернейшее: князь Федор Голицын, с которым провел я год в деревне отца его, одаренный изящным тактом, был одним из корифеев общества; без всякой дружбы он меня очень любил; ему казалось, что некоторою образованностию обязан я ему, и он мне предложил везде меня представить. Но тут-то и было первое затруднение: просить об определении в службу, о месте, о каком-нибудь тяжёлом деле мне никогда не казалось унижительным; а мысль испрашивать, как милости, дозволения к кому-нибудь ездить меня всегда пугала. Я всегда дожидался приглашений и почти всегда дожидался их тщетно: нерасчетливее, глупее моего самолюбия, признаюсь, я ни в ком еще не встречал.

К тому же слова Козловского и вечер у князя Куракина сильно на меня подействовали, лишили меня всей бодрости. Главное же, неодолимое препятствие было в пустоте моего кармана: надобно было вдвое, втрое более того, что давали мне родители, чтобы сколько-нибудь с пристойностию показываться в большом свете. А между тем, к несчастью, будучи с малых лет в сообществе с ровесниками, которых фортуна гораздо лучше меня наделила, я имел их вкусы и склонности и думал, что имею равные с ними права. Безрассудный, я должен был знать, что я сын почтенного, но весьма небогатого отца и что, подобно ему, одними трудами только мне возможно прокладывать себе дорогу. Если б я мог забыть о том, то его мудрые советы каждую почту письменно мне о том напоминали. Но какого толку спрашивать у молодого человека, едва вышедшего из отрочества?

Брат мой свел знакомство с одним весьма известным в свое время откупщиком Василием Алексеевичем Злобиным, или, лучше сказать, тот сам нашел его. Он держал винный откуп во всей Пензенской губернии, и, следовательно, приглашения его были не совсем бескорыстны. Счастье, ум и смелость сего простого мещанина Саратовской губернии, города Вольска, способствовали ему сделаться в своем роде знаменитым: он сам рассчитывал, что имеет барыша по тысяче рублей в день, сумма в тогдашнее время необъятная<sup>26</sup>. Старик Злобин был тип наших православных мужичков, то есть человек и добрый и хитрый; он сохранил и поступь, и речи, и поговорки своего первобытного состояния, одним словом, все, даже одежду и бороду. Этим самым отличился он от братии своей, откупщиков, и, как говорится ныне, создал себе позицию в свете. Никогда не хотел он чинов, когда все за ними гонялись, и довольствовался званием именитого гражданина. Золотые медали на шее давались тогда купцам еще гораздо реже, чем кресты чиновникам; их-то он и желал, и один только (полно, не первый ли?) получил таковую с алмазами. В богатом русском кафтане своем он не оставлял по большим праздникам всегда являться во дворце, и не было в Петербурге ни одного человека, который бы не знал его. С боярами, с случайными людьми употреблял он необыкновенную уловку:

---

<sup>26</sup> Известным богач своего времени Василий Ал. Злобин (1750—1816) происходил из крепостных, в юности был подпаском в своей родной деревне Малыковке. Эту деревню он после обстраивал из своих богатств и добился переименования ее в город Вольск. Сыновья его занимали видные должности в Петербурге.

с видом простодушным, откровенным, в смелых будто выражениях умел он всегда льстить их самолюбию, часто угаживал их у себя и заставлял думать, что он с ними на приятельской самой короткой ноге. Чтобы поддержать сие мнение, брался он за всех хлопотать и многочисленным клиентам своим когда выпрашивал, когда вымаливал, когда вымучивал милости, по большей части не весьма важные. Великое достоинство бородатого мецената состояло в том, что с молящими его о помощи обходился он дружески ласково, совсем не покровительственно, что в купце было бы несносно: вообще и тогда богатству кланялись, но только с условием, чтоб и оно откланивалось. Таким образом, задабривая всех, ставил он везде себе подпоры и распространил о себе славу, которая, возвращаясь к своему началу, возвышала его в глазах тех самых, коим ею был он обязан.

В нем было видно и чувство: полжизни проведя в Петербурге, он себя и других хотел уверить, что остается в нем только для приведения дел своих к окончанию; и действительно, ни дома, ни дачи не хотел в нем купить. Построенные им заочно каменные палаты в Вольске, разведенные без него сады беспрестанно украшал он, посылая ежегодно разные драгоценности из столицы, где жил он, как на ночлеге. При имени родины его, в которой надеялся провести остаток жизни, навертывались у него иногда слезы.

Однако же ночлег его был нанятый трехэтажный дом, который хотел он также сколько-нибудь поукрасить: кто-то накупил ему картин, мебели и бронзовых вещей и всем этим без вкуса и порядка завешал стены, загородил комнаты. Но лучшим украшением сего дома была молоденькая его невестка, жена единственного его сына. Она была меньшая сестра умершей жены Сперанского и несколько времени жила у него вместе с матерью, англичанкою Стивене, при оставшейся ему малолетней дочери. Там увидел ее молодой Злобин, не совсем похожий на отца своего, с большою образованностью, только не светскою, с плохим здоровьем, лицом печальным и нравом угрюмым. Он пленился девочкою живою, избалованною, почти бешеною, и Сперанский, для коего такое родство было тогда находкой и который, как уверяли, имел особливые причины спешить замужеством свояченицы, скоро этим делом поладил. Оно уже тем ему было полезно, что избавляло его от издержек на содержание маленького семейства его, тещи и дочери, которые совсем переселились к Злобину. Старик не воспротивился сему браку: суеты петербургской жизни изгладили в нем следы староверства, в коем он родился, как, кажется, ослабили в нем самое православие; к тому же и свойство с Сперанским, восходящим солнцем, должно было радовать такого рода человека. Но едва прошло шесть месяцев, как молодые супруги, по совершенному несогласию в нравах, увидели невозможность дальнейшего сожития. Желая временною разлукой их помирить, ближние их выдумали госпожу Стивене с дочерью и внуком, под предлогом какой-то болезни, отправить к Балдонским водам (за границу тогда было не так легко). Они медлили возвращением; ибо сын Злобина, не в состоянии уже будучи скрывать злобы своей к Сперанскому, решительно объявил, что оставит отчий дом, что действительно и сделал он, лишь только узнал, что они в позднее осеннее время предприняли обратный путь. Он бросил службу и ускакал в Вольск управлять делами отца. Более года еще сохраняли надежду сблизить супругов, и присутствие женского пола в доме Злобина делало его более пристойным, умножало его приятности.

В это время брат мой стал туда ездить. От него узнав обо мне, женщины просили его привезти меня с собою. Прошло несколько дней, и я расположился там как дома. Гувернантка, очень долго жившая в знатном доме, имела аристократический тон, для меня весьма привлекательный; дочь ее, о воспитании коей она не имела времени много заботиться, была другим образом привлекательна своею молодостью, не столь красивым, сколь приятным лицом и живостью, которую изобразить трудно. Около них собирался маленький круг, состоящий из Сперанского и самых коротких его приятелей. Народ деловой, обер-секретари и секретари сенатские, откупщики, которые толковали только о барышах, и даже молодые офицеры, которые приходили попить и поесть, а поговорить умели только о параде и мундирных формах, не могли быть очень приятны сим дамам и держались от них поодаль.

Явное предпочтение, оказанное мне перед сими людьми, сначала только польстило моему самолюбию. Брат мой, будучи сам еще молод, но гораздо более меня опытен, первый заметил, что тут не одно простое предпочтение, а нечто более нежное и пылкое. Находя, что пришла уже для меня пора любви, и надеясь, что воспитание ее предохранит меня от разврата, он видел в этом самый счастливый к тому случай. Что сказать мне более? В столь отдаленном времени, мне кажется, говорю я не о себе, а совсем о другом человеке, и потому не краснея могу признаться, что он был любим и что сам был более чем равнодушен. Все это так мало скрывалось от посторонних глаз, что я, право, не знаю, как это сходило нам с рук. Над нашим добрым согласием, маленькими ссорами, потом примирениями все еще смеялись и смотрели на то как на ребячество.

Сперанский также ничего не видел тут серьезного, не думал ревновать и, напротив, был со мною чрезмерно любезен. Он был завален делом и тогда уже довольно недоступен; последнее извиняется первым. Для человека, как говорится, в ходу приглашения не бывает конца, а удаление от светских забав придает какую-то важность занятиям государственного человека. Самое положение Сперанского заставляло его уединиться. Он имел все право почитать себя выше родовых дворян без заслуг; до равенства с знатными еще он не дошел, а известность его, быстрые успехи, высокое просвещение вывели его из ряда других гражданских чиновников, обыкновенными трудами по службе приобретающих себе чины и состояние. Сначала имел я право приходить к нему во всякое время, но не употреблял его во зло. Он даже любил иногда слегка пошутить, потом переходил к предметам довольно важным, мне (должен признаться) тогда малопонятным. Несмотря на всю его снисходительность, я чувствовал при нем какой-то страх: все в нем меня дивило, ничто не увлекало. Кажется, из молодых людей, случаев ему насылаемых, хотел он делать своих сеидов<sup>27</sup>. Чистота правил вместе с моим невежеством сделали попытку его со мною неудачною. Заметив сие, он не вдруг переменялся, а мало-помалу отдалил меня от себя, стал менее говорить, реже принимать, а я стал реже являться к нему.

Так было месяца три или четыре, в продолжение коих не раз случалось мне видеть его среди малого числа избранных им друзей или приверженцев. Их было до пяти или шести; они одни беспрепятственно могли посещать его, и некоторые довольно замечательны, чтобы об них здесь упомянуть.

С одним из них, Аркадием Алексеевичем Столыпиным, читатель мой уже знаком. Возвратясь из Пензы, ему не совсем приятно было встретить меня у Сперанского; появление его, однако же, не имело никакого влияния на обращение со мною сего последнего. Другой, слишком известный Михаил Леонтьевич Магницкий, всегда ругался дерзко над общим мнением, дорожа единственно благосклонностью предрержащих властей. Это один из чудеснейших феноменов нравственного мира. Как младенцы, которые выходят в свет без рук или без ног, так и он родился совсем без стыда и без совести. Он крещен во имя архангела Михаила; но, кажется, вырастая, он еще гораздо более, чем соименный ему Сперанский, предпочел покровительство побежденного архистратигом противника. От сего бесплотного получил воплощенный враг рода человеческого сладкоречие, дар убеждения, искусство принимать все виды<sup>28</sup>. Если верить аду, то нельзя сомневаться, что он послан был из него, дабы довершить соращение могущего умом Сперанского, и, вероятно, сего другого демона, не совсем лишенного человеческих чувств, что-то похожее на раскаяние заставило под конец жизни от него отдалиться. В действиях же, в речах Магницкого все носило на себе печать отвержения: как он не веровал добру, как он тешился слабостями, глупостями людей, как он радовался их порокам, как он восхищался их преступлениями! Как часто он должен был проклинать судьбу свою, избравшую Россию ему отечеством, Россию, не знавшую ни революций, ни гонений на веру, где

---

<sup>27</sup> Сеиды — потомки Магомета от дочери его Фатьмы, привилегированная каста, стремившаяся присвоить себе монополию на управление государственными делами.

<sup>28</sup> В молодые годы либерал, Магницкий после наполеоновской войны стал мрачным изувером и мракобесом. В этом отношении он прославился разгромом Казанского университета. Делая в начале своего царствования невинные уступки общественному мнению, Николай I в первые же дни по занятии престола уволил Магницкого от службы.

так мало средств соблазнять и терзать целые народонаселения, столь бесплодную землю для террориста или инквизитора!

Он был воспитан в Московском университетском пансионе, писал изрядно русские стихи и старее двадцати лет оставил Россию. Пробыв года два или три за границей при миссиях венской, а потом парижской, возвратясь, он стал коверкать русский язык и никогда уже не мог отвыкнуть от дурного выговора, к которому себя насильно приучил. Когда я начал знать его, он был франт, нахальный безбожник и выдавал себя за дуэлиста; но был вежлив, блистателен, отменно приятен и изо всего этого общества мне более всех полюбился. Много еще можно говорить об нем, но я берегу его для продолжения сих записок, когда мне придется рассказывать последние деяния сего апостола зла.

Лубяновский был чинный, осторожный; любостязательный Магницкий не имел ни его хамелеонизма, ни его смелого полета, никогда так высоко, как он, не подымался, никогда так низко не упал. Он всех реже бывал у Сперанского, но был не менее в тесных с ним связях; об нем также еще речь впереди. Маленький, чванный, тщедушный сиделец из нюрнбергской лавки, Цейер, был также действительным, хотя довольно безгласным, членом сего общества; это, как говорят французы, был бедный чорт, добрый чорт. Он славился знанием французского языка, потому он сделался нужен Сперанскому, который взял его почти мальчиком жить к себе в дом; он оставался потом почти целый век при нем вроде адъютанта, секретаря или собеседника, и на хвосте орла паук сей взлетел наконец до превосходительного звания. Других еще (Жерве, Словцова) я не видел: их, верно, тогда не было в Петербурге, и я только слышал об них как об отсутствующих членах.

В кабинете Сперанского, в его гостиной, в его обществе в это самое время зародилось совсем новое сословие, дотоле неизвестное, которое, беспрестанно умножаясь, можно сказать, как сеткой покрывает ныне всю Россию, — сословие бюрократов. Все высшие места президентов и вице-президентов коллегий, губернаторов, обер-прокуроров береглись для дворян, в военной или гражданской службе или при дворе показывающих способности и знания: не закон или правило какое, а обычай, какой-то предрассудок редко подпускал к ним людей других состояний, для коих места советников в губерниях, обер-секретарей или членов коллегий были метою, достижением коей удовлетворялось честолюбие их после долговременной службы. Однако же между ними те, которые одарены были умом государственным, имели все средства его выказывать и скоро были отличаемы от других, которые были только нужными, просто деловыми людьми. Для первых всюду была открыта дорога, на их возвышение смотрело дворянство без зависти, охотно подчинялось им, и они сами, дорожа приобретенными правами, делались новыми и оттого еще более усердными членами благородного сословия. В последних ограниченность их горизонта удерживала стремление к почестям; но необходимое для безостановочного течения дел, полезное их трудолюбие должно же было чем-нибудь вознаграждаться? Из дневного пропитания своего что могли отделять они для успокоения своей старости? Беззаконные, обычаем если не освящаемые, то извиняемые средства оставались единственным их утешением. Зато от мирских крупниц как смиренно собирали они свое малое благосостояние! Повторяя, что всякое даяние благо, они действительно довольствовались немногим. Там, где не было адвокатов, судьи и секретари должны были некоторым образом заступать их место, и тайное чувство справедливости не допускало помещиков роптать против такого рода поборов, обыкновенно весьма умеренных. Они никак не думали спесивиться, с просителями были ласковы, вежливы, дары их принимали с благодарностью; не делая из них никакого употребления, они сохраняли их до окончания процесса и в случае его потери возвращали их проигравшему. К ним приступали смело, и они действовали довольно откровенно<sup>29</sup>. Их образ жизни, предметы их разговоров, странность нарядов их жен и дочерей, всегда запоздалых в моде, отделяли их даже в провинции от других обществ, приближая их, однако же, более к купеческому. Их все-таки клеймили названием подьячих, прежде ненавистным,

<sup>29</sup> Все это знаю я не по преданиям, не по опыту, ибо никогда никому ничего не давал и ни от кого ничего не получал. Не нужно было большого любопытства, чтобы вникнуть в сии тайны, всем открытые. — *Авт.*

тогда унижительным. Это было не совсем несправедливо, ибо в них можно было видеть потомков или преемников тех бессовестных, бесчеловечных, ненасытных вампиров, коих Капнист так верно изобразил в комедии своей «Ябеда», конечно, более по воспоминаниям, чем по примерам, которые имел перед глазами. Век Екатерины преобразил их в пиявок, высасывающих лишнюю кровь, и тем составилось второе поколение сего сословия.

Нельзя винить Сперанского в умысле, умножив их силу, дать им более средств воровать; его намерения, конечно, были чище, возвышеннее. Как все честолюбивые люди, любил он власть более, чем деньги, и состояние, совсем не огромное, которое оставил он дочери, имело (нет в том сомнения) источником расчетливость его и испрашиваемые большие пособия у царей. В клевете его, Столыпина, говорила еще дворянская кровь и торжествовали старинные дворянские правила: в мздоимстве не только уличаем, ни даже подозреваем он никогда не был. Они оба, может быть, как и я, смотрели на сии беспорядки как на следствие несчастной необходимости и извиняли их уже, верно, гораздо более, чем я. Желая облагородить гражданскую службу, Сперанский думал сделать сие посредством просвещения. По нужде в добром согласии с закоренелыми в лихоимстве умными людьми, Голиковым, Позняковым и другими, он в то же время хотел в иных правилах воспитывать новое поколение чиновников, которое мысленно составлял он из людей неизвестного происхождения. Но на них действовать мог он не сам, а чрез приятелей своих, подчиненных и сотрудников, Магницкого, Лубяновского, потом Кавелина и других приверженцев, кои вместе с европейским образованием проповедовали и европейскую безнравственность.

Канцелярии министерств должны были сделаться нормами и рассадниками для присутственных мест в губерниях. И действительно, молодые люди, преимущественно воспитанники духовных академий или студенты единственного Московского университета, принесли в них сначала все мечты юности о благе, об общей пользе. Жестокие строгости военной службы при Павле заставили недорослей из дворян искать спасения в штатской, а запрещение вступать в нее еще более их к тому возбудило; но по прежним предрассудкам все почти кинулись в иностранную коллегию; тут вдруг, при учреждении министерств, явилась мода в них из нее переходить. Казалось, все способствовало возвышению в мнении света презируемого дотоле звания канцелярских чиновников, особенно же приличное содержание, которое дано было бедным, малочиночным людям и которое давало им средства чисто одеваться и в свободное время дозволенные, не разорительные, не грубые удовольствия.

Таким образом для нашего сословия начался третий период. Несколько лет все шло как нельзя лучше, и те, которые веруют в усовершенствование рода человеческого, должны были на то смотреть с удовольствием. Столь прекрасные начала стали мало-помалу изменяться; духом нечестия, коим исполнены были преобразователи, заразилось зреющее в делах юношество; сохранявшие прежние предрассудки, по большей части из дворян, были тщательно устранимы от должностей и принуждены были удалиться. Когда в 1807 году курс на звонкую монету стал вдруг упадать и служащие начали получать только четвертую долю против прежнего, тогда бедность сделалась вновь предлогом и извинением их жадности. Либерализм и неверие развратили их умы и сердца, и цитаты из Священного Писания, коими прежние подьячие любили приправлять свои разговоры, заменились в устах их изречениями философов восемнадцатого века и революционных ораторов. С распространением просвещения, с умножением роскоши усовершенствовалось и искусство неправедным образом добывать деньги; далее нынешнего оно, кажется, идти не может.

С самого основания своего Петербург, главное звено, пристегнувшее Россию к Европе, представлял вавилонское столпотворение, являл в себе ужасное смешение языков, обычаев и нарядов. Но могущество народа, коего послушным усилиям был он обязан своим вынужденным, почти противоестественным существованием, более всего в нем выказывалось: русский дух не переставал в нем преобладать. В наружной архитектуре домов своих, как и во внутреннем их украшении, богатые и знатные люди старались подражать отелям Сен-Жерменского

предместья; но все это было гораздо в большем размере, как сама Россия. Заморские вина подавались за столом, но в небольшом еще количестве и для отборных лишь гостей, а наливки, мед и квас обременяли еще сии столы. Французские блюда почитались как бы необходимым церемониалом званых обедов, а русские кушанья, пироги, студни, ботвиньи, оставались привычною, любимую пищею. По примеру Москвы, в известные храмовые праздники лучшее общество не гнушалось еще, в длинных рядах экипажей, являться на так называемых гуляньях; оживляемое каким-то сочувствием, оно с чрезвычайным удовольствием смотрело на народные увеселения. В образе жизни самих царедворцев и вельмож, а тем паче чиновников и купечества, даже в Петербурге, все еще отзывалось русскою стариною. При Петре Великом Европа начала учить нас, при Анне Иоанновне она нас мучила; но царствование Александра есть эпоха совершенного нашего ей покорения. Двадцатипятилетние постоянные его старания, если не по всей России, то по крайней мере в Петербурге, загнали чувство народности в последний, самый низший класс.

Молодых эмигрантов, служивших у нас тогда в гвардии, с которыми я тут познакомился, можно было почитать цветом Франции. Сии школьники несчастья были скромны, вежливы, приличны, хорошо учились и во всех суждениях, исключая о революции своей, были или основательны, или остроумны. В них было нечто девственно-религиозно-мужественное; видно было, что они хотели осуществить собою тот идеал совершенства древних рыцарей, который представляли романы, но который история так жестоко заставляет исчезать.

Старые грешники, с поношенными ленточками и поломанными крестиками св. Людовика, были смешны, следственно забавны; молодые люди были достойны уважения, любезны и привлекательны. Одни меня тешили, и я их за то любил; другие казались мне неподражаемым примером, и я их сердечно уважал. Все это рождало во мне пристрастие, которое прежде имел я ко всему французскому. В это же время начал я упитываться злостью против Бонапарта, офицеришки, который не дерзал еще тогда воссесть на престоле великого Людовика Четырнадцатого, но уже шел к нему большими шагами.

Теперь несколько слов о тогдашних нарядах мужских и женских. Мода, которой престол в Париже и которая, по-видимому, так своенравно властвует над людьми, сама в свою очередь слепо повинуется господствующему мнению в отчизне своей, Франции, и служит, так сказать, ему выражением. При Людовике XIV, когда он Францию поставил с собою на ходули, необъятные парики покрывали головы, люди как бы росли на высоких каблуках, и огромные банты с длинными, как полотенца из кружева, висящими концами прикреплялись к галстукам; женщины тонули в обширных вертюгадах, с тяжелыми накладками, с фижмами и шлейфами; везде было преувеличение, все топорщилось, гигантствовало, фанфаронило. При Людовике XV, когда забавы и амурсы сменили славу, платья начали коротеть и суживаться, парики понижаться и наконец исчезать; их заменили чопорные тупеи, головы осенились голубиными крылышками, ailes de pigeon. При несчастном Людовике XVI, когда философизм и американская война заставили мечтать о свободе, Франция от свободной соседки своей Англии перенесла к себе фракы, панталоны и круглые шляпы; между женщинами появились шпенцеры. Вспыхнула революция, престол и церковь пошатнулись и рухнули, все прежние власти ниспровергнуты, сама мода некоторое время потеряла свое могущество, ничего не умела изобретать, кроме красных колпаков и бесштанства, и террористы должны были в одежде придерживаться старины, причесываться и пудриться. Но новые Бруты и Тимолеоны захотели, наконец, восстановить у себя образцовую для них древность: пудра брошена с презрением, головы завились а-ла-Титюс и а-ла-Каракала [римские императоры], и если бы республика не скоро начала дохнуть в руках Бонапарте, то показались бы тоги, сандалии и латиклавы. Что касается до женщин, то все они хотели казаться древними статуями, с пьедестала сошедшими: которая оделась Корнелией, которая Аспазией. Итак, французы одеваются, как думают; но зачем же другим нациям, особливо же нашей отдаленной России, не понимая значения их нарядов, бессмысленно подражать им, носить на себе их бредни и, так сказать, их ливрею? Как бы то ни

было, но костюмы, коих память одно маяние сохранило на берегах Егейского моря и Тибра, возобновлены на Сене и переняты на Неве. Если бы не мундиры и не фраки, то на балы можно было бы тогда глядеть как на древние барельефы и на этрусские вазы. И право, было недурно: на молодых женщинах и девицах все было бы так чисто, просто и свежо; собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы<sup>30</sup>, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; поистине казалось, что легкокрылые Психеи порхают на паркете. Но каково же было пожилым и дородным женщинам? Им не так выгодно было выказывать формы; ну, что ж, и они также из русских Матрен перешли в римские матроны.

После расхищения гардембля, по увезении эмигрантами всех легковесных драгоценностей, кажется, не оставалось во Франции ни одного камушка. Фортуны раздробились, сравнялись; новые, кои война и торговля потом так быстро создали, не успели еще составиться, и женщины, вместо алмазов, принуждены были украшаться камнями и мозаиками, их мужьями и родственниками награбленными в Италии. Нам и тут надобно было подражать. Бриллианты, коими наши дамы были так богаты, все попрятаны и предоставлены для ношения царской фамилии и купчихам. За невероятную цену стали доставать резные камни, оправлять золотом и вставлять в браслеты и ожерелья. Это было гораздо античнее.

О мужском платье говорить много нечего. С тех пор как я себя помню, умы портных и франтов вертятся около вечных, несносных, кургузых и непристойных фраков: то подыметя, то опустится лиф или воротник, рукава сделаются то уже, то шире, то длиннее, то короче. Никак не могут прийти, чтобы чем-нибудь более живописным заменить сей неблагообразный костюм.

В области моды и вкуса, как угодно, находится и домашнее убранство или меблировка. И по этой части законы предписывал нам Париж. Штофные обои в позолоченных рамах были изорваны, истреблены разоренною его чернию, да и мирным его мешчанам были противны, ибо напоминали им отели ненавистной для них аристократии. Когда они поразжились, повысились в должностях, то захотели жилища свои украсить богатою простотою и для того, вместо позолоты, стали во всем употреблять красное дерево с бронзой, то есть с накладною латунию, что было довольно гадко; ткани же шелковые и бумажные заменили сафьянами разных цветов и кринолиной, вытканною из лошадиной гривы. Прежде простенки покрывались огромными трюмо с позолотою кругом, с мраморными консолями снизу, а сверху с хорошенькими картинками, представляющими обыкновенно идиллии, писанными рукою Буше или в его роде. Они также свои зеркала стали обделывать в красное дерево с медными бляхами и вместо картинок вставлять над ними овальные стекла, с подложенным куском синей бумаги. Шелковые занавеси также были изгнаны модою, а делались из белого коленкора или другой холщовой материи с накладкою прорезного казимира, по большей части красного, с такого же цвета бахромою и кистями. Это мода вошла к нам в конце 1800 года и продолжалась до 1804 или 1805 годов. Павел ни к кому не ездил и если б увидел, то, конечно, воспретил бы ее, как якобинизм.

Консульское правление решительно восстановило во Франции общество и его пристойные увеселения: тогда родился и вкус, более тонкий, менее мешчанский, и выказался в убранстве комнат. Все делалось под древность (открытие Помпеи и Геркуланума чрезвычайно тому способствовало). Парижане мало заботились о Лионе и его мануфактурах, но правителю Франции надобно было поощрить их: и шелковые ткани опять явились, но уже по-прежнему не натягивались на стенах, а щеголевато драпировались вокруг них и вокруг колонн, в иных местах их заменяющих. Везде показались алебастровые вазы с иссеченными мифологическими изображениями, курительницы и столики в виде треножников, курульские кресла, длинные кушетки, где руки опирались на орлов, грифонов или сфинксов. Позолоченное или крашеное и лакированное дерево давно уже забыто, гадкая латунь тоже брошена; а красное дерево, вошедшее во всеобщее употребление, начало украшаться вызолоченными бронзовыми фигура-

<sup>30</sup> Многие сделались тогда жертвами несогласия климата с одеждой. Между прочим прелестная княгиня Тюфякина погибла в цвете лет и красоты. — *Авт.*

ми прекрасной отработки, лирами, головками: медузиными, львиными и даже бараными. Все это пришло к нам не ранее 1805 года, и, по-моему, в этом роде ничего лучше придумать невозможно. Могли ли жители окрестностей Везувия вообразить себе, что через полторы тысячи лет из их могил весь житейский их быт вдруг перейдет в гиперборейские страны? Одно было в этом несколько смешно: все те вещи, кои у древних были для обыкновенного, домашнего употребления, у французов и у нас служили одним украшением; например, вазы не сохраняли у нас никаких жидкостей, треножники не курились, и лампы в древнем вкусе, с своими длинными носиками, никогда не зажигались.

Теперь от внутреннего убранства перейдем к наружному, то есть к архитектуре. В ней также воскрес вкус римской и греческой древности. Когда у персидского посла в 1815 году спросили, нравится ли ему Петербург, он отвечал, что сей только что вновь строящийся город будет некогда чудесен. Это скорее можно было сказать в начале царствования императора Александра, а еще скорее в нынешние годы. Тогда в одно время начинались конно-гвардейский манеж и все, по разным частям города рассеянные великолепные гвардейские казармы, и огромная биржевая зала, одетая в колонны, с пристанью и набережными вокруг нее, и быстро подымался Казанский собор с своею рощей из колонн и уже приметно передразнивал церковь св. Петра в Риме; обывательские же трех- и четырехэтажные каменные дома на всех улицах росли не по дням, а по часам. В то же время чистили и делали судоходную речку Пряжку, бока Мойки выкладывали камнем и перегибали через нее чугунные мосты; по Невскому проспекту и на Васильевском острове протягивали бульвары и, наконец, от самой подошвы перестраивали заново старое кирпичное, с земляным валом, адмиралтейство. Так как государь единственным, любимым своим летним местопребыванием избрал небольшой Каменноостровский дворец, то вдруг прервалось угрюмое молчание окрест лежащих островов. Везде на них застучали топор и молот, и засвистела пила; болота их осушились и поросли дачами. Можно себе представить, какая строительная деятельность была тогда во всем Петербурге.

Четыре архитектора были тогда известны: двое русских, Захаров и Воронихин, итальянец Гваренги и француз Томон. Первый из них, по части зодчества, в художественной нашей истории стоит пониже поэта в архитектуре, Баженова, и наравне с Старовым и Кокориновым. Надобно было его искусство, чтобы растянутому фасаду Адмиралтейства дать тот красивый вид, ту правильность и гармонию, которыми поныне любуемся. Другой же, Воронихин, был холоп графа Строганова, президента Академии и мецената художеств; а как в старину баре, даже и знатные, отдавали мальчиков в ученье, не справляясь с их склонностями, то, вероятно, и Воронихин<sup>31</sup>, природой назначенный к сапожному ремеслу, учением попал в зодчие. И он по рекомендации своего господина построил Казанский собор, этот копиист в архитектуре, который ничего не мог сделать, как самым скверным почерком переписать нам Микель-Анджело. Старик Гваренги часто ходил пешком, и всяк знал его, ибо он был замечателен по огромной синеватой луковице, которую природа вместо носа приклеила к его лицу. Этот человек соединял все, и знание и вкус, и его творениями более всего красится Петербург; к сожалению, в это время, кажется, его ни на что не употребляли. Мусью Томон или Томас де Томон, как он подписывался и печатался, был человек не без таланта, как то доказывается построенною им Биржею. Он также был известен как бешеный роялист и пламенный католик; земляки его, среднего состояния, составлявшие религиозно-легитимистскую партию, которая бескорыстно стояла за трон и церковь, говорят, все у него собирались.

Был еще один француз архитектор, конечно, гораздо выше других товарищей своих в искусстве, которые с тех пор к нам из Франции пожаловали. Это Камерон, построивший царскосельскую колоннаду, который тогда был жив, здоров и находился в Петербурге. Непонятно, как, имея в своем распоряжении Гваренги и Камерона, можно было что-нибудь великое пору-

---

<sup>31</sup> Андрей Никифорович Воронихин (1759—1814) — из крепостных графа Александра Сергеевича Строганова, который заметил его дарование и отправил учиться в Петербург, а затем в Париж и дал ему в 1786 г. отпускную. Построил Казанский собор (1801—1811), много интересных зданий в Петербурге и окрестностях; придерживался стиля итальянского Возрождения и псевдоклассицизма.



чить Воронихину? Тут бы национальность в сторону: с такими людьми народная слава скорее теряет, чем выигрывает.

Безо всякого дела, как настоящий фланёр, часто посещал я публичные работы, которые мне как будто были приказаны. Как это занимало меня, дивило, восхищало! И возможно ли перемениться так в чувствах? Ныне без сердечной горести, без глубокого уныния не могу я видеть, как громоздятся у нас дворцы и храмы. Всякий раз, что взгляну я на них, невольно вспомню, что крытый соломою Рим покорил вселенную, а когда вздымались в нем Колизей, Нероновы бани и Адрианов мавзолей, то начали появляться варвары и отхватывать отдаленные его провинции; вспомню, что среди развалин сего самого Рима возникла папская власть, которая распространилась по всему христианству, а когда соорудился Ватикан и храм апостола Петра стал возноситься на удивление всего просвещенного христианского мира, большая его половина оторвана от него Лютером и Кальвином; вспомню, что построение Альгамбры незадолго предшествовало покорению Гренады, и с того времени как поднялся Эскуриал, начался постепенный упадок Гишпани<sup>32</sup>; вспомню также, что святая София, Ипподром и Влахернский дворец в Константинополе созидались почти в виду неприятельских станов. Наконец, спрошу у себя, на чью славу простояли века египетские пирамиды, когда перемененно они делались добычею Камбиза, Александра Великого, Юлия Кесаря, Омара, Наполеона, и ныне, под именем Мегмета-Али, неизвестно кто владычествует над ними: турки, французы или англичане? Нет, роскошь, расточительность не есть величие царское, и огромные здания изящной архитектуры — часто одни только великолепные занавесы, закрывающие народную нищету.

В длинном ряду воспоминаний, кои так тревожат, утомляют душу, встречаются изредка такие, на коих она отдыхает, сладостно успокоивается; в числе их находится у меня и инженер-генерал Петр Корнилович Сухтелен, которого едва ли я чувствую себя достойным изобразить. Он был росту небольшого, несколько сутуловат, имел лицо чистое, на котором еще в старости играл румянец, и голос, коему небольшой недостаток в произношении (вместо ш говорил он всегда с) придавал еще более приятности. С кипящим любовью к доброму сердцем, при неутомимой деятельности, наружность его сохраняла спокойствие, почти неподвижное, озаряемое легкой улыбкой. Этот человек ужасал своим знанием, но так был скромнен, что не только пугать, но даже удивлять им никого не думал. Страсть к учености была в нем тихий, неугасаемый жар, его жизнь, его отрада, коюю готов он был делиться со всеми, кто более или менее поклонялся светильнику наук. Тот, кто, казалось, не обидел бы мухи, в поле был неустрашимый воин, и всеведущий сей в обществе невежд был ласков, приветлив, не давая подозревать о своем знании. Все математические науки, все отрасли литературы, философия, богословие равно ему были знакомы; в художествах был он верный и искусный судья. Но как успевал он копить сокровище своего знания, когда половина дня поглощаема у него была занятиями по службе, — это сушая загадка.

Раз в неделю должен был я у него обедать и, наконец, удостоился быть в его кабинете-библиотеке, который заслуживает быть описанным. Можно представить себе мое изумление, когда вошел я в бывшую тронную залу императора Павла в Михайловском дворце. Она была в два света; на великолепно расписанном плафоне изображен был Юпитер-громовержец и весь его Олимп; под вызолоченным карнизом видны были гербы всех княжеств российских; место, где был трон, было заметно по сохранившимся над ним резным фигурам, и огромное зеркало в 12 или 13 аршин вышины было в числе забытых или оставленных украшений. Но стены чертога были голы, даже не покрыты краскою; вдоль оных до половины их вышины тесно поставлены были выкрашенные простого дерева шкапы без стекол и занавесок. А между тем их полки поддерживали драгоценности, коим мог позавидовать всякий библиофил: кажется, одни эльзевиров, первопечатные редкостные книги, были без счету. На середине залы стояли, один за другим, престрашные столы с ящиками до полу, которые в недрах своих хранили другие сокровища: редкие рукописи, собрания эстампов и медалей, а сверху были обременены

<sup>32</sup> Альгамбра — цитадель в Гренаде, замечательный памятник мавританской архитектуры. Эскуриал — знаменитый дворец-монастырь, недалеко от Мадрида.

нерасставленными еще фолиантами. Память о покойном государе была так еще свежа, что я невольно вздрогнул, и была минута, в которую мне показалось, что разгневанная тень его пронеслась по мирному кабинету мудреца. Какая противоположность! Там, где еще недавно с трепетом проходили царедворцы, там ежедневно по целым часам блаженствовал муж добра и науки.

Он был настоящий библиоман. Это такого рода роскошь, на удовлетворение коей более всего потребны время и расчетливость. Генерал Сухтелен, не бедный и не богатый, всю жизнь свою употреблял половину доходов на покупку книг и по смерти своей наследникам своим оставил такую библиотеку, которую приобрела казна, ибо ни один частный человек не в состоянии был купить ее.

В обществе его, обыкновенно составленном из знаменитых путешественников, художников и ученых, мог я тогда быть только слушателем.

Изо всех юношей-ровесников чаще всех видел я тогда Дмитрия Николаевича Блудова, товарища моего по службе в московском архиве. Ни в образе воспитания, ни в характере, ни в привычках, ни в склонностях, ни в чем у нас ничего не было общего; мы отправились с столь различных точек, что, казалось, никогда сойтись не можем. Единственный сын нежной, умной, попечительной и хворой матери, коей был он и единственною отрадой и упованием, он никогда еще не разлучался с нею, вырос, так сказать, в теплице ее заботливости, в тесном кругу людей, ею избранных. Я в Киеве получил, можно сказать, площадное воспитание; гостиния моих родителей была волшебный фонарь, где беспрестанно одни проезжие фигуры сменяли другие, был потом в публичном заведении, жил по чужим домам и изъездил уже почти половину России. Но в некоторых отношениях наше положение в Петербурге было сходно: наше одиночество, самолюбие, которое не допускало нас искательством приобретать полезные знакомства, все это нас сблизило.

Еще и донныне благодарю я провидение, пославшее мне наставника, едва вышедшего из отроческих лет. С самого рождения видел я в отце пример всех добродетелей; но они стояли так высоко передо мною, что я не смел надеяться до них когда-либо возвыситься; в отчаянии, в пренебрежении к самому себе, я почитал себя добычей, обреченною пороку. Если бы был я тогда в частых сношениях с угрюмым педагогом, который бы ежедневно проповедовал мне о моих обязанностях, то еще бы более утвердился в сем мнении. Но мне предстала нравственность в самом милом виде: тот, которого год или два назад знал я умненьким шалуном, ничего не утратив из веселонравия своего, живости, остроумия, словом и делом строго повиновался всем уставам чести и добродетели.

Мне предстоит подвиг трудный: изобразить этого человека. Если, увлекаясь пристрастием, умолчу я о слабостях его, то что будет с истиною, с данным мною обещанием? И как нет ничего совершенного в мире, то какое правдоподобие будет иметь мой рассказ? А говорить о его недостатках куды не хочется! Впрочем, мне бояться нечего: они так потоплены блистательными, редкими, в наше время необычайными качествами, что покажутся разве как родимое пятнышко на красивом лице.

Природа создала его порочным. Она сделала более, она открыла в нем два главных источника всех пороков: гордость и леность; но в то же время вложила в него искру того небесного огня, от которого, рано или поздно, сии источники должны были иссякнуть, и душа его спозаранку получила удивительную способность быстро воспламеняться от малейшего прикосновения всего изящного в нравственном мире. Непорочная любовь с ее чистейшими, нежнейшими восторгами и дружба, весьма немногим прежде, ныне же почти никому не понятная, и вера с ее тихими неземными наслаждениями, и честь со всею строгостью ее законов, и патриотизм со всею возвышенностью чувств, им возбуждаемых, обхватили и проникли сию почти отроческую душу. Все в ней сделалось поэзия, и страсть к ее произведениям была главнейшею в первой молодости Блудова. Может быть, она отвлекла его от других занятий, в мнении света более полезных; но она очаровала его юность, расцветила воображение и спасла его сердце от жестокого эгоизма, к которому, греха таить нечего, оно имело склонность.

Время не могло истребить счастливых впечатлений, сею первую эпохою жизни оставленных; их не могло совершенно подавить бремя государственных дел, и не остыли они от холода лет и высшего общества, в котором живет он. И вот почему в России, увы! он почти единственный государственный человек, который о благе ее мечтает более, чем о почестях.

Не надобно забыть, что восемнадцатый век едва только кончился в то время, о котором пишу. В то время неверие почиталось непременно условием просвещения, и целомудрие юноши казалось верным признаком его слабоумия. Итак, Блудову предстояла борьба не только с самим собою, но и с мнением большинства людей. Он не хвастался своими чувствами, но и не скрывал их; все это в молодом мальчике не показывает ли и силу характера и силу убеждения? Правда, на мерзости людские смотрел он не совсем по-христиански, не с братским соболезнованием, не только с гордостью и презрением, но и с постоянною досадой, и эпиграммы, коими язык и перо его были вооружены как иглами, с обеих так и сыпались. И ненависть глупцов уже почтила его в первые годы пребывания его в Петербурге; особенно невзлюбили его молодые люди, много и скверно болтавшие по-французски: они уже дали ему название и мешана, и костика [язвительный, едкий].

Всего более нрав его выказывался в беседах с молодыми друзьями. Приучив себя к какому-то первенству между ними, он часто как будто требовал исполнения воли своей и потом, как бы опомнясь, переходил к неожиданной уступчивости. Глядя со стороны, нельзя было решительно сказать, тиран ли он друзей своих, или их жертва? Это объясню я двумя словами: он властвовал над ними умом и покорялся им сердцем.

Этого человека искал я, вместе и страшился. Трусости сей я не краснею и ныне готов его похвалиться: я боялся его как совести своей. В одном чувствовал я превосходство свое перед ним: мне жаль было видеть, как, при уме его, мог он с таким участием, иногда с восхищением, говорить о русской словесности; мне казалось, что между высокопарно-скучным церковным и стихотворным языком нашим и гадким языком простонародья неизмеримое пространство, на середине коего, как едва приметная точка, стоял Карамзин.

Какой тут быть прозе, каким стихам, думал я, и стоит ли о том говорить? Зато в мыслях о Франции и энтузиазме к ней были мы совершенно согласны; в этом он был мой оракул, а Лагарп<sup>33</sup> его законодатель. И тут являлось его правоверие: роялизм был его политическою, а классики литературною верой.

Кажется, более всего соединяла нас в это время страсть к французской сцене, которая во мне доходила до безумия. Мне случалось недопивать, недоедать; случалось довольствоваться людскими щами и кашей, чтобы последний медный рубль нести в театр: там была вся улада, все утешение моей жизни; там я был уверен встретить Блудова, и мы оба во всем смысле могли называться пилястрами партера, как говорят французы.

И вот тут-то примусь я описывать со всею подробностью (читай меня или не читай) любопытнейшее занятие праздной моей молодости. Я говорил уже о петербургском театре при Павле Первом, когда я только что прозрел его. Вскоре после кончины сего императора удалась или была выслана красавица певица Шевалье с балетмейстером мужем своим, и опера без нее осиротела. Прошел траурный год, в продолжение коего придворные актеры не могли являться на сцене, и о театре, до которого император Александр никогда не был большой охотник, как будто позабыли. Но когда весною 1802 года он опять был открыт, среди всеобщего стремления к веселостям, тогда все почувствовали необходимость его в столичном городе. Для самого государя, тогда еще совершенно молодого, публичные увеселения имели еще некоторую заманчивость. Каменный или Большой театр, воздвигнутый в Коломне при Екатерине, велено архитектору Томону перестроить заново и с большею против прежнего роскошью; а покамест, дабы не прерывать представлений, отыскан деревянный или малый театр, никому не известный, построенный великолепным князем Потемкиным на дворе принадлежавшего ему Аничковского дворца. Сам директор императорских театров, расточительный обер-ка-

<sup>33</sup> Жан-Франциск Лагарп (1740—1803) — известный французский критик и историк литературы. До революции — сторонник ее, после 1793 года — ярый противник.

мергер Нарышкин, отправился в примиренный с нами Париж и на вербовал там два или три комплекта артистов всякого рода. Все наехало, все поспело в последние месяцы сего 1802 года, первого пребывания моего в Петербурге. Перестроенный Большой театр открыт 30 ноября; меня чуть не задавили при входе, и я все-таки в него не попал. Несколько дней спустя было воскресение французской оперы, то есть первый дебют знаменитой у нас Филис.

Незабвенная Филис! Какими я блаженными минутами ей обязан! Девять лет сряду восхищала она меня. Но не подумайте, читатель, чтоб я в нее хотя сколько-нибудь был влюблен; это было невозможно, во-первых, потому, что я никогда вблизи ее не видывал, и потому, во-вторых, что на самой сцене, несмотря на оптический обман, она мне казалась более дурна, чем хороша собою. Она была уроженка из Бордо и 24 лет, когда к нам приехала. Всем известно, что под жарким южным небом все сладчайшее, плоды и женщины, зреет гораздо ранее, чем у нас, и, несмотря на молодые свои годы, моя Филис казалась едва ли не перезрелую. У нее же был длинный нос и смуглое лицо, чего я терпеть не могу. Но все, что только может заменить свежесть и красоту, все в ней находилось; все было пленительно, очаровательно: и взгляд ее, и поступь, и игра, и голос, когда она им говорила, и умение владеть им, когда она пела, и умение наряжаться со вкусом. Никто не влюблялся в нее как женщину, все обожали как певицу и актрису. В Париже прелести ее ценились выше, чем у нас; они произвели страсть и гонения брата Бонапарте, Иеронима. Видно, что власть семейства первого консула была очень велика, ибо свободе Андриё (мужа или любовника Филис) угрожала опасность, и они, сделав условия с Нарышкиным, тайно бежали в Россию.

Этот Андриё был только что молодец собою: его приняли как тенора, но мудрено было сказать, какой у него голос. Я бы назвал его безымянным голосом. Он воображал, что поет, когда кричит под музыку, и играет, когда яростно размахивает руками. За благо последовали кучи золы, которые принуждены мы были выносить! Скоро привалило все семейство Филис — отец, мать, два брата и сестра. Сия последняя одна могла почитаться сносною; ее звали *madame Benin*; она была моложе, лучше старшей сестры, имела огромный голос, но петь была не мастерица.

Это еще не все: за госпожою Бертен последовал тайный или скорее явный друг ее сердца, молодой, обедневший от революции французский дворянчик. Уверяли, что он какой-то граф де-Монлор; что за дело до этого; мы узнали и видели его на сцене под принятым им именем Сен-Леона; играл он очень плохо, но голос и лицо имел хорошенькие.

От прежней при Павле выписанной труппы оставалось четыре лица: тенор Буржуа, вторая певица Монготье, шутиха Леруа и бас Шатофор. У Буржуа было действительно какое-то мещанское неуклюжество; голос чистый, верный, но метода прескверная, старинная французская. Г-жа Монготье довольно изрядно пела, но употребляла во зло дозволение, которое имели тогда певицы — быть безобразными, не уметь ни ходить, ни говорить, ни одеваться. Старуха Леруа дерзала иногда братья за серьезные роли, но даже и в них умела быть неблагопристойною, голос же ее был изломаннее и старее ее лет и ролей. Шатофор ниже посредственности. На этой четверке выезжала только дирекция протекшим летом, чтобы давать кой-какие оперетки: иногда, когда число действующих лиц того требовало, заимствовалась она из комической труппы крикунами и визгуньями. По приезде Филис еще долго она одна только скрашивала собою все оперы.

В продолжение 1803 года не проходило почти недели, чтобы не было на французском театре дебюта и одной или двух новых пьес. В аристократическом обществе, между нашими боярами, были французы и француженки разных времен и возрастов. По их требованию, в угождение им, начали отыскивать все современные им музыкальные произведения и стали восходить до Монсиньи и Рамо; к счастью, современников Лулли никого уже не было. Глюк и Пиччини мирно встретились у нас на одной сцене, пропетые одними и теми же артистами, и одни и те же зрители, не давая одному перед другим преимущества, обоим с одинаковым равнодушием рукоплескали. Только для немногих «Ифигения», «Орфей» и «Эдип в Колоне»

воскрешали былое; когда хором запели: «Achille sera votre ероих» [Ахилл будет вашим супругом], говорят, старик граф Строганов затрепетал от восторга; когда Андриё, играя Блонделя в «Рихарде Львином Сердце», несносным голосом своим затянул «O Richard, o mon roi» [О Ричард, о мой король], одна престарелая княгиня, пораженная воспоминаниями, в ложе своей зарыдала. Для нашего же поколения Грётри казался уже ветх и неистошимый Далейрак был часто несносен. Но что я говорю о нашем поколении! Поминками о Филис не похож ли я на тех, о коих сейчас говорил? С тою, однако же, разницей, что музыка, от коей в молодости был я вне себя, является мне ныне изредка и против воли моей, как старая, давно забытая любовница, вся в сединах и морщинах.

Этот 1803 год познакомил меня со всеми тогдашними композиторами: я узнал Николо и Бертон и Крейцера. Видно, был во мне врожденный вкус, ибо рев и стон больших французских опер с их речитативами казался мне нестерпим; но этот вкус еще не образовался, и одна только легонькая французская музыка новых комических опер пришлась мне по духу. Например, Мегюль менее других, а Херубини и вовсе мне не нравился. Моим кумиром был в то время Боиелдие, а привезенный им тогда самим в Петербург «Калиф багдадский», которого едва можно почтить названием водевиля, казался мне чудом из чудес.

Французская комическая труппа была гораздо выше оперной; как в сей последней, подобно Филис, никто в ней отдельно не блистал; зато она составлена была из артистов почти равного, вообще превосходного достоинства. В ней нашел я прежнюю Вальвиль, игравшую главные роли, больших кокеток. В искусстве своем, сколько припомню, должна была она уступить только девице Марс, целые полвека бывшей гордостью и наслаждением парижан; но высокий ее талант никак не мог примирить меня с ее наружностью; одни снисходительные люди называли ее дурною; она была отвратительна. Первые мужские роли выполнял Ларош, уже не молодой, но стройный и благообразный; все эти недостатки исчезали пред жаром, с которым он играл, перед благородством, с каким он говорил и читал стихи. Для первых молодых ролей мужских и женских была не весьма молодая чета Сенклеров, но оба они, муж и жена, прекрасно знали свое дело, в серьезных ампуа несколько времени еще показывали почтенные развалины Оффена, пока приезд жирного Делиньи не дал возможности их более не тревожить. Толщина сего последнего, внезапно заменившего сухощавого Оффена, невыгодно к нему всех расположила; он же, разгорячившись, иногда от нее задыхался. Скоро, однако же, оценили истинный его талант и узнали в нем, даже на сцене, без личного с ним знакомства, почтенного человека, сильно чувствующего всю красоту часто проповедуемой морали. В том, что французы называют *rôles a manteau* [роли пожилых и степенных лиц], был изумителен, бесподобен старик Дюкроаси: что за веселость в игре! что за вспышки во гневе! и потом что за добродушие! И как почтенно он был забавен! Чтобы говорить, как французы, он как бы нарочно был выстроен для своих ролей, и никто более его так искренне не был любим публикой. Лакейские роли должны обыкновенно принадлежать высоким комикам; у нас тогда были во владении Фрожера, известного фарсёра нарышкинского дома; тогда немногие знали и чувствовали, что он на своем месте, и как он был удивительно смешон, то при всяком появлении его раздавался всеобщий громкий хохот; его очень любили; в Париже едва ли бы он годился в гримасье. Субреток выполняла гадкая дочь его, к счастью, недолго: скоро приехала чудо-актриса Туссень. Вот тут было искусство неподражаемое; в этом ничего подобного ей с тех пор я не видывал; среди отличных собратий своих в комедии она была почти то же, что Филис в опере. Как оконечности сходятся, так и она вышла замуж за одного из двух братьев Мезьеров, двух многолетних подтычек нашего театра, которых любители бостона, модной тогда игры, называли *grande et petite misère* (большая и маленькая ничтожность).

Я не стану говорить о других весьма хороших и даже превосходных комических и трагических актерах, явившихся к нам в последующие сему годы: о Дюране, о Веделе, Менвиелле, Комане и Гранвилле. Мне интересна, мне более памятна одна только эта эпоха моей сценической жизни, и всею этою статьею о театре, признаюсь, потешаю себя, а не читателя.

Французские спектакли вне Парижа почитаются его жителями, и не без причины, провинциальными. Актеры в их труппах поневоле должны быть, как метр Жак в «Скупом» Мольера, попеременно кучера и повара; один и тот же человек играет в комедии, в трагедии и, пожалуй, в водевиле. При Екатерине трагедия шла особняком, но когда после кончины ее прославленная при ней мадам Гюс последовала в ссылку за сожителем своим, тогда еще не мужем, дипломатом графом Марковым, и Флоридор, ученик Лекеня, уехал из России, и остался один только Офрен, то начали при Павле играть трагедию актеры из выписанной им комической труппы, та же Вальвиль и те же Ларош и Сенклер и, как кажется, не весьма удачно. В начале 1803 года один красивый молодец под именем госпожи Ксавье выступил на сцену в роли Федры; в нем было много женского, например, ни одна актриса не умела так ловко и с таким необыкновенным вкусом одеваться. Шутки в сторону, сия красавица, хотя и гигантка, важно выступала, говорила часто и речисто, ломала Семирамиду, ломалась в Гермione, но не имела ни малейшего понятия о драматическом искусстве, а если можно, еще менее стихотворном; вытягивала стихи, сжимала их, иногда пропускала и выставляла целые полустихья. А несколько лет владела скипетром, пока не явилась царица истинно законная и не столкнула сию самозванку; тогда, как мастерица наряжаться, она познала истинное свое призвание и на накопленные деньги открыла модную лавку, в которой, кажется, еще и поныне торгует.

В выборе пьес были очень строги. Как главнейшие зрители, так и первейшие актеры были напитаны чистым классицизмом. Когда переиграли всего Корнеля и Расина, Вольтера и Кребиллона, тогда только Лешьер и Дюбеллоа начали изредка прокрадываться на сцену. С комедией то же: когда истощился несколько Мольер, Ренар, Детуш и Мариво, тогда, желая угодить любви петербургской публики к новизнам, принялись за Колен, Дарлевиля, Пикара и Дювало: года два-три спустя и второстепенные актеры начали показываться. Но долго, очень долго не знали у нас на французском театре так называемых мещанских или слезных драм.

Водевиль, эта помесь комедии с оперой, были в этом году появлением совершенно новым. С ними познакомили нас прихоти Филис, которая выбирала те, где ей представлялись выгодные роли. Всего увидели мы их пять или шесть, в коих примечательны были только «Фаншона» и «Любовники Прочей».

С французским театром почти неразрывно связаны балеты; они чисто французские произведения. Их составлял тогда и потом блистал в них примечательный Дидло с женою своею. Уверяли, что нашим молодым русским танцовщикам и танцовщицам потом и кровью доставалось плясовое искусство: Дидло, всегда вооруженный пристрашным арапником, посредством его (как некогда Пото со мною) давал им уроки. Другой танцовщик назывался Дютак, и про него кто-то сказал, что он Нетак. Тогда было не то, что ныне: давали одни почти серьезные балеты, плясовые трагедии: «Медея и Язон», «Апеллес и Кампаспа», «Пирам и Тизбе», которые казались еще скучнее нынешних.

Двору и обществу, как ребятам, всего хотелось: все еще им мало было забав. Прежняя итальянская труппа была распущена; им захотелось новой, а как император не был охотник до музыки, как уже сказал я, то без всякого казенного участия дозволил ее только выписать и, вместо всякой другой помощи, велел отдать ей даром, по открытии Большого театра, малый, Аничковский. Антрепренеру Казасси посчастливилось сманить славные таланты, но не удалось приобрести выгод от своего предприятия; он едва не сделался банкротом, и тогда уже убедили государя бедную труппу взять под свое покровительство и назвать придворною. А если эта труппа не умела сделать Петербурга музыкальнее, то, видно, никогда ему таким не быть.

Было таких два тенора, Пасквале и Ранкони, каких, мне кажется, дотолы слыхом не слыхано было. Несмотря на искусное свое пение, примадонна Каневасси была им не в меру; через несколько времени надобно опять было призвать старую Маджиорлетти, с ее сильным, молодым и очаровательным голосом, и тогда дело пошло иначе. Давно ли мы здесь видели старого буффа Замбони и любовались им? Можно себе представить, как он тогда в молодости пел и играл. Что за красоточка была у него жена, вторая донна! Она была так хороша собою, что о

ее малом, чистом, звонком, приятном, искусном голоске почти не говорили; он как будто был дан ей в придачу к красоте.

Преимущественно играли они тогда музыку Чимароза, Паэзиэлло, Назолини, Фиораванти. Как изучение итальянских опер требует более времени, чем водевилей, то частым повторением своим они скоро надоели, и в 1806 году совсем прекратилось их здесь существование.

Не знаю, как другим молодым людям, но мне случалось быть в немецком и в русском театре, как и в балаганах о святой, т. е. очень редко. Я винулся знакомым, что видел три немецкие оперы, именно: «Волшебную флейту» Моцарта, венскую народную «Донаувейхен» и весьма забавный фарс «Die Schwestern aus Prag», и надо мной готовы были смеяться. Наша врожденная драматическая литература стояла в глазах наших все-таки выше немецкой; она была по крайней мере бледная копия французской, которая обществом почиталась тогда первой в мире. Играли, однако же, немецкие комедии и трагедии перед немецкою публикой, которая в Петербурге всегда бывает многочисленна и которая тогда бредила Шиллеровыми «Разбойниками» и «Дон-Карлосом». В это время (да полно, не так ли и ныне) на немецком языке все серьезное казалось мне нестерпимым, все пристойно-веселое скучным, все нежное отвратительным; нравились мне одни только фарсы. Вот отчего остались у меня в памяти только два искусные забавника, Штейнберг и Линденштейн, да еще молоденькая певица, мадмазель Брюкль, совсем не забавная, но примечательная по огромному голосу своему, не скажу, приятному, и по немецкой постоянности, с какою слушали ее в одних ролях более тридцати лет и с какою она занимала их.

Русский театр, в первые два-три года Александрова царствования, оставался еще российским театром, созданным Сумароковым, и почти не подвигался вперед. Незадолго до приезда моего, представление одной новой пьесы «Лиза, или Торжество благодарности», весьма ничтожной и давно забытой, было важным происшествием и возбудило не только внимание, но и удивление публики, и автор г. Ильин удостоился чести совершенно новой, дотоле у нас неслышанной: его вызвали на сцену. Ободренный сим примером, другой, столь же неизвестный автор г. Федоров следующей весной вывел свою драму, другую Лизу, взятую из «Бедной Лизы» Карамзина, но имел успех уже посредственный. Недолго жалкие сии люди одни владели русскою сценой, пока не явились сперва Крылов, а вскоре потом и Шаховской и продлили цепь русских комиков, прерванную смертью Княжнина и Фон-Визина и молчанием Капниста. Крылов, с которым я тогда редко и довольно сухо встречался, перестал уже жить по добрым людям и испытывал силы свои в разных литературных родах. Каждый бы ему дался, и тому служат доказательством две написанные им в это время комедии: «Урок дочкам» и «Модная лавка». Но чтобы на этом поприще достигнуть возможного совершенства, недоставало ему одного — прилежания. Басни избрал он не потому, чтобы почитал их единственною стезею, могущею вести его к известности и славе, а потому, что находил ее удобнейшею, легчайшею и прибыльнейшею<sup>34</sup>. О Шаховском, с которым я после так коротко был знаком, о его слабостях и достоинствах нахожу, что здесь еще не место говорить.

Что сказать о лицедеях наших того времени? Начнем с трагических, с Яковлева и Каратыгиной. Первому искусство ничего не дало, природа все: мужественное лицо, высокий, стройный стан, орган звучный и громкий, но всеми дарами ее не умел он воспользоваться. Я не виню его. Говорят, что у Дмитревского не было образцов; напрасно: он видел их за границей и по ним образовал природный дар свой, весьма необыкновенный. Когда он воротился и показался на сцене, в Петербурге не было ни одного иностранного театра, и он имел судьями и зрителями двор, лучшее общество и много людей, которые сами образцы его видели. Яковлев играл перед многочисленною толпой, в которой самая малая часть принадлежала к среднему состоянию; остальное было ближе к простонародью, даже к черни. Как актеру не искать рукоплесканий? И как, желая нравиться такой публике, не исказить свой талант? А как в этом роде посредственности быть не может, то Яковлев был мало сказать что плох, он был скверен.

<sup>34</sup> На вопрос одного умершего ныне поэта, который спрашивал его: отчего он басни предпочел другим стихотворениям, он отвечал: «Этот род понятен каждому; его читают и слуги и дети... ну, и скоро рвут». — *Авт.*

От неистовых криков и частого употребления водки голос его осип, и он свирепствовал истинно карикатурно.

Подруга его на сцене и, как утверждали, в домашней жизни, госпожа Каратыгина, жена плохого актера, игравшего молодых людей в комедии, была довольно красива, но играла нехорошо, все всхлипывала, и не глаза, а горло казалось у нее вечно исполненным слез.

Кто знает? Ныне, может быть, ими бы восхищались; так мнения и вкусы переменялись. Трагедий было мало; все прежние, майковские, николевские и даже некоторые сумароковские брошены, а об Озерове еще не было слышно. Играли покамест плохо переведенные, чудовищные немецкие драмы, и ими обуревался и им хлопал площади партер.

В мире был когда-то народ, у которого чувство изящного проникло во все состояния; он давно уже исчез. Был другой народ, завоевавший богатства целого света и в числе их, как сокровище, захвативший у первого чистоту и строгость вкуса его; от него осталось его громкое имя. После столетий этот правильный вкус явился у третьего народа, некогда второму подвластного. Ознаменованные печатью сего вкуса литературные произведения его распространили его влияние и язык по всей Европе, и прежде нежели мечом посягнул он на свободу народов, уже ему покорила их лира. Когда этот народ стал терзать себя и соседей и все опрокидывать, еще высоко стояла среди него сия венчанная лира, и он не переставал ей поклоняться; теперь она не разбита, но валяется в прахе. Нет, классицизм и желание владеть миром не могли быть врожденным чувством у потомства легкомысленных галлов и черствых франков; первый был одно подражание и долго господствовавшая мода; другое родилось и умерло в голове единого человека, итальянца, потомка римлян, Наполеона. Когда Европа уняла Францию, то несколько времени она гневалась, волновалась, но неприметным образом принимала уставы своих соседей, англичан и немцев; все готско-тевтоническое, как нечто родное и так непринужденно, в ней возобладало и выдавило, так сказать, мечты о древнем величии Рима. Тем лучше! Я чуть было не сказал: для нашей будущности, но вспомнил и наше идолопоклонство не одной уже Франции, но в совокупности с ней целой Европе.

Какое отступление! И все это по случаю игры Яковлева, правда, непонятого и опередившего свой век. Теперь немного слов еще о тогдашнем нашем театре. Комедия шла немного лучше трагедии. Рахманова, в ролях сердитых, сварливых старух, какими были тогда в русских провинциях все старухи (от бездействия и скуки терзавшие все им подвластное), и Пономарев, олицетворенное подъячество, были оригинально забавны. Между не выпущенными еще воспитанниками и воспитанницами тогда уже существовавшей театральной школы начинали в комедии являться талантики.

Певцы и певицы были достойны играемых тогда русских опер. Но между ними было нечто чрезвычайно примечательное, нечто совершенное, это буфф в русском роде, Воробьев. Он смешил, когда он пел, когда он говорил, когда он стоял, смотрел, даже когда он только показывался на сцене. Жена его, толстенная, слабоглазая и неуклюжая, занимала первые роли, обыкновенно царевен и княжон. Когда число действующих лиц того требовало, то голоски брали напрокат из театральной школы.

От русского театра весьма естественным образом переходишь к тогдашней русской литературе. Сжатая при Павле, омелевшая по шаликовской приторности при Александре, она стала возвышаться и течь с быстротою. Еще должен повторить, что я совсем ею не занимался, и если что узнал о самом современном ходе ее, то по изустным преданиям Блудова. Но сего достаточно, чтобы вкратце описать тогдашнее ее состояние. Она, как всем известно, родилась в Петербурге; все прежние сочинители, от Ломоносова до Державина и от Тредьяковского до Хвостова, в нем образовались, жили, служили и писали. Позднее Москва сделалась ее центром, и она тем обязана постоянному пребыванию двух знаменитых писателей в стихах и прозе, Дмитриева и Карамзина. С тех пор все лучшее в нашей словесности родится и произрастает там, плоды же собирает Петербург. С воцарением Александра, после тягостного сна, все благородное воспрянуло, и Карамзин, столь привлекательный в своих безделках, прилежно и сильно принялся за дело. Он сделался первым издателем первого у нас журнала, достойного



сего названия. Его «Вестник Европы» начал нас знакомить как с ее произведениями, так и с нашею древностью. Какое мужество, какое терпение и какое бескорыстие были потребны Карамзину! Какая бедность в материалах! Какой недостаток в сотрудниках! Какое малое число подписчиков, и какая низкая цена за издание! Едва прикрывались издержки, а труд шел почти даром. Он принужден был почти один постоянно заниматься, сочинять, переводить. Но великий писатель достигнул своей цели: он водрузил знамя, под которое стали собираться молодые таланты и развиваться под его сенью. Между тем и самый слог Карамзина, дотоле красивый, стройный, милый, как прелесть молодости, среди упорных, вседневных трудов приметным образом стал укрепляться и подниматься, и во всей мужественной красоте явился в героине-женщине, Марфе Посаднице. «Вестник Европы» становился слишком приманчив, чтобы быстро не умножилось число его читателей и подписчиков; тогда только, когда Карамзин мог ожидать себе от него прибыли, предоставил он его людям, его учением образованным.

В это же время (и все в той же Москве) сделались известны два молодые стихотворца. Мерзляков и Жуковский. Мерзляков возгремел одой молодому императору при получении известия о кончине Павла, и она найдена лучшею из десяти или пятнадцати других, написанных по случаю сего происшествия. Далее слава его не пошла; известность его умножилась. Он был ученейший из наших литераторов и под конец профессор в Московском университете, много и правильно писал; но читали его без удовольствия. Впоследствии я тоже попытался и нашел в нем мало вкуса, много педантства.

Участь Жуковского была совсем иная. Как новый, как ясный месяц, им так часто воспетый, народился тогда Жуковский. Я раз сказал уже, что, не зная его, позавидовал золотой его медали. Потом много был о нем наслышан от друга его, Блудова, и хотя лично познакомился с ним годом или двумя позже описываемого времени, не могу отказать себе в удовольствии говорить о столь примечательном человеке.

Бездомный сирота, он вырос в Белеве, среди умного и просвещенного семейства Буниных<sup>35</sup>. Знать Жуковского и не любить его было дело невозможное, а любить ребенка и баловать его всегда почти одно и то же; но иным детям баловство идет впрок; так, кажется, было и с нашим поэтом. Когда он был уже на своей воле, и в службе и в летах, долго оставался он незлобивое, веселое, беспечное дитя. Любить все близко его окружающее, даже просто знакомое, сделалось необходимою его привычкой. Но в этой всеобщей любви, разумеется, были степени, были мера и границы; ненавистного же ему человека не существовало в мире. Избыток чувств его рано начал выливаться в плавных стихах; а потом вся жизнь его, как известно будет потомству, была песнь, молитва, вечный гимн Божеству и добродетели, дружбе и любви. Какое любопытное существо был этот человек! Ни на одного из других поэтов он не был похож. Как можно всегда подражать и всегда быть оригинальным? Как можно уметь так трогательно, всею душой грустить и потом ото всего сердца смеяться? Не знаю, право, с чем бы сравнить его? С инструментами ли, или с машиною какою, приводимую в движение только посторонним дуновением? Чужезычные звуки, какие б ни были, немецкие, английские, французские, налетая на сей русский инструмент и коснувшись в нем чего-то, поэтической души, выходили из него всегда пленительнее, во сто раз нежнее. Лишь бы ему не быть подлинником; дайте ему что хотите, он все украсит, французскую ничтожную песенку обратит вам в чудо, совершенство, в «Узника» и «Мотылька», и, мне кажется, если б он был живописец, то из «Погребения кота» умел бы он сделать шедевр.

Таким людям, как он с Блудовым, стоило только сойтись один раз, чтобы навсегда сомкнуться. Что касается до меня, то скажу без хвастовства и скромности, что и у меня была одна сторона чистая, неповрежденная, и ею только мог я прислониться и сколько-нибудь прильнуть к такого рода людям. Жуковский меня любил, но не всегда и не много дорожил моею приязнью; тем приятнее мне отдавать ему справедливость. Истине всегда я жертвовал самолюбием, и это свойство, не весьма обыкновенное, есть, может быть, одно, которым позволено мне гордиться.

<sup>35</sup> В. А. Жуковский был внебрачный сын помещика Афанасия Ивановича Бунина от пленной турчанки.

Но дело не обо мне, а о литературе. В Петербурге жил один человек, пожилой, чиновный, честный и почтенный, но как писатель состарившийся в безызвестности. Он имел славу быть первым у нас славянофилом; в молодости пленился церковным нашим языком, его изречениями, его оборотами и целый век хлопотал о том, чтобы ввести его и в письма и в разговоры. Это был известный вице-адмирал Александр Семенович Шишков, еще менее моряк, чем автор. Любимый свой славянский язык искал он не только в землях, ныне или прежде обитаемых славянами, но и везде откапывал корни словес его. Предприятие важное, дело похвальное, страсть — благородная! Только жаль, что к полезному удовлетворению ее у него не было средств, не было достаточного ума и сведений. Трудясь в бесплодных изысканиях, он сделался угрюм и бранчлив. Проведя всю жизнь в Петербурге и мастерски играя в карты, ему нетрудно было сделать связи с знатными людьми, с знатными домами; а как наши бары не учились русской грамоте, то и поверили ему на слово, что он великий человек, коему определено исправить, переделать, очистить, усовершенствовать прекрасный русский язык, как говорили они, но о коем они не имели ни малейшею понятия. На прежние успехи Карамзина смотрел он с презрением; но когда сей последний приметно начал становиться основателем школы, то он жестоко вознегодовал. В таком расположении духа издал он памфлет под названием: «О старом и новом русском слоге», где сильно и довольно грубо напал на галлицизмы, на нововведения московских писателей. Это был первый пушечный залп из собравшегося неприятельского стана, но он остался без ответа.

Странное, однако же, дело! Тогдашние петербургские литераторы, Львовы, Гераковы и другие, народ все нужный, должностной, поклонники Шишкова, не следовали его учению и славянизм у себя не вводили, в угождение ему довольствуясь дурно писать. Да и сам почтенный Александр Семенович поучал более словами, чем примером.

Спустя несколько времени другой выстрел последовал со сцены<sup>36</sup>. Князь Шаховской, служивший в театральной дирекции (которого берегу я для будущего), написал комедию «Новый Стерн», в которой дурачит сентиментальность каких-то небывалых писателей, шепнув всем на ухо, что он метит на Карамзина. В языке Шаховского также никогда славянского ничего не было; но Шишков охотно прощал ему, как сильному и полезному союзнику. На этот второй вызов также не было ответа; разве почитать ответом веселую эпиграмму молоденького тогда Блудова. Вот она:

Хотите ль, господа, между певцами  
Узнать Карамзина вы записных врагов?  
Вот комик Шаховской с плачевными стихами,  
И вот бледнеющий над святцами Шишков.  
Они умом равны, обоих зависть мучит;  
Но одного сушит она, другого пучит<sup>37</sup>.

Однако же эта иголка на некоторое время как будто прекратила действие тяжелых орудий. После этого долго не было явной войны. Она было возгорелась в 1810 году, но скоро остановлена происшествиями другой войны, более кровопролитной. После вторичного занятия Парижа наша литературная война возобновилась с новою яростью; последние ее жестокие сражения происходили в 1816-м. Если я останусь жив и будет у меня время, то я неминуемо должен быть ее историком.

Никто в этом не заметил необыкновенной странности. Новенький Петербург, полунемецкий город, канал, чрез который втекала к нам иностранная словесность и разливалась по всей России, воевал с старою Москвою за пренебрежение к древнему нашему языку, за порчу его, искажение, за заимствование слов из языков западных.

<sup>36</sup> Это маленький анахронизм; но я описываю не год, а эпоху. — *Авт.*

<sup>37</sup> Шишков, как лунь белый, был всегда очень худощав; Шаховской же и в молодости был неблагопристойно жирен. — *Авт.*

Не прежде как в июне или в июле, по приказанию Сперанского, явился я в первое отделение экспедиции государственного благоустройства, к начальнику его Димитрию Семеновичу Серебрякову.

Из десятка, к которому я принадлежал, только двое или трое заслуживают (и то не очень) найти здесь место. Первым, важнейшим между нами, почитался Александр Михайлович Безобразов, хороший, старинный, столбовой дворянин, как часто упоминал он о том, в родственных связях с лучшими дворянскими фамилиями. Природа захотела уподобить его фамильному его имени; а фортуна, ей наперекор, взяла к себе на колени и доселе не перестает ласкать его и тешить. Все те успехи, кои могут дать красота, любезность, высокая нравственность, обширные сведения и ум светский, и ум деловой, все сии успехи он без них получил. Как же удалось ему? Как удастся глупцу, который крепко на себя надеется, ни в чем не сомневается, который смел, бесстыден, настойчив и всяким благоприятным случаем умеет пользоваться. Он был совсем необразованный человек, а в молодости камер-юнкер при дворе Александра, не то что ныне, и никто не находил это странным; он был уродливо-дурен собою, а в него влюбилась богатая красавица, вопреки воле матери, ушла с ним и обвенчалась; он едва умел грамоте, а написал и напечатал книжку; он ничего не смыслил в делах, а попеременно в трех губерниях губернатор, ставился другим в пример, давно уже сенатор и метит в Государственный совет.

О другом моем сослуживце, Ранцове, потому только здесь упоминаю, что он был мне и земляк, пензенский помещик, и более других искал моего знакомства. Умерший отец его, Иван Романович, был побочный сын графа Романа Ларионовича Воронцова; мать и семейство его постоянно жили в Петербурге и меня часто к себе приглашали. Он был очень пристоеен и скромнен в обществе; но только почтением к матери был удерживаем от нетрезвой развратной жизни. После смерти ее бросил службу, уехал в пензенскую деревню и там в распутстве кончил век.

Один только третий наш товарищ Вельяминов-Зернов отличался прилежанием и основательными познаниями, но был несносно скупен и неопрятен. Он после занимался законоведением, писал что-то о законах, мог быть очень полезен, но всегда имел неудачи по службе.

Служение мое в департаменте внутренних дел имело еще одну невыгодную, можно сказать, мучительную сторону. Губернаторы находились в прямой зависимости от министра и его департамента; следственно, отец мой был в самых частых с ними сношениях; следственно, состоя там на службе, обязан я был находиться его поверенным, его постоянным ходатаем, если не заступником. Тогда люди ранее зрели, ранее старились; в тогдашние мои лета ныне мне только что вступить в университет или приготовляться к вступлению в него: тогда от меня требовали опытности и деятельности. А что мог я делать? Ничью доверенностью не мог я пользоваться. Сперанский перестал пускать меня к себе, а до Кочубея было высоко как до царя. Между тем Столыпин, получивший место начальника отделения в департаменте юстиции и распространявший здесь свои связи, подбивал отсюда беспрестанно пензенских негодяев к продолжению наступательной войны.

Что тогда происходило в Пензе, тому трудно поверить. Мне бы теперь самому казалось, что память меня обманывает, если бы не имел в руках письменных доказательств, копий с жалоб, посылаемых к министру. Пригласит ли кто моего отца обедать, он осмелится занемочь и пришлет извиниться, за эту грубость жалуются Кочубею; какой-нибудь мерзавец до того ли себя дурно ведет, что даже в Пензе закрываются ему все дома, он называет это гонением моего отца и приносит жалобу; побранятся ли два помещика, идут на суд к отцу моему, грозно требуя от него справедливости, и когда он им докажет, что это сущий вздор, они мирятся, а не менее того жалуются высшему начальству, что в их городе нет суда. Разумеется, здесь этому смеются, хотя Столыпин, чрез коего подаются просьбы, и умеет всякое подобное дело выставить в дурном виде. Но снисходительное министерство, не терпя никаких жестокостей, обращается к губернатору с требованием пояснений, а к губернскому предводителю — с поручением склонить просителей к оставлению дела, по-видимому, не заключающему в себе большой важности.

Еженедельная моя переписка с родителями имела предметом почти исключительно все эти неприятности. По словам брата, почитали меня весьма близким к Сперанскому, дивились моей ветренности, моей беспечности и не могли понять, как возможно так мало заниматься отцовскими делами. Я не знал, что отвечать, иногда даже лгал, чтобы сколько-нибудь успокоить бедного моего родителя.

Вечная эта тревога, волнение расстроили здоровье отца моею до того, что в конце августа впал он в тяжкую болезнь, получил желчную, нервическую горячку, от которой через несколько недель единый Бог, а уж, конечно, не тогдашние пензенские врачи его избавили. По выздоровлении его умолял я всячески, чтобы приехать в столицу; он сам имел намерение это сделать в начале зимы, чтобы выйти наконец из несносного положения, из разговоров с Кочубеем и другими министрами усмотреть, может ли он далее продолжать службу или должен ее бросить.

Десять лет не бывал отец мой в Петербурге; сколько перемен нашел он в нем! Но из старых знакомых никто к нему не переменялся. Самые почетнейшие из них, князь Александр Борисович Куракин, Сухтелен, Беклешов, киевский знакомый генерал Розенберг, все неоднократно его посещали. Официальные же отношения не столь были лестны. Государь при представлении не удостоил его ни единым словом. Министры почли излишним прислать ему визитные карточки, и Сперанский, только что директор департамента, сделав сие, почитал оное со стороны своей необычайною вежливостию. Не знаю, не было ли принято за правило через меру возвышать министров и унижать звание губернатора? Если было, то мы пилим плоды сей мудрой системы.

Пребывание моих родителей в Петербурге не могло быть продолжительно: сопряженные с тем издержки для их состояния были слишком обременительны.

Желание матери моей было не так скоро со мною расставаться; да и мне самому хотелось на время отдохнуть не от трудов, а от нужд, мною претерпанных в столице. Итак, решено было ехать и мне, но наперед испросить совсем ненужное дозволение министра. По сему случаю был я отцом лично ему представлен. Я увидел его в первый раз и не оробел от его важности; он с улыбкой сквозь зубы сказал мне что-то, кажется, приятное и ободрительное. Сперанский объявил отцу, что пачпорта мне не нужно, что это в числе отброшенных формальностей; как было ему не поверить? Но уже тут видно было не забвение, а дурной умысел держать меня без службы. До сих пор не могу понять глупого стыда своего, который заставил меня это важное для меня обстоятельство утаить от родителей. Но как бы то ни было, 22 мая мы оставили Петербург.

Дня два или три спустя после нашего приезда (однако же не по сему случаю) город вдруг наполнился и оживился: наступила Петровская ярмарка, которая начинается с Иванова дня, с 24 июня, и продолжается неделю, до 1 июля. Тут увидел я первый раз в жизни сие ежегодное, но для провинции тем не менее важное событие.

Внизу под горой, на которой построена Пенза, в малонаселенной части ее, среди довольно обширной площади стоит церковь апостолов Петра и Павла. В день праздника сих святых вокруг церкви собирался народ и происходил торг. Но как жители, покупатели, купцы и товары размножились и стало тесно, то и перенесли лавки немного отдаль, на пространное поле, которое тоже получило название площади, потому что окраено едва виднеющимися лачужками.

Тут стояли ряды, сколоченные из досок и крытые лубками; между ними была также лубками крытая дорога для проходящих. Везде сквозило, отовсюду могли проникать солнце, дождь и пыль. С утра до вечера можно было тут находить разряженных дам и девиц и услужливых кавалеров. Но покупать можно было только поутру, и то довольно рано: остальное время дня ряды делались местом всеобщего свидания. Не терпящие пешеходства, по большей части весьма тучные барыни, с дочерьми, толстенькими барышнями, преспокойно садились на широкие прилавки, не оставляя бедному торговцу ни пол-аршина для показа товаров. Вокруг

суетились франты, и с их ужимками вот как обыкновенно начинался разговор: «Что покупаете-с?» — «Да ничего, батюшка, ни к чему приступить нет». А купец: «Помилуйте, сударыня, да почти за свою цену отдаю», и так далее. Так по нескольким часам оставались неподвижны сии массы, и часто маски в то же время: сдвинуть их с места было совершенно невозможно; не помогли бы ни убеждения, ни самые учтивые просьбы, а начальству беда бы была в это вступаться. А между тем, это одна только в году эпоха, в которую можно было запастись всем привозным. И потому-то матери семейств, жены чиновников, бедные помещицы, в простеньких платьях, чем свет спешили делать закупки, до прибытия дурацкой аристократии.

Одна весьма важная торговля начиналась только в рядах, но условия ее совершались после ярмарки. Это был лов сердец и приданых: как на азиатских базарах, на прилавках взрослые девки так же выставлялись, как товар. Помещикам и их семействам, съехавшимся почти из всей губернии, можно было бы, кажется, уметь приятным образом недельку повеселиться. И было бы где: вокруг Пензы, в одной и в двух верстах от нее, есть прелестные рощицы; нет, они предпочитали грязь, пыль и духоту ярмарочную. Одно увеселение, которое похоже на что-нибудь, бывало в Петров день: это назывался воксал или бал в регулярном саду г. Горихвостова, куда в этот день платили за вход. Сад был не велик; но галдарея, как еще говорили тогда, была преогромная, правда, однако, также дощатая. Она была обита выбеленною холстиной и украшена преобладающею жестяною люстрой; в окнах же стояли деревянные треугольники, к коим прибавились железные шандалы. Тут довершались победы красоты: статуи, кои как вкопанные сидели на ярмарке, здесь одушевлялись, приходили в сильное движение, при блеске сальных свеч и звуках громкой музыки.

Кстати, об увеселениях. Кто бы мог поверить? В это время было в Пензе три театра и три труппы актеров. Такое чудо нужно объяснить. У нас все так шло с времен Петра Велико-го: кроется крыша, когда нет еще фундамента; были уже университеты, академии, гимназии, когда еще не было ни учителей, ни учеников; везде были театры, когда не было ни пьес, ни сколько-нибудь порядочных актеров. Право, жаль, что, забыв пословицу: поспешишь да людей насмешишь, мы надорвались, гоняясь за Европой. Итак, в Пензе три театра, оттого что полубарские затеи, забытые в Петербурге, кое-где еще встречались в Москве, а в провинциях были еще во всей силе обычая.

Труппа г. Горихвостова посвящена была игранию опер и исключительно итальянской музыке; особенно славилась в ней какая-то Аринушка. Сия труппа играла даром для увеселения почтенной публики, собиравшейся у почтенного г. Горихвостова. Я к этому обществу не принадлежал, сих певиц не слыхал и крайне о том жалею: это в карикатурном роде должно было быть совершенство.

Григорий Васильевич Гладков<sup>38</sup>, самый безобразный, самый безнравственный, жестокий, но довольно умный человек, с некоторыми сведениями, имел пристрастие к театру. Подле дома своего, на городской площади, построил он небольшой, однако же, каменный театр, и в нем все было, как водится, и партер, и ложи, и сцена. На эту сцену выгонял он всю дворню свою от дворецкого до конюха и от горничной до портомойки. Он предпочитал трагедии и драмы, но для перемены заставлял иногда играть и комедии. Последние шли хуже, если могло быть только что-нибудь хуже первых. Все это были какие-то страдальческие фигуры, все как-то отзывалось побоями, и некоторые уверяли, будто на лицах, сквозь румяна и белила, были иногда заметны синие пятна. Эти представления я видел, но что сказать об них? Даже и вспомнить и жалко, и гадко. За деньги (которые, разумеется, получал господин) играли несчастные по зимам. Зрители принадлежали не к самому высшему состоянию.

Самого старинного покроя барин, носастый и брюхастый Василий Иванович Кожин, без всякой особой к тому склонности, из подражания или так, для препровождения времени, затеял также у себя камедь; и что удивительнее, сделал сие удачнее других. Но о группе его потолкуем после; а теперь поговорим о том, что занимательнее, о его домашней жизни.

<sup>38</sup> Брат его Иван Васильевич был при Александре обер-полицеймейстером в обеих столицах. — *Авт.* Он был другом знаменитого изувера-архимандрита Фотия и помощником его в борьбе «противу сонмища зловерных».

Почти до шестидесяти лет прожил он холостой, в деревне, редко из нее выезжая, как вдруг в соседстве его появилась одна старая, на помаде, на духах и на блондах промотавшаяся сиятельная чета. Князь Василий Сергеевич и княгиня Настасья Ивановна Долгоруковы, в близком родстве со всеми знатнейшими фамилиями, имея сыновей генералов, при конце дней своих принуждены были поселиться в оставшейся им пензенской деревне. С ними была дочка Катерина Васильевна, сорокалетняя дева; не знаю, была ли она разборчива в Москве, но в глуши, куда она попала, рада-рада уж была, чтоб выйти... за Василия Ивановича: добрые соседи это дело как-то состряпали. Она была воспитана в Смольном монастыре, без французского языка не могладохнуть, а на нем между соседями ей не было с кем слова молвить. Целый век с старым медведем, хотя смиренным, ручным, но прожить в его берлоге! Это ужасно. Дело решено: она купила в Пензе обширный, ветхий, деревянный дом и перевезла в него мужа со всеми его театральными затеями. Благодарю за то судьбу мою: во всякий приезд мой в Пензу они были моей отрадой.

Есть странности, коих прелесть на словах или пером никак передать невозможно: надобно было их видеть. Странности сих супругов происходили от сочетания в них всевозможных противоположностей. У обоих было добрейшее сердце, но в нем дворянская спесь чрезвычайно умножилась княжеским родством. Надобно было видеть их обхождение; слова ты они не знали между собой. Если б он был женат на великой княжне, то, кажется, более почтения он не мог бы ей оказывать; она платила ему тем же, стараясь другим дать чувствовать, что молодая жена обязана уважать старого летами мужа.

Трудно было назвать ее уродливою, а красивую еще труднее: как для красоты женской, так и для безобразия есть некоторые условия; она им всем была чуждою. Похожего на ее лицо я нигде не встречал и уверен, что никто не встретит. Все то, что у других бывает продолговато, у нее было совершенно круглое, и глаза, и нос, и рот. С брюшком, несколько скривленным, она никогда не была, но вечно казалась беременною. Цвет лица у нее был светло-медный, тело плотное, но не регулярное, как у Василия Львовича Пушкина, если в сих записках его кто припомнит. С ним имела она много сходства и в характере: была так же добродушна, чрезвычайно легковерна и так же хотела всех любить и всеми быть любимой. Но, чего в нем не было, она была чрезмерно вспыльчива; гнев ее бывал мгновенен, но ужасен, и казалось, что в угоду ее добрейшего сердца хранится для запаса злость без всякого употребления; но когда нужда потребует, она является, и тогда беда! Самые жесточайшие, язвительные истины осыпают оскорбителя Катерины Васильевны. Вообще до глубокой старости на ней оставался отпечаток первобытного Смольного воспитания; она сохраняла детскую, милую откровенность. Пороки или, лучше сказать, недостатки ее были многочисленны и безвредны для общества: она была неопрятна, скупа и прожорлива, любила ездить по чужим обедам и под именем ридикюля всегда носила с собою огромный мешок, куда клала фрукты, сласти, конфеты, на сих обедах собираемые, и ими же потом у себя гостей потчивала. В дополнение скажу, что она говорила голосом удушливо-перхотным и к тому же картавила.

Одно не могу я похвалить в ней: ее бесчеловечный эгоизм. Со строгою супружескою верностью, с бесчувствием, с равнодушием хотела она пленять; не разделяя их, возбуждать сильные страсти, сводить людей с ума. Многие прикидывались влюбленными: тогда поглядели бы вы, с каким гордым самодовольствием смотрела она на свои мнимые жертвы! В числе их был и я; а Василий Иванович и не думал ко мне ревновать: он знал, что полубогиня не может иметь слабостей, и даже соблезновал робкой моей любви. В его отсутствие она делалась иногда гораздо смелее, но, разумеется, до известных границ, которые мы с ее супругом умели ей ставить: когда она казалась встревоженною, изумленною, я становился отчаянно почтительным и удалялся. Не знаю, отчего эта мистификация могла меня некоторое время занимать; я думаю, от скуки.

У таких добрых господ-содержателей труппа не могла быть иначе как веселою, прекуриозною. Кожиным удалось где-то нанять вольного актера Грузинова, который препорядочно

знал свое дело; да и между девками их нашлась одна, Дуняша, у которой, невзначай, был природный талант. Катерина Васильевна, помня, как в Смольном сама госпожа Лафон учила ее играть Гофوليو, преподавала свои наставления, кои в настоящем случае, мне кажется, были бесполезны; ее актеры могли играть одни только комедии с пением и без пения. Эту труппу называли губернаторскою, ибо мой отец действительно ей покровительствовал и для ее представлений выпросил у предводителей пребольшую залу дворянского собрания, исключая выборов, почти всегда пустую.

Завелось, чтобы туда ездили (разумеется, за деньги) люди лучшего тона, какие бы ни были их политические мнения. К Гладкову же в партер ходила одна чернь, а в ложи ездила зевать злейшая оппозиция, к которой, однако же, он сам отнюдь не принадлежал.

Этот раз прожил я в Пензе с небольшим пять месяцев, но делал из нее частые отлучки. Первая поездка моя была вскоре после Петровской ярмарки, Саратовской губернии, Балашовского уезда, в село Зубриловку, о котором было помянуто в первой части сих записок. В проезд наш чрез Москву обедал у нас молодой, великий господин, князь Федор Сергеевич Голицын, также читателю знакомый, и взял с моих родителей слово отпустить меня в их деревню к 5 июля, дню именин отца его. За год до того, будучи рижским военным губернатором, князь Сергей Федорович, по какому-то небольшому неудовольствию, вышел в отставку и поехал жить на зиму, как все тогдашние бояре, в Москву, а на лето — в свою Зубриловку. В Казацком мне так ее расхвалили, что я с нетерпеливым удовольствием туда отправился.

Зубриловка есть одно из немногих мест в России, подобных палацам и замкам, которыми усеяна Польша. Там славянское племя долго и тщетно гнули под феодальные формы: ни Радзивиллы, ни Сапегы, ни Чарторыжские, несмотря на несметные богатства, на многочисленные дружины, их окружавшие, никогда не могли сделаться совершенно независимыми владетелями, как высокие бароны в Германии, Франции и Италии. Их неограниченная, их необузданная власть все оставалась насилие, не закон. В России удельные князья являли когда-то и что-то тому подобное; с истреблением уделизма, с утверждением единодержавия, наместники государевы, начальники городов и областей, с ограничекою властью, получали поместья, вместо жалованья и, вероятно, палаты для жительства. Хоромы владеющих поместьями, как и богатых вотчинников, в старинное неприхотливое время могли отличаться от изб простолюдинов только большим размером и большею опрятностью. Мало-помалу блеск двора стал привлекать богатых владельцев в Москву, а искание мест и почестей удерживало их в ней; с улучшением вкуса, с умножением потребностей начали строиться шире и прочнее, и тогда деревянная Москва сделалась Москвою белокаменною. Как видно из истории, не одни опальные царедворцы и воеводы ссылались в свои деревни; но и другие, послужив Богу и царю, удалялись на отдохновение в свои родовые или жалованные имения. Долго существовал сей обычай, и в отдаленных от столицы местах нередко можно было найти маститую старость вельможи, окруженную всеобщим благоговением и отражающую блеск, заимствованный ею от светлого лица государева (я говорю ее языком), при коем она некогда находилась. В такого рода жизни, кажется, нет ничего феодального.

Несколько позже, привычка к солнцу не позволяла далеко отдаляться от лучей его. Тогда, кажется, родилось название подмосковных и умножилась ценность их. Тогда, не переставая быть царедворцем, не покидая любезных ему золотых цепей, мог боярин на лето освобождаться от их тягости, так, однако же, чтобы, при первом позыве царя или честолюбия своего, мог он скорее возложить их на себя. Во временных убежищах начали, наподобие царских, заводиться в малом виде дворцы и сады, а в отдаленных богатых вотчинах ветхие здания господские стали клониться к падению и заменяться где волостною избой, где домиком для приказчика или управителя.

Но время текло, нравы менялись, и строился Петербург. Сначала, однако же, в новую столицу перенесены обычаи старой, и среди окрестностей первой явилось великолепие по большей части уже новых боярских фамилий, в Гостилицах, в Славянке, в Коирове, в Мур-

зинке, в Мурине, в Парголове. Это было ненадолго, это казалось слишком далеко от двора, и все названные места опустели. Тогда богатые, прекрасные дачи по Петербургской дороге, на царском пути, все разряженные, с обеих сторон вытянулись почтительным фрунтом. Кто бы мог прежде ожидать? И они брошены, и они распроданы под фабрики. Ныне, в самом Царском Селе, в Павловском, в Петергофе или на островах, поближе к Каменному или Елагину дворцам, русская знать в хороших, разубранных уютных дачках гнездится, жметя, как дворня в людских.

И эти люди называют себя аристократами! В старину, то есть, как говорится в России, лет сорок тому назад, все отставные вельможи полагали, что им нигде приличнее жить нельзя, как в отставной столице. Некоторые из них не оставляли ее во все лето, имея в самом городе сады, в десять или в двенадцать раз более иных каменноостровских дач; другие ездили в свои подмосковные, кои продолжали беречь и украшать; немногие, как князь Сергей Федорович, отправлялись в дальние деревни.

Итак, Зубриловка его, равно и лежащее в тридцати верстах от нее село Надеждино, князя Куракина, еще красовались тогда и славились не только во всем околотке, но и во всех соседних губерниях.

Только вокруг господского дома видна рука искусства, но и тут, в этих бассейнах, каскадах, сильно помогала ей природа. Имение сие было не родовое; князь Голицын купил его и потом три года сряду стоял в нем на бессменных квартирах с двадцатичетырехэскадронным Смоленским драгунским полком, коего он был начальником. Утверждают, что все построения Зубриловки были дело рук солдатских; это извиняется дурным обычаем: полк давался тогда как аренда, и в самом Петербурге начальники гвардии сим дешевым способом возводили себе дома.

По обстоятельствам, более чем по склонности, принадлежал к умеренной партии один из почтеннейших жителей Пензы, действительный статский советник Егор Михайлович Жедринский. В Петербурге провел он всю молодость свою, которую умел продлить за сорок лет. Он служил в гвардии, был только что сержантом в Семеновском полку, как нечаянный брак вывел его в люди. Начальник этого полка, генерал-аншеф и андреевский кавалер Федор Иванович Вадковский, должен был, как говорят, поспешить замужеством старшей из своих дочерей; надобно было сыскать жениха не слишком взыскательного и потом наградить его за снисходительность. Это доставило Жедринскому не только скорое повышение, но и знакомство с людьми лучшего тогда общества в Петербурге. Когда он овдовел, из гвардии-капитанов вышел в отставку бригадиром и приехал потом в Пензу председателем гражданской палаты, то от всех ее жителей постоянно отличался неизвестною им пристойностию в разговорах и вежливостью в обращении, особенно с дамами. Хотя он был весьма уже немолод и некрасив собою, но с любезностию, которой в других тогда не было, умел еще нравиться женщинам. Читал он мало, и так называемый дух философии и правила разврата, непосредственно от него вытекающие, почерпнул он, кажется, из разговоров, а не из книг. Потому-то без малейшего угрызения совести соблазнил он одну сиротку, немку, дворянку Раутенштерн, жившую в доме Чемесовых. Когда состояние ее сделалось несомненно и стыд ее стал всем известен в маленьком городе, тогда она должна была лишиться покровительства своих благодетелей и могла найти убежище только у самого похитителя ее чести: вступить за нее было некому, она была круглая сирота. К счастью ее, человек без сердца, воплощенный грех, прилепился к младенцу, ею рожденному: без того он бы ее прогнал. Верно уже не ради Христа, коего божества он не признавал, верно не из сострадания, которого никогда не знал, дал он ей уголок, обязав быть его ключницей и нянькой его ребенка; всегда обременял он ее потом своим презрением, не уважая в ней даже своей жертвы и матери своего сына.

В совершенном заточении, не смея никому показать лица своего, так провела лучшие годы своей жизни хорошенькая, скромная девушка, рожденная для добродетели, которой, раз изменив ей, всегда потом оставалась она верна. Мальчик подрастал, отец отсек первый слог фамильного своего имени и оставил ему название Дринского. По связям, которые сохранил он



еще в Петербурге, незаконного сына его записали сержантом в гвардию и даже, следуя тогдашнему злоупотреблению, в малолетстве выпустили капитаном в какой-то армейский полк, стоявший в Пензе. С кончиной Екатерины, с упразднением Пензенской губернии, кончилась как его служба, так и служба несовершеннолетнего его сына.

Нежность к сему сыну, неотступные мольбы его и участие, которое самые равнодушные люди принимали в злополучной судьбе бедной Раутенштерн, в начале царствования Александра заставили седого ловеласа с нею обвенчаться и более для того, чтобы узаконить сына и дать ему свое имя.

Не скоро бедная женщина решилась показаться между людьми, несмотря на свое новое превосходительство, все искала последнего места в обществе и долго еще сидела в нем, потупя взоры, как преступница.

Старику Жедринскому было более семидесяти лет, когда жена его была полна, свежа и имела блестящие взгляды. Но он был еще приветлив, опрятен, говорил неглупо, подшучивал довольно остро и по большей части насчет добродетели, церкви, духовных лиц и обрядов. Несмотря на его ласки ко мне, я чувствовал тайное отвращение от сего повапленного гроба; я все видел печать ада в сардонической улыбке до ушей, обнажавшей беззубый рот его, и мне казалось, что, говоря о нем, совсем не в смысле брани можно было употребить название старого чорта. Наказанием его была страсть к игре; от нее он был весь опутан долгами, и это делало его еще искательнее, ко всем ласковее.

Совершенно в его духе, в его правилах был воспитан любимый сын его, Владимир Егорович; но в нем было более чувства и гораздо менее ума, чем в отце. Еще в ребячестве сам родитель наставлял его во всех карточных играх; и в двенадцать лет сидел уже он с большими за бостоном; впоследствии ученик превзошел наставника, и его выигрыш часто заменял неудачи последнего; в обоих, кажется, недоставало решимости подняться на те смелые спекуляции, от коих единственно по сей части обогащаются.

Один бедный выслужившийся дворянин, собою очень видный, женился на доброй, глупой и богатой невесте, дочери Василия Николаевича Зубова, двоюродной сестре князя и графов Зубовых. Иван Андреевич Маленин, в звании городничего, начальствовал в Пензе, когда, при Павле, была она уездным городом, и до некоторой степени напоминал собою прежних ее воевод и губернаторов. Беспечен, хотя и тщеславен, довольствовался он тою порцией величия, которая в сей аристократической республике, как единственному официальному лицу, ему на долю доставалась, и с дворянами довольно ладил. При вторичном открытии губернии он уже в прежней должности остаться не хотел и сделан советником казенной палаты; тогда стал он в ряды других бояр, получив в городе великий вес от роли, которую перед этим играл, от знатного родства, хорошего состояния и большого хлебосольства. Он был мужик честный, правдивый, чистосердечный, но вместе с тем и осторожный: никогда не говорил неправды, но не всегда говорил правду. Его преданность отцу моему, без малейшей подлости, свободомыслящие в Пензе именовали подобострастием, а он не хотел даже брать труда на них сердиться. Маленькое чванство, лошади, псарня, вот все его извинительные слабости. Ученостию ни он, ни жена его не могли похвастаться: домашнего маляра своего называл он в шутку Сократом, уверен будучи, что Сократ был великий живописец. Супруга его, Александра Васильевна, долго полагала, что всех медиков зовут Петерсонами, потому что первый, который ее лечил, носил сие имя.

Теперь поговорю об одном приезде из Петербурга барине, у которого в деревне довольно скучно (для меня, по крайней мере) должны мы были пробыть почти сутки. Еще в Киве, останавливаясь с кавалерийским полком, коим он начальствовал, Михаиле Алексеевич Обрезков познакомился с моими родителями. При Павле подвергся он общей участи, был произведен генералом, украшен лентой, потом отставлен и сослан; при Александре опять был принят на службу, но сначала только числился в ней и жил, где хотел. После покойной жены его, урожденной Галызиной, досталось ему с детьми богатое наследство в Пензенской губер-

нии — бесконечная лесная дача, при коей устроил он обширный винокуренный завод; в это имение, которое тогда было единственным источником его доходов, приезжал он по временам хозяйничать.

Отец его был нашим посланником в Константинополе; там нашел он себе жену, в этой странной касте, в этой помеси, составленной из людей всех европейских наций, не имеющих отечества и употребляемых миссиями всех держав; от нее произошел наш Обрезков и, кажется, наследовал всей безнравственности ее родственников. Есть пороки, которые вредят успехам человека, им подвластного, которые даже губят его; есть, напротив, другие, которые способствуют его возвышению, обогащению. Одни только последние имел г. Обрезков. От Востока, где он родился, принял он вместе с жизнью неутолимую алчность к ее наслаждениям; а Европа восемнадцатого века научила его действовать осторожно, но не отступать ни от каких средств к достижению желаемого. Он получил прекрасное светское образование, имел много основательности, особенно расчетливости в уме; но ни единого похвального, благородного чувства, я уверен в том, не ощутил он ни разу в душе своей. Не знаю, чему более можно было удивляться, безумию ли его спеси, или бесстыдству его подлости? От одного к другому никто еще, как он, так быстро не умел переходить: сегодня имеет он в вас нужду, хотя не очень великую, и готов вместо ковра расстилаться под ногами вашими; но она удовлетворена, вы ему бесполезны, и завтра же станет он вас мерить глазами и обдаст презрительным, нестерпимым холодом. В Петербурге жил он в самом аристократическом кругу и (еще раз прошу позволения заимствовать у французского языка, чего нет в нашем), владея в совершенстве жаргоном большого света, постоянно в нем удерживался. Там, разумеется, был он умереннее, там с каждым умел он очень тонко оттенять свое обхождение; только вне его предавался он крайностям и готов был плевать на ту руку, которую вчера лизал.

Страсть его (никогда истинная любовь) к женскому полу и желание ему нравиться тогда уже начинали его делать смешным. Ему было за сорок лет; однако же он еще очень молодил себя. Он был небольшого роста, тонок, строен и чрезвычайно ловко танцевал; искусственная белизна его лица спорила с искусственной чернотой его волос, и яркий искусственный румянец покрывал его щеки; но раннее употребление косметических средств повредило его коже: она уже тогда казалась выкрашенной подошвой. Ничто не могло быть совершеннее механизма его наряда, и в изобретении его непременно должен был участвовать какой-нибудь скульптор: так было все пропорционально, так все хорошо пригнано, где дополнено, где убавлено; везде шнурование, там винт, там пружина; и в этой броне, в которой выступал он против спокойствия женских сердец, все телодвижения его были так свободны, что никто не мог бы подозревать тут чего-нибудь поддельного. Чтоб открыть все таинства сего туалета, нужен был зоркий, любопытный мой взгляд; по тесноте деревенского дома его я спал с ним почти в одной комнате; он вставал очень рано, а я, притворяясь спящим, в открытую дверь полуоткрытым глазом мог прозреть весь этот наряд и даже самую подошву лица его, к утру уже полинявшую и пожелтевшую.

Ту же самую осень посетил он нас в Пензе, остановился у нас в доме, прожил две недели и по собственному выбору помещался в занимаемых мною комнатах; но дверь уже не отворялась, и я мог его видеть только в полном блеске и устройстве. Он вставал всегда рано; иногда, когда я лежал еще в постели, заходил он ко мне и журил за леность, без церемонии садясь ко мне на кровать. Иногда необыкновенные его ласки меня смущали, но он расточал их всему семейству, всему дому и не оставлял без внимания даже любимой собачки моей матери.

Полгода спустя сделан он генерал-кригскомиссаром. В сем звании оставался он не более двух лет; хищничество его сделалось так очевидно, что, несмотря на сильное покровительство, он удален от должности и предан суду, который, однако же, оправдал его. После того приискал он другое место, где более наживы и менее ответственности, место директора департамента внешней торговли, и очень долго занимал его. В звании сенатора сохранял он военный чин и мундир и продолжал в нем тянуться и пялиться; под конец с размалеванной рожой казался он даже страшен. Но когда производство в действительные тайные советники лишило его эпо-

лет, то с отчаяния умыл он лицо, бросил шнуровки и парики, обнажил седины свои и принял человеческий вид.

Несколько лет еще в знакомстве со мною продолжал он оказывать прежнюю благоклонность; все сношения мои с ним должны были прекратиться службой отца моего. При первой встрече после того показал он мне столь удивительное, столь наглое высокомерие, что с тех пор довольствовался я меняться с ним презрительными взглядами. Гораздо после, когда мне счастье несколько улыбнулось, встретясь со мною, вздумал он дружелюбно протянуть мне руку; я обрадовался случаю, вспомня, что у него хирагра, схватил ее и так сильно сжал, что он должен был закричать, после чего отошел я с извинением и поклоном.

Нет, гнусен был человек, и скверна об нем память! Я говорю был, ибо в живых его не почитаю, хотя физически он не умирал. Его гордость, бесчувствие, эгоизм, сребролюбие, разврат без примеси малейшей добродетели ныне жестоко наказаны. Там, где другие находят награду и венец долговременно понесенных трудов, там, где других ожидает уважение людей в высоком чине и глубокой старости, там подавляется он всеобщим презрением. Тот, который всю жизнь прельщениями и деньгами соблазнял невинность и кучу жертв принес своему сластолюбию, на старости пал безоружен в сети, расставленные распутницей, которая без большого искусства умела превратить их в брачные узы. Мгновенно прежний мир исчез перед ним: знакомые, родные, даже дети его оставили. Сим последним должен был он отдать родовое имение первой жены, а награбленное скоро похитила у него вторая. Недуги, телесные страдания посетили его, и на одре болезни он не утешен даже присутствием той бесстыдной женщины, которой он всем пожертвовал: она разъезжает, тешится и редко его навещает. Сколько лет таким образом он уже не живет и умереть не может! Если он сохранил рассудок и память, то ничего ужаснее сего положения я не знаю. Сим примером не хочет ли справедливое небо устроить ему подобных? Или в милосердии своем еще на этом свете, для очищения от грехов, не послало ли оно ему сей несчастный брак? Я не понимаю, как столь ничтожное воспоминание могло так далеко меня увлечь. Ведь вышел целый эпизод, который, может быть, я весьма некстати здесь вклеил.

Прежде нежели оставлю Пензу, должен я поговорить о родственниках, которых я в ней имел и о коих я доселе умалчивал, потому что они жили более в деревне, чем в городе. Тетка моей матери была второю женою Михаила Ильича Мартынова, у которого их было три; следственно, только дети второго брака его были довольно в близком с нами родстве. Из них находилось тогда в Пензе двое: Федор Михайлович Мартынов и Наталья Михайловна Загоскина. Первый был не последний в Пензе чужак.

Сестра, гораздо моложе его, не совсем была чуждою мартыновской спеси; но сия спесь едва была заметна среди любезности ее, приветливости ко всем.

В Пензе не находилось хозяйки дома более приятной Натальи Михайловны Загоскиной. Замечено, что тяжкие испытания разным образом действуют на людей: они более раздражают злых, а добрых научают терпению и снисходительности. Так было с Натальей Михайловной. Почти в ребячестве выдали ее за человека хотя молодого, но весьма странного. С самыми кипящими страстями, Николай Михайлович Загоскин любил добродетель и исполнен был религиозных чувств; без родителей, без советов, совершенно свободный, хотел он от силы страстей оградиться неодолимым оплотом и затворился в стенах монастыря. Там более года постился он, молился и готов был принять пострижение, а плоть все одолевала дух. Добросовестные монахи убедили его предпочесть супружество, как состояние истинно-христианское, если не столь святое, как монашество. Как он был весьма не беден, не стар и не дурен собою, то легко было найти ему невесту, и в награду за его добросердечие небо послало ему девочку кроткую, умную и веселую. С ней обрел он счастье, а она только благоразумием и осторожностью могла наконец до него достигнуть; неприметно исправляя их, должна была она переносить кучу странностей, которые были следствием борьбы человеческих слабостей с упорною волею победить их. Проведя несколько лет с ним в добровольном заточении, она умела извлечь его из него вместе с народившимся семейством.

Сие семейство уже тогда было многочисленно. Ныне столь известный автор «Юрия Милославского» Загоскин был первым плодом сего брака, и странности, которые первые примеры и первое воспитание в нем оставили, ни временем, ни трением об людей высших сословий не могли быть изглажены. Ему было тогда лет четырнадцать, и уже по тогдашнему обычаю его готовили на службу, хотя учение его не только не было кончено, мне кажется, даже не было начато. Имя Миши, коим звали его, было ему весьма прилично; дюжий и неуклюжий, как медвежонок, имел он довольно суровое, но свежее и красивое личико. Мне он не нравился по тем же самым причинам, по коим многие и теперь имеют несправедливость не любить его: прежде не знал он существования приличий света, а после мало об них заботился. Многие и тогда обижались слишком фамильярным его обхождением. Как истинно русский весельчак, любил он всегда без желчи, без злости, без малейшего дурного умысла подшучивать в глаза над слабостями людей и, таким образом, задевая самые чувствительные струны их самолюбия, часто творил из них непримиримых себе врагов; потом он же удивлялся и готов был сказать: да, кажется, за что бы? Не только тогда, но и гораздо после не мог я подозревать удивительного, оригинального таланта, который так внезапно и ярко в нем развился; при всегдашней его рассеянности, которая давала ему вид легкомыслия, мог ли я предполагать в нем те постоянные, глубокие наблюдения, кои снабдили сочинения его столь живыми, верно изображенными картинами? Кто бы как ни любил перо его, но кто узнает сердце, которое им водило, тот полюбит человека, я уверен в том, еще более, чем автора. Я скажу об нем, как Иисус об Магдалине: многое должно ему простить, ибо много любил он добро, исполнение своих обязанностей, много любил Бога, отечество свое и весь род человеческий. Его отпускали в Петербург со мною, поручая его братским моим об нем попечениям. Ну, умели же найти ему наставника!

Во время наших сборов явился в Пензе умный, богатый и брадатый Василий Алексеевич Злобин, на обратном пути в Петербург из Вольска и Саратова. Мне теперь совестно вспомнить, как тогда за ним ухаживали: лучшего приема нельзя было бы сделать вельможе; все чиновники ходили к нему являться, и у губернатора обедал он всякий день, занимая, как приезжий гость, первое место. После того, кажется, трудно новые поколения слишком упрекать в поклонении злату. Однако же не мне осуждать почести, оказанные Злобину: он в это время самым любезным образом вызвался сделать мне великое одолжение. Привыкнув к неге, он ехал один в просторной четвероместной карете; я захворал, и он предложил мне половину оной, с обещанием дорогой оберегать меня. Наши две зимние кибитки, моя и Загоскина, приехали к его поезду, и мы 4 ноября отправились в путь.

Старики прежде неохотно входили в суждения с молодежью, и я Злобина знал только поверхностно; но тут, запершись в карете, в беспрестанных с ним разговорах, узнал я, сколько, без всякого учения, в простом русском человеке может быть природного ума: в каждом слове сколько толку, какой великий смысл! Иногда он меня ими ужасал. Порабощение у нас никогда до того не простиралось, чтобы, как у невольников Древнего мира и Нового Света, оно у крепостных наших отнимало даже время на размышление, а опасение проговориться заставляло их быть осторожными в речах и кроткими в выражениях. Из того произошли миллионы поговорок и пословиц, составляющих народную мудрость, которая, из рода в род переходя, как умственное наследство, все более обогащается новыми мыслями. В этом, мне кажется, ни один народ в мире не может сравниться с нашим.

Перед самым нашим отъездом выпал снег, стали морозы и сделалось первопутье; оттого мы не ехали, а летели, и хотя по откупным делам Злобин должен был останавливаться в Саранске и Арзамасе и промешкал в обоих более полутора суток, все-таки приехали мы в Москву 8 числа, в самый Михайлов день. Тут мы расстались: он на другой день поехал далее, а я остался погостить у сестры.

Что сказать мне о тогдашней Москве? Трудно изобразить вихорь. С самого вступления на престол императора Александра каждая зима походила в ней на шумную неделю Масленицы. Я помню, как малолетним случилось мне быть в комнате, где из больших бутылей переливали наливки в жестяной чан, а из него разливали по бутылкам, и как, не проглотив ни капли,

я опьянел от одного приятного ягодно-спиртового запаху. То же было со мной и в Москве: не имея ни много знакомых, ни намерения долго в ней оставаться, я подобно другим не веселился, а от одних рассказов об обедах и приготовлений на балы кружилась у меня голова. В ночь с 28 на 29 ноября поскакал я в Петербург.

Дорогой случилось со мной нечто довольно забавное. В Твери остановился я в известном трактире итальянца Гальяни (который давно уже помер, но которого имя до сих пор сохранила заведенная им гостиница). Я проголодался, промерз и спросил поесть; тут были офицеры какого-то кавалерийского полка, которые кого-то угощали, кого-то провожали и меня очень ласково пригласили с собой обедать. Я даром наелся и, уступая потчеванию, еще более напился, потом поблагодарил их и пошел ложиться в кибитку. Я проснулся перед рассветом, и, когда спросил, скоро ли приедем на станцию, мне сказали, что мы проехали Валдай и что я проспал более двухсот верст. Чем свет, 1 декабря, прибыл я в неизбежный мне Петербург, пробыв не с большим двое суток в дороге. Я не знаю, как это случилось: я не ехал на курьерских, не имел права торопить, слуга мой ничего лишнего не платил; но, видно, счастье приходило ко мне во сне и приводило с собой лихие тройки и лихих ямщиков.

Вот уже третий раз, что я приезжаю в Петербург, подумал я; неужели и ныне не более посчастливится мне в нем, как было доселе? Теперь я приехал один, никто не привозил меня, и даже я сам привез молодого птенца, совсем не питомца муз, но который впоследствии должен был сделаться одним из их отличнейших служителей. Теперь надлежало мне самому промышлять о себе. Как неимущие провинциалы, начали мы с Ямской и оттуда, сделав несколько поисков во внутренность города и открыв довольно удобную квартирку неподалеку от Невского проспекта, через три дня с Загоскиным в нее переехали.

Едва счел я нужным явиться к Сперанскому и, не объявляя ему о моем намерении, мимо его прямо графу Кочубею подал прошение, в коем объяснил всю странность положения моего. Определение меня в министерство не заставило себя долго дожидаться; через два дня подписана бумага, но не совсем согласно с моим желанием и требованием: ибо найдено невозможным зачислить мне в службу все то время, в которое ничего официального обо мне не было. Я и тем остался доволен; попав раз на место, мог я из него приискивать другую, более приятную или выгодную службу. Пока я фиктивно служил, то ходил еще иногда в экспедицию, а со дня определения в нее начал забывать, как отворяются ее двери.

В феврале месяце 1805 года все начали толковать о посольстве, отправляемом в Китай. В аристократическом мире только о том и было разговоров; потому что знатный барин, действительный тайный советник, обер-церемониймейстер, граф Юрий Александрович Головкин назначен был чрезвычайным и полномочным послом. Столь многочисленного посольства никогда еще никуда отправляемо не было: оно должно было состояться из военных, ученых, духовных лиц и гражданских чиновников разных ведомств. Чего же лучше? — сказал я себе и, много не подумав, начал проситься о причислении меня к свите сего посольства.

Пользуясь ласковым приглашением Александра Львовича Нарышкина, сделанным в Саранске, и ободренный ласковым его приемом в Петербурге, раза два или три в зиму был я у него на балах, удостоился даже нескольких слов от его Марьи Алексеевны и на вечерах сих почти успел победить гордую свою застенчивость. Граф Головкин был женат на родной сестре его, Катерине Львовне, и почти всякий день бывал у него. Какого мне пути еще искать было? Но я вспомнил, что, перед этим лет за пять, тот же самый Нарышкин все обещал определить меня пажем и ничего не сделал. Как быть? Другого средства не было, и я приступил к нему с своею просьбой. На этот раз стоило мне только намекнуть добрейшему Александру Львовичу о моем желании, и на другой же день письмо графа Головкина к графу Кочубею испрашивало его согласия на временное увольнение меня из его ведомства. Я даже не успел еще быть представлен послу, и мне пришлось являться к нему и благодарить его в одно время.

Под именем дворянина посольства определен я был в число его канцелярских служителей; каждому из них назначено по шести сот рублей серебром годового жалованья и, сверх прогонов, по тысяче рублей на подъем. В мои расчеты входила также и родительская помощь;

ибо я уверен был, что отец, одоббив мое намерение, в сем случае не пожалеет для меня денег, в чем и не ошибся.

Кажется, все потомство бывшего при Петре Великом первого графа Головкина, Гаврилы Ивановича, поселилось за границей, не отказываясь, однако же, от русского подданства и, не знаю по какому праву, продолжая владеть именьями в России и пользуясь с них доходами. Сей пагубный пример, который так распространился, и ныне заставляет только роптать, но всеобщего негодования еще произвести не может. Когда Россия к Европе станет в таковом же отношении, как Ирландия к Англии, и столицы Запада будут поглощать все плоды потовых, кровавых, трудовых наших поселян, тогда только против сих добровольных, вечных, преступных отчуждений от отчизны будут приняты сильные меры. Как бы то ни было, отец посла Головкина никогда не бывал в России, женился на какой-то швейцарской аристократке и детей крестил в реформатскую веру.

Когда сын его<sup>39</sup> явился ко двору Екатерины, в нем, кроме имени, ничего русского не было. Она приняла его в гвардию, определила ко двору, женила на дочери любимого своего Нарышкина и милостивыми словами привлекла его к престолу своему, привязала и к государству. Все знатные молодые люди тогдашнего времени старались быть тем, чем их сделали судьба и воспитание: быть иностранцами с русским именем; следственно, ничто не могло побудить его преобразоваться в русского. И он остался настоящим дореволюционным французом, сохранив до глубокой старости всю их любезность, их самонадеянность и легкомыслие. Одно только напоминало швейцарское его происхождение по матери: удивительная его расчетливость, которую в роскошной, мотоватой нашей России позволяли себе называть скупостию.

С поверхностными познаниями, кои он имел, мог он в обществе, где никогда не углубляются в обсуживаемые предметы и скользят по ним, казаться сведущим во всех науках. Только в делах это было все ничтожество русских знатных господ новейших времен. Зато что за выход, что за важность, что за представительность!

И это все было бы очень хорошо, если б по крайней мере дали ему сколько-нибудь дельного и просвещенного секретаря посольства; но и тут умели сделать выбор еще хуже самого Головкина. Один нахал, по имени Лев Сергеевич Байков, служивший в конной гвардии, подбил к графу Маркову и в 1801 году в звании канцелярского служителя поехал с ним в Париж; после разрыва с Бонапарте он последний из наших оттуда выехал. В трехгодичное свое там пребывание он исполнился не революционного духа, который при первом консуле начал исчезать, но нестерпимого, неблагопристойного тона новой Франции. Магницкий, его товарищ, в сравнении с ним казался скромным; одним словом, с ног до головы в нем было что-то такое непотребное, что порядочной женщине, кажется, не краснея нельзя было с ним говорить. В буйной молодости цесаревич Константин Павлович охотно окружал себя подобными людьми; их наглые пороки казались ему молодечеством, и Байков был в числе его любимцев. Эта связь, смелость его и рассказы о Париже дали ему большой ход в обществе. Его пожаловали камер-юнкером, хотя ему было гораздо за тридцать лет; но это для того, чтобы доставить ему пятый класс и право на место первого секретаря посольства в Китай. К занятию сего места считали его более кого-либо способным: он умел к кому захочет подольститься, ничего не стыдился, не знал совести, лгал без милосердия. Как же ему было не провести или, попросту сказать, не надуть китайцев?

Второй секретарь был уже настоящий, природный француз, граф Ламберт<sup>40</sup>, который, однако же, гораздо менее им казался, чем оба предыдущие лица. Как иностранец в русской службе, старался он с ними ладить, хотя, впрочем, нельзя было его упрекнуть в гибкости характера; он был довольно вежлив, но холоден, осторожен, скуп на слова и до того спесив, что никому почти не кланялся, а только легким, едва заметным наклоном головы давал

<sup>39</sup> Граф Юрий Александрович Головкин (1762—1846), род. в Лозанне (мать — бар. фон-Мосгейм), крещен в протестантизм. Служил в Преображенском полку (1782 г.).

<sup>40</sup> Его брат был одним из известных, храбрейших генералов нашей армии. Солдаты его очень любили, находя в нем совершенно русского человека. Они были эмигранты. — *Авт.*

знать, что отвечает на поклон. Перед этим, кажется, был он употреблен при миссиях наших в Копенгагене и Мадриде; но дипломатических способностей, видно, в нем или не было, или их не умели оценить: ибо, несмотря на предпочтение, даваемое у нас иностранцам для занятия посланнического места, он впоследствии никогда его получить не мог.

Третий секретарь посольства назывался Андрей Михайлович Доброславский, который ни доброй, ни худой славы никогда заслужить не мог. Он был в числе тех людей смиренных, трудолюбивых, покорных, бездарных, можно сказать, удобных, коих начальство так любит и мало уважает, которые втихомолку продолжают службу и неприметно ее оставляют. Этот был уже совсем не француз, ибо ничего не знал, кроме русского языка, и хотя на нем говорил чисто, а все-таки с примесью украинского наречия. Находясь в коммерц-коллегии, из которой он никогда не выходил, знал он хорошо только одну таможенную часть; там сделался он известен президенту коллегии графу Головкину, который (я было и позабыл сказать), по званию сенатора, получил поручение обозреть и ревизовать все губернии, чрез кои он должен был проскакать. И на сей предмет взял он с собою сего великого искусника.

Вот все почти, что составляло дипломатическую или деловую, письменную часть посольства; затем следовала ученая часть и, наконец, мы, которые молодостию, развязностию, красивым нарядом, даже самым числом должны были служить к возвышению блеска посольства и важности посла.

И в этом отношении, без хвастовства скажу, все было очень удовлетворительно. Из аристократических гостиных молодые люди так и ринулись в невиданное, неслыханное посольство.

Между кавалерами первыми стояли по списку два действительных камергера, Алексей Васильевич Васильчиков и князь Дмитрий Николаевич Голицын.

Затем следуют четыре камер-юнкера: Нарышкин, Бенкендорф, Гурьев и Нелидов. Я уже сказал, что с Кириллом Александровичем познакомился я в Саранске; после того в Петербурге, в доме отца его, знакомство сие сделалось короче; во время же путешествия нашего его приязнь, его постоянно хорошее ко мне расположение не один раз были мне весьма полезны. Он был примечателен тем, что в нем сливались и смешивались два противоположные характера его родителей: он соединял в себе нарышкинское барство, роскошество и даже шутовскую вместе с крутым нравом, благородными чувствами, бережливостью и аристократическою гордостью матери своей Марьи Алексеевны. Он был еще весьма молод, но умел брать какой-то верх над своими товарищами, к чему, впрочем, ему много способствовала любовь к нему посла, по жене родного его дяди.

Константин Бенкендорф был меньшей и единственный брат после всем столь известного шефа жандармов при Николае I Александра Христофоровича. Он во мне, как и во всех знакомых своих, оставил по себе самую приятную память.

Молодой, свежий, откормленный, упитанный телец, туго начиненный словами, а не мыслями, сын будущего министра финансов Гурьева находился между нами и думал, что делает тем великую честь посольству. Он вместе с Бенкендорфом и Нарышкиным был воспитан в пансионе аббата Николя, почти в одно время произведен с ними камер-юнкером и вместе отправлялся в Китай; в сем триумвирате, конечно, мог он почитаться Крассом по его жадности и златолюбию. Все в нем было тупо и тяжело; это просто был желудок, облеченный в человека.

Нелидов, Любим Иванович, был всеми любим, ибо имел сердце столь же кроткое, нежное, как и наружность. Он был флигель-адъютантом при Павле, когда старший брат его Аркадий Иванович был его молодым любимцем и генерал-адъютантом; оба они не избежали общей при нем участи, были отставлены и высланы из столицы<sup>41</sup>.

Седьмой и последний из кавалеров посольства был коллежский советник Павел Петрович Караулов, перед этим полковник Преображенского полка, высокий и красивый мужчина, но

<sup>41</sup> Братья известной приятельницы Павла I, Екатерины Ивановны Нелидовой (1757—1839), бывшей вместе с тем в дружественных отношениях с женой императора, Марией Федоровной. Опала постигла ее братьев после высылки Нелидовой из столицы за то, что она отговаривала Павла от его намерения сослать императрицу в Холмогоры, когда он взял себе в любовницы А. П. Лопухину.

отвратительный своею приторностью и жеманством. Полагая, вероятно, что этим тоном можно более нравиться старым и богатым женщинам, к коим не один раз нанимался он в любовники, сохранял он его по привычке и с мужчинами. Взыскательность этих барынь провела уже несколько морщин по лбу его, и вообще они, Васильчиков и Нелидов, почитались у нас стариками, потому что они были лет тридцати или без малого, а мы лет двадцати или около того.

Между нами, семью дворянами посольства, самый знатный был Николай Иванович (не знаю почему) Перовский, побочный сын графа Алексея Кирилловича Разумовского; так по крайней мере думал он и показывал то. У родителя его, как у Людовика XIV, были такие дети от разных не браков, а сожитий. Этот был от первого, но воспитывался не в родительском доме, а у тетки Наталии Кирилловны Загряжской, где с малолетства дышал он придворной атмосферой<sup>42</sup>. И надобно сказать правду, он имел все, что отличает русского аристократа: манеры большого света, совершенное знание французского языка, а во всем прочем большое невежество. Другие братья его, рожденные от последующих сожитий, так же, как и он, получили название свое от Перовой рощи под Москвою, принадлежащей их отцу, но, кажется, были им более любимы и перед старшим имели преимущество носить отческое его имя и называться Алексеевичами. Они получили тщательное воспитание людей среднего состояния, долженствующих пробиться службой и трудами. Он теперь почти ничто; они занимают первые места в государстве<sup>43</sup>. Незаконнорожденные дети находятся вообще в фальшивом положении: природа дает им права, в коих отказывают им законы; они стоят выше и ниже людей обыкновенных состояний, так сказать, вне общества; они не иначе как штурмом могут в нем брать свои места. В этом случае наш Перовский был истинный герой: грудью шел он вперед, продирался, затирал слабых, обходил сильных; дивились его дерзости, смеялись над нею, но не мешали ему; и он, равный всем высшим, преспокойно стал смотреть великим барином<sup>44</sup>.

Исключая сына сенатора Теплова, также ничем, кроме дурацкой спеси, непримечательного, да еще меня, Перовский никого из других товарищей своих не удостаивал разговорами.

Два рисовальщика, данные ему в помощь, Александров и Васильев, довольно хорошо знали свое дело, но были замечаемы тогда только, когда приносили и показывали свои рисунки. Никоторый из них не прославился после в живописи.

Главным медиком при посольстве был Реман, только что прибывший из Германии.

Штаб-лекарь Гарри, англичанин, взятый прямо с корабля и посаженный в посольскую коляску, был молод, красив, молчалив, гораздо серьезнее Ремана и так же, как он, не имел у нас случая показать свое искусство. После того служил он при дворе.

Уф, как я устал, но как же пропустить графа Ивана Потоцкого, просвещеннейшего и оригинальнейшего из поляков, который по случаю отправления нашего посольства был принят в русскую службу тайным советником? Он почти столько же, как и старший брат его, граф Северин Осипович, умел науке давать удивительную привлекательность и нас, невежд, заставлял приступать к ней не только без боязни, но и с особенным наслаждением. В исторических и других изысканиях своих был он упорно трудолюбив, как немец, а в заключениях, кои выводил он из своих открытий, легкомыслен, как поляк. Неутомимые его упражнения, беспрестанное напряжение умственных сил, вместе с игристой самого живого воображения, кажется, были несколько вредны для его рассудка. Говорят, что жемчужины не что иное, как накупь в морских раковинах, их болезнь: так точно и легкое повреждение рассудка у Потоцкого произвело прекрасные перлы, два французские романа. Немногие, кои читали их тогда, дивились их смелой новости; в них был виден и наблюдатель, и мечтатель, и изобретатель, и светский и ученый человек. Кажется, в них также можно видеть и тип нынешних романов; они, по крайней мере, могли бы служить им образцами: так все безобразные, отвратительные и ужасающие предметы в них скрашены искусством и пристойностью автора.

<sup>42</sup> Загряжская — в родстве с Н. Н. Гончаровой — женой Пушкина. Отсюда ее большое значение в личной жизни поэта.

<sup>43</sup> Василий Алексеевич и Лев Алексеевич Перовские были близки к тайным обществам, из которых образовался потом заговор декабристов, но легко отделались.

<sup>44</sup> Его внучка — Софья Львовна Перовская — главная устроительница покушения на Алексалра II, 1 марта 1881 года.



Странности его были заметны в самом наряде; он был в одно время и небрежен и чисто-лотен, совсем не заботился о покрое платья своего, но всегда был изысканно опрятен. Иногда по недосугам не имел он времени дать обрезать себе волосы, и они почти до плеч у него развевались, как вдруг, в минуту нетерпения, хватал он ножницы и сам стриг их у себя на голове и вкривь и вкось, после чего, разумеется, смешил всех своею прической. В отношении к Головкину вел он себя отменно прилично, не подавал ему ни малейшего повода к неудовольствию, зато и не баловал излишнею почтительностью. Всегда углубленный в науку, он заслонял себя ею от наших сплетен, хотя и жил посреди них. Он был немного кривобок, и правое плечо было у него выше левого; имел лицо бледное, черты довольно приятные, глаза голубые и, нет в том сомнения, точно помешанные.

Он уже несколько лет был женат на одной из двенадцати или пятнадцати дочерей графа Потоцкого же, Феликса, которого в переводе поляки называли Щенным, то есть Счастливым, вероятно, потому, что он весьма счастливо изменил старому своему отечеству; сыновья же сего Феликса, чтобы загладить его преступление, изменяли новому, а дочери изменяли только мужьям. Ту, которая была за нашим Яном Потоцким, звали Констанция, хотя она была непостоянна, как все польки, ни более, ни менее, и муж любил ее без памяти, хотя она была хромяя и хотя она его терпеть не могла, потому что почитала горбатым. Несколько лет спустя после нашего путешествия она бежала от него с каким-то родственником; но по крайней мере не хотела, подобно другим своим соотечественницам, вмешивать религию в дела распутства, не разводилась с ним и не выходила ни за кого замуж. В отчаянии о ее потере он зарезался бритвою.

Приготовления наши к отъезду были самые веселые и забавные. В нежном попечении о подчиненных, сам посол, разумеется, по-французски, сочинил для них длинную инструкцию, с которой до сих пор храню я копию и в которой предписывает он им разные средства к предохранению себя от великих бедствий, угрожающих им на ужасном пути, им предстоящем. Хотя бы порасспросил он немного сибиряков, чтобы не быть так смешным! Право, можно было подумать, что чрез Нубию и Абиссинию надлежит нам проникнуть во внутренность Африки. Сие творение мудрого его предвидения читали мы все и даже переписывали с благоговением.

Исключая военных, всем чинам посольства, какого бы ведомства они ни были, выпросил граф Головкин мундир иностранной коллегии, который тогда был очень прост: зеленый с белыми пуговицами и черным бархатным воротником и обшлагами. Он сделал более: он испросил дозволение украсить его богатым серебряным шитьем, которого он тогда еще не имел, и, вместо обыкновенных статских шпажек, носить нам форменные военные сабли, на черной лакированной, через плечо носимой перевязи, с вызолоченными бронзовыми двуглавым орлом и вензелем императора. В дополнение, вместо шляп, даны нам были зеленые фуражки, похожие и на кивер и на каску, также с прибавкой серебряного шитья. Как хотелось сим нарядом щегольнуть нам в Петербурге! Но, как театральный костюм, имели мы право надеть его только при выходе на сцену, то есть при выезде за заставу.

После отъезда моего из Петербурга несколько времени еще длилось в нем очарование, в котором близ пяти лет находилось вся земля русская и которое неоднократно усиливался я изобразить. Но уже приближался конец блаженного времени, того незабвенного пятилетия, которое не для меня одного быстро просияло, как один только веселый, ясный, праздничный день. Пока я странствовал среди отдаленнейших населений России, происходила в ней ощутительная перемена, и наступала вторая эпоха царствования Александра. Когда, после кратковременного отсутствия, водворился я в счастливое дотоле мое отечество, то многое в нем изменилось; поколебалась вера в его несокрушимость; надолго, может быть, навсегда нарушены взаимные любовь и доверенность царя и народа.

Тут, в Казани — по пути в Китай, началась для меня самая веселая жизнь в холостой губернаторской компании, так что я не имел никакой нужды ездить в те дома, куда Доврс возил меня знакомить и которые летом никогда или по крайней мере на короткое время расставались с городом. Примечательны были только два семейства, коим я был представлен и коих, в свою очередь, не излишним считаю представить здесь читателю.

Отставной сенатор, Федор Федорович Желтухин, жил тогда в Казани. При Екатерине был он вятским губернатором. Жителей сей губернии, почти всех казенных крестьян, управляющие оною, кажется, и поныне почитают своими собственными; видно, что г. Желтухин слишком сильно в том убедился, ибо его призвали к ответу в Петербург. Суд продолжался, медлил приговором, а покамест теснил обвиненного и все высосанное им мало-помалу из него выжимал. Наступило грозное царствование Павла, и Желтухин решился на отчаянное средство. Он явился в приемный день у генерал-прокурора с запечатанным огромным пакетом в руках. В коротких словах изобразил он унижение, в котором находится, унижение, которое терпит, и при всех просил тщательно рассмотреть заключенные в пакете бумаги, которые, по его уверению, послужат к совершенному его оправданию. Вельможа, которого благодарность не позволяет мне назвать, довольно рассеянно приказал секретарю принять пакет из рук его и отнести к себе в кабинет. Там наедине принялся он рассматривать документы и насчитал, говорят, до ста тысяч неоспоримых доказательств в его пользу; вытребовал дело, доложил императору, и через два дня Желтухин из подсудимого в Сенате пересел в судящие. Тут поспешил он вознаградить себя за понесенные убытки и сделал хорошо, ибо при Павле, как известно, даже на неподвижном месте сенатора никто долго усидеть не мог. Он был отставлен и выслан из столицы.

Сей почтенный человек был не любящ, не любезен и не любим. Жил он уединенно, посещали его немногие, но при встречах все оказывали ему те знаки уважения, в которых тогда летам и званию отказывать было не позволено. Когда Доврѣ привез меня к нему, он поблагодарил и его и меня. Брат его, Алексей Федорович, был городничим в Саранске и находился под начальством отца моего; это одно уже располагало его быть со мною ласковым, и дня два спустя прислал он звать меня обедать. Этого обеда я не забуду. Я не говорю о столе, который мог быть очень хорош или очень дурен, я не мог судить о том, ибо все, что у меня было перед глазами, отнимало у меня аппетит. Нас было только четверо: хозяин с женою и дочерью, да я четвертый. Никогда, ни прежде, ни после, не встречал я лиц, более выражающих злобу, как лица обоих супругов, Федора Федоровича и Анны Николаевны, урожденной Мельгуновой. Между тем привычная улыбка не покидала их уст, но в ней было что-то презрительное и злорадное (с такою улыбкою убивают врага), и она становилась нежнее, когда только взоры супругов, созданных друг для друга, встречались между собою. Разговор со мною хозяина был вежливый, совсем не глупый, но весьма обыкновенный; видно, что в приглашении меня последовал он только принятому обычаю. А я охотно бы избавил его от того. Худоба, бледность и вечный трепет слуг, глубокая печаль и страхи, изображенные на чертах замужней, разводной его дочери Каховской<sup>45</sup>, молчание ее и потупленные взоры, все мне показывало, что я нахожусь в царстве ужаса, как городская молва вслед затем мне подтвердила. Вставши от стола, я спешил вон, и, к счастью, меня не удерживали. Выходя из сего дома, мне пришла смешная мысль сравнивать себя с Даниилом, когда по милосердию Божию он исходил невредим из львиной ямы.

Другое семейство, с которым меня познакомили, также слыло не много добрее Желтухиных, но по крайней мере не посетители его могли на то жаловаться.

У Ивана Осиповича и Натальи Ипатьевны Юшковых [родня Л. Н. Толстого] было пять сыновей и столько же дочерей, от сорока лет до пятнадцати и ниже; и это было менее половины нарожденных ими детей; большую же половину они похоронили. Только у нас в России, и то в старину, смотрели без удивления на такое плодородие семейств, коим более принадлежит название рода или племени. Никуда так охотно не стекаются гости, как в те дома, где между хозяевами можно встретить оба пола и все возрасты. Вот почему дом Юшковых почитался и был действительно одним из самых веселых в Казани. Старшие сыновья, один недавно вышедший в отставку, а другой по болезни в отпуску, служили в Преображенском полку; двое из них находились тогда при родителях и помогали им принимать гостей.

<sup>45</sup> Сверх того у них еще четыре сына, из коих двое сделались известны. Старший, Сергей Федорович, был трус и глуп; другой, Петр Федорович, умен и храбр; но оба злы и жестоки. Оба кончили жизнь генерал-лейтенантами; последний умер председателем молдавского дивана во время последней турецкой войны 1828 г. — *Авт.*

Дважды пламя пожирало Казань после того, как я был в сем городе, и он, говорят, в новой красоте подымался из развалин. С тех пор как я его видел, должен был он перемениться, и, может быть, теперь я не узнал бы его. Но и тогда, по населению, по числу и прочности зданий, если не по красоте, мог он действительно почитаться третьим русским городом: ибо Рига немецкий, Вильно польский, а Одесса вавилонский город. Сначала ожидал и искал я в Казани азиатской физиономии, но везде передо мной подымались куполы с крестами, и только издали глаза мои открыли потом минареты. Казань, сколько могла, старалась рабски все перенимать у победительницы своей, Москвы; в шестнадцатом и семнадцатом столетиях Россия повелительно, а не всепокорно делала завоевания, как в восемнадцатом и девятнадцатом веках. Не знаю, почему госпожа Сталь называла Москву татарским Римом; гораздо справедливее и основательнее можно было назвать Казань татарскою Москвою: также Кремль, также древние соборы и храмы, в одном стиле и современные московским церквам, ибо новое зодчество началось у нас при обоих Иоаннах. Купцы, чиновнички и мелкие дворяне так же, как в Москве за Москвой-рекой и за Яузой, жили здесь за Казанкой и за Булаком. Сплошное каменное строение было при мне только по Большой улице и вокруг так называемого Черного озера; тут были все публичные здания, торговля и жило лучшее дворянство; в других кварталах каменное строение мешалось с деревянным.

На самых окраинах города поселены были первобытные жители Казани, побежденное племя татарское. Там только мог я часто их встречать. Я заходил в их мечети и безвозбранно смотрел на их моление. Я любил их смелый, откровенный взгляд, их доверчивый характер; одной храбрости русских они бы не уступили, но хитрость и соединенные силы их задавили. Примечательно, что хотя они народ торговый, а никто из них не богатеет, подобно русским купцам, которые в глазах их делаются миллионерами; стало быть, и в оборотливости наши их превзошли. Из их древностей видел я только в крепости какие-то переходы, бывшие при царице Сумбеке и носящие ее имя. В окрестностях Казани посетил я один только весьма не замечательный Хижицкий монастырь, место погребения богатых людей, куда ежегодно бывает крестный ход из собора.

Внутренность виденных мною домов богатством и обширностью мало разнствовала от пензенских; только я заметил, что бумажные обои продолжали здесь быть в употреблении, когда в Москве и даже Пензе они совсем были брошены. Один только губернаторский казенный дом, не знаю у кого купленный, великолепием превосходил другие; к украшению его много послужила китайская торговля. Большая гостиная была обита шелковою материей, по которой в китайском вкусе очень пестро разрисованы были цветы и листья; в диванной стены были настоящие китайские, разноцветные, лакированные, и на них были выпуклые фигуры как будто из финифти.

Был также в Казани и театр, преобладающий, деревянный, посреди одной из ее площадей; но летом на нем не играли. Содержатель его, Петр Васильевич Есипов, был один из тех русских дворян, ушибленных театром, которые им же потом лечились. Он жил тогда в деревне, я думаю, единственной, ему оставшейся, верстах в сорока от Казани, и с самого приезда моего слышал я все о замышляемом на него набеге губернатора с своим обществом: в сем предприятии должен был я участвовать. Почти перед самым концом пребывания моего в Казани собрались наконец на сию партию удовольствия, как говорят французы. Предупрежденный о нашем нашествии хозяин ожидал нас твердою ногой. Как эта поездка была для меня единственную в своем роде, то нет возможности не порассказать об ней.

Нас восемь человек отправилось в линейке, в том числе губернатор и Бестужев. Это было в шесть часов вечера; многие другие, в разных экипажах, пустились еще с утра. Мы ехали не шибко, переменили лошадей и переправлялись через Волгу, а между тем не видели, как проехали более сорока верст; всю дорогу смеялись, а чему? Как говорит наш простой народ, своему смеху. Генерал Бестужев, развеселясь, также хотел нас потешить; он не умел петь, но прекрасно насвистывал, даже с вариациями, все известные песни. Часу в двенадцатом могли

мы только приехать, но дом горел, как в огне, и хозяин встретил нас на крыльце с музыкой и пением. Через полчаса мы были за ужином.

Господин Есипов был рано состарившийся холостяк, добрый и пустой человек, который никакого понятия не имел о порядке, не умел ни в чем себе отказывать и чувственным наслаждениям своим не знал ни меры, ни границ. Он нас употчевал по-своему. Я знал, что дамы его не посещают, и крайне удивился, увидев с дюжину довольно нарядных женщин, которые что-то больно почтительно обошлись с губернатором: все это были Фени, Матреша, Ариши, крепостные актрисы есиповской труппы. Я еще более изумился, когда они пошли с нами к столу и когда, в противность тогдашнего обычая, чтобы женщины садились все на одной стороне, они разместились между нами, так что я очутился промеж двух красавиц. Я очень проголодался; стол был заставлен блюдами и обставлен бутылками; вне себя я думал, что всякого рода удовольствия ожидают меня. Как жестоко был я обманут! Первый кусок, который хотел я пропустить, остановился у меня в горле. Я думал голод утолить питьем: еще хуже. Не было хозяев; следственно, к счастью, некому было заставлять меня есть; зато гости и гостьи приневоливали пить. Не знаю, какое название можно было дать этим ужасным напиткам, этим отравленным помоям. Это какое-то смешение водок, вин, настоек с примесью, кажется, пива, и все это подслащенное медом, подкрашенное сандалом. Этого мало, настойчивые приглашения сопровождались горячими лобзаниями дев с припевами: «Обнимай сосед соседа, поцелуй сосед соседа, подливай сосед соседу». Я пил, и мне был девятнадцатый год от роду; можно себе представить, в каком расположении духа я находился! На другом конце стола сидели, можно ли поверить? актеры и музыканты Есипова, то есть слуги его, которые сменялись, вставали из-за стола, служили нам и потом опять за него садились. В Шотландии, говорят, существовал обычай, чтобы господа и служители одного клана садились за один стол; в этом можно видеть нечто патриархальное, а тут какая была патриархальность!

Сатурналии, вакханалии сии продолжались гораздо далеко за полночь. Когда кончился ужин, я с любопытством ожидал, какому новому обряду нас подвергнут. Самому простому: исключая губернатора и Бестужева, которым отвели особые комнаты, проводили нас всех в просторную горницу, род пустой залы, и пожелали нам доброй ночи. На полу лежали тюфячки, подушки и шерстяные одеяла, отнятые на время у актеров и актрис. Я нагнул, чтобы взглянуть на подлежащую мне простыню, и вздрогнул от ее пестроты. Спутники мои, вероятно, зная наперед обычай сего дома, спокойно стали раздеваться и весело бросились на поганные свои ложа.

Нечего было делать, я должен был последовать их примеру. Разгоряченный вином или тем, что называли сим именем, разъяренный поцелуями, я млел, я кипел. Жар крови моей и воображения, может быть, наконец бы утих, если бы темнота и молчание водворились вокруг меня; самый отвратительный запах коровьего тухлого масла, коим напитано было мое изголовье, не помешал бы мне успокоиться; но при свете сальных свеч каляканье, дурацкий наш дорожный разговор возобновился, и другие, приехавшие прежде нас, подливали в него новый вздор. Не один раз подымал я не грозный, но молящий голос; полупьяные смеялись надо мной, не столь учтиво, как справедливо, называя меня неженкой. Один за другим начали засыпать; но когда последние два болтуна умолкли, занялась заря, которая беспрепятственно вливалась в наши окошки без занавесок. Между тем сверху мухи и комары, снизу клопы и блохи, все колючие насекомые объявили мне жестокую войну. Ни на минуту не сомкнув очей, истерзанный, я встал, кое-как оделся и побрел в сад, чтоб освежиться утренним воздухом. Так кончилась для меня сия адская ночь.

Начали советоваться (после заявления Вигеля, что он не хочет оставаться у Есипова), как бы утешить меня и успокоить на следующую ночь. Мансурову необходимо было спать одному: он имел на то свои причины (все губернаторы, бывшие и настоящие, пользуются некоторыми господскими правами); Бестужев, хотя и генерал, их не имел; положено было поставить мне кровать в его комнате и даже занавеской оградить меня от света и насекомых. За обедом я ел, как француз на обратном походе в 1812 году; он был шумен, весел, но более пристроен, чем ужин, ибо драматических артистов с нами не было: все они наряджались и го-

товились тотчас после обеда потешить нас оперой «Коза рара, или Редкая вещь». Играли и пели они, как все тогдашние провинциальные актеры, не хуже, не лучше. Наученный опытом, я был осторожен за ужином, надежда меня более не оживляла, я отворачивался от поцелуев, не слушал припевов, и, oprичь кваса, ничего не хотел пить. После спокойной ночи, проведенной с почтенным Бестужевым, я встал, и мы в той же линейке, но другою дорогою отправились обратно в Казань. Ну, господин Есипов! На том свете да отпустятся тебе твои прегрешения, а здесь ты был хуже Буянова и опаснее «Опасного соседа» [поэма В. Л. Пушкина, изобилующая эротическими подробностями].

Отделения посольства через три-четыре дня следовали одно за другим, останавливаясь в Казани для починки и отдыха, так что иногда одно настигало другое и гнало вперед, ибо для каждого потребно было не менее сорока лошадей.

13 июля, после позднего прощального обеда у Мансурова, решились оставить Казань. У меня были еще кое-какие дела, и я выехал несколько позже, но догнал их на первой станции, где мы и ночевали.

Здесь начинаешь как будто прощаться с матушкой-Россией и близиться к огромной ее дочери, Сибири.

Мы ехали дремучими лесами, почти того не примечая; просека была сажен во сто ширины, и вечно подле тени, мы никогда не знали ее: а жар был летне-северный, то есть нестерпимый. Потому-то решились мы ехать только ночью, а днем отдыхать; станционные же избы представляли к тому большие удобства, ибо простором своим они бы в маленьких городах могли называться домами. Лесу было вдоволь, щадить его было нечего, и строение сих изб стоило недорого.

Во время отдыха на одной из сих станций мы с удивлением увидели вошедшего к нам офицера в Преображенском мундире. Это был граф Федор Иванович Толстой, доселе столь известный под именем Американца. Он делал путешествие вокруг света с Крузенштерном и Резановым, со всеми перессорился, всех перессорил, как опасный человек, был высажен на берег в Камчатке и сухим путем возвращался в Петербург. Чего про него не рассказывали! Будто бы в отрочестве имел он страсть ловить крыс и лягушек, перочинным ножиком разрезывать их брюхо и по целым часам тешиться их смертельною мукою; будто бы во время мореплавания, когда только начинали чувствовать некоторый недостаток в пище, любезную ему обезьяну женского пола он застрелил, изжарил и съел; одним словом, не было лютого зверя, с коего неустрашимостью и кровожадностью не сравнивали бы его наклонностей. Действительно, он поразил нас своею наружностью. Природа на голове его круто завила густые, черные его волосы; глаза его, вероятно, от жара и пыли покрасневшие, нам показались налитыми кровью, почти же меланхолический его взгляд и самый тихий говор его настрашенным моим товарищам казался омутом. Я же, не понимаю как, не почувствовал ни малейшего страха, а, напротив, сильное к нему влечение. Он пробыл с нами недолго, говорил все обыкновенное, но самую речь вел так умно, что мне внутренно было жаль, зачем он от нас, а не с нами едет. Может быть, он сие заметил, потому что со мною был ласковее, чем с другими, и на дорогу подарил мне сткляницу смородинного сиропа, уверяя, что, приближаясь к более обитаемым местам, он в ней нужды не имеет. Столь примечательное лицо заслуживает, чтобы на нем остановиться<sup>46</sup>.

<sup>46</sup> Граф Федор Иванович Толстой, прозванный Американцем ввиду его пребывания на Алеутских островах и в российско-американских колониях, был в дружеских отношениях со всеми писателями своего времени, не пощадивших его, однако, в своих стихотворениях. Грибоедов писал о нем в «Горе от ума»: «Ночной разбойник, дуэлист. В Камчатку сослан был, вернулся алеутом, И крепко на руку нечист. Да, умный человек, не может быть не плутом». Пушкин посвятил ему (1820 г.) следующую эпиграмму: «В жизни мрачной и презренной Был он долго погружен, Долго все концы вселенной Осквернял развратом он, — Но, исправляясь понемногу, Он загладил свой позор. И теперь он, слава Богу, — Только что картежный вор». А через год в послании к Чаадаеву говорил о Толстом: «Что нужды было мне в торжественном суде... философа, который в прежни лета развратом изумил четыре части света». Вместе с тем все знавшие Ф. И. Толстого считали его очень интересным и любопытным человеком. Хорошо охарактеризовал Ф. И. Толстого, в послании к нему, умный и наблюдательный П. А. Вяземский, сказав про него: «Под бурей рока — твердый камень, В волненьи страсти — легкий лист». Пушкин в 1826 году едва не дрался с Толстым на дуэли, общие друзья примирили их, и через четыре года поэт даже избрал Толстого своим посредником при сватовстве к Н. Н. Гончаровой. Л. Н. Толстой очень интересовался своим шумным сородичем и говорил, что это «необыкновенный, преступный и привлекательный человек». — *Авт.*

Скоро вступили мы в переднюю Сибирь, в Пермскую губернию; тут опять появились русские селения. Мы нашли один только труп городишка Оханска, который за месяц до нашего приезда весь выгорел; на крутом берегу Камы высоко и одиноко торчал еще дом, занимаемый приказчиком Злобина, содержателя питейного откупа во всей губернии. Он угостил нас по-злобински, пока через реку переправляли наши повозки. Славное вино развеселило сердца наши, и радость в нас умножилась, когда в сопровождении сего приказчика, на двенадцативесельном его катере, оглашенные песнями его гребцов, мы стрелой полетели через широкою Каму. Долг благодарности заставил нас вспомнить о Юшковых, о Гоньбе и о реке Вятке. Но что она в сравнении с Камой, с этим образчиком рек зауральских! Всем она взяла, сия величественная Кама, и шириной, и глубиной, и быстротой, и я не могу понять, почему полагают, что она в Волгу, а не Волга в нее впадает.

Ночью, часу во втором, приехали мы в губернский город Пермь и достучались у городничего до указания нам квартиры. Въехав в Пермь, особенно при темноте, некоторое время почитали мы себя в поле: не было тогда города, где бы улицы были шире и дома ниже. Это не было царство, как Казань и Астрахань, не княжеский удельный город, даже не слобода, которая, распространяясь, заставила посадить в себя сперва воеводу; это было пустое место, которому лет за двадцать перед тем велено быть губернским городом, и оно послушалось, но только медленно. Торговля есть первое условие существования новых городов; и здесь, хотя слабо, но она одна его поддерживала. Десяток каменных двухэтажных купеческих домов красовались уже в стороне на берегу Камы, тогда как главный въезд и главные улицы находились в том виде, в котором ночью не столько узрели мы, как угадали их. Утром мы еще более изумились пустоте города Перми: только одна узкая дорога посреди улицы была наезжена; все остальное обратилось в тучные луга, на которых паслись сотни гусей.

Приехавший прежде нас и зажившийся за починками казначей посольства Осипов напугал нас рассказом о начальнике губернии, которого представил сущим медведем. Это был Карл Федорович Модерах, сын одного учителя математики в кадетском корпусе, как я слышал от отца моего. Верно, сын хорошо учился у отца, ибо в свое время почитался у нас одним из лучших инженеров; по его проекту и под его наблюдением берега Фонтанки выложены были гранитом. Года за два до смерти Екатерины назначен он был губернатором в Пермь и с тех пор никогда не выезжал из своей губернии; мысль о благе вверенного ему края так овладела им, что он день отлучки почитал вредным для него. Модерах был честен, добр, умен и сведущ в делах; но как все великими трудами приобретенное ценится более, чем даровое, то и генерал-губернаторство свое, кажется, ставил он наравне с владетельным герцогством.

С самого въезда в Пермскую губернию ощутительна в ней становилась рука Модераха: он устроил в ней такие дороги, с которыми можно было бы обойтись без шоссе. К несчастью, да, точно можно сказать, к несчастью, через несколько лет проведали о том в Петербурге и, видя, с какими малыми средствами и как успешно произведены сии работы, вздумали им подражать. Забыли только, что Модерах делал все исподволь, год за годом, со знанием инженера и с бережливостью немца. В великороссийских же наших губерниях, где всему велят кипеть, построение новых дорог перепортило, истребило только старые, разорило жителей, обогатило надсмотрщиков и губернаторам доставило награды.

В пятидесяти верстах от Кунгура начинается неприметно постепенное возвышение Уральского хребта, и тут ступаешь на землю, чреватую металлическими богатствами. Тут, недалеко в стороне от большой дороги, верстах в двух, находится железный Суксунский завод, принадлежавший Николаю Никитичу Демидову. О его роскоши и о скупости вместе гласят Россия, Франция и Италия; но знает ли кто, слышал ли кто о беспримерном гостеприимстве, заведенном им на Суксунском заводе? Всякий проезжий, какого бы звания он ни был, в одиночку или с обозом, казенным или собственным, имеет право на сем заводе остановиться и требовать, чтобы в экипажах или повозках его починки, как бы велики ни были, сделаны были даром. Сего мало: во все время, что продолжается сия починка, имеет он, также даром, квартиру со столом, а в зимнее время с отоплением и с освещением.

Управитель Пермьяков, простой крестьянин с бородою, которого по всей справедливости можно было назвать господином Пермьяковым (так он был умен и учтив), явился к нам, как сказал он, за приказаниями и с просьбою посетить его жилище. Оно было в каменном доме о двух этажах, с преобладающим садом над преобладающим прудом; полы лоснились чистотою; главным украшением просто выбеленных комнат были картины, довольно искусно писанные на жести; все они были произведения мастеров другого дальнего демидовского завода, называемого Тагильским. От скуки ходили мы бродить по окрестностям и находили места живописные; когда бы не климат, тут можно бы было век остаться. Производства работ на заводе мы не могли видеть, ибо рабочие летом трудятся в поле.

Если б я был одарен живым воображением нынешних французских писателей, то какими прелестными выдумками мог бы украсить свой рассказ; хочется, да не могу, как-то совестно: хотя я и путешествовал, а все лгать не выучился. Вот-таки, например, недавно появился роман г. Александра Дюма под названием «Учитель фехтования». У меня волосы становились дыбом, когда я читал о всех лишениях и мучениях, претерпленных бедным мусью на пути из Казани в Тобольск; а между тем, лет за тридцать прежде описываемого им, по тем же самым местам преспокойно проехал я взад и вперед, находя везде селения, просторные, чистые, теплые избы, в которых днем сытно ел, а ночью сладко спал. Если б имел случай встретиться с сочинителем, то, со всем уважением к его великому таланту, позволил бы себе сказать ему: «Послушайте, г. Александр Дюма, не будьте правдивы, это всякому французу дозволено; но по крайней мере будьте сколько-нибудь правдоподобны. Ведь все ныне смеются над вашим же соотечественником Левальяном, который никогда не бывал во внутренности Африки, хотя вместо дичи и настрелял там множество тигров и гиен. Вы также всех волков и медведей из всей России загнали навстречу вашему учителю; вы из них составили целые полчища и на необитаемой, беспредельной снежной равнине, при сорока градусах мороза и при свете северного сияния заставляете его с ними сражаться. Несчастный, если он и победил, то как он не умер или не сошел с ума! Нет, г. Дюма, вы слишком бесчеловечны! Что делать! У французов так уже ведется: между ними есть некоторые условные истины, которым они верят более, чем настоящим.

Надобно сказать правду, что места, чрез кои мы проезжали, совсем не были привлекательны красотою, что в избах тараканы хозяйничали и жили в совершенном согласии с людьми и, наконец, что все это было лишь приготовлением к величайшим неприятностям путешествия и к воззрению на настоящее безобразие природы. Мы приближались к Барабинской степи.

Менее суток проехали мы вместе с нашими товарищами; наша медленность, тяжесть наших фур, дурная привычка каждый день ночевать им не понравились, и они нас кинули. Однако же, на беду одного из них, решились они переночевать в одной деревне, на берегу широкой реки, которой имя не вспомню: их было так много. Гурьев не согласился, оставил коляску свою Бенкендорфу, а сам с одним слугой, переправясь через реку, поскакал в перекладной телеге, чтобы первому явиться к послу в Иркутске, месту общего нашего сборища. Оставшиеся еще не спали, когда услышали несколько глухо до них дошедших выстрелов и думали, что он впопыхах изволит тешиться; каково было их удивление, когда поутру на следующей станции нашли они его истерзанного, почти помешанного. Вот что случилось с ним. Едва успел он отъехать три версты от переправы, как некто стоявший посреди дороги, им в темноте не замеченный, схватил лошадей его и остановил их. Гурьев, полагая, что он имеет дело с одним человеком, не трусил, выстрелил в него и не попал; в ту же минуту сам услышал несколько выстрелов и увидел себя спереди, сзади и с боков окруженным вооруженными людьми, выскочившими из леса. Соппротивление было невозможно; они обезоружили его, связали как его, так и слугу и ямщика и всех троих вместе с лошадьми и телегой поволокли в глубину леса. Там отыскали они знакомую им поляну, остановились на ней, завязали глаза трем пленникам своим, а их самих, стоямя, руками назад, привязали к деревьям; потом разложили огонь, открыли чемодан и стали в нем копать.

Обыск, вероятно, не отвечал их ожиданиям, ибо они начали с досадою говорить о сделанной ими ошибке. Из слов их видно было, что они поджидали какого-то купеческого приказчика с десятками тысяч рублей, и что же нашли? немного платья, немного белья, вышитый мундир, который мог быть для них уликой, и денег только что на прогоны. Пошли между ними совещания, от коих бедного Гурьева по коже подирало; мнения были несогласны: одни требовали, чтобы людей зарезать, а лошадей и пожитки увезти; другие, более склонные к милосердию, полагали, что надлежит довольствоваться малою наживой, захваченных же ими следует выпроводить на большую дорогу, взяв с них наперед клятвенное обещание, что, во мзду даруемой им жизни, они никому не будут говорить о том, что с ними происходило. Спорили долго, наконец остановились на мысли одного разбойничьего доктринера, чтобы взять деньги и золотые часы, а пленников, не убивая и не отвязывая, предоставить произволу судьбы. Приговор исполнен, они удалились.

Я не люблю Гурьева, но и до сих пор не могу вспомнить без сострадания об ужасе его положения. Подобно мне, и еще более беззащитен, мог он ожидать нападения хищных зверей. Занялась заря и поднялись насекомые, сибирские страшные насекомые, и начали покрывать язвами все открытые части его тела. Среди этой пытки в беспамятстве рвался и метался он, и оттого веревки, коими он был прикреплен, вытягивались, оставили некоторую свободу его рукам; он воспользовался тем, вооружился терпением и наконец высвободил как себя, так и сомучимых своих. Лошади, телега, чемодан, все тут было, и даже один забытый разбойниками предмет, который он не оставил взять с собою: длинный нож с примечательною рукоятью. Не без труда выбрался он на дорогу и приехал на станцию почти вместе с товарищами своими, которые эту ночь весьма спокойно проспали.

По представленному Гурьевым ножу виновные были потом отысканы. В близости от сей дороги существовала казенная суконная фабрика, основанная при князе Потемкине, когда сей необыкновенный человек мечтал между прочим и о завоевании Китая; туда из России ссылались на вечную работу люди, пойманные в разбое; за ними был плохой присмотр, и некоторые из них, шатаясь, по старой привычке брались за прежнее ремесло.

На свежие, на горячие следы приехали мы на станцию, через несколько часов после происшествия, о котором с великими подробностями рассказал нам станционный смотритель.

Следующую ночь, разумеется, остановились мы, хотя находились близко от Иркутска. Сия ночь была последняя, которую провел я в обществе моих, скажу, милых спутников, всегда снисходительных, всегда веселых. Во время продолжительного пути кто не ссорится? А мы два месяца на большой дороге жили душа в душу.

Хотя мы и были в Сибири, но все-таки на самом юге ее, под 52-м градусом северной широты, и оттого-то сентябрь совсем не сентябрем смотрел на нас: погода стояла прекрасная, такая, как в Петербурге иногда бывает она невзначай среди августа. В день Рождества Богородицы, 8 числа, остановились мы в виду Иркутска. Потом начали мы переправляться через широкую Ашару, реку-поток, с яростию вырвавшуюся из Байкала; быстрее и прозрачнее ее, кажется, нет реки в мире: на глубоком дне ее видны все песчинки. Долго продолжалась церемония нашей переправы, ибо далеко надобно было подыматься против течения, чтоб оттуда стрелой спуститься к пристани. Весь Иркутск, на ровном месте, вытянут по Ангаре.

Между иркутскими купцами, ведущими обширную торговлю с Китаем, были миллионщики, Мыльниковы, Сибиряковы и другие; но все они оставались верны старинным русским, отцовским и дедовским обычаям: в каменных домах большие комнаты содержали в совершенной чистоте, и для того никогда в них не ходили, ежились в двух-трех чуланах, спали на сундуках, в коих прятали свое золото, и при невероятной, даже смешной дешевизне ели с семьею одну солянку, запивали ее квасом или пивом.

Совсем не таков был купчик, к которому судьба привела меня на квартиру. Алексей Иванов Полевой, родом из Курска, лет сорока с небольшим, был весьма не богат, но весьма гароват, словоохотен и любознателен. Жена у него красавица, хотя уже дочь выдана замуж; он



держал ее назаперти, и мы, кажется, друг другу очень понравились. Он гордился не столько ею самою, как ее рождением: у них был девятилетний сынишка Николай, нежненький, бленький, худенький мальчик, который влюблен был в грамоту и бредил стихами. С худой ли, с хорошей ли стороны он теперь известен всей России [Н. А. Полевой]. Я всякий день ходил обедать к послу и только вечером знал хлебосольство моих хозяев. Можно было подумать, что они хотят меня окормить. Насытись от французского обеда, я за ужином без пощады опоражнивал русские блюда; не знаю, кого из супругов мне благодарить или бранить за сие пресыщение. Я думаю, однако же, скорее жену.

О прибытии своем в Иркутск граф Головкин, через нарочно посланного курьера на границу, уведомил китайское правительство; вместе с тем сообщил он ему подробный список о всех находившихся при нем чиновниках и служителях. На послание свое не замедлил он получить ответ, в коем правительство сие, всегда склонное к подозрениям, непременно требовало от него уменьшения свиты. Желая показать снисходительность, граф послал новый список с значительною убавкою его сопровождающих.

Только что выедешь из Иркутска, начинаются чрезвычайно высокие горы, покрытые лесом, по обеим сторонам Ангары. У подошвы сих гор, по берегу сей быстрой реки, в несколько часов проехав шестьдесят верст, увидел я Байкал, из которого она вытекает. Далее, направо и налево, те же самые горы, все более и более воздымаясь, идут на несколько сот верст вокруг всего этого чудного озера, прозванного в сем краю сердитым и святым морем. Они обхватывают его на всем его протяжении и образуют как бы продолговатую чашу, на дне которой колыхаются его воды.

Неподалеку от города Селенгинска обогнал меня секретарь посольства граф Ламберт и довольно повелительно сказал мне, чтоб я более торопился. Меня это удивило: я не знал, что Головкин послал его вместо себя на границу принять начальство над всеми отправленными туда чиновниками. Не менее того стал я спешить, и как от Селенгинска оставалось мне всего езды 90 верст, то я переменял в нем только лошадей и на рассвете 29 сентября приехал в Кяхту.

Между тем проходили дни и недели, и ничто не предвещало нашего скорого отъезда. Чрезвычайная медленность в ответах китайского правительства последовала за первою его поспешностию; придирки, неуместные требования умножились, и время длилось в переписке. Главным препятствием к сближению была все-таки многочисленность свиты; более всего пугали китайцев сорок драгун с капитаном и двадцать казаков с сотником, данных послу в виде телохранителей. Они рассуждали, зачем воины в мирной и союзной земле? Они могли бы прибавить, что в случае неприятных поступков такая горсточка была бы слабою защитой; Головкин же уверял, что сии воины неотъемлемая принадлежность его достоинства и на этом пункте стоял твердо. Во всем прочем был он уступчивее; например, на двух чиновников оставил он по одному служителю, их же самих в новый список внес под названием служителей. Такой обман мог легко открыться и навлечь ему неприятностей; не лучше ли бы было, без малейших для себя унижения и опасности, наполовину уменьшить свое войско?

Были еще другие, посторонние причины, действовавшие на нерешительность и сварливость китайцев. В начале весны умер благонамеренный иезуитский генерал патер Грубер, великий помощник наш в сем деле; узнав о сей смерти, агенты его к нам охладели. Мы любим похвастаться, поугатать, и чужестранные газеты давно уже говорили о великих приготовлениях наших и каком-то замысле на Китай; добрые же наши союзники, англичане, не оставив того без внимания, имели время предупредить нас и встретить своими происками. Коварное это правительство, которое завистливыми очами глядит на все концы мира, в мыслях тайно пожирает китайскую торговлю и кончит тем, что у нас на носу ею овладеют. Все, что происходило, скрывалось от нас в глубокой тайне; у нас всегда нехотели секретничать. Но что было жестоко и несправедливо, это требование, чтобы мы не показывали нетерпения; изъявление скуки, малейшее любопытство в сем случае ставились нам в величайшую вину. Люди прибе-

жали к дверям, которых не открывают и не соглашаются им отпереть, и стой они как истуканы у них! Не знаю, право, за кого Головкин принимал своих подчиненных. Всех более или менее спасала беспечность. Стараясь сохранить всю важность государственного достоинства своего, посол, до окончания переговоров, ни себе, ни нам не позволял видеть китайцев; для того нам воспрещено было ездить в торговую Кяхту, а их не пускали в Троицкосавск.

Письма и газеты из Петербурга приходили к нам исправно; только новости никогда не были свежи, потому что почта ходила оттуда полтора месяца, иногда и долее. Узнали мы, что государь отправился к армии, и все тому обрадовались. Со смерти Петра Великого, около ста лет, ратное поле не видело русского царя; опасаться же за него нам и в голову не приходило: возможно ли, чтобы прекрасный представитель великой России не был храним самим Богом?

В последних числах ноября, не знаю, по какому случаю или по какой причине, Байков верхом поскакал в Ургу, расстоянием 350 верст от Кяхты. Это не город, а главное кочевье в Кобийской или Монгольской степи и местопребывание двух первостатейных мандаринов, вана и амбана, наместника и вице-наместника ханских; до этого места, не далее, ездят обыкновенно посланцы нашего губернского иркутского начальства. Он, кажется, возил ультиматум Головкина и, не дождавшись ответа из Пекина, через неделю воротился.

Около половины декабря дзргучей или комендант маймачинский потребовал аудиенции у посла, и мы в первый раз увидели китайцев. Он явился с приятным известием, что молодой родственник императора, Бейс, с многочисленной свитой уже на пути из Пекина, чтобы встретить и проводить туда наше посольство. Затем снято запрещение ездить нам в торговую Кяхту и в Маймачин, и я не из последних сим дозволением воспользовался.

Маймачин — единственный китайский городок, который я видел, и потому не лишним считаю сказать о нем здесь несколько слов. Он построен правильным четверугольником и весь обнесен превысоким забором; разбитой, как регулярный сад, и самые улицы его могут почитаться узкими аллеями; строение на них совершенно одинаковой вышины, низкое, сплошное, без малейшего разрыва и единого окна. Такою улицей идешь, как коридором, между двух стен, вымазанных сероватою глиной, невыкрашенных и небеленых; справа и слева дома различаются только всегда закрытыми отверстиями, раскрашенными воротами со столбиками и пестрыми над ними навесами. На каждом перекрестке есть крытое место с четырьмя воротами, так что всякая улица может запираться, как дом; над крытым же местом всегда возвышается деревянная башня, в два или три яруса, расцвеченная, с драконами, колокольчиками, бубенчиками, какие вы видели на картинках или в садах. Это давало Маймачину довольно красивый вид, особливо в сравнении с двумя Кяхтами, большою и малою; но беда, если пожар: ничто не уцелеет! Во внутренности дворов, вокруг всей стены, идет открытая, наружная галерея на столбиках, служащая соединением жилых покоев с амбарами и конюшнями; как все окна выходят на галерею сию, то можно посудить о темноте, которая бывает в комнатах. На другом конце города пустили меня в китайскую божницу, посвященную богу брани; он находится в особенном месте или приделе и стоя держит за узду бешеного коня. В главном же храме видел я колоссального Конфуция, богато разодетого, высоко на фоне сидящего, и массивную, пудов в двадцать, железную полированную лампаду, день и ночь перед ним горящую.

Лишь только посол узнал о прибытии Бейса в Маймачин, призвал меня и с видом сердечного сожаления объявил о необходимости расстаться со мною. Вместо ответа я только поклонился и вышел: ни просить, ни жаловаться, ни благодарить, кажется, было нечего. Исключая двух Шубертов, отца и сына, да меня, еще четыре человека были пожертвованы необходимости, как говорил Головкин: кавалер посольства Васильчиков, профессор Клапрот, Корнеев и Клемент. С двумя последними не сочли нужным много церемониться, а в прочих был замечен, не знаю, какой-то дух непокорности. Не говорю о себе; но отослать двух самых ученых профессоров, чтоб взять с собою лишних два-три драгуна, кому бы не показалось безрассудно?

Когда П. Д. Вонифатьев [начальник таможи в Кяхте] узнал о моей выключке, то, встретясь со мною на улице, бросился обнимать. Он нашел какой-то предлог и прежней холодной со

мною суровости, и внезапной своей приязни, затащил к себе, стал потчевать и расточать грубые свои ласки. Как знаток, предложил он дешево купить некоторые китайские безделицы и достал их почти даром, наконец прислал мне на дорогу огромный ящик чаю. О Головкине пока ни слова; но, видя меня раз довольно печальным, потихоньку сказал он мне: «Не горюй, брат; поверь мне, не бывать им далее Урги; месяца полтора попляшут на морозе, а что увидят? Почти то же, что здесь». Мне стало гадко, а не менее того он утешил меня своими словами.

Сначала Бейс у посла имел публичную аудиенцию, на которой мы все присутствовали, потом другую, приватную. Головкин, стараясь приноровиться к восточной напыщенности речей, через переводчика так и сыпал гиперболами, на кои Бейс отвечал тихо и скромно; а между тем Байков в углу со смехом ругал китайцев непотребными словами, не замечая, что в свите Бейса находились маймачинцы, очень хорошо понимающие русский язык и любимые народные поговорки. Китайский принц совсем не похож был на китайца, худощав, смугл, с правильными чертами, черными глазами и усиками, с нежным и приятным голосом; он всем понравился. Наряд китайцев невольно смешил нас: курioзно было видеть мужчин в кофтах с юбками. Всего страннее показался мне экипаж, в котором привезли Бейса: это были употребляемые в Европе носилки (*porte chaise*), на двух колесах с оглоблями.

Забавны были также и воины китайские, азиатские амуры, с луком и колчаном за спиной, со стеклянною шишкой на шапке и с прикрепленным к ней павлиньим пером. Я видел, как сии герои, обступив наших драгун, сидящих на коне, смотрели на них с ужасом: правда, народ был подобран все рослый, усастый, лошади под ними были как слоны, и каски на них в аршин вышиною; но все-таки солдаты другой азиатской нации, при виде их, умели бы скрыть свой страх.

И в Петербурге смеялись над ними, когда, возвратясь, говорили мы о войне с Китаем, как о деле не только сбыточном, но и весьма не затруднительном в исполнении. У тех, кои по крайней мере брали труд оспаривать нас, вечным аргументом была степь. Конечно, она имеет до восьми сот верст ширины; но эта степь вся заселена кочующими монголами не слишком преданными китайско-маньчжурскому племени, с которым не принадлежат даже к одной вере; но эту степь везде пересекают речки и роци, везде есть топливо и вода. Для продовольствия десятки степных кораблей, верблюдов, могут заменить тысячи подъемных лошадей; а их целые сотни можно разом купить на границе. Главное же то, что пред тридцатью тысячами русского войска не устоит полмиллиона китайцев: кажется, это ясно. У нас и без того слишком много владений, продолжают спорщики; да кто говорит о завоевании Китая, о присоединении его к России? Но когда судьба или, лучше сказать, само провидение нас с завязанными глазами подвело почти к каменной стене, как не внять его гласу? Как не стать на Амуре и, вооружив берега его твердынями, как не предписывать законов гордому Китаю, дабы для подданных извлечь из того неисчислимыя выгоды? Как не взять его в опеку и не защитить от вторжений других европейских народов? Как на устье Амура, где так много удобных пристаней, не сделать нового порта и не заменить им несчастные Охотскую и Авачинскую гавани? Это во сто раз было бы полезнее, чем наши глупые американские владения, все эти Курильские и Алеутские острова. Наконец, как оставлять в запустении великое, плодородное пространство земли и не открыть его на севере Сибири прозябающим племенам — якутам, тунгусам, корякам, чтоб из животных превратить их в людей? Глас Божий — глас народа; в Иркутске, Нерчинске и за Байкалом нету жителя, который бы не говорил о Даурии, как о потерянном рае; эти бедные люди не могут понять, чем прогневали они так белого царя, что он им не хочет отпереть его.

Европа поглощает все внимание правительства, и ему мало времени думать об азиатских выгодах. К тому же почти всегда дипломатическая часть поручалась у нас иностранцам, и они более заботились о том, что к ним ближе. Бирон, немец или латыш, Бог его знает, даром отдал Даурию, а русский Потемкин хотел опять ее завоевать. Все великие помыслы о славе России, исключая одной женщины, роятся только в головах одних русских: Годунова, Петра, Потемкина.

Наступил для посольства день отъезда, 21 декабря. Снегу не было; холод несколько дней начал усиливаться; в это утро термометр на солнце спустился на 14 градусов ниже точки замерзания. Перспектива была неутешительна: дни проводить в колясках или верхом, а ночью в клетчатых, войлоком укутанных юртах или кибитках; посол мрачен, все другие печальны. Первый раз в жизни услышал я слово бивуак, не зная, что через несколько дней должен буду испытать его значение. С кем-то, на дрожжах, рано поутру отправился я в малую Кяхту. Скоро прибыл посол с дружиной и в деревянной церкви выслушал путешественный молебен, что исполнил он как простой обряд, который ему присоветовали; вышедши из церкви, поспешил он сесть на лошадь.

У меня сердце сжалось, когда пришлось мне расставаться с товарищами; три месяца свыкся я с ними в ссылке; все простились со мной дружески, все накануне снабдили меня письмами в Петербург.

На улице и по дороге зрелище было любопытное, совсем необыкновенное. Обе Кяхты, Маймачин ходили вокруг обоза, который тянулся более чем на версту. Все, что шло через Сибирь отделениями, было тут собрано вместе с присоединением драгун, казаков и свиты китайского князька, которая была вдвое более посольской. Целые табуны диких, степных лошадей были впряжены в повозки и европейские коляски, каких они от роду не видывали; они ржали, бесились, становились на дыбы и часто рвали веревочные постромки. На козлах сидели монголы с русскими людьми, которые учили их править. Другие монголы, привлеченные любопытством, носились кругом на своих лошаденках. Впереди, ужасно величествен, посол ехал верхом с своею кавалькадой. Шум, гвалт, кутерьма! Я отказался проводить посольство до первого ночлега; довольно было с меня следовать за ним версты две или три, чтобы полюбоваться сим удивительным поездом.

Возвратясь в Троицкосавск, обедал я у Вонифатьева, по его приглашению. До тех пор он был довольно скромнен в речах о Головкине, а тут совсем распоясался на его счет. Я был расстроган, чувство великодушия во мне не погасало, и я отвечал ему довольно резко и зло, чтобы рассердить его. Более мы с ним не виделись; кажется, после того он еще многие, многие лета царствовал в Китае<sup>47</sup>.

Я продал свою бричку и на перекладных телегах, вместе с Васильчиковым и с Клементом, 23 декабря отправился в обратный путь.

29-го числа приехал я в Иркутск и остановился у прежнего хозяина своего, г. Полевого.

Для удовлетворения любопытства ничего не мог я лучше избрать: Полевой занимался европейскою политикой гораздо более, чем азиатскою своею торговлей. В нем была заметна склонность к тому, чему тогда не было еще имени и что ныне называют либерализм, и он выписывал все газеты, на русском языке тогда выходившие. Во время последнего моего пребывания в Иркутске узнал я у него о том, что месяца два перед тем происходило в Германии; как подлец Мак положил оружие при Ульме, как австрийская армия ретировалась, как ученик Суворова, Багратион, дрался уже с французами и при Голлабрюне и Вишау дал им сильный отпор. Маленький сын Полевого не питал еще тогда ненависти к своему отечеству; напротив, прельщался его славою и написал четверостишие, в котором вклеил, играя словами: Бог рати он и На поле он. После то же самое слышал я в Москве, и теперь не знаю, где было эхо, там ли, или в Иркутске? Где повторяли, и кто у кого перенял? Я покамест был доволен и приятными известиями из армии надеялся насладиться по возвращении моем в столицу.

Были в Иркутске музыканты, были и актеры, следственно, был театр, были и содержатели его; все это составилось из ссыльных и их детей и должно бы быть изрядно. Играли, однако же, так дурно, что хоть бы на великороссийском губернском театре.

В первый мой приезд был я, хотя весьма маловажное, однако же официальное лицо и потому ссыльных не мог принимать у себя; они же сами держали себя от нас поодаль. Теперь же, как частный человек, я не отказывался видеться с ними, тем более что они всех посещали,

---

<sup>47</sup> Посольство Головкина так и не дошло до Пекина. Китайцы вернули его из Монголии; однако Головкин и позднее служил по дипломатическому ведомству, а в 1826 г. был членом суда над декабристами.

и я везде их встречал. Несчастье почитается здесь почти невинностью, и сосланным, лишенным чинов и дворянства, под именем несчастных оказывается от жителей такое внимание, что можно подумать, будто общее мнение собственною силой хочет восстановить их в прежнем достоинстве. Некоторые из них употребляют иногда во зло такую снисходительность.

Двое несчастных, как их называют в Сибири, устроили в Иркутске театр. Один из них имел большой чин и носил знатное имя, князь Василий Николаевич Горчаков. От природы расточитель и плут, еще в первой молодости разными постыдными средствами и обманом проживал он чужие деньги. Он попал в милость к императору Павлу, который, под именем главного военного комиссара, определил его лазутчиком к принцу Конде. С его корпусом делал он поход в Германию и безжалостно обирал бедных, храбрых эмигрантов, удерживая часть сумм, от щедрот царя через него им доставляемых. После того с полновластием ездил он к казакам на Дон и, наконец, назначен будучи военным губернатором в Ревель, только что было принимался грабить немцев, как император Александр, вступив на престол, удалил его от должности. В то же время богатая жена<sup>48</sup>, которой имение начинал он проматывать, разошлась с ним. Лишенный всех способов кидать деньги, он прибегнул к деланию фальшивых векселей; мошенничество его скоро открылось, и он очутился в Иркутске.

Другой, Алексей Петрович Шубин, был жалкое, ничтожное создание, блудливый как кошка, глупый как баран. Он сделался жертвой мерзких интриг одного товарища своего в Семеновском полку, Константина Полторацкого, который был ложным его другом и любовником его жены. Тот подучил его выдумать какой-то заговор против Александра, в котором будто бы отказался он участвовать. Чтобы попасть к царю в милость, в доказательство мести людей, коих не умел он назвать и кои страшились его нескромности, ночью в Летнем саду прострелил он себе руку. Его сослали, а наставник и предатель его Полторацкий, который совсем не умен, а только изворотливый и смелый буффон, остался прав, как после того неоднократно из пакостей своих, как из грязи, всегда выходил он чист и сух.

Горчаков лицом и взглядом походил на ястреба. Шубин — на овцу. Ссылка связала их дружбой, любовь их поссорила. Примадонна, дочь одного сосланного польского шляхтича, тайно оказывала милости обоим антрепренерам; когда неверность ее открылась, сумасшедшие вызвали друг друга на поединок. Их до него не допустили, и все взяли сторону Шубина; Горчакова же послали в Тункинский острог. Через несколько времени воротился он из него; но Шубин торжествовал, оставшись один властелином театра и примадонны. Оба, признаюсь, были мне гадки, но Горчаков во сто раз гаже низостью души и откровенностью порока.

Третий изгнанник, который явился ко мне, казался мне забавнее. Это был опрятненький, сухенький, живой и здоровый шестидесятилетний старичок, последняя отрасль не весьма известного, но не менее того истинного русского княжеского рода Гундоровых. Спросить его, за что он был сослан, почитал я нескромностью; а он так давно находился в Сибири, что никто не помнил причины его заточения. Сам же он очень хорошо помнил веселую молодость в Москве и был для меня хроникой старинного московского скандала.

Других примечательных людей в этом роде я еще не видел, кроме одного эстляндского дворянина, Сталь фон-Голстейна; но этот общество не посещал. Он, видно, смолodu был великий гастроном, учил за деньги поваров и на каждом большом званом обеде, во фраке, чисто одетый, являлся в виде метрдотеля и распоряжался столом. У себя за стулом имел я честь видеть однофамильца, может быть, и родственника знаменитой писательницы [г-жи Сталь].

Святки хотел я взять в Иркутске. Я не очень спешил из него: такой род жизни, какой вел я тогда в нем, нравится молодости. Однако же, натешась досыта, 7 января оставил я его в купленной мною огромной зимней кибитке.

Генерал-губернатор Селифонтов, которому представлялся я в Иркутске, первый позвал меня обедать; после него два немца, гражданский губернатор Гермес и вице-губернатор Штейнгель, сделали то же.

---

<sup>48</sup> Единственная дочь, которую имел он от нее, была замужем за Львом Алексеевичем Перовским и умерла бездетна. — *Авт.*

Первый из двух, бывший артиллерист, Богдан Андреевич Гермес, с многочисленным семейством жил одним жалованьем, следственно, скромно, даже скудно; к тому же не охотник был много говорить, и потому в великороссийских губерниях нашли бы его дурным губернатором. Но в Сибири его любили и уважали за его бескорыстие, доброту и строгость только в случае надобности. Другой, отставной моряк, Иван Федорович Штейнгель, немного богаче первого, но столько же честен, был сообщительнее и нравом несколько веселее его.

Почтенный старик Иван Осипович жил также не слишком великолепно, хотя получал содержание, по тогдашнему времени, довольно большое. Скоро должен был наступить для него черный день, и он на него как будто берег денежку. С ним были жена и дочь, да сверх того находились при нем, в звании чиновников по особым поручениям, два сына, молодые люди, ничем не замечательные.

Он казался уныл, не зная, впрочем, до какой степени поверят в Петербурге неосновательному, можно сказать, ложному доносу посла. Богу даст он ответ, этот граф Головкин, не столько еще за легкомысленную жестокость, с которою свергнул он невинного, заслуженного старца, сколько за ужасные от того последствия для Сибири. Более двадцати лет прошло с тех пор, как не терзает ее преемник Селифонтова И. Б. Пестель, а имя его жителями ее с проклятиями еще передается внукам. Как имя сие напоминает моровую язву, так сам он был продолжительным бедствием в Сибири. Другие люди бывают жестоки из трусости, из мщения, из желания выслужиться, может быть, с намерением быть полезными; а этот человек любил зло, как стихию, без которой он дышать не может, как рыба любит воду. Никогда еще сибирский край не был управляем столь достойным и людьми, каковы были три губернатора, Гермес, Хвостов и Корнилов; при Пестеле скоро ни один из них не остался на месте. Гермес с Штейнгелем заблаговременно успели убраться в Пермь к Модераху; Корнилов же и Хвостов, малопомалу опутанные его кознями, привлечены им были к ответу в Сенат. Не смея показаться в Сибири, где ожидало его убийство, он правил ею из Петербурга посредством подобных себе извергов, коим выпросил он там губернаторские места. Находясь в столице, он беспрестанно новыми обвинениями преследовал двух несчастных, которые около десяти лет томились под судом. Истина наконец восторжествовала: они оправданы, сделаны сенаторами, а он удален от службы. В другом государстве был бы он повешен.

Над преступным сыном его [П. И. Пестелем] свершилась впоследствии сия праведная казнь, которую, может быть, он гораздо более его заслуживал.

Расставаясь с Сибирью, которую, если Бог милостив, никогда не увижу, позволю себе здесь некоторые размышления о ней. Она была завоевана, можно сказать, открыта в одно время почти с английскими колониями, нынешними северо-американскими Штатами. Британское правительство ничего не щадило, чтобы сделать для себя полезным приобретение первых владений своих за океаном; для заселения их употребляло самые бесчеловечные средства. Двухвековые усилия сего правительства мудрого, искусного, деятельного увенчались совершенным успехом. Много способствовали ему просвещение, расчетливый ум и предприимчивость частных лиц, богатевших на приобретенной ими земле. Чем же кончилось? Миллионы сынов Англии отрелись от нее, восстали на нее, победили, освободились и сделались первыми, почти единственными ее соперниками. Кто знает! То же самое когда-нибудь случится и с Вандименовою землей: у торгового народа нет других уз, кроме барышей.

Беспечная Россия всегда смотрела на Сибирь, как богатая барыня на дальнее поместье, случайно ей доставшееся, куда она никогда не заглядывала, управление коего совершенно вверено приказчикам, более или менее честным, более или менее искусным. Поместье всегда исправно платит оброк золотом, серебром, железом, мехами: ей только и надобно; о нравственном и политическом состоянии его она мало заботится. Крестьяне, ходя на промысел и подвигаясь все вперед, наткнулись на транзитную китайскую торговлю; тем лучше: и им прибыль и госпоже.

Как не признать, что во время дремоты нашей у изголовья самим Богом приставлен к нам ангел-хранитель? Зачем же нам слишком хлопотать? В свое время все полезное придет к

нам само собою. Когда мы больно начнем мудрить, всегда наделаем глупостей; известно, что мы мастера все испортить. Все идет нам впрок, даже леность и невежество наших дворян. Что если б, от природы ко всему способные, они вздумали почти задаром покупать в Сибири большие пространства девственной земли и переводить на них крестьян (что никогда запрещено не было)? Какими бы владетельными князьями могли они сделаться! Но, к счастью, им это не приходило в голову; им приятнее было вести праздную жизнь в деревнях или в столицах, щеголять европейскою болтовней. Итак, в Сибири нет ни одного помещика: все казенное, все Божье да государево. Чиновники все присылаются из России; пробыв несколько лет, когда они волею или неволею оставляют службу, то опять в нее же возвращаются. Духовенство везде у нас бедно; миллионщики-купцы также не владеют землею, имеют только дома и капиталы и торг ведут по большей части через Россию. Одним словом, Сибирь, как медведь, сидит у нее на привязи.

От Перми в Казань дорога показалась мне весьма приятною, потому что воздух сделался вдруг гораздо теплее: после продолжительных морозов в пути оттепель покажется всегда благополучием. При масленичной погоде, во вторник на Масленице приехал я в Казань.

В Казани находился тогда один выходец, я чуть было не сказал, беглец, из действовавшей армии, сын Желтухина, Измайловского полка полковник Сергей Федорович, который был в аустерлицком сражении или близ его и после угрожавших ему издали опасностей приехал успокоиться к родителям. Я было к нему с расспросами; он отвечал так неясно, так отрывисто, что я приписал это его гордости или скромности; после в Петербурге узнал, что это происходило от его неведения и что вообще самое воспоминание о сражениях его сильно тревожило.

Несмотря на Великий пост, в Москве казалось шумно и весело. В ней только тогда победителей ожидали триумфы, и князь Багратион, почти единственный из военачальников, поддержавших честь русского оружия, приехал в нее за венками, со множеством молодых знатных людей, подвизавшихся с ним в последнюю кампанию. Из них, у князя Сергея Федоровича Голицына, видел я только одного, третьего сына его, князя Сергея, который имел на голове рану и весьма красиво и кокетски надетую черную повязку. Множество праздников с похвальными куплетами даны были в честь Багратиона и его сподвижников. На одном из них, в благородном собрании, самом блистательном и многолюдном, явилась старшая из трех дочерей князя Василия Алексеевича Хованского, о которых не один раз я упоминал. Она была одета какой-то воинственной девой, с каской на голове, в куртке светло-зеленого цвета с оранжевым, вместо обыкновенных лент, украшенная георгиевскими, принадлежащими гвардейскому егерскому полку, коего Багратион был шефом, и своим прекрасным голосом пропела стихи во славу его. Все это было очень трогательно и немного смешно. Возвратившись, как мне казалось, со стыдом, я никуда не показывался и пишу здесь все одно слышанное.

Мне так надоела дорога всю зиму и так хорошо мне было с родными, что я дней десять откладывал все выезд свой. Но последний зимний путь начинал портиться, и я должен был спешить, чтобы воспользоваться им. Итак, 12 марта покинув Москву, 16-го прибыл я в Петербург, после десятимесячного из него отсутствия.

Расположение умов нашел я в Петербурге иное, чем в Москве. Там позволяли себе осуждать царя, даже смеяться над ним и вместе с тем обременять ругательствами победителя его, с презрением называя его Наполеошкой. Здесь, напротив, были воздержнее: все чувствовали, что унижение, понесенное главою народа, неизбежно должно разделять с ним все государство. Самое негодование на сильного противника нашего было глубже и пристойнее; большого уныния не показывали, все храбрились, последнюю победу его усиливались приписывать более счастью, чем искусству, и желание новой с ним войны было общее. Знатная молодежь, воспитанная эмифантами и участвовавшая в сей войне, не столько ненавидела в нем врага своего отечества, как маленького поручика, дерзнувшего воссесть на престоле великого Людовика; она спесиво и грозно толковала о будущих своих подвигах, над чем иные тайком смеялись, будто по ошибке, вместо гера называя их зеро и розданным ей во множес-

тве анненским шпагам давая название ослиных шпаг: апе вместо Аппе. Чувствами, выражаемыми лучшим обществом, двором и гвардией, должен был государь остаться доволен, хотя французский роялизм, а еще более раболепство в сем случае принимали цвет патриотизма; к сожалению, другого почти не бывает в новой столице. С другой стороны, приверженцы Англии указывали на нее как на якорь нашего спасения, и влияние ее на дела наши сделалось еще сильнее прежнего. Несмотря на мое неведение, с этого времени начал я ее ненавидеть: мне казалась обидна мысль, что мы в числе народов, коих гордые островитяне, вне континентальных опасностей, нанимают, чтобы сражаться за их выгоды<sup>49</sup>.

Одного из последователей английской системы не щадило тогда общее мнение. Князь Адам Чарторыжский, управлявший иностранными делами и находившийся во время путешествия и аустерлицкого сражения при государе, сделался всем ненавистен. В средних классах называли его просто изменником; а тайная радость его, при виде неблагоприятных для нас событий, не избежала также от глаз высшей публики. Император в это время дорожил еще мнением России, которая громко взывала к нему об удалении предателя, и Чарторыжский к концу лета должен был оставить министерство, сохранив только звание попечителя Виленского университета. Мне сказали, что по возвращении из посольства должен я был непременно к нему явиться, и я исполнил сие, как весьма тягостную для меня обязанность. В прихожей нашел я дежурного, который пошел обо мне докладывать; он был один и чрез пять минут велел позвать меня к себе. Пройдя длинный ряд комнат, я вошел в его кабинет; он не сидел, а стоял за высоким письменным столом, оборотился ко мне с приятною улыбкой, сказал несколько вежливых вопросов и кончил предложением вступить под его начальство. Я, поклонясь только, поблагодарил, не стараясь давать отказу своему никакого благовидного предлога. После не один раз жалел я о том; но тут, когда он был так добр со мною, право, кажется, готов бы я был его зарезать. Не знаю, чем заслужил я его милость. Наружность ли ему моя понравилась, или нерусское мое прозвание, или предполагаемое во мне неудовольствие за сделанную мне несправедливость? Это был единственный раз, что я его видел, и предубеждение мое до того не простиралось, чтобы не заметить, как приятно было выражение лица его, несмотря на слишком выдвинутую вперед нижнюю челюсть.

Прежде того успел я являться к настоящим моим начальникам, Кочубею и Сперанскому. Оба приняли меня холодно и сухо, ни о чем не спросили и сказали только, что я по-прежнему могу заниматься в канцелярии, то есть в переводе, по-прежнему могу ничего не делать. Более любезности, гораздо более внимательности нашел я в гостиных, куда ввели меня привезенные от товарищей письма. Я не думал ими воспользоваться и сначала, развозя их, отдавал просто швейцару; но мне суждено было иметь свою минуту известности. Меня отыскиали, я получил приглашения и был осыпан учтивостями и расспросами. Вот тут-то, и только в это время, случилось мне раза два или три быть в доме Гурьевых. Димитрий Александрович тогда еще не был министром; но и тогда подведомственных ему чиновников в Кабинете и Удельном департаменте подавлял тяжестью ума своего; в свете же имел все замашки величайшего аристократа, хотя отец его, едва ли не из податного состояния, был управителем у одного богатого, но не знатного и провинциального помещика. Зато сам он женился на графине Салтыковой, престарелой девке, от руки коей, несмотря на ее большое состояние, долго все бегали. Прасковья Николаевна, тогда уже дама довольно пожилая, была расточительна на ласки с теми, коих почитала себе равными или с коими хотела сравняться, и раздавительно горда со всеми, кои казались ей ниже ее. Сия чета в начале девятнадцатого века открывала у нас торжественное шествие его финансовой знатности; в сем доме имел вес титул, но только в соединении с кредитом при дворе; одно богатство, но только самое огромное, и, наконец, мода, которая как из людей, так и из нарядов не всегда самое лучшее выставляет и вводит в употребление. Вот куда я попался, и вот какова сила предрассудков, что, внимая приветам хозяев, некоторое время я чувствовал себя несколькими вершками выше прежнего.

<sup>49</sup> Войны России с Наполеоном, до 1812 года, были подготовлены на деньги Англии, и Александр ввязался в них, главным образом, под ее давлением.



У Нарышкиных не имел я нужды в новой рекомендации, чтобы хорошо быть принятым. Однако же чадолюбие Александра Львовича заставило его быть еще любезнее с человеком, которого сын его письменно называл своим приятелем.

Мне вдруг сказали, что приехал Банков; я не поверил, тем более, что сие случилось 1 апреля. Однако я вспомнил пророчество Вонифатьева; оно сбылось слово в слово.

Некоторое время старались держать втайне причину возвращения Байкова. Не быв свидетелем происшедшего на Урге, я не могу ручаться за достоверность сообщаемого здесь рассказа и передаю его, как после слышал от возвратившихся моих сопутников.

Бесконечный караван, при постоянных морозах, шаг за шагом три недели тянулся до Урги. Тут посольство расположилось станом и примкнуло к сему большому монгольскому стану, посреди коего находилось одно только прочное жилище двух мандаринов, заместников ханских. Первые дни прошли в посещениях, во взаимных учтивостях, то есть в церемониях и в пересылке подарков. Посол более чем когда старался показать европейскую ловкость и любезность. Но китайцы (если позволено мне сделать весьма неблагородно и часто употребляемое сравнение) в этом деле столь же плохие судьи, как свиньи в апельсинах. Гораздо полезнее было бы послать к ним какого-нибудь увальня: его истуканству они охотнее стали бы поклоняться. На Головкина и Байкова смотрели мандарины как на фигляров, им насмех присланных, и с каждым днем начали умножать свои требования; терпение бедного посла подвергнуто было жесточайшим испытаниям. В один день, по полученным из Пекина наставлениям, приглашен был он к вану на какое-то празднество; тут предложена ему была репетиция того Церемониала, который должен был он соблюсти при представлении императору. В комнату, в которой поставлено было изображение сего последнего (полно, верить ли тому?), должен был он войти на четвереньках, имея на спине шитую подушку, на которую положится кредитная его грамота. Он отвечал, что согласится на такое унижение тогда только, как получит на то дозволение от своего двора; может быть, надеялся он испугать китайцев твердым намерением долго жить на их счет. На другой день все подарки, им сделанные, в сундуках и ящиках были не выставлены, а брошены перед его посольскою палаткой. После того ему ничего не оставалось более, как ехать в Сибирь дожидаться приказаний двора своего. Обратный путь был ужасен: к холоду скоро присоединился голод; по целым суткам тщетно ожидая съестных припасов, посольство вместо мяса получало иногда живых баранов в небольшом количестве и, не имея с собою мясников, должно было еще платить за их резание. Не было неприятностей, коих бы оно не претерпело от сих варваров. Как было в глубине сердца не возблагодарить мне Бога, пославшего злодею моему Байкову мысль спасти меня от всех этих напрасных мучений! После пятидесятишестидневного странствования в пустыне Головкин, подобно Моисею, не узрев обетованной земли, возвратился в Кяхту.

После урона, претерпенного на Западе, государь не очень расположен был к снисходительности, и бедный Головкин понес опалу, ему велено оставаться в Иркутске до тех пор, пока его оттуда не вызовут.

Оставаться в виде изгнанника там, где так недавно он господствовал, — наказание, по мнению моему, слишком жестокое за вину неумышленную. Надобно признаться, что в искательности, медленности и продолжительности наказаний Александр был знаток.

Когда последний из чиновников прибыл обратно, что было в начале сентября, тогда только бывшему послу и его секретарю посольства дано позволение оставить Сибирь.

В обществе, коего был Головкин одним из знаменитейших граждан, явился он спокойно и безбоязненно, но при дворе долго не показывался. В продолжение всего царствования Александра не мог он заставить его забыть свою первую неудачу; иногда приподнимался, но никогда совершенно не мог стать на ноги.

С великим удовольствием встретил я Тургенева, бывшего товарища моего в московском архиве.

Описывая вступление мое в службу в помянутый архив, говорил я об Андрее Тургеневе, о рановременной его кончине, о великой потере, которую сделали в нем отечество, дружба и

словесность. Там же слегка упомянул я о меньшом брате его Александре, застенчивом, ото всего краснеющем мальчике. Тут показался он мне совсем в ином виде. Настоящей дружбы между нами никогда не было, никакого влияния на судьбу мою он не имел; но в частых сношениях, в частых свиданиях прошли наша молодость, зрелые наши лета и встретила нас старость. И поэтому мне кажется, что на мне лежит трудная обязанность, забыв и старинное мое к нему приязненное расположение и настоящее негодование, изобразить его с беспристрастием. А как вообще все это семейство (не род, я говорю) Тургеневых, которого у нас на Руси скоро и следов не останется, было в ней очень примечательно, как правила и поступки сего самого Александра Тургенева, по большей части, были следствием какого-то общего направления, взятого сим семейством, то от него отделять его почти невозможно, и, может быть, во мзду многих приятных часов, проведенных мною с членами его, суждено мне, если сам только спасусь, спасти и его от забвения<sup>50</sup>.

Отца Тургенева, Ивана Петровича, я никогда не знал. Он слыл умным, добродетельным и просвещенным человеком [был директором Московского университета и другом знаменитого Н. И. Новикова]. К счастью или на беду его, в последней половине царствования Екатерины показалась в Москве секта мартинистов.

Мартинизм, как кажется, исключительно филантропическая секта, ибо последователи его все толкуют о святом человеколюбии и, вероятно, полагают, что можно исполнять его обязанности без помощи христианской веры. Немецкое злое семя на русской почве не могло или не успело развиться. Человек просвещенный, Николай Новиков, духовный отец всех в России мартинистов, завербовав несколько знатных и богатых людей, с помощью их и на их счет завел лучшую и обширнейшую типографию в Москве, дорого платил авторам за право печатать их сочинения, дешево уступал их книгопродавцам, поощрял все молодые таланты, отправлял за границу отличнейших между воспитанниками университета; никогда частное лицо не способствовало так у нас распространению просвещения. Но успехи французской революции сделали наше правительство и самоё Екатерину подозрительными и осторожными: посреди их благотворных действий открыли (с позволения сказать) заднюю мысль, агтеегепсде, мартинистов и разослали их по разным отдаленным местам государства, Трубецких, Ивана Владимировича Лопухина и многих других; пощадили только фельдмаршала князя Репнина. Отец Тургеневых сослан был в Симбирск, где и оставался до царствования Павла, который освобождал десятки жертв мнимой несправедливости своей матери, чтобы после ссылать тысячи жертв своих прихотей.

Так о мартинистах гласят предания, и если в мой рассказ вкралась какая-нибудь неверность, то это их вина, а может быть, и моя, ибо я слушал их без большого внимания. Итак, возможно ли, чтобы сыновья мученика, воспитанные им в заточении, не приняли его веры? Чтобы они не возненавидели власть тиранов, от которой он пострадал? Сделавшись при Павле директором Московского университета, г. Тургенев имел все средства дать самое лучшее образование сыновьям своим<sup>51</sup>, и они тем воспользовались. Заблуждения ума не всегда мешают доброте сердца и добрым нравам, и семейство Тургеневых было вообще любимо и уважаемо.

Вместо того чтобы, подобно нам, молодым неучам, искать в канцеляриях занятий и чинов, Александр Тургенев, о котором идет речь, получил отпуск и отправился доучиваться в Геттингенский университет. По окончании курса путешествовал он по всей Германии, стоял лицом к лицу с Виландом, с Шиллером и даже с Гёте и, напитанный учением и расчетливым духом Германии, за неизбежными успехами явился, наконец, в Петербург. Он все имел, что может их дать; от него так и несло ученостью, до того он был весь ею вымазан, а этот дух в то время притягивал места и отличия; умеренное вольнодумство также было тогда в моде. Его легкомыслие, обдуманное его рассеянность и нескромность приняты за откровенность благородной души; филантропи-

<sup>50</sup> Уже тогда, когда писались записки Вигеля, Александр Иванович Тургенев пользовался заслуженной известностью в русском обществе. Это был человек, по отзывам всех знавших его, благородный, образованный, умный, враг насилия и произвола, много сделавший для развития русской исторической науки своей энергией и настойчивостью в собирании старых документов и материалов. Известен он также видным и всегда благотворным участием в личной жизни Пушкина.

<sup>51</sup> Другой сын его — известный Николай Иванович Тургенев, один из главных участников заговора декабристов.

ческие изречения, с малолетства им вытверженные, названы выражениями высокой добродетели; самые телесные его недостатки пошли за целомудрие, и каплунный жир его за девственную свежесть. Ну, просто совершенство человеческое, да и только! Об его смелости, настойчивости у начальства вырывать потом награды скажу я только, что она была в самой крайней противоположности с его преждею детскою стыдливостью.

Каким почитал его свет, таким он и мне казался. Только иногда начинал он педантствовать и тогда становился мне тяжел; вдруг потом приходила ему охота дурачиться, беситься, и он делался смешон. Обыкновенно же притворство его со всеми было так велико и всегда так весело, что мне никогда не приходило в голову его подозревать.

Он скоро увидел, что прослыть необыкновенным человеком в одном городе еще недостаточно для быстрых успехов по службе и что труднее ослепить ученый мир, чем большой свет. Попасть в него было ему не трудно; но ему хотелось в нем блеснуть, чтоб ускорить ход своей фортуны. Он немного знал по-латыни, и если бы нужда потребовала, мог бы сказать наизусть первые стихи из некоторых песней Энеиды, из од и посланий Горация, из элегий Тибулла; мог назвать все немецкие книги и их сочинителей.

Но на немецких авторах в салонах недалеко можно было уехать: там подавай французскую литературу, которою он дотоле совсем почти не занимался. Теперь я вижу ясно, что тесная дружба его с Блудовым сначала имела цель и только после на некоторое время превратилась в привычку. Никто из тогдашних молодых людей, не исключая даже Уварова, так основательно не знал этой литературы, как Блудов, так хорошо не умел судить о ней; а как Тургенев редко заглядывал в книги и знания свои почерпал более из разговоров сведущих людей, то и от связи сей ожидал себе пользу. Блудов же, легковёрный, как все люди, коим с высот ума трудно сойти до мелких расчетов посредственности, предавался всем сладостям этой мнимой дружбы. Через него что-то на то похожее составилось и у меня с Тургеневым.

Он не ошибся в своих расчетах. Будучи от природы довольно остроумен (не обмолвился ли я, не сказал ли, умен?), светская болтовня скоро сделалась для него природным языком, который иногда удачно приправлял он техническими терминами из законовения, богословия и других наук. Тем немного пугал он непривычный к тому слух знатных людей и дам, зато поселял в них высокую о себе мысль. Сначала определился он в канцелярию любимца государева, Новосильцева, и вместе с тем в комиссию составления законов. После того всегда умел он занимать три или четыре места в одно время, кюмюлировать их, как говорят французы, по всем получая жалованье и трудными занятиями одного извиняясь в неисполнении обязанностей другого. Деятельный и ленивый вместе, первая забава его была хлопотать, суетиться, в движении, главное искусство, — как можно менее принимаясь за настоящее дело, казаться вечно озабоченным. Весь век, можно сказать, прожил он заимообразно, чужим умом, чужими знаниями, чужими трудами, чужою славой. В друзьях, в знакомых, а кольми паче в подчиненных видел он всегда кошек, которые из огня должны таскать ему каштаны, чтоб ему не обжечь обезьяньей своей лапки. Более восемнадцати лет сия фальшивая монета находилась в обращении и принималась в той цене, которую ей самой хотелось себе дать. Для живописца характеров такой странный, удивительный человек сущая находка; не знаю, искусно ли, но по крайней мере очень верно его изобразил я здесь.

В гостиной Лабатовых [француз, заведывавший тогда Михайловским дворцом] в то же время показался другой юноша, еще юнее Тургенева и меня и также на Липецких водах с ними познакомившийся. Тогда я редко виделся с Степаном Петровичем Жихаревым; лет восемь спустя начались дружественные мои связи с ним, и он имел случай сделать мне великое одолжение. Как я всегда любил следовать хронологическому порядку, то постараюсь описать его тогда только, когда допишусь до эпохи моей с ним короткости.

Все лето 1806 года прошло для правительства в приготовлениях к новой войне с Наполеоном. Великая тягость, которую с таким трудом выносит Россия, многочисленная, можно сказать, бесчисленная ее армия, в этом году начала увеличиваться; дотоле не было и третьей

доли ее против нынешней. Никто не смел роптать: все видели, что честь политическая, независимость и безопасность государства того требовали. На первый случай сформированы одна пехотная дивизия и три конные полка, один гусарский и два драгунские. Шефом одного из сих двух полков, названного Митавским, назначен зять мой Алексеев, московский полицеймейстер: для полковника отличие большое, когда звание шефа почти исключительно принадлежало генеральскому чину. Он имел неосторожность князю Багратиону и любимцу Александра, генерал-адъютанту князю Долгорукову, показывать учение своих полицейских драгун, которые действительно находились в таком устройстве, что хоть бы тот же час в сражение. Эти господа расхвалили царю алексеевских драгун, и к его двум эскадронам велено прикомандировать третий из какого-то конного полка, стоящего на квартирах в Псковской губернии; для составления же целого полка велено ему набирать охотников из московской вольницы, из буйных молодцов, шатающихся по трактирам. Пробыв шесть лет полицеймейстером, он очень хорошо знал простой народ и был им любим, и потому ему было удобнее, чем кому-либо, исполнить сие удачно. В конце июня назначен он шефом, а в начале сентября с готовым почти полком выступил он из Москвы в город Порхов, где ожидал его поступивший под его начальство старый эскадрон.

После берлинского посещения более чем политический союз, теснейшая дружба связывала императора Александра с королем прусским. По обыкновению своему, Наполеон уступил последнему не принадлежащий ему, *чужой* ГанOVER; но вместе с тем, основав германский союз под именем Рейнского и объявив себя его главою, совершенно отделил, выгородил Пруссию от Германии. После того, с одной стороны, подавала ей Франция всевозможные поводы к неудовольствиям, а с другой — Россия всячески возбуждала ее к войне. Имея двести пятьдесят тысяч человек прекраснейшей армии и позади себя сильно вооружающуюся Россию, она не замедлила объявить ее. С восторгом получили сие известие в Петербурге.

Материальные силы Пруссии были огромные, великий порядок в финансах, войско свежее, славно выученное; нравственных же сил, кроме памяти о победах великого Фридриха и энтузиазма к смелой, доброй, прекрасной королеве, в сем составном государстве никаких не было. Основатель его великого значения в Европе был и первым его развратителем: сражаясь с французами, побеждая их и ругаясь над ними, он у них же перенимал все то, что их древнюю монархию вело к разрушению. Во всю мирную половину своего царствования старался он офранцузить подданных своих полуварваров и трудился над истреблением между ними религии, следственно, и нравственности. Распутный и малодушный его преемник, с фанфаронским манифестом послав старого полководца, герцога Брауншвейгского, сам гордо ополчился было против революции, но от Вердена скорее давай Бог ноги. Тотчас потом признал он республику, стал жить в добром согласии с террористами и расстригу Сиеса [одного из деятелей французской революции] имел при себе от них посланником. При обоих Вильгельмах, старом и молодом, Пруссия, забившись в северный угол, всегда смеялась тщетным и благородным усилиям соперницы, некогда госпожи своей Австрии, и никогда не хотела подать ей руку помощи. Неверие и несчастье между тем свободно распространялись по земле, устроенной и возвеличенной безбожным царем; червь безнравственности все точил молодое, быстро растущее дерево; что удивительного, если один громовой удар сломил его? У нас забыли про постыдный поход Вильгельма II и ожидали Росбаха. В начале октября, вместо Росбаха, была Иена.

Нет, столь счастливого, столь блестящего похода никогда еще Наполеон не делал: лишь коснется крепости, она падает перед ним без защиты; лишь настигнет бегущий корпус, хватает его руками. От стыда Пруссии покраснели наши щеки; каждое ее поражение, как кинжалом, ударяло нас в сердце: они не знают того, неблагоприятные, нынешние наши ненавистники, как все русские в душе своей тогда побратались с ними. Уже не за Аустерлиц, а за чуждую нашей чести Иену кричали все отмщение.

Между тем дело шло не на шутку. В первый раз еще французы начали близиться к нашим границам; они были уже в Мазовии, то есть врывшей Польше, и ненавистью к нам ее жи-

телей против нас усиливались. Все полагали, что Пруссия по крайней мере несколько месяцев постоит за себя, а мы в это время успеем собрать все силы, чтобы с нею довершить поражение злодеев или, в случае дурного успеха, прийти к ней на помощь. Но Наполеон так скоро с нею разделался, что, можно сказать, застал нас врасплох, до того, что главного не успели мы сделать — выбора надежного предводителя армии. О старике Кутузове слышать не хотели: он провинился тем, что молодые генерал-адъютанты назло ему проиграли аустерлицкое сражение. Итак, в оставленном Екатериною богатом славою магазине надобно было отыскать другое орудие для защиты отечества: послали наскоро в орловскую деревню за старым фельдмаршалом графом Каменским.

В первый и в последний раз является он в моих записках. К жене его, графине Анне Павловне, когда-то коротко знакомой моей матери, раза два в Москве возила меня сестра, когда я учился еще в пансионе. Тут видел я графа Михаила Федотовича, и в старости остроумного живчика, невысокого роста. После того какой-то карточный долг, денежный расчет у брата моего Николая с одним из его сыновей, прогневил его на моих родителей, и всякое знакомство с его семейством у нас затем прекратилось. Из русских был он почти один, который в первой молодости находился в иностранной службе для приобретения опытности в военном искусстве. Он прославился при Екатерине в обеих войнах с турками, но она никогда его не любила за крутой и вместе вспыльчивый его нрав и за его жестокость. Она употребляла его и по гражданской службе. Рассказывают, что, когда он был генерал-губернатором в Рязани, однажды впустили к нему с просьбою какую-то барыню в ту минуту, как он хлопотал около любимой суки и щенков ее клал в полу своего сюртука, и будто, взбешенный за нарушение такого занятия, в бедную просительницу стал он кидать щенят. Уверяли, что совершеннолетних сыновей, в штаб-офицерском чине, приказывал он иногда телесно при себе наказывать. За это, разумеется, не хвалили его; но все признавали в нем ученого тактика, неустрашимого в боях. Тогда, подражая Суворову, многие из генералов гнались за оригинальностью; в том числе и граф Каменский, и этою юродивостью он еще более рождал в себе веру.

Как спасителя приняли его в Петербурге.

В этом печальном ноябре, несмотря на многочисленную армию, которая прикрывала наши границы, увидели необходимость подумать, в случае неприятельского вторжения, и о защите внутренних областей наших. И для того 30 числа издан указ, коим ссылаются к оружию отставные воинские чины и разных сословий люди, и из них, в виде резервной армии, учреждается милиция или земское войско, разделенное на семь округов.

В одно утро, к удивлению моему, прислал за мною Сперанский, которого я уже давно не видал (каждый год доступ делался к нему затруднительнее), но меня тотчас пустили. Он с злою улыбкой предложил мне вступить в милицию, из чего заключил я, что он смеется над нею и надо мной; мне было досадно, и я отвечал ему, что если б чувствовал собственное побуждение к тому, то стал бы его о том просить, не дожидаясь его предложения. Может быть, это было причиною, что я не надел тогда полувоенного мундира.

Между тем Наполеон все подвигался. Данциг и крепость Грауденц не сдались ему, но не могли остановить его на Висле: жалкие остатки прусской армии примкнули к русскому корпусу Беннигсена. Все с нетерпением и беспокойством ожидали известий из армии.

Накануне Рождества их получили. Они были тревожны и утешительны вместе. Граф Каменский, последний меч Екатерины, видно, слишком долго лежал в ножнах и оттого позаржавел. Геморроидальные ли припадки, старость ли, или (следствие обоих) страх подействовали на него, только он вдруг лишился рассудка. Едва успел принять он начальство над армией, как внезапно отказался от него, накануне первого сражения с Наполеоном, и написал неблагопристойное, сумасбродное письмо к государю<sup>52</sup>. Старший по нем, Беннигсен, сам собою принужден был вступить в звание главнокомандующего и 14 декабря (памятное число) при Пултуске одержал победу над французами. Так по крайней мере доносил он о том, и так все в

<sup>52</sup> Три года потом прожил он безвыездно в орловской деревне. Нрав его там не смягчился, он мучил крестьян, и один

Петербурге тогда о том подумали. Нет нужды говорить, что после того он утвержден главнокомандующим армией.

Этот человек был в числе заговорщиков 12 марта [убийство Павла Первого], не любим был двором и не смел показываться в Петербурге, как вдруг сама судьба вручила ему спасение государства. Но в надежных ли оно было руках? Известны были его искусство и храбрость, равно как и кротость, за которую любили его офицеры и солдаты; но она же могла произвести ослабление в дисциплине, что пагубно для армии в военное время.

Загадочная Пултусская победа, по-видимому, оставалась без результата; действия, однако же, продолжались, но они скорее похожи были на маневры, чем на битвы. Теснимый Наполеоном Беннигсен пятился боком вправо и вступил наконец в настоящую Пруссию. Сия приморская земля, подобно нашим Курляндии и Лифляндии, отхвачена немцами у славян и обитаема племенами, обоим народам чуждыми. Сделавшись добычею тевтонических рыцарей, жители как Пруссии, так и Ливонии приняли от них кровавое крещение, и города их названы немецкими именами. Как в той, так и в другой магистры ордена сделались независимыми владетельными герцогами. Но княжество Лифляндское вошло в бесчисленные титулы царя прусского; Пруссия же ближе к родимому краю дала свое имя всему из лоскутьев шитому государству. Хорошо, что мы плохо тогда знали историю и географию и, читая в реляциях названия Морунгена, Ландсберга и другие, думали, что Беннигсен Бонапарта погнал назад в Германию. Это нас очень успокаивало.

Сестра моя довольно исправно получала известия от мужа своего. При всеобщем тревожном состоянии и особенно среди печального положения сестры моей, нашли мы с нею некоторую отраду в одном весьма приятном соседстве. Под нами жила одна дама, знакомством с которой семейство мое во время моего малолетства также обязано было Киеву; это была Александра Петровна Хвостова, над изображением которой приятно мне будет потрудиться.

Никакого женского воображения сильные страсти так еще не воспаляли, никакого женского сердца так не волновали они. Она по себе была Хераскова и родная племянница поэта, несмотря на свою посредственность, у нас столь знаменитого. Род Херасковых не так еще давно, едва ли при Петре Великом, поселился в России, и я между валахами знал Херескулов, которые им были дальние родственники. Вот почему пламень юга, пройдя через одно или два поколения, кипятил еще кровь Хвостовой и блистал в ее взорах. В первой молодости выдали ее за Дмитрия Семеновича Хвостова, за человека глупого, грубого и порочного. По матери своей был он в близкой связи со всеми графами Чернышевыми и их потомством; а Александра Петровна была племянница Трубецких, и поэтому она родилась, выросла и провела первые годы замужества в аристократическом мире.

Она приняла все его формы; ей мало того: она умела отличиться и от знатной толпы и стать выше ее. По-французски писала разве только хуже Севинье [известная французская писательница], голос имела очаровательный и в свое время была первою в столице музыканткой и певицей. Собою была не хороша (смолоду круглый нос ее начинал уже синеть), но дурною быть, как кто-то сказал про Делиля, никогда не имела времени: до того все черты лица ее от живости чувств были всегда подвижны и выразительны. И придворные, и дипломаты, и писатели, и русские, и иностранцы — все были у ног ее; она была молода в царствование Екатерины, когда с прекрасными манерами дурное поведение извинялось в женщинах, и имела мужа, которого не делать рогоносцем, право, было бы грешно. Однако же, так как ей надобно было в жизни все перелюбить, то год, другой после замужества страстно была она привязана к его молодости и своему долгу. Он же первый начал показывать ей презрение, явно и подло стал изменять ей, искал в низших классах наемной любви и обрадовался, когда заметил, что она отдалась от него сердцем. Приговоры света бывают обыкновенно столь же несправедливы, столь же слепо жестоки, как и законы всех уголовных кодексов в мире; он требовал, чтобы женщина, исполненная огня, ума и талантов, навеки прикованная к отвратительному истукану, умела казаться счастливою и быть верною супругой. Что в нем ужаснее, он почти

всегда щадит тех, кто находится под защитой молодости своей, ее прелестей и выгод фортуны; но состарясь, обедней слабая женщина, тогда беззащитную примется он терзать.

Муж Хвостовой прожил сначала ее приданое, потом проматывал второе или третье наследство. Он сам имел часто недостаток в деньгах, жил, однако же, с женою под одною кровлей, никогда ее не видел и готов был отказать ей в малейшей помощи. Спасли ее от совершенной нищеты ее великодушные и геройство: на улице пала она к стопам грозного Павла и вымолила помилование преступному старцу, отцу неверного своего мужа. Тронутый сим поступком, свекор умирая завещал ей порядочное содержание и обязал сына выплачивать ей оное. Сие делал он не слишком исправно, и в образе жизни ее часто проглядывала бедность. Ей было тогда за сорок лет; гордая нечувствительность показывала вид добродетельного негодования, посредственность всегда ей завидовала и стала клеветать на нее, и весь свет против нее вооружился.

Покинутая им, она не унывала: в уединении ей оставалось еще довольно занятий и утешений. Ее гостиная и кабинет, не богато, но щегольски и со вкусом убранные, наполнены были художественными предметами, прекрасными рисунками лучших артистов, поднесенными ими как дань удивления к ней, разными редкостями и древностями, путешественниками по Востоку и Европе ей на память оставленными. Почти каждый вечер в сих комнатах собиралось прелюбезное общество, составленное по большей части из отборных иностранцев, из малого числа молодых женщин, строгих к себе и снисходительных к другим, из немногих русских, довольно образованных, чтобы знать цену приятностей такого дома. Между частыми посетителями его всех примечательнее были два брата, графы Местры, более французы, чем итальянцы. Старший, Иосиф, находился у нас посланником жившего в заточении сардинского короля, был чрезвычайно умный человек, красноречивый легитимист и бешеный католик, и написал впоследствии две книги, исполненные изуверства, «Le Pape» и «Soirées de Pétersbourg»; довольно явно показывал он нелюбовь к России, и единственно только за ее схизму. Другой, Ксаверий, в русской службе полковник, был менее пылок и хотя столь же серьезен и рассеян, но более приятен в обществе; он автор разных мелких творений в стихах и прозе, между коими более всего известны: «Путешествие вокруг моей комнаты» и «Прокаженный в долине Аосты». Навещал также Александру Петровну один знатный барин, чудак князь Белосельский [отец известной писательницы княгини Зинаиды Волконской], и читал ей и обществу ее свои уродливо-смешные произведения на русском и французском языках. На этих вечерах никто не гонялся за умом, никто ни у кого его не требовал, почти у каждого было его про себя вдоволь, и непринужденно являлся он сам собою в разговорах; порывы веселости останавливались на самой границе благопристойности. Во всем этом было нечто единственное, без примеров у нас и без подражания; только напоминало собою учено-приятные собрания, бывшие до революции у господ Дюдеффан и Жоффрен. Плохое освещение и скверный ужин довершали сходство с вечерами этих парижских дам.

Более всего нравилась мне в этой милой Хвостовой ее непритворная и в светской женщине тогда непонятная любовь к своему отечеству. Кто из дам не пренебрегал тогда русским языком? Которая из них читала на нем что-нибудь? Хвостова, по чувствам точно выше своего века, решилась сделать первый опыт и принялась на нем писать. Я не назову примером для нее писанные слогом семинариста оды тетке ее, княжны Екатерины Сергеевны Урусовой.

В двух цветках, в двух незабудках, ею произведенных, «Камине» и «Ручейке», скорее Карамзин мог служить ей образцом и одобрением; однако же и то ложно, что он помогал ей в их сочинении; новые, живые идеи, небрежность, с кою они изложены, и самые ошибки против грамматики составляют всю их прелесть.

Такого гибкого ума, как в ней, я ни в ком еще не встречал. Она ничем не гнушалась; с таким же участием, с таким же вниманием входила она в суждения с попом, с деревенскою барыней или с степенным дворянином, как и с первым государственным человеком; с одними так же готова была она толковать о солении огурцов и грибов, как с последним о прениях

парламента; разговорный язык лучшего света был ей так же знаком, как и все наши просто-народные поговорки. Обо всем умела она судить, правда, довольно поверхностно, но всегда умно и приятно.

И этой женщине не знали у нас цены. За клевету, за гонения, за обиды она платила иногда веселыми эпиграммами; ей хотелось бы все любить, и она сердилась как ребенок, когда ей мешали в сем привычном занятии, сама же до вражды никогда не умела дойти. Сострадательность была главною чертою ее характера; денег у нее не было, и несчастным помогала она не одними слезами, а неимоверною деятельностью: мучила друзей, наряжала их преследовать сильных и богатых, дабы исторгнуть у них помощь страждущим. Она была великая искусница утешать и успокаивать печальных и с мастерством своим довольно часто являлась к сестре моей, которая посещала ее только по утрам. Я же ходил к ней на вечера затем, чтобы послушаться там более, чем наговориться.

Наконец, в начале февраля 1807 года узнали мы о решительной победе над французами при Прейсиш-Эйлау, 27 января. Казалось, что только этого известия и ожидали: оно подало знак зимним увеселениям. Что ни говори французы, сражение это мы выиграли, и лучшим доказательством тому служит четырехмесячное после него бездействие Наполеона, который не очень любил отдыхать на лаврах. Напротив того, немец Беннигсен, отколотив исполина, сам изумленный чудом, совершенным не столько им, как русскими солдатами, уверенный в невозможности нового нападения со стороны неприятеля, захотел вкусить сладостное успокоение. По заочности судить трудно, особливо человеку, не принадлежащему к военному ремеслу; однако же все меня после уверяли, что Суворов и Кутузов так бы не поступили: не довольствуясь сим поражением, они бы заставили Наполеона не по сю сторону Вислы, а за Одером и, может быть, за Эльбой расположиться на зимних квартирах. Надобно отдать справедливость нашим немецким генералам, они великие мастера останавливать вовремя русское войско; после того Кнорринг и Дибич нашим храбрым ребятам не дали и взглянуть ни на Стекольной [Стокгольм], ни на Царьград, ни на Аршаву, куда они с такою жадностью рвались; у самых ворот злодеи умели удержать их стремление.

Наступил второй период царствования императора Александра, когда все изменилось в нем и вокруг него, когда он должен был разорвать прежние союзы, удалить от себя прежних любимцев, когда, насильно влекомый Наполеоном, должен был он казаться идущим с ним рука об руку, когда притворство сделалось для него необходимостью и спасением. В том же году вступил я в законное совершеннолетие, кончилась первая моя юность, а ее только одну признавал я всегда за настоящую. Уже румянец начал спадать с моих щек, и густой, черный волос заступил место нежного пуха на подбородке моем; вошел в летние годы моей жизни, стал я сильнее любить, зато глубже и постояннее ненавидеть, чаще сердиться, реже смеяться, реже и плакать: все миновалось. Прости же, моя молодость, время дорогое, золотое, невозвратное, вечно памятное! Кто не жалел о тебе; но признаюсь, увы, кто более меня? Все истинные, сердечные радости знал я только с тобою. Благодарю тебя, молодость, за неоцененные дары твои, за друзей, коих дала ты мне и коих большая часть вместе с тобою от меня удалились, за нежные взоры, за бескорыстную, непритворную ко мне любовь, за которую тебе же я обязан, и которая вслед за тобою от меня скрылась. Благодарю за все, за все, даже за горести, тобою мне посланные и тобою же услажденные.



## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

По приезде в Петербург, в болезненном состоянии духа и плоти, прежде всего искал я отрады, зная, что ею начнется исцеление и телесного моего недуга. Для того взъехал я прямо к Блудову, уверен будучи, что он не поскучает ни хандрой моей, ни лихорадкой, и в том не ошибся. Его нрав не переставал быть живым и веселым, а сердце сострадательным. В начале предыдущего года имел он горесть лишиться обожаемой матери и почти в то же время утешение наследовать довольно богатому дяде. Это давало ему возможность к другим похвальным или любезным качествам присоединить и гостеприимство. Он послал за врачом своим, англичанином Безерлеем, заставлял самого меня смеяться над мрачными моими мыслями, и дни в три или четыре все у меня прошло, как будто ни в чем не бывало.

Как ровно за пять лет перед тем, в начале сентября 1802 года, прибыл я тут в Петербург, чтобы быть свидетелем любопытного зрелища: важных перемен во всем государственном управлении. Как бы не обращая никакого внимания на пристрастие своих подданных к союзной с ним дотолде Англии, на явную ненависть их к омрачившим их воинскую славу великому французскому полководцу и его победоносному народу, государь во всем обнаруживал новую симпатию свою к ним и удивление. Изъявлений всеобщего за то неудовольствия не было возможности не только наказывать, но даже удерживать: ибо от знатного царедворца до малограмотного писца, от генерала до солдата все, повинувшись, роптало с негодованием.

Можно себе представить, как все это было больно для петербургской знати, заимствовавшей все поверия свои от эмигрантов; с какою явною холодностью сия искусственная аристократия, вся проникнутая легитимизмом, принимала присланного от Наполеона на первый случай Савари. В одном только знатном доме был он принят с отверстыми объятиями: старуха княгиня Елена Никитишна Вяземская, вдова генерал-прокурора, выдавшая двух дочерей за посланников неаполитанского и датского, всегда любила без памяти иностранцев и в особенности французов, и для них был у нее всегда притон. Прежде многие старались ей подражать; но продолжительною связью с французским посольством она обесславилась свою старость; были люди, которые не побоялись взвести на нее клевету, будто за угощение французов она получала деньги от правительства.

Родною племянницей этой княгини Вяземской была Александра Петровна Хвостова, о которой говорил я в конце второй части сих записок. Несмотря на свой патриотизм и легитимизм, в угождение тетки, должна была она принимать Савари и его свиту; впрочем, с живостью ее ума и характера, и ей самой любопытно и приятно было их видеть у себя. Тут имел я случай их встречать.

Как странно было видеть сих образчиков новофранцузского двора, встречающихся у Хвостовой с Лагардами, Дамасами и другими молодыми роялистами древних фамилий, офицерами в русской гвардии! Последние даже в общем разговоре старались, чтоб одним словом не задеть кого-нибудь из этих простолюдин.

Попытку Хвостовой соединить у себя тех и других французов одобрить нельзя. Сама она часто не могла утерпеть, чтобы не оказать предпочтения прежним своим знакомым и не похвастать иногда славой своей России, когда наполеонисты слишком завирались о его бес-

смерти. С другой стороны, роялисты и многие русские с смертельною досадою должны были беседовать с теми, коих почитали сволочью и коих поневоле встречали только среди толпы в больших собраниях. Едва прошла осень и наступила зима, как те и другие ее покинули, и одни только искренние ее друзья остались постоянными и верными ее посетителями.

Целые пять лет с сентября 1802 года министерство, прозванное английским, управляло государственными делами. Кажется, в самодержавных правлениях министры, которые просто орудия воли государевой, должны только следовать, хотя бы и не одобряли ее, новой политической системе, им принятой. Не так думали наши Фоксы и Питты; жаль им было расставаться с местами и властью, они их как будто против воли сохраняли; но сам император подал им средства с благовидностью освободиться от тяжести дел. Не вдруг, как в Англии, а в продолжение последних четырех месяцев 1807 года министерство изменилось и возобновилось почти в целом составе своем.

Началось с министра финансов, почтенного графа Васильева. Он скончался в конце августа, а в половине сентября объявлена война Англии. Бремя, им носимое, само собою легло на давно уже подставившего под него рамена свои племянника его, Федора Александровича Голубцова, и через два года потом его раздавило.

За год до того, князь Чарторыжский, уступая силе общего мнения, должен был портфель иностранных дел передать некоему барону Андрею Яковлевичу Будбергу; не покидая, однако же, государя, он тайно оставался главным советником его в делах дипломатических.

Место жалкого немца вскоре занял русский с громким именем, высокою образованностью, благородною душою, незлобивым характером и с умом, давно ознакомленным с делами дипломатическими и ходом французской революции. Самое даже согласие графа Николая Петровича Румянцева на принятие звания министра иностранных дел показывает в нем сильный дух, готовый, со вступлением в должность, вступить в борьбу со всеобщим мнением, самоотвержение, с которым он в настоящем жертвовал собственною честью для будущей пользы своего отечества.

На каламбуры Александра Львовича Нарышкина, не всегда удачные, на клевету мирскую, как бы не ведая о них, отвечал Румянецв одними великими, беспримерными в России делами: снаряжал за свой счет корабли и для открытий отправлял их вокруг света, с издержками и трудами отыскивал и собирал любопытные отечественные древние рукописи и хартии и посредством великолепных изданий дарил ими читающую публику, заводил для всех открытые библиотеки, учреждал музеи. Содеянное им блесит на Английской набережной в Петербурге и лучше меня оправдает его перед потомством.

На сии перемены мог я смотреть равнодушно; скоро, однако же, должны они были коснуться и места моего служения. Лорд Кочубей, который в продолжение пяти лет усиливался при дворе, расширял свое министерство, распространял свою власть, казался первым министром. Для соблюдения пристойности, чтоб явно не изменить исповедуемым им политическим правилам, показывал он вид недовольный, безмолвное порицание, не зная, что и без того уже он сделался неугоден царю. Не будучи слишком богат, а чиновен, горд и расчетлив, он хотел, не разоряясь, жить соответственно притязаниям своим на высокую знатность. Ему одному известны были средства, кои употреблял он, чтобы согласовать великолепие с бережливостью. Сначала дивились, наконец стали приписывать колдовству быстрое и чрезвычайное приращение его состояния, тогда как не уменьшались его расходы; долгов он не делал, помощи от государя не получал и при заботах государственных едва ли имел время заниматься собственными хозяйственными делами. Из двух тысяч не с большим душ выросло у него вдруг до двадцати. В неприятелях недостатка у него не было; надменность его, хотя умеряемая вежливостью, вселяла к нему нелюбовь, которая в иных доходила до ненависти. Оттого пошли толки о тесных связях его с Перещом, с Штиглицом, евреями-миллионерами, кои по его покровительству имели в руках своих важные отрасли государственных доходов. Начали замечать, что из начальников губерний те только пользовались особою его милостью, кои управляли богатейши-

ми из них и умели наживаться; им только беспрестанно выпрашивал он награды. Сии толки, сии подозрения тайными каналами достигли, наконец, до царского слуха.

Князь Алексей Борисович Куракин, бывший два года при Павле генерал-прокурором, можно сказать, генерал-министром, должен был при Александре довольствоваться должностью малороссийского генерал-губернатора и находиться некоторым образом в зависимости своего противника. Призвание его к занятию места Кочубея показывало уже явную немилость к сему последнему.

Во время последней кампании против французов император собственными глазами убедился во многих беспорядках по военному управлению, кои, по мнению его, были причиною последних неудач нашего войска; одною артиллерией, доведенною до совершенства графом Аракчеевым, остался он доволен. Зная, сколь имя сего человека, дотоле одними только отдельными частями управлявшего, было уже ненавистно всем русским, но полагая, что известная его энергия одна лишь в состоянии будет восстановить дисциплину в войске и обуздать хищность комиссариатских и провиантских чиновников, он не поколебался назначить его военным министром вместо Сергея Козьмича Вязмитинова. Еще в ребячестве слышал я, как с омерзением и ужасом говорили о людоеде Аракчееве.

С конца 1796 года по 1801 год был у нас свой терроризм, и Аракчеев почитался нашим русским Маратом. В кроткое царствование Александра такие люди казались невозможны; этот умел сделаться необходим и всемогущ. Сначала был он употреблен им как исправительная мера для артиллерии, потом как наказание всей армии и под конец как мщение всему русскому народу. Давно уже вся Россия говорила о сем человеке; а я не сказал ни одного слова; но здесь только нашел я место вкратце, по-своему, начертать его жизнь и характер, впрочем, всем известные.

Сын самого бедного дворянина Новгородской губернии, он в малолетстве отдан был в артиллерийский кадетский корпус. Одаренный умом и сильною над собою волею, он с ребячества умел укрощать порывы врожденной своей злости: не только покорялся всегда высшим над собою, но, кажется, любил их власть, видя в ней источник, из коего единственно мог он почерпнуть собственную. Не занимаясь изучением иностранных языков, пренебрегая историей, словесными науками до того, что плохо выучился русской грамоте, чуждый совершенно чувству всего изящного, молодой кадет, любя только все расчетливое, положительное, прилепился к одним наукам математическим и в них усовершенствовался. Выпущенный в офицеры, он попал в артиллерийскую роту, которая для потехи дана была наследнику престола и находилась при нем в Гатчине.

Лучшей школы раболепства и самовластия найти бы он не мог; он возмужал среди людей отверженных, презираемых, покорных, хотя завистливых и недовольных, среди этой малой гвардии, которая должна была впоследствии осрамить, измучить и унижить настоящую, старую гвардию. Чувствуя все превосходство свое перед другими гатчинцами, Аракчеев не хотел им быть подобен даже и в изъявлениях холопской своей преданности.

Употребляя с пользою данную ему от природы суровость, он давал ей вид какой-то откровенности и казался бульдогом, который, не смея никогда ласкаться к господину, всегда готов напасть и загрызть тех, кои бы воспротивились его воле. Таким образом приобрел он особую доверенность Павла Первого.

При вступлении его на престол был он подполковник, через два дня после того генерал-майор, в Аннинской ленте и имел две тысячи душ. Не довольствуясь обогащением, быстрым возвышением его, новый император открывал широкое поле его известной деятельности, создав для него новую должность коменданта города Петербурга (не крепости) и в то же время назначив его генерал-квартирмейстером армии и начальником Преображенского полка. На просторе разъяренный бульдог, как бы сорвавшись с цепи, пустился рвать и терзать все ему подчиненное: офицеров убивал поносными, обидными для них словами, а с нижними чинами поступал совершенно по-собачьи: у одного гренадера укусил нос, у другого вырвал ус, а

дворянчиков унтер-офицеров из своих рук бил палкою. Он был тогда еще весьма не стар, не совсем опытен и в пылу молодости спешил по-своему натешиться. Впоследствии выучился он кусать и иным образом. И такие деяния, об ужасе коих не смели ему доложить, почитались милостивцем его за ревностное исполнение обязанностей. Год спустя чрезмерное его усердие изумило самого царя, и в одну из добрых его минут, внимая общему воплю, решился он его отставить и сослать в пожалованную им деревню.

Не более года оставался он в ней. Она была в близости от Петербурга, и как государю стоило, так сказать, протянуть к нему руку, то он и не утерпел, чтобы не призвать приученного им приверженца и не назначить инспектором всей артиллерии. Мне неизвестна причина новой немилости к нему царя; вероятно, наговоры и происки бесчисленных неприятелей; только вторично должен был он удалиться. Вызванный в последний раз, он въезжал в заставу столицы в ту самую минуту, когда прекращалась жизнь его благодетеля.

Сельское житье его было мучительно для несчастных его крестьян, между коими завел он дисциплину совершенно военную. Ни покоя, ни малейшей свободы, ни веселия, плясок и песней не знали жители села Грузина, некогда поместья князя Меншикова. Везде видны были там чистота, порядок и устройство, зато везде одни труды, молчание и трепет. И эта каторга должна была служить после того образцом изобретенных им военных поселений. Непонятно, как мог император Александр, который знал, что в царствование отца его Аракчееву поручено было тайно присматривать за его деяниями, как мог он вновь избрать его начальником всей артиллерии? Не служит ли это доказательством, что личностями умел он иногда жертвовать пользе службы? Войдя раз в частые сношения с молодым императором, он лучше, чем отца его, успел его обольстить своею грубою, мнимо откровенною покорностью; все убеждало Александра в его чистосердечии, самый девиз в гербе, при пожаловании ему Павлом графского достоинства, им избранный: «Без лести предан». Он умел уверить царя, что, кроме двух богов, одного на небе, другого на земле, он ничего в мире не знает и знать не хочет, им одним служит, им одним поклоняется.

В явном несогласии с общим мнением, во многом к нему несправедливым, государь выбором графа Аракчеева в военные министры как будто хотел показать, что он сим мнением не дорожит и более щадить его не намерен.

Чтобы хотя на время дать совершенный покой старику Сергею Кузьмичу Вязмитинову, освободили его и от главного начальства над столицей, назначив военным губернатором князя Димитрия Ивановича Лобанова-Ростовского. Никогда еще ничтожество не бывало самолюбивее и злее, как в этом сокращенном человеке, в этом сердитом карле, у которого на маленькой калмыцкой харе резко было начертано грехопадение, не знаю, матери или бабки его.

Вот почти все новые лица, которые явились тогда на политической сцене у нас. Прежние любимцы мало-помалу, один за другим, начали удаляться: Чарторыжский уехал в Австрию; Кочубей поехал путешествовать за границу; Новосильцев сделан просто сенатором и, получив бессрочный отпуск, поселился в Вене; товарищ министра внутренних дел, граф Павел Строганов, во фраке отличавшийся с казаками против французов, поступил в военную службу генерал-майором. Один только Чичагов сохранил покамест прежнее место.

Благоразумный Сперанский, меняясь с обстоятельствами, потихоньку, неприметным образом, перешел из почитателей Великобритании в обожатели Наполеона, из англичанина сделался французом. Сия перемена в правилах и в образе мыслей была для него чрезвычайно полезна, ибо еще более приблизила его к царю, при особе которого единственно остался он статс-секретарем, получив увольнение от должности своей в министерстве внутренних дел. Вскоре потом назначен он товарищем министра юстиции и управляющим комиссией составления законов. Не в одних двух должностях сих наследовал Сперанский Новосильцеву, но и в беспредельной доверенности, коею сей последний пользовался у Александра, а следующее затем пятилетие есть период, который по всей справедливости получил его название.

Желая испытать, не будет ли новый министр внутренних дел к нему столь же благоклонен, как был генерал-губернатор, брат мой приехал из Пензы чрез Москву и явился к

нему с покорнейшим приветствием от отца моего. Был утешен ласковым приемом Куракина, который меня велел себе представить. Со мною обошелся он как с мальчиком, которого хотят приласкать, и я пока и этим остался доволен.

Неожиданная весть разнеслась в феврале месяце: новая война возгорелась почти у ворот столицы; русские войска вступили в шведскую Финляндию. Зачем или за что? Упрямый король Густав IV думал, что походит на Карла XII, ибо имел некоторые из его странностей, забыв, что не имел совсем воинской его храбрости, забыв его уроны и жалкий конец. Он один из европейских монархов (исключая Англии) не соглашался еще признать Наполеона императором, не хотел с ним мириться. Россия должна была приневолить его ко вступлению в общий союз против острова, враждебного всей твердой земле.

В первый раз еще, может быть, с тех пор как Россия существует, наступательная война против старинных ее врагов была всеми русскими громко осуждаема, и успехи наших войск почитаемы бесславием. Как бы то ни было, наши солдаты, под предводительством главнокомандующего графа Буксгёвдена, делали свое дело, шли все вперед, встречая мало сопротивления, находя даже помощь в измене многих недовольных королем.

С напряженными силами начала Швеция защищаться. Говорить об этой войне мне еще придется; но описывать даже начало ее, кажется, не мое дело. Истинно военные люди всегда находят причины ко всякой войне справедливыми: им лишь бы подраться. Вот почему зять мой скорбел о том, что расстройство, неисправность полка осуждают его на мирное пребывание в уездном городе Тихвине, куда в марте месяце велено было ему полк сей отвести.

В это время внезапный упадок государственного кредита производил чрезвычайное уныние и как будто оправдывал жалобы людей, более других вопивших против союза с Наполеоном. Не знаю, правда ли, что разрыв с Англией и остановка морской торговли были тому причиной. Я могу только судить о действиях и об них только могу здесь упомянуть. Ассигнационный рубль, который в сентябре еще стоил 90 копеек серебром, к 1 января 1808 года упал на семьдесят пять, а весною давали за него только 50 копеек серебром; далее и более, через три года серебряный рубль ходил в четыре рубля ассигнациями. Для помещиков, владельцев домов и купечества такое понижение курса не имело никаких вредных последствий, ибо цены на все продукты по той же мере стали возвышаться. Для капиталистов же и людей, живущих одним жалованьем, было оно сущим разорением; кажется, с этого времени начали чиновники вознаграждать себя незаконными прибытками. Людям, недавно купившим в долг имения на ассигнации, понижение курса послужило обогащением и спасением вообще всем задолжавшим.

После недовольного Петербурга, поглядев на беспечную Москву с удовольствием, не совсем для нее лестным, я отправился в Пензу.

Давно, очень давно, прежде описываемого мною времени, близ Пензы жил счастливо один добродушный и богатый помещик, Аполлон Никифорович Колокольцев, степенный, кроткий, всеми уважаемый. Молодая, веселая и прекрасная жена Елисавета Григорьевна и вокруг нее пять цветущих младенцев были радостью его жизни, как вдруг злой судьбе захотелось посетить его жесточайшею из печалей. Внутри России войска весьма редко проходят через города, а еще реже останавливаются в них; беспрестанные войны и великое протяжение границ требуют там их присутствия; когда же невзначай показываются среди жителей, к ним непривычных, то обыкновенно горе мужьям и родителям! После Пугачевского бунта какой-то драгунский полк целый год простоял в Пензе на бессменных квартирах; им начальствовал не старый еще полковник Петр Алексеевич Исленьев, смелый и предприимчивый, рослый и плечистый. Он умел понравиться госпоже Колокольцевой; однако же сия связь оставалась неизвестною не только доверчивому супругу (мужья суть обыкновенно последние, до коих такого рода тайны доходят), но и всем любопытным кумушкам обоего пола, коими провинциальные города всегда так наполнены.

Наконец, полк должен был выступить, и для любовников пришла минута разлуки. Они, то есть более она была в отчаянии и решилась, по мнению моему, на дело преступное. Желая

последний раз угостить мнимого друга, которого полк был уже на дороге, несчастный Колокольцев пригласил всю Пензу на прощальный для него пир в свое село Грабовку. Он едва заметил смущение, в коем хозяйка села за стол; когда же поднялась чаша за здоровье отъезжающего, она вдруг встала и, заливаясь слезами, объявила, что не имеет сил с ним расстаться и готова следовать за ним всюду. Все гости поражены были сим театральным ударом, вероятно, приготовленным самим Исленьевым, которому желалось целый город сделать свидетелем торжества своего и стыда почтенного Колокольцева. Сей последний от изумления онемел; любовь превозмогла справедливый его гнев, он пал к ногам виновной, прощая ее заблуждение, именем детей умолял ее не покидать их и его. Она колебалась, когда Исленьев показал в открытое окошко, как солдаты его выносят сундуки и чемоданы, в которые накануне тайком уложила она свои пожитки. Колокольцев велел было дворне своей остановить солдат; Исленьев указал на стоящий вблизи на конях вооруженный эскадрон, готовый по знаку его окружить дом и сделать всякое сопротивление невозможным. Кроме дневного разбоя, трудно такому поступку приискать приличное название. Хозяйка и гости поспешно оставили дом, за час до того шумный и веселый; он опустел и наполнился единою горестью.

Если не люди, то справедливое небо почти всегда наказывает преступления. Долго странствовала госпожа Колокольцева, таскаясь беспрестанно по походам за соблазнителем своим; она претерпевала всякого рода нужды, в городах чуждалась общества, но некоторое время все была утешена продолжающеюся его привязанностью. Между тем он, как будто для приличия, женился; законную жену держал в Москве, а наложницу при полку или бригаде на полевой ноге. Время шло и поневоле все более их связывало; она старелась, он холодел к ней; кончилось тем, что она надоела, омерзела ему, и, сколь они оба ни желали того, ни он отвязаться от нее, ни она оставить его долго не могли. Наконец решился он эту Ариадну бросить в нищете где-то на берегу Азовского моря<sup>53</sup>.

Там нашли ее дети ее, давно уже совершеннолетние. Соединенными мольбами склонили они оскорбленного отца дать кров у себя в доме блудной жене, более двадцати пяти лет от него отлучившейся. Милосердия двери отверзлись перед ней, а прежняя любовь за нею их затворила. Дело удивительное! Престарелый Колокольцев влюбился в обесчещенную старуху столь же страстно, как некогда в нее же, свою непорочную невесту. Счастье и спокойствие, блиставшие на первой заре ее жизни, осветили опять и вечернюю.

Грабовка была оставлена владельцем своим; он уединился во вновь построенном для себя убежище, в другой, более отдаленной от города деревне; там принял он заблудшую овцу свою. Глядя на сих старых, нежных супругов, подумал я: кто бы мог вообразить, чтобы в промежутке начала и конца согласной их жизни был ужасный, даже отвратительный роман.

Надобно рассказать, каким образом, в первый раз еще во время управления отца моего Пензенскую губернией, велено было ревизовать ее. После отставки Белякова никто не назначен был саратовским губернатором. Временно управлял губерниею вице-губернатор Алексей Давыдович Панчулидзе. Это такое лицо, которое давно желал изобразить я; недоставало только к тому удобного случая.

Кажется, нет ни одного народа ни в Европе, ни в Азии, коего бы представители, образчики, не находились в русской службе и, следовательно, наконец, не делались русскими дворянами, отчего сие сословие у нас так отличается от других, чисто русских, и становится помесью всех пород. Некто Давыд Панчулидзе, выходец из Грузии, вероятно, в числе слуг грузинских царевичей, по временам в России поселяющихся, получил какой-то небольшой чин, а сыновей успел определить в казенные учебные заведения, в кадетские корпуса, и они все вышли в люди. Грузинцы вообще не славятся великим умом, но на что он годится? И для успехов не во сто ли раз полезнее хитрость, свойственная всем жителям поработанной Азии? Старший сын Давыда, Алексей Панчулидзе, с 14 класса служил в казенной палате и, не покидая ее, дослужился до чина статского советника и должности вице-губернатора. Можно себе представить, какую

<sup>53</sup> Мерзкие поступки не мешали Исленьеву быть отменно храбрым и искусным воином. Его неимоверному мужеству приписывал отчасти Суворов удачный штурм Праги. — *Авт.*

великую опытность приобрел он в финансовых делах столь богатой губернии. Два раза был он вдовцом и женился в третий раз; но приданое всех трех супругов далеко не было достаточно, чтобы поддержать то великолепие, коим изумлял он в Саратове. Не один принадлежащий ему огромный и поместительный дом, а два или три, соединенные между собою галереями, и при них множество служб, обширный двор и бесконечный сад, почти вне города, занимали более пространства, чем увеселительные замки многих из немецких владетельных князей. Этот очарованный замок служил гостиницей и ловушкой для всех приезжих из обеих столиц и других провинций; во время пребывания их в Саратове каждый из них пользовался в нем помещением, освещением, отоплением, столом и прислугой. Этого мало: библиотека, каждый год умножаемая вновь издаваемыми книгами на русском и иностранных языках, в которую сам хозяин никогда не заглядывал, была к услугам малого числа читающих его посетителей; оркестр, при коем находились два-три немца капельмейстера, должен был при изъявлении малейшего желания тешить столь же малое число любителей музыки; конюшня его, наполненная славными рысаками, и псовая охота были в распоряжении его гостей более, чем в его собственном. Возможно ли было устоять против обольщений столь милого хозяина в месте, исключая дома его, лишенном всяких забав?

Все это было для иногородных; для служащих же в Саратовской губернии был он еще более дорог и полезен: карман его сделался каналом, чрез который протекая, Пактол [река в Лидии, с золотым песком] делился на мелкие ручьи и разливался по тощим их нивам. Бескорыстным губернаторам (кажется, был один таковой, Нефедьев) умел он угождать всем, чем, исключая денег, угождать только было можно; с другими ладил он посредством дележа. Все оставались довольны, все восхваляли всецелого, чудесного вице-губернатора; все знали, к сотворению таких чудес какие употреблял он средства, и все согласно молчали о том. Но вы не знаете о том, читатель; объяснить ли вам сию тайну? Не говоря о множестве других богатых источников, между коими откупная часть, продажа горячего вина, может почитаться не последним, в Саратовской губернии находится один неисчерпаемый кладезь, Елтонское соляное озеро: теперь вы понимаете, я надеюсь. Скажите, что такое казна? Общественный капитал. После того можно ли почитать похищением ее все то, что употреблено для пользы общества? Такими рассуждениями многие, вероятно, извиняли г. Панчулидзева, все те, в коих оставалось сколько-нибудь совести.

Он сам своею особой был вовсе не любезен; мал ростом, бледен, долгонос, угрюм и молчалив; яблонное дерево совсем не красиво, а любят его, ибо плоды его вкусны и сочны. Единственною или, по крайней мере, главною его страстью было расчетливое тщеславие. Никогда, ничего и никого не позволял он себе осуждать; напротив, ко всем порокам был более чем снисходителен, смотрел на них одобрительно, всех запятнанных людей утешал своим участием. Это уже много.

Он делал еще более: не восставал даже против честности, никогда не преследовал ее, почитая ее весьма извинительным заблуждением ума и рассчитывая, что, сколь ни постоянно она гонима в России, однако же по временам честные люди подымаются в ней и делаются сильны.

Пока он после Белякова временно управлял губернией, показалась в ней какая-то повальная болезнь. Действительно ли он испугался, или хотел придать более важности своему донесению, но он представил министру, что у него открылась чума. В таких случаях туда, где нет генерал-губернаторов, для скорейшего прекращения зла посылаются обыкновенно сенаторы с особенным полномочием; выбор же предоставляется министру внутренних дел. Князь Куракин предложил государю Козодавлеву, преданного ему и им взысканного человека, во время его генерал-прокуратуры бывшего обер-прокурором Сената, а потом герольдмейстером. В конце февраля отправился он со свитою чиновников в Саратов.

Такого ли человека, как Панчулидзева, стал бы такой человек, каков был Козодавлев, уличать во лжи или обвинять в ошибке, которая ввела правительство в чрезвычайные, совсем излишние издержки? К тому же, прилично ли было сенатору прокатиться даром и, наделав

шуму, подобно синице, не зажечь моря? Все меры приняты, расставлены карантинны, оцеплены деревни, а от страшной заразы умерло всего девять человек. Не трудно было к сему числу прибавить нуль, и сколько ни мало оно еще было, уверить в донесении, что если тысячи не погибли, то отчасти государство должно за то благодарить бдительность неумолимого вице-губернатора. Месяца два с половиною прошли прежде, чем сделано было это донесение, тогда только зародыши, самые следы жестокой язвы были совершенно истреблены. Мнимая чума совсем кончилась, а началось настоящее, продолжительное, нравственное опустошение Саратовской губернии: Панчулидзева назначен губернатором.

Сколь звание сие не лестно было для его самолюбия, он, безусловно, принять его не мог. Сделать его губернатором, лишив его Елтонского озера<sup>54</sup>, значило то же, что, подобно Антею, возвысить его, отделив от земли. Что такое был бы он без соляного озера? Самсон без волос. В удовольствие его, управление соляною частью перенесено и причислено к должности гражданского губернатора.

Чтобы продлить на все лето приятное вне столицы сенаторское пребывание Козодавлева, министр внутренних дел придумал испросить ему приказание проездом обозреть Пензенскую губернию.

Тут был еще тайный умысел князя Куракина, как после сие открылось; в секретном письме просил он Козодавлева именем старой дружбы расхвалить все, даже то, что не найдет он слишком исправным. Не мне осуждать его за то.

Осип Петрович и Анна Петровна Козодавлевы родились в одном году и в одном городе; потом встретились, влюбились, женились и, наконец, в одном и том же году оба умерли.

Сама природа приготовила их друг для друга, и судьба споспешествовала их соединению. Столь согласных и нежных супругов встретить можно было не часто; учению апостола касательно браков «да будет две плоти во едино» следовали они с точностью. Действительно они были как бы одно тело, из коего на долю одному достались кожа да кости, а другой мясо и жир. Каждый отдельно являлся более или менее дробью; только в приложении друг к другу составляли они целое. Оттого во всю жизнь ни на одни сутки они не разлучались; к счастью, Осип Петрович не был воин, не то Анна Петровна сражалась бы рядом с ним. Оба замечательны были одинаковым безобразием, и что еще удивительнее, в обоих оно было не без приятности. Им было тогда за пятьдесят лет; следственно, в молодости это безобразие могло быть и привлекательно, и тем объясняется взаимная их страсть.

Давно уже окончены были ничтожные дела, порученные в Пензе рассмотрению Козодавлева, а он все медлил отъездом, которого мы ожидали с нетерпением, несмотря на ласки, на любезности, нам расточаемые как им самим, так и окружающими его.

Наконец, в августе месяце, который у нас считается первым осенним, начались их сборы к отъезду.

Мне также была пора скоро воротиться в Петербург; до зимнего пути было еще далеко, а поздний осенний в тогдешнее время, еще более чем теперь, у нас была настоящая пытка.

От частых перемен в температуре я простудился, и в самый день приезда моего в Москву схватила меня лихорадка; но два-три дня были для меня достаточны, чтоб от нее освободиться. Французская труппа с Филисой из Петербурга находилась тогда на время в Москве; я пошел ее смотреть во вновь открытый, деревянный обширный, прекрасный театр на Арбатской площади, который был построен взамен сгоревшего старого каменного Петровского театра и который через четыре года сам должен был сделаться жертвою пламени. Одного только знакомого встретил я там, и то довольно нового; обрадовался же я Жуковскому, как будто век с ним жил. Цвет поэзии в нем только что совершенно распустился, и в непритворных, неискusstvenных, веселых разговорах благоухала вся душа его. Мне показалось, что я в Петербурге во французском театре сию с Блудрвым; об нем мы не наговорились, поневоле должен был я несколько лишних дней пробывать в Москве.

<sup>54</sup> В то время доходные статьи казначейства находились в ведении местных вице-губернаторов, которые в этом отношении подчинялись непосредственно министру финансов; в остальном вице-губернаторы подчинены были губернаторам.



Со смелостью почти безрассудною, свойственною одним только русским, на трех указанных им пунктах, в половине марта, генералы со вверенным им войском совершили чудесно-геройские свои подвиги [в войне с Швецией]; особенно же Багратион и Барклай, кои в продолжение трех или четырехдневного перехода, при малейшей перемене ветра, могли быть поглощены морскою бездною. Барклай из Вазы в Умео перешел залив через Кваркен, группу необитаемых скал среди моря. Багратион овладел Аландскими островами, а передовой отряд его, под начальством генерала Кульнева, на противоположном берегу занял Гриссельгам в виду шведской столицы.

В трепетном ожидании сам император Александр отправился в Абов. Весь план этого необычайного похода был им самим составлен; ему хотелось показать миру, что вступать в столицы, подобно Наполеону, для него дело также возможное. И что же? Воля его исполнена, войско его не погибло, а он воскипел гневом и отчаянием. При появлении русских вблизи Стокгольма сделался там бунт, и несчастный Густав IV, действительно несколько помешанный, был свергнут с престола, на который посажен дядя его, герцог Зюдерманландский под именем Карла XIII. Узнав о том, рассудительный, благоразумный немец Кнорринг [главнокомандующий] в сем домашнем перевороте увидел конец войны и, не проникнув намерений императора и не дожидаясь дальнейших его повелений, думал сделать ему угодное, дав приказание генералам идти обратно тем же опасным путем. Я бы, мне кажется, его задушил; терпеливый Александр удовольствовался наказать убийственно-презрительными словами и взглядами. Этот пример должен был показать государю, что на все решительное, отчаянное предпочтительно должно употреблять русских; он бы вспомнил Беннигсена после Прейсиш-Эйлау и мог бы убедиться, что часто немецкая осторожность отнимает у нас весь плод наших успехов. Именем царя дали Кноррингу почувствовать, что ослу не довлеет оставаться начальником армии. На его место назначили Барклая-де-Толли, которого вместе с Багратионом произвели в полные генералы; последнему дали другое назначение.

Знакомство одно, сделанное мною незадолго перед этим, несколько поколебало верование мое в продолжительный и для нас полезный союз с Наполеоном. У Хвостовой встречался я с Михаилом Александровичем Салтыковым<sup>55</sup>, человеком чрезвычайно умным, исполненным многих сведений, красивым и даже миловидным почти в сорок лет и тона самого приятного. Пасынок сильного при дворе Екатерины Петра Богдановича Пассека, с фамильным именем довольно громко в России звучащим, но с состоянием весьма ограниченным, мог он только почитаться полузнатным. Хотя, как настоящий барин, получил он совершенно французское образование, был, однако же, у других молодых бояр целым поколением впереди. Классиков века Людовика XIV уважал он только за чистоту их неподражаемого слога, более же пленялся роскошью мыслей философов восемнадцатого века; но тех и других готов он был повергнуть к ногам Жан-Жака Руссо; в нем все было: и чувствительность, и воображение, и мысли, и слог. После него признавал он только двух хороших писателей: Бернардена де-Сен-Пьера в прозе и Делиля в стихах. О немецкой, об английской литературе не имел он понятия; на русскую словесность смотрел он не так, как другие аристократы, гордо отворачивающиеся от нее, как от уроды, при самом рождении умирающего, а видел в ней невинного младенца, коего лепет может иногда забавлять. В первой молодости был он уже подполковником и адъютантом князя Потемкина, и если далее не пошел вперед, то сам был виноват. Он был из числа тех людей, кои, зная цену достоинств и способностей своих, думают, что правительство, признавая в них оные, обязано их награждать, употребляют ли, или не употребляют их на пользу государственную. Как все люди честолюбивые и ленивые вместе, ожидал он, что почести без всякого труда, сами собою должны были к нему приходить. Во время революции превозносил он жирондистов, а террористов, их ужасных победителей, проклинал; но как в то время у нас не видели большой разницы между Барнавом и Робеспьером, то едва ли не прослыл он

<sup>55</sup> Это был один из фаворитов Екатерины II, на очень короткий срок заместивший у нее Платона Зубова. Отчим его П. Б. Пассек — один из убийц Петра III. Дочь Салтыкова, Софья, была позднее замужем за поэтом А. А. Дельвигом. До того у нее был трогательный роман с декабристом П. Г. Каховским.

якобинцем. Всегда и всеми недовольный, кинул он службу и общество и в среднем состоянии нашел себе молоденькую жену, француженку, дочь содержательницы пансиона Ришар. При Павле его было не слышать, не видеть. При Александре республиканец пожелал и получил камергерский ключ, который дал ему четвертый класс и который в старину одним открывал путь к дальнейшим почестям, а для других запирали его навсегда. Он сердился, что не получает места, и никого не хотел удостоить просьбою о том. Несколько позже стал он занимать довольно важные должности, но по незнанию дел, по совершенному презрению к ним все, места умел превращать в синекуру. Он всегда имел вид спокойный, говорил тихо, умно и красно. Обольщенный им, я обрадовался, когда вздумалось ему в первый раз пригласить меня к себе. С величайшим хладнокровием хвалил он и порицал; разгорался же только нежностью, когда называли Руссо, или гневом при имени Бонапарте. Не знаю, какое чувство, монархическое ли, врожденное во всяком русском, или привитое республиканское (не оба ли вместе?) так сильно возбуждали его против похитителя престолов и истребителя свободы; только никто столь убедительно не проповедовал против него, как этот Салтыков. Как ни больно мне было сознаться, что я ошибался, он заставил меня сие сделать.

После неудачной попытки на Стокгольм государю надоела шведская война, и он желал кончить ее добрым миром. Новый старый король не смел еще подаваться на него, ибо война сделалась национальной, и она медленно продолжалась. Один только корпус Шувалова оставался действующим.

Ничего не могло быть удивительнее мнения публики, когда пушечные выстрелы с Петропавловской крепости 8 сентября возвестили о заключении мира, и двор из Зимнего дворца парадом отправился в Таврический для совершения молебствия. Все спрашивали друг у друга, в чем состоят условия. Неужели большая часть Финляндии отходит к России? Нет, вся Финляндия присоединяется к ней. Неужели по Торнео? Даже и Торнео с частью Лапландии. Неужели и Аландские острова? И Аландские острова. О, Боже мой! О, бедная Швеция! О, бедная Швеция! Вот что было слышно со всех сторон. Пусть отыщут другой народ, в коем бы было сильнее чувство справедливости, англичане не захотят тому поверить. Русские видели в новом завоевании своем одно только беззаконное, постыдное насилие. Во всей России, дотоле славной и без потерь владений униженной все более и более, господствовала одна мысль, что у нее, именно у нее, а не у государя ее, есть на Западе страшный соперник, который должен положить преграду величественному течению ее великих судеб, если сама она не будет уметь потушить сей блестящий, ей грозящий метеор. С самого Тильзитского мира смотрела она на приобретения свои с омерзением, как на подачки Наполеона.

Те из русских, кои несколько были знакомы с историей, не столько негодовали за присоединение Финляндии, сколько благодарили за то небо.

Обессиление Швеции упрочивало, обеспечивало наши северные владения, коих сохранение с построением Петербурга сделалось для нас необходимым. Если спросить, по какому праву Швеция владела Финляндией? По праву завоевания, следовательно, по праву сильного; тогда тот из соседей, который был сильнее ее и воспользовался им, имел еще более ее прав. К тому же, самое название Финляндии, земли финнов, не показывает ли, что жители ее суть соплеменные множеству других финских родов, подвластных России, внутри ее и на берегах Балтийского моря обитающих?

Когда я начал знать Сперанского, из дьячков перешагнул он через простое дворянство и лез прямо в знатные. На новой высоте, на которой он находился, не знаю, чем почитал он себя; известно только, что самую уже знатность хотелось ему топтать. Пример Наполеона вскружил ему голову. Он не имел сына, не думал жениться и одну славу собственного имени хотел передать потомству. Он сочинил проект указа, утвержденный подписью государя, коим велено всем настоящим камергерам и камер-юнкерам, сверх придворной, избрать себе другой род службы, точно так, как от вольноотпущенных требуется, чтобы они избрали себе род жизни. Несколько трудно было для превосходительных и высокородных, из коих некоторые были лет сорока, приискание мест, соответствующих их чинам (в коллегии не определяли новых

членов); по несколько человек посадили их за обер-прокурорские столы, других рассовали по министерствам. Чувствуя унижение свое, никто из них, даже те, которые имели некоторые способности, не хотели заняться делом, к которому никто не смел их приневоливать.

Все после этого указа вновь жалюемые камергеры и камер-юнкеры должны были оставаться в тех чинах, в коих прежде находились, и все сии малочинные, так же как и чиновные, должны были занимать какую-нибудь должность в гражданской службе. Можно ли было ожидать от графчика или князька, наследника двадцати, тридцати или пятидесяти тысяч душ, чтобы он охотно, в звании канцелярского служителя, подчинил себя засаленному повытчику и по его приказанию переписывал бумаги? В России всякий несправедливый закон исправляется неисполнением его. Все эти баричи числились только по департаментам, а главное начальство само способствовало их повышению.

Этим указом с своею знатью похристосовался государь в день Светлого воскресенья. Между нею произвел он некоторый ропот; дворяне же и разночинцы тому обрадовались, особенно же те, кои, подобно мне, воспитанием, образованием своим почитали себя равным баричам, но дотоле не смели им завидовать.

Спрашивается после этого: не сам ли государь возбуждал подданных своих к идеям о равенстве и свободе? Как никто не умел тогда заметить, что от этого единого удара волшебного царского прутика исчез существовавший у нас дотоле призрак аристократии. Сперанскому хотелось республики, в том нет никакого сомнения. Но чего же хотелось Александру? Неужели представительного монархического правления? Оно нигде без высших, привилегированных сословий не существовало. Ему хотелось турецкого правления, где один только Оттоманский род пользуется наследственными правами и где сын верховного визиря рождается простым турком и наравне с поселянином платит подать.

Указ, о коем говорю, был только прелюдием другого более жестокого и несправедливого указа: великий преобразователь России Сперанский объявил его в день Преображения Господня, 6 августа. Он давно смотрел с негодованием и некоторою завистью на молодых дворян, которые без больших трудов подвигались в чинах, благодаря покровительству родных и друзей их семейств. Нельзя этого одобрять, однако же и никакой большой беды от того не было. Чины не были так расточаемы, как ныне, сохраняли еще свою цену; люди были умереннее в своих желаниях, и немногие упорно лезли вверх. Чины получать даром можно было только в Петербурге, и немногие соглашались оставаться в нем целую жизнь. Было много и таких людей, кои не почитали обязанностью часто посещать департаменты, к коим принадлежали, лучше сказать, были только приписаны и не хотели изнурять, убивать умственные свои способности ежедневными мелочными канцелярскими трудами. Тех и других задумал Сперанский уничтожить одним ударом.

До 1803 или 1804 года во всей России был один только университет, Московский, и не вошло еще во всеобщий обычай посылать молодых дворян доканчивать в нем учение. Несмотря на скудость тогдашних средств, родители предпочитали домашнее воспитание, тем более что при вступлении в службу от сыновей их не требовалось большой учености. Не прошло двух или трех лет после основания Министерства народного просвещения, как вдруг учреждены и уже открыты пять новых университетов. У нас на Руси все так быстро делается: да будет сеет и бысть. Несмотря, однако же, на размножение сих наскоро созданных университетов, число учащихся в них было невелико. Государь и без того уже не слишком благоволил к своим русским подданным; Сперанский воспользовался тем, чтобы их представить ему как народ упрямый, ленивый, неблагодарный, не чувствующий цены мудрых о нем попечений, народ, коему не иначе как насильно можно творить добро. Вместе с тем увеличил он в глазах его число праздношатающих молодых дворян-чиновников. Сего было более чем достаточно, чтобы склонить царя на принятие такой меры, которая, по уверениям Сперанского, в будущем обещала большую пользу гражданской службе, а в настоящем сокрушала все надежды на повышение целого, почти без изъятия, бесчисленного сословия нашего.

Что распространяться о содержании указа, многие лета многими тысячами проклинаемого? Скажем о нем несколько слов. Для получения чинов статского советника и коллежского асессора обязаны были чиновники представлять университетский аттестат об экзамене в науках, в числе коих были некоторые, о коих они прежде и не слыхивали, кои по роду службы их были им вовсе бесполезны, как, например, химия для дипломата и тригонометрия для судьи, и которые тогдашние профессора сами плохо знали.

Нелепость этого указа ослабляла в общем мнении всю жестокою его несправедливость.

Никто не хотел верить, чтобы строгое его исполнение было возможно. Все полагали, что оно, после временной остановки в производстве, будет только относиться к юношам, вновь поступающим на службу. Как бы на смех, как бы на зло правительству, университеты долго еще оставались почти пусты; ни старый, ни малый, ни служащий, ни служивший, ни даже приготовляющийся на службу не спешили посещать их. С своей стороны цари не любят сознаваться в ошибках, и Александр в этом случае никак не хотел уступать всеобщему ропоту. В продолжение всего царствования его указ этот отменен не был; только гораздо позже последовали в нем некоторые изменения.

Зло, им причиненное, неисчислимо, хотя совсем не то, которого мог ожидать Сперанский. От всюду рассеянных и везде возрастающих неудовольствий чего мог ожидать он, если не смут, заговоров и возмущений, в виду торжествующего Наполеона? В случае неудачи мог Сперанский надеяться другого. «Сыновья людей духовного звания учатся все в семинариях, — думал он, — почти все ни не любят отцовского состояния и предпочитают ему гражданскую службу, множество из них в ней уже находится. Семинарским учением приготовленные к университетскому, они и ныне составляют большую часть студентов их: новый указ их всех туда заманит. Придавленные им дворянчики не захотят продолжать службы; пройдет немного времени, и управление целой России будет в руках семинаристов».

Так верно думал он, но не совсем так случилось. В одном он только не ошибся: самолюбие заставляло служить почти всех дворян.

Мы видели людей с седеющими волосами, покупающих книги, будто их изучающих, и смело потом идущих в университеты на экзамены, как на торговую казнь. Без тайного у них согласия с экзаменаторами (впрочем, весьма несведущими) не могли бы они получить аттестата. Последних надобно было задобрить. Итак, гнусное лихоимство, благодаря Сперанскому, проникло даже в святилище наук. Люди, дотоле известные чистотою правил, бессребреники-профессора осквернились взятками. Несколько позже, проведая о том, молодые дворяне, желающие вступить в службу, не брали труда ходить слушать лекции, а просто за деньги получали аттестат, открывающий им дорогу к почестям: самый нежный возраст научался действовать подкупом. Лет пять так продолжалось, пока не приняты были меры к пресечению постыдного торга ученостью.

Когда при вступлении на престол Павел наследника своего сделал шефом Семеновского полка, Иван Иванович Дмитриев был в нем капитаном. Мужественная красота его поразила юношу; остроумие его забавляло и пленяло однополчан, тогда как в то же время какая-то природная важность в присутствии его удерживала лишние порывы их веселости: они почтительно наслаждались им. Из офицеров тогдашней гвардии немногие отличались образованностью; зато все они, почти без изъятия, подобно Дмитриеву, гордились известностью, древностью благородных своих имен. В самом же Дмитриеве (пусть ныне назовут это предрассудком) старинный дворянин был еще чувствительнее, чем поэт и офицер. Оттого товарищи еще более любили его, в этом только почитали себя ему равными, во всем же прочем признавали его первенство между собою. По какому-то недоразумению схвачен был он (разумеется, при Павле) и как преступник посажен в крепость. Не прошло суток, как истина открылась, и он призван в кабинет царя, куда явился с покорностью подданства и смелостью невинности. Павел восхитился им и, по обыкновению своему, переходя из одной крайности в другую, из гвардии капитанов произвел его прямо в обер-прокуроры Сената, с определением на первую могущую

открыться вакансии. Вот в каких обстоятельствах узнал его Александр и после того всегда сохранял о нем высокое мнение.

Как стихотворец, будет всегда занимать он на русском Парнасе замечательное место. До него светские люди и женщины не читали русских стихов или, читая, не понимали их. Не было середины: с одной стороны Ломоносов и Державин, с другой Майков и Барков, или восторженное, превыспреннее, или площадное и непотребное, ода «Бог» или «Елисей». Скажут, конечно, что Княжнин прежде его написал в стихах две хорошие комедии — «Хвастун» и «Чудаки»: да разве в них есть разговорный язык хорошего общества? Доказав «Ермаком» и «Освобождением Москвы» все, что в лирическом роде он в состоянии сделать, не от бессилия перешел он к другому, на первый взгляд более легкому роду. Его «Модную жену», «Воздушные замки» и даже множество песенок начали дамы знать наизусть. С недостижимых для публики высот свел он Музу свою и во всей красе поставил ее гораздо выше гниющего болота, где воспевали Панкратий Сумароков и ему подобные: одним словом, он представил ее в гостиных. То, что предпринял он в стихах, сделал в прозе земляк его, друг и брат о Аполлоне, Карамзин, и долго оба они сияли Москве, как созвездие Кастора и Поллукса.

Государь не ошибся, избрав министром юстиции поэта Дмитриева; но только не поэта, а коренного русского человека по отцу и по матери. Дмитриев, который, может быть, никогда не думал о судебной части, должен был заняться ею, вследствие счастливого каприза императора Павла. С его необыкновенным умом, с его любовью к справедливости, ему не трудно было с сею частью скоро ознакомиться, и русское правосудие сделало в нем важное приобретение. Но оно отвлекало его от любимых его стихотворных занятий, коим надеялся он посвятить всю жизнь, и несколько лет провел он в отставке. Желая уму его дать более солидную пищу, Александр сделал его сперва сенатором, а вскоре потом министром. Тогда не был я столь счастлив, чтобы лично с ним познакомиться (это случилось гораздо позже), но как все короткие приятели мои пользовались его благосклонностью, которую впоследствии и на меня простер он, то и тогда я уже знал характер его, как будто век с ним жил. Как во всяком необыкновенном человеке, было в нем много противоположностей: в нем все было размеренно, чинно, опрятно, даже чопорно, как в немце; все же привычки, вкусы его были совершенно русского барина: квас, пироги, паче всего малина со сливками были его наслаждением. Любил он также и шутов, но в них посвящал обыкновенно чванных стихоплетов. Многие почитали его эгоистом потому, что он был холост и казался холоден. Любил он немногих, зато любил их горячо; прочим всегда желал он добра; чего требовать более от человеческого сердца? Крупные и мелкие московские литераторы всегда составляли его семью, общество и свиту: в молодости и в зрелых годах был он их коноводом, в старости патриархом их. Человека, не имеющего никаких слабостей, мне кажется, любить нельзя, можно ему только что дивиться; Дмитриев, с прекрасными свойствами истинных поэтов, имел некоторые из их слабостей: в нем была чрезвычайная раздражительность и маленькое тщеславие. С этою приправкой самая важность его, серьезный вид делались привлекательны.

Министром народного просвещения назначен был граф Алексей Кириллович Разумовский, попечитель Московского университета. Он также посещению Москвы государем был обязан за его выбор. Все сыновья добродушного, ко всем радушного Кирилла Григорьевича были не в него спесивы и недоступны. А казалось бы, ему скорее можно было в молодости зазнаться при быстром переходе от состояния пастуха к званию гетмана Малороссии, от нищеты к несметному богатству. Все они воспитаны были за границей, начинены французскою литературой, облечены в иностранные формы и почитали себя русскими Монморанси<sup>56</sup>. Трое из них были просто любезные при дворе и несносные вне его аристократы; один, Андрей, был известным дипломатом, а двое, Григорий и Алексей, предали наукам, первый минералогии, последний ботанике. Может быть, Линней и был бы хорошим министром просвещения, но между ученым и только что любителем науки великая разница. Из познаний своих делал граф Алексей Разумовский то же

<sup>56</sup> Герцог М. Монморанси (1760—1826) участвовал в войне за независимость американских колоний; в начале французской революции примкнул к ней, но вскоре эмигрировал и вернулся на родину после террора.

употребление, что и из богатства: он наслаждался ими один, без малейшего удовольствия, без всякой пользы для других. В подмосковном великолепном поместье своем Горенках, среди царской роскоши, заперся он один с своими растениями. Тогда все почиталось великою ученостью; от любезных ему теплиц оторвали его, чтобы поручить ему рассадники наук: казалось, право, что русское юношество считали принадлежащим к царству прозябаемых. Еще раз должно сказать, что все эти баричи, при Екатерине и после нее, на французский знатный манер воспитанные, в делах были ни к чему не годны, следственно, с властью и вредны; и к сотням доказательств того принадлежит Разумовский. Никакой памяти не оставил он по себе в министерстве. Он имел одну только незаконную славу быть отцом Перовских.

После кончины графа Васильева надеялся Дмитрий Александрович Гурьев быть его преемником; но всем известная, высокая, огромная его неспособность до того не допустила. Голубцова сделали управляющим министерством; а Гурьеву, старее его чином, нельзя было оставаться его товарищем. С тех пор не переставал он думать об этом министерстве и тайно интриговать о получении его.

Другой раз встречаюсь я с этим Гурьевым, одним из долговечнейших наших министров, и все как будто избегаю входить на счет его особы и управления в какие-либо подробности. Признаюсь, предмет не самый приятный; но так и быть, начну *ab ovo*, с яйца, из которого он вылупился. Если верить словам одного старинного рассказчика, бывшего при дворе Екатерины, не покидавшего Петербурга, знающего настоящих отцов многих из нынешних пожилых уже людей, яйцо это было не орлиное. Большие баре в старину любили камердинеров своих, домоправителей, управителей выводить в чины; они гордились этим, они даже смотрели равнодушно, иные даже с удовольствием, как, распоряжая их имениями, эти люди наживали собственные; в моей молодости это я еще помню. Один из сих управителей, отец Гурьева, был чрезвычайно любим своим господином, которого рассказчик мой, Сергей Васильевич Салтыков, назвать мне не умел, но говорил как о деле, в его время всем известном. Не только отпустил он его на волю, не только доставил ему штаб-офицерский чин, но малолетнего его сына позволил воспитывать с собственными детьми. Когда мальчик вырос, отец его имел уже хорошее состояние и мог, записав его в артиллерию, дать ему приличное содержание. Гурьев никогда не был ни хорош, ни умен; только в те поры был он молод, свеж, дюж, бел и румян, вместе с тем чрезвычайно искателен и угодителен; ему хотелось во что бы ни стало попасть в люди, и слепое счастье услышало мольбы его. Он случайно познакомился с одним молодым, женоподобным миллионером, графом Павлом Мартыновичем Скавронским, внуком родного брата Екатерины I, отправлявшимся за границу. Гурьев умел ему полюбиться, даже овладеть им, и более трех лет странствовал с ним по Европе. Этот молодой Скавронский, как говорят, был великий чудак: никакая земля не нравилась ему, кроме Италии, всему предпочитал он музыку, сам сочинял какой-то ералаш, давал концерты, и слуги его не иначе имели дозволение говорить с ним как речитативами, как нараспев. Вероятно, и Гурьев из угождения принужден был иногда петь с ним дуэты. Когда Скавронский воротился в Петербург, все молодые знатные девицы стали искать его руки, а он о женитьбе и слышать не хотел. Наконец, сам князь Потемкин пожелал выдать за него племянницу свою Энгельгардт, сестру графини Браницкой и княгини Голицыной. Один только Гурьев мог этим делом поладить, но он торговался и требовал по-тогдашнему невозможного: он хотел быть камер-юнкером. Всякого другого, но только не Потемкина, это бы остановило; и так сей брак стараниями его состоялся. Не только получил он камер-юнкерство, но сверх того от Скавронского три тысячи душ в знак памяти и верной дружбы. Молодость, иностранная образованность, придворный чин, богатство, все это позволяло думать ему о выгодной партии, только новость его имени все еще мешала ему получить право гражданства в аристократическом мире; он скоро приобрел их, женившись на графине Прасковье Николаевне Салтыковой, тридцатилетней девке, уродливой и злой, на которой никто не хотел жениться, несмотря на ее три тысячи душ.

Гурьев недаром путешествовал за границей: он там усовершенствовал себя по части гастрономической. У него в этом роде был действительно гений изобретательный, и, кажется,

есть паштеты, есть котлеты, которые носят его имя. Он давал обеды знатным новым родным своим, и только им одним; дом его стал почитаться одним из лучших, и сам он попал в число первых патрициев Петрополя.

Восшествие Гурьева на знатность можно почитать пагубной для нее эпохой. Двор Екатерины и Павла, заимствовавший тон и манеры у версальского, наследовал ему после его падения и рассеяния его представителей, сделался убежищем вкуса и пристойности и начал служить образцом другим дворам европейским. Мужчины и женщины старались в нем отличаться вежливостью; непринужденно отделяясь от толпы, они приветливо ей улыбались: чем знатнее кто считал себя, тем учтивее был он с теми, кого почитал себя ниже. Восходящие из ничтожества спешили им уподобляться, чтобы сравниться с ними, и подражание начинало распространяться по провинциям, к чему русское добродушие много способствовало. Революция породила борьбу демократии с высшим дворянством во Франции и, может быть, некоторым образом в соседственных с нею землях; мы же оставались вне ее действия. Происшествия заставили в Европе настоящих аристократов принять вид неприязненный против притязаний низших классов: им нужно было надменностью осадить заносчивость людей среднего состояния. В России никто не думал оспаривать прав знатности, сколь, впрочем, они ни были мнимы и ни на чем не основаны: уважали ее возвышение, любили ее приветливость. Но все европейское, рано или поздно или невпопад, непременно должно к нам перейти. Кочубей был первый, который берег улыбки для равносильных ему при дворе, для приближенных своих, необходимых ему по делам службы и по денежным делам его: всех прочих встречало его надменное, угрюмое чело, скупость слов и убийственный холод. Не говоря о давно прошедшем при Анне и Елисавете, в новейшее время он первый начал входить в постыдные для министра спекуляции.

Но обхождение его можно было назвать ласкою в сравнении с дурацкою напыщенностью Гурьева. Если б посредством родственных и других связей заранее не водворился он в так называемом высшем кругу, если б по достижении министерства переменял бы он обращение с людьми, его составляющими, то неизбежно постигнуло бы его название... Сего не случилось, ибо в возвышений его русская знать видела торжество своей касты. Семейства обоих, Кочубея и Гурьева, подражая им, сделались в обществе нестерпимы и наглы со всеми, коих не признавали своими, то есть (чин, титул и древность рода в сторону) со всеми, коих богатство и кредит при дворе были незначительны. Мало-помалу, умножая число своих приверженцев, семейство Гурьево похитило законодательство и полицию гостиных. Может быть, пример вечно образцовой для нас Франции также действовал тогда: там один только Таллейран умел еще быть учтивым; новые же герцоги, маршалы, министры, префекты, равно как и супруги их, все вылезшие из харчевен, конюшен, кабаков, верно не хуже Гурьевых умели подавлять свою спесью.

Министерство внутренних дел при Викторе Павловиче Кочубее было так обширно, что в нем самом видели первого министра; после того министерство финансов при Гурьеве почиталось выше других; наконец, зять этого Гурьева, Карл Васильевич Нессельроде, долго управлял и до сих пор управляет министерством иностранных дел; и как бы прежде ни хвалилась петербургская аристократия своею независимостью от милостей двора, официальная сила сих трех человек имела на состав ее решительное влияние. Все трое известны были алчностью к прибыли, и по всей справедливости можно почитать их у нас основателями явного поклонения золоту тельцу, столь пагубного для нашей чести и нравственности.

Трое только из прежних министров сохранили свои портфели: Румянцев, Чичагов и Куракин; последний ненадолго. Сперанский, как все гордые и подлые души, для коих благодарность — бремя и скука, не знал, как совершенно отделаться от первого своего патрона, и искал только удобного случая его выпроводить.

По окончании маневров, более чем военных действий, против Австрии в Галиции, по заключении мира с Швецией все внимание обратилось на войну с турками.

Назначение Каменского главнокомандующим молдавскою армией всех обрадовало: все любили его, все уважали, всем известны были его воинские таланты; никто не знал его болезненного состояния.

В первых числах февраля, благословляемый всею Россией, Каменский отправился в Букарешт. С ним поехал один молодой человек, о котором много и довольно часто говорил я в сих записках, но о коем давно уже не упоминал. Возвратившись осенью 1808 года в Петербург, я не нашел в нем Блудова.

Покойная мать его, почти всегда хвораая, жила уединенно в Москве, в соседстве и тесной дружбе с статс-дамою графинею Каменскою, женою фельдмаршала и матерью главнокомандующего, которая также семейную жизнь предпочитала светской: редко можно было видеть двух сестер, столь нежно любящих друг друга. Перед коронацией Александра приехал из Петербурга к графине Каменской родной дядя ее, князь Андрей Николаевич Щербатов с женою и дочерью и остановился у нее. Молодая княжна Анна Андреевна Щербатова примечательна была нежными чертами лица, и при дворе, где она находилась фрейлиной, многие находили в ней сходство с императрицею Елисаветой Алексеевной; одни давали ей преимущество, другие императрице. Присутствие петербургской девицы оживило однообразие графини Каменской. Не трудно было княжне Щербатовой, с прелестями, которые она еще имела, с ангельскою кротостью, которою всегда отличалась, с знанием приличий большого света, вскружить голову пятнадцати- или шестнадцатилетнему кипучему мальчику, не знакомому еще со светским и женским кокетством, совершенно невинному, но в котором от силы воображения страсти успели уже созреть. Она пленила его, хотя никак о том не думала и несколькими годами была его старее. Эта страсть в следующем году привлекла его в Петербург. За нее должен благодарить он небо: она истребила в нем все порочные побуждения, жар души его направила к добру и чести. Как можно было почти ребенку помышлять о женитьбе? Долго оставалась она для него только кумиром добродетели, источником чистейших помышлений и чувствований. Исключая несовершеннолетие его, к брачному с нею союзу представлялись еще другие препятствия. Княгиня Щербатова, женщина известная своею набожностью, строгими правилами, примерною преданностью и верностью супругу (тридцатью годами ее старее), гордясь его знатностью и своими добродетелями, была сурова и надменна. Многим молодым людям, достойным ее дочери, отказывала она уже в руке ее; чего же можно было ожидать малочинному дворянчику, у которого, правда, была родословная длиною в восемь столетий, наполненная именами бояр и воевод, но что это значит в России? Под словом знатность разумеется в ней совсем новая или, по крайней мере, подновленная знаменитость. Время и постоянство одолевают все: графиня Каменская, принявшая на себя все обязанности умершей матери Блудова, вступилась в это дело, и гордая княгиня изъявила наконец свое согласие. Для доставления скорейшего повышения будущему родственнику Каменский назначил его правителем своей заграничной канцелярии, что было очень важно для надворного советника, которому не было двадцати пяти лет от роду.

Если счастье наконец улыбалось Блудову, то от меня оно совсем отвратило лицо свое; другому я бы, может быть, позавидовал, а его успехи были для меня утешением.

Часто случается, что люди, сами по себе ничего не значащие, не имеющие никакого особого достоинства или недостатка, порока, делаются примечательны потому только, что носят на себе отпечаток времени и обстоятельств, в коих находились. В этом отношении И. С. Рибопьер заслуживает внимания, и я готов просить читателя не отказать в нем изображению его, которое здесь попытаюсь я сделать. Как история происхождения его, так и его собственная довольно любопытны.

Возвратясь из заграничного путешествия, молодой богач и барич Степан Степанович Апраксин, единственный сын умершего фельдмаршала, привез с собою из Швейцарии молодого (говорят) камердинера, которого, по приезде в Россию, произвел в домашние секретари; он назывался Рибопьер. Вожделенный жених всех знатных невест, Апраксин вел себя как французский повеса тогдашнего времени... В числе его жертв была одна фрейлина, помещен-



ная Екатериною жительствою во дворце, как сирота, оставшаяся после знаменитого в войне и мире Александра Ильича Бибикова. Молодой секретарь сочинял ему письма к ней, тайно их передавал... Он был сострадательн, она чувствительна, он старался утешить ее и до того успел в том, что она решилась за него выйти замуж. Несмотря на негодование всех родных, на гнев императрицы, она устояла в своем намерении. Иностранные имена, особенно французские, были тогда в большой моде; гораздо более препятствий встретила бы девица Бибикова, если б пришлось ей соединиться браком с человеком, который бы носил русское неизвестное название, хотя бы старинное дворянское, например, Терпигорева. Когда дело было сделано и помочь ему было нельзя, женевского мещанина<sup>57</sup> записали гвардии сержантом и, как водилось тогда, через несколько времени выпустили в армию капитаном. Он был, говорят, красив, благороден и храбр, служил хорошо, на войне получил Георгиевский крест и в чине бригадира, начальствуя каким-то пехотным полком, убит при штурме Измаила. После него остался один малолетний сын, Александр Рибопьер, о котором идет речь.

Необыкновенная красота мальчика, геройская смерть отца и великие подвиги деда заставили строгую иногда по необходимости, но всегда чувствительную и добрую Екатерину взять отрока под особое свое покровительство: она сделала его офицером конной гвардии, часто призывала к себе и любовалась им. В восемнадцать лет, когда Павел пожаловал его камергером, на плечах у него такая была головка, за которую всякая, даже довольно пригожая девица готова была бы поменяться своею. В последние дни его царствования имел он поединок с князем Четвертинским за одну придворную красавицу; бредя рыцарством, Павел обыкновенно в этих случаях бывал не слишком строг; но как ему показалось, что любимая его княгиня Гагарина на него иногда заглядывалась, то из ревности велел он его с разрубленной рукой, исходящего кровию, засадить в каземат, откуда при Александре не скоро можно было его выпустить по совершенному расслаблению, в которое он оттого пришел. После того сделался он кумиром прекрасного пола. Сам не менее того начал он обожать себя. И могло ли быть иначе после такого младенчества и в таком блеске проведенной молодости?

Мне случилось иногда видеть его довольно важно танцующего на балах с каким-то тихим самодовольствием; также случалось мне встречать его у князя Федора Сергеевича Голицына, в котором видел он своего Пилада, тогда как тот почитал себя его Орестом. Может быть, для твердости дружественных уз действительно необходима противоположность характеров: сколько в Голицыне было веселости, любезности, общительности, столько в Рибопьере было неподвижности, расчетливости, учтивой надменности.

Хотя они были ровесники, первый казался принадлежащим к прежнему, последний — к новому изданию русской аристократии; один хотел как будто властвовать над низшими любовью, другой поражать их своим величием. Ума более чем посредственного, этот человек имел, однако же, дар довольно кстати помещать в разговоры затверженные им фразы; общие места, с тоном приговора им произносимые, людьми несведущими или невнимательными принимались за новые и глубокие мысли. Амур и гений вместе, он пленял в одно время и изумлял петербургское общество, за которое, право, я готов краснеть. Наконец, сама холодная и гордая баденская принцесса Амалия, сестра императрицы, находившаяся тогда в Петербурге, говорила об нем с восторгом, весьма похожим на любовь, выдумать себя он не был в состоянии, а умел лишь несколько приблизительно быть подражанием Кочубея; он был плохая с него литография. Красотою, умом он не столько еще гордился, как (кто бы подумал?) знатностию своею и, не краснея, часто любил об ней твердить: одних убеждал он в ней, другим беспрестанно напоминал о ее свежести. Он был женат на девице Потемкиной, дочери княгини Юсуповой от первого брака, и родственников жены и матери своей не иначе называл, как с прибавлением степени родства их с ним: дед мой Голицын, тетка моя Браницкая, тетка моя Кутузова<sup>58</sup>. Приобщенный к сонму полубогов, он совершенно забывал смертных, единокровных ему швейцар-

<sup>57</sup> Это несправедливо: И. С. Рибопьер происходил из древнего, но обедневшего рода.

<sup>58</sup> Катерина Ильинишна Кутузова, жена М. И. Кутузова, теща Опочинина, была сестра Александра Ильича Бибикова, деда Рибопьера. — *Авт.*

ских молочниц. В обществе многие находили, что столь необыкновенный человек крадет себя у государства, не посвящая ему великие свои способности; а он давал чувствовать, что не его вина, когда не умеют употребить его с пользою. Указ Сперанского о камергерстве заставил его наконец искать места; но все было не по нем. В судьбе, в происхождении и в притязаниях Гурьева и Рибопьера было слишком много сходства, чтобы у последнего не составились связи с семейством первого и с ним самим. Первое место, сделавшееся вакантным в его министерстве, получил Рибопьер, который, принимая его, согласился попятиться, в надежде скоро далее прыгнуть.

Бури, свирепствовавшие по Дунаю, не ранее половины мая дозволили Каменскому переправиться через него. Кампания открылась самым блестящим образом: войска, под начальством старшего брата главнокомандующего, графа Сергея Михайловича (не сам он, говорят), 24 мая среди белого дня взяли приступом укрепленный город Базарджик. Через несколько дней спустя, 30 мая, сдалась важная крепость Силистрия. После того армия беспрепятственно пустилась в поход к Балкану. К несчастью, наткнулась она на Шумлу, девственную твердыню, вечный камень преткновения для наших войск. Много потерял времени граф Каменский на осаждение этого места, более природой, чем искусством укрепленного, в котором сам визирь засел со всеми своими вооруженными турками. Частые стычки, в которых русские всегда имели верх, ничего не доказывали и ни к чему не вели. Нетерпеливый Каменский, среди принужденного бездействия, изнывая от досады, пожелал хотя на другом пункте нанести неприятелю какой-нибудь новый, решительный удар. Для того по новому направлению пошел он обратно к Дунаю, и 22 июля, в день именин вдовствующей императрицы, дал он несчастно-памятный штурм неприступной крепости Рущуку.

Отражение неприятельское было совершенно поражением нашей армии. О горе, о стыд, о дело неслыханное! Русские, побитые наголову турками! Очевидцы рассказывали, что Каменский, увидя совершенную неудачу свою и с отчаянья забыв весь страх, жаждал смерти и становился в самые опасные места, куда из крепости долетали неприятельские ядра. Полагаясь на ум, на дружбу и на усердие Блудова, с печальным известием отправил он его в Петербург. Он надеялся, что он искусно будет уметь ослабить впечатление, которое оно должно там было произвести; это было трудно, это было невозможно. Напрасно лишил он себя Блудова: из числа людей, его окружавших, так мало осталось верных его несчастью. Как войско, так и народ в России чрез меру любят победителей: все готовы прощать им, все готовы переносить от них и всегда забывают прежние заслуги побежденных.

Всю жизнь прослуживши в армии, Каменский не был знаком с тонкостями выражений, употребляемыми в столице, которые смягчают выговор, которые слепую покорность военных людей делают им сносною. Привыкнув сам безропотно повиноваться начальству, он в свою очередь требовал строгого исполнения своих приказаний. Любезен, приветлив в обществе, даже с простыми офицерами, он все забывал, когда дело доходило до службы, особливо во время войны. С усилением его телесных страданий умножилась и неровность его характера, и те, коим за несколько часов нежно и грустно он улыбался, нередко встречали его с угрозою и бранью на устах. Несколько придворных генералов, между коими были Уваров, Строганов, Трубецкой, множество штаб- и обер-офицеров гвардейских прискакали в молдавскую армию за верными успехами и наградами. Они более затрудняли, обременяли его, чем были ему в помощь; он не умел довольно скрывать того и не хотел давать им явного предпочтения перед другими заслуженными воинами. Среди них родились неудовольствия на него, возросли, умножились, и еще прежде Рущука окружен он был интригами, в коих не последнее участие принимал француз Ансельм де-Жибори, которого имел он слабость взять с собою. После же этого несчастного дела все тайно против него восстали, и сам старший брат его, этот гнусный, подлый и завистливый Сергей Михайлович, публично за обедом пил за здоровье Бошняк-аги, начальника Рущука, победителя брата своего, как он его называл. В Петербурге чем более возлагали на него надежд, тем менее прощали ему неисполнение их. Отцы семейств, в сем

кровапролитии лишившиеся сыновей, кляли его за эту потерю, как будто он был обязан беречь детей их. Одним словом, рушукская пушка убила вдруг его счастье, его славу, общую к нему любовь.

Однако же, отдохнув несколько времени, с остатками войск пошел он против собравшейся новой, сильной, ободренной турецкой армии и 26 августа (многократными событиями памятный для России день) разбил ее в прах при селении Ватине. Вследствие сей победы пали последние турецкие крепости на Дунае — Журжа и этот ужасный Рушук. Уже был сентябрь, ничего нового предпринять было невозможно, и кампания кончилась не совсем неудачно.

Что происходило в Петербурге, стоило рушукского дела. В продолжение целого лета все государственное здание трещало и ломилось под всеокрушительною и всезидительною десницею Сперанского. Спокойно-величаво стоявшие дотоле коллегии падали одна за другою, и из развалин их скромно поднимались департаменты. Уже название сие перестало быть присвоено целому министерскому управлению, а только частям его, которые наследовали покойным коллегиям.

Не знаю, под какими предложениями князя Куракина целое лето держали в Париже. Во время отсутствия его происходили все большие перемены в его министерстве, с согласия и, говорят, с участием товарища его Козодавлева, которому в награду за покорность обещано было его место. Нет сомнения, что г. Козодавлев согласился бы управлять и отделением, если б только ему было дано название министерства. По возвращении осенью, найдя министерство свое рассеченным, оборванным, Куракин, несмотря на любовь свою к власти и почестям, отказался от него, как товарищ его сие предусмотрел, и сей последний получил его место.

Приверженцы Куракина благодетельствованного им преемника его обвиняли в предательстве. Но кто же себе добра не желает?

Кажется, я уже познакомил читателя с Осипом Петровичем; только боюсь, неумышленно не дал ли я об нем худого мнения, которого, право, я сам вовсе не имел. Не все хорошо в людях, не все и худо. Слабость, которую разделял он с большею частию людей, занимающих в Петербурге высшие места, конечно, являлась в нем несколько в преувеличенном виде: он любил двор до обожания, и для получения милости царя или даже хорошего расположения его приближенных готов он все был сделать. Знакомые его могли на нем, как на барометре, справляться о состоянии придворной атмосферы. Готовые мнения получал он прямо из дворца или из кабинета Сперанского и никаких других себе не позволял. Я помню сначала, как он с женой не произносил никогда имени Наполеона без почтительного восклицания. Некоторое время, гораздо позже и то недолго, либеральные идеи были в моде при дворе: из раболепного подражания находил он тогда холопские чувства в некоторых баснях Крылова. Что это все доказывает, если не верноподданничество, которое с нынешними испорченными понятиями только может казаться странным? Корыстолюбие его, впрочем, весьма умеренное, никто не думал порицать: всякий знал, что он предается ему не с намерением обогатиться, не из алчности к прибыли, а для поддержания высокого сана, на который был он поставлен. Если бы император Александр был пощеднее к своим министрам, то некоторым из них не нужно было бы прибегать к средствам, не совсем одобряемым строгою нравственностью.

Козодавлев был литератор и член Российской Академии. Ему нужно было щегольнуть словесностью в министерстве своем: для того учредил он при нем газету под именем «Северной Почты» и сам наблюдал за ее изданием. Весьма мало заграничных известий помещалось в сей газете, все из опасения, чтобы не провратиться; зато все столбцы ее наполнялись статьями о свекловице и кунжуте и о средствах из сих растений выделять сахар и масло. После того начали появляться в ней мериносы, шерсть и суконные фабрики. Запретительная система была тогда во всей своей силе, и он старался доказывать, сколь выгодно произведения иностранной промышленности заменять отечественными.

Я не скрыл его недостатков; после того грешно бы было умолчать о его любезных, в столичном мире редких свойствах. Он был поистине добрейший человек, не знал ни злобы, ни

зависти: надобно было видеть его радость, когда узнавал он о чьем-нибудь повышении, о чьих-либо успехах! Когда же самому удавалось ему выпрашивать награды, спасти кого от беды, то он совершенно бывал счастлив. Без всякого притворства был он исполнен религиозных чувств; после, конечно, это пригодилось ему; но он показывал набожность, когда еще она не была в моде. Как было разгадать его? Он был умен, просвещен, добр, христолюбив, а со всем тем!.. Может быть, добротою сердца своего измеряя пучину благодати Господней, он более надеялся на милосердие Его, чем на правосудие. Со мною продолжал быть он ласков, когда сделался министром; но по наговору окружающих, почитая меня человеком неуживчивым, вечно недовольным, слышать не хотел, чтобы иметь меня под своим начальством.

Министерство полиции, составленное только из двух департаментов (полиции исполнительной и медицинской), было чрезвычайно сильно небольшою прибавкой, в нем сделанною, как иногда в письме *post-scriptum* изображает всю важность цели его. Сия прибавка названа особою канцелярией.

Многие видели в ней возрождение тайной канцелярии, стыда и ужаса прошедших времен России, при коронации Александра его благодтию уничтоженной. Для чего было создавать ее вновь? Посредством ее что можно было узнавать и удерживать?

Вся Россия сделалась нескромною, злилась на государя своего, а все-таки, без памяти его любя, готова была всем ему пожертвовать.

Со времен царя Ивана Васильевича Грозного секретною этою частию почти всегда у нас заведывают немцы. Мы находим в истории, что какой-то Колбе да еще пастор Вестерман и многие другие пленники, желая мстить русским за их жестокости в Лифляндии, добровольно остались при их мучителе и составляли из себя особого рода полицию. Они тайно и ложно доносили на бояр, на всякого рода людей и были изобретателями новых истязаний, коими возбуждали и тешили утомленную душу лютого Иоанна. С тех пор их род не переводился ни в Москве, ни в целой России. Всякому новому венценосцу предлагали они услуги свои, и чем власть его была колеблемее и сомнительнее, тем влияние их становилось сильнее, как сие видно при Годунове и Лжедмитрии. Оставляя в стороне кровавое их могущество при Петре и Бироне, в новейшие времена находим мы имена Шварца, Толя, Эртеля гремящими в полицейских летописях. Можно было ожидать, что немец будет министром полиции; но на этот раз небо избавило от того Россию.

Должность сия поручена была человеку, который успел выказать способности свои в звании сперва московского, затем петербургского обер-полицеймейстера. Природа дала все Александру Дмитриевичу Балашову взамен приятности наружной, в которой отказала ему; дала ему все, что нужно для успехов: хитрость грека, сметливость и смелость русского, терпение и скромность немца. В ученом смысле, как все тогда в России, получил он плохое образование; но, по мере возвышения в чинах и местах, более чувствовал он потребности в познаниях, кидался на них с жадностию и с быстротою все пожирал. Заронись одна благородная искра в этот необыкновенный ум, воспламени его, и отечество гордилось бы им.

Я его помню еще тогда, когда он служил в Москве и был более товарищем, чем начальником зятя моего Алексеева. Он жил с ним весьма дружно и часто посещал его: видно, правда, что окончности охотно сходятся. У одного ни одной заповедной думы не оставалось на душе, все выходило на язык; другой, совсем не молчаливый, однако же, бывало, не выронит лишнего слова. Он ростом был мал, только что не безобразен, и черты лица его были неблагородно выразительны; а когда послушаешь его немного, то начнешь и смотреть на него с удовольствием. Никакого умничанья, умствования, витийства он себе не позволял, ничего любезного, трогательного не было в его разговорах, а все было просто, хорошо и умно. Светлый зимний день имеет также свои приятности; речи Балашова были столь же ясны, как его рассудок, и так же холодны, как душа его...

Он был женат сперва на одной девице Коновницыной, которая оставила ему детей и весьма хорошее имущество; потом женился он в другой раз на девице Бекетовой, которая

была еще гораздо богаче первой жены его, и он сими двумя состояниями пока довольствовался, когда его сделали министром.

Доказательством удивительной его ловкости служит то, что он успевал в своих намерениях, никогда не придерживаясь ни Сперанского, ни Аракчеева; последний почитал его даже врагом своим и старался ему вредить. В начале 1809 г. удалось ему уже спихнуть начальника своего, беспокойного князя Лобанова, и самому сесть на его место; это еще первый пример человека, из обер-полицеймейстеров поступающего прямо в военные губернаторы столицы; с сим назначением вместе произвели его генерал-лейтенантом и генерал-адъютантом. С определением в министры сохранил он и должность с.-петербургского военного губернатора.

По секретной части, в так называемой особой канцелярии, однако же, дело не обошлось без немца. Правителем сей канцелярии (еще пока не директором) назначен был надворный советник Яков де-Санглен, вероятно, потомок одной из французских фамилий, которые бежали в Германию во время гонений на реформатскую веру. Перед тем, кажется, был он частным приставом и прославился наглостию, подлостью и проворством своим. Не знаю, оттого ли, что русские были тогда избалованы Александром, или оттого, что они чувствовали себя сильными единодушием своим, единомыслием, только никто из них не хотел скрывать глубокого презрения к такого рода людям. Сколь ни опасен, сколь ни страшен для каждого из них был этот де-Санглен, никто не хотел ни говорить с ним, ни кланяться ему.

Государственный контроль было единственное изъятие, сделанное из прежнего министерства финансов. Когда о сию пору губернский контроль остается только частою казенной палаты, то, право, не знаю, зачем бы общую ревизию счетов отделять от министра, от которого казенные палаты зависят? Что могло побудить к тому Сперанского? Разве желание доставить министерское место приятелю своему, прежнему сослуживцу (надеюсь, не соумышленнику) Кампенгаузену. Части, составлявшие контроль, были столь малы, что Сперанский посовестился дать им название департаментов, а оставил их по-прежнему экспедициями. Само министерство, не получив наименования сего, образовалось в виде какой-то просто отдельной части: сам Кампенгаузен принял титул не министра, а государственного контролера<sup>59</sup>.

Он с великою пользою мог бы занять и не столь пустую должность. С умом сухим, холодным, но весьма обширным, с характером твердым соединял он старинную, прежнюю, пространную, добросовестную немецкую ученость, неутомимость в трудах и все познания, нужные для государственного человека. Ему бы быть министром финансов, не Гурьеву; но и сам Сперанский не всегда мог противиться дворцовым интригам, к тому же часть сию в совете взял он под непосредственную свою опеку. Кампенгаузен был управляющим третьею или медицинскою экспедицией в первоначальном департаменте внутренних дел, когда Сперанский управлял второю, а Таблиц первою. Потом был он градоначальником в Таганроге, которого и можно почитать его настоящим основателем. Оттуда прямо он переведен министром.

Главное управление духовных дел иностранного исповедания сначала было еще миниатюрнее государственного контроля. Это министерство было не что иное, как один человек, для которого оно было создано. История этого человека любопытна, занимательна. Как бы у нас ни чванились князья без состояния и без чинов, никто на них смотреть не хочет, даже богатые их однофамильцы; хвала тем, кои, отбрасывая родовое пусточванство, принимаются за дело и становятся, наконец, наряду, иногда и выше других знатных. Один из беднейших князьков Голицыных отдан был малолетним в Пажеский корпус. Он был мальчик крошечный, веселень-

---

<sup>59</sup> Осенью 1810 года случился один забавный анекдот, который ходил по целому городу. Молоденький армейский офицер стоял в карауле у одной из петербургских застав. Тогда был обычай, как и ныне, у проезжающих в городских экипажах, не требуя вида, спрашивать об именах и записывать их; какой-то проказник вздумал назвать себя Рохус Пумперникель, шутовская роль в известной тогда немецкой комедии. Почему было знать и какая нужда была знать офицеру о существовании этой комедии? Но внесение Рохуса в вечерний рапорт было приписано его глупости и невежеству. Он был осужден на бессменный караул по заставам, пока не отыщется дерзновенный, осмелившийся надругаться над распоряжениями правительства. Едет в коляске с дачи худенький человек: его спрашивают, как зовут его; он отвечает: барон фон-Кампенгаузен. Имя и отчество? Балтазар Балтазарович. Чин и должность? Государственный контролер. «Тебя-то, голубчик, мне и надобно!» — воскликнул бедный офицер, и вытащив министра из коляски, посадил его под стражу и немедленно донес о том начальству. Уверяли, что офицера перевели за то в гарнизонный полк. — *Авт.*

кий, миленький, остренький, одаренный, чудесною мимикой, искусством подражать голосу, походке, манерам особ каждого пола и возраста. Весьма близкая к императрице Екатерине старая доверенная ее камер-юнгфера Марья Савишна Перекусихина<sup>60</sup> как-то узнала его, любила, тешилась забавным мальчиком и, наконец, представила его государыне, которая, как известно, чрезвычайно любила детей, что обыкновенно служит лучшим признаком добросердечия. Это составило счастье маленького князя Александра Николаевича. Какое умственное образование можно было получать в пажеских корпусах вообще? Всегда были они только школами затейливых шалостей. Верные первоначальной цели учреждения своего, пышности двора, совсем не государственной пользы, пажи хорошо только выучивались танцевать, фехтовать, ездить верхом. Не знаю, в сем последнем успевал ли наш Голицын, только в нем не было заметно и тени склонности к военному ремеслу. Он рожден был для двора. Счастливым случаем в него попав ребенком, воспитанный, так сказать, у юбки Марьи Савишны, он навсегда должен был в нем оставаться. Это не избежало от благосклонного и проницательного взгляда Екатерины: когда она женила шестнадцатилетнего любимого внука своего Александра и составила ему маленький двор, то поместила в него Голицына, из камер-пажей пожаловав его прямо в камер-юнкеры и доставив ему средства прилично себя содержать. С нежностью его чувств как было не прилепиться ему ко внуку своей благодетельницы и с забавным его умом как не полюбовиться молоденькому царевичу! Павел произвел его сначала камергером; а потом, за год до своей кончины, по какому-то неудовольствию на сына, отставил от службы, выслал и из особой милости дозволил жить в Москве.

Первый призванный в Петербург, по воцарении Александра, был, разумеется, жертва преданности к нему, веселие его домашней жизни. Князь Голицын был столько скромен, благоразумен, что сперва ничего не желал, ничего не требовал, кроме счастья ежедневно находиться при царе, наслаждаться его лицезрением, иногда рассеивать, если нужно, грусть его. Но не таков был расчет государя: между окружающими его не хотел он видеть ни единого праздного царедворца. У князя Александра Николаевича была одна из тех камергерских, пустопорожних голов, которые император Александр, наперекор природе и воспитанию, хотел непременно удобрить, вспахать, засеять деловыми, государственными идеями. Это лужочки, которые весьма удобно покрываются цветами; но на неблагоприятной почве их посади семена полезных овощей, и они почти всегда порастут дурманам. Только сначала куда было ему вслед за Новосильцевыми, Строгановыми, Чарторыжскими лезть на министерство! Творя волю пославшего его в Сенат, он там посидел за обер-прокурорским столом, потом сам сделался обер-прокурором. С помощью добрых или недобрых людей, им там найденных, он, видно, этим делом как-то поладил.

Аппетит, говорят, приходит с едою: вот моего князя взяла честолюбивая зачесь: а почему бы и ему не в министры?

Должность обер-прокурора святейшего Синода сделалась вакантною; это не министерство, но легко можно из того сотворить отдельную часть. Дотоле синодальные обер-прокуроры, точно также, как и сенатские, находились в зависимости генерал-прокурора и наследовавшего ему министра юстиции. При получении сего места Голицын выпросил себе звание статс-секретаря и право вносить доклады свои прямо к государю, без посредства какого-либо министра. В беспрестанных сношениях с архиереями и монахами, как стареющая дева, теряющая прелести свои, начал он помаленьку вдаваться в набожность<sup>61</sup>: сперва приятным образом занимали его одни церковные обряды, наконец, совсем к тому не приготовленный, принялся он рассуждать о догматах. Прошло несколько годов, и одних православных служителей церкви ему сделалось мало. Министерства духовных дел тогда учредить не решались: это было бы уже слишком явно духовную власть подчинить мирской. Гораздо удобнее было сделать сие с

<sup>60</sup> Перекусихиной поручала Екатерина выяснить на деле достоинства кандидатов в фавориты, приглянувшихся ей.

<sup>61</sup> Поэт-партизан Д. В. Давыдов говорил, что А. Н. Голицын «отличался подлостью, притворным интриганством, порочными вкусами, на Востоке столь распространенными». Пушкин в эпиграмме (1819) на А. Н. Голицына говорит: «Вот Хвостовой [А. П., о которой так много пишет Вигель] покровитель, вот холопская душа. Просвещения губитель, покровитель Бантыша! Напирайте, ради Бога, на него со всех сторон! Не попробовать ли сзади? Здесь всего слабее он».

духовенством терпимых вер христианских и нехристианских, и потому-то, оставаясь синодальным обер-прокурором, назначен был он главноуправляющим духовными делами иностранных исповеданий.

Этот добрый, этот бедный князь делался всегда собственностью людей, при нем находившихся: то сумасбродов, то злоумышленников, то невежд, то изуверов, и деяния его тотчас окрашивались их мнениями и характером. Неисчислимо зло, причиненное целому государству сим кротким созданием, которое, как слон Крыловой басни, с умыслом бы мухи не обидело. Дело чудное, примечания достойное! Все те, кои были его двигателями, все те, кои направляли его к посягательству на священные права нашей веры, все они печальным, даже несчастным образом кончили поприще свое. Правосудное небо как будто их всех карало: из них кто сослан был в Сибирь, кто сошел с ума, кто живет в заточении, кто подверг себя добровольному изгнанию; его одного доселе щадило оно, как бы не ведавшего, что творил. Много бы говорить об нем; но здесь не место: не один раз найдется оно, если только записки сии продлятся.

После князя Голицына первым чиновником в главном управлении сделан был многогреченный Александр Тургенев, который придумал для себя название управляющего перепиской, ибо с самого начала в карманном министерстве не было ни единой экспедиции, ни единого отделения, а только небольшая канцелярия, зародыш департамента, мне после столь коротко знакомого.

Первый цвет моей молодости увял, и я бы мог тогда уже сказать с Державиным:

Не сильно нежит красота,  
Не столько восхищает радость,  
Не столько легкомыслен ум,  
Не столько я благополучен.

Не столько уже я любил театр, и это заметить можно из того, что во всей этой части записок моих ни разу не упомянул об нем. А все-таки довольно часто бывал он для меня развлечением в горестном положении моем.

После того, что в последний раз говорил я о петербургской французской труппе, сделала она много богатых приобретений и все становилась лучше. Несмотря на общее недоброжелательство к Наполеоновой Франции, лучшая публика продолжала французский театр предпочитать всем прочим.

Приехавшая в 1805 году девица Туссень, после того госпожа Туссень-Мезьер, была такое чудо, которому подобного в ролях субреток я никогда не видал: непонятно, как выпустили ее из Франции. В Париже могла бы она поспорить с девицею Марс, хотя и выполняла неодинаковые с нею роли. Вместо состарившегося Лароша явился в комедии еще нестарый Дюран. В нем было что-то приготовленное, манерное, более выученное, чем естественное; это, однако же, не мешало ему нравиться старым барыням с молодым сердцем, и его искусственная к ним любовь, говорят, не менее того их пленяла. Старик Фрожер из сценических шутов перешел в комнатные, в домашние...

Трагедия французская в Петербурге высоко вознеслась в 1808 году прибытием или, лучше сказать, бегством из Парижа, казалось, самой Мельпомены. Что бы ни говорили новые поколения, как бы ни брезгали французы старевшимся искусством девицы Жорж, подобного ей не скоро они увидят. Голова ее могла служить моделью еще более ваятелю, чем живописцу: в ней виден был тип прежней греческой женской красоты, которую находим мы только в сохранившихся бюстах, на древних медалях и барельефах и которой форма как будто разбита или потеряна. Самая толщина ее была приятна в настоящем, только страшила за нее в будущем: заметно было, что ее развитие со временем много фации отымет у ее стана и движений. Более всего в ней очаровательным казался мне голос ее, нежный, чистый, внятный; она говорила стихами нараспев, и то, что восхищало в ней, в другой было бы

противно. В игре ее было не столько нежности, сколько жара; в «Гермионе», в «Роксане», в «Клитемнестре», везде, где нужно было выразить благородный гнев или глубокое отчаяние, она была неподражаема. Ксавье, великан в юбке, не стыдилась показываться вместе с ней; однако же как должно было страдать ее самолюбие, видя всех прежних рукоплескатель своих превратившихся в шикателей!

Для забавы друга своего Александра в Эрфурте и на удивление толпы прибывших туда королей Наполеон выписал из Парижа труппу лучших комедиантов. Между ними русскому императору более всех игрой полюбилась девица Бургоэнь; заметив то, Наполеон велел ей отправиться в Петербург, чего сама она внутренне желала. Замечено, что парижские актеры охотно меняют его только на Петербург, и Россия есть единственная страна, которая оттуда умеет сманивать великие таланты. Щедрее ли других она платит, или, касаясь пределов Китая и Персии, по весьма извинительному честолюбию в артистах, надеются они, что через нее лишь слава их может достигнуть до концов вселенной? Публике мамзель Бургоэнь очень полюбилась; но царь и двор его не обратили на нее особенного внимания. Она также играла на обе руки молодых девиц и женщин в комедиях и трагедиях. Один из зрителей весьма энергически, совершенно по-русски, прозвал ее настоящею разбровкой; и действительно, при милой ее рожнице и отличном таланте, в ней было что-то чересчур удалое. Когда она играла пажу в «Фигаровой женитьбе», все были от нее без памяти; когда же хотела быть трогательною в «Ифигении», невольно располагала всех к смеху. Года полтора или два она оставалась в Петербурге, потом соскучилась о Париже и в него вернулась.

Вместе с Жорж бежал к нам первый парижский танцовщик Дюпор. О причинах их бегства, о связи их, о чьей-то ревности, о чьих-то преследованиях, о всех по сему случаю закулисных интригах мне подробно тогда рассказывали; но, признаюсь, я ничего не припомню, и, право, кажется, нет в том большой надобности. Самого же Дюпора я никак не забыл: как теперь гляжу на него. Все телодвижения его были исполнены приятности и быстроты; не весьма большого роста, был он плотен и гибок, как резиновый шар; пол, на который падал он ногою, как будто отталкивал его вверх; бывало, из глубины сцены на ее край в три прыжка являлся он перед зрителями; после того танцы можно было более назвать полетами. В короткое время образовал он шестнадцати- или семнадцатилетнюю танцовщицу Данилову, в которую скоро влюбился весь Петербург и которая была превыше всего, что в этом роде он дотоле видывал. Страсть к ней зрителей желая удовлетворить и деспотически распоряжаясь своими воспитанницами, дирекция беспрестанно заставляла ее показываться, не дав ей распусться, убила ее во цвете, и она погибла, как бабочка, проблистав одно только лето. Для образования ее Дюпор, как уверяли, употреблял гораздо более нежные средства, чем жестокосердый Дидло, который между тем все продолжал быть балетмейстером. Сообразуясь с новым вкусом, он начал ставить на сцену одни только анакреонтические балеты, тем более что Дюпор в них одних соглашался танцевать. Исключая Даниловой, были тогда еще две замечательные русские танцовщицы; одна из них, гораздо прежде на сцене и гораздо старше летами, должна была вдруг остаться почти без употребления. С выразительными чертами лица, с прекрасною фигурой, с величавою поступью, Колосова лучше, чем языком, умела говорить пантомимой, взорами, движениями; но трагические балеты брошены, и нашей Медее ничего не оставалось, как, пожимая плечиками, плясать по-русски. Другая, Иконина, была хороша собою, высока ростом, молода, стройна, неумоима и танцевала весьма правильно; но всякий раз, что появлялась, заставляла со вздохом вспоминать о Даниловой. Вдруг напала на нее ужасная худоба, румяна валились с ее сухих и бледных щек, и она сделалась настоящим скелетом. Тогда еще менее она стала нравиться, ибо кому приятно смотреть на пляску мертвецов?

Менее всего в последние семь или восемь лет произошло перемен во французской опере. Все та же Филис продолжала царствовать в ней с своим ничтожным Андриё, как бы какая-нибудь английская королева с каким-нибудь кобургским принцем. Голос ее, кажется, сделался еще сильнее, ее искусство еще усовершенствовалось; только одного лица ее годы не пощадили.



Она не хотела никакого соперничества и к одинаковым с своими ролям подпускала только сестру свою Берте и да старую Монготье. Попыталась было дочь знаменитого композитора Пиччини, довольно изрядная певица, показаться в операх отца своего; куда! Филис со своим семейством и с своею партией скоро ее выжила. Она даже не хотела другого тенора, как мужа; но это было решительно невозможно; наконец, он стал просто говорить под музыку. Тогда два порядочные певца, Дюмушель и особенно Леблан, приняты были дирекцией. Одно семейство, которое знало Филис, было ею самою приглашено; оно состояло из Месса, хорошего баса, жены его для старушечьих ролей и дочери их, мадам Бонне, для ролей женщин средних лет.

Итальянская опера не могла поддерживаться в Петербурге; в 1806 году надолго прекратилось в нем ее существование. Однако же она оставила по себе память: она несколько обработала вкус любителей музыки и сделала ее строже и разборчивее к ее произведениям. Все мы продолжали любить французские комические оперы; но уже начинали в них чувствовать превосходство Херубини перед другими, и когда в 1809 году показалась «Весталка», сочинение Спонтини, французская опера с итальянизированной музыкой, то приняли ее с восторгом.

Чуть было в это время не опротивела нам итальянская музыка от прибывающих старых, отставных примадонн, которые, за ненахождением сцены, давали слушать себя в концертах. Мадам Мара, которой печатные портреты везде продавались и которая долго гремела в Европе, давно уже умолкла. Кто-то подбил ее приехать в Россию: этим, дескать, северным варварам нужна одна только слава имени, а недостатков пения они не в состоянии будут разобрать. Может быть, действительно, были мы тогда плохие судьи в искусствах; но что касается до свежести лица и голоса, то в этом русские всегда были любители и знатоки. Уважение их к знаменитости таланта также не служило признаком их невежества, и они показали то, в почтительном молчании выслушав Мара. Когда же, одобренная сим полууспехом, явилась другая старуха, Фантоцци Маркетти, то и они нашли, что это дурная шутка, уже не были столь учтивы и расхохотались после первой арии. Странно, что после того обе они остались навсегда в России и кончили в ней век: видно, в тогдашней хлебосольной нашей стране всякий мог как-нибудь прокормиться.

Не одни они, но еще и другие обветшалые, поношенные таланты повадились тогда к нам ездить. Приехала мамзель Сенваль, которая гораздо прежде революции извлекала слезы у Марии-Антуанетты и принцессы Ламбаль; но после того прошло около тридцати лет, а она и смолоду была неуклюжа и неблагообразна. Ну, так и быть, подавай ее сюда: графы и князья, которые видели блеск Версаля, утверждают, что она чудо. У каждой актрисы есть своя любимая роль, в которую для дебюта облачается она, как в праздничное платье; Сенваль явилась нам Аменаидой. Я не буду говорить о лице ее; но как не содрогнуться, увидев страстную любовницу, малорослую, толстую, кривобокою, с короткою шеей и в карикатурном наряде! В продолжение первых двух действий зрители были удерживаемы от смеха чувством отвращения. Коль же скоро, в третьем действии, осужденная на смерть, показалась она в цепях, в белом платье с распущенными волосами, тогда самый голос ее, довольно охриплый, казалось, вдруг сделался чист и трогателен; из глубины ее сердца потекли рекою прекрасные стихи Вольтера. Так было до конца, и между зрителями остались нерастроганными только те, которые на сцене в женщинах ищут одной красоты. Нельзя себе представить, сколько истинного чувства было в этой женщине: она была воплощенная трагедия, к несчастью, в самой безобразной оболочке. Она не думала затмить Жорж (их роли были совсем не одинаковы), но сравнение их наружности было убийственно для бедной Сенваль. Всего чаще в двух трагедиях играла она, в «Китайской сироте» да в «Ипермнестре», только почти без всякого успеха. Со стыда, сердечная, скорее куда-то уехала.

Три четверти петербургской публики из одних афишек только знали, что дают на немецком театре; а чего на нем не давали? Число драматических писателей в последнее двадцатипятилетие в Германии чрезвычайно расплодилось, и каждый из них был отменно плодovit. Сей огромный репертуар беспрестанно умножался еще переводами итальянских и французских

опер и английских трагедий. И все это у нас играли, и немецкая ненасытимость все это поглощала.

Источник такого богатства был у нас под носом, и никто не думал черпать из него; никто не спешил ознакомиться с гениальными творениями Лессинга, Шиллера и Гёте. Таков был век.

Мы, вслед за французами, почитали Аристотелево правило о трех единствах на сцене нашею драматическою верой, тогда как, в творческой гордости своей, немцы совершенно пренебрегали им. Французы, наши наставники, приучили нас видеть в немцах одно смешное, а мы насчет сих последних охотно разделяли мнение их, по врожденной, так сказать, инстинктивной к ним ненависти. Тогда она чрезвычайно ослабела; лежачего не бьют, говорят русские, а мы того и глядели, что сами ляжем с ними под каблук Наполеона. Несмотря на то, в хорошем обществе кто бы осмелился быть защитником немецкой литературы, немецкого театра? Сами молодые немцы, в нем отлично принятые, Палены, Бенкендорфы, Шепинги, если не образом мыслей, то манерами были еще более французы, чем мы. Некоторые из них со смехом рассказывали сами, как в иных пьесах герой, которого видели юношей в первом действии, в последнем является стариком, как первое происходит в Греции, а последнее в Индии; тридцать или сорок действующих лиц были также предметом общих насмешек. Названия играемых трагедий или драм: «Минна фон-Барнгельм», «Гётц-фон-Берлихинген», «Доктор Фауст» — казались уродливы, чудовищны. И что это за Мефистофель? И как можно черта пустить на сцену? Это то же, что пьяного сапожника представить в гостиную знатной модницы. Все это казалось неприличием, отвратительною неблагопристойностью. Я помню раз в театре старого графа Строганова, который так и катался, читая «Damen, Senatoren und Banditen» на конце афишки, возвещающей первое представление Абеллино. Пристрастные к собственности своей, немцы между тем молчали и себе на уме думали, что придет время, когда они поставят на своем. Оно пришло. Никому ныне не осмелюсь я сказать того, но в сей тайной исповеди должен признаться, что в этом отношении о прошедшем времени я часто вздыхаю.

Что бы сказать мне о немецкой труппе? Я уже раз говорил об ней, называл Брюкля, Штейнберга, Линденштейна; они оставались бессменны. Пьесы давались беспрестанно новые, а играли их актеры все старые. Упомянуть ли мне об одной довольно плохой актрисе, о которой много говорено было в обществе молодых людей? Девица Лёве была совершенная красавица; одни только неимущие обожатели сей расчетливой немки находили, что она достойна своего имени, что в ней жестокость львицы; щедрые же богачи видели в ней кротость агнца. Уверяли, что прежний мой начальник, скупой граф Головкин, для нее только был отменно чив.

Русским театром хочу я заключить: успехи его тесно связаны с успехами нашей словесности, и переход от одного к другой будет естественнее. Об одном, как и о другой говорил я очень мало в предшествующей второй части своих записок; да и, правду сказать, говорить много было бы трудно: успехи обоих шли слишком медленно в первое пятилетие нынешнего века.

Пристрастие ко всему иностранному и особенно к французскому образуемого русского общества, при Елисавете и Екатерине, сильно возбуждало досаду и насмешки первых двух лучших наших комических авторов, Княжнина и Фон-Визина, как оно возбуждало их тогда и возбуждает еще и поныне во всех здравомыслящих наших соотечественниках. Если бы что-нибудь могло ему противодействовать, то, конечно, это были забавные роли Фириюлиных в «Несчастьи от кареты» и в «Бригадире» — глупого бригадирского сынка, которого душа, как говорит он, принадлежит французской короне. Но течение подражательного потока, в их время, было слишком сильно, чтобы какими-нибудь благоразумными или даже остроумными преградами можно было остановить его, тогда как не только нам, потомкам их, едва ли нашим потомкам когда-нибудь удастся сие сделать.

Воспитанный в их школе Крылов, если можно сказать, еще быстрогляднее их на несовершенства наши, думал, что пришло к тому время, когда, в надменности нашей, при Александре, забыли мы даже сердиться на немцев и, казалось, в непримиримой вражде с ре-

волюцией и Бонапарте. Он жестоко ошибся. Что могло быть веселее, умнее, затейливее его двух комедий «Урока дочкам» и «Модной лавки», игранных в 1805 и 1806 годах? Можно ли было колче, как в них, осмеять нашу столичную и провинциальную галломанию? Во время частых представлений партер был всегда полон, и наполнявшие его от души хохотали. Конечно, это был успех, но не тот, которого ожидал Крылов. Только этот раз в жизни пытался сей рассеянный, по-видимому, ко всему равнодушный, но глубокомысленный писатель сделать переворот в общественном мнении и нравах. Ему не удалось, и это, кажется, навсегда охолодило его к сцене.

Высшее общество, более чем когда, в это время было управляемо женщинами: в их руках были законодательство и расправа его. Французский язык в их глазах был один способен выражать благородные чувства, высокие мысли и все тонкости ума, и он же был их исключительная собственность. И жены чиновников, жительницы предместий Петербурга, и молодые дворянки в Москве и в провинциях думают смешным образом пользоваться одинаковыми с ними правами. Какие дуры! Спасибо Крылову, и они одобряли его усилия и улыбались им. Что может быть общего у французского языка, сделавшегося их отечественным, с тем, что происходит во Франции? И она, грозившая овладеть полвселенною, в их глазах находилась в переходном состоянии. Таково было упорное мнение эмигранток, их воспитывавших, которое они с ними усердно разделяли. И, к счастью, они не ошиблись.

Все это гораздо легче Крылова мог подметить другой драматический писатель, более его на сем поприще известный, князь Александр Александрович Шаховской. Сперва военная служба в гвардии, где он находился, потом придворная мало льстили его самолюбию. Он рожден был для театра: с малолетства все помышления его к нему стремились, все радости и мучения ожидали его на сцене и в партере. Как актер, утвердительно можно сказать, он бы во сто раз более прославился, чем как комик: не будь он князь, безобразен и толст, мы бы имели своего Тальму, своего Гаррика. Согласно его склонностям, он был впоследствии определен управляющим по репертуарной части императорских публичных зрелищ, под начальством главного директора Александра Львовича Нарышкина. Тогда он сделался бесшумным посетителем дома своего начальника, в котором соединялось и блистало все первостепенное в столице, но в котором оставалось много простора для ума и где можно было (однако же не забываясь) предаваться всем порывам веселости. Странен был этот человек, странна и судьба его; и стоит того, чтобы беспристрастно разобрать как похвалы, некогда ему расточаемые, так и жестокие обвинения, на него возводимые. Права рождения, воспитания спозаранку поставили его в короткие сношения с людьми, принадлежащими к лучшему обществу; вкус к литературе сблизил его с писателями и учеными; наконец, страсть к театру кинула его совершенно в закулисную сволочь. Первую половину жизни своей беспрестанно толкался он между сими разнородными стихиями, пока под конец совсем не погряз он между актерами и актрисами. Много дано ему было природою живого, наблюдательного ума, много чтением приобрел он и познаний; все это обессилено было в нем легкомыслием и слабостию характера. Каждое из сословий, им посещаемых, оставляло на нем окраску; но невоздержность, безрассудность, завистливость жрецов Талии всего явственнее выступали в его действиях и образе мыслей. Оттого-то всякая высокоподрастающая знаменитость, особенно же драматическая, приводила его в отчаяние и бешенство, которых не имел он силы ни одолеть, ни скрыть. Против одной давно утвердившейся знаменитости не смел он восставать и одной только посредственности умел он прощать. И со всем тем он был чрезвычайно добр сердцем, незлобив, незлопамятен; во всем, что не касалось словесности и театра, видел он одно восхитительное, или забавное, или сожаления достойное.

Как ни горячился он, но, почти живши в доме у Нарышкиных, всегда имел он сметливость не идти против господствующего мнения в большом обществе. Он охотнее нападал на тех, коих более почитал себе под силу. Петербург мало дорожил тогда Москвою. Карамзин, живущий в ней, казался ему безопасен. Карамзин, предмет обожания москвичей, весьма

преувеличенного молвою, приводил его в ярость, и он хватил в него «Новым Стерном». Он уверял, что хочет истребить отвратительную сентиментальность, порожденную будто бы им между молодыми писателями, и в то же время сознавался, что метит прямо на него. После того, в двух комедиях, впрочем, весьма забавных, «Любовная почта» и «Полубарские затеи», без милосердия предавал он осмеянию деревенских меломанов и учредителей домашних оркестров, трупп и балетов, все как будто похитителей принадлежащих ему привилегий и монополии. Потом с каждым годом становился он плодовитее. Сделавшись властелином русской сцены, он превратил ее в лобное место, на котором по произволу для торговой казни выводил он своих соперников. Надобно, однако же, признаться, что страсть его, не совсем дворянская и княжеская, имела самое благодетельное действие на наш театр: его «комедий шумный рой», как сказал один из наших поэтов [Пушкин в «Евгении Онегине»], долго один разнообразил и поддерживал его. Что еще важнее, он был неутомимым и искусным образователем всего нового молодого поколения наших лицедеев.

Около описываемого мною времени жил он в большом согласии с одним поэтом, мало дотоле известным, хотя он был уже в чинах и довольно зрелых летах. Мне случалось видеть и не один раз разговаривать с Владиславом Александровичем Озеровым, потому что он был двоюродным братом Блудова и что сей последний, по чрезвычайной молодости лет, кажется, с начала приезда своего был поручен его попечениям. Многие утверждали, что он ума не обширного; мне казалось совсем противное: я слушал его с величайшим удовольствием, а от произведений его бывал вне себя. Только в конце 1804 года началась его литературная известность самым блестящим образом. Все старые трагедии Сумарокова и даже Княжнина, по малому достоинству своему и по обветшалости языка, были совсем забыты и брошены. Переводу Шиллеровых «Разбойников» названия трагедии давать не хотели, и казалось, что разлука наша с «Мельпоменой» сделалась вечною. Вдруг Озеров опять возвратил ее нам. Появление его «Эдипа в Афинах» самым приятным образом изумило петербургскую публику. Трагедия эта исполнена трогательных мест и вся усыпана прекрасными стихами, из коих многие до сих пор сохранились еще в памяти знатоков и любителей поэзии. Много способствовал также успеху этой пьесы первый дебют молоденькой актрисы Семеновой\* в роли Антигоны: с превосходством игры, с благозвучием голоса, с благородством осанки соединяла она красоту именно той музыки, которой служению она себя посвящала.

В конце следующего года показался его «Фингал». Тут было гораздо более энергии, и дикая природа Севера, которою отзываются характеры всех действующих лиц, нашим северным зрителям, «Spectateurs du Nord»<sup>62</sup>, весьма пришлась по вкусу. Едва прошел год, и «Дмитрий Донской» был представлен в самую ту минуту, когда загорелась у нас предпоследняя война с Наполеоном. Ничего не могло быть апропее [à propos — кстати], как говаривал один старинный забавник. Аристократия наполняла все ложи первого яруса с видом живейшего участия; при последнем слове последнего стиха: велик российский Бог рыдания раздались в партере, восторг был неописанный. Озеров был поднят до облаков, как говорят французы. Сие необычайное торжество, увы, было для него последнее. Столь быстрых, столь непрерывных успехов бедный Шаховской никак не мог перенести.

Сколько припомню, в 1808 году поставлена была на сцену последняя трагедия Озерова «Поликсена». В пособиях, которыми дотоле Шаховской так щедро наделял его, как сказывали мне, стал он вдруг ему отказывать и, напротив, сколько мог, во всем начал ставить ему препятствия. Наша публика, неизвестно чьими происками предупрежденная не в пользу нового творения, на этот раз не возбуждаемая более патриотизмом и не довольно еще образованная, чтобы быть чувствительною к простоте и изяществу красот гомерических, чрезвычайно холодно приняла пиесу. Ничто не могло расшевелить ее, ни даже пророчество Кассандры, которым

\* Екатерина Семеновна Семенова (1786—1849) — знаменитая трагическая актриса, играла с 1802 г.; в 1828 г. вышла замуж за кн. И. А. Гагарина. Пушкин высоко ценил ее талант и увлекался ею как женщиной.

<sup>62</sup> Название издаваемого тогда в Гамбурге французского журнала, у нас многими получаемого. — *Авт.*

оканчивается трагедия и в котором, предрекая грекам падение их и возрождение, она говорит им, что придет народ

От стран полнощных  
Оковы снять с ахейн маломощных.

Сии стихи, которые бы должны были наполнить наши груди восторгом благородной гордости (и которые, кроме меня, едва ли кто помнит), были лебединою песнию несчастного Озера.

Он всегда расположен был к ипохондрии; чрезвычайная раздражительность нервов его к тому располагала, и оттого-то так сильно принимал он к сердцу всякую неудачу. Последняя поразила его, и он видел в ней совершенное свое падение. Он начал убегать общества, уединялся, дичал, наконец, бросил службу и скрылся в какой-то отдаленной деревне. Там решился он ума и, к счастью, вскоре потом и жизни.

Но пример его прошедших успехов был заразителен для целой толпы недавно проявившихся мелких стихотворцев: все захотели быть трагиками. Одному только из них, Крюковскому, удалось сладить с оригинальною трагедией «Пожарский», довольно хорошими стихами писанною; все же другие думали прославить себя одними переводами. Молодой воин Марин перевел «Меропу», и старый Хвостов — «Андромаху». По следам их Гнедич перевел «Танкреда», Жихарев — «Атрея», а Катенин — «Сида» и «Аталию» (по его, Гофوليو). Затем уже составила целая компания переводчиков, которые надеялись иметь успехи посредством складчины дарований своих: граф Сергей Потемкин, какой-то Шапошников, какой-то Висковатов и еще другие, по двое и по трое вместе пустились взапуски, кто кого хуже, изводить известные французские трагедии, чтоб угодить общему вкусу. Необходимость в помощи Шаховского для постановки сих искаженных классических творений на время окружила его искателями. Ему приятно было покровительствовать новым, только что на свет показавшимся талантам, тем более что и в глазах его они в будущем ничего не обещали. Каждая из сих трагедий имела по несколько представлений, и наша покорная публика, которой воспрещено тогда было не только свистать, но даже и шикать, первые два довольно спокойно и терпеливо их выносила; но вскоре потом отсутствием своим, как единым средством ей на то оставленным, пользовалась она, чтоб изъявлять неодобрение свое. Весь этот поток через сцену прямо утекал в Лету; «Меропа» и «Танкред» одни только на некоторое время удержались. С самодовольствием окинув взором всю толпу сих бездарных людей, но в то же время увлекаемый примером, сам Шаховской задумал высоко подняться над ними; этого мало, он затеял в творчестве состязаться с самим Расином, и для того в Библии начал искать сюжет для оригинальной своей трагедии. Немалое время мучился он и наконец разразился ужасною своею «Деборой». С любопытством все кинулись на нее; уstraшенные же, скоро стали от нее удаляться. Но не так-то легко, как других, можно было одолеть театрального директора: с каждым представлением зала все более пустела, а «Дебору» все играли, играли, пока ни одного зрителя не стало.

Переводных комедий было очень мало: по всей справедливости, Шаховской не любил их и не подпускал к нашей сцене. Водевиль, если делом изредка показывались, то словом, то есть именем, тогда неизвестны были на русском театре. Зато операми заимствовались мы у всех, у французов, у немцев, а когда стали побогаче голосами, то и у итальянцев. Началось с бесконечной «Donau Weibchen»; ее веселые, легкие, приятные венские мелодии не трудно было перенять нашим плохим тогда певцам, не трудно было ими пленить и наших слушателей. Все это, вместе с богатыми декорациями, беспрестанными превращениями и уморительным шутовством Воробьева, около года привлекало многочисленную публику и умножало барыши дирекции. Ее переименовали «Русалкой» и сцену перевели на Днепр, что также немало полюбилось брадытым зрителям. Когда заметили, что она им пригляделась и посещения ста-

новятся реже, то, чтобы возбудить к ней погасающую в них страсть, создали ей наследницу, вторую часть, или «Днепровскую русалку». Следуя все той же методе прельщений, через некоторое время показалась третья часть под именем просто «Русалки». Сильная к ним любовь совсем истощилась, когда показалась четвертая часть под именем опять просто «Русалка», без всякого прибавления; успех ее был довольно плохой. Между русалками восстал «Илья богатырь», волшебная опера, которую написать упросили Крылова. Он сделал это небрежно, шутя, но так умно, так удачно, что герой его неумышленно убил волшебницу-немку, для слазна русских обратившуюся в их соотечественницу.

Их вкус между тем все исправлялся и чистился. Декорации переставали им быть необходимы; они более стали понимать музыку, но все-таки ее одну без слов не любили. Тогда (я все говорю о среднем и низком классе) начали переводить для них французские оперы, «Калифа багдадского», «Мнимый клад», «Двое слепых», а наконец и «Водовоза». Познакомив их с Боиелдиё, с Мегюлем, приготовили их быть способными чувствовать и Херубини. Гладь, и «Деревенские певички» Фиораванти явились перед ними. Своих композиторов у нас тогда еще не было: произведения Кавоса, управлявшего оркестром, были так слабы; к тому же он был чужестранный, итальянец, что и считать его нечего. Кажется, не заставляя себя трудиться, легче бы было ходить им во французский театр; нет, подавай им свое: там ни слова они не понимали, а звуки могли им быть приятны только в соединении с мыслями. Правда, у них не было Филис, зато не было и Андриё. Место первой в русской опере занимала недавно образовавшаяся, молоденькая, хорошенькая актриса Черникова, с небольшим, но приятным голоском. У молодого же тенора, Самойлова, был такой голос, который итальянцы превозносили и ему завидовали. Впоследствии выучился он очень хорошо играть, и если б, не спеша насладиться успехами, доставленными ему чудесным, природным его даром, он прилежно постарался его усовершенствовать, то наверное можно сказать, что не менее Рубини прогремел бы он в Европе. По примеру Филис и Андриё, и сия чета соединилась законным браком. От частых родов голос у Самойловой начал слабеть и упадать.

Как бы ей на смену, театральная школа произвела нечто чудесное. Еще не выпущенная из нее воспитанница Болина красотой затмевала подруг своих, а голосом едва ли не более еще пленяла, чем красотой. Только одну зиму насладились ею публика. Один молодой дворянин, Марков, сын умершего богатого отца, имевший более сорока тысяч рублей доходу, совершенно свободный, влюбился в нее без памяти. Он предложил ей руку, а дирекции выкупа, сколько бы ни потребовалось за ее воспитание и освобождение. Согласиться с его желаниями до выпуска ее никак не было возможно. Тогда решил он увезти ее, обвенчаться с нею и за то целый месяц должен был просидеть на гауптвахте. На ней толпами посещала его безрассудная молодежь, видя в наказании его жестокою несправедливостью, при всеобщем тогда неудовольствии на правительство, думая дразнить его тем и забывая, что для нее иссяк источник живейших удовольствий и что Марков был похитителем их. Какие у нас обо всем ложные понятия! Права казны и общества должны быть еще неотъемлемее прав частной собственности. И что же? Осьмнадцатилетняя певица, которая могла бы долго быть украшением сцены и упиваться восторгами, ею производимыми, сделалась несчастнейшею из помещиц. Сперва из ревности, а потом стыдясь неравного брака, муж всегда поступал с нею жестоко и не давал ей нигде показываться. Не получив в школе приличного воспитания будущему ее званию, ни светского образования потом, из нее вышло нечто совершенно пошлое.

Лет двадцать спустя, по приглашению Маркова, случилось мне раз у них обедать: о Боже! в грации, которую я некогда так восхищался, нашел я что-то хуже деревенской барыни, простую кухарку, неповоротливую, робкую, которая не умела ни ходить, ни сидеть, ни кланяться и как будто не смела и говорить. Я узнал после, что Маркова сделали губернатором; ну, подумал я, для жены его роль губернаторши будет потруднее ролей Зетюлбе и Алины.

В школе, в запасном магазине драматических талантов, не нашлось ни одной девочки, которая бы могла заменить Болину. Попеременно их выставляли; одна только Карайкина, в замужестве Лебедева, могла некоторое время удержаться.

Не в театральной школе должен был образоваться великий талант для нашей оперы. В Петербурге был тогда один дом, в котором еженедельно собирались большие любители музыки и лучшие виртуозы. Дом этот сенатора Теплова, который имел и собственный славный оркестр, был совершенно музыкальный. Познакомившись в нем через сына Теплова, бывшего товарища моего во время путешествия по Сибири, я нередко посещал их вечера. На одном из них услышал я пение немочки, дочери придворного музыканта Фодора, и оно показалось мне писком. Мне непонятно было, как могли великие знатоки восхвалять его и в пророческом восторге сулить ему славу. В этом деле и в это время петербургская публика, видно, столько же смыслила, как и я; ибо года три спустя, когда Фодор явилась на русской сцене, была она принята ею с удовольствием, не совсем преувеличенным. В большом обществе так много еще было тогда пристрастия ко всему французскому, что в нем обижались сравнениями, которые некоторые позволяли себе делать между нею и стареющею Филис. Не для того ли, чтобы поднять себя в его мнении и несколько офранцузить себя, вышла она после за французского комического актера Менвиеля? Нет, ничто не помогло. Имея, однако же, в себе чувство превосходства своего, наконец, стала она требовать по крайней мере прибавки жалованья; ей и в этом отказали; тогда Россию она навсегда оставила. Вся Европа узнала ее потом, засыпала золотом и заглушила рукоплесканиями.

Гораздо более Фодор-Менвиель полюбилась семнадцатилетняя красотка, которая хотя после нее, но еще при ней показалась в опере. Это была Нимфодора, меньшая сестра трагической актрисы Семеновой. Голосок у нее был только что изрядный, зато быть милее ее в игре было трудно. Красотою обе сестры были равны, только в родах ее различествовали между собою. У старшей был греческий профиль и что-то великолепное в чертах; меньшая выполняла все условия русской красоты, белизну груди, полноту и румянец щек, живость в очах, тонкость и пристойную веселость в Улыбке. Исключая небольшой разницы, и судьба сих сестер была одинакова. Обе соединились незаконным браком с действительными тайными советниками: старшая, Катерина, с князем Иваном Алексеевичем Гагариным, меньшая с графом Василием Валентиновичем Мусиным-Пушкиным-Брюсом. Одна старшая умела обратить его, наконец, в законный.

Ничего более о театре сказать я не имею. Читатель, может быть, скажет: «да, кажется, и этого не слишком ли много?» На это позволю я себе заметить ему, что большая половина этой главы посвящена была драматической литературе, а она в это время едва ли не составляла всю нашу словесность.

Итак, об ней остается мне мало говорить, но много о множестве словесников, как о сделавшихся в это время известными, так и об оставшихся с тех пор неизвестными.

В последние годы царствования Екатерины Второй между литературами двух столиц возникли какие-то несогласия; но не только до расколу, ни даже до сильных распрей дело не доходило. При, Павле, в Москве, куда большая часть писателей удалилась, от столкновения несогласных начали взаимные неудовольствия умножаться и превращаться в нечто, похожее на вражду. Исключая старого Хераскова, который в старой Москве доживал свой век, всех знаменитее были Дмитриев и Карамзин; с ними в тесной связи находился Тургенев, директор университета, отец многореченного в сих записках Тургенева, не писатель, но великий друг просвещения. В том же университете одним из трех кураторов был Павел Иванович Голенищев-Кутузов, человек умный и сведущий, но как стихотворец никем не замеченный, не хвалимый и не осуждаемый. Вероятно, сие невнимание встревожило его самолюбие и возбудило досаду на двух сочинителей, более его счастливых. К нему, как бы в виде наперсника, пристал Шатров, поэт с большими дарованиями, которые преимущественно посвятил он переводу псалмов! Он усердно вдавался в мартинизм, подобно Тургеневу, и, так же как Карамзин, в первой молодости был поддержан и поощряем Николаем Новиковым, главою мартинистов. Вот почему непонятно, как впоследствии сделался он врагом столь почтенных людей.

Под именем критики разумели тогда брань и поношение, мало знали ее, мало употребляли. Не знаю, правда ли, но меня уверяли потом неоднократно, будто который-то из сих гос-

под (и полно, не оба ли) прибегнули к другому средству нападения, к средству постыдному и жестокому, к ложному доносу на Карамзина: они обвиняли его в якобинизме, и перед кем же? Перед Павлом! Конечно, как все великодушные и неопытные юноши, в первоначальных порывах к добру создавал он некогда утопии, веровал в свободу, в братскую любовь, в усовершенствование рода человеческого. Когда началось его воспитание, в России, по примеру других европейских, даже самых деспотических государств, наставники воспитанникам все указывали на блеск греческих республик, на величие римской; твердили, что с свободой их были неразлучны добродетели, счастье и слава и что с ее утратой они всего лишились; в веках ближе к нашему старались они возбуждать их восторг к Швейцарии и Вильгельму Телю, к Нидерландам и Эгмонт; наконец, Северная Америка с своими Вашингтоном и Франклином должна была осуществить для них прекрасные мечты их отрочества. С такими поучениями, с чистою и пылкою душой, в самой первой молодости Карамзин отправлен был путешествовать по Европе, которая тогда полна была надежд и ожиданий благополучнейших последствий от едва начавшейся французской революции. Возвратившись, некоторое время не скрывал он своих благородных заблуждений, пока вид Польши, погибшей от и посреди безначалия, и Франции, политой кровию, не разочаровал его. Чад его давно прошел, но, не забытый врагами, послужил к его обвинению. Невежество или доброта людей, управлявших тогда делами, спасли его: в гнусном деле увидели они одно литературное соперничество и с пренебрежением бросили его, не доводя до императора. В первобытной невинности наших правительственных лиц (не хуже, чем в преступном знании нынешних) так мало обращали внимания на то, что касалось до словесности, политики и религии, так мало вникали в настоящий смысл преподаваемых злонамерением правил (лишь не говори напрямки), что переводились, печатались и с дозволения цензуры продавались все забавные, веселые и богомерзкие романы Вольтера, «Кандид», «Белый бык» и «Принцесса вавилонская», за ними даже показался и «Кум Матвей». Вот новое и еще сильнейшее доказательство этой беспечности или неведения. Со времени Екатерины, через все царствование Павла и долго при Александре издавался в Москве неким Матвеем Гавриловичем Гавриловым «Политический журнал». Если где-нибудь уцелели экземпляры его, то пусть заглянут в них и подивятся: там, между прочим, найдут целиком речи Мирабо, жирондистов и Робеспьера. Такая смелость должна бы была произвести, по крайней мере, удивление; никто не ведал про содержание журнала и никто его ныне не помнит. Ленивые цензоры с рассеянностью пропускали его номера, а название «политического» пугало и отталкивало праздных тогда и невежественных москвичей; малое же число читателей, тайно принимающих живое участие в сохранении его, не спешило разглашениями. На это никто не доносил, и горе тому, кто бы осмелился сие сделать: искони старая Москва любила потворствовать всякого рода маленькому своеволию. Сам издатель Гаврилов, неведомо откуда имевший средства к поддержанию себя и журнала своего, лично был знаком с немногими, чуждался сношений с известными писателями, выставял свое имя и скрывал свою особу и как будто любил мрак, в который старался погрузиться.

Также особняком, только не в тени, жил и писал тогда в Москве еще один сочинитель, князь Иван Михайлович Долгорукой, бывший при Екатерине пензенским вице-губернатором. В творениях его было столько же ума, оригинальности и безобразия, как, говорят, и в наружности его; только о первых могу я судить, последней же никогда не видывал. Мне кажется, ему не довольно отдавали справедливости: между стихами его много таких замечательных по силе чувства, мысли и выражения, что, не затверживая, сохранил я их в памяти.

Все это при Павле. Число литераторов при нем было не весьма большое в большой столице. Но сколько в обеих столицах существовало их неприметным образом, сколько скрывалось по деревням, сколько зреющих и даже назревших талантов, чтобы воспрянуть, дожидалось как будто назначенного часа. Он пробил 12 марта [убийство Павла]. Я был тогда в Москве и помню этот час; откуда что взялось? Как будто из земли выросло! Все с истинным, равным восторгом, но не с равным искусством пустилось приветствовать и славословить Александра; все кинулось, кто к трубам и к лирам, кто к балалайкам и гудкам, принимая одни за другие, все



загремело, запело, запищало; одним одам счету не было; старый Херасков и студент Мерзляков удачнее всех воспели пришествие молодого царя.

Прошел год; все поустоялось, поутихло, и приметно увеличившееся сословие начало приниматься за дело, еще мало писать, но составлять из себя общества и избирать предводителей. Настоящих партий, кроме петербургской и московской, быть не могло. Петербургская не замедлила обнаружить свой честолюбивый и нападательный дух; она рассуждала логически: там, где царь, там должна быть и первенствующая власть. Московская же, по примеру не главы своего, а образца и кумира Карамзина, старалась сколь можно более сохранять спокойствия и равнодушия к сим нападениям.

Впрочем, кажется, и довольно трудно было бы кому-либо из сей партии вступить в ратоборство. Все эти тогдашние московские литераторы по большей части были народ смиренный. Постараемся перечесть и изобразить их.

Первым, после главных, почитался Василий Львович Пушкин, о котором сказали, что эпиграммы его делают более чести его сердцу, чем уму. Сибарит, франт, светский человек, он имел великое достоинство приучать уши щеголих, княгинь и графинь к звукам отечественной лиры. Стихи его не были гениальны, зато благозвучны и напоминали собой благовоспитанный круг, в котором родились. Только под конец, разгневанному до неблагопристойности, случилось ему в одно время выйти из себя и превзойти себя. В таком расположении, с помощью природных добродушия и веселонравия, удалось ему написать небольшую сатиру «Опасный сосед», которая изумила, поразила его насмешников и заставила самых строгих, серьезных людей улыбаться соблазнительным сценам, с неимоверною живостию рассказа, однако же, с некоторою пристойностию им изображенным. Напечатать такого рода стихов не было возможно; но тысячи их рукописных копий, кажется, еще доселе сохранились. Не в первый раз приходится мне говорить о сем Пушкине, может быть, и не в последний.

О Мерзлякове говорить мне будет трудно: много слышал я о нем и сочинениях его, только без внимания, и оттого их почти, а его вовсе не знаю. Мне сдается, что в словесном деле был он то же, что в военном искусстве великий тактик, которому не удалось выиграть ни одного сражения. На нападки, на придирки из Петербурга, кажется, смотрел он как на дразги, недостойные его внимания. Гораздо, гораздо после был он первый, который читал публичные лекции о русской словесности и в университетской зале собирал вокруг себя многочисленных слушателей и слушательниц. Жуковский еще мало был известен в первое пятилетие Александрово. Куда ему было вступать в полемику, когда всю жизнь он ее чуждался? Просторечивый и детски или, лучше сказать, школьнически шуточный, он уже был тогда весь исполнен вдохновений, но стыдливый, скромный, как будто колебался обнаружить их перед светом. Не помню, в 1803 или в 1804 году дерзнул он показаться ему. Первый труд его, перевод Греевой элегии «Сельское кладбище», остался незамечен толпою обыкновенных читателей; только немногие, способные постигать высокое и давать цену изящному, с первого взгляда в небольшом творении узнали великого мастера. Года два спустя узнали его и, не умея еще дивиться ему, уже полюбили, когда, подобно певцу о полку Игореве, в чудесных стихах оплакал он падших в поражении аустерлицком. Видно, в славянской природе есть особенное свойство величественно и трогательно воспевать то, что другие народы почитают для себя унижительным; доказательством тому служат и сербские песни.

В белевском уединении своем, где проводил он половину года, Жуковский пристрастился к немецкой литературе и стал нас потчевать потом ее произведениями, которые по форме и содержанию своему не совсем приходились нам по вкусу. Упитанные литературою древних и французскою, ее покорною подражательницею (я говорю только о просвещенных людях), мы в выборах его увидели нечто чудовищное. Мертвецы, привидения, чертовщина, убийства, освещаемые луною, да это все принадлежит к сказкам да разве английским романам; вместо Геро, с нежным трепетом ожидающей утопающего Леандра, представить нам бешено-страстную Ленору со скачущим трупом любовника! Надобен был его чудный дар, чтобы заставить нас не только без отвращения читать его баллады, но, наконец, даже полюбить

их. Не знаю, испортил ли он наш вкус; по крайней мере создал нам новые ощущения, новые наслаждения. Вот и начало у нас романтизма.

Много говорил я о нем и о таланте его во второй части записок моих. Боюсь повторять себя, но о необыкновенном человеке всегда сыщется сказать в прибавках что-нибудь новое. В беседах с короткими людьми, в разговорах с ними часто до того увлекался он душевным, полным, чистым веселием, что начинал молоть премилый вздор. Когда же думы засядут в голове у него, то с исключительным участием на земле начинает он искать одну грусть, а живые радости видит в одном только небе. Оттого-то, мало создавая, все им выбранное на ней спешил он облекать в его свет. Все тянуло его к неизвестному, незримому и им уже сильно чувствуемому.

Не такую ли нежною тоской наполнялись души первых христиан? От гадкого всегда умел он удачно отворачиваться, и, говоря его стихами, всю низость настоящего он смолоду еще позабыл и пренебрег. В нем точно смешение ребенка с ангелом, и жизнь его кажется длящимся превращением из первого состояния прямо в последнее. Как я записался о нем и как трудно расстаться мне с Жуковским! Когда только вспомню о нем, мне всегда становится так отрадно: я сам себе кажусь лучше.

Чтобы переход от него к глупцам сделать менее резким, назову я Макарова. Только не надобно смешивать; между литераторами тогда в Москве их было двое: Петр и Михаил; один был чрезвычайно умен, другой... не совсем. Этот Петр Иванович Макаров был отличный критик, ученый, добросовестный, беспристрастный, пристойный. Он подвизался в журнале, им самим издаваемом, кажется, в «Московском Меркурии» и, разумеется, более за Карамзина. Это продолжалось недолго: он умер слишком рано, едва в зрелых летах, как много других у нас полезных и достойных людей.

А Макаров 2-й уцелел; я уже упоминал о нем, как о товарище моем в московском архиве иностранных дел, как о трудолюбивом, бездарном, бесконечном, нескончаемом писателе.

Каков бы он ни был, этот Михаил Николаевич Макаров, мне все непонятно, как мог он Шаликову позволить взять перед собой первенство? Разве из уважения к старшинству лет и заслуг. Между сими мужиками и еще одним третьим составилась крепкий союз, долго существовавший. У меня глупая привычка всегда узнавать имя и отчество человека и потом сохранять их в памяти. Итак, третьего звали Борис Карлович Бланк (хорошо, что и это еще упомянул, зато уже ничего более о нем не знаю). Эти люди, в совокупности с какими-то другими, много, много, долго, долго писали, а что они писали? Этого ныне в Москве почти никто не помнит, и их творения, еще при жизни их, только с трудом отыскивались в собраниях древних редкостей. Все они, не спросясь здравого рассудка и Карамзина, даже ему незнакомые, принялись его передразнивать; и это в Петербурге называли его партией.

Один только из них, Шаликов, и то странностями своими, получил некоторую известность. Еще при Павле писал он и печатал написанное. Как во дни терроризма, под стук беспрестанно движущейся гильотины, французские поэты воспевали прелести природы, весны, невинную любовь и забавы, так и он в это время, среди общего испуга, почти один любезничал и нежничал. Его почти одного только было и слышно в Москве, и оттого-то, вероятно, между не весьма грамотными тогда москвичами пользовался он особенным уважением<sup>63</sup>. У него видели манеру Карамзина и почитали будущим его преемником.

Карамзин довольствовался тем, что у себя никого из сих господ не принимал, но полагал, что для них жестоко обидно будет, если он явно станет отречься от них. Они же оставались преспокойны, почитая себя в совершенной безопасности от петербургских нападений и думая, что все стрелы недоброжелательства должны падать на избранного ими. Правда, в Петербурге об них и не думали, а, наоборот изречения: «поражу пастыря — и разыдутся овцы», хотели, нападая на паршивых овец, истребить пастыря, который им никогда даже не бывал.

---

<sup>63</sup> Мне сказывал Загоскин, что во время малолетства случалось ему с родителями гулять на Тверском бульваре. Он помнит толпу, с любопытством, в почтительном расстоянии идущую за небольшим человечком, который то шибко шел, то останавливался, вынимал бумажку и на ней что-то писал, а потом опять пускался бежать. «Вот Шаликов, — говорили Шепотом, указывая на него, — и вот минуты его вдохновения». — *Авт.*

Только Дмитриев окружал себя этим народом и в особенности любил тешиться Шаликовым. Оно, конечно, довольно забавно видеть ворону, которая воркует голубком; но, кажется, скоро это должно прискучить. Вот до чего нас, старых холостяков, доводит иногда скука одиночества! Не знаю, как Дмитриев мог с этим ладить. Он очень дорого ценил высокое звание свое и умел его поддерживать, а до министерства своего и после него жил в Москве всегда в обществе так называемых литераторов. Известно, что все эти мелкие писачки, все люд заносчивый и тщеславный: напечатает четверостишие и думает уже иметь права на бессмертие и на равенство с Вольтером. Если б Данте и Шекспир воскресли, мне кажется, что самый последний из них, не задумавшись, сел бы с ними рядом и начал говорить им «ты». Ничего не может быть труднее, как удерживать тварей всегда готовых положить ноги на стол, а этой работе посвятил себя Иван Иванович. Он стоял так высоко, что она ему была легче, чем кому другому; однако же не раз и он вынужден был забывающим себя отказывать от дому. И как ни говори, это несколько роняло его в мнении и приготовило то нестерпимое обращение словесников, которое мы ныне видим. Нет, я придерживаюсь французской поговорки, что лучше быть одному, чем худо сопровождаться.

Ни с Жуковским, ни с Шаликовым не нашел я приличным назвать вместе Владимира Васильевича Измайлова. Он, говорят, был человек почтенный и добрый, только также чересчур вдавался в ложную чувствительность. Недавно попытался я прочесть «Путешествие» его в полуденную Россию; и что же? Слогом отменно опрятным написаны все пустяки, о коих не стоило говорить. Нет возможности читать это наркотическое произведение: скука и зевота так и одолевают.

Около 1806 года Карамзин перестал издавать «Вестник Европы» и передал его молодому другу своему, Жуковскому. Я говорил уже об этом журнале в предшествующей части сих записок. Примечательно в нем было быстрое развитие таланта издателя, и до того уж необычайного; он рос не по дням, а по часам, так что сама бедная, милая Лиза уже казалась девчонкой в сравнении с величественною Марфой: что это за красота и что за сила в ее изображении! С этого времени он умолк и предался великому, бессмертному труду, с высочайшего соизволения им предпринятому.

Про другие московские тогдашние журналы слышал я только вскользь. Помню, что еще до «Вестника» при «Московских Ведомостях» еженедельно выдавался литературный листок под названием «Ипокрены» и что сей мутный, неприметный ручей тек без всякого шума. После, если не ошибаюсь, были и «Эфемериды»; а после еще и «Меркурий», издаваемый Макаровым, про который я уже говорил. Вдруг вздумалось затейнику Макарову 2-му, который первому совсем не был родня, объявить об издании «Амура» под вымышленным именем небывалой княжны Елисаветы Трубецкой. Дорого было пришлось ему расплатиться за эту совсем неумную проказу: все Трубецкие восстали, и начальство архивское едва могло дело сие утушить. Эротическими названиями надеялись эти господа привлечь и женщин. Таким образом явилась и шаликовская «Аглая», и были читатели, которые дуру эту принимали за «Грацию».

Совсем в ином духе, в ином роде показался, наконец, «Русский вестник». Для успехов более всего нужно умение выбирать время. Когда изданием сего журнала Сергей Николаевич Глинка сделался известен, москвичам начинало уже тошниться от подслащенного рвотного, приготовляемого другими журналистами и их сотрудниками, и любовь к отечеству приметно возрастала с видимо умножающимися для него опасностями. Глинка был истинный патриот, без исключения превозносил все отечественное, без исключения поносил все иностранное. Пусть ныне смеются над такими людьми: я люблю их непреклонный характер целиком. В обстоятельствах, в которых мы тогда находились, журнал его, при всем несовершенстве своем, был полезен, даже благодетелен для провинций.

Они с Николаем Николаевичем Муравьевым в одно время сделались в Москве основателями двух своекоштных военных патриотических школ. Воины были тогда нужнее всего. Муравьев взялся образовать молодых дворян для пополнения ими великого недостатка в офицерах, чувствуемого в генеральном штабе и по части артиллерийской и инженерной.

Преподавая им высшие математические науки, он вселял в них и высокие чувства народной гордости. Глинка захотел быть просветителем донских казаков и принялся за ум и за сердце пылких, диких мальчиков. Довольно грубым, но пламенным и им понятным языком вливал он в них любовь к познаниям и к великому их российскому отечеству.

Кто ныне решится на столь славные и бескорыстные подвиги? Кто хвалит их или кто помнит их? Или, лучше, кто знает об них? Конечно, патриотизм, это неземная любовь к земному, есть чувство, которое в самом себе находит муку и отраду: его ни поощрять, ни награждать нечего. Но все-таки кажется, что совершенное забвение и, еще хуже того, строгое наказание не должны же быть следствием сей, по крайней мере, простительной страсти. Один из тех, о коих я говорил, давно забытый, окончил век в сельском уединении; другой просидел на гауптвахте за неумышленное упущение по цензуре, но скорее за чистосердечную неукротимость свою, что навсегда и положило хранение устам его. Почтенные люди, если после меня в каком-нибудь углу уцелеют небрежно составляемые мною записки, то потому уже почитаю их достойными хранения, что о заслугах ваших скажут они более вас, может быть, благодарному потомству.

Да что же ты ничего не говоришь о сенаторе-кураторе Кутузове? Скажут мне, что с ним сделалось? Или что он делал? Он отмалчивался, ни с кем не ссорился и оставался представителем и корреспондентом Петербурга.

Гораздо опаснее его и гораздо его сердитее был новый противник, который сначала тайно, а потом явно восставал на Карамзина. Он, так же как и Зоил, был родом и душою грек, находился профессором истории в Московском университете и назывался Михаил Трофимович Каченовский. Все недруги его, а их было много, отдавали справедливость его уму и учености; но вместе с тем имел он все те ненавистные свойства, которые отличают греков нынешнего и всех прошедших времен и которые после имел я случай так коротко узнать: беспокойный дух, ужасное высокомерие, пронырство, неблагодарность, раздражительность и вечная жажда мести. Можно себе представить, как все выше и выше полет Карамзина должен был терзать его мрачную душу. Долго, весьма долго один парил, как орел; а другой не переставал шипеть, как змея.

В это же время в Москве явилось маленькое чудо. Несовершеннолетний мальчик Вяземский вдруг выступил вперед защитником Карамзина от неприятелей и грозою пачкунов, которые, прикрываясь именем и знаменем его, бесславили их.

Один из богатых и просвещеннейших московских вельмож, князь Андрей Иванович Вяземский, вручил судьбу и руку прекрасной любимицы своей, дочери сердца своего, другу своему Карамзину и, чувствуя приближение смерти, ему же поручил воспитание и будущую участь единственного малолетнего своего сына<sup>64</sup>. Со всею силой нежного и пылкого сердца, ребенок привязался к зятю, опекуну, второму отцу своему; а этому казалось, что Бог даровал ему сына, и какого же? — исполненного благородства, ума и чувствительности. Может быть, снисходительность, слепое к нему пристрастие его после во многом повредили отроку, который слишком рано захотел быть юношей и мужем. Карамзин никогда не любил сатир, эпиграмм и вообще литературных ссор, а никак не мог в воспитаннике своем обуздать бранного духа, любвию же к нему возбуждаемого. А впрочем, что за беда? Дитя молодое, пусть еще тешится; а дитя куда тяжел был на руку! Как Иван-царевич, бывало, князь Петр Андреевич кого за руку — руку прочь, кого за голову — голову прочь. И это было в Москве, где всегда с нежным восторгом говорят о Западе и стараются подражать ему, а между тем в обыкновенном быту сохраняют все навыки Востока, где глупцы всегда стояли и стоят еще под защитою законов целого общества, высшего, низшего; где животные всякого рода хранимы так же всеобщим скотолобием, как в Цареграде собаки и кошки; где юродивые почитаются существами священными, как делибаши по всей Азии. В этом странном, старинном русском европействующем городе, где всякий, не опасаясь названия клеветника, не обинуясь может по заочности

---

<sup>64</sup> Екатерина Андреевна Карамзина была побочной дочерью А. И. Вяземского.

такого-то и такого-то, иногда весьма честного человека, назвать мошенником, вором, злодеем, беда, если кто острым словом заденет дурака; а из Вяземского они так и сыпались.

Он мог бы пострадать: как ни зубаст он был, его бы заели; но он был молод, богатый жених и чрезвычайно влюбчив. И женщины — матери и дочери, охотно видя в нем будущего зятя, любовника или мужа, стояли за него горой. К тому же везде женщины более способны понимать тонкости ума и во всех странах любят смелость мужчин: то и другое они в нем находили и всем составом своего пола отстаивали его. И не одни еще: он скоро сделался идолом молодежи, которую роскошно угаживал и с которою делил ее буйные забавы. Да не подумают, однако же, что этот остряк, смельчак был с кем бы либо дерзок в обращении; он всегда умел уважать пол и лета. Баловень родных, друзей и прекрасного пола, при постоянных успехах и среди многих заблуждений своей счастливой молодости он никогда не зазнавался, всегда оставался доброжелателен, сострадателен и любящ. Он служил доказательством, что остроумие совсем не плод дурного сердца, а скорее живого, веселого нрава. О чрезвычайном стихотворном его таланте пока ни слова; будет еще место и время поговорить об нем, если проживется.

Мне, однако же, пришла охота показать здесь образчик этого таланта, тогда еще не созревшего. Шаликов объявил всем о намерении своем отправиться за границу; за одним стало дело, за деньгами. Вяземский воспел сие несостоявшееся отбытие. Я помещу здесь только то, что из этих стихов припомню.

С собачкой, с посохом, с лорнеткой  
И с миртовой от мошек веткой,  
Подвязан розовым платком,  
В кармане пара мадригалов,  
С едва звенящим кошельком,  
Вот как пустился наш Вздыхалов  
По свету странствовать пешком.

Прежде всего, прощаясь с друзьями, Шаликов говорит им:

Прости, Макаров,  
Фебом чтимый,  
И ты, о Бланк неистощимый,  
Единственный читатель мой.

Недавно делал я поиски и в сведениях, только что мною полученных, открыл бездну литературных сокровищ того времени, зарытых в забвении, и сим кладом хочу поделиться с читателем. Исключая «Вестника Европы» (о котором ошибочно сказал я, что Карамзин передал его прямо Жуковскому, тогда как сей последний гораздо после два года издавал его вместе с Каченовским, тогда еще не обнаруживавшим свои прекрасные свойства), было еще несколько не названных мною журналов, и вот их названия:

- 1) «Журнал приятного, любопытного и забавного чтения», с 1802 по 1804 год издаваемый Панкратием Сумароковым,
- 2) «Новости русской литературы», с 1802 по 1805 г. издаваемые Сохацким и Победоносцевым,
- 3) «Друг просвещения», в 1804 г. издаваемый двумя сенаторами: графом Хвостовым и Кутузовым,
- 4) «Журнал для милых», в 1804 г. издаваемый, разумеется, Макаровым 2-м,
- 5) «Патриот, журнал воспитания», в 1804 же году издаваемый Владимиром Измайловым,
- 6) «Московский курьер», в 1805 и в 1806 гг. издаваемый опять Макаровым 2-м,
- 7) «Ученые ведомости», в 1805 и 1806 гг. издаваемые при университете каким-то профессором Буле.

Недаром Дмитриев в одной эпиграмме сказал тогда: «Журналов тысячу, а книги ни одной».

С Москвою кое-как еще я справился; не знаю, как-то будет с Петербургом.

Державин находился в нем в том же самом состоянии успокоившегося патриарха, как Херасков в Москве, и тем самым перед нею давал уже ему перевес в отношении к словесности. Заживо сопричтен уже был к сонму богов: два верховные жреца, Шишков и Шаховской, ему поклялись и именем его управляли толпою мелких служителей, дьячков, пономарей, звонарей Аполлона.

О счастливой мысли первого посредством славянских изречений и оборотов украсить и усилить русский язык я уже говорил. Она родилась в голове совсем не гениальной, тем не менее должны мы чтить память весьма почтенного, хотя немного смешного старца. Много говорил я и о последнем, может быть, слишком много.

О Крылове неоднократно упоминал я. В изображении русского театра об Озере вы-сказал все, что знал. Мне остается еще представить множество рядовых писателей, которые слепо шли под знаменами двух вышесказанных предводителей, особенно же Шишкова; простых работников, которые словесностью, как ремеслом, втихомолку промышляли. Их ничтожество давно поглощено забвением, я не вижу ни возможности, ни нужды их оттуда вытаскивать. Если же который взбредет на память, то, да простит мне читатель, я не оставлю назвать его.

Между сими мелкими лицами в памяти моей возникает одно крупное лицо, которое два мимоходом пришлось мне назвать. Дмитрий Иванович Хвостов, первый и предпоследний граф сего имени (ибо пожилой сын его, вероятно, не женится), был известен всей читающей России. Для знаменитости, даже в словесности, великие недостатки более нужны, чем небольшие достоинства. Когда и как затеял он несколько поколений смешить своими стихами, этого я не знаю; знаю только понаслышке, что в первой и в последующих за нею молодостях, лет до тридцати пяти, слыл он богатым женихом и потому присваивался ко всем знатным невестам, которые с отвращением отвергали его руку. Наконец, пришлось по нем одна княжна Горчакова, которая едва ли не столько же славилась глупостью, как родной дядя ее Суворов — победами. Этот союз вдруг поднял его: будучи не совсем молод, неблагообразен и неуклюж, пожалован был он камер-юнкером пятого класса — звание завидуемое, хотя обыкновенно оно давалось осмнадцатилетним знатным юношам. Это так показалось странно при дворе, что были люди, которые осмелились заметить о том Екатерине. «Что мне делать, — отвечала она, — я ни в чем не могу отказать Суворову: я бы этого человека сделала фрейлиной, если б он этого потребовал».

Тут начинается его известность. Придворный чин, родство с Суворовым, большое состояние, все это высоко ценилось; при этом поэзия его шла даром: никто не обращал на нее внимания. А в ней-то и видел он надежды на будущее свое величие. Обер-прокурорство, сенаторство, лента, наконец, графское достоинство, в память Суворова сардинским королем ему дарованное, все это, конечно, тешило его тщеславие, но не удовлетворяло честолюбия: ему хотелось прославиться, жить в веках. Обманывал ли он сам себя насчет дарования своего, или морочить хотел людей, чтобы при жизни насладиться их рукоплесканиями, вот что трудно разобрать. Всю долголетнюю жизнь свою просуетился, промучился он напрасно только из того, чтоб его похвалили; желание это обратилось у него в болезнь, в чесотку, в бешенство. Чего он ни делал? Подличал известным авторам, дарил сочинения свои книгопродавцам и нераспроданное сам покупал, чтобы приступить к другому изданию; кормил, угощал голодных стихотворцев, ссужал их деньгами.

Хвалить его было им невозможно: никто не решился бы на столь позорное дело; совестливые молчали, а бессовестные над ним же ругались в стихах. Вошло в обыкновение, чтобы все молодые писатели об него оттачивали перо свое, и без эпиграммы на Хвостова как будто нельзя было вступить в литературное сословие; входя в лета, уступали его новым пришельцам на Парнас, и таким образом целый век молодым ребятам служил он потехой.

Такое общее ожесточение можно бы назвать бесчеловечием, если бы сам он поступками своими не беспрестанно подавал повод к насмешкам. За все брался он: сочинял, переводил трагедии, комедии, поэмы, оды, послания, басни, одно хуже, одно нелепее другого; метромания нигде еще не являлась в столь смешном, неугомонном и запачканном виде. Он имел характер неблагородный, наружность подлую и наряд всегда засаленный. Неизвестно, примечательная нечистоплотность от жены ли к нему привилась или от него к ней; только неопрятность обоих супругов была баснею Петербурга. Кажется, сам он никогда не умывался, а в комнатах его, подобных хлевам, до того дышало заразительным воздухом, что мефетизм стали знать под названием хвостивизма. Он не принадлежал ни к какой партии, но втирался без разбору во все литературные общества и во всех оставался нулем, хотя, разумеется, нигде в глаза не смели его дурачить [Пушкин едко высмеивал Хвостова в своих эпиграммах и в письмах к приятелям].

Примечательны были также два украинца: один поэт в отставке, другой в сем звании только что поступивший на службу. Оба они, несмотря на единоверие, единокровие, единое звание, на двухвековое соединение их родины с Россией, тайком ненавидели ее и русских, москалей, кацапов. Это были Капнист<sup>65</sup> и Гнедич.

Василий Васильевич Капнист женился на родной сестре жены Державина, и даже эти брачные узы не могли привязать его к России. Он много написал стихов и весьма хороших и, заключив поприще свое великим творением своим, называемым «Ябеда», опустил на лавры. Не обращая внимания на наши слабости, пороки, на наши смешные стороны, он в преувеличенном виде, на позор свету, представил преступные мерзости наших главных судей и их подчиненных. Тут ни в действии, ни в лицах нет ничего веселого, забавного, а одно только ужасающее, и не знаю почему назвал он это комедией<sup>66</sup>. Лет сорок спустя один из единокровцев его, малорослый малоросс, коего назвать здесь еще не место, движимый теми же побуждениями, в таком же духе написал свои комедии и повести. Не выводя на сцену ни одного честного русского человека, он предал нас всеобщему поруганию в лицах (по большей части вымышленных) наших губернских и уездных чиновников. И за то, о Боже, половина России провозгласила циника сего великим! Природа поставила Николая Ивановича Гнедича на той самой точке, где кончается глупость и начинается ум; но в него с этой точки довольно часто умел он делать набег. Лицо его, которому, говорят, суждена была красота, изуродовано и изрыто было оспою, которая в опустошительной ярости своей лишила его глаза. Муза его была чопорна, опрятна, суха и холодна, как он сам; на выдумки не была она великая мастерица, да и в подражаниях и переводах более всего отличалась точностью и верностью. По приезде его первый раз в Петербург обстоятельства его, видно, были до того плохи, что он решился на неслыханное средство, на искание покровительства и помощи графа Хвостова. В послании к нему, которое, к счастью его, не было напечатано, но с которого, к несчастью его, не все успел он потом истребить копии, в сем послании, где, умоляя его, старается он его разжалобить, находится между прочим этот стих:

И дурен я, и крив, и денег не имею.

Счастье ему помогло: он скоро нашел другого покровителя, посильнее, поумнее и по благороднее Хвостова, который, во вверенных управлению его частях, успел доставить ему покойных места два с хорошим содержанием. Тогда задумал он приступить к труду важному, долголетнему, который успешно он продолжал и счастливо кончил, к переводу «Илиады». Для поддержания его в сем труде испрошено ему было великое поощрение, пенсия в полторы тысячи рублей от великой княгини Екатерины Павловны. Все, кажется, налагало на него

<sup>65</sup> Сын его А. В. Капнист был прикосновенен к тайным обществам, из которых вышел заговор декабристов, другой — С. В. — был женат на сестре декабристов Муравьевых-Апостолов.

<sup>66</sup> Имеется в виду Н. В. Гоголь, которого Вигель ненавидел особенно за «Мертвые души». Позднее он превозносил Гоголя за «Переписку с друзьями».

долг благодарности к России, а он питал к ней совсем противное чувство, которое гораздо после, против воли его, мне часто обнаруживалось в коротких с ним беседах.

Говоря о русском театре, я называл несколько человек, переведивших трагедии. Литературные их достоинства были так слабы, что сего было бы достаточно, если бы в некоторых из них не было бы чего другого примечательного. Например, Преображенский офицер, потом полковник и флигель-адъютант, Сергей Никифорович Марин, переводчик «Меропы», был военный остряк, от которого в стихах крепко доставалось и словесникам и светским людям. Они с Шаховским, будучи бессменными у Александра Львовича Нарышкина, сделались почти его домашними поэтами. Был еще к ним в прибавку и третий автор, не на одной ноге с ними принятый. Не знаю, как попал в этот дом один бедный, своенравный и самолюбивый грек, воспитанный в кадетском корпусе и в нем же потом служивший. Имя его было Геракос, которое на славяно-русский язык перевел он Гавриилом Гераковым и любил, чтобы так его называли. Известно, что между греками для ума нет среднего состояния: все богачи или нищие — и что им убогие всегда горды душою. Тогда в России стоило что-нибудь написать да только напечатать, чтобы приписаться к цеху даже ученых; столько было сметливости в Геракове, чтоб это увидеть, и он начал что-то писать и отдавать в печать. Его тщеславие беспрестанно тревожило и кололо, а когда начинал он выходить из терпения, то спешили успокаивать его какою-нибудь похвалой или лаской; право похвастать тем, что он короток в знатном доме, было лучший бальзам, врачевавший раны, наносимые его кичливости, и ослепление его насчет его достоинств не позволяло ему видеть, что вход в него доставляет ему единственно титул шута. Марин был его казнию; в пародии стихов Державина на рождение порфирородного отрока Александра он собирает у колыбели его колдунов и таким образом заставляет их предрекать его будущность:

Будешь, будешь сочинитель  
И читателей тиран.  
Будешь в корпусе учитель,  
Будешь вечно капитан.  
Будешь, и судьбы решили,  
Ростом двух аршин с вершком,  
И все старцы подтвердили:  
Будешь век ходить пешком.

Он пылал страстью ко всему прекрасному полу, восхвалял его в прозе и вечно ругал нежных своих московских соперников. Этим угодил он Шишкову и заслуживал от него самые лестные отзывы.

Несколько слов еще об одном военном стихотворце, однополчанине Марина, об офицерике Павле Александровиче Катенине, переводчике «Сила» и «Гофолии». Круглолицый, полнощекий и румяный, как херувим на вербе, этот мальчик вечно кипел как кофейник на конфорке. Он был довольно хорош с Шаховским, ибо далеко превосходил его в неистощимой хуле писателям: ни одному из них не было от него пощады, ни русским, ни иностранным, ни древним, ни новым, и Вергилий всегда бывал первою его жертвой. Мудрено завидовать людям, две тысячи лет назад умершим; может быть, ему не хотелось быть наряду с обыкновенными людьми, почтительными к давно признанным достоинствам, и смелостью суждений стать выше их; а скорее, не было ли это следствием страсти его к спорам? В новейшее время мы также знали одного поэта, только настоящего, который в словесной борьбе находил величайшее наслаждение; но он брал диалектикой, умом и всегда умел сохранять в ней учтивость и хладнокровие [Хомяков]. Катенину же много помогали твердая память и сильная грудь; с их помощью он всякого перекрикивал и долго продолжал еще спорить, когда утомленный противник давно отвечал ему молчанием. Не из угождения Шишкову (ибо он никому не хотел нравиться, а всех поражать), а так, из оригинальности, в надежде служить примером, Кате-



нин свои трагедии, стихотворения без меры и без искусства начинал славянизмами. И что это было? Верх безвкусыя и бессмыслия! Видал я людей самолюбивых до безумия, но подобного ему не встречал. У него было самое странное авторское самолюбие: мне случилось от него самого слышать, что он охотнее простит такому человеку, который назовет его мерзавцем, плутом, нежели тому, который хотя бы по заочности назвал его плохим писателем; за это готов он вступить с оружием в руках. Если б он стал лучше прислушиваться, то ему пришлось бы драться с целым светом.

И граф Сергей Павлович Потемкин был тоже поэт и офицер, и того же Преображенского полка. Тройственный союз его с Шапошниковым и Висковатовым недолго продолжался. Стихотворство у него была прихоть богача, роскошь его: он любил не театр, а актрис, не литературу, а маленькое меценатство. Он соскучился, женился, переехал в Москву и там принял за другого рода роскошь, более блистательную, в которой показал он гораздо более вкуса и умения, но которая довела его почти до нищеты. Оба товарища его пропали потом без вести, как будто канули в воду. Наши предки, которые, вероятно, слышали о Лете, под этим разумели быть поглощену забвением.

Была еще пара писателей, которые по сходству названий всегда вместе близнецами приходят мне на память. Один из них, Евстафий Станевич, кажется, малороссиянин, переводчик Юнговых «Ночей», с душою мрачною, почитался у нас Рембрандтом поэзии.

Другой, Анастасевич, поляк, употребляем был графом Хвостовым для разных послуг, замечателен был тем, что в русские свои переводы и сочинения вводил множество польских слов, западных императоров называл заходными и слуг именовал всегда холуями.

Пора мне остановиться. Я ведь не взялся писать биографии литераторов и историю тогдашней литературы, а представить только то, что в это время об ней придет мне на память. Чем дальше в лес, тем больше дров, и я вижу, что если стану подбирать все щепки, то никогда не кончу сей главы.

Вообще в первое десятилетие Александрово, петербургский так называемый ученый мир молодечеством и самохвальством старался взять верх над московским; а в сей последней, как бы смотря с презрением на варваров, хотели отличить себя от них любезностью и нежностью и, как Дон-Кихот в Дмитриевой басне говорит грубиянам: «не бей меня, но пой», одни облекались в броню и вооружались мечом, другие венчались розами и в руках держали свирель. Жаль только, что петербургские писатели со смелостью соединяли мало ума и таланта и что вечные похвалы их отечеству, как, например, в «Храме славы российских героев» новгородского губернского прокурора Павла Юрьевича Львова, никого не воспаляя, на всех наводили сон и зевоту.

Владея бесспорно Парнасом, не позволяя никому иметь литературного мнения, противного их мнениям, и полагая, что мнимые их противники осуждены никогда не покидать Москвы, петербургские главные писатели не могли предвидеть, что против их неограниченной власти может скоро составиться союз и заговор. И действительно, в целом Петербурге всего на все был один только не с большим двадцати лет молодой человек, Блудов, полный ума и вкуса, который позволял себе явно осмеивать их недостатки и претензии и писать на них эпиграммы<sup>67</sup>. Для обуздания его хотели они, хотя тщетно, употребить даже высшую власть. Прибывший в 1805 году Александр Тургенев пристал к нему, но был более его осторожен. Я слушал их с удивлением: мне казалось странно и непонятно живое участие, принимаемое ими в сем деле. Мне было не до Шишкова: я бредил тогда Лагарпом, Парни, Фонтаном и Шатобрианом.

---

<sup>67</sup> Д. Н. Блудов (1785—1864), очень образованный и одаренный, был деятельным участником «Арзамаса» в борьбе этого общества с литературными староверами. Близкий приятель арзамасцев — будущих декабристов, Блудов в политическом отношении был очень осторожен и даже не был под следствием по делу о заговоре. Николай I привлек даже его к участию в работах следственной комиссии и составлению известного «Донесения» этой комиссии, в котором очернены все лучшие представители тогдашнего русского общества. Блудов вызвал справедливые резкие отзывы своих бывших друзей. Николай очень ценил административные и литературные таланты Блудова — назначал его на ответственные государственные посты, поручал ему составлять манифесты. При Александре II Блудов снова стал проявлять либерализм своей молодости.

Вдруг пришла ужасная весть. В Твери, у Екатерины Павловны, Карамзин читал императору Александру несколько глав своей истории, этой истории, где, по словам их, должны были встречаться все одни милые Святополки и нежные Мстиславы. Не прошло месяца, как Дмитриев назначен министром юстиции и скоро прибыл в Петербург; и он прибыл, не один, а привел с собою немногочисленную, но избранную дружину. Его сопровождали три юноши, Милонов, Грамматик и Дашков; первые два были только что поэтами, последний тем, чем бы только захотел он быть. Огромный талант Милонова можно сравнить с прекрасною зарей никогда не поднявшегося дня; много было его и в Граматине, но он также далеко не пошел. Первый талант свой потопил в вине или лучше сказать в водке; последний зарыл его в деревне, куда навсегда переселился хозяйничать. О Дашкове, о незабвенном Дашкове, о котором воспоминание останется всегда прекраснейшим в моей жизни, здесь говорить не буду: в эту минуту я не чувствую себя способным достойным образом изобразить его.

Глава славянофилов или варягороссов, как их тогда называть начали, со товарищи видели в министерстве Дмитриева опасность для своего всемогущества, тогда как обязанности государственного сановника вовсе не оставляли времени Дмитриеву заниматься литературой. Правда, он часто принимал у себя Блудова и Тургенева, за тихую трапезой с ними и с живущим у него Дашковым часто любил беседовать о любимом предмете, между ними почитал себя как бы главою семейства, был отечески ласков и оказывал нежную снисходительность и покровительство Граматину и Милонову. Конечно, все это можно было почитать зародышем оппозиции; но ее еще не было, а противники замыслили уже задушить ее при самом рождении.

Этого мало: им хотелось, в случае первой неудачи, поставить твердый оплот против распространения ее дальнейших успехов. Российская Академия была тогда ветхое укрепление, почти на две трети защищаемое ветеранами литературы. И хотя Шишков был уже ее душою и убылые [освободившиеся] в ней места пополнял одними своими клеветами, но все еще упрямылся жить и президентствовать в ней полумертвый действительный тайный советник Андрей Андреевич Мартов, не совсем ему покорный. Надобно было из-за нее воздвигнуть твердыню, которая, держа ее в повиновении, служила бы ей в одно время и защитой. Следствием глубоководных мер, плодом искусно начертанного стратегического плана было, в октябре месяце 1810 года, рождение «Беседы любителей русского слова».

Обстоятельства чрезвычайно благоприятствовали ее учреждению и началам. Мудрено объяснить состояние умов тогда в России и ее столицах. По вкоренившейся привычке не переставали почитать Запад наставником, образцом и кумиром своим; но на нем тихо и явственно собиралась страшная буря, грозящая нам истреблением или порабощением; вера в природного, законного защитника нашего была потеряна, и люди, умеющие размышлять и предвидеть, невольно теснились вокруг знамени, некогда водруженного на Голгофе, и вокруг другого невидимого еще знамени, на котором уже читали они слово: отечество. Пристрастие к Европе приметно начало слабеть и готово было превратиться в нечто враждебное; но в ней была порабощенная Италия, страждущая и борющаяся Гишпания, Германия, которая тайно молила о помощи, и Англия, которая не переставала предлагать ее. Воспрянувшее в разных состояниях чувство патриотизма подействовало наконец на высшее общество: знатные барыни на французском языке начали восхвалять русский, изъявлять желание выучиться ему или притворно показывать, будто его знают. Им и придворным людям натолковали, что он искажен, заражен, начинен словами и оборотами, заимствованными у иностранных языков, и что «Беседа» составила единственно с целью возвратить и сохранить ему его чистоту и непорочность; и они все взялись быть главными ее поборницами.

Маститый Державин, который воспел все минувшие славы России, для заседаний «Беседы» отдал великолепную залу прекрасного дома своего на Фонтанке. В этой зале, ярко освещенной, как во храме бога света, не помню сколько раз, зимой бывали вечерние торжественные собрания «Беседы». Члены вокруг столов занимали середину, там же расставлены были кресла почетнейших гостей, а вдоль стен в три уступа хорошо устроены были седалища

для прочих посетителей, по билетам впускаемых. Чтобы придать сим собраниям более блеску, прекрасный пол являлся в бальных нарядах, штатс-дамы в портретах, вельможи и генералы были в лентах и звездах, и все вообще в мундирах.

Часть театральная, декорационная, была совершенство; заправлял ею, кажется, сам Шаховской. Чтение обыкновенно продолжалось более трех часов и как содержанием, так и слогом статей отнюдь не отвечало наружному убранству великой храмины. Дамы и светские люди, которые ровно ничего не понимали, не показывали, а может быть, и не чувствовали скуки: они исполнены были мысли, что совершают великий патриотический подвиг, и делали сие с примерным самоотвержением. Горе было только тем, которые понимали и принуждены были беспрестанно удерживать зевоту. Модный свет полагал, что торжество отечественной словесности должно предшествовать торжеству веры и отечества.

Наподобие Государственного совета, составленного из четырех департаментов, и «Беседу» разделили на четыре разряда и, так же как у него, в каждый посадили по председателю, да еще каждому дали по попечителю. Это был сущий вздор, ибо в предметах занятий между разрядами не было никакого различия. Потом было в каждом из них по несколько членов и по несколько членов-сотрудников, которые составляли как бы канцелярию «Беседы». Вообще, она имела более вид казенного места, чем ученого сословия, и даже в распределении мест держались более табели о рангах, чем о талантах. Попечителями были председатели в совете, граф Завадовский и Мордвинов и министр просвещения граф Разумовский; как будто насмех, четвертым посадили министра юстиции Дмитриева. Почти все вышепоименованные писатели попали в члены, коих список украшался именем Крылова, как вечерние собрания их оживлялись немного чтением его басен. В числе сотрудников находились и наш Жихарев, который тогда еще был не наш, и Николай Иванович Греч, о котором я тогда не имел еще никакого понятия. Крылов хотя и выдал особу свою «Беседе», но, говорят, тайком подсмеивался над нею. Доказательством тому поставляют вскоре после ее открытия выданную им басню «Квартет», где проказница мартышка, осел, козел да косолапый мишка спорят о местах, и автор говорит им: «Друзья, как ни садитесь, а в музыканты не годитесь».

Чтобы ни говорили, а «Беседа», может быть, не весьма с похвальными намерениями основанная, по мнению моему, была во многом полезна. Во-первых, самого Карамзина грубости Шишкова сделали несколько осмотрительным; он указывал ему на средства дать более важности и достоинства историческому слогу (более он сделать не мог), а тот с своим чудесным умом и талантом не оставил ими воспользоваться.

Несколько молодых писателей были поудержаны от жеманства, в которое, по неопытности, могли бы впасть, глядя на московских вздыхателей. Наконец, покровительство и уважение, оказываемые в столице отечественной словесности правительством и высшими сословиями, имели благотворное действие на провинции и некоторым образом способствовали сближению разных состояний и согласию между ними, столь необходимых в эту памятную эпоху.

Как ни велико было авторское полчище, набранное «Беседою», все еще оставалось много людей, упражняющихся в литературе, которых она воспринять не захотела или которые сами в ней быть не пожелали. В это время число их до того увеличилось, что можно было, по примеру Ривароля<sup>68</sup> до революции, составить в одном Петербурге маленький словарь маловеликих людей. Служащий в министерстве просвещения Димитрий Иванович Языков, человек ученый, переводчик Шлецерова «Нестора», нашел, что из сих остатков можно создать еще новое особое общество, предложил им о том, получил их согласие, для заседаний выпросил одну из зал опустевшего Михайловского замка и сделался первым президентом общества любителей наук, словесности и художеств.

Никто из членов его не смел и подумать вступить в соперничество и борьбу с «Беседой»; хотя Дашков, Милонов и Граматин были приняты в число их, однако же умели сохранить неко-

---

<sup>68</sup> Ривароль — французский политический деятель и писатель, в 1783 г. выпустил «Маленький альманах наших великих людей», где дал ядовитые характеристики тогдашних французских мелких писателей; в 1790 году выпустил «Малый словарь великих людей революции», представляющий собой коллекцию злых характеристик.

тору от нее независимость. Между ними были примечательны два человека: петербургский Измайлов, которого звали Александр Ефимович, да еще Александр Христофорович Востоков, который из любви к России бросил немецкое прозвание Остенек.

Первый был всем известный баснописец вроде Крылова. Между ними была та разница, что Крылов умел облагораживать простонародный язык, а этот сохранял ему всю первобытную его нечистоту. Одним словом, и все в том соглашались, это был Крылов навеселе, зашедший в казарму, в харчевню или в питейный дом.

Востоков, кажется, был нечто вроде Мерзлякова, более профессор поэзии, чем поэт, искусный учитель пения, у которого не было голоса. Он заикался, и это напоминает мне стихи его, о самом себе написанные:

Язык ему не додан смертных,  
Но дан язык богов.

Многие уверяли, что и на этом он заикается.

Еще было одно общество, но не столько литературное или ученое, сколько приятельское. Оно состояло тогда из пяти или шести человек и собиралось только отобедать, потолковать или провести вечер у мецената своего, Алексея Николаевича Оленина, о котором также не здесь, а далее должен буду много говорить. Принадлежа ко всем и ни к которой из партий или общества, члены оленинские, даже в доме его, хлебосольном, для всех открытом, и принимая участие в общей веселости, составляли какой-то особый мир, имеющий особые мнения, особые правила. Отличнейшими или отличными между ними были Крылов и Гнедич. Других не назову, кроме одного, Александра Ивановича Ермолаева, скромного, молчаливого и ученого человека по части русских древностей. Он был из числа тех людей, кои, оторвавшись от житейского, всем духом своим погружаются в любимую науку.

Труды свои одна только «Беседа» издавала периодически, книжками, после каждого собрания и публичного чтения. Журналов в продолжение этого времени было много в Петербурге, все менее, чем в Москве; но, как уже я сказал, я мало ими занимался и немногие помню. «Северную почту» называть бы не следовало, ибо эта была официальная газета, называемая политической.

Еще был «С.-петербургский вестник», да еще «Улей», журнал непозволительно-безобразный и глупый как по содержанию своему, так и по наружной форме: оберткой служила ему темно-серая, толстая бумага с волосьями, а издателем Анастасевич, под руководством графа Хвостова.

Как бы мне еще не забыть «Сионский вестник» и им заключить сию длиннейшую из всех глав моих записок. Издателем его был Александр Федорович Лабзин, конференц-секретарь Академии художеств, часть, которою он совсем почти не занимался. Сказывали, что он был человек строгой нравственности, живого и пылкого характера и что чистосердечие его часто обращалось в грубость<sup>69</sup>. Он был ученик Николая Новикова, и журнал его, можно сказать, был продолжением «Утреннего света» и «Вечерней зари», тех, кои наставник его некогда издавал в Москве. Нужно ли говорить, что он был чисто религиозного содержания, но в духе мартинизма, им исповедуемого, и наполнен был мечтательностью, отвлеченностями, немногим понятными, и что оттого немногие и читали его? По моему мнению, христианский журнал тогда только может быть у нас полезен, когда он будет верующих еще более утверждать в православии и распространять свет его между неверующими, а «Сионский вестник» был явным посягательством на его права. Сильное действие его обнаружилось после, когда источником мистицизма сделалась сама верховная власть, и он усиливался разлиться по всему лицу земли

<sup>69</sup> А. Ф. Лабзин, между прочим, известен своими общественно-политическими выступлениями. Он очень резко выступил публично против избрания Аракчеева в почетные члены Академии художеств. Когда же другие члены Академии указали на то, что Аракчеева надо выбрать, так как он самое близкое лицо к государю, то Лабзин сказал, что в таком случае надо выбрать и царского кучера, который сидит еще ближе к царю.

русской. Здание, ему в охранение и в честь его воздвигнутое, Библейское общество, внезапно рушилось, расшиблось, и редко где ныне можно встретить его дребезги.

Несчастливым происшествием начался печальный 1811 год. В то самое время, когда все тешились и плясали, встречая его, Большой каменный театр, близ Коломны, заново отделанный, славный и обширный, ровно в полночь загорелся; никакими средствами не могли унять пламя, и зарево его до утра освещало весь испуганный Петербург. Люди, которые ждут беды, во всем готовы видеть худое предзнаменование. Один только главный директор театра, Нарышкин, не терял веселости и присутствия духа: он сказал по-французски прибывшему на пожар встревоженному царю: «Ничего нет более: ни лож, ни райка, ни сцены, все один партер, tout est par terre» [«все на земле, сровнялось с землею»].

Я шел в это время пешком к себе на Малую Воскресенскую улицу с Фурштатской, от сестры и зятя Алексеевых, которые за неделю до того приехали. На столь дальнем расстоянии меня так и обдало светом.

По убеждению Александры Петровны Хвостовой, с которою дружба все продолжалась у нас по-прежнему, с самой осени жил я против ее квартиры, в доме одного сенатора, Болотникова. Забор этого не совсем еще достроенного дома, близ Литейного двора, выходил прямо на Неву, и тем представлялось мне приятное удобство спокойно прогуливаться во всякое время, даже ночью, по гладким, всегда вычищенным гранитам ее набережной.

Согласно желанию той же Хвостовой, познакомился я и с хозяевами дома, и они должны непременно войти в опись встреченных мною в жизни странных людей. Начнем с супруга.

Во время первой молодости графа Бобринского [сын Екатерины II от Григория Орлова], когда императрица Екатерина могла еще надеяться, что из него выйдет что-нибудь путное, велела она между кадетами Сухопутного корпуса выбрать двух молодых людей, которые бы от других отличались особым прилежанием к наукам и примерным поведением, чтобы сопроводить его за границу, куда посылала она его для довершения его воспитания. Выбраны были Борисов и Болотников, произведены в гвардии офицеры и отправлены путешествовать. Про Борисова я ничего не знаю; а степенный, неподвижно-серьезный Болотников, вероятно, должен был находиться в вечном разладе с невоздержанным, расточительным Бобринским; они воротились неприятелями. Несмотря на то, государыня не лишила его своего покровительства, и неимущий, мелкий дворянин, с самым малым состоянием, но с великою бережливостью и порядочным пособием мог поддержать себя в гвардии до капитанского чина. В шведскую войну, при Екатерине, находился он в походе, влюбился во вдову убитого подполковника фон-Бушена и женился на ней. Она была дочерью шлиссельбургского достаточного фабриканта, крещеного еврея Лемана, и оттого и денежные его обстоятельства значительно поправились. Он был полковником и командовал каким-то пехотным полком, когда Павел воцарился; при нем успел он быть произведен генерал-лейтенантом и при нем же, как водилось, успел он быть отставлен. «Будет с меня», — оказал он, поселился в деревушке, где-то в соседстве с Аракчеевым, и редко являлся в Петербурге.

Елисавета Христиановна, вдова фон-Бушен, урожденная Леман, имела все права называться немкой, и она воспользовалась ими, чтобы сделаться любезною и угодною графине Ливен, воспитательнице великих княжон. По ней и второй супруг ее, Алексей Ульянович, пользовался милостью и покровительством графини, тем более что расчетливость его и точность, совсем не русские, ей были очень известны. Когда просватали Екатерину Павловну за принца Ольденбургского и начали заниматься составлением ей особого двора, то графиня Шарлотта Карловна рекомендовала генерала Болотникова вдовствующей императрице как человека самого способного к занятию должности гофмейстера, а с другой стороны Аракчеев поддержал это предложение у государя. И действительно, с качествами хорошего немецкого эконома соединял он усердие и смелость русского дядьки, который барское добро бережет как глаз и, в случае нужды, может поудерживать молодых господ. С этою мыслью отправился он в Тверь и, принявшись за дело, целый двор заставил во всем нуждаться. Все вопияло, и когда великая княгиня позволила себе ласково заметить ему, что в таком усердии есть некоторая преувеличенность,

то получила в ответ, что обязанность его смотреть за тем, чтоб она не предавалась излишней расточительности, и, в доказательство своих прав, её самоё начал он морить с голоду. Я заметил, что для людей и особенно для женщин, одаренных необыкновенным умом, нет более мучения, как обязанность всегда находиться в обществе и в беспрестанных сношениях с людьми самодовольными и бестолковыми; это у них обращается в некоторого рода болезнь, которую другие не хотят или не могут понять. Можно себе представить досаду женщины, довольно самонравной, именем и головою подобной своей великой бабке, смотря на неподвижное бревно, во всех самых простых действиях ее жизни загораживающее её дорогу. Долее пяти месяцев он при ней оставаться не мог, и окружающие ее находили и это удивительным. Заставили этого человека Богу молиться, а он лоб расшиб, только, к счастью, не больно.

Он долго служил в Семеновском полку вместе с Дмитриевым. Вероятно, сей последний находил его странности забавными, тайком подсмеивался над ним, ласкал его как нужного для себя человека, а тот привязался к нему, и, наконец, сам Дмитриев был нежно к нему расположен. Его сделали министром юстиции в то самое время, когда шло дело об избавлении Екатерины Павловны, об удалении Болотникова из Твери. Он мог неприятным образом быть отставлен; но Дмитриев, пользуясь первоначальным кредитом своим у государя, выпросил ему сенаторство с сохранением придворного мундира и всего весьма большого содержания, по званию гофмейстера им получаемого. Ведь всегда же счастье... нет, не скажу кому.

Несмотря на безрассудность его поведения при дворе великой княгини, слыл он человеком чрезвычайно дельным, и по всей справедливости называли его весьма трудолюбивым. Он хотел быть беспристрастным и сведущим судьей и вникнуть в существо каждого дела, а понять дела самого простого не мог без величайшего труда. Оттого Дмитриев в шутку, хотя и в глаза, называл его Долбилиным, находя, что каждый вопрос долбит он, чтобы добраться до его смысла. С этим сравнением я не согласен; по-моему, напротив, каждую мысль надобно было как гвоздем вколачивать в твердый как гранит его череп и в одеревенелый мозг.

Изредка посещал моих хозяев один мой знакомый, мой земляк, пензенский помещик, отставной генерал-майор Алексей Данилович Копиев. Это лицо было гораздо примечательнее тезки своего Болотникова, с характером которого имело и некоторое сходство и много противоположностей. Он был известен всей России, в сих записках часто мимо его проходил я с пером в руке; не знаю, как он ускользал от него; теперь не должен увернуться. Начертание его биографии если не для читателя, то для меня самого будет весьма занимательно.

Правда или нет, что отец его был еврейского происхождения, какое мне до того дело; довольно с меня и того, что Даниил Самойлович Копиев (которого знаю только понаслышке) принадлежал к нации благородно мыслящих и действующих людей. Он был первым вице-губернатором в Пензе, когда Ступишин был губернатором; они равны были честностью, а не умом; но в том было его еще достаточно, чтобы его уважать в Копиеве и пользоваться им. Вдову его, Надежду Карловну, урожденную Ельчанинову, я знавал; она до глубокой старости оставалась в Пензе, где и скончалась.

От этой четы, сверх четырех или пяти дочерей, родилось одно чадо мужеского пола: это наш герой. В нем не было ни злости, ни недостатка в уме, ни одного из пороков молодости, которые иногда остаются и в старости; а со всем тем трудно было бы приискать что-нибудь ему в похвалу. Все его молодые современники щеголяли безбожеством и безнравственностью более в речах, чем в поступках, и это давало им вид веселого, но нестерпимого бесстыдства: он старался их превзойти. Будучи офицером гвардии в Измайловском полку, он прославился насмешками над честным, довольно строгим, но слабодушным начальником своим, Арбеновым. Все сходило ему с рук, по добродушию и невниманию этого начальника, и все более умножало его смелость. Его репутация, как остряка и балагура, дошла до князя Зубова, который, по примеру князя Потемкина, имел свиту огромную, бесчисленную, составленную из адъютантов, ординарцев и чиновников для поручений; он поместил его при себе с чином армейского подполковника. В продолжение нескольких лет, последних царствования Екатерины, все покровительствуемые Зубовым и при нем состоявшие пользова-

лись совершенно безнаказанностью. Копиев был довольно молод, а молодости если не все, то многое прощается; проказничал же он более речами, и к его забавной наглости были снисходительны даже в большом обществе. Он не замечал, что нечувствительным образом превращался в княжеского шута и что сего рода людям в России все дозволялось. Только лестно ли таким правом пользоваться?

По вступлении Павла на престол Зубов низвергнут, и Копиев остался без опоры с своими пресловутыми фарсами. Всех возмущала тогда перемена мундирной формы по старинному прусскому образцу, все возроптали, и Копиев пожелал угодить общему мнению. Он, как говорили тогда, выкинул штуку: заказал себе в преувеличенном виде все, ботфорты, перчатки с раструбами, прицепил уродливые косу и пукли и в этом шутовском наряде явился к Павлу, который шутить не любил. Но в первые дни он хотел казаться милостивым и снисходительным, удовольствовался тем, что виновного посадил на сутки под арест и велел отправить в драгунский полк, к которому он принадлежал и который стоял в Финляндии. Анекдотов про него была куча; он не унимался, по старой привычке неосторожно врал и ругательными насмешками продолжал преследовать царя. Тут ему даром не прошло: он разжалован в рядовые и записан в гарнизонный полк там же в Финляндии. В сем горестном положении влюбился он в единственную дочь одной небогатой помещицы, которая, к его счастью, согласилась ее за него выдать. Донесением этого события умели искусно растрогать, разжалобить императора, который велел отставить его прежним подполковничьим чином, но там же в Финляндии оставить на жительство. Тогда сам он купил там поместье и думал поселиться в нем навеки. В первые месяцы при Александре Пален и Зубовы делали что хотели; они вызвали Копиева из заточения и в сравнение с сверстниками доставили ему прямо чин генерал-майора; но времена переменились, и после того никогда уже он употреблен быть не мог.

Он теперь более чем в пожилых годах. Не один десяток лет оставался он, можно сказать, в неподвижном состоянии; самые черты лица его почти не изменялись, но отношения к нему общества совсем переменились. Бесчинство и богохульство в старости во всяком должны производить омерзение; его циническая неопрятность и совершенно еврейская алчность к прибыли, без всякого зазрения совести и как бы напоказ выставляемая, должны были рождать к нему отвращение. Странно, как с умом его он был всегда нечувствителен ко всеобщему неуважению: лишь бы сорвать улыбку, хотя бы презрительную, и он оставался доволен. С Болотниковым он сходствовал скупостью; но у того хоть все было в обрез, зато все опрятно, а у этого и мебель, и люди, и сам он — все оборвано, все запачкано, все засалено, не от небрежности, а от износности. Он век проходил в зеленом фраке; уверяли, что для того скупает он поношенное сукно с бильярдных и что заметны были даже пятна, напоминающие места, где становились шары. И он же всегда ругался над графом Хвостовым, утверждая, будто его назвать нельзя без «с позволения сказать». Веселый ум всегда встречал я с удовольствием, и я вкушал Копиева, как говорят французы; но, признаюсь, иногда и мне от него тошнилось.

Я не назвал его между литераторами, потому что он совсем с ними не водился, хотя так, про себя и писал стихи и драматические творения. Его шутовски забавные комедии: «Лебедянская ярмарка», «Княгиня-муха» и другие были играны при Екатерине с успехом и напечатаны. Он любил русить иностранные слова; у него выше сего заимствовал я слово апроше; про лифляндских помещиков говорил он, что у кого из них более поместьев, тот и фонее. Из множества стихов, коим иногда душил он меня, одно четверостишие осталось у меня в памяти. Он питал любовь к какой-то княгине, которая на нее не отвечала, что приписывал он холодности ее сердца, и он написал:

Боже, ты, ее создавши,  
Иль мой пламень утуши,  
Иль, все прелести ей давши,  
Дай хоть крошечку души.

Кажется, как бы легко сделаться ему порядочным человеком. Он никогда не был развратник, а только что срамослов; всегда шутил над семейными и супружескими добродетелями, а был верен и предан жене своей, благонравной, скромной и пристойной, и без памяти любил детей; ни против кого не имел ни злобы, ни зависти, а ни о ком не умел сказать хорошего слова; для красного словца, как говорилось тогда, не щадил он если не отца, то матери и сестер, к коим, впрочем, чрезвычайно был привязан. Наклонности, полученные нами в молодости, видно, ничто исправить не может.

Рано поутру приехали мы с Копиевым в Кексгольм, сделав всего только 140 верст, и остановились на все утро у какого-то финна, приятеля г. Копиева. Я ходил смотреть упраздненную крепость, и в ней показывали мне семейство Пугачева, не знаю, зачем все еще содержавшееся под стражею, хотя не весьма строгою. Оно состояло из престарелого сына и двух дочерей: простой мужик и крестьянки, которые показались мне смиренными и робкими. Обедали мы не весьма вкусно: нас потчевали чухонским кушаньем; между прочим кормили салакушкой с молоком и в молоке же вареною черникой да кнакебрё, сушеными лепешками, а поили швадриком, квасо-пивом. После обеда отправились мы прямо на мызу Копиева, от Кексгольма в 20 верстах лежащую.

Таким образом прошла для меня первая треть 1811 года, которая, равно как и глава эта, вся наполнена была двумя Алексеями: Болотниковым и Копиевым. С первым хотя иногда и встречался, но, к счастью, ни дел, ни даже никаких сношений с ним более в жизни не имел.

Предчувствуя, предвидя общую для нас войну с Западом, весь Петербург в 1811 году нетерпеливо желал скорейшего окончания частной войны нашей с турками. Никто уже не мечтал о том, чтобы наш молодой полководец, по примеру и по следам Олега, прибил русский щит ко вратам Цареграда; но все были уверены, что граф Каменский, хорошо познакомившись с местностями задунайскими, будет уметь в следующую кампанию нанести неприятельскому войску столь сильные удары, что принудит турок к выгодному для нас миру, как вдруг, в конце февраля, получено было известие, что сей с небольшим тридцатилетний воин лежит в Бухаресте на смертном одре. Кому было вместо него поручить армию? В это время вопрос сей был довольно затруднителен. Искусный старик, Михаил Ларионович Кутузов, лучше других знал турецкую войну: во время первой при Екатерине в 1770 годах, когда был он еще молод, и в продолжение последней, когда был он в зрелых летах, беспрестанно отличался он под начальством Румянцева, Потемкина и Суворова и, наконец, по заключении последнего мира, находился чрезвычайным послом в Константинополе. Он охотно согласился принять начальство над молдавскою армией, к которой поспешно и отправился.

Он нашел молодого предместника своего распостертого, безгласна, бездыханна, окружил его самыми нежнейшими попечениями (старик был самый привлекательный, когда хотел), и как скоро в южном краю наступило теплое время, с бережливостью отправил его в Одессу, в сопровождении адъютантов его и медиков. Я говорил уже о причинах расстройства его здоровья; но действия их не могли развиваться с такою быстротой, тем более что всю зиму чувствовал он себя совершенно здоровым. После вечера, проведенного у жены одного грека, консула не помню какой державы, на котором выпил он стакан лимонаду, приключилась с ним сия скоропостижная болезнь, и подозрения в отраве были единогласны. Ненависть всегда охотно взводит клевету на врагов; многие уверены были, что сие сделано по наущению генерала Себастиани, бывшего французским посланником в Константинополе. Это не стоит опровержения; ибо где примеры, чтобы Наполеон пытался чрез доверенных своих изводить сильных и опасных противников, которых так много было на свете? Скорее в этом видно нечто византийское, фанариотское. По прибытии в Одессу он прожил недолго; он таял как воск, и говорят, что, как воск, были мягки его кости, когда после кончины его, около половины мая вскрывали его тело. Его смерть можно было сравнить с кончиной другого русского молодого героя, князя Скопина-Шуйского; но о сем последнем никто тогда не ведал у нас.

В половине июня Кутузов одержал немаловажную победу над собравшеюся довольно многочисленную турецкую армию. Потом все лето в частых встречах с неприятелем русские



всегда брали верх, и за каждым успехом последовало предложение о мире, который один был только целью желаний правительства и войска. Главным его условием все-таки оставались Молдавия и Валахия, столько раз нами занимаемые, которые полтора года, как клад, нам не даются.

Осенью не осталось ни малейшего сомнения насчет намерений всемирного завоевателя, быстро к нам приближавшегося, никаких надежд не только на продолжение с ним мира, но и на кратковременную отсрочку войны. Мы с турками сделались уступчивее, сбавили спеси и, вместо двух больших княжеств, стали ограничиваться рекою Прутом и узкою Бессарабией, мне после столько знакомою. С этим делом скорее можно было поладить; прошел даже слух, что Кутузов, столько же дипломат, как и воин, успел уже подписать о том и трактат, и Марин, более царедворец, чем поэт и воин, успел уже на этот случай написать стихи, в которые вклеил каламбур, что старик наказал мусульман и мечом и Прутом. Ожидания не сбылись: хотя трактат и действительно был подписан, но стараниями французского посольства в Константинополе не был ратификован, и всю зиму на этот счет остались мы в беспокойном состоянии.

Я говорю все «мы», разумея под этим большую часть жителей Петербурга, а внутри России только тех людей, кои, одарены будучи рассудком и чувством, имели довольно просвещения, чтобы видеть опасность, грозящую их отечеству, и скорбеть о том. Число бесчувственных невежд, разумеется, было всотеро больше, и они, как говорится о мужиках, тогда только перекрестились, когда гром грянул над ними.

Показалась на горизонте ужасная, великолепная, блестящая комета с огромным хвостом, которой подобной я во всю жизнь мою не видывал ни прежде, ни после. Все лето, вплоть до осени, горела она на нашем небе и освещала мои вечерние и ночные прогулки. Как простолюдин, веровал я в сие страшное знамение и в мрачных мыслях невольно стал переноситься в будущее.

Осень стояла сначала столь же ясная, тихая и жаркая, как лето; многие приписывали это действию кометы, которая все продолжала еще бедой сверкать нам в очи. Эта осень замечательна была двумя событиями в столице: окончанием и освящением Казанского собора и основанием Царскосельского лицея.

Вообще цари, и особенно самодержавные, любят оставлять потомству огромные памятники своего царствования; и замечательно, что, чем более народ был угнетен, унижен, тем выше они воздымались: доказательством тому служат в преданиях существующий Вавилон, пирамиды, Колизей и все египетское и римское гигантское зодчество (греческие произведения в сем роде более отличаются фацией и совершенством форм). Когда император Павел окончил свой, по мнению его, чудо-дворец, что ныне Михайловский или Инженерный замок, и на короткое время поселился в сем сооруженном себе храме, то задумал воздвигнуть другой храм и Божеству и незадолго перед смертью своею заложил новый Казанский собор. Старый, даже при Елисавете, стоял почти на краю нераспространившегося еще города, над мутным ручьем, называемым Черною речкой, что ныне вычищенный, но все-таки грязный Екатерининский канал. Подобно некоторым, находящимся доньше в Петербурге церквам, был он не что иное, как продолговатый, просторный каменный сарай с довольно высоким деревянным куполом; позади его находилось обширное место, избранное для помещения его великого преемника.

Великим строителем нового храма назначен был граф Александр Сергеевич Строганов. Он всегда был покровитель художников и любитель художеств, не знаю, до какой степени в них сведущий; с иностранным воспитанием и вкусами сочетая русские навыки и хлебосольство, жил он барски, по воскресеньям угощал у себя не одним рождением, но и талантами отличающихся людей. Он был старик просвещенный, умный и благородный, однако же вместе с тем довольно искусный царедворец, чтобы ладить со всеми любимцами царей и пользоваться благосклонностью четырех венценосцев. Ему удалось устранить от строения собора строившего Михайловский замок самозванца архитектора Бренну, весьма любимого Павлом, бывшего в Италии едва ли посредственным маляром, и предложить доморожденного своего

зодчего Воронихина. У Павла совсем не было вкуса, у Александра очень много; но в первые годы своего царствования чрезвычайно любил он колонны, везде они были ему надобны, и оттого-то сохранил он утвержденный отцом его план, ибо на нем находились они в большом изобилии.

Все огороженное место вокруг новостроящегося храма, равно как и вход во внутренность его, когда строение его начало приходить к окончанию, оставались открыты для любопытных; не так, как ныне, когда никому, исключая самых избранных, не дозволяется взглянуть на работы, производящиеся десятки лет, когда как будто опасаются, чтобы порядочно одетые люди днем не утащили лежащие кирпич и известку, когда фиглярство строителей хочет какою-то таинственностью закрыть от народа совершаемые им чудеса. Мне иногда случалось входить в достраивающееся здание, и нельзя было не подивиться богатству, расточаемому для внутреннего его убранства. Мраморный узорчатый помост, необъятной величины полированные монолиты, составляющие длинную колоннаду, серебряные решетки, двери и паникадилы, покрытые золотом и облитые бриллиантами иконы, все должно было изумлять входящих во храм. Некоторые, однако же, позволяли себе сравнивать архитектора с неискусным поваром, который, начиная все кушанья свои перцем, имбирем, корицей, всякими пряностями, думает стряпне своей придать необычайно приятный вкус.

Ровно через десять лет после венчания на царство императора Александра, 15 сентября, происходило освящение нового храма. Все носящие мундир, без изъятия, были допущены во внутренность его; у меня мундира не было, и я на улице скромно стоял между фраками и крестьянскими кафтанами, в народной толпе.

Не столь блестящим образом в октябре было открытие Царскосельского лицея. Кто подал мысль или кто первый имел ее об его основании, не знаю, но если не ошибаюсь, то, кажется, сам государь. В первоначальные счастливые годы его царствования любил он свою простонародность (слово, которым я думаю заменить употребляемое ныне популярность). Наскучив пышностью и величием, среди коих возрос, всегда любил он также простоту как в одеянии, так и в образе жизни. Изо всех дворцов своих самый укромнейший, совсем забытый Каменноостровский дворец выбрал он летним своим местопребыванием. Так было до Тильзитского мира, после которого стал он предпочитать Царское Село.

Странная была участь этого казенного городка и дворца его! Он никогда при начале, а всегда под конец царствования государей делался любимым их убежищем. Место, подаренное Петром Великим Екатерине I, в стороне от большой московской дороги, тайком от него засадила она липовыми деревьями и построила на нем трехэтажное высокое, но не обширное здание. В августе 1724 года в первый раз угощала она тут своего дарителя; все ему чрезвычайно понравилось, и он возвестил, что не только гостить, но даже часто будет жить у нее; в следующем январе он скончался. Несколько лет Екатерина II предпочитала петергофский вид на взморье другим увеселительным местам своей столицы, пока не прилепилась к Царскому Селу; тогда наложила она на него свою могущественную руку и тут, как и во всем, что принимала, творила чудеса, так что сын ее, малолетний, когда она вступала на престол, все почитал тут ее созданием. Конечно, не из сыновней нежности совершенно бросил он Царское Село и на поддержание его никаких сумм не велел отпускать; все началоглохнуть, порастать крапивою, покрываться тиной, все портиться, валиться, и сие грозящее разрушение певец Екатерины, Державин, грустно изобразил в стихах своих под названием «Развалины». Окружающим Павла I жалко стало русского Версаля, и они, убедив его, что оно творение не одной матери его, но бабки и прабабки, склонили в июле 1800 года в него переехать. Он прожил тут до сентября, с быстротою, с которой от одного чувства переходил к другому, нашел место сие очаровательным, гораздо лучше его Павловска, и объявил намерение свое каждое лето проводить в нем по два месяца. Он не мог его исполнить: в марте его не стало.

При торжественном открытии лицея находился Тургенев; от него узнал я некоторые о том подробности. Вычитывая воспитанников, сыновей известных отцов, между прочим назвал он одного двенадцатилетнего мальчика, племянника Василья Львовича, маленького Пушкина,

который, по словам его, всех удивлял остроумием и живостью. Странное дело! Дотоле слушал я его довольно рассеянно, а когда произнес он это имя, то вмиг пробудилось все мое внимание. Мне как будто послышался первый далекий гул той славы, которая вскоре потом должна была греметь по всей России; как будто вперед что-то сказало мне, что беседа его доставит мне в жизни столько радостных, усладительных, а чтение его столько восторженных часов.

Возвратясь в Петербург после краткого отсутствия, я нашел его жителей несколько уже в тревожном ожидании. Находясь гораздо более в соседстве с Европой, по образу жизни и по всякого рода сношениям принадлежа к ней более, чем внутренние части государства, Петербург сильнее чуял приближающуюся грозу, которая, однако же, не над ним должна была разразиться. Трудно объяснить состояние, в котором находились тогда умы; не видно было уныния, отчаяния, но также и смелой в себе уверенности: заметно было какое-то грустное чувство, не совсем лишенное надежды. Казалось, все думали, а многие и говорили: ну, что делать, увидим, что-то Бог даст! В высшем кругу старались веселиться, чтобы показать или придать себе более бодрости. Так иногда испуганные громко расппевают, чтобы заглушить в себе страх.

Забыты прежние неудовольствия на правительство. Против чрезвычайного умножения налогов, требования добровольных приношений не поднялся ни малейший ропот: все чувствовали, что при наступлении решительной, окончательной борьбы государству нужны всевозможные вспомогательные средства. Гвардии велено приготовиться к выступлению в поход, и, нежно смотря на нее, наперед все уже напутствовали ее благословениями; офицеры вдруг все выросли и в глазах граждан сделались существами священными. Воззрение на спокойно-печальный Петербург было тогда истинно трогательно.

Оставил я город Москву, который уже в ином виде должен был узреть. В самую минуту выезда моего из Рогожской заставы вместе со мною проехала чья-то погребальная процессия, и потом, странное дело, во всю дорогу все говорило мне о смерти, все напоминало об ней. На станции Мошки, близ Муром, захотелось мне отдохнуть; я был тогда неприхотлив и растянулся на голой лавке. На ней же, повыше меня, лежало что-то длинное, покрытое простыней; входя в избу, спросонья мне показалось, что это собранный холст. Проснувшись поутру, я увидел, что это труп покойника, положенный под образа, и что я проспал у ног его. На другой станции, за Муромом, нашел я в почтовой избе вынос тела младенца. Далее, за Арзамасом, глас смерти сделался мне как будто еще слышнее; у меня правил лошадьми молодой, красивый парень, который так и заливался слезами; когда я спросил его о причине, он отвечал мне: «Да что, барин, у меня и руки и ноги трясутся, я себя не помню; ребята сказывали, что у меня отец помер на той станции, куда мы едем. Ох, да кабы ты знал, как я люблю его!» Подъезжая ночью к Саранску, в сильном волнении, сквозь слезы смотрел я на чистое небо, усеянное звездами; вдруг одна отделилась от них и упала. Я упрямылся, а небо не хотело оставить мне минуты сомнения. Я все это помню как диво, хотя и очень знаю, что не для меня, многогрешного, могут твориться чудеса, и передаю это просто, как оно было, читателю: поверит ли он мне или не поверит, мне все равно. С этого времени началось мое суеверие.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Ужаснейшую и славнейшую эпоху нашего времени приходится мне описывать.

Примечательно, что русский народ, в том числе купцы и малочиновные, имеет инстинктивное отвращение от аристократии. Вообще этот народ слепо повинуется по необходимости, не любит над собою властей, обожает одну только царскую, и то сильную и победоносную. Мне случалось иногда в присутствии самих аристократов объясняться несколько откровенно насчет сомнительности их прав; тогда, взглянув на меня с презрением, давали они мне чувствовать, что почитают меня якобинцем.

Теперь нам известно, что такое были бояре в старину. Знаем также, что в новейшие времена аристократия наша была довольно верной копией с французского подлинника: гордость свою прикрывала учтивостью и нестрогую нравственность — благопристойностью. Всего затруднительнее представить последнюю ее метаморфозу — нынешнее загадочное ее состояние. Здесь не место, а найдется при описании настоящих времен. Конечно, во все времена аристократия была у нас царство прозябаемых, которые не иначе могли зреть и возрастать, как согреваемые сильными лучами солнышка-царя; однако же были и люди, более всех пользующиеся доверенностью государя, которые аристократами не почитались и о коих они говорили с презрением, например, Аракчеев. Я уверен, что если б он говорил по-французски, ездил в общества и имел у себя швейцара, то между ними был бы не последний. Но этот странный человек почитал себя их выше и довольствовался тем, что видел всех их ползающими у ног его.

Нынешняя Россия является мне как бы высокая гора, коей вершина ярко озарена светом царского величия. С одной стороны, толпы людей взбираются, лезут по дороге, к ней ведущей, уставленной гранями; некоторые, более счастливые или проворные, бегом бегут по крутизне; иные, устав, останавливаются; иные же совсем обрываются. Одно, два, много три поколения остаются на теме горы; потом с противоположной стороны начинают спускаться все ниже и ниже, многие из них вниз катятся кубарем в ту мрачную долину, которая у подошвы горы наполнена миллионами людей. Однако же исход из нее открыт: вместе с теми, которые никогда из нее не выходили, падшие могут опять подыматься вверх. Мне кажется, ничего не может быть естественнее этого кругообращения. Не знаю, правда ли, а говорят, что затевают нечто еще худшее, чем уничтожение чинов, что хотят восстановить майораты. Да с какой стати? — спрашивается. Или смешная, жалкая страсть к подражаниям так еще в нас сильна, что мы хотим вводить у себя даже обветшалое на Западе, то, что, подобно полуразрушенным его замкам, сегодня или завтра должно упасть? К счастью, можно предсказать, что сначала это встретит большие затруднения в исполнении. Но кто может знать будущее? Огромные состояния будут возрастать и увековечиваться в руках немногих семейств и умножать силу владельцев своих. Несмотря на слишком поздно принятые меры, дворянство беспрестанно будет размножаться и тяжестию числа непременно канет на дно. Места привлекают еще к себе большим жалованьем; но их так умели уронить в мнении, что в отставке носимые их названия никакого не будут возбуждать уважения: чины уничтожатся. Что же останется? Высокомощие бояр. Тогда-то водворится у нас Европа; тогда-то воскреснут между нами средние ее века; о, блаженное время! Или лучше сказать, постигнет нас участь благополучной Польши

с ее завидной анархией, и наши Юсуповы <sup>70</sup> будут сзывать сеймы, составлять конфедерации. Хороши мы тогда будем! Право, уже лучше бы удельные княжества!

Менее полуторы тысячи верст отделяют Пензу от Петербурга. В нашем необъятном государстве, кажется, пространство не слишком великое, а насчет любопытных известий отсюда — мы жили словно в Иркутске. Горизонт наш был весьма ограничен; еще менее, чем в Москве, думали мы о том, что нас ожидает, и вседневный вздор, который слышал я вокруг себя, неприметно успокаивал волнуемую страхом душу мою.

Первая важная вест, которую получили мы в конце марта, была о неожиданных отставке и ссылке Сперанского; но эта вест громко разнеслась по всей России. Не знаю, смерть лютого тирана могла ли бы произвести такую всеобщую радость. А это был человек, который никого не оскорбил обидным словом, который никогда не искал погибели ни единого из многочисленных личных врагов своих, который, мало показываясь, в продолжение многих лет трудился в тишине кабинета своего. Но на кабинет сей смотрели все, как на Пандорин ящик, наполненный бедствиями, готовыми излететь и покрыть собою все наше отечество. Все были уверены, что неоспоримые доказательства в его виновности открыли наконец глаза обманутому государю; только дивились милосердию его и роптали. Как можно было не казнить преступника, государственного изменника, предателя и довольствоваться удалением его из столицы и устранением от дел! Не менее того сию меру, слишком строгую, если человек был безвиновен, торжествовали как первую победу над французами. Многие, помню, приходили меня с этим поздравлять, и, виноват, я принимал поздравления.

Непонятно также казалось молчание, хранимое ведомостями о столь важной перемене, тогда как они всегда возвещали об отставке чиновников, невысокие места занимавших. Оттого многие не хотели верить своему счастью, пока из соседнего Нижнего Новгорода, совсем неужасного места заточения его, не были получены точные сведения о прибытии его туда, о снисходительном приеме, сделанном ему губернатором, и об уединенном образе жизни, который он начал там вести. Между тем слух о его измене, настоящей или мнимой, распространился и между простым народом: не подозревая того, летом отправился он — взглянуть на Макарьевскую ярмарку; проходя гостиным двором, он едва не был умерщвлен разъяренной чернью и спасся через лавку знакомого ему купца. Главное тогда областное начальство, желая будто спасти дни его, а, вероятно, движимое местию, отправило его на жительство в холодный, скучный губернский город Пермь <sup>71</sup>.

Уже давно все это было, уже давно нет того, кто был благом и казнию Сперанского, его самого уже нет, а повесть об его изгнании все еще остается для нас загадкой и, вероятно, даже потомством нашим не будет разгадана. В преданиях русских она останется то же, что во Франции история о Железной Маске. Я полагаю, что он был виновен, но не совсем. Сопровождая Александра в Эрфурт, он был очарован величием Наполеона; замечено уже, что все люди, из ничего высоко поднявшиеся, не смея завидовать избраннику счастья и славы, видели в нем свой образец и кумир и почтительнее других ему поклонялись. Мало заботясь об участии отечества, будучи уверен, что Наполеон одолеет нас, мог он от последствий сей войны ожидать чего-то для себя полезного, мог питать какие-нибудь неясные надежды; но, чтоб он вошел в тайные сношения с неприятелем, это дело невозможное: он был слишком осторожен. Как ни воздержан был он в речах своих, но приятных, сильных своих ощущений при имени

---

<sup>70</sup> Юсуповы — один из самых богатых княжеских родов в России. Дедубийцы Распутина Ф. Н. Эльстон родился в Вене в 1820 г. Мать его была венгерская графиня Форгач, отцом его называли прусского наследника, впоследствии германского императора Вильгельма I. Ф. Н. Эльстон был поручен отцом Вильгельма, прусским королем Фридрихом-Вильгельмом, приятельнице последнего, бывшей вместе с тем приятельницей Пушкина, Ек. Мих. Хитрово, которая привезла его в 1825 г. в Россию. Здесь он воспитывался во дворце, у дочери Хитрово, фрейлины графини Е. Ф. Тизенгаузен. Женившись на графине Сумароковой, Ф. Н. Эльстон получил фамилию жены вместе с ее огромным богатством, а их сын Ф. Ф. Сумароков-Эльстон, женившись на последней княжне Юсуповой, прибавил к этим двум фамилиям третью вместе с богатейшим майором Юсуповых.

<sup>71</sup> Сперанский действительно проявил бестактность в стремлении проникнуть в тайны иностранной политики Александра I сверх дозволенного царем. Но это вызвало только отставку Сперанского. Выслан же он был за нелестные для Александра отзывы об его государственном уме.

нашего врага он скрывать не мог. В глазах людей, окружавших царя, и особенно сестры его, Екатерины Павловны, это одно уже было великое преступление и было важнейшим орудием к обвинению его. В беспокойстве духа, в котором находился государь при ожидании великих событий, предался он подозрениям и решился величию обстоятельств принести великую жертву. Вся Россия требовала ее, и на этот раз только в гласе народа послышался Александру глас Божий. Иначе я этого дела объяснить не умею.

Не помню, какой-то французский писатель (ныне их так много), но уже верно не добрый человек <sup>72</sup>, сказал, что в несчастиях самих друзей наших для всякого из нас есть всегда какая-нибудь отрадная сторона. Мне кажется, напротив: я не скрою, что падение Сперанского мне было приятно, ибо я разделял общее мнение об нем; но с тем вместе, вспоминая его счастливые дни, представляя себе страдания его при переезде из одной ссылки в другую, под проклятиями народными, грустное чувство, против воли моей, закрадывалось мне в сердце.

На место его посажен был старый вице-адмирал Александр Семенович Шишков, плохой писатель, но самый пылкий патриот. Везде, где говорил я о литературе нашей, имя его всегда поминается. Вскоре потом, в апреле, отправился он к армии с государем в Вильну. Из его назначения мог я заключить, что люди, отличающиеся особою любовью к отечеству, должны быть все в ходу. Мнение сие подтвердилось другим назначением, сделанным в следующем месяце.

С 1809 года начальствовал в Москве старый фельдмаршал, граф Иван Васильевич Гудович. Выжив из лет, он совершенно отдал себя в руки меньшого брата, графа Михаила Васильевича, который слыл человеком весьма корыстолюбивым. Оттого-то управление Москвою шло не лучше нынешнего: все было продажное, все было на откупе. Подручником последнего был какой-то медик, французо-итальянец, если не ошибаюсь, Салватори, и они между собою делили прибыль. Так, по крайней мере, все утверждали и в то же время были уверены, что медик не что иное, как тайный агент французского правительства. Москва находилась далеко от театра могущей быть войны, но по какому-то предчувствию на состояние ее обращено было особое внимание правительства. Надлежало непременно сменить Гудовича, и государь сделал сие с обычными ему привлекательными формами, при весьма лестном рескрипте, препроводив к нему портрет свой, алмазами украшенный.

Можно сказать, что Александр был вдохновен свыше, когда в преемники ему выбрал графа Растопчина. Я говорил только о действии, произведенном на меня угрюмым лицом его, когда в Петергофе, будучи еще отроком, трепетною рукою подал я ему просьбу об определении меня в иностранную коллегию, а об нем собственно ничего не говорил. Когда он был еще министром, а я находился под его главным начальством, отец его, Василий Федорович, стал часто посещать зятя моего Алексеева, тогда полицеймейстера в Москве. Не раз случилось мне слышать рассказы его о том, как он выкупился из крепостного состояния, вступил на службу, получил небольшие чины, нажил небольшое состояние и как ничего не щадил, чтобы дать хорошее воспитание единственному сыну своему. Зато сын хорошо ему и отплатил: пользуясь удобною минутой у щедрого Павла, из отставных майоров выпросил ему прямо чин действительного статского советника и Аннинскую ленту. С природным необыкновенным умом и полученным образованием, молодой Растопчин не мог бы иметь столь великих успехов, если бы не женился на родной племяннице Анны Степановны Протасовой, любимицы Екатерины Второй. Через нее попал он к большому двору, но предпочел ему двор наследника в Гатчине. Это составило его счастье.

Некоторые люди видели в Растопчине препятствие к исполнению их тайных замыслов; они знали его как человека благородного, твердого, который ни за что не изменит благодетелю своему и готов пожертвовать жизнью, чтобы спасти дни его. Их происки успели ниспровергнуть его за несколько дней до кончины Павла. Известное острословие свое умел Растопчин

---

<sup>72</sup> Этот неизвестный писатель был известный Ларошфуко. Сию грубую ошибку со стыдом пополам спешит исправить не издатель, а сам сочинитель Записок. — *Авт.*

удерживать, пока был государственным сановником; но тут, сделавшись мирным обитателем старой столицы, он захотел сложить оковы этикета, налагаемые на людей, находящихся в высоких должностях. Тогда дал он волю речам своим, но скоро увидел, с кем имеет дело. Вместе с тем вспоминал он дни славы своей, время управления его министерством иностранных дел и союза нашего с Австрией, когда русские войска стояли на границе Франции и готовы были ворваться в ее пределы. С бешеною яростию, какую могут только чувствовать сильные души истинных патриотов, в 1807 году видел он, что дело пошло наоборот и Наполеон недалеко уже от Немана. Кажется, что в раздраженном состоянии, в коем он находился, наконец, надоела ему болтовня московских пустомелей, и он излил свою на нее досаду в горькой, язвительной шутке, в небольшой комедии под названием: «Вести, или Живой убитый». Ее прочитали, одни посмеялись, другие посердились, и вскоре потом забыли; а она весьма примечания достойна, как изображение тогдашних нравов.

Когда в 1809 году император посетил Москву, то в первый раз по воцарении увидел Растопчина, стал разговаривать с ним и был увлечен силою и ясностию ума его. Тут же он сошелся с Екатериною Павловной и вследствие ее приглашений не раз навещал ее в Твери. Затем получил он еще лестнейшее приглашение прибыть в Петербург, где его сделали обер-камергером и членом государственного совета, с дозволением жить в Москве, откуда, по сделанной привычке, он редко отлучался. Говорят, что он был в числе обвинителей Сперанского и что письмо его о сем предмете сильнее всего на государя подействовало.

Все жители Москвы чрезвычайно обрадовались, когда в исходе мая 1812 года назначили его к ним главнокомандующим, с переименованием в военный чин; только радость была непродолжительна. Он выпрямился во всю вышину роста и ума своего и вдруг явился грозным повелителем, с своими нахмуренными бровями, как бы Юпитером-громовержцем. Это было необходимо. Он совершенно знал дух непокорности дворян, знал также своеволие, предрассудки, поверия простого народа; он знал, что сей последний в свирепом виде всегда предполагает смелость и силу. Сжав тех и других в мощной руке своей, он в то же время умел овладеть их умами и привязать к себе. Искусство удивительное, которое не умели у нас довольно оценить. Если вспомнить, что Москва имела тогда сильное влияние на внутренние провинции и что пример ее действовал на все государство, то надобно признаться, что заслуги его в сем году суть бессмертны.

Третье известие порадовало меня не менее двух первых. Когда совсем потеряли надежду на мир с турками, его заключили в Бухаресте 26 мая. Он был если не весьма славен, то, по крайней мере, весьма выгоден для нас. Граница наша от Днестра отодвинута к Пруту, на протяжении нескольких сот верст; что важнее того, русские опять стали на берегах давно, при первых их князьях, знакомого им и никогда не забытого Дуная, воспетого в их старинных песнях; Бессарабия, мне после столь известная, присоединена к России.

Сказывали, что Кутузов, столь же искусный дипломат, как и воин, проведая, что, скучая медленностию, с какою ведет он переговоры, государь решился назначить ему преемника (да еще какого же?), тайно просил о пособии английское посольство в Константинополе, единственной столице, где оно могло встретиться с французским. Англия, с которою не был еще возобновлен у нас союз, но которой желательно было умножить силы наши против заклятого ее врага, употребила старания свои, чтобы помочь Кутузову в сем деле. Княжеское достоинство с титулом светлости было его наградою.

Ничто не говорило о войне, лето стояло прекраснейшее, и все было так успокоительно. Перед ярмаркой, к 24 июня, все опять начали собираться.

Ярмарка была чрезвычайно многолюдна и шумна. Сделавшись сперва гораздо спокойнее, стал я и повеселее: не отказывался от званых обедов и даже в Петров день, 29 июня, конец кратковременной ярмарки, хотя будучи в трауре и не имел права быть на бале, который дворянство давало во вновь выстроенной большой галерее, разгуливал, однако же, в освещенном вокруг ее саде и все видел. Я попросил бы читателя припомнить себе некую Катерину Васильевну Кожину, урожденную княжну Долгорукую, жену любителя и содержателя театра,

а тут уже вдову, которая, имея гораздо более сорока лет, любила еще невинным образом по-кокетничать. Она избрала себе в обожатели равного себе, князя Василия, одного из меньших братьев губернатора Голицына: он будто бы влюблен был в нее, а я будто бы ревновал. Где-то на вечере, 30 июня, пригласила она обоих нас на следующее утро к ней завтракать; а мы уговорились между собою, чтоб играть у нее роли, ему торжествующего, а мне отчаянного любовника. В приятном ожидании этой комедии заснул я, не зная, что на другой день меня ожидает.

Часу в одиннадцатом утра, 1 июля, зашел я к Голицыным, которые жили отдельно от брата в купленном их матерью особом доме. Я стал торопить князя Василия, чтоб он скорее одевался, и мы совсем готовы были в поход, как вдруг вбежал самый меньшей из братьев, Владимир, всегдашний повеса и вечный хохотун, в столь смущенном виде, что, вероятно, он раз в жизни только его имел. Он пришел от князя Григория, и вот что он нам рассказал: чиновник, посланный от губернатора с гуртом быков, пожертвованных дворянством, не мог довести их до места назначения, ибо довольно далеко от него встретил он армию, поспешно ретирующуюся, и с трудом мог добиться, кому их сдать. Он воротился на курьерских и сказывал, между прочим, что Наполеон уже в Вильне.

Ободряло меня совершенное перерождение большей части наших помещиков: они не хвастались, не храбрились, а показывали спокойную решимость жертвовать всем, и жизнью и состоянием, чтобы спасти честь и независимость России. Весьма немногие не об ней думали, а о своей особе и о своем ларце, и те втихомолку только вздыхали. Все это похоже было на чудо, совершающееся в глазах наших.

Между тем, сгорая огнем любви к отечеству, отважный, неутомимый Растопчин всеми силами раздувал благородное пламя между жителями вверенного ему города; он успел в них пробудить давно уснувший в лени и праздности доблестный дух предков их. Подобно нашим знатым, был он воспитан за границею и знал в совершенстве иностранные языки, но тем отличался от вельможных, что славно выучился и отечественному и не гнушался даже простонародным. Он пригодился ему, когда среди волнения, произведенного грозными обстоятельствами, ежедневно разговаривал он с народом посредством печатных афишек, которые приправлял он разными прибаутками и коими веселил, ободрял и воспламенял его к добру. Это была не война обыкновенная государства с государством, а великое восстание, общее дело, в котором необходимо было и простой народ сделать участником.

Поражениям французов Платовым при Мире, Остерманом — при Островне и Багратионом — при Дашковке мы что-то плохо верили и почитали их более стычками, в которых едва удалось неприятелю дать отпор. Я был не великий стратег и не умел понять, что дело Багратиона стоит великой победы; ибо он пробился сквозь французскую армию, чтобы соединиться с Барклаем, тогда как намерение Наполеона было непременно отрезать его. Но первая, настоящая победа графа Витгенштейна<sup>73</sup> при Клястицах всех чрезвычайно восхитила. Не было обеда, даже семейного, на котором бы не пили за здоровье победителя. Имя его, дотоле вовсе неизвестное, с шумом пронеслось по всей России; все находили, что спасение часто приходит к нам отсюда, откуда мы его не ожидаем, и оттого еще более утверждались в вере на помощь Всевышнего.

В Москве, после посещения, Сделанного ей государем (который, пробыв два дня, отправился в Петербург), все закипело, все запыхало усердием к великому делу спасения отечества. Все в ней делалось на широкую руку. В Петербурге без шума, без преувеличения, без возгласов дело шло точно так же: не щадили капиталов, поспешно и деятельно собирали и вооружали войско.

Многие из помещиков опасались, что приближение французской армии и тайно подсланные от нее люди прельщениями, подговорами возмутят против них крестьян и дворовых людей. Напротив, в это время казалось, что с дворянами и купцами слились они в одно тело.

---

<sup>73</sup> П. Х. Витгенштейн был впоследствии главнокомандующим второй армии, в которой особенно было распространено тайное общество декабристов. Самым любимым его адъютантом, со времени наполеоновской войны, был П. И. Пестель — глава заговора. Сын его Л. П. Витгенштейн был членом тайных обществ, но не примыкал к заговору.



Названия дружин, ратников ополчения, совершенно отечественные, всем были приятны. Самый наряд ополченных, совсем уже не богатый, но отличающий их от линейного войска, чрезвычайно всем понравился. Вооружение состояло из самых простых сабель и пик; других оружий достать было негде и не на что; правительство обещало само доставить их.

В первой половине августа начали появляться у нас еще не эмигранты из захваченных Наполеоном областей (дотоле все были одни так называемые польские губернии), а ссыльные по высочайшему повелению.

Первою из них была графиня Рыщевская, урожденная Холоневская, богатая и пожилая полька, которая слишком много любила заниматься политикой. Волынский губернатор, Михаил Иванович Комбурлей, не мог остаться равнодушен, зная о воззваниях ее к помещикам, когда неприятельская армия показалась в России: по праву, ему данному, в критических обстоятельствах, в коих находилась его губерния, он именем государя отправил ее во внутренние губернии, и Пензе досталась она на долю.

Другой изгнанник был француз в русской службе, полковник Радюльф, который сослан был за то, что не согласился идти воевать против соотечественников. Все косились на него; а мне понравился он, как человек скромный, честный, который, не принадлежа к дореволюционной Франции, хотел исполнить долг свой; в самой ссылке его видел я одну меру предосторожности правительства. Третий, вероятно, по ошибке попал в Пензу: его бы следовало отправить в Нерчинск, ибо он был совершенно каторжный. Я слышал и читывал о санкюлотизме, бывшем в ужаснейшие и отвратительнейшие дни французской революции, а не имел об нем настоящего понятия; он мне предстал в лице г. Магиера<sup>74</sup>. Наглость и дерзость, безнравственность и неверие перешли в нем за границы возможного. Не понимаю, как пустили его в Россию, а еще менее, как одна нежная и попечительная мать могла поручить ему воспитание любимейшего сына. Мальчик, с сердцем нежным и благородным, с умом быстро понятливым и любознательным, с дарованиями необыкновенными, которые могли бы послужить к чести и пользе отечества, от пагубных правил, почти в младенчестве внушенных ему сим отравителем, сделался почти преступным и кончил несчастную жизнь, едва перешед за обыкновенную половину пути ее. И в глубокой старости гордая и упрямая мать не хочет сознаться, что она была главнейшею, единственною виной гибели сыновей своих. Я бы ее назвал, но теперь еще не до нее. В последнее время находился он при образовании безобразного сына уродливого графа Хвостова, которого шурин, князь Алексей Иванович Горчаков, управлял тогда министерством военным, на время командования Барклаем одною из действующих армий. Вслушавшись в дерзкие речи его, Горчаков счел его опасным и отправил в Пензу; а он там рассказывал, будто это сделано было с намерением разорвать любовные связи его с какою-то кузиной, княжной Горчаковой, как всякий француз, который самохвальству своему честь женщины приносит в жертву. Но никто не хотел ему верить.

Накануне Успеньева дня пришли мне сказать, что некто Мордвинов желает меня видеть. Я оделся наскоро, чтобы к нему выйти, и, взглянув на него, изумился: я не имел понятия о необыкновенной красоте, которую может иметь старость. Передо мною был человек не с большим лет шестидесяти, невысокого роста, одетый с изысканною опрятностью, в черном фраке не нового покроя, с расчесанными и на обе стороны распушенными белыми волосами, с чрезвычайною живостию во взорах, с удивительною приятностию в голосе, что-то напоминающий собою Вейкфильдского священника Вальтер Скотта: передо мною был прославившийся в государстве Николай Семенович Мордвинов. Приехав накануне вечером в Пензу, он с семейством своим, состоящим из жены, трех молодых дочерей и малолетнего сына, остановился в каком-то заезжем доме, в нижней части города. Неизвестно по каким причинам, находясь в службе, намеревался он провести у нас всю зиму и для этого искал для себя удобную квартиру. Как лучший дом был занят полькою Рыщевской, ему указали на наш, который не велик и не красив был, однако же

---

<sup>74</sup> Магьер — воспитатель будущих декабристов Никиты и Александра Муравьевых, сыновей писателя и сановника М. Н. Муравьева и его жены, рожденной баронессы Колокольцевой (Е. Ф.).

чрезвычайно поместителен; но мать моя, переехав из него, не хотела ни отдавать его внаймы, ни сама возвращаться в него, а оставить его в том виде, в котором он находился в минуту кончины отца моего. Смущенный внезапным появлением г. Мордвинова, я не умел порядочно с ним объясниться и почтительно повел его показывать ему комнаты. Он остался доволен как числом, так и расположением их и вдруг спросил меня о цене. Еще более смешавшись, я запросил 1500 рублей в год, сумму тогда необъятную в провинции, в надежде, что он начнет торговаться и я могу отослать его к настоящей владелице дома. Но он этого не сделал и вмиг согласился дать мне требуемую сумму. Тогда решился я объявить ему, что мне нужно переговорить о том с матерью, а он сказал мне, что за ответом сам придет к ней после обеда. Скорее побежал я к ней и не без труда мог получить ее согласие, представляя ей, что само небо, кажется, со всех сторон посылает нам средства к скорейшей уплате долгов наших.

Неожиданный приезд столь знаменитого человека, как Мордвинов, бывшего морского министра, настоящего председателя одного из департаментов Государственного совета, в другое время взволновал бы весь наш губернский город. Тут этого не было. Голицынская спесь заставила губернатора оказать приезжему совершенное невнимание: чтобы не совсем показаться ему неучтивым, поспешил он уехать на ярмарку в Саранск. В Петербурге от Мордвинова совершенно зависело принадлежать к высшей аристократии, но он любил делать все по своему. Женившись в Ливорно на скромной девице, дочери английского консула Кобле, всегда вел он с нею жизнь довольно уединенную, в кругу своего семейства, в кругу близких и дальних родственников, старинных, просвещенных и достаточных дворян, которые не думали гоняться за знатностью; охотно принимал он у себя также ученых, артистов и литераторов. Оттого между аристократами прослыл он вольнодумцем, республиканцем; внутри России почитали его усердным, смелым патриотом. Ничего этого не было. У него была страсть риторствовать, изумлять довольно смелыми, на Западе совсем не новыми мыслями; но сильных, внутренних убеждений, но положительных, твердых мнений ни о чем у него не было. Пожалуй, это можно назвать беспристрастием, умеренностью. Например, он был одним из основателей «Беседы российского слова» и почитался задушевным другом руссомана до безумия, Александра Семеновича Шишкова, нового государственного секретаря; в то же время всем известны были связи его с Сперанским, и он явно и громко порицал строгость, употребленную с сим падшим временщиком. Неизвестно, немилость ли к нему двора или его собственное неудовольствие на правительство заставили его выехать из Петербурга. Так, по крайней мере, казалось; и это, в тогдашних обстоятельствах, вместе с внушениями Голицына, удержало дворян от изъявлений знаков должного к нему уважения, от которых, впрочем, и сам он уклонился<sup>75</sup>. За год перед этим, рассчитывая на плодородие Пензенской губернии, купил он в ней тысячу душ; но имение было малоземельное, и он никакого почти не получал с него дохода: он хотел закупить земель в Саратовских степях, чтобы переселить туда половину крестьян, и, по словам его, вот была причина появления его между нами.

Итак, я стал тесниться в бане, на одном дворе с матерью моей, оставив чертоги свои; но, по приглашению нанимателя, иногда посещал их. Супруга его, Генриетта Александровна милая и почтенная дама, в уединении своем (ибо никто к ним не ездил) всегда мне была очень рада; но молоденькие мисс Мордвиновы были отменно дики и, казалось, страшились дуновения мужчин. Самого же Николая Семеновича я всегда слушал с жадным любопытством и, кажется, иногда понимал; я находил много ума, бездну познаний, но, признаюсь, толку никакого. К несчастью моему, осенью маленькое семейное его общество умножилось прибытием к нему одного молодого ученого, весьма почтенного Гульянова, который впоследствии сделался так известен соперничеством с Шампольоном в объяснении иероглифических знаков. Он все рассуждал со мною о санскритском языке, которого даже названия я дотоле не слыхивал. Не подозревая, что он говорит со мною о прародителе нашего русского и всех славянских языков,

---

<sup>75</sup> Знаменитый государственный деятель Н. С. Мордвинов должен был выехать из столицы в связи со ссылкой Сперанского, с которым он был в дружбе. Позже их обоих обвиняли в сочувствии замыслам декабристов, которые, впрочем, намечали их в члены временного правительства на случай удачи переворота 1825 года.

мне казалось, что дело идет о Священном Писании, *sancto scripto*, и это недоразумение, обнаруживая все невежество мое, совершенно погубило меня в мнении Мордвинова; я заметил это и совсем отстал от дому его.

18 августа, гуляя по городу, вдруг повстречался я с канцелярским чиновником, любимцем Голицына, которого брал он с собою.

— Вы уже опять здесь, — сказал я ему, — как вы скоро воротились!

— Да что делать, — отвечал он, — беда, пришло ужасное известие, была большая резня, и в самый день Преображения французы штурмом взяли Смоленск; граф в отчаянии поспешил обратно в Нижний Новгород, и нам уже без него в Саранске ничего не оставалось делать.

Было уже поздно; как одурелый побрел я домой и не зашел к матери, чтобы не испугать ее отчаянным видом своим.

Это был третий электрический удар, который раздался по всей России, который, поражая печалью сердца русских, как будто всякий раз все более возжигал в них мужество и усердие защищать отечество.

Узнав о взятии Смоленска, государь прискакал обратно в Петербург, чтобы назначить искусного полководца, старика князя Кутузова, главнокомандующим над всеми действующими армиями. Приписывая все неудачи наши разброду, в котором как будто они находились, мы ободрены были мыслию, что главная власть сосредоточится в одних руках; жалели только, что не ранее о том подумали. К тому же, самое имя Кутузова напоминало Екатерину и победы.

Приблизился наконец тот день, в который, лишившись последней надежды спасти наше сокровище, мы вместе с тем освободились от всякого страха: день сильного перелома, в который война совершенно превратилась в отечественную, в народную, и для пришельцев наступило время гибели.

В воскресенье, 8 сентября, день рождества Богородицы, пошел я на поклонение губернатору. Я нашел его в зале, провожающего князя Четвертинского. Я худо поверил глазам своим, и у меня в них помутилось. Не будучи с ним лично знаком, много раз встречал я в петербургских гостиных этого красавца, молодца, опасного для мужей, страшного для неприятелей, обвешанного крестами, добытыми в сражениях с французами. Я знал, что сей известный гусарский полковник, наездник, долго владевший женскими сердцами, наконец сам страстно влюбился в одну княжну Гагарину, женился на ней и сделался мирным жителем Москвы<sup>76</sup>; знал также, что, по усиленной просьбе графа Мамонова, он взялся сформировать его конный казачий полк. Какими судьбами он в Пензе? Что имеет он с нею общего? Оборотясь к одному из братьев Голицыных и на него указывая: «Что это значит?» — спросил я. «Он приехал, — отвечал он мне, — навестить жену свою, которая теперь с матерью находится в Пензе, проездом в Саратовское имение». — «А что армия?» — спросил я. «Он видел ее на Поклонной горе, где собирались, кажется, дать последнее решительное сражение». Приезд Четвертинского мне все сказал. Он не хочет быть дурным вестником, подумал я, и на день, на два оставляет нам еще надежду.

Целый день ходил я как шальной, избегая, елико возможно, делать вопросы. Вечером навестили меня братья Ранцовы, из коих старший был некогда моим товарищем в министерстве внутренних дел; вид их показался мрачен и угрюм. Говоря о том, о сем, «завтра понедельник, — сказал я, — что-то привезет нам завтрашняя почта?» — «Нет, — сказал мне младший Ранцов, — не ждите ее, она уже не придет», — и... объявил мне истину. Четвертинский не мог скрыть ее от губернатора, а сей скромный человек сказал ее на ухо двум или трем столь же скромным людям, так что к вечеру, кроме меня, почти весь город знал, что Москва сдана без бою.

---

<sup>76</sup> Кн. Б. А. Четвертинский (брат М. А. Нарышкиной, от которой имел дочь Александр I) женат был на Над. Фед. Гагариной (1791—1883), сестре В. Ф. Вяземской, жены поэта П. А. Вяземского, приятельницы Пушкина.

Город Пенза, между тем, с каждым днем становился многолюднее. Из первых приезжих Мордвинов никуда не показывался, а Рыщевскую все бросили<sup>77</sup>. После смольнян из всех уездов семейства помещиков действительно начали прибывать и как будто спасаться в губернский город. В числе их можно назвать и самоё княгиню Голицыну, мать губернатора, которая к сыну на всю зиму переселилась из Зубриловки. С половины сентября стали наезжать уже московские эмигранты, а в следующем месяце в великом множестве начали, — как говорил народ, — пригонять пленных. Наконец, поворотиться у нас было трудно.

Всю осень, по крайней мере у нас в Пензе, в самых мелочах старались выказывать патриотизм. Дамы отказались от французского языка. Многие из них почти все оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и не скоро с ним расстались. Что касается до нас, мужчин, то, во-первых, члены комитета, в коем я находился, яко принадлежащие некоторым образом к ополчению, получили право, подобно ему, одеться в серые кафтаны и привесить себе саблю; одних эполет им дано не было. Губернатор [кн. Ф. С. Голицын] не мог упустить случая пощеголять новым костюмом; он нарядился, не знаю с чьего дозволения, также в казацкое платье, только темно-зеленого цвета с светло-зеленой выпушкой. Из губернских чиновников и дворян все те, которые желали ему угодить, последовали его примеру. Слуг своих одел он также по-казацки, и двое из них, вооруженные пиками, ездили верхом перед его каретою.

Не из одних Москвы и Смоленска были у нас эмигранты: из отдаленнейшего края, из Литвы, из Гродненской губернии, прибыла в Пензу вдовствующая княгиня Четвертинская. Она помнила мученическую смерть мужа своего, убитого варшавскою чернью за настоящую или мнимую любовь к России; помнила отеческую нежность Суворова к ее семейству, неисчетные благодеяния, коими оное осыпала Екатерина. Не говоря уже о поместьях, ему дарованных, две несовершеннолетние падчерицы ее сделаны были фрейлинами, а малолетний пасынок и два младенца-сына пожалованы прямо офицерами гвардии. Все это были преступления в глазах поляков, и она могла страшиться их мести; к тому же, вероятно, она помнила еще священные обязанности, налагаемые благодарностию, и сыновей своих, не поступивших еще на службу, хотя весьма уже взрослых, преданных душою врагам России, не хотела допустить присоединиться к ним. Для того, сама не зная куда, решилась ехать внутрь государства. Где-то узнала она, что родная сестра ее Рыщевская сослана в Пензу, и туда направила путь. Тут нашла она не ее одну, но еще и пасынка своего, о коем упомянул я в самом начале сей главы.

Род князей Четвертинских происходит от русских государей, от святого Владимира и от правнука его Святополка, князя Черниговского. Потомство последнего, а их предки имели уделы в Волынии и сделались подвластны Литве, когда, в несчастное для России время, этот край отделился от нее. Потом, подобно единокровным князьям внутри России, размножаясь, они беднели. При польском правительстве они ни разбогатеть, ни высоко подняться не могли: ибо ни один из княжеских родов в западной России столь долго не стоял за веру отцов своих, столь упорно не боролся с насилиями и прельщениями иезуитов, так что еще при Петре Великом Гедеон, князь Четвертинский, был православным митрополитом в Киеве; наконец, и они, и уже, верно, самые последние, впали в католицизм и возвысились в почестях. Кто знает? Для самолюбия их было лестно вспомнить, что предки их восседали некогда на престоле, сделавшемся столь блистательным, и оттого-то, может, в разных ветвях сего рода встречались люди, увлекаемые чувством любви к истинному своему отечеству. Не был ли в числе их и князь Антоний, заплативший жизнью за подозреваемое в нем чувство сие? Не низкая доля ожидала семейство его в России.

<sup>77</sup> На другой день по получении известия о взятии Москвы праздновала она у себя сие счастливое событие с двумя французами, Радюльфом и Магиером. Все комнаты были освещены. Но радостное спокойствие сего торжества было внезапно нарушено. Град камней из карманов и рук двух человек, ехавших мимо верхом, посыпался в ее окна и все стекла разбил вдребезги; верховые ускакали потом неизвестно куда, и никогда не могли их отыскать. Через несколько времени мне одному открылась тайна, но я никому не объявлял о ней, не из скромности, а из опасения быть подозреваемым в получении. Это были — один молодой малый, прежде бывший у меня в услужении, родными моими отпущенный на волю и находившийся тогда канцелярским служителем в губернском правлении, а другой приятель и товарищ его в том же правлении. Оба они поступили в ополчение, а из него перешли в настоящую военную службу. — *Авт.*

Старшая дочь его, Жанетта, оставалась долго безбрачною. Привязанность к ней цесаревича Константина Павловича до того простиралась, что, хотя он был уже женат, хотел он развестись со своею Анною Федоровною, чтобы на ней жениться. Вдовствующая императрица всеми силами противилась сему союзу, и напрасно; ибо этот брак был бы в тысячу раз приличнее, чем тот, в который он после вступил [с Жанеттой Лович]. Блестящие партии представлялись для этой княжны, но с честолюбивыми своими надеждами она отвергала их.

Меньшая дочь в самой нежной молодости выдана была за Дмитрия Львовича Нарышкина. Родство с царствующим домом, высокие, первые должности при дворе, пятью поколениями постоянно, непрерывно занимаемые, и великое богатство, между ними в целости сохранившееся, составили бы везде действительную знатность, а у нас могла она почитаться дивною. Такими преимуществами пользовалась эта отрасль Нарышкиных, и вот начало поприща, на кое вступила сия молодая женщина. Кому в России неизвестно имя Марии Антоновны? Я помню, как, в первый год пребывания моего в Петербурге, разиня рот, стоял я перед ее ложей и преглупым образом дивился ее красоте, до того совершенной, что она казалась неестественною, невозможною; скажу только одно: в Петербурге, тогда изобиловавшем красавицами, она была гораздо лучше всех. О взаимной любви ее с императором Александром я не позволил бы себе говорить, если бы для кого-нибудь она оставалась тайной; но эта связь не имела ничего похожего с теми, кои обыкновенно бывают у других венценосцев с подданными.

Славное житье было тогда меньшому их брату, князю Борису Антоновичу, молоденькому полковнику, милому, доброму, отважному, живому, веселому, писаному, как говорится, красавчику.

Молодая княгиня Четвертинская была из тех женщин, коих стоит любить. Не знаю, как сказать мне о ее наружности? Если прямой, гибкий стан, правильные черты лица, большие глаза, приятнейшая улыбка и матовая, прозрачная белизна неполированного мрамора суть условия красоты, то она ее имела. С особами обоего пола была она равно приветлива и обходительна. Ее звали Надежда Федоровна; но для мужчин на челе этой Надежды была всегда надпись Дантова ада: «Оставь надежду навсегда»<sup>78</sup>. Кто кого более любил, муж или жена? Право сказать не могу.

Она приехала в Пензу с матерью своею. Сия последняя была столь долго в Москве известная Прасковья Юрьевна, урожденная Трубецкая, родная племянница фельдмаршала Румянцева-Задунайского, в первом замужестве за полковником князем Федором Сергеевичем Гагариным. Странная встреча случаев! Отец княгини Четвертинской погиб, быв умерщвлен в 1794 году, во время варшавского возмущения, почти в один день с отцом мужа ее. Неутешная молодая вдова, мать нескольких малолетних детей, взята была в плен и в темнице родила меньшую дочь, как где-то сказал я; вместе с другими была она освобождена Суворовым после взятия Праги. Долго отвергала она всякие утешения, в серье носила землю с могилы мужа своего; но вместе с твердостью имела она необычайные, можно сказать, невиданные живость и веселость характера; раз предавшись удовольствиям света, она не переставала им следовать.

Она жила в Москве, в странном городе, где на все смотрят, всему подражают, все делают в преувеличенном виде. Правнуки степенных княгинь и боярынь, редко покидавших свои терема, пользовались в нем совершенною свободой, смею даже прибавить излишнюю. Сбросив иго старинных предрассудков, они часто не хотели повиноваться и законам приличия. Тридцать или сорок лет спустя родился коммунизм и показались львицы; но тогда никто не мог иметь об них понятия; однако же название бойких московских дам и барышень и тогда вселяло страх и уважение в провинциалках, не смевших им подражать. Смотря беспристрастно, я нахожу, что нравы были дурны, но не испорчены; я полагаю, судя по холодности русских женщин, что греха было мало или и вовсе его не было, но соблазна много. Худо было то в этом

---

<sup>78</sup> Известнейший наш поэт в досаде сказал то же о петербургских дамах. *Авт.*

жестоким и снисходительном городе, что клевета или злословие не оставляли без внимания ни одной женщины. И все это делалось (и делается) без всякого дурного умысла; все эти примечания, выдумки совсем не были камнями, коими бы хотели бросать в грешниц; ибо каждый знал, что он сам может быть ими закидан. Радуюсь чужому падению, казалось, говорили: нашего полку прибыло. Чтобы сохранить чистое имя, должны были женщины приниматься за pruderie, что иначе не умею я перевести, как словом жеманство. Их число было немалое, но их не терпели и над ними смеялись, тогда как торжество и победы ожидали истинно или мнимо виновных. Прасковья Юрьевна, которая всему охотно смеялась, особенно вранью, никак не хотела рассердиться за то, что про нее распускали <sup>79</sup>.

Но время шло, дети росли, и когда она совсем почти начинала терять свои прелести, явился обожатель. То был Петр Александрович Кологривов, отставной полковник, служивший при Павле в кавалергардском полку. Утверждают, что он был в нее без памяти влюблен. *Où l'amour va-t-il se nicher?* Любовь, куда тебя занесло? — хотелось бы сказать. А между тем оно было так: надобно было иметь необыкновенную привлекательность, чтобы в утробе этого человека расшевелить нечто нежное, пламенное. Дотоле и после ничего подобного нельзя было в нем найти. В душе его, в уме, равно как и в теле, все было аляповато и неотесано. Я не знавал человека более его лишнего чувства, называемого такт: он без намерения делал грубости, шутил обидно и говорил невпопад. Любовь таких людей бывает обыкновенно настойчива, докучлива, неотвязчива. Во Франции, говорят, какая-то дама, чтобы отвязаться от преследований влюбленного, вышла за него; в России это не водится, и Прасковья Юрьевна не без причины согласилась отдать ему свою руку. Как все знатные у нас, не одни женщины, но и мужчины, не думала она о хозяйственных делах своих, которые пришли в совершенное расстройство. Она до безумия любила детей своих; мальчики вступали в тот возраст, в который по тогдашнему обычаю надобно было готовить их на службу, девочки с каждым годом милее расцветали. Как для них не пожертвовать собою? Как не дать им защитника, опекуна и опору? Вообще же женщины любят любовь, и не так, как мы: видя ее к себе в существах даже им противных, не могут отказать им в участии и сострадании; а там, поглядишь, они уже и разделяют ее. Кологривов имел весьма богатое состояние, да сверх того, несмотря на военное звание свое, был великий хлопотун и делец.

На полдороге между Пензой и Зубриловкой было у него обширное поместье, село Мещерское, на три версты растянутое.

Туда пробираясь, остановился он на всю зиму в Пензе с семейством, то есть с женою и с двумя падчерицами, княжнами Софьею и Любовью, с ними вместе жили и Четвертинские.

Я написал почти историю этого дома оттого, что он сделался моею отрадой: бывало, погрустят о Москве, а там и примутся за хохот, за растабары, и нечувствительным образом забудешься, и, хотя на время, уймется сердечная тоска.

Домоправители, приказчики оставленных в Москве господских домов, из нее бежавшие, жили, однако же, не очень вдалеке от нее. Другие, из усердия, чтобы спасти господское добро; не покидали ее и претерпевали все мучения и нужды, коим подвергнута была горсть оставшихся в ней жителей: некоторым из них удавалось разжалобить полковников и офицеров и под их защиту сберегать имущество, их хранению вверенное. Первые кинулись в Москву, коль скоро узнали только, что она очищена от неприятеля, те и другие, приведя в известность сколько чего погибло и что сохранилось, поспешили с нарочно-посланными отправить донесения свои к владельцам в места их пребывания. Один из сих посланных первый прискакал в Пензу к Кологривову, рано поутру, 22-го числа, в день Казанской Божией Матери.

Можно себе представить чувство радости и печали вместе при получении сопровождаемого подробностями привезенного им известия.

---

<sup>79</sup> П. Ю. Трубецкая-Гагарина-Кологривова (1762—1846) — женщина очень энергичная и влиятельная в правительственных кругах. В «Горе от ума» она выведена под именем Татьяны Юрьевны.

Небо явно споспешествовало нам: стихии сделались нашими союзниками, от проливного дождя, спасшего древний Кремль, до жестокого мороза, близ Смоленска истребившего большую, лучшую часть неприятельской армии, едва прошло три недели.

Все оживилось, все радостно зашумело у нас. В злобе, еще не совсем угасшей, никто из нас не подумал пожалеть о тысячах несчастных жертв, насильно против нас привлеченных, во всех них видели мы еще лютых зверей, в погоне за коими ни единого Кутузов не должен был пощадить.

Никто у нас не умел или, лучше сказать, не смел отважно и основательно писать о политических делах. Газеты, издаваемые от правительства или от правительственных мест, рассказывали о происшествиях, не позволяя себе никаких суждений: не только о друге Наполеоне, даже о злодее Бонапарте говорили с некоторою почтительностью и робостью. Самые так называемые литературные журналы наши почти не выходили из пределов словесности, а когда изредка случалось им коснуться до происходящего в Европе, тотчас окрашивались они каким-то официальным колоритом. В 1812 году два человека спаслись к нам от гонений мучителя Германии: знаменитый государственный муж барон Штейн и столь же известный профессор и писатель Арндт. Оба были политические вольнодумцы и прибегнули под крыло либерального деспота. Надобно полагать, что первый из них склонил Александра употребить магическое слово вольность; дабы все европейские народы воззвать к оружию против насильственной французской власти. Предложение не могло быть отвергнуто: оно тешило любимую мысль царя нашего, забаву ума его. Совет был недурен, и средство казалось верным, жаль только, что не подумано было о последствиях в случае победы, которая все еще казалась не совсем вероятною: возбуждать легко, унимать трудно. Как бы то ни было, ученые и восторженные немцы нашли, что наступило уже время откровенно говорить с просвещенною частию жителей и, чтобы взволновать до дна океан народов, населяющих Россию, необходимо приступить немедленно к изданию политического журнала. Дело уже и без того было сделано, и Шишковым дурно написанного манифеста в Полоцке было на то достаточно. Но где вдруг найдешь материалы? Портфели Арндта наполнены были неизданными проклятиями на Наполеона, а между немцами как не найти трудолюбивого переводчика? Немец Греч избран был издателем, и еженедельно стал появляться «Сын отечества». Кажется, это было около половины ноября; ибо в начале декабря уже читал я с жадностию жиденькие книжки его, исполненные выразительных, даже бешеных статей. Были люди, которые находили, что это после ужина горчица, только не те, которые пылали бескорыстною любовью к отечеству, дорожили его честью и надеялись видеть совершенное торжество его. Для справедливого негодования их журнал сей был пищей.

Судьба Наполеона, казалось, решена. Все только рассчитывали пространство, по коему оставалось ему бежать, и с нетерпеливым любопытством ожидали, как зрелища, решительную его гибель. Странно и непонятно! Без всякого знания местностей, еще прежде, чем достиг он Березины, народный глас уже избрал берега ее местом его казни. Молдавская армия в соединении с резервною, под предводительством Чичагова, шла с юга к нему навстречу; большая армия сначала шла по пятам его, но, утомленная непрерывною погоней за ним, начинала отставать; при первой же остановке его всегда могла его настигнуть. С правой стороны шибко приближался к нему Витгенштейн, победитель трех маршалов, Макдональда, Удино и Виктора, с корпусом, усиленным петербургским ополчением и войсками, из Финляндии введенными.

Ужасами переправы через знаменитую с тех пор Березину не могла быть удовлетворена в нас жажда мести: нам подавай самого Наполеона, а он ускользнул. И теперь еще не знаю, обвинять ли следует Чичагова или оправдывать его? Нельзя изобразить общего на него негодования: все состояния подозревали его в измене, снисходительнейшие кляли его неискусство, и Крылов написал басню о пирожнике, который берется шить сапоги, т. е. о моряке, начальствующем над сухопутным войском. От воинов, беспристрастных очевидцев и сведущих в этом деле судей, гораздо после слышал я, что Чичагов невзначай оказал тут великую услугу

России. Он не пошел туда, где мог бы остановить Наполеона; но кто знает: сей последний, в отчаянном положении, мог бы опрокинуть его небольшую армию и пойти в Минск, где, среди изобилия, находился Шварценберг с австрийскими и саксонскими войсками, сомнительными союзниками, но тогда еще обязанными подкрепить его. Узнав, где Чичагов стережет его, Наполеон предпочел кинуться на открытый, но ужасный путь к Вильне, который без сражений довершил истребление его армии.

Я того мнения, что гордый и злой Чичагов, ненавистник своего отечества, неумышленно, по ошибке в сем случае, услужил ему, подобно другим заклятым врагам его, которых PROVIDENCE угодно обращать в полезные для него орудия. Вражда за вражду; русские в несправедливости своей, по мнению моему, извинительнее Чичагова.

Из полков новонабранного Пензенского ополчения один только формировался и стоял на квартирах в губернском городе, другие размещены были в уездах. Двое из начальствовавших над ними полковников, люди через меру расчетливые, нашли, что о прокормлении ратников много заботиться нечего и что, при всеобщем усердии жителей, они без пищи их не оставят, а между тем исправно принимали и клали себе в карманы суммы, из нашего комитета отпускаемые, для продовольствия воинов. Название одного я, к счастью, позабыл; имени другого — не скрою.

Иван Дмитриевич Дмитриев был приглашен, упрощен оставить кавалергардский полк, в котором дослужился до полковничьего чина.

Оба полковника сии прежде всего принялись за полковую экономию. Пока средства не истощались у жителей, ни они, ни ратники роптать не смели. Но когда голод привел их в отчаяние, последние возмутились, из своей среды выбрали себе начальников, а офицеров перевязали и, вероятно, сделали бы то же с полковниками, если бы сии последние заблаговременно не успели спастись бегством.

Сие происходило в двух городах, Саранске и Чембаре, полтора верст один от другого отстоящих. Ни бесчинства, ни грабежа не было, воины требовали одной пищи и, понаевшись, сделались спокойнее и смирнее. Ужасу было много у нас в продолжение двух или трех дней. Но скоро подоспели другие ополченные, сам граф Толстой прискакал в Саранск, и мятеж утешен без кровопролития. Дело обошлось как нельзя лучше: виновных не нашлось, полковники с глазу на глаз названы мошенниками, а рядовым перед фронтом объявлено, что их хорошо будут кормить; но если впредь что-нибудь подобное они затеют, то десятый из них будет расстрелян; все же дело под шумок представлено выше действием неудачного подговора каких-то небывалых лазутчиков. В половине генваря бунтовавшие и уже покорные, равно как и разруганные, связанные и уже освобожденные, и начальствующие преспокойно отправились вместе в дальний поход по направлению к Киеву.

Около полудня, 18 июля 1814 г., увидел я издали Москву, и сердце опять забилося во мне любовью, которую другая не могла погасить. Золотая шапка Ивана Великого горела вся в солнечных лучах, как бы венец сей новой великомученицы.

Все было ясно, тихо, весело окрест Москвы многострадальной, недавно успокоенной и возвеличенной. Сама она в отдалении по-прежнему казалась громадною, и, только проехав Коломенскую заставу, мог я увидеть ужасные следы разрушения. Те части города, через кои я проезжал, кажется, Таганская и Рогожская, совершенно опустошены были огнем. Вымощенная улица имела вид большой дороги, деревянных домов не встречалось, и только кой-где начинали подыматься заборы. Далее стали показываться каменные двух- и трехэтажные обгорелые дома, сквозные как решето, без кровель и окон. Только приближаясь к Яузскому мосту и Воспитательному дому, увидел я наконец жилые дома, уцелевшие или вновь отделанные.

От Прасковьи Юрьевны Кологривовой имел я письмо к старшей дочери ее и зятю, Вяземским. От Петербурга до Пензы был я наслышан об очаровательности княгини Веры; о муже ее много я говорил в предыдущей части, а еще более слышал: общие приятели наши заочно всегда восхищались его остроумием. Не знаю, отчего не вдруг решился я к ним ехать, хотя ум в других я более любил, чем боялся его. Они жили в таком квартале, в котором ныне



едва ли сыщется порядочный человек. Сему месту, между Грузинами и Тверскими воротами, как-то дано было приятное название Тишина; ныне называется оно прежним подлым именем Живодерки. Тут находился длинный, деревянный, одноэтажный, несоревнившийся дом, принадлежавший г. Кологривову, вотчиму княгини, со множеством служб, с обширным садом, огородами и прочим, одним словом — господская усадьба среди столичного города.

Меня сначала смутила холодность, с какою, казалось мне, был я принят. Вяземский, с своими прекрасными свойствами, талантами и недостатками, есть лицо ни на какое другое не похожее, и потому необходимо изобразить его здесь особенно. Он был женат, был уже отцом, имел вид серьезный, даже угрюмый, и только что начинал брить бороду. Не трудно было угадать, что много мыслей роится в голове его; но с первого взгляда никто не мог подумать, что с малолетства сильные чувства тревожили его сердце: эта тайна открыта была одним женщинам. С ними только был он жив и любезен, как француз прежнего времени; с мужчинами — холоден, как англичанин; в кругу молодых друзей был он русский гуляка. Я не принадлежал к числу их и не имел прав на его приветливую искренность. Но с неподвижными чертами и взглядом, с голосом немного охриплым, сделал он мне несколько предложений, которые все клонились к тому, чтобы в краткое пребывание мое в опустевшей Москве доставить мне как можно более развлечений. Он поспешил записать меня в Английский клуб (куда, однако ж, я не поехал), пригласил меня на другой день к себе обедать и назначил мне в тот же вечер свидание на Тверском бульваре, лишенном почти половины своих деревьев, куда два раза в неделю остатки московской публики собирались слушать музыку, имея в виду целый ряд обгоревших домов.

Супруга его, Вера Федоровна, была также существо весьма необыкновенное. Я знал трех меньших сестер ее, милых, скромно-веселых; она не совсем походила на них. При неистощимой веселости ее нрава, никто не стал бы подозревать в ней глубокой чувствительности, а я менее, чем кто другой. Как другие любят выказывать ее, так она ее прятала перед светом, и только время могло открыть ее перед ним. Не было истинной скорби, которая бы не произвела не только ее сочувствия, но и желания облегчить ее. Ко всему человечеству вообще была она сострадательна, а немилосердна только к нашему полу. Какая женщина не хочет нравиться, и я готов прибавить, какой мужчина? В ней это желание было сильнее, чем в других. Пленники красоты суть ее подданные. В молодости женский пол любит царствовать таким образом и долго не соглашается отказаться от престола, воздвигнутого страстями. Иные дорого платят за успехи кратковременного своего владычества. Такого рода честолюбия вовсе не было в княгине Вяземской: все влюбленные казались ей смешны; страсти, ею производимые, в глазах ее были не что иное, как сочиненные ею комедии, которые перед ней разыгрывались и ее забавляли. Не служит ли это доказательством, что, при доброте ее сердца, то, что мы называем любовью, никогда не касалось его? Если бы она могла понять ее мучения, то содрогнулась бы. Самым прекраснейшим из женщин одной красоты недостаточно, чтобы увлекать в свои сети; необходимы некоторое притворство, тонкость, уловки, одним словом, вся стратегия кокетства. От них она тем отличалась, что никогда не прибегала к подобным средствам, употребляя, если можно сказать, простые, естественные чары. Никого не поощряя, она частыми насмешками более производила досаду в тех, коих умела привлекать к себе. Как между ископаемыми, в царстве животных нет ли также существ, одаренных магнитною силой? Не будучи красавицей, она гораздо более их нравилась; немного старше мужа и сестер, она всех их казалась моложе. Небольшой рост, маленький нос, огненный, пронзительный взгляд, невыразимое пером выражение лица и грациозная непринужденность движений долго молодили ее. Смелым обхождением она никак не походила на нынешних львиц; оно в ней казалось не наглостию, а остатком детской резвости. Чистый и громкий хохот ее в другой казался бы непристойным, а в ней восхищал; ибо она скрашивала и приправляла его умом, которым беспрестанно искрился разговор ее. Такие женщины иногда рождаются, чтобы населять сумасшедшие дома. В это время я сам годился бы туда; но, может быть, это и спасло меня. Я не мог прельститься умом, тогда как я пленялся простодушием, т. е. глупостию. Увы, и без меня сколько было безумцев, за-

кланных подобно баранам на жертвеннике супружеской верности тою, которая и мужа своего любила более всего, любила нежно, но не страстно!

У Вяземских увидел я в первый раз Катерину Андреевну Карамзину и был ей представлен. Она обошлась со мною так же, как и со всеми незнакомыми и даже со многими давно знакомыми, не весьма приветливо; это не помешало мне отдать справедливость ее наружности. Что мне сказать о ней? Если бы в голове язычника Фидиаса могла блеснуть христианская мысль и он захотел бы изваять Мадонну, то, конечно, дал бы ей черты Карамзиной в молодости. Одно имя, ею носимое, уже освещало ее в глазах моих: я любовался ею робко и подобострастно и хотя уже был зрелый и едва ли не перезрелый юноша, но, как паж Херубини о графе Альмавива, готов был сказать о ней: «*Qu'elle est belle, mais qu'elle est imposante!*» [Как она красива и как величественна!]. А душевный жар, скрытый под этою мраморною оболочкой, мог узнать я только позже. После обеда приехал сам Карамзин и разговаривал со мною; ему нельзя было узнать человека, которого, вероятно, едва заметил он мальчиком, а я не смел ему напомнить о себе в Марфине.

Тут за обедом находился один персонаж, с которым меня познакомили и который мне вовсе не понравился. Это был многоглаголивый генерал и камергер Алексей Михайлович Пушкин, остряк, вольтериянец, циник и безбожник. Он был гораздо просвещеннее современника своего Копиева; его ум был забавен, но не довольно высок, чтобы снять с него печать, наложенную обществами восемнадцатого века. Странно и довольно гадко было мне слушать обветшалые суждения и правила философизма, отчасти породившего революцию, в ту самую минуту, когда казалось, что она сокрушена была навсегда. Этот Пушкин был родственник кроткого, безобидного Василия Львовича [дяди поэта] и вечный его гонитель, мучитель.

Также прискорбно показалось мне, что в два или три посещения, сделанных мною Вяземским, не слышал я ни одного русского слова. В городе, который нашествие французов недавно обратило в пепел, все говорили языком их. Один только Карамзин говорил языком, можно сказать, им созданным. Стыдно, право, Вяземскому, который так славно писал на нем, так чудесно выражался на нем в разговорах, что не попытался ввести его в употребление в московском обществе, где имел он такой вес. Но он с малолетства, так же как и я с первой молодости, прельстился французскою литературой, а от пристрастия к творениям до любви к сочинениям недалеко. И мне ли упрекать его, когда с любезными ему французами он храбро сражался и в славной Бородинской битве готов был проливать кровь за отечество, тогда как я, в Пензе, об участии его проливал одни только слезы?

Одним из самоуважнейших лиц был тогда управляющий военным министерством, князь Алексей Иванович Горчаков, человек добрый, весьма простой, который, будучи племянником Суворова, почитал обязанностью подражать ему в странностях и только что передразнивал его. Хотя и жил он розно со своею женою, Варварой Юрьевной, урожденной княжной Долгоруковой, но, по ней будучи племянником Н. И. Салтыкова, на старика также имел большое влияние. Его канцелярия, свита, любимцы делали, что им было угодно, и, во всеобщем волнении видя мутную воду, ловили в ней что хотели. Все это вместе с П. С. Молчановым [фактотумом Салтыкова] составляло правительственную камариллу.

Сам князь Горчаков у себя гостей не принимал, а у сестры своей, графини Хвостовой. У нее начались балы, и дом ее, куда прежде люди хорошего тона не ездили, сделался одним из первых в Петербурге. Тяжело было бедному Димитрию Ивановичу Хвостову к авторским издержкам прибавить еще полубоярские, и это, говорят, весьма расстроило его состояние.

Весьма важную роль также играл в это время один частный человек, отставной статский советник Иван Антонович Пукалов. Он женился на побочной дочери какого-то богатого боярина, которому для нее был нужен чин, чтобы законным образом оставить ей свое наследство. Пукалов был слишком благоразумен, чтобы ревновать жену моложе его тридцатью годами. Он пользовался ее именем; она пользовалась совершенной свободой. Я знавал ее лично, эту всем известную Варвару Петровну, полненькую, кругленькую, беленькую бесстыдницу. Она

была типом русских Лаис, русских Фрин<sup>80</sup>. Из славянских жен одни только польки умеют быть увлекательны, прелестны, даже довольно пристойны и благородны среди студодеяний своих; русские в этом искусстве все как будто не за свое дело берутся.

Аракчеев, сначала сопровождавший государя, еще из Праги давно уже воротился. Он жил, казалось, совсем без дела и по-видимому ни во что не вмешивался. Но через происки свои заинтересованные в том лица дознались, что он ведет тайную частую переписку с императором, и оттого оказывали ему всевозможное почтение. На досуге завел он любовные связи с Пукаловой. С грубостью его чувств, утонченность ума не могла бы уловить его сердце; его расчетливости нравилась и самая дешевизна этой связи, ибо Пукалова из чести лишь одной предалась ему. Зато от других, от искателей фортуны, принимала она подарки, выпрашивала, даже требовала их. Она стала показываться на всех балах и изумлять своею наглостью. Все высокомошные стали ухаживать за нею и за мужем ее. А сей нечестивец, сей плут всех уверил, что через жену делает из Аракчеева что хочет. У Салтыкова, Горчакова, Молчанова почитался он домашним другом; да и многие другие, в надежде на его подпору, ни в чем ему отказывать не умели. Он прослыл источником всех благ и просящим, разумеется не даром, раздавал места. Между тем сам Аракчеев охотно принимал его, ласкал, все из него выведывал, все помечал и обо всем доносил. Любовь над сим твердым мужем не имела довольно силы, чтобы заставить его забыть свой долг.

Я возобновил в это время в Петербурге много старых знакомств и сделал несколько новых. После долгой разлуки первое свидание мое с Дмитрием Николаевичем Блудовым было одною из радостных минут моей жизни. В продолжение двух лет с половиною сколько перемен! Нужно ли говорить, что взаимные чувства наши не изменились? Любопытно мне было человека, которого оставил я беспечным юношей, найти мужем, отцом и хозяином дома. Желания его совершились: весной 1812 года вступил он в брак с княжною Щербатовой. Военные происшествия омрачили первые месяцы его супружества, и вскоре потом, когда собирался он к новому месту назначения, советника посольства в Стокгольме, должен был похоронить он тещу. Он оставил эту должность и приехал в Петербург, незадолго до возвращения моего в сию столицу.

Находясь в Стокгольме, он имел случай близко узнать славного воина Бернадота, мудрого и дальновидного человека, который, несмотря на все быстрые перемены обстоятельств, умел твердо удержаться на ступенях шведского престола и на нем самом. Потом был он в коротких сношениях с ученым и достопочтенным библиофилом, графом Сухтеленем, о котором много говорил я в первой части сих Записок и который находился тогда при этом дворе в качестве не посланника, а чего-то более. Тут познакомился он и сблизился с знаменитою Сталь, которая, бегая от Наполеона из государства в государство, целую зиму провела в Швеции. Чужой ум пристаёт только к тем, кои сами им избилуют; им только одним идет он впрок. Обмен мыслей есть обширная торговля, в которой непременно надобно быть капиталистом, чтобы сделаться миллионером, и в этом смысле я нашел, что Блудов еще более разбогател. Он часто удивлял меня своим умом, а после возвращения его из Швеции и моего — из Пензы начинал он ужасать меня им.

Как приятно мне было видеть его счастливым в домашней жизни! Более по слуху уже изобразил я Анну Андреевну; лично узнав ее, не могу здесь умолчать о ее почтенных и любезных свойствах. Природа одарила ее чувствами самыми нежными и кроткими: я не знавал женщины более способной любить ближних, любить не пылко, но искренно и постоянно. Около нее была атмосфера добра и благосклонности; разумеется, что те, кои были ближе к ней, муж, дети и родственники, более других испытывали усладительное действие оной; но и друзья и знакомые их, вступая в этот благорастворенный круг, подчинялись его приятному влиянию.

Если сначала я несколько завидовал Блудову как супругу, то отнюдь не как отцу. На руках терпеливой шведской дады (кормилицы) было маленькое создание, в котором уже можно

---

<sup>80</sup> Варвара Петровна Пукалова (род. 1784), дочь бригадира П. С. Мордвинова, вышла замуж в 1803 г. за синодального обер-прокурора И. А. Пукалова. «Не изумляла» современников умом и образованием, «но изумляла» наглостью, так как, вступив в связь с Аракчеевым, почти открыто торговала чинами и орденами, все с ведома и при помощи мужа.

было угадывать ум, затейливость по прихотям, кои возрастали по мере беспрестанного удовлетворения их. Отец в полном смысле боготворил дочь свою, а мне девочка казалась несносною<sup>81</sup>. Мог ли я думать тогда, что придет время, в которое высокие чувства души, любезность ее, доброта и успехи в свете будут радовать меня как родного и, повторяя слова Пушкина, я буду гордиться ею, как старая няня своею барышней?

В числе новых знакомств не надлежало бы упоминать мне о мимоходных, о тех, кои по себе не оставили никаких следов.

Но когда это весьма замечательные лица, то как не поместить их здесь? Не знаю почему Четвертинскому так полюбилась Пенза, что покамест он все еще оставался в ней. Когда я начал собираться в дорогу, желая мне много добра, сказал он мне, что знакомство с его сестрой может быть мне полезно и по службе. Вместе с тем признался, что дружба их до того охолодела, что они более не переписываются, и предложил мне только письмо к зятю своему, Димитрию Львовичу Нарышкину, который и введет меня в гостиную, а может быть, и в кабинет жены своей.

Марья Антоновна жила тогда (и кажется, в последний раз) на даче своей у Крестовского перевоза. Хотя дом был довольно просторен и красив и перед ним расстился к реке прекрасный цветник, но это никак не походило на замок какой-нибудь Дианы де Пуатье [любовницы Генриха II]. Соображаясь с простотою вкусов императора, который в первые годы своего царствования всем загородным дворцам своим предпочитал Каменоостровский, она по близости его купила сию дачу у наследников Петра Ивановича Мелиссино, который, истратив большие суммы на осушение и возвышение сего небольшого уголка, дал ему название «Ma Folie» [Моя прихоть]. Отделенное Карповкой от других дач Аптекарского острова, сие место представляло ей удобство соседства и уединения для принятия тайных посещений царя.

Одичав в провинции, я не тотчас по приезде решился взять письмо к Нарышкину. Хорошим приемом он ободрил меня. Он принадлежал к небольшому остатку придворных вельмож прежнего времени, со всеми был непринужденно учтив, благороден сердцем и манерами, но так же, как почти все они, сластолюбив, роскошен, расточителен, при уме и характере не весьма твердом.

Попросив меня немного подождать, через несколько комнат пошел он сам доложить обо мне и вскоре потом через них проводил меня в храм красоты. Она была одна, приняла меня стоя, не посадила, а только по польскому или не знаю какому другому обычаю протянула мне руку, которую поцеловал я. Наружный жар был умеряем спущенными маркизами и прохладительным ветерком; среди благовония цветов и тысячи великолепных безделок, которые начинали тогда входить в моду, смотреть на совершенную красавицу было бы весьма приятно; но я в ней видел полужрицу и немного смешался, только не надолго. Она была женщина добрая и неспесивая, расспрашивала меня о брате, о его семействе и житье и, наконец, пригласила меня, и довольно настоятельно, обедать у нее по воскресным дням, когда бывает у нее много гостей и перед окнами играет музыка, в виду гуляющих на Крестовском острове.

В первое воскресенье воспользовался я сделанным мне приглашением. Общество было отборное, с хозяйкой свободно-почтительное. Она обошлась со мной весьма ласково и рекомендовала меня сестре своей, княжне Жанетте Четвертинской, и поляку Вышковскому, который, как после узнал я, был ее суженый. Наружность сей последней мне показалась бы неприятною, если б она была со мною и повнимательнее; из нескольких слов поляка, довольно пожилого и незначащего, не менее того весьма надменного, мог я заметить, что он великий руссонеазиатик. И вот кто должен был заменить ей цесаревича! Две воспитанницы или собеседницы, право, не знаю, одна дородная, свежая и пригожая полька Студилловская, другая молоденькая, тоненькая, хорошенькая англичаночка, которую звали просто Салли, подошли

---

<sup>81</sup> Дочь Блудова — Антонина — известная при Николае I и Александре II деятельница по насаждению официального православия в польских губерниях, особенно в Холмщине, большая приятельница наших писателей-славянофилов. В своих воспоминаниях А. Д. Блудова, перечисляя посетителей ее отца в годы ее детства, пишет о Вигеле: «Вот и черные как смоль, раскаленные как угли глаза Вигеля, которого раздражительность и негодование на меня в моем детстве я узнала только по его запискам».

ко мне сами знакомиться, были отменно любезны и сказали мне, что, во внимание к приязни моей с братом, которого Марья Антоновна никогда не переставала любить, желает она, чтобы я сделался у нее домашним. Братья Нарышкины были известные гастрономы: стол и вина были чудесные.

Все это мне очень полюбилось, и в следующее воскресенье явился я опять к обеду, хотя и знал уже, что на покровительство г-жи Нарышкиной надеяться мне нечего. Нам с братом ее в Пензе еще не было известно, что царственная связь, увы! уже совершенно разорвана. Это нимало не помешало бы мне повторять мои посещения; но наступил сентябрь, Нарышкины переехали в город, и в том же месяце Марья Антоновна надолго отправилась в чужие края. Мне больно было бы сказать здесь, какую нашел я ее, когда, после десятилетий, встретясь с ней за границей, возобновил я знакомство с нею и часто виделся.

Перед отъездом моим из Пензы часто начал посещать меня плут Магиер, который перессорился с пленными наполеоновскими французами. Он старался уверить меня, что втайне никогда не переставал быть предан законным государям своим, Бурбонам, и прочитал письмо или просьбу к герцогу Ангулемскому, в котором, объясняя, что отец его (не упоминая, в какой должности) служил графу д'Артуа, отцу герцога, он, наследник верности, желает посвятить жизнь свою его высочеству. Когда совсем собрался я в путь, вручил он мне другое письмо, к Екатерине Федоровне Муравьевой, желая, чтобы я отдал его лично, присоединив мои просьбы к его молениям о помощи, дабы мог он освободиться от ссылки и возвратиться в отечество. Я рад бы был избавить Россию от всех иностранных негодяев и дал ему слово исполнить его требование.

Даму, к которой адресовал он меня, я лично не знал. Она слыла добродушною и добродетельною, т. е. строгой нравственности в отношении к супружескому долгу. Последнее было справедливо и, я думаю, не весьма трудно, ибо она была дурна как смертельный грех и с богатым приданым лет тридцати едва могла найти жениха. Я немного совестился быть ходатаем за мошенника и старался разжалобить ее; к изумлению моему, она горячо принялась за это дело, и участие мое в нем послужило мне лучшею у нее рекомендацией. Она оказала мне много благосклонности и просила почитать себя у нее как дома.

Муж ее, Михаил Никитич, был примером всех добродетелей и после Карамзина, в прозе, лучшим у нас писателем своего времени. Он вместе с Лагарпом находился при воспитании императора Александра, платил дань своему веку и мечтал о народной свободе, пока она была еще прекрасною мечтою, а не ужасною истиной; кроткую душу его возмущало слово тиранство. Свои правила передал он жене, и они сделались наследием его семейства. Но втайне она была исполнена гордости и тщеславия, а только по наружности заимствовала у мужа вид смирения. По мнению ее, он не был достойным образом награжден по воцарении воспитанника своего за попечения его об нем.

Он не один пользовался его доверенностию и был только товарищем министра народного просвещения; при первом случае, верно, был бы он и министром, но смерть рано его похитила, и государь забыл о вдове его, которую, впрочем, и не знал. Неудовольствие на правительство часто обращается в постоянную оппозицию и принимает вид свободомыслия.

Сия малорослая женщина, худая как сухарь, вечно судорожно-тревожная, от природы умная и образованная мужем, в гостиных умела быть тиха, воздерживаться от гнева и всех дарить улыбками. Горе только тем, кои находились в прямой от нее зависимости: она была их мучительницей, их губительницей. Но, подобно самкам всех лютых животных, чувство материнской нежности превосходило в ней все, что вообразить можно.

У нее было два сына, которые оба походили на отца душой и сердцем, а старший даже и умом. Меньшой, малолетний, находился при ней; старшего, Никиту, офицера генерального штаба, ожидала она с нетерпением из армии. Все радости, все надежды ее сосредоточивались на нем, и он был действительно того достоин. К несчастью, поручила она образование его сорванцу, якобинцу Магиеру. Идеями, согласными с ее образом мыслей, вкрался он в ее доверенность и заразил ими воображение отрока, но не мог испортить его сердца. Не могла того сделать и мать, вливая в него желчь свою и раздражая его против верховной власти.

Я сказал, что она была богата; тогда пользовалась она только частию следуемого ей имущества. У нее жив был еще отец, осьмидесятилетний скупой старец, сенатор Федор Михайлович Колокольцов, барон поневоле<sup>82</sup>. Долго, очень долго голос опытного, умного и злого старика увлекал в сенате невнимательных или несведущих сочленов. Он уже слабел и вскоре потом умолк. Тогда дом разбогатевшей его дочери сделался одним из роскошнейших и приятнейших в столице. Встречая в нем почти всех моих знакомых, сделался я частым его посетителем. Что я после в нем увидел, увидят и читатели, если Записки сии не прекратятся.

В домах Блудова и Муравьевой познакомился я с двумя молодыми людьми, коих приятностию и благорасположением имею право гордиться. Я только что назвал Дмитрия Васильевича Дашкова, когда он приехал с Дмитриевым служить в Петербурге; несколько раз видел я его, кажется, даже и разговаривал с ним, но вообще он не спешил знакомиться. Он был в лучших годах жизни, высок ростом, имел черты правильные и красивые, вид мужественный и скромный вместе. В обществе казался он даже несколько угрюм, смотрел задумчиво и рассеянно и редко кому улыбался; зато улыбка его была приятна, как от скупого дорогой подарок; только в приятельском кругу скупой делался расточителен. Незнакомые почитали Дашкова холодным и мрачным: он весь был любовь и чувство, был чрезвычайно вспыльчив и нетерпелив, но необычайная сила рассудка, коим одарила его природа, останавливала его в пределах умеренности. Эта вечная борьба с самим собою, в которой почти всегда оставался он победителем, проявлялась и в речах его, затрудняла его выговор: он заикался. Когда же касался важного предмета, то говорил плавно, чисто, безостановочно; та же чистота была в душе его, в слогe и даже в почерке пера.

Он принадлежал к древнему дворянскому роду, но не был богат. Когда был он еще мальчиком, Дмитриев заметил его литературные способности и поощрял их. Он служил в иностранной коллегии, когда Дмитриева сделали министром юстиции; привлеченный им, он перешел на другую стезю. На трех дорогах, по которым в самой первой молодости повела его судьба, умел он отличиться. Упражняясь пристально в делах судебных, в минуты отдохновения продолжал он предаваться любимым юношеским занятиям своим. Маленькая брошюра под названием «О легчайшем способе отвечать на критики» была праща, с которою сей новый Давид вступил в борьбу с тогдашним Голиафом, Шишковым. Я счел не излишним означить здесь первые начала прекрасной полезной жизни, которой конец осужден я был оплакать. Я знавал людей, которые имели несчастье ненавидеть Дашкова; презирать его никто не смел и не умел.

Двоюродный племянник покойного Муравьева, Константин Николаевич Батюшков, в доме его вдовы был принят как сын родной. Под руководством благодетельного дяди, с малолетства посвятил он себя поэзии. Но лишь только прошел первый слух о дальней опасности, грозящей отечеству, бросил он лиру и схватил меч. Он вступил в петербургскую милицию и с нею, будучи почти мальчиком, сражался в 1807 году и был ранен. Из военной службы его не выпустили и перевели офицером в гвардейский егерский полк; тут опять пошел он в поход против шведов, опять дрался и опять был ранен. Сложения был он не крепкого, здоровье и нервы его после того расстроились; он должен был оставить службу. Когда силы возвратились к нему, в 1813 году поспешил он к знаменам отчизны и под ними вступил в Париж. Потом опять принялся он петь стихи свои; я говорю петь, ибо они — музыка. В них и в его гармонической прозе видна вся душа его, чистая, благородная, то детски веселая, то нежно унылая. В такие лета, когда рассудок еще не образовался, врожденный вкус уже указал ему на недостатки многих бездарных наших писателей, и когда другие безотчетно поклонялись им, он в забавных стихах: «Видение на берегах Леты» — позволил себе их осмеять. Ими почти никого не раздражал он; не то если бы нам, грешным! И вот привилегия добродушия: его насмешки получают всегда просто название шуток.

<sup>82</sup> Надеясь на кредит зятя, в коронацию Александра Колокольцов изъявил желание получить графское достоинство. Государь, улыбаясь, пожаловал его бароном, и раздосадованный Колокольцов даже в официальных бумагах никогда не хотел употреблять сего титула. — *Авт.*

Он давно уже был завербован в Оленинское общество, о коем говорил я в предыдущей части. Во время долгого отсутствия моего из Петербурга, согласие в образе мыслей сблизило его сперва с Тургеневым, потом с Дашковым и Блудовым. Составилась приятная, беспризорная холостая компания, и вечерние беседы наши оживлял Батюшков веселым, незловобытым остроумием своим. Мы недавно были знакомы, а его уже беспокоило затруднительное положение мое, и он помышлял о средствах меня из него вывести.

После смерти графа Строганова Оленин был назначен президентом Академии художеств и директором Императорской публичной библиотеки. Она помещена была в прекрасном закругленном здании, построенном при Екатерине на углу Невского проспекта и Садовой улицы, и на две трети составлена была из завоеванной в Варшаве библиотеки графа Залуцкого. С приобретенными прежде и вновь приобретаемыми творениями число книг было довольно значительно, но все они, неразобранные, лежали горами. Заботливый Оленин составил новое положение и новый штат для заведения сего, и они были утверждены в начале 1812 года; после того книги кое-как приведены в некоторый порядок. Тут нужны были ученые, а новые места, разделенные на библиотекарей и их помощников, Оленин роздал поэтам и приближенным своим. В числе первых прежде его находился один человек, который бы мог быть весьма полезен, брат генерала графа Сухтелена, Руф Корнилович, с которым путешествовал я по Сибири. Но он устарел, без брата жить не мог и, получив отпуск, отправился к нему в Стокгольм; оттуда прислал он просьбу об отставке. Его-то место втайне прочил мне Батюшков и для того желал познакомить меня с домом Олениных. Сим местом могли быть удовлетворены скромные желанья мои: хорошая квартира с дровами, полторы тысячи рублей ассигнациями жалованья и занятия по вкусу, вот что, по тогдашнему мнению моему, казалось достаточным на целую жизнь.

Хотя по известности Батюшкова его чрезвычайно и приголубивали у Олениных, но он на одного себя не понадеялся, зная, что есть существо, которое мало-помалу овладело всем этим домом. Раз, прогуливаясь со мною вместе, как будто не нарочно завел он меня к другу своему, Гнедичу. Кривому Пилладу было мало одного Ореста Крылова; тот никогда не отпирался от его дружбы, но никогда и не сознавался в ней; легче было приобрести ее у пылкого Батюшкова. Тесная связь между ними сплетена была как из хитрости украинца, так и из добросердечия и доверчивости русского. Предупредив Гнедича о своих и моих намерениях, он, как будто нечаянно, вспомнил о том, дабы у первого посещения отнять вид презентации и просительности. Приемом остался я доволен; в нем было даже нечто приятное. Через несколько дней Гнедич сам зашел навестить меня и объявить, что дело можно почитать, как говорится, в шляпе; что оно могло бы тотчас быть окончено, но что Сухтелен при отставке требует полный пенсioen и чин статского советника, чего нельзя сделать без государя, а он, кроме самоважнейших бумаг, не велел ничего присылать к себе в Вену, но, вероятно, скоро возвратится. Он сказал мне, что Оленин сам очень желает познакомиться со мной, но что чрезвычайно озабочен по новой должности, на него возложенной, и свободные минуты посвящает семейству своему, живущему до зимы на даче его, Приютине, в двадцати верстах от Петербурга. И действительно, контраст между Сперанским, столь примечательным по необыкновенному уму своему и познаниям, и преемником его Шишковым, который вне славянской лингвистики ничего не смыслил, был слишком разителен, чтобы сей последний мог долго оставаться на его месте государственным секретарем. Он уволен, и исправление этой должности поручено было Оленину.

Живши посреди друзей русской литературы, я неприметным образом с нею ознакомился и стал более заниматься ею. Все что ни затевал я в жизни, приходило мне в голову внезапно, неожиданно; раз поутру сказал я сам себе: дай попробую, и принялся писать, что бы вы думали? исторический словарь великих мужей в России. Этот труд уж сам по себе мне был не под силу; но был еще другой, гораздо важнее, отрывать источники, копаться в них; сей последний испугал меня, отнял у меня всю бодрость. А покамест написал я несколько статей и имел бесстыдство показать их Блудову. Его неистощимая снисходительность ко мне ослепила ли

его, или он нашел, что для неопытного действительно недурно, и надеялся, что со временем могу набить я руку, только похвалил меня. Похвала из уст такого строгого судьи в литературе чрезвычайно возбуждательна и... и, как говорится, пошла писать! Судя по связям моим, хотя написал я немного строк и ни одной не напечатал, безграмотные начали подозревать меня в авторстве, и сие дало мне новое право на звание библиотекаря.

Наконец, в ноябре Алексей Николаевич и Елисавета Марковна Оленины возвратились из Приютина и открыли дом свой.

Я вступил в него твердою ногой, упираясь на трех поэтов, на прежнего наставника моего Крылова, на Гнедича и на Батюшкова. Подобного дома трудно было бы сыскать тогда в Петербурге, ныне невозможно, и я думаю услужить потомству, изобразив его. Начнем с хозяина. Принадлежа по матери к русской знати, будучи родным племянником князя Григория Семеновича Волконского, Оленин получил аристократическое воспитание, выучен был иностранным языкам, посылаем был за границу. Древность дворянского рода его и состояние весьма достаточное не дозволили бы, однако же, ему, подобно знатым, ожидать в праздности наград и отличий, подобно им быть знакомому с одною роскошью и любезностью гостиных. Вероятно, он это почувствовал, а может быть, по врожденной склонности стал прилежать к наукам, приучать себя к трудам; он прослужил целый век и приобрел много познаний, правда, весьма поверхностных, но которые в его время и в его кругу заставили видеть в нем ученого и делового человека. Его чрезмерно сокращенная особа была отменно мила; в маленьком живчике можно было найти тонкий ум, веселый нрав и доброе сердце. Он не имел пороков, а несколько слабостей, светом извиняемых и даже разделяемых. Например, никогда не изменяя чести, был он, как все служащие в Петербурге быть должны, искателен в сильных при дворе и чрезвычайно уступчив в сношениях с ними. Также, по пословице, всегда гонялся он за всеми зайцами вдруг; но, не по пословице, настигал их: у которого оторвет лоскут уха, у которого клочок шерсти, и сими трофеями любил он украшать не только кабинет свой, а отчасти и гостиную. Он имел притязания на звание литератора, артиста, археолога; даже те люди, кои видели неосновательность сих претензий, любя его, всегда готовы были признавать их правами. Сам Александр шутя прозвал его Tausendkünstler, тысячеискусником.

Его подруга, исключая роста, была во многом с ним схожа. Эта умная женщина исполнена была доброжелательства ко всем; но в изъявлении его некоторая преувеличенность заставляла иных весьма несправедливо сомневаться в его искренности. Она была дочь известного при Елисавете и потом долго при Екатерине Марка Федоровича Полторацкого, основателя придворной капеллы певчих и чрезвычайно многочисленного потомства. Характер имеет так же свою особую физиономию, как и лицо, и единообразие ее выпечатано было на всех детях его обоего пола; все они склонны были, смотря по уму каждого, к приятному или скучному балагурству; об одном из них, Константине, где-то вскользь я упомянул. Склонность, о которой сейчас говорил я, и любовь к общежитию побеждали в Елисавете Марковне самые телесные страдания, коим так часто была она подвержена. Часто, лежа на широком диване, окруженная посетителями, видимо мучась, умела она улыбаться гостям. Я находил, что тут и мужская твердость воли, и ангельское терпение, которое дается одним только женщинам. Ей хотелось, чтобы все у нее были веселы и довольны, и желание беспрестанно выполнялось. Нигде нельзя было встретить столько свободы удовольствия и пристойности вместе, в одном семействе — такого доброго согласия, такой взаимной нежности, ни в каких хозяйствах — столь образованной приветливости. Всего примечательнее было искусное сочетание всех приятностей европейской жизни с простотой, с обычаями русской старины. Гувернантки и наставники, французы, англичанки и дальние родственницы, проживающие барышни, несколько подчиненных, обратившихся в домочадцев, наполняли дом сей как Ноев ковчег, составляли в нем разнородное, не менее того весьма согласное общество и давали ему вид трогательной патриархальности. Я уверен, что Крылов более всех умел окрасить его в русский цвет. Заметно было, как приятно было умному и уже несколько пожилому тогда холостяку давать себя откармливать в нем и баловать. Посещаемый знатно и лучшим обществом пе-



тербургским дом сей был уважаем; по-моему, он мог назваться образцовым, хотя имел и мало подражателей. В последние годы существования старых супругов, когда Россия так и въелась в европеизм, он сделался анахронизмом. Мир праху вашему, чета неоцененная! Оставайтесь неразлучны в другом мире, как связаны были в этом! Я иногда тоскую по вас. Простите мне, если беспристрастие и правдолюбие мое вынудили меня коснуться некоторых несовершенств, нераздельных с человеческою слабостию. Тени, наведенные мною на светлую картину жизни вашей, я думаю, еще более выказывают все красоты ее.

У Анны Андреевны Блудовой была меньшая единственная сестра, фрейлина, княжна Марья Андреевна Щербатова. Она по зимам жила вместе с нею, а лето и осень проводила в Павловском и в Гатчине у императрицы Марии Феодоровны, которой особенною милостию она пользовалась. Дабы понять нижеписанное, надобно знать, что она была нрава веселого, но совсем не живого; столько флегма ни в ком не случалось мне находить. Один вечер (это было 6 марта) провели мы очень весело у старшей сестры ее. Она довольно поздно воротилась из дворца от императрицы; входя, очень равнодушно она сказала нам: «Слышали ли вы, что Наполеон бежал с острова Эльбы?» Мы с изумлением посмотрели друг на друга. «Успокойтесь, — продолжала она, — не знали, куда он девался и были в тревоге; но получили хорошее известие: он вышел на берег неподалеку от Фрежюса». — «Ну, правда, — невольно усмехаясь, сказал Блудов, — добрые вести привезли вы нам!» Мы подивились, потолковали и разъехались.

В следующие дни все бросились нарасхват читать газеты и ничего не находили в них ободрительного. Вечная война в лице Наполеона быстрыми шагами шла к Парижу. Возвратившиеся из России многочисленные старые солдаты его поступили опять в полки, и новое правительство имело неосторожность послать их к нему навстречу. С хвастливым красноречием, приспособленным к их понятиям и сильно действующим на французское тщеславие, были написаны объявления его. От башни до башни, — говорил он, — полетят его орлы до Парижского собора. И он сдержал слово. В тот самый день, в который могли бы мы праздновать взятие Парижа, 19 марта, вечером у Оленина я узнал, что он вступил в него и что Бурбоны бежали.

Важное это происшествие потревожило и Россию; однако же в изъявлениях беспокойства ее жителей видно было более досады, чем страха. В одной только Москве, говорят, приостановились было с новыми постройками, но недолго: дело весьма естественное, она более других была настрашена, а пуганая ворона, по пословице, и куста боится.

Предшествовавшей зимой познакомился я вновь с Прасковьей Ивановной и Петром Васильевичем Мятлевыми. Родители, единственный брат и обе сестры Прасковьи Ивановны [дочь князя И. Н. Салтыкова] один за другим отошли в вечность, и все салтыковское имение досталось ей по наследству. Сделать дом свой почтенным и веселым вместе никто лучше ее не умел. Страсть ее к домашним театральным представлениям не уменьшилась летами, и в одной из длинных зал салтыковского дома, на большой набережной, воздвигла она сцену, на которой в эту зиму несколько раз играли французские пьесы. Я учтиво отклонился от участия в сих представлениях, но не мог отказаться от другого, несколько на то похожего. У покойной фельдмаршалши Салтыковой была двоюродная сестра, Наталья Михайловна Строганова, которую Мятлева уважала как родную тетку; и кто же не уважал эту святую женщину, пример всех христианских добродетелей? Надобно точно думать, что небо испытует своих избранных, насылая им смертельные горести. Оставшись в молодости вдовой, имела она одного только сына, барона Александра Сергеевича, коего нежностью была она счастлива, коего жизнью она дышала. Он был весьма неглуп и добр, и мил и умел хорошо воспользоваться данным ему аристократическим тогдашним воспитанием; вместе с тем был он весьма деликатного сложения, чрезвычайно женоподобен и оттого в обществе получил прозвание барончика. Это еще идет к первой молодости, но когда он достиг тридцати лет и был гофмейстером при дворе, то иным казался несколько смешон. Грозная судьба, вскоре его постигшая, заставила умолкнуть смеющихся. Год от году стал он более страдать и сохнуть; сперва лишился употребления рук,

потом ног, наконец, и зрения и в сем ужасном положении прожил несколько лет. Все родные, по возможности, старались облегчать ему тягость такого существования. Когда наступил пост и даже дома нельзя было играть на театре, госпожа Мятлева изобрела для него нового рода спектакль; зрелищем еще менее назвать можно то, что придумано было для слепого. Вокруг большого стола садились родные и знакомые, имея каждый перед собою по экземпляру трагедии или комедии, которую в тот вечер читать собирались; всякий старался голосу своему дать то выражение, которое требовала его роля; бедного слепца это забавляло: он мог почитать себя в театре. Я знал тогда хорошо одну только старую французскую классическую литературу, особенно драматическую ее часть, и любил о том потолковать: это побудило Мятлевых предложить мне доброе дело, быть в числе сих чтецов-актеров, и, получив мое согласие, они поспешили предупредить Строгановых о моем посещении.

Сострадание к безнадежному состоянию хозяина приязненно расположило меня к нему. Он был лет сорока пяти от роду, но весь седой и казался семидесяти; странно было в старце находить речи и манеры молодой придворной женщины. Он много путешествовал, все помнил, и я находил разговор его и приятным и занимательным. Тогда светские люди старались быть лишь вежливы, любезны, остроумны, не думали изумлять глубокомыслием, которое и в малолюдных собраниях не совсем было терпимо. С запасом дерзости и отвлеченностей (абстракций, как говорят нынешние писатели), с которыми ныне в обществах являются и проповедуют часто невежды и глупцы, тогда нельзя было показываться. Строганов находил, что у меня голос привлекательный, с удовольствием слушал меня, и эта маленькая лесть, а может быть, искренняя похвала понравилась мне. Мы друг друга очень полюбили.

Сие семейство, из двух лиц состоящее, переехало также на Крестовский остров в небольшой павильон, построенный самим причудливым князем Александром Михайловичем Белосельским, братом Натальи Михайловны, которого тогда уже на свете не было. Это малое здание находилось и теперь находится на самом гулянье, по берегу реки, и следственно, саженьях во ста от нашего жительства. Соседство людей, хорошо расположенных друг к другу, еще более сближает в чувствах. Не знаю, как узнали они, мать и сын, что я, лишившись Блудова, лишился и дневного пропитания, и вследствие того предложили мне не только всякий день обедать у них, но когда почувствую лень или болезнь, то присылать к ним на кухню требовать что мне угодно. Сим последним предложением, весьма заманчивым, мне ни разу не случилось воспользоваться.

Летом петербургская знать рассыпается по окрестностям столицы. Многие, однако же, вблизи живущие, посещали этот дом; чаще всех невестка баронессы Строгановой, вдова Белосельского, княгиня Анна Григорьевна. Спасивое родство видело в этом союзе неровный брак, мезаллианс, ибо на русском языке для того слова еще не существует. А между тем предки отца ее, любимого статс-секретаря Екатерины, умнейшего и просвещеннейшего человека своего времени, Козицкие, русско-украинского происхождения, долго известны были на Волыни своими богатыми владениями, и одна из них, яже во святых Парасковия, была основательницею Почаевского монастыря. Но зато мать ее, тоже преумнейшая женщина, имела несчастье наследовать миллион дяди своего, купца Твердышева. Богатство родителей с меньшою сестрой разделила Белосельская пополам; но весь ум их ей одной<sup>83</sup> уступила она. Встречая меня часто, она не лично меня пригласила, а поручила баронессе объявить мне, что в назначенные дни, раз в неделю, могу я обедать у нее в замке. Такого рода приглашение столь же мало полюбилось мне, как и особа ее. Никакой пользы не видел я тогда в этом знакомстве; она казалась мне так скучна, так чванно пришепetyвала, что я было отказался; но почтенная старуха сказала мне, что ей сделаю я тем удовольствие. И как вассал у сюзеренши своей, и то не иначе как вместе с Строгановыми, раза два обедал я у этой владетельной княгини.

До конца августа, всего только недель шесть, оставался я один на Крестовском.

Осень разлучила меня с моими обедодавцами; и не одна осень, а с иными и смерть. Накануне переезда моего в город обедал я у Белосельской; в последний раз, сидя за столом, Строганов смеялся, был весел; к вечеру кресла его поставили на носилки, и слуги понесли его домой; один из них поскользнулся и упал. От этого падения расшибся и бедный слепец: потрясение его полуразрушенного состава было слишком сильно, чтоб он мог его перенести; через две недели прекратились его земные страдания; уповаю, что незлобие его души и молитвы матери спасли его и от вечных. Наследник его, двоюродный брат, Григорий Александрович Строганов, предоставил его матери пожизненное владение имением его; она недолго пользовалась сим благородным поступком племянника. Зимой раза три я посетил ее и увидел, какую твердость может дать вера; печаль ее была тиха и спокойна, и даже в глазах ее можно было прочесть надежду на скорое свидание; она не обманула ее, ибо не более четырех месяцев прожила она без сына. К Белосельской я с тех пор ногой не ступал; она меня не узнавала, и при встречах с нею я не находил надобности кланяться ей.

Едва успели мы узнать в Петербурге о выступлении Наполеона в поход, как получили известие о решительном, окончательном его поражении. В один июньский вечер приехал к Строгановым посланник маленького восстановленного Сардинского королевства, граф Иосиф Местр, еще более папист, чем легитимист, равносильно ненавидящий и безбожников французов и схизматиков русских. Об нем говорю я уже не в первый раз. Он вошел с видом вдохновенным, пророческим; помолчал с минуту и вперив взор свой в потолок, возвестил он обществу, что демон пал, ниспровергнут, истреблен и что два еретика, Веллингтон и Блюхер, были исполнителями неисповедимой небесной воли. Некоторые подробности, не совсем точные, не совсем ясные, уверили нас, однако же, в истине им объявляемого. Несколько дней прошло, и миру прогремевшее имя Ватерлоо достигло и до слуха нашего. Оно заглушило названия Маренго, Аустерлица, Бородина и Лейпцига; они мало-помалу слабеют в памяти человеческой, когда оно после тридцати лет все еще раздастся по вселенной. Если я позволил себе двенадцатый год сравнить с Троянскою войною, то, конечно, его можно уподобить Фарзале, и если не Гомер, то какой-нибудь Лукан воспевает его. Увы! Русские не участвовали в сем великом деле: они из глубины своей едва успели только к концу вторичного завоевания Франции.

В это гремучее время поэзия у нас не умолкала: ее голос иногда громко раздавался, и воины, равно как и граждане, с восторгом внимали ему. Жуковский, Вяземский, Батюшков, Шаховской и многие другие литераторы и стихотворцы вступили в дружины и ополчились на врагов отечества. Но только первый из них, певец во стане русских воинов, как они называли его, и как сам он назвал прекрасное стихотворение свое, был счастливо вдохновен ужасным и новым для него зрелищем.

Все журналы гласили только о военных или политических происшествиях. На сцене ничего не показывалось нового, кроме небольших патриотических пиес, приносивших к настоящим обстоятельствам. Из-под пера славного баснописца нашего, Крылова, выходили басни, также к сему предмету относящиеся. В одной из них ворона попадает к французам в суп, в другой ловчий Кутузов говорит волку Наполеону: «ты сер, а я, брат, сед, и волчью вашу я натуру знаю».

Когда же, после взятия Парижа, Александр возвратился в Петербург, тогда вся восхищенная им толпа поэтов в честь и хвалу его возвысила свои искренние, не купленные голоса. Послание свое к нему Жуковский начинал сими словами:

Когда летящие отвсюду шумны клики,  
В один сливаясь глас, к тебе зовут, великий...

Когда раздался всеобщий сей бесподобный, трогательный гимн, то в нем различить можно было и умирающие звуки лиры Державина, и нежный, но уже сильный голос еще ребенка-Пушкина, который посвятил ему первые плоды чудного своего таланта. Крылов нашел средство в маленькой, премилой басне «Чиж и еж» также воспеть ему хвалу. Все напоминало

первые дни его царствования; сердца русских, казалось, еще сильнее пылали к нему, но он был уже не тот.

Пока продолжался венский конгресс, внутри России, так же как и в Петербурге, начали забывать и прошедшее горе и минувшую радость; всякий помаленьку стал приниматься за прежнее дело, и сочинители стали по-прежнему пописывать и слегка перебраниваться.

«Беседа» открыла вновь свои торжественные заседания, но они становились все реже и совсем потеряли великое значение, которое имели до войны. Раз вздумалось нам с Блудовым (помнится, в ноябре 1814 года) из любопытства отведать их препрославленной скуки, и, можно сказать, были ею пресыщены. Ни забавного, веселого и остроумного, ни глубоко-мысленного или ученого — ничего мы не слышали, а все что-то такое, о чем бы не стоило говорить. Не одною скукою были мы жестоко наказаны за сию не совсем благоприязненную попытку. Блудов отослал домой карету и слугу; они еще не воротились, когда кончилось чтение; свет начал гаснуть в зале, и она скоро закрылась. Нам пришлось оставаться в передней между лакеями, ибо в гостиную к Державину, куда переселились чтецы и слушатели, одному незнакомому, а другому известному противнику «Беседы» и Шишкова явиться было неприлично. Мы предпочли в одних фраках идти пешком вдоль по Фонтанке, при сильном холодном ветре и осыпаемые мелким снегом. Скоро встретилась нам карета, мы сели в нее и, только согревшись, нашли, что случившееся с нами довольно забавно. Впоследствии Блудов весьма искусно поместил сие происшествие в одном шуточном произведении своем.

Во время продолжительного отсутствия моего из Петербурга произошла в нем перемена, несмотря на мой патриотизм, для меня весьма неприятная. Французский театр для холостых, для молодых людей, большой свет мало посещающих, был усладительным препровождением времени. В 1812 году, по мере как французские войска приближались к Москве, начал он пустеть и, наконец, всеми брошен. Государь, который никогда не был охотник до театральных зрелищ, сим воспользовался, чтобы велеть его закрыть и рассчитаться с актерами, которые почти все один за другим через Швецию уехали. Публика лишилась пленительных Фелис и Жорж, сперва, по-видимому, мало о том жалела, а наконец и совсем их забыла. Для меня же без них Петербург потерял более половины своей прелести.

Немецкий театр заменить его не мог. Он точно так же, как до упразднения французского, так и после него, так же как и поныне, существует для особого мира. Несмотря на предпочтение, данное впоследствии духу германской литературы перед другими, даже немцы лучшего тона никогда не посещают его. Он остался вечернею отрадой всего своекорыстного и трудящегося у нас немецкого населения. Пасторы, аптекари, профессоры и медики занимают в нем кресла; семейства их — логи всех ярусов; булочники, портные, сапожники — партер; подмастерья их, вероятно, раек.

Итак, для общей забавы оставалась одна только русская труппа, и надобно признаться, она умела воспользоваться присутствием французской, а еще более отсутствием ее. Русский народ переимчив: наши актеры, насмотревшись на французов, первых актеров в мире, всеми силами старались заменить их и начали прилежно изучать все тонкости художества своего, когда предстали пред лучшею публикой. Созревший талант Семеновой изумлял и очаровывал даже тех, которые не понимали русского языка; до того черствые стихи Хвостова и других в устах ее делались мягки и приятны. Она заимствовала у Жорж поступь, голос и манеры, но так же, как Жуковский, можно сказать, творила подражая. В комедии и опере показалось несколько примечательных молодых артистов; но как они долго оставались на сцене, то надеюсь найти случай в другом месте поговорить о них.

Мода на трагедии как будто прошла. Новых комедий тоже что-то не было. Ополчившемуся Шаховскому сперва не до того было; но он уже замышлял вступить в новый бой, ему более свойственный, а покамест новым маленьким творением потешил публику. Его «Казак-стихотворец» очень милый малый и особенно примечателен тем, что первый выступил на сцену под настоящим именем водевиля. От него потянулась эта нескончаемая цепь сих легких

произведений, которых ныне по три и по четыре ежедневно появляется на сцене. В первые годы появление каждого из них было происшествием для любителей театра. Оперы почти все по-прежнему были переводные с французского; опасаясь сравнения, преимущественно играли те, кои гвардия вновь привезла с собою из Парижа, — «Жана парижского», «Жаконду», именно те, в коих зрители не видали Филис.

В 1815 году, откуда ни возьмись, показался новый комик, который в произведениях своих сделался известен не на одном драматическом поприще. Мне был он давно знаком, равно и тем, кои с некоторым вниманием прочтут меня. Никто не подозревал в родственнике моем, Михаиле Николаевиче Загоскине, тех редких способностей, которые труды и время развили в нем, а я, может быть, менее чем кто другой. Отец его, почтенный чудак, исполнен был религиозного духа и любознательности, жил всегда в деревне и на ярмарках запасался всякого рода книгами, выходящими на русском языке; их давал он читать сыновьям своим. У старшего было чрезвычайно много живости в крови и мыслей в голове; к тому же с ребячества имел он любовь (которую назову я страстною) к истине и справедливости и какой-то свой особенный, но не менее того верный и ясный взгляд на людей и их недостатки. Одним словом, в нем изображение сочеталось с рассудком, а из чего же составляется ум? Проведя отрочество в деревне и первую молодость в среднем тогдашнем кругу, его наблюдательности представились сперва самые низшие слои общества. Он тем воспользовался, и я готов назвать его Крыловым в прозе и романах. Но кипеть [sic!] его характера делала его рассеянным и невнимательным к этой глазури света, которую посредственность, а часто и ничтожество так удачно наводит на себя умеют. Как человек совершенно русский, он любил подтрунивать: видя зло, горячился, сердился, но никогда до ненависти, и в сегодняшнем враге так и хотелось ему видеть завтрашнего друга. Я всегда любил его за его доброту и веселонравие, но не имел довольно опытности, чтобы уметь достойным образом оценить качества его души и ума: в глазах моих всякий гостинный эмабельный [любезный] дурак стоял выше его. До 12-го года оставался он мирным канцелярским чиновником; казалось, что он не имеет ничего общего с военным ремеслом, как вдруг любовь к отчизне вызвала его на поле брани; он вступил в петербургское ополчение и храбро дрался с ним под Полоцком и под Данцигом. По возвращении из похода всегдашняя страсть его к театру сблизила его с Шаховским; им ободряемый, он решился написать небольшую комедию «Проказник», довольно плохую, но которая дала ему почувствовать, что он в состоянии творить лучше.

Весной того же года решился наконец Жуковский приехать в Петербург на житье. Ему предшествовала выросшая его знаменитость, и он особенно милостиво был принят у вдовствующей императрицы, которая любила в нем певца обожаемого ею, могущественного, препрославленного сына своего. Несмотря на новый образ жизни, Петербург не мог показаться ему чужбиной: недра дружбы ожидали его в нем. Тщеславный и ленивый А. И. Тургенев, который выслуживался чужими трудами и плел себе венок из чужой славы, конфисковал его в свою пользу и дал ему у себя помещение.

Желая им похвастаться и им угостить, в один весенний вечер созвал он на него всех коротких знакомых своих. Я рано прийти не мог: принадлежа к оленинскому обществу, я счел обязанностью в этот день видеть первое представление Расиновой «Ифигении в Авлиде», коей переводчик, Михаил Евстафьевич Лобанов, был один из приближенных к Алексею Николаевичу. Публика приняла трагедию хорошо; а как один партер с некоторого времени имел право изъявлять народную волю (что шалунам и крикунам было весьма приятно), то она не упускала случая сим правом воспользоваться, и потому-то, вероятно, шумными возгласами вызвали переводчика. Ничтожество и самолюбие были написаны на лице этого бездарного человека; перевод его был не совсем дурен, но Хвостов, я уверен, сделал бы его лучше, то есть смешнее.

С Крыловым, с Гнедичем и с самим венчаным свежими лаврами поэтом, после представления, прямо из театра явились мы к Тургеневу. Но, о горе! Приход последнего едва был

замечен. На Жуковском сосредоточивались все любопытные и почтительные взоры присутствовавших: он был истинным героем празднества. В помутившихся глазах и на бледных щеках Лобанова выступила досада, которую разве один я только заметил. Быстрый переход от торжества к совершенному невниманию действительно жестоким образом должен был тронуть его самолюбие. Вскоре после того неудовольствие свое выместил он на мне: осмеивая пристрастие мое к французскому театру, в каком-то стихотворении необидную, неопасную злость свою излил он следующими стихами:

Не столько Телемак крушился об Улиссе,  
Как многие у нас крушились о Филисе.

На этом вечере, в кругу не весьма обширном, мог я ближе разглядеть одного молодого еще человека, которого дотоле встречал в одних только больших собраниях. Щеголяя светскою ловкостью, всякого рода успехами и французскими стихами, Сергей Семенович Уваров старался брать первенство перед находящимися тут ровесниками своими, и его откровенное самодовольствие несколько смирялось только перед остроумием Блудова и исполненным достоинством разговором Дашкова. Мне показался он нестерпим. Человек этот играет важную роль в государстве; он дает направление образованию всего учащегося юношества, и благо или зло, им посеянное, отзовется в потомстве. Вот почему я полагаю, что всякая подробность, относящаяся до происхождения его, характера, жизни, достойна внимания этого потомства и заслуживает быть ему передана.

У одного богатого дворянина древнего рода, Ивана Головина, женатого на одной бедной Голицыной, сестре обер-егермейстера князя Петра Алексеевича, было две дочери. Старшая, Наталия, смолоду красавица, вышла за упомянутого мною не раз князя Алексея Борисовича Куракина. Меньшая, Дарья, следуя ее примеру, искала также блистательного союза...

У князя Потемкина был один любимец, добрый, честный, храбрый, веселый Семен Федорович Уваров. Благодаря его покровительству, сей бедный рядовой дворянин был флигель-адъютантом Екатерины и под именем вице-полковника начальствовал лейб-гренадерским полком, коего сама называлась она полковником. Он мастер был играть на бандуре и с нею в руках плясать вприсядку. Оттого-то без всякого обидного умысла Потемкин, а за ним и другие прозвали его Сеней-бандуристом. Приятелей было у него много; они сосватали его... Во время короткого знакомства моего с г. Уваровым мне случилось с любопытством смотреть на портрет или картину, в его кабинете висящую. На ней изображен человек лет тридцати пяти, приятной наружности, в простом русском наряде с бандурою в руках, но с бритою бородою и с короткими на голове волосами. На нескромный вопрос, мною о том сделанный, отвечал он сухо: «Это так, одна фантазия». Я нашел, однако же, что на эту фантазию чрезвычайно похож меньшей брат его, Федор Семенович. Рано лишился Уваров отца своего. В родстве с Куракиными да с Голицыными, воспитанный на знатный манер каким-то ученым аббатом, он спозаранку исполнился аристократического духа. Признанный вельможею, любимец двух императоров — Павла и Александра, дальний родственник его, Федор Петрович Уваров<sup>84</sup>, дал новый блеск мало известному дотоле его фамильному имени. Мальчик был от природы умен, отменно понятлив в науках, чрезвычайно пригож собою, говорил и писал по-французски в прозе и в стихах, как настоящий француз; все хвалили его, дивились ему, и все это вскружило ему голову. Семнадцати лет не боле попал он ко двору камер-юнкером пятого класса.

Но вдруг и на него пришла невзгода. Мать его, желая обоим сыновьям своим, особенно старшему, доставить средства для поддержания себя блистательным образом в свете, за большие проценты отдала все имение свое под залог по казенному питейному откупку. Она умерла, откупщик сделался несостоятелен, страшное взыскание пало на имение, и совершенное

---

<sup>84</sup> Ф. П. Уваров (1769—1824) — любимец Павла I, участвовал в заговоре против него. Александр I все свое царствование отличал Уварова и присутствовал на его похоронах. По этому поводу Пушкин приводит в своем дневнике слова, приписываемые Аракчееву: «Один царь здесь его провожает, каково-то другой там его встретит?»

разорение угрожало Уварову. Чтобы сохранить довольно завидное положение, в котором он находился, готов он был на все. Одна фрейлина, богатая графиня Разумовская, двенадцатью годами его старше, которая, не знаю по какому праву, имея родителей, могла располагать собою, давно была в него влюблена; а он об ней думать не хотел. Узнав о крайности, к которой он приведен, она без обиняков предложила ему руку свою, и он с радостью принял ее. Этот брак в полном смысле составил фортуна его.

Вскоре после совершения его тесть его, граф Алексей Кириллович назначен был министром народного просвещения. Он тотчас доставил ему, с чином действительного статского советника, места попечителя Санкт-Петербургского учебного округа и президента Академии наук, остававшиеся праздными после удалившегося, прежде всемогущего Новосильцова. И ему было тогда только двадцать три года от роду.

Вступив в храм учености, узнал он, что одной французской литературы мало, и устыдился неведения своего. С большими способностями, сильным желанием, приведенными в движение, начал успевать он в науках, даже усердно принялся за русский язык. Но по мере как в сей части делал он новые приобретения, со врожденным его тщеславием спешил ими хвастать. Барич и галоман во всем был виден; оттого-то многим членам «Беседы» он совсем пришелся не по вкусу; некоторые из них, более самостоятельные, позволяли себе даже подсмеиваться над ним. Это его взорвало; но покамест принужден он был молчать. Приезд Жуковского не нравился большей части беседников, что и подало Уварову мысль вступить с ним в наступательный и оборонительный союз против них.

Он обманулся в своих расчетах: Жуковский так же, как и Карамзин, чуждался всякой чернильной брани. Не менее того ошиблись в нем и петербургские его естественные враги. В наружности его действительно не было ничего вселяющего особое уважение или удивление; в обхождении, в речах был он скромнен и прост: ни чванства, ни педантизма, ни витийства нельзя было найти в них. Оттого в одно время успехам его завидовали, а особу его презирали. Оленинская партия не в явь, но тайно также не благоволила к нему. Тогда-то Шаховскому (и кому же иному?) вздумалось одним ударом сокрушить сие безобидное, по мнению его, творение его и всю знаменитость и всех друзей его.

Мы обыкновенно день именин Дашкова и Блудова, 21 сентября, праздновали у сего последнего; Крылов и Гнедич тут также находились за обедом. Афишка в этот день возвещала первое представление 23-го числа новой комедии Шаховского в пяти действиях и в стихах под названием: «Липецкие воды, или Урок кокеткам». Для любителей литературы и театра известие важное; кто-то предложил заранее взять несколько нумеров кресел рядом, чтобы разделить удовольствие, обещаемое сим представлением, все изъявили согласие, кроме двух оленистов.

Нас сидело шестеро в третьем ряду кресел: Дашков, Тургенев, Блудов, Жуковский, Жихарев и я. Теперь, когда я могу судить без тогдашних предубеждений, нахожу я, что новая комедия была произведение примечательное по искусству, с каким автор победил трудность заставить светскую женщину хорошо говорить по-русски, по верности характеров, в ней изображенных, по веселости, заманчивости, затейливости своей и, наконец, по многим хорошим стихам, которые в ней встречаются. Но лукавый дернул его, ни к селу ни к городу, вклеить в нее одно действующее лицо, которое все дело испортило. В поэте Фиалкине, в жалком вздыхателе, всеми пренебрегаемом, перед всеми согнутом, хотел он представить благородную скромность Жуковского; и дабы никто не обманулся насчет его намерения, Фиалкин твердит о своих балладах и произносит несколько известных стихов прозванного нами в шутку балладника. Это все равно что намалевать рожу и подписать под ней имя красавца; обман немедленно должен открыться, и я не понимаю, как Шаховской не расчел этого. Можно вообразить себе положение бедного Жуковского, на которого обратилось несколько нескромных взоров! Можно себе представить удивление и гнев вокруг него сидящих друзей его! Перчатка была брошена; еще кипящие молодостию Блудов и Дашков спешили поднять ее.

Это можно было почитать продолжением литературной войны между Москвою и Петербургом, некоторые подробности которой описаны мною в предшествующей части сих Записок, или, лучше сказать, возобновлением ее, ибо во дни всеобщей борьбы европейских народов сия пустая возня на время прекратилась. Она должна была возгореться с новою силой, когда не оставалось ни малейшего сомнения насчет прочности европейского мира.

Победа казалась на стороне Шаховского: новая пьеса его имела успех чрезвычайный, публика приняла ее с шумным, громогласным одобрением. В тот же вечер, как нам сказывали, по сему случаю было большое празднество у петербургского гражданского губернатора Бакунина, коего супруга, сестра Павла Ивановича Кутузова, надела венок на счастливого автора. Крылов, с которым на другой день я увиделся, сказал мне с коварною улыбкой: «Как быть, *les rieurs sont de son côté*»\*. Торжество Шаховского пуще раздражало нас. Ах, юность, юность! Ну, право, как будто и смешно и совестно за себя и за других, когда вспомнишь, как все эти пустяки почитали мы делом серьезным и важным.

Для получения наследства Блудов когда-то ездил в Оренбургскую губернию. Дорогой случилось ему остановиться в Арзамасе; рядом с комнатой, в которой он ночевал, была другая, куда несколько человек пришли отужинать, и ему послышалось, что они толкуют о литературе. Тотчас молодое воображение его создало из них общество мирных жителей, которые в тихой, безвестной доле своей посвящают вечера суждениям о предмете, который тогда исключительно занимал его. Воспоминание об этом вечере и о другом, проведенном со мною, подало ему мысль библейским слогом написать нечто под названием: «Видение в какой-то ограде». Арзамасские любители словесности в одно из своих вечерних собраний слышат странный шорох в соседней комнате; Шаховской в магнетическом сне бродит по ней; они прислушиваются, а он рассказывает, как в памятную нам бурную ночь вздумалось ему остановиться перед окошком опустевшей залы дома Державина, и какие чудеса ему там привиделись. Потом принимается он исповедовать все тайные, но всем известные грехи свои. Писано было отменно забавно, а для Шаховского с товарищами довольно язвительно. Напечатать было невозможно, а рукописи всегда трудно разойтись по рукам и получить общую известность; главное было то, чтоб она дошла до Шаховского и в чашу радости его много подлила она горечи.

Дашков поступил еще лучше, то есть смелее. За начинающимся недостатком политических происшествий, следственно и известий, в «Сыне отечества» Греч начинал уже помещать литературные статьи, но и ими журнал сей не изобиловал. Вероятно, оттого-то согласился он напечатать в нем «Письмо к новейшему Аристофану» Дашкова, притворяясь, будто не знает, на чье лицо оно писано. А угадать было нетрудно: самым пристойным, почти учтивым образом автор письма, как палицей, так и бил с плеча в Аристофана. Шум и великая тревога сделались от того в неприятельском стане.

Принимая в этом деле живейшее участие, не менее того видел я и забавную его сторону. С родственником моим, Загоскиным, верно преданным Шаховскому, я не прерывал своих сношений; мы часто посещали друг друга. Я любил бесить его, позволяя себе нескромные шутки и повторяя все колкости, слышанные мною в кругу моих приятелей насчет его патрона. С своей стороны и он не слишком щадил сих последних и в нетерпении своем высказывал мне злые намерения наших противников. Таким образом пламя раздора все более раздувалось, и с обеих сторон готовились к новым битвам. Передавая все слышанное мною дружескому обществу нашему, я в шутку сам прозвал себя его шпионом или лазутчиком, а там, в сердито-веселом расположении духа, находя это название слишком жестоким, перевели его на слово соглядатай. Роль поджигателя была очень веселая, не совсем уважения достойная, но как быть? Дело от безделья.

Новое нападение противной стороны, возбужденной мною посредством Загоскина, ограничилось его комедией «Урок волокитам», в трех действиях и в прозе. Она была недурна, особливо как скороспелка. В ней, хотя не совсем остроумно, досталось всем, а более всех мне. Пожалуй, я мог бы не узнать себя в Фольгине, большом врале, ветреном моднике, каким

---

\* насмешники на его стороне



я никогда не бывал, если бы некоторые из слов и суждений моих не были вложены в уста его. Я знал, чем отомстить человеку, который, по всей справедливости, гордился едва ли не более древностью рода своего, чем новостью своей известности. Я уверил его, что все приятели мои не хотят верить его существованию, фамильное имя его почитают вымышленным, одним словом, видят в нем псевдоним, под которым сам Шаховской написал комедию.

Любопытно в это время было видеть Уварова. Он слегка был задет в комедии Шаховского и придрался к тому, чтоб изъяслять величайшее негодование. Мне кажется, он более рад был случаю теснее соединиться с новыми приятелями своими. Мысленно видел он уже себя предводителем дружины, в которой были столь славные бойцы, и на челе его должен был сиять венец, в который, как драгоценный алмаз, намерен был он вставить Жуковского. Опыт доказал ему, что он никакой подчиненности не может ожидать от соратствующих: все равно в петербургском большом свете он гораздо их более известен и в глазах его может показаться главою партии. Вечно-тщеславные расчеты этого человека бывали часто неверны, но иногда и удачны и тогда помогали ему возвыситься то в общем мнении, то на поприще службы. Друзья литературы поступили бы безрассудно, если б отвергли помощь зятя министра просвещения, человека, который имел непосредственное влияние на цензуру.

В одно утро несколько человек получили циркулярное приглашение Уварова пожаловать к нему на вечер 14 октября. В ярко освещенной комнате, где помещалась его библиотека, нашли они длинный стол, на котором стояла большая чернильница, лежали перья и бумага; он обставлен был стульями и казался приготовленным для открытия присутствия. Хозяин занял место председателя и в краткой речи, хорошо по-русски написанной, осуществляя мысль Блудова, предложил заседающим составить из себя небольшое общество «Арзамасских безвестных литераторов». Изобретательный гений Жуковского по части юмористической вмиг пробудился: одним взглядом увидел он длинный ряд веселых вечеров, нескончаемую нить умных и пристойных проказ. От узаконений, новому обществу им предлагаемых, все помирили со смеху; единогласно избран он секретарем его. Когда же дело дошло до президентства, Уваров познал, как мало готовы к покорности избранные им товарищи. При окончании каждого заседания жребий должен был решать, кому председательствовать в следующем; для них не было даже назначено постоянного места; у одного из членов попеременно другие должны были собираться. Уварову не могло это нравиться, но с большинством спорить было трудно; он остался при мысли, что время подчинит ему эту республику.

Все это знаю я только по слуху, ибо в этом первом заседании я не участвовал: Уваров забыл или не хотел пригласить меня на него. Удивленные моим отсутствием, все другие члены изъявили желание видеть меня между собою. Тогда собралось нас всего семь человек, которых в припадках ослепленного дружелюбия и самолюбия сравнивал я с семью мудрецами Греции, а общество наше называл то плеядой, то семиствольною цевницей. Всех выводил я на сцену перед читателем, один Жихарев оставался в глубине ее. Теперь его очередь. Из деревни привезен был он в Московский университетский пансион и оттуда воротился опять в провинцию, где и оставался лет до восемнадцати. Он принял все ее навыки; с большим умом, с большими способностями, в кругу образованных людей, он никогда не мог отстать от них. Наружность имел он азиатскую: оливковый цвет лица, черные как смоль, кудрявые волосы, черные блистающие глаза, но которые никогда не загорались ни гневом, ни любовью и выражали одно флегматическое спокойствие. Он казался мрачен, угрюм, и не знаю, бывал ли он когда сердит или чрезвычайно весел. Образ жизни тогдашних петербургских гражданских дельцов имел великое сходство с тем, который вели дворяне внутри России. Тех и других мог совершенно развеселить один только шумный пир, жирный обед и беспрестанно опоражниваемые бутылки. Покинутую родину обрел наш Жихарев в Петербурге у откупщиков, у обер-секретарей.

Потом свел он дружбу с Шаховским и русскими актерами, что и вовлекло его в литературу и даже в «Беседу», куда был принят он сотрудником. Он принялся за труд, перевел трагедию «Атрей», комедию «Розовый черт», написал какую-то поэму «Барды»: все это ниже посредственности. Безвкусие было главным недостатком его в словесности, в обществе, в

домашней жизни. У него был жив еще отец, человек достаточный, но обремененный долгами; он поступал с ним как почти все тогдашние отцы, которые к детям не слишком были учтивы и требовали, может быть, весьма справедливо, чтобы сынки сами умели наживать копейку, а Жихарев любил погулять, поесть, попить и сам попотчевать. Это заставило его войти в долги и прибегать к разным изворотам (*expediens*, как называют их французы), строгою совестью не совсем одобряемым. Дурные привычки, по нужде в молодости принятые, к сожалению, иногда отзываются и в старости. Бог весть как припелся он к моим знакомым, вероятно, через Дашкова, с которым учился; только в 1814 году нашел я его уже водворенным между ними. Я не встречал человека более готового на послуги, на одолжения; это похвальное свойство и оригинальность довольно забавная сблизили его со мною и с другими<sup>85</sup>.

Арзамасское общество или просто «Арзамас», как называли мы его, сперва собирался каждую неделю весьма исправно, по четвергам, у одного из двух женатых членов — Блудова или Уварова. С каждым заседанием становился он веселее; за каждую шуткой следовали новые, на каждое острое слово отвечало другое. С какою целью составилось это общество, теперь бы этого не поняли. Оно составилось невзначай, с тем, чтобы проводить время приятным образом и про себя смеяться глупостям человеческим. Не совсем прошел еще век, в который молодые люди, как умные дети, от души умели смеяться; но конец его уже близился.

Благодаря неистощимым затеям Жуковского «Арзамас» сделался пародией в одно время и ученых академий, и масонских лож, и тайных политических обществ. Так же, как в первых, каждый член при вступлении обязан был произнести похвальное слово покойному своему предместнику; таковых на первый случай не было и положено брать их напрокат из «Беседы». Самим основателям общества нечего было вступать в него; все равно каждый из них, в свою очередь, должен был играть роль вступающего, и речь президента всякий раз должна была встречать его похвалами. Как в последних, странные испытания (впрочем, не соблюденные) и клятвенное обещание в верности обществу и сохранении тайн его предшествовали принятию каждого нового арзамасца. Все отвечало одно другому.

Вечер начинался обыкновенно прочтением протокола последнего заседания, составленного секретарем Жуковским, что уже сильно располагало всех к гиларитету [веселости], если позволено так сказать. Он оканчивался вкусным ужином, который также находил место в следующем протоколе. Кому в России не известна слава гусей арзамасских? Эту славу захотел Жуковский присвоить обществу, именем их родины названному. Он требовал, чтобы за каждым ужином подаваем был жареный гусь, и его изображением хотел украсить герб общества.

Все шло у нас не на обыкновенный лад. Дабы более отделиться от света, отреклись мы между собою от имен, которые в нем носили, и заимствовали новые названия у баллад Жуковского. Таким образом наречен я Ивиковым журавлем, Уварова окрестили Старушкой, Блудова назвали Кассандрой, Жуковского — Светланой, Дашкову дали название Чу, Тургеневу — Эоловой арфы, а Жихареву — Громобоя.

Ни государь, ни Елисавета Алексеевна в это время не воротились еще из-за границы, а двор со вдовствующею императрицей оставался в Гатчине. Что удивительного, если в Петербурге деятельно занимались тогда всяким вздором. Глухо разнеслась в нем весть о существовании какого-то во мраке возникшего общества.

«Беседа» первая догадалась, что оно оживлено не совсем приятным к ней духом; в ней предполагали, что тайно готовятся на нее сильные нападения: кто скрывается, тот должен иметь дурной умысел, и словесники готовы были приписывать нам заговор против правительства. А впрочем, кому же придет в голову, что порядочные люди собираются еженедельно единственно затем, чтоб умно подуматься! Если бы некоторые из членов «Беседы», из тех, которые были поумнее, могли послушать нас, то, верно, были бы успокоены и обезоружены. Правда, в похвальных им речах дарования их не слишком высоко оценивались, притязания их

---

<sup>85</sup> Ст. Петр. Жихарев (1787—1860) — посредственный литератор, плохой драматург, обнаружил, однако, изрядное дарование и большую наблюдательность в своих интересных «Записках современника», напечатанных после смерти автора.

на авторство были осмеяны, но личности против них никто себе не позволял. Они бы узнали, что, устранив всякое педанство, арзамасцы между собою не чинились и часто позволяли себе даже трунить один над другим.

Не менее «Беседы» взволновано было оленинское общество: «Арзамас» казался ему загадкою, которой тайну я не спешил открыть ему. Из слов и обхождения Крылова и Гнедича мог я заметить, что они чуждаются падших и не дерзнут восстать на торжествующих. Вся эта истинно-комическая история (ибо комедия Шаховского была началом ее) должна была иметь влияние на судьбу мою. В доме у Олениных Жуковский был принят с усиленною ласкою; со мною как будто ни в чем не бывало. Несмотря на то, я мог ясно видеть, что недавние связи совершенно разорваны, а все из чего? Батюшков мог бы вразумить этих людей, но его тогда в Петербурге не было: он летом уехал в армию и оттуда еще не возвращался. По приезде он, верно бы, бросился в отверстие ему объятия «Арзамаса», который и по заочности избрал его своим членом под именем Ахилла. Случилось то, чего ожидать надлежало: старик Сухтелен, по желанию, уволен с чином и пенсионом, а на его место в библиотеку определен некто Аткинсон, ничтожный и ледащий малый, один из домочадцев оленинских, сын английской няньки, воспитывавшей у них детей.

Идя от неудачи к неудаче, я как будто привык к ним и, как Панглос<sup>86</sup>, готов был сказать, что все к лучшему. Но приятели мои сильно вознегодовали: им хотелось приклеить меня к какому-нибудь ведомству, дабы оттуда вернее мог я попасть на стезю настоящей службы. Не говоря мне ни слова, поставили на ноги Жихарева, который имел связи во всех правительственных местах, канцеляриях, департаментах. Также не предупредив меня, переговорил он обо мне с Дружининым, директором канцелярии министра финансов, и в один раз привез мне и определение, подписанное министром, о причислении меня вновь к канцелярии его, и о том мою просьбу, которую задним числом заставил подписать меня. Это определение было тем особенно для меня выгодно, что в нем сказано, будто, по окончании занятий моих в пензенском комитете, возвратился я к прежнему месту служения. Итак, два года с половиною, проведенные мною в праздности, зачтены мне в службу, тогда как в министерстве внутренних дел, по милости Сперанского, почитался я два года в отставке, когда часто являлся на службу. В судьбе людей, таким образом, иногда встречаются вознаграждения.

Меня причислили к неизбежному для меня Третьему отделению, по кредитной части, и я не весьма охотно в него явился. После Рибопьера им управлял граф Ламберт, бывший секретарем посольства, отправленного в Китай, читателю известный. Он удивил меня своим приемом: то же едва заметное наклонение головы, ту же сухость и важность в манерах нашел я; только слова его исполнены были вежливости и доброжелательства. Он сказал мне, что благодарит случай, который свел его с прежним сослуживцем, и надеется, что мы не скоро расстанемся. Вместе с тем он объявил мне, что следующею весной имеет в виду другое назначение, которое пока открыть он мне не может, но что в предполагаемом новом управлении (комиссия погашения долгов, как после я узнал) приготовит он мне место, где выгодным и приятным образом могу продолжать я службу. Между тем он нашел, что посещать мне отделение совсем не нужно, разве только для свидания и беседы с ним.

На минуту возвратимся в «Арзамас». Следующей зимой, среди морозов, он все более расцветал и с каждым месяцем обогащался новыми членами, из коих многими имел он причину гордиться. Существование его было непродолжительно; он прожил не с большим два года. Если Бог даст мне написать пятую часть сих Воспоминаний, то непременно помещу в ней все занимательные подробности, до него относящиеся.

В первых числах декабря [1815] государь возвратился после вторичного продолжительного отсутствия; но какое разительное несходство было между первым его приездом из Парижа и последним! Александр казался скучен, говорят, даже сердит. Никакими восторгами Петербург его не встретил. Казалось, Россия познала, что наступило для нее время тихое, но сумрачное.

---

<sup>86</sup> Герой Вольтерова романа «Кандид».

Государь начал показывать себя вновь взыскательным и строгим: всем гвардейским и другим военным офицерам запретил носить гражданское платье, находя сие вредным для дисциплины. Вскоре потом явил он себя даже грозным: статс-секретарь Молчанов, столь могущий в продолжение трех или четырех лет, который заправлял делами целого государства, вдруг был отставлен и предан суду. Сего мало: наряжено следствие для рассмотрения действий военного министерства и самого управляющего оным, князя Алексея Ивановича Горчакова, который вместе с тем и удален от должности. Все приближенные его главные чиновники, Самбурский, Приклонский и другие, отданы под суд и рассажены по разным гауптвахтам столицы, где и оставались несколько лет. Все ужаснулись сперва; но когда увидели, что за сими суровыми мерами, коих справедливость, впрочем, была доказана, не последовало никаких новых, то вскоре и успокоились потом.

После удаления князя Горчакова управляемое им министерство получило новое образование. Во время последней войны армия до того увеличилась, что число дел по военному ведомству, конечно, утроилось. Государь нашел нужным разделить их надвое, часть денежную, счетную, продовольственную отдав военному министру, которому после этого, кажется, следовало бы называться генерал-интендантом; все прочие дела поступили в ведение главного штаба его величества.

Примерно отличившийся во время последних кампаний генерал Петр Петрович Коновницын назначен был военным министром<sup>87</sup>. В молодости, при Екатерине, начальствуя Старооскольским пехотным полком, слыл он лихим полковником и отчаянно дрался с поляками под начальством Суворова. При Павле, как и все, был в отставке и не хотел было опять вступить в службу, но всеобщий бранный шум пробудил в нем бодрость. Он был при Буксгевдене дежурным генералом во время шведской войны и находился начальником штаба при Кутузове в 1812 году. Должность, на него возложенная, не была слишком тягостна, и он был еще не стар; но военные труды, походы, раны изнурили его, и после назначения своего министром, кажется, не более двух лет он прожил.

Самый близкий человек к государю, с малолетства при нем неотлучный, князь Петр Михайлович Волконский, назначен был начальником штаба его. Не знаю, как до сих пор не пришлось мне сказать об нем ни слова. Примечательно, что при дворе почти все случайные люди с знатным фамильным именем принадлежат к носящим его обедневшим семействам. Таким образом и этот князь, кажется, происходит от той отрасли, которая все более размножается ныне и почти заселяет Рязанскую губернию. Родному дяде его, князю Димитрию Петровичу, удалось жениться на Катерине Алексеевне Мельгуновой, племяннице Николая Ивановича Салтыкова, воспитателя великих князей Александра и Константина. Старый царедворец, желая в будущем еще более умножить кредит свой, маленьких наследников престола умел окружить малолетними же сыновьями своими, близкими и дальними родственниками; в числе их находился и Волконский.

Он более всех сделался угоден Александру. Я помню, как в ребячестве, несмотря на запрещение наставника, любил я, бегая по саду, играть с холопскими мальчиками. Я, право, не зол, что бы ни говорили, а иногда случалось мне тужить их, и те, которые были более покорны и терпеливы, мне более нравились. Почему же слабость простого отрока не могла встретиться и в порфирородном? Главная, единственная добродетель Волконского была собачья верность. Когда во дни Павла сам наследник его должен был трепетать и окружен был тайными надсмотрщиками, адъютанту его Волконскому никто не подумал даже о том предложить. В день восшествия на престол сделан он флигель-адъютантом его, а в день коронации — генерал-адъютантом.

Зная, сколь полезна царям нравственная власть, как избавляет она их от необходимости часто употреблять материальную, Александр, даже в кругу самых близких по крови, не пере-

---

<sup>87</sup> Его сын П. П. Коновницын был участником заговора декабристов и разжалован в солдаты, другой сын Ив. Петр. — примыкал к тайным обществам и был под надзором полиции, дочь — Е. П. — замужем за декабристом М. М. Нарышкиным.

ставая быть любезным, старался сохранить всю величественную свою важность. Нельзя, чтобы беспрестанное наблюдение за самим собою иногда не утомляло его; наедине с Волконским любил он отдыхать; не открывая ему души своей, при нем становился он человеком, который смеется, сердится или бранится, как все прочие люди. Точно так же во время частых и быстрых путешествий своих, сидя с ним в коляске, говорят, не иначе привык он отдыхать, как засыпая на плече его. Такие удобства объясняют продолжительность милостей к нему Александра, который, не так, как другие, в окружающих его любил находить просвещенный ум. Говорят, что для камердинера нет великого человека; Александр угадал, что для верноподданничества Волконского всякий был бы великий муж, лишь был бы он царь. Долго государством был он мало замечен в толпе Чарторижских, Строгановых, Голицыных и других любимцев, всех более его отличенных. Однако же самую мелкую вещь, поставленную у самого светильника, нельзя не разглядеть; но в глазах России все оставался он на одном плане с метрдотелем Миллером, медиком Виллие и брадатым кучером Ильею. Только в 1815 году начал он вдруг вырастать до Аракчеева, до соперничества с ним.

Столько же, как тот, был он суров, но совсем не так зол. Если Аракчеев старался выигрывать у царя мнимым чистосердечием своим, то Волконский — истинным беспристрастием. Он никого не хотел знать: ни друзей, ни родных, не только наград, прощения, помилования в случае вины никому из них не хотел он выпрашивать. До того прославился он ненавистию к nepотизму, что чувство это начали называть уже эгоизмом. В беспредельной преданности царю у Аракчеева более всего был расчет, у Волконского — привычка; только разве у одного Александра Николаевича Голицына было чувство. На одном Волконском истощалось иногда все дурное расположение духа государя, к нему чрезмерно милостивого: он все переносил со смирением и, вероятно, полагал, что, в свою очередь, имеет он право показывать себя грубым, брюзгливым с подчиненными, даже с теми, к которым особенно благоволил. Я не имел никаких сношений с сим вельможею, не видал от него ни худа, ни добра, и меня не станут обвинять, я надеюсь, в пристрастии при изображении его портрета.

Великие события времен Наполеона само собою врезывались в память, и простой рассказ о нем мог быть уже достаточно занимателен. Но после него наступили времена иные; первые годы после его падения не были столько обильны происшествиями, зато показывали гораздо более движения в умах. Я смотрел на него равнодушно, рассеянно; занятия по службе, удовольствия не совсем еще покинувшей меня молодости, при наружном спокойствии, коим пользовались тогда все народы, развлекая меня, не допускали меня обращать на происходящее наблюдательных взглядов. Вот почему описание этой эпохи для меня дело многотрудное; оно ужасает меня.

Итак, положу покамест перо; собравшись с мыслями и с духом, не иначе как после зрелых размышлений, может быть, приступлю к изображению времен более новых.

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Незадолго до французской революции родился я. Ужасы, о ней рассказываемые, поражали даже ребяческий мой слух; ибо граница единственной земли, в которой повторялось ее безрассудное эхо, находилась только в тридцати верстах от места, где я выросал<sup>88</sup>.

Высокая ученость почти всегда отделяет людей от действительности жизни. Венчанная мудрость в бархатных сапогах совсем не постигла народный дух французов. Людовик XVIII полагал, что, подобно Англии, самые жаркие споры в его камерах будут исполнены достоинства, сопровождаемы приличием.

Напрасно: у этого кипучего народа словопрение тотчас обращается в бесчинство, ругательство, а оппозиция не что иное, как постоянный мятеж. Десятки лет прошли, и с каждым годом видим мы, что оно становится все хуже.

Заблуждения императора Александра истекали из самого чистого источника. Никогда еще не было на троне монарха, оживленного столь горячею, столь искреннею любовью к человечеству. Еще в отроческом возрасте наставник его, швейцарец Лагарп, уверил его, что совершенная свобода есть высочайшее благо для людей. Но видно, что в отчизне его не слишком ею дорожили: ибо вольные жители гор, альпийские пастухи целыми тысячами продавали себя иноземным владыкам и за деньги проливали кровь свою. Союзная с ним Англия и окружавшие его советники, ей преданные, утвердили в нем желание сделаться благодетелем России, даровав ей представительное правление. Тильзит, который так напрасно клянем мы, все приостановил. Коль же скоро стали заметны несогласия его с Наполеоном, явился немецкий барон Штейн уполномоченным от многочисленных немецких тайных обществ. Через него возносили они мольбы свои к нему, вопили о спасении, уверяя, что не переставали почитать его свободолюбцем и видеть в нем будущего спасителя Германии. Тогда свобода сделалась для него не только целью, но обратилась и в средство, и на победоносном пути его до Парижа везде встречали его с венками в руках. В стихах и прозе превозносили его.

Под французским игом, для немцев ненавистным, распространились между ними французские революционные идеи. Очень искусно научились они смешивать слово независимость (что предполагает освобождение от чуждой власти) со словом свобода. Немецкие владетельные князья, дабы более возбудить их к восстанию, обещали им дарование многих прав и вольностей по окончании войны. Нужно ли все это было, когда честь и самохранение Пруссии и здравая политика Австрии повелевали к нам присоединиться, когда не народы, а правительство и войска один за другим приставали к нам?

Наполеон на острове св. Елены говорил: «Я воевал с Европой для поддержания монархического правила, цари победили меня именем народной свободы; они жестоко в том будут раскаиваться». И действительно, после его шумно-грозно-созидательного века наступило тихо-разрушительное время. Один умный человек сказал, что первые годы после Наполеона были пора посева; через пятнадцать лет все выросло, созрело: горе тем, которые доживут до жатвы.

Англия стояла тогда на вершине могущества своего, блистала величием и богатством, сияла злобною радостью при виде нестерпимых мук, на кои осудила бессмертного своего против-

---

<sup>88</sup> Имеется в виду Польша, граница которой была тогда близ Киева, где рос Вигель.

ника, и, дружелюбно улыбаясь неискусным своим подражателям, не переставала твердить им о свободе. Любопытно и даже забавно было видеть иных людей, в характере которых была резкая противоположность с правилами, которые вдруг начали они поддерживать: из раболепства стали они прикидываться свободомыслящими. Например, старый министр О. П. Козодавлев, который всегда смотрел, откуда при Дворе дует ветер, находил в Крылове холопские чувства, в Крылове, который в баснях своих насаждал так много смелых истин, едва завешивая их наготу полупрозрачными прекрасными своими покровами. На даче у себя перед всеми высшими властями пресмыкающийся Уваров<sup>89</sup> следующим летом принимал нас в павильоне.

Вообще с удивлением заметить должно, что почти во всех землях обыкновенно высшее сословие или аристократия производили народные восстания и направляли их против законной высшей власти. Не говоря уже о революции 89-го года, которую раздували дюки и маркизы, во время фронты знатные дамы, даже принцессы Монпансье, Лонгевиль принимали сильнейшее участие в возмущениях. В Нидерландах Эгмонт и Горн были не простые люди; Польшу всегда волновали магнаты; в Риме принципе, гордые и праздные, всегда непокорны, и, если в Венгрии случится беда, то наверное предсказать можно, что беспокойства произведены будут знатнейшими ее богачами. Эти люди, ближе других окружая трон и ближе других видя слабости сидящих на нем, менее всех уважают их и более всех завидуют им. Безрассудные! Стремясь иссушить единственный источник их благ, они неизбежно ведут сограждан к демократии, для них губительной, истребительной. А там приходит раскаяние; потеряв или, лучше сказать, погубив головы Людовика XVI и Марии Антуанетты, роялисты плакали по волосам их.

В одной России это дело кажется невозможным.

В феврале месяце 1816-го, одним утром, граф Ламберт прислал пригласить меня к себе в канцелярию. В объяснениях, которые мы имели, увидел я чистосердечное желание быть мне полезным. «Вы теперь ничего не делаете; не хотите ли чем-нибудь заняться? Представляется к тому случай, — сказал он мне. — Слыхали ли вы о генерале Бетанкуре? Он в большой доверенности у государя, и по части механики можно почитать его европейскою знаменитостью. Число фальшивых ассигнаций умножилось; надобно переменить их форму; для того хотят устроить особую фабрику, и государю угодно было дело это поручить Бетанкуру. Через это поставлен он в близкие сношения с министром финансов, вовлечен в частую переписку с ним и другими ведомствами, а ни языка русского, ни русских форм вовсе не знает. Ему нужен чиновник, который бы хорошо знал французский и русский языки и на которого бы мог он совершенно положиться. Он просил меня о приискании ему такового».

Мы нашли Бетанкура одного в обширном кабинете. Он усадил нас вокруг письменного стола своего, разговорился, и знакомство с ним сделалось у меня скоро. Старик показался мне живым, веселым, но не менее того почтенным.

Долго суждено мне было находиться при этом человеке. По многим отношениям был он лицо весьма примечательное, особенно же как выражение духа времени, смешения аристократических предрассудков с плебейскими промышленными наклонностями.

Есть искусство вовремя родиться и вовремя умирать; в числе других Бетанкур имел и это искусство. Что бы было с ним, если бы родился он ранее? Из рук самой природы вышел он механиком. Заботясь о благе государства своего, Карл III [король Испании] устраивал тогда славные, покойные дороги, строил мосты, рыл каналы и чистил Гвадалквивир, одним словом, создавал в Гишпании все то, чего ей недоставало. Ему нужны были инженеры и архитекторы,

---

<sup>89</sup> В талантливом, одаренном, удачной женьитьбой очень богатом Уварове была черта пресмыкательства, отмеченная не только Вигелем. Наряду с большими похвалами его уму и познаниям, даже учености, современники отмечали и отрицательные стороны его характера. Сенатор К. Н. Лебедев говорит, что Уваров был подвержен «мелким страстям любостыжания и зависти». Пушкин несколько раз клеймил эту подробность в биографии Уварова: в стихотворении «На выздоровление Лукулла», в Дневнике за февраль 1835 года (о краже казенных дров, о любостыжании вообще) и др. Еще в 1824 г. А. И. Тургенев писал Вяземскому про Уварова: «Он перещеголял Козодавлева и на счету ему подобных в публике, если не хуже. Всех кормилиц у Канкриной <жена министра финансов, тогдашнего начальника Уварова> знает и детям дает кашку». Сенатор К. И. Фишер, служивший под начальством Уварова, говорит, что этот «вельможа особенное имел внимание к дровам и был характера подлого, ездил к министерше, носил на руках ее детей, словом, подленькими путями прокладывал себе дорогу к почестям».

для них заводил он школы и, подобно Петру Великому, подданных своих посылал учиться за границу. Отправленный им в Англию, Бетанкур провел там молодость свою. Возвратясь в отечество, сделался он нечто вроде начальника сухопутных и водяных сообщений, полагать должно, не выше того, что у нас директора департамента.

С ним в Мадриде коротко был знаком посланник наш Муравьев-Апостол<sup>90</sup> и, желая угодить государю, который имел одинаковые вкусы с Карлом III, старался подговорить его приехать в Россию; но он никак не мог решиться. Заметив, однако же, что Наполеон отечество его с каждым годом более подбирает в мощные когти свои, и предвидя беду неминуемую, сам, наконец, предложил себя. За условленную цену, по контракту, заключенному с ним, как с знаменитым художником, не более, приехал он в Петербург осенью 1807 года. Сумма, по условию ему назначенная, была немаловажная: двадцать четыре тысячи рублей ассигнациями, что ныне составило бы около девяноста тысяч. Танцовщицы и певицы, на которых деньги сыплют ныне без счета, едва ли столько получают, а он тоже некоторым образом принадлежал к разряду артистов: гишпанскому гранду столько бы не дали. На его беду, в самое время приезда его курс на серебро начал возвышаться, а на ассигнации быстро упадать. Увидев, что через это лишается он более двух третей ожидаемого, стал он громко роптать; беспрестанно умножая содержание его, довели его, наконец, до шестидесяти тысяч рублей. Он этим не остался совершенно доволен: заметив, что в земле, куда он приехал, чин и военный мундир преважное дело, стал требовать того и другого, и его приняли в службу генерал-майором по армии. Тогда притворился он обиженным, утверждая, что чин сей слишком мал для человека, который в отечестве своем был министром; не вдруг, но через два года произвели его генерал-лейтенантом. Не помню, за что государь пожаловал ему Аннинскую ленту; он отослал ее назад, утверждая, что ему, кавалеру св. Иакова Компостельского, неприлично принять орден ниже его, и, наоборот, государь прислал ему Александровскую ленту.

Я не виню его: по понятиям, которые имеют на юге и на западе Европы, в земле северных варваров иностранцы ничего не могут выиграть скромностью, а все могут брать смелостью, наглостью. С таким содержанием, в таком чине, нетрудно было потомку владетельных графов Мадеры и его семейству приписаться к нашей аристократии. В нее так и врезалась, так и засела в ней жена его Анна, которой особа имела краткость сего имени и совершенно форму небольшой ступки или иготи. Молчаливость почиталась тогда достоинством, а знание иностранных языков облагораживало каждого; но если бы кто захотел попристальнее взглядеться в нее, то легко мог принять бы ее за кухарку. Занимаясь механикой и посещая мастерские, Бетанкур, вероятно, встретил ее среди лондонского ремесленного народа. Она была католичка, англичанка с французским прозванием, урожденная Жордан, как она подписывалась, не знаю для чего: ибо кому была до того какая нужда и чем могло это умножить ее достоинство? Надобно полагать, что смолоду была она красива собою; без того кто бы велел Бетанкуру жениться на бедной дуре из низкого состояния? А спесива была она так, что не приведи Бог!

К счастью, дочери ни с какой стороны не походили на Анну Ивановну, а скорее на родителя, Августина Августиновича. Когда они приехали в Петербург, старшая, Каролина, еще молодая, начинала уже дурнеть и стареть, вторая, Аделина, поразила всех своею красотой, а меньшая, Матильда, была еще ребенком. Жаль было смотреть на этих милейших девиц, когда переступали они за двадцать лет. Цвет лица их вдруг начинал портиться, становиться багровым, кожа начинала грубеть и покрываться угрями. Жар в крови, вырывающийся наружу, был у них наследством от отца, которого лицо в старости безобразил густо-малиновый цвет. Когда я начал их знать, одна только пятнадцатилетняя Матильда пленяла наружностью; а две старшие давно уже перешли за краткий срок, который жестокая к ним природа дала их прелесть. Но было им чем заменить эту великую потерю: каждое слово их выражало грацию ума и сердца; с восхищением можно было слушать их, когда они играли на арфе и на фортепиано, с восхищением любоваться их рисунками и их народною пляской фанданго и воллеро; о качуче

<sup>90</sup> И. М. Муравьев-Апостол — писатель, один из образованнейших людей своего времени, государственный деятель, отец декабристов Сергея и Матвея.



тогда еще помина не было. Можно ли было удивляться беспредельной нежности к ним отца, и кто бы не был ими счастлив?

В жилах у старика пылал еще жар раскаленного неба, под которым он родился, и, как все вспыльчивые люди, имел он доброе сердце и веселый нрав. Ума было у него пропасть, и разговор его был занимателен. Аристократическое чувство, правда, никогда не покидало его даже за станком, за которым всегда трудился он, когда не было у него другого дела; но он принадлежал к восемнадцатому столетию, в котором общею поговоркой было: *poll comme un grand seigneur* — учтив, как великий барин. Читатель, с которым как можно короче старался я познакомить себя, не удивится, узнав, что с таким человеком мы скоро и близко сошлись.

Дабы на будущее время не нуждаться в инженерах, учреждено для них особое высшее училище под названием института инженеров путей сообщения. Для помещения сего нового заведения куплен был за безделицу, за триста тысяч рублей ассигнациями, великолепный дом, или, скорее, дворец князя Юсупова на Фонтанке, у Обухова моста. Продавец построил его на славу, по образцу отелей Сен-Жерменского предместья, между двором и садом, с тою только разницей, что на пространстве, ими занимаемом, можно было бы построить три или четыре парижские отеля. Все ученики были своекоштные, и не только ни один из них не имел жительства в институте, ни даже права заглядывать в сад, ему принадлежащий. Всем пользовались заведывающие им иностранцы. Он состоял под управлением особого директора, над которым были еще принц Ольденбургский, в виде попечителя или покровителя, и генерал Бетанкур, под названием главного начальника института. Занимаясь разными проектами и планами, сперва потешал он ими только императора; но тут, по учреждении института, коего был он настоящим основателем, можно сказать, приобрел он оседлость.

Здание института со всеми его принадлежностями было как бы отдельное царство, в котором господствовал он самовластно.

Я опять вступил в мир, мне дотоле совсем неизвестный. Подчиненные Бетанкура, коих число было небольшое, составляли свиту, штат и общество его. Я никаких сношений не имел с ними по службе, но, каждодневно встречаясь, скоро свел с ними знакомство, которого не искал и не избегал. О некоторых из них я не умолчу, ибо почитаю их лицами весьма примечательными.

Старый француз Сенновер, который, вступив в нашу службу, официально наречен Степаном Игнатьевичем, был директором института. Он был умен, как демон, в которого, конечно, некогда веровал он более, чем в Христа; так надобно думать, ибо, принадлежа к одной из благороднейших фамилий в Лангедоке и находясь в королевской службе капитаном, сделался он бешеным революционером и санкюлотом. Этого бы никак нельзя было подозревать, смотря на его спокойный вид, внимая его беспрестанным шуточкам, иногда довольно смелым, но никогда не переходящим за пределы благопристойности. Как во всех любезниках школы вольтеровской, нечестие и безбожие были в нем щеголеваты; но он тогда не хвастался ими. Он был бледен как смерть, худ лицом, но полон телом; страждущие от подагры ноги его еще более изнемогали от тяжести его туловища: он с трудом мог ходить. Я находил его не столько приятным, как забавным, и во время веселых с ним разговоров мне всегда приходил на мысль Скаррон и все повествуемое о нем<sup>91</sup>. Об якобинстве его я бы умолчал и слышанное мною о том охотно счел бы клеветою, если б он сам, увлеченный воспоминаниями о прошедшем, как об удалстве своей молодости, не рассказывал мне иногда о тесной дружбе своей с Маратом. Мне любопытно было слушать о роскошном, раздушенном и эпикурейском житье этого ужасного человека во внутренних комнатах его и как, выходя с Сенновером, переодевались они в запачканные, оборванные блузы, чтобы на улице более угодить простому народу и заслужить имя друзей его.

Когда Шарлотта Корде [убийца Марата] лишила его друга и терроризм начал пожирать сам себя, Сенноверу удалось бежать из Франции. Как потом из Англии попал он в Россию, этого я не знаю; известно только, что в продолжение нескольких лет торговал он в Петербур-

<sup>91</sup> П. Скаррон (1610—1660) — знаменитый французский сатирический писатель, противник неестественного и приторного в литературных произведениях. Особенно известен его «Комический роман».

ге выписываемым французским табаком. Играя изрядно на скрипке, был иногда приглашаем на вечеринки к достаточным молодым меломанам, между прочим, к одному г. Маничарову. По приезде из-за границы, в собственном доме последнего остановился Бетанкур, ни с кем еще не знакомый; первыми знакомыми его были хозяин дома и через него Сенновер. Старики полюбились друг другу, может быть, самую противоположностью характеров; оба были веселого нрава, но один весь так и кипел, а в другом страсти совершенно погасли.

Когда нужно было избрать директора для института путей сообщения, Бетанкур предложил Сенновера. Как это возможно? Королевской службы капитана, которого к нам можно принять не более как поручиком! Бетанкур объявил, что достойнее его не знает и что без него и сам он не примет главного начальства. Что было делать? Определили Сенновера исправляющим должность директора, а через шесть месяцев утвердили в сем звании с чином генерал-майора. Нарушение форм в России было как будто торжеством, услаждением для Бетанкура.

Поговорив о Сенновере, нельзя же не сказать ни слова об его семействе. Так же как Бетанкур, в Великобритании нашел он себе подругу, только англичанку-англиканку, бабу смирную, которая приплелась к Бетанкурше в виде всепокорнейшей собеседницы. Я никогда не слышал ее голоса, и в гостиной у мужа казалась она домашнюю утварью, которую забыли вынести. Единственная же дочь их, Стефания, в тринадцать лет изумляла уже живостью и смелостью ума и развивающимся кокетством. Можно было предвидеть, что она пойдет далеко, что она будет чем-то, чему тогда не было еще имени. Ожидания сбылись: сен-симонизм и все богопротивные секты видели ее сильною своею поборницею.

По открытии института начальствовавшие в нем гишпанец и француз не должны были забыть сводчика своего Маничарова. Он был из армян. Люди этой нации в русских столицах обыкновенно бывают ювелиры или торгуют шальями, персидскими и индийскими товарами; разбогатевши, объявляют себя дворянами такой земли, где их никогда не бывало.

Отец г. Маничарова до того был богат, что сыновьям его нужно было много времени для расстройств оставленного им состояния. В старшем из них, любезном моем Петре Макаровиче, было много оригинального. Главною странностью его, среди завистливого, себялюбивого мира сего, почитать можно неистощимую доброту его сердца. Он любил всех людей, обожал всех женщин, наслаждался всеми безвредными для чести удовольствиями. В шумных, холостых обществах, кои предпочтительно посещал он, умел он быть пристоем и тихо-весел, ласков и учтив без приторности. Он был добрым товарищем всех любителей разгульной жизни, но не имел задушевных друзей, зато и не имел ни единого врага. Его душевное спокойствие, слегка тревожимое желанием, без труда удовлетворяемыми, сохранило ему молодость ума и, конечно, продлит его дни. Сколько поколений встретил он на пороге юности и проводил из нее, сам никогда ее не покидая. Никогда в голову не приходила ему служба, как вдруг хозяйственные дела его, пришедши в упадок не от мотовства, а от беспечности, заставили его о том подумать. Уже был он лет сорока, когда через покровительство Бетанкура, не имея никакого чина, он был определен в институт, разумеется, не воспитанником, а экономом одного, прямо с чином инженер-капитана. Ну что уже и была это за экономия! Изю всех новых лиц, с которыми тут свела меня судьба, он более всех полюбился мне своею приветливостью, равенством своего характера.

Образование института было довольно странное. Воспитанники носили шляпу с пером и офицерский мундир с шитьем, только без эполетов; а произведенные в офицеры, прапорщички, подпоручики, надев эполеты, продолжали оставаться в институте до поручичьего чина. В нем сперва было четыре только профессора или преподавателя наук. Ими ссудил нас Наполеон, прислав Александру четырех лучших учеников Политехнической школы: Базена, Потье, Фабра и Дестрема.

Это было, как изволите видеть, совершенно французское училище. Самые первые ученики, коими оно наполнилось, были все молодые графы да князья, также и сыновья французских, немецких и английских ремесленников, садовников, машинистов, портных и тому подобных; одним словом, все то, что управляющим пришельцам казалось цветом петербургского юношества. В 1812 году четыре француза объявили, что не могут служить правительству, которое находится

в войне с их отечеством, и требовали, чтоб их отпустили: им отвечали ссылкой в Сибирь. Учение на время должно было приостановиться. После общего замирения в 1814 году сосланные французы воротились к своим должностям; во все время войны сохраняли они жалованье свое и чины: Базен — подполковника, а трое других оставались майорами.

Для заведения новой ассигнационной фабрики куплен был большой дом откупщика Чоблокова на Фонтанке, близ Калинин моста. Надобно было заказать несколько машин, другие выписать из Англии; да сверх того нужно было растянуть фасад по улице и возвести несколько новых строений внутри двора.

Счастливо окончив все войны, государь захотел предаться вновь некоторым из прерванных любимых своих мирных занятий. Петербург захотелось ему сделать красивее всех посещенных им столиц Европы. Для того придумал он учредить особый архитектурный комитет под председательством Бетанкура. Ни законность прав на владение домами, ни прочность строения казенных и частных зданий не должны были входить в число занятий сего комитета: он должен был просто рассматривать проекты новых фасадов, утверждать их, отвергать или изменять, также заниматься регулированием улиц и площадей, проектированием каналов, мостов и лучшим устройством отдаленных частей города, одним словом, одною только наружною его красотою. Членами в него назначены инженеры и архитекторы.

Все прежнее поколение архитекторов, которые в конце Екатеринина века, при Павле и в начале царствования Александра украшали Петербург: Гваренги, Захаров, Старов, Воронихин, Бренна, Камерон, Томон, отошли в вечность, иные, не достигнув еще старости; оставался один только Руско, и тот за ними скоро последовал. Возникли новые строительные знаменитости, которые, по мнению знатоков, в искусстве далеко от первых отстали. Из них четверо посажены членами в Комитет для строений и гидравлических работ, как я самовольно его назвал. Если не портреты с них, то по крайней мере абрисы, крохи хочется мне снять.

Старший по чину и первый по вкусу и таланту между ними был Карл Иванович Росси, иностранец, родившийся в России. Кто был его отец, не знаю; но *chacun salt la tendre mère*, всякий знал родительницу его, некогда первую танцовщицу на петербургском театре. В летописях хореографии прославленное ею имя Росси согласилась она променять не иначе как на столь же знаменитое имя Ле-Пика, которое в царствование Екатерины громко доходило до отдаленнейших от столицы провинций. В Киеве с благоговением произносил его танцевальный мой учитель Пото, и я затвердил его; но мне не удалось восхищаться этой четой: вслед за смертью Екатерины и она куда-то закатилась. Слава ее, однако же, не вдруг исчезла, и мне в первой молодости неоднократно случалось читать на афишке: «Балет сочинения балетмейстера Ле-Пика». Дочь госпожи Росси от второго брака хотя не поступила на сцену, но и не выступила из круга деятельности своих родителей. Она вышла за Огюста, брата сирены Шевалье, некогда пленившей Павла и любимца его Кутайсова. Этот Огюст долго, очень долго танцевал и летал перед нами зephyром, пока время, снабдив его чрезмерною дебелостью, не заставило его надеть бороду, наш простой крестьянский кафтан и пуститься очень хорошо плясать по-русски.

Для Росси такой сценической знатности было мало: он пожелал быть артистом еще более благородного разряда. Следуя внутреннему призванию, он сделался архитектором и на сем избранном им пути нажил деньги, получил чины и кресты. Судьба, однако же, не вдруг отделила его от родины, от места, где он начал жить и возрастать. Первым произведением его искусства был прекрасный деревянный театр в Москве на Арбатской площади, который сгорел в большом пожаре 1812 года. Он был еще красив и молод, когда его отправили в Москву; к тому же был артист с иностранным прозванием. Половины сих преимуществ достаточно, чтобы пользующиеся ими в Москве обретали рай. Кто знает московские общества, тому известно, с какою жадностью воспринимается в них молодость людей разных состояний. Успехи Росси в сих обществах были превыше сил его. Когда он воротился в Петербург, друзья с трудом могли его узнать: до того изменился он в лице, до того истощен был он наслаждениями, может быть, душевными. Никогда силы к нему не возвращались; но сие тем полезнее было

для его гения: при изнеможении телесном замечено, что почти всегда изощряется воображение. Взамен здоровья, которого лишился он в барских домах, приобрел он большой навык в светском обхождении. Он был приветлив, любезен, и с ним приятно было иметь дело.

Зато, первый после него, Василий Петрович Стасов<sup>92</sup> был совершенным его контрастом. Кто он? Что он? Откуда он? Мне вовсе неизвестно. Тот же мрак, который изображали его взоры, покрывал и происхождение его. Он, кажется, был человек не злой, но всегда угрюмый, как будто недовольный. Суровость его, которая едва смягчалась в сношениях с начальством, была следствием, как мне сдается, чрезмерного и неудовлетворенного самолюбия. Он хотел быть законодательною властью комитета и все предлагал правила, правда, стеснительные для владельцев, зато весьма полезные в рассуждении предосторожности от пожаров.

Третий член, Андрей Алексеевич Михайлов, был настоящий добряк; другого названия ему дать не умею. Маленький, веселый, простой этот человек был воспитан в Академии художеств и никогда потом с нею не расставался ни в звании академика, ни в звании профессора. Он никак не гнался за гениальностью, ничего не умел выдумывать, следовал рабски за славными образцами, но, подражая им, умел, однако же, из произведений их выбирать всегда лучшее.

Все трое были зодчие домашнего изделия; один только четвертый был иноземный, хотя и не выписной. Прежде чем приехал он в Россию, г. Антоан Модюи посетил развалины Греции; в их священном прахе искал он артистических вдохновений и, как мне казалось, мало привез их к нам с собою. Как об архитекторе, о нем говорить почти нечего.

В императоре Александре был вкус артиста, но в то же время пристрастие военного начальника к точности размеров, к правильности линий; и дабы регулярному Петербургу дать еще более однообразия, утомительного для глаз, учредил он этот комитет. Члены добросовестно выполняли его намерения; план всякого новостроящегося домика на Песках или на Петербургской стороне, представленный их рассмотрению, подвергался строгим правилам архитектуры. Один только Бетанкур вздыхал, видя невозможность в этом случае не сообразоваться с волею царя. Мальчиком любовался он прелестями Аламбры и фантастическими украшениями мавританских зданий в Севилье и всегда оставался поборником кудрявой пестроты.

Кроме одного Росси, никто из наших членов не мог тогда назвать публичного памятника, который был созданием его творческой мысли. Другие занимались дотоле одними частными строениями, которые, доставляя им небольшую прибыль, мало умножали их известность. Только Модюи, получая от казны жалованье, решительно ничего не делал и обиделся, когда ему предложили совершенную перестройку придворных конюшен, в таком виде, в каком они ныне находятся. Стасов не поспесивился и хорошо сделал. Модюи же отвечал, что может принять на себя возведение только тех зданий, которые должны увековечить славу Александра, сделать их обоих бессмертными. Он нашел, однако же, средство быть действительно полезным: этим же летом принялся он за составление проектов для нового устройства внутренних населеннейших частей города. В них было еще много пустырей, обширных кварталов, одними садами и огородами занятых; через них стал он проводить линии и этим способом умножать сообщения и сближать расстояния. Все его планы были одобрены; но, увы, не ему было поручено их исполнение. Например, по его указаниям, по его рисункам, на месте грязного двора перед Аничковым дворцом устроена большая площадь со сквером, с Александрийским театром и с высокими вокруг него зданиями и пробита улица вплоть до Чернышева моста. По его же проекту с Невского проспекта от городской башни открыта новая Михайловская улица, ведущая к новой площади, в глубине коей должен был возвыситься Михайловский дворец и которой однообразные большие строения должны были служить рамой. Все это начато и окончено без него и даже после него.

---

<sup>92</sup> В. П. Стасов (1769—1848) — отец известного писателя по вопросам искусства, учился архитектуре во Франции, Италии и Англии в течение 5 лет, имел звание академика в Италии и в России. Построил по своему же плану здание лицея в Царском селе и много крупных зданий в Петербурге.

Не помню, в июне или в июле месяце этого года приехал из Парижа один человек, которого появление осталось вовсе незамеченным нашими главными архитекторами, но которого успехи сделались скоро постоянным предметом их досады и зависти. В одно утро на-шел я у Бетанкура белобрысого французика, лет тридцати не более, разодетого по последней моде, который привез ему рекомендательное письмо от друга его, часовщика Брегета. Когда он вышел, спросил я об нем, кто он таков? «Право, не знаю, — отвечал Бетанкур, — какой-то рисовальщик, зовут его Монферран. Брегет просит меня, впрочем не слишком убедительно, найти ему занятие, а на какую он может быть потребу?» Дня через три позвал он меня в комнату, которая была за кабинетом, и, указывая на большую вызолоченную раму, спросил, что я думаю о том, что она содержит в себе? «Да это просто чудо!» — воскликнул я. «Это работа маленького рисовальщика», — сказал он мне. В огромном рисунке под стеклом собраны были все достопримечательные древности Рима, Траянова колонна, конная статуя Марка Аврелия, триумфальная арка Септима Севера, обелиски, бронзовая волчица и проч., и так искусно группированы, что составляли нечто целое, чрезвычайно приятное для глаз. Всему этому придавало цену совершенство отделки, которому подобного я никогда не видывал. «Не правда ли, — сказал мне Бетанкур, — что этого человека никак не должны мы выпускать из России?» — «Да как с этим быть?» — отвечал я. «Вот что мне пришло в голову, — сказал он, — мне хочется поместить его на фарфоровый завод, там будет он сочинять формы для ваз, с его вкусом это будет бесподобно; да сверх того может он рисовать и на самом фарфоре». Он предложил это министру финансов Гурьеву, управляющему в то же время и кабинетом, в ведении коего находился завод. Монферран требовал три тысячи рублей ассигнациями, а Гурьев давал только две тысячи пятьсот; оттого дело и разошлось. Между тем он все становился со мною любезнее, до того, что я решился посетить его и мнимую его мадам Монферран, почти на чердаке, в небольшой комнате, в которую надобно было проходить через швальню портного Люилье. Он же делал для меня прекрасные маленькие рисунки, из которых, к сожалению, я ни одного у себя не оставил, а все раздарил в альбомы знакомым дамам. За то я и затевал для него выгодное место, которым должен был он остаться доволен.

Должность начальника чертежной берег я для Монферрана и чрезвычайно удивился, когда на сделанное мною о том предложение от Бетанкура получил отказ. «Он для такой должности еще слишком молод», — отвечал он. Я, однако же, не отступил и выторговал ему, по крайней мере, название старшего чертежника, правда, без жалованья, но с квартирою и с суммою, равную жалованью, в виде награждения или пособия ему, от комитета выдаваемою. Я должен был объяснить это Монферрану, который все с благодарностью готов был принять, как будто предвидя, что все это скоро должно перемениться.

Не выходя из скромной роли своей, Монферран между тем тайком трудился над чем-то важным. На словах государь просил Бетанкура поручить кому-нибудь составить проект перестройки Исаакиевского собора так, чтобы, сохраняя все прежнее здание, разве с небольшою только прибавкою, дать вид более великолепный и благообразный сему великому памятнику. Бетанкуру пришло в голову для пробы занять этим Монферрана, выдав ему план церкви и все архитектурные книги из институтской библиотечки. Что же он сделал? Выбирая все лучшее, усердно принялся списывать находящиеся в них изображения храмов, принаравливая их к величине и пропорциям нашего Исаакиевского собора. Таким образом составил он разом двадцать четыре проекта, или, лучше сказать, начертил двадцать четыре прекраснейших миниатюрных рисунка и сделал из них в переплете красивый альбом. Тут все можно было найти: китайский, индийский, готический вкус, византийский стиль и стиль Возрождения и, разумеется, чисто греческую архитектуру древнейших и новейших памятников.

Бетанкур представил государю монферрановский альбом, прося один из рисунков удостоить своим выбором. Государь на время оставил у себя альбом.

На другой день Бетанкур, с каким-то таинственным видом, позвал меня к себе в кабинет и наедине вполголоса сказал мне:

— Напишите указ придворной конторе об определении Монферрана императорским архитектором, с тремя тысячами рублей ассигнациями жалованья из сумм кабинета.

Я изумился и не мог удержаться, чтобы не сказать:

— Да какой же он архитектор? Он от роду ничего не строил, и вы сами едва признаете его чертежником.

— Ну, ну, — отвечал он, — так и быть; пожалуйста помолчите о том и напишите только указ.

Я собственноручно написал его, а государь подписал.

Не целую главу, а несколько страниц в каждой части сих Записок посвящаю я обыкновенно описанию современного состояния русского театра. Здесь достаточно мне будет на то несколько строк; ибо в предыдущей части довольно говорил я о нем, и остается только назвать несколько новых молодых талантов, тогда показавшихся, из коих некоторые и поныне украшают нашу сцену.

Особенно примечательны были два актера, Сосницкий в комедиях и Рамазанов в водевилях. Первому в цветущие лета удалось попасть в общество образованных людей; а как сверх того имел он и врожденное чувство светской пристойности, то первый явил себя на сцене молодым человеком, которого можно пустить в лучшую гостиную. Другой, Рамазанов, был живчик, который пел приятным голосом и весьма естественно играл не в шутовских, а в веселых и забавных ролях.

Главную актрисою в комедиях была Валберхова, весьма еще не старая и красивая, но не совсем, однако же, и молодая дева, дочь посредственного танцовщика Лесогорова, который перевел себя на немецкий язык, дабы внушить зрителям более к себе уважения. Она была, как уверяли, примерной нравственности, скромна, добродетельна и отказалась от брака для того, чтобы прилежнее заниматься воспитанием сирот, меньших братьев и сестер. Такие почтенные свойства вредили, однако же, ее таланту, когда приходилось ей играть ветреных кокеток. Прикованный не любовью, а сожиганием, привычкою и общими выгодами к другой актрисе, Шаховской тщетно, говорят, вздыхал у ног ее. Катерина Ивановна Ежова (мадам Жегова, как называли ее французские актеры) была женщина или девица хитрая и смелая. Домохозяйка его и мать его детей, она держала его, как говорится, в ежовых рукавицах: змеей обвилась она вокруг его огромного туловища. В ролях сердитых барынь на сцене заступила она место Рахмановой, которая по старости отошла на покой. К тому же и самый характер нового рода крикуньев мало походил на тот, который так искусно изображала Рахманова.

Также и в трагедиях играла Валберхова и, казалось бы, гораздо превосходнее, если какой-либо второстепенный талант мог бы выдержать сравнение с совершенством игры Семеновой. Ни в России, ни за границей в трагедии я никого выше ее не видал. На театре она казалась царицей среди подвластных ей рабов, и, по моему мнению, у нас не умели ей довольно дивиться. Стареющая Каратыгина иногда дерзала также показываться подле Семеновой; а неблагодарная публика, которая прежде, не видав лучшего, столько пленялась ею, смотрела уже на нее с отвращением. Ей обещано было новое, живейшее удовольствие: Гнедич и друг его Лобанов возвестили ей, что в трагедии, переведенной последним, будет она изумлена игрой молоденькой актрисы Степановой в роли Ифигении. Я видел это первое представление и заодно с публикой восторгов не ощутил и не изъявлял.

В отсутствии французской труппы не одни мелкие чиновники и гостинодворцы посещали русский театр, но и лучшее общество. Дабы видеть и слышать Семенову, соглашалось оно выносить неистового Яковлева, нашего простонародного Лекеня, который многие лета продолжал еще хрипеть и реветь перед зрителями. Для молодых ролей, за неимением лучшего, был некто Щеников; совсем не помню, когда он исчез и куда он девался. Еще один молодой купчик, Брянской, пошел в трагические актеры; он был не без дарований, говорил стихи очень внятно и речисто и мог бы, заступив место Яковлева, избавить нас от него, но, к сожалению, был чрезвычайно холоден. В это время более десяти лет уже находился он на сцене и о сю

пору, кажется, не покидал ее; после женился он на вышереченной Степановой, и она, благодаря сему союзу, и поныне еще в числе подставных актрис.

Примадонной в опере все оставалась меньшая Семенова, со столь же пышною красотой и со столь же тощим голосом. Первый тенор был все тот же славный Самойлов; второй тенор был молодой человек Климовский, как уверяли, из малороссийских дворян, воспитанный в придворной певческой школе; голос у него был слабее, чем у Самойлова, но еще приятнее, и музыку знал он лучше. После большого пожара старая Сандунова из Москвы бежала в Петербург и в нем осталась; ибо не было надежды, чтобы в старой столице театр мог скоро быть восстановлен. Она согласилась играть роли старух, однако же по нужде заставляли ее выполнять ролю весталки и другие, в которых был необходим ее уже не свежий, но еще сильный и чистый голос. Партию баса пел весьма не худо Злов, также в одно время с нею из Москвы приехавший певец.

Танцевальные зрелища лишились Дюпора, вместе с Жорж уехавшего во Францию. Неизменная чета Дидло опять осталась тогда одна, чтобы владычествовать в балетах. Двое молодых мальчиков, Люстих и Шемаев, обещали было сравняться с Дюпором, но не сдержали обещанного: поджилки скоро отказались им служить. Члены у русских бывают гибки только в первой молодости; до старости всегда готовы они и бывают в состоянии пахать и ратовать, но одним французам от природы дана привилегия до могилы ловко прыгать и вертеться. Доказательством тому может служить мусью Андре, которого в 1803 г. видели мы довольно пожилым французским актером и который, дабы не расставаться со сценою, в это время неумоимо продолжал плясать на ней, что, двадцать лет спустя, делает он и поныне. Именной список тогдашних русских артистов заключу я названием искусной танцовщицы и известной красавицы, девицы Истоминой, которая в продолжение многих лет пленяла зрителей и сводила с ума молодых офицеров. Она была причиною нескольких поединков между ними и даже смерти одного из них<sup>93</sup>.

В самом главном управлении театральном произошла тогда большая перемена. Вместе с князем Голицыным при Павле сослан был в Москву другой камергер, находившийся при наследнике, князь Петр Иванович Тюфякин, и вместе с ним был вызван по воцарении Александра. Как в характерах обоих князей-камергеров, так и в степени доверенности к ним государя была великая разница. Голицын был человек добродушный, отменно веселый, но степенный и смолоду склонный к набожности. Тюфякин был скучен, несносен, своенравен и знал одни только чувственные наслаждения. Видя себя обманутым в надежде сделаться любимцем царя, он с досады поселился в Париже и выезжал из него только во время разрыва Наполеона с Россией, впрочем, не возвращаясь в нее. В начале 1812 года для русских и в Европе уже не было места; во внимание к прежней если не службе, то преданности, государь наградил воротившегося в отечество блудного Тюфякина званием гофмейстера при дворе и вице-директора театральныи зрелищ. В конце 1814 г. Александр Львович Нарышкин должен был сопровождать императрицу Елисавету Алексеевну во время заграничного ее путешествия и, находя, что без французской труппы ему нечего делать, сохраняя звание главного директора, все управление свое передал в руки Тюфякина, а тот из них его более уже не выпускал. Каждому свое: в удел Голицына поступила церковь, Тюфякину достался театр<sup>94</sup>.

При начальнике, который вечером никогда не бывал в трезвом виде, власть Шаховского должна была умножиться. Его сожительница Ежова каждый вечер принимала у себя актрис, танцовщиц и воспитанниц театральной школы; преимущественно же последних, дабы дать им более ловкости в обращении. Несколько пожилых и большая часть молодых людей Петербурга добивались чести быть принятыми в ее салоне. Освещение его и угощение, по крайней мере чашкою чаю, сопряжены были с издержками. Какими средствами вознаграждала она себя за

<sup>93</sup> А. И. Истомина воспел Пушкин в «Евгении Онегине». Из-за нее дрались на дуэли В. В. Шереметьев и А. П. Завадовский, при чем первый был убит. В связи с этой дуэлью состоялась позднее дуэль между декабристом А. И. Якубовичем и А. С. Грибоедовым, которому первый прострелил левую руку.

<sup>94</sup> Даже в день смерти Тюфякин спросил: «А Планшетт танцует сегодня?»

них, мне не известно. Из вседневных посетителей сих составлялись дружины хлопунцов, с которыми автор-хозяин всегда мог быть уверен в победе. Если литературная слава его чрез то несколько увеличивалась, зато честь его жестоко страдала от этого.

Эти, сначала столь послушные посетители, видно, приобретая большие права, сделались вдруг смелы и взыскательны. Часто доставалось от них бедной Ежовой, говорят, даже самому Шаховскому, до того, что они принуждены были, наконец, прекратить свое гостеприимство. Вот до чего иногда доводит сила страстей, даже самых дозволенных, по-видимому, самых полезных просвещению. И теперь без душевного сожаления не могу вспомнить об этой эпохе жизни слабого, доброго князя, которого после пришлось мне так много любить.

Пока неуважение света и даже знакомых постигало его, избранный им спокойный и безответный его противник Жуковский все более возвышался в общем мнении. Ему, отставному титулярному советнику, как певцу славы русского воинства, по возвращении своем государь пожаловал богатый бриллиантовый перстень с своим вензелем и четыре тысячи рублей ассигнациями пенсией. Такую блестящую награду сочла «Беседа», не знаю почему, для себя обидною; а «Арзамас», признаться должно, имел слабость видеть в этом свое торжество.

Другое сильнейшее горе ожидало «Беседу». В начале 1816 года Карамзин, не бывший в Петербурге более двадцати пяти лет, приехал в сопровождении Вяземского и Василия Львовича Пушкина. Сам государь принял его отлично, можно сказать, дружелюбно. На издание уже написанных им восьми томов «Истории Государства российского» велел отпустить ему шестьдесят тысяч рублей ассигнациями да, сверх того, с чином статского советника, дал ему прямо Аннинскую ленту. Петербург — город придворный, казенный; пример царя сильно действует в нем на людей; тут подражать было не трудно: под предлогом уважения к личным достоинствам Карамзина, удивления к его талантам все наперерыв стали оказывать ему почтительные ласки. Творение свое хотел он печатать в Петербурге, и для того, на время возвратясь в Москву, следующую осенью прибыл он со всем семейством своим и остался в нем.

В этой главе хочется мне, кстати, досказать повесть о «Беседе» и «Арзамасе», хотя для того и должен буду выступить за пределы 1816 года. «Беседа» в этом году как будто исчезла, совсем пропала без вести. Единственное заседание ее, на коем я присутствовал, было едва ли не последнее; если потом и были они, то не публичные и, верно, очень редко, ибо о них и слуху не было. Единственный свет, ее озарявший, слабел и тихо угас на берегах Волхова: летом Державин заснул вечным сном в деревне своей Званке, невольно осудив на то и «Беседу». Божество отлетело, и двери во храм его навсегда затворились.

Когда старуха «Беседа» в изнеможении сил близилась к концу, в то же самое время молодой соперник ее все более крепился и мужал. Век его был тоже короток, но он оставил по себе долгие воспоминания. Новых членов, коими он обогащался, да позволено мне будет назвать здесь по порядку, неизвестных же читателю стараться познакомить с ним.

Первые им воспринятые были прибывшие из-за границы два дипломата. По летам своим Петр Иванович Полетика мог некоторым образом почитаться нам ровесником, но он всегда был старообразен: ему не было еще сорока лет, а казалось гораздо за сорок, и потому он не совсем подходил под стать к людям, из коих составлялась не академия, а общество довольно молодых еще, пристойных весельчаков. Он родом происходил от одного из греческих семейств, поселенных в Нежине; отец его или дед, если не ошибаюсь, был последним архитектором, то есть тем, что мы ныне называем генерал-штаб-доктором.

Служа в иностранной коллегии, состоял он при разных миссиях и изъездил почти весь свет. Он был собою не виден, но умные черты лица и всегда изысканная опрятность делали наружность его довольно приятною. Исполненный чести и прямодушия, он соединял их с тонкостью, свойственною людям его происхождения и роду службы его; откровенность его, совсем не притворная, была, однако же, не без расчета; он так искусно, шутивно, необидно умел говорить величайшие истины людям сильным, что их самих заставлял улыбаться. Он не имел глубоких познаний, но в делах службы и в разговорах всегда виден был в нем сведущий человек. Не зная вовсе спеси, со всеми был он обходителен, а никто не решился бы забыться



перед ним. Всеми был он любим и уважаем, сам же ни к кому не чувствовал ненависти, и если чуждался запятнанных людей, то старался и им не оказывать явного презрения. К сожалению моему, одержим он был сильною англomanией, и этот недостаток, в глазах моих делаая его несколько похожим на методиста или квакера, придавал ему, однако же, много забавно-почтенной оригинальности. Вообще я нахожу, что благоразумнее его никто еще не умел распорядиться жизнью; он умел сделать ее полезною и приятною как для себя, так и для знакомых. Из-за морей иногда показывался он в Петербурге и потом вдруг исчезал из него; во время сих быстрых появлений коротко познакомился он с сослуживцами своими, Дашковым и Блюдовым; мне также не раз случалось с ним встречаться и разговаривать. Лишь только узнали о его приезде, единогласно, громогласно призвали его в наше общество. Он мало занимался русскою литературой, хотя довольно хорошо ее знал; но, я повторяю, не одни литераторы нам были нужны. Его бы следовало принять почетным членом: тогда их у нас еще не было, все были одни действительные, и нареченный Очарованным Челном, не знаю как-то ускользнул он от обязанности произнести вступительную речь. Недолго насладились мы его обществом: следующей весной назначен был он советником посольства в Лондон.

Вместе с ним из Мадрида и Парижа приехал один юноша, впрочем лет двадцати пяти, приятель Дашкова. Отец Дмитрия Петровича Северина, Петр Иванович, служил когда-то капитаном гвардии Семеновского полка в одно время с Иваном Ивановичем Дмитриевым. В дни добродушной старины нашей достаточно было товарищества по службе, чтобы составить дружественные связи между людьми совершенно разных свойств. Дмитриев был приятелем Северина и еще более жены его, гораздо умнее и просвещеннее мужа своего. Из этого заключали, что он был ее любовником, и даже приписывали ему родительские права на рожденного от нее сына, хотя она была горбата и настоящий урод. Это была суцая ложь, а не клевета: ибо Дмитриева никто не думал осуждать за такое молодечество.

Спросят, почему Северин был немец, когда в фамильном имени его нет ничего немецкого? Почему капитан гвардии был сын портного? Последний вопрос никто не сделает ныне, когда в России искусная маршировка доводит до высоких чинов. Во время же оно гвардия была военно-придворный штат; для того чтобы удостоиться чести быть в ней офицером, нужны были известное имя и большое покровительство. Чье же имя может быть известнее, если не людей, прославившихся в ремеслах? Не все же пером да мечом; игла и шило также доставляли тогда славу. По одним преданиям и по стихам Дмитриева знаю только я Кроля. Швальная же знаменитость Занфтлебена, закройщика Зеленкова и особенно сапожника Брейтигама мне очень памяты: молодые франты моего времени ими только и клялись. Кто помнит их ныне? И сколько преемников их потонуло в забвении! И, кажется, даже сам мусью Буту, перед которым гораздо позднее так благоговела молодежь. *Sic transit gloria mundi* [Так проходит слава мирская]. По крайней мере эти люди умели наживать деньги и наживать трехэтажные каменные дома, предоставляя потомкам добывать чести. О портном Северине могли дойти до меня только темные слухи и то по случаю знакомства моего с его почтенным внуком. Он был счастливее других собратий своих, ибо слава имени его, скромно возникшая на катке, сияет ныне в посольствах; жаль только, что бесплодие Дмитрия Петровича не позволяет надеяться, чтоб она перешла из рода в род.

Когда Дмитриев назначен был министром юстиции, то отцу-Северину, бывшему при Павле белорусским губернатором, выпросил он сенаторство, а сына определил к себе в канцелярию и дал у себя квартиру. Хотя мальчик вообще был чрезвычайно гибок перед начальством, находили на него иногда бешеные минуты, в которые с высшими делался он также высокомерен и дерзок, как с низшими. Дмитриев не переставал быть щекотливым, а избалованный Северин стал забываться, и после двухлетнего сожития, в одно утро, последний был внезапно изгнан своим покровителем. С его же помощью был он потом определен в иностранную коллегию и получил место в Гишпании, откуда воротился с Полетикой. Что сказать мне о сем новом сочлене нашем? В сокращенном виде был он Уваров, с тою, однако, великою разницею, что последний был знатнее родом, гораздо красивее, во сто раз умнее и богаче и даже добродушнее его. Я думаю оттого, что безмерные притязания Уварова давно уже обратились в права, а Северина и поныне еще

терзает неудовлетворенное честолюбие. С нами по крайней мере не мог и не умел он позволять себе ничего резкого. Кто же в первой молодости был совершенно зол? Счастье почти всегда ласкает юность, да и самые неудачи так скоро забываются посреди тысячи развлечений, тысячи наслаждений. В это время худенький Северин был точно на молоке испеченный и от огня слегка подрумяненный сухарь. С годами взволнованная желчь, разливаясь по жилам и чертам его в самый неприятный цвет, наконец, окрасила его лицо. Вот его наружность. Что касается до характера, это было удивительное слияние дерзости с подлостью; но надобно признаться — никогда еще не видал я холопство, облеченное в столь щеголеватые и благородные формы. У него были и литературные права: благоволявший к нему Жуковский имел слабость чью-то басенку в восьми стихах напечатать под его именем в собрании русских стихотворений. Он был совоспитанник Вяземского, товарищ по службе Дашкова, приятелем обоих, и потому-то двери «Арзамаса» открылись пред ним настезь.

Сейчас только что назвал я Вяземского, а он тут и является. Он и В. Л. Пушкин, как сказал я выше, приехали в Петербург вместе с Карамзиным и месяца через два с ним же воротились в Москву. В сие короткое время один усладил, а другой потешил «Арзамас» своим присутствием. Весело и совестно вспомнить ныне проказы людей, хотя еще молодых, но уже совсем не мальчиков: кто из тридцатилетних теперь позволит себе так дурачиться? В первой части говорил уже я о первой встрече моей с Васильем Львовичем Пушкиным, о метромании его, о его чрезмерном легковерии; здесь нужно прибавить, в похвалу его сердца, что всегда верил он еще более доброму, чем худому. Знакомые, приятели употребляли во зло его доверчивость. Кому-то из нас вздумалось, по случаю вступления его в наше общество, снова подшутить над ним. Эта мысль сделалась общим желанием, и совокупными силами приступлено к составлению странного, смешного и торжественного церемониала принятия его в «Арзамас». Разумеется, что Жуковский был в этом деле главным изобретателем; и сие самое доказывает, что в этой, можно сказать, семейной шутке не было никакого дурного умысла, ничего слишком обидного для всеми любимого Пушкина. Ему возвестили, что непосвященные в таинства нашего общества не иначе в него могут быть приняты как после довольно трудных испытаний, и он согласился подвергнуть им себя. Вяземский успел уверить его, что они совсем не безделица и что сам он весьма утомился, пройдя через все эти мытарства. Жилище Уварова, просторное и богато убранное, могло одно быть удобным для представления затеваемых комических сцен. Как странствующего в мире сем без цели, нарядили его в хитон с раковинами, надели ему на голову шляпу с широкими полями и дали в руку посох. В этом наряде, с завязанными глазами, из парадных комнат по задней, узкой и крутой лестнице свели его в нижний этаж, где ожидали его с руками полными хлопущек, которые бросали ему под ноги. Церемония, потом начавшаяся, продолжалась около часа: то обращались к нему с вопросами, которые тревожили его самолюбие и принуждали морщиться; то вооружали его луком и стрелой, которую он должен был пустить к чучелу с огромным париком и с безобразною маской, имеющую посреди груди написанный на бумаге известный стих Тредьяковского:

Чудище обло, озорно, трезовно и лаяй.

Сие чудище, повергнутое после выстрела его на пол и им будто побежденное, должно было изображать дурной вкус или Шишкова. Потом заставили его, поддержанного двумя аколитами [служками в древнехристианской церкви], пронести на блюде огромного замороженного гуся, а после того... всего не припомню. Между всеми этими проделками члены произносили ему речи назидательные, ободрительные или поздравительные. В заключение из темной комнаты, в которой он находился, в другую длинную, ярко освещенную отдернулась огненного цвета занавесь, ее скрывавшая, он с торжеством вступил в собрание и сказал речь весьма затейливую и приличную. Когда после я спросил его, не досадовал ли он, не скучал ли он сими продолжительными испытаниями? Совсем нет, отвечал, *s'étaient d'aimables allégories* [это были приятные аллегии]. Подите же после того: родятся же люди как будто для того, чтоб трунили над ними.

В протоколе, который прочитал потом секретарь Жуковский, прописан был весь этот обряд, в предыдущем заседании якобы совершенный над Вяземским. При этом все члены, исключая новопринятого, приступили с требованием на будущее время отменить его, как тягостный для вступающих, так и довольно убыточный для вступивших. Недоставало баллад, чтоб давать их названия новым членам; довольствовались тем, чтобы для того брать из них примечательные имена и слова: вот почему в это же, кажется, заседание Вяземский наречен «Асмодеем», Пушкин стал называться «Вот», а Северин удачно прозван «Резвым Котом». И действительно, этот ныне старый, тощий кот был тогда ласков, по крайней мере, с приятелями, и про них держал в запасе когти, но не выпускал их и в самых манерах имел еще игривость котенка.

В следующее заседание приглашены были некоторые более или менее знаменитые лица: Карамзин, князь Александр Николаевич Салтыков, Михаил Александрович Салтыков — известные моему читателю, и, наконец, Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий. Все они, вместе с отсутствующим Дмитриевым, единогласно выбраны почетными членами или почетными гусями: титул сей, разумеется, предложен был Жуковским. В это время только удалось мне видеть Нелединского, невысокого роста, умного, веселого, толстенького старичка, исполненного нежнейшей чувствительности и предававшегося самой грубой чувственности, написавшего немного прелестных стихов и, к сожалению, так много непотребных.

В этот же день потешили и Пушкина. Некогда приятель и почти ровесник Карамзина и Дмитриева, сделался он товарищем людей, по меньшей мере, пятнадцатью годами его моложе. Надобно им было чем-нибудь отличить его, признать какое-нибудь первенство его перед собою. И в этом деле помог Жуковский, придумав для него звание старосты «Арзамаса», с коим сопряжены были некоторые преимущества. Из них некоторые были уморительные и остались у меня в памяти; например: место старосты «Вота», когда он налицо, подле председателя общества, во дни же отсутствия — в сердцах друзей его; он подписывает протокол... с приличною размахкой; голос его в нашем собрании... имеет силу трубы и приятность флейты, и тому подобный вздор.

Я полагаю, что если б это общество могло ограничиться небольшим числом членов, то оно жило бы согласнее и могло долее продлить свое веселое существование; но Жуковский беспрестанно вербовал новых. Необходимо их представить здесь.

Первого назову я Дмитрия Александровича Кавелина. Гораздо старше Жуковского, он, однако же, учился с ним вместе в Московском университетском пансионе, который оставил он несколько годов прежде него. Он принадлежал к партии Сперанского, находился под покровительством и в тесной дружбе с Магницким. Он никогда не был выскочкою, держал себя тихо, скромно, удалялся от общества, оттого, может быть, не увлечен был их падением и сохранял значительное место директора медицинского департамента. Но без них он как бы осиротел и, как кажется, желал составить новые связи, пристать к чему-нибудь, к кому-нибудь. Придравшись к прежнему соученичеству, он очень ласкался к Жуковскому и предложил ему печатать его сочинения в типографии своего департамента. Он был человек весьма неглупый, с познаниями, что-то написал, казался весьма благоразумным, ко всем был приветлив, а, не знаю, как-то ни у кого к нему сердце не лежало. Действующее лицо без речей, он почти всегда молчал, неохотно улыбался и между нами был совершенно лишний. Жуковский наименовал его «Пустынником». Безнравственность его обнаружилась в скором времени; постыдные поступки лет через семь или восемь до того обесславили его, что все порядочные люди от него удалились, и в России, где общее мнение ко всем так снисходительно, к нему одному осталось оно немилосердно. Как будто сбылось пророчество Жуковского: около него сделалась пустыня, и он всеми забыт.

Одного только члена, предложенного Жуковским, неохотно приняли. Не знаю, какие предубеждения можно было иметь против Александра Федоровича Воейкова. Я где-то сказал уже, что наш поэт воспитывался в Белевском уезде, в семействе Буниных. Катерина Афанасьевна Бунина, по мужу Протасова, имела двух дочерей, которые, вырастая с ним, любили его

как брата; говорят, они были очаровательны. Меньшая<sup>95</sup> выдана за соседа, молодого помещика Воейкова, который также писал стихи, и оттого-то у двух поэтов составилось более чем приязнь, почти родство. Совершенная разница в наружности, чувствах, обхождении супругов, конечно, бросалась в глаза: он был мужиковат, аляповат, неблагороден; она же настоящая Сильфида, Ундина, существо неземное, как уверяли меня (ибо я только вскользь ее видел). Неужели это ему ставили в вину? Да какое неуклюжество не простил бы я, кажется, за ум; а в нем было его очень много. В душе его не было ничего поэтического, и стихи, столь отчетливо, столь правильно им написанные, не произвели никакого впечатления, не оставили никакой памяти даже в литературном мире. Лучшее произведение его был перевод «Делиллевых садов». Как сатирик имел он истинный талант; все еще знают его «Дом сумасшедших», в который поместил он друзей и недругов: над первыми смеялся очень забавно, последних казнил без пощады. Он был вольнопрактикующий литератор, не принадлежал ни к какой партии, ни к какому разряду, и потому-то мне не случилось доселе упомянуть о нем. Никто, может быть, так хорошо не знал русскую словесность; доказательством любви его к ней служит принятие звания профессора ее в Дерптском университете. Это всех удивило и многим не понравилось; наши дворяне, и особенно старинные, как он, гнушались тогда всем, что походило на учительство: они не были современниками Гизо и Шевырева. Воейков никак не обиделся данным ему у нас названием «Дымной печурки».

Еще одного деревенского соседа, но вместе с тем парижанина в речах и в манерах, поставил Жуковский в «Арзамас». В первой молодости представленный в большой свет Александр Алексеевич Плещеев пленил его необыкновенным искусством подражать голосу, приемам и походке знакомых людей, особенно же мастерски умел он кривляться и передразнивать уездных помещиков и их жен. С такую способностью нетрудно было ему перенять у французов их поговорки, все их манеры; и сие делал он уже не в шутку, так что с первого взгляда нельзя было принять его за русского.

Дочь фельдмаршала графа Ивана Григорьевича Чернышева, фрейлина Анна Ивановна после смерти отца перед целым двором обнаружила стыд свой; чтобы прикрыть его, строгий, а иногда и снисходительный, император Павел велел скорее приискать ей жениха. Плещеев был вхож в дом ее родителя; за него первого взялись, и он тут очень кстати случился.

После того молодые супруги удалились в Орловскую губернию и при жизни ее никогда не возвращались в Петербург.

В сельское убежище свое перенесли они часть столичных забав, к коим приучена была ее знатность: сюрпризам, домашним спектаклям, *fêtes champêtres* [сельские праздники], маскарадам конца не было. Плещеев был от природы славный актер, сам играл на сцене и других учил; находили, что это чрезвычайно способствовало просвещению того края. Только брачные узы забавнику, как говорят, не всегда казались забавны: они были блестящие и столь же тяжкие для него оковы. Графиня не забывала свой титул и была чрезвычайно взыскательна с мужем-дворянином. Деревня их находилась в соседстве с Белевым, а сверх того и госпожа Протасова по мужу приходилась теткой Плещееву, почему и Жуковский всегда участвовал в сих празднествах. Когда, овдовев, Плещеев приехал в Петербург, он возвестил нам его как неисчерпаемый источник веселий; а нам то и надо было. Сначала действительно он всех насмешил, но вскоре за пределами фарсы увидели совершенное ничтожество его. По смуглому цвету лица всеобщий креститель наш назвал его «Черным Враном»; наскучило, наконец, слушать этого ворона даже тогда, когда он каркал затверженное, а своего уже ровно у него ничего не было. Ему было повезло: он попал в чтецы к императрице Марии, сделан камергером и членом театральной дирекции; а после Бог знает, что из него вышло.

По заочности были приняты еще два члена: К. Н. Батюшков, как уже сказал я, под именем «Ахилла», и партизан-поэт Денис Васильевич Давыдов, под именем «Армянина». Первый

---

<sup>95</sup> Знаменитая А. А. Воейкова-Светлана. О ней Вигель позже писал Жуковскому в восторженном духе. Старшая дочь Протасовой — М. А. Мойер (жена профессора в Дерпте) была любима Жуковским и любила его. Мать не хотела их брака ввиду их родства.

следующею осенью обрадовал нас своим приездом, последнего никогда мы меж себя не видали. Он находился в Москве: там вместе с Вяземским и Пушкиным составили они отделение «Арзамаса», и заседания их посещали Карамзин и Дмитриев. Новых членов они не набирали без согласия горного «Арзамаса», не имея на то права.

Я все откладывал говорить о некоторых членах, вступивших в «Арзамас», как ныне полагать должно, с дурными замыслами. Тяжко мне изображать людей, возбуждивших во мне приязнь и уважение, после прославивших себя преступными заблуждениями, но коих память, несмотря на то, все еще осталась мне любезна.

Не стану здесь повторять того, что говорил я о двух братьях Тургеневых, Андрее и Александре (об одном, погибшем во цвете лет; о другом, погубившем в себе способности и знания чрезмерною леностью ума и деятельностью тщеславия). У них был еще третий брат Николай, несколькими годами моложе Александра. Искаженная вера, мартинизм, вольнолюбие восседали у колыбели сих братьев, баюкали их младенчество. Честолюбие, между тем, в каждом из них развивалось с годами в разных видах и в разных степенях. Определенный в службу по иностранной коллегии, Николай Тургенев получил бессрочный отпуск и отправился в Геттинген, когда все немцы кипели справедливым, но тайным гневом на истребителя не только независимости их, но и самого названия Германии. Под именем Рейнского союза, составленного из подданных корольков, она не простиралась даже до Одера, а весь север ее до Любека присоединен был к Франции. Воспрянуть было невозможно: цвет юношества, все жизненные силы государства искусным Наполеоном отрываемы были от родины, и мужество их только что более умножало порабощение их отечества. В университетах сильнее других профессора и студенты томилась жаждою свободы и горели желанием мести. Среди тайных заговоров созрел и возмужал наш Тургенев, пристал к известному либералу барону Штейну и в 1812 году приехал с ним в Петербург. С ним опять поехал он в Германию, чтобы жителей возбуждать к восстанию, что было весьма нетрудно, но опять повторю, не знаю, было ли это необходимо нужно. Он следовал за нашею армией, употреблен был для разных поручений и в 1816 году окончательно воротился в Россию.

Он не имел высоких дарований старшего брата своего Андрея, а заменял их постоянным трудолюбием. Имея врожденное чувство любви к человечеству, оно в нем было усилено правилами какой-то превыспренней филантропии, с ранних лет ему преподанными. По возвращении в отечество, нашед, что в нем усердно поклоняются кумиру его, свободе, расчел он, что пришло время освобождения от рабства освободителей Европы, — мысль столь же прекрасная, как и безрассудная! С бесчисленными теориями уже являлось к нам множество иностранцев, совершенно не знавших народного духа России, ни пороков, ни доблестей ее жителей, ни доброй, ни худой их стороны, не подозревающих неодолимых препятствий, которые законодатель должен встретить, если бы дерзнул приступить к совершенному ее преобразованию. Все смотрят на пример Петра Великого и полагают, что у нас стоит только приказать, дабы все изменилось. Он остриг только верхушки дерев, а до корней и он не смел коснуться. К числу сих иноземных можно приписать и Тургенева, который образовался за границею. Но он искренно, усердно любил Россию, уважал своих соотечественников и в разговорах со мною сколько раз скорбел о том, что чужеземцы распоряжаются у нас как дома. Хорошо, если б и другие русские, подобно ему, перенимали за границей у европейских народов любовь их к отчизне; но это дается только тем из них, кои по чувствам и по мыслям стоят гораздо выше толпы обыкновенных путешественников наших.

Не знаю, случай или природа, сделав его хромым, осудили его более на сидячую и уединенную жизнь и отдалили от общества, где мнения, встречая сопротивление, несколько умягчаются и смягчаются. К тому же он был одарен великою твердостью (обратившеюся после в ужасное упрямство), а это людям почти всегда дает верх над другими. Старший брат его, Александр, обратился и в кадило, вечно перед ним курящееся, и в трубу, гремящую во все концы хвалы его гениальности. А он просто был человек с основательными познаниями, с благими намерениями и несбыточными мечтами.

Надобно, чтобы наперед ты сам себя уверил, что ты великий муж, потом смело возвести о том: одни по рассеянности, другие по лени поверят тебе, а когда и очнутся, то дело уже сделано, законность притязаний твоих всеми признана. Так часто водится у нас в России. Однако же надобно и признаться, что Тургенев имел в себе нечто вселяющее к нему почтительный страх и доверенность; он был рожден, чтобы властвовать над слабыми умами. Сколько раз случалось мне самому видеть военных и гражданских юношей, как Додонский лес, посещающих его кабинет и с подобострастным вниманием принимающих непонятные для меня слова, которые, как оракулы, падали из уст новой Сивиллы. Все тешило тогда Тургенева, все улыбалось ему. В чине надворного советника назначен он на место действительного статского советника графа Ламберта начальником отделения канцелярии министра финансов<sup>96</sup> и в то же время помощником статс-секретаря в Государственном совете. Все это, по мнению его друзей, были только первые шаги, которые, несомненно, немедленно должны были повести его к званию министра, а ему было только что двадцать шесть лет от роду. Однако же, хотя после и получал он чины и кресты, выше сих должностей никогда других не занимал он; читая же изданное им в Париже сочинение, можно подумать, что он действительно управлял у нас каким-нибудь министерством.

По тесным связям Александра Тургенева с другими членами, был он принят в «Арзамас» как родной, и, кажется, ему самому в нем полюбилось. Тут он нашел нечто похожее на немецкую буршеншафт людей уже довольно зрелых, не забывающих студенческие привычки. В нем не было ни спеси, ни педанства; молодость и надежда еще оживляли его, и он был тогда у нас славным товарищем и собеседником. В душевной простоте своей Жуковский, как будто всем предрекая будущий жребий их, дал Николаю Тургеневу имя убийцы и страдальца «Варвика». Он не скрывал своих желаний и хотя ясно видел, что ни один из нас серьезно не может разделять их, не думал за то досадовать. Вскоре, движимый одинаковыми с ним чувствами, вступивший к нам новый член был гораздо его предприимчивее.

В первые годы царствования Екатерины престол ее тесно окружали пять братьев-младцев, из коих особенно трое были и ее любимцами и любимцами народа русского. Четверо из них были женаты, но или не имели детей, или законное их потомство мужеского пола в первом поколении прекратилось. Один только, холостой Федор, воспетый Державиным орел

Из стаи той высокой.  
Котора в воздухе плыла  
Впреди Минервы светлоокой,  
Когда она с Олимпа шла,

имел четырех сыновей, которые родством и дородством, мужеством и красотой могли равняться с ним и с братьями его. Я видел их, когда, сам почти малолетний, посещал я малолетних товарищей моих Голицыных в пансионе аббата Николя, где они вместе с ними воспитывались. С двумя меньшими, Григорием и Федором Орловыми, тогда и после я вовсе не был знаком, с двумя старшими, Алексеем и Михаилом, весьма мало, но случалось встречать их в обществах и говорить с ними. Все четверо взялись за военное ремесло, все четверо, не с большим двадцати лет, украшены были Георгиевским крестом; двое же меньших, именно те, с коими не был я знаком, остановлены были на пути славы ядрами, оторвавшими у каждого по ноге; один запропастился в России, другой поселился, говорят, в Италии. Итак, остается мне говорить лишь о старших, или, лучше сказать, об одном, и разве коснуться только другого.

Завидна была их участь в юности; завиднее ее не находил я. Молоды, здоровы, красивые, храбры, богаты, но не расточительны, любимы и уважаемы в первых гвардейских полках, в которых служили, отлично приняты в лучших обществах, везде встречая нежные улыбки женщин, — не знаю, чего им не доставало. Судьба, к ним столь щедрая, спасла их даже от

<sup>96</sup> Это место было некогда мне предложено и обещано, когда я был еще моложе его и в одинаковом с ним чине. — *Авт.*

скуки, которую рождает пресыщение: они всем вполне наслаждались. Им стоило бы только не искушать фортуны напрасными затеями, а с благодарностью принимать ее дары. Старший брат, Алексей, это и делал<sup>97</sup>. А второму, Михаилу, исполненному доброты и благородства, ими дышащему, казалось мало собственного благополучия: он беспрестанно мечтал о счастье сограждан и задумал устроить его, не распознав, на чем преимущественно оно может быть основано.

Когда я гляжу на Алексея Федоровича Орлова, ныне графа, мне кажется, я вижу раззолоченную, богатыми тканями изукрашенную ладью. Зефиры надувают парусы ее, и она спокойно и весело плывет по течению величественной реки между цветущих берегов; и она будет столь же беспечно плыть, я уверен в том, до того самого предела, за которым исчезает весь род человеческий. Там погрузится она только

Au sein de ces mers inconnues,  
Où tout s'abîme sans retour<sup>98</sup>.

А бедный брат его, как ладья, тяжелым грузом дум обремененная, отважно пустился в море предприятий и расшибся о первый подводный камень.

С первого взгляда в двух братьях-силачах заметно было нечто общее, фамильное; но при малейшем внимании легко можно было рассмотреть во всем великую разницу между ними. С лицом Амура и станом Аполлона Бельведерского у Алексея приметны были мышцы геркулесовы; как лучи постоянного счастья и успехов, играли румянец на щеках и вечная улыбка на устах его. Красота Михаила Орлова была строгого стиля, более мужественная, более величественная. Один был весь душа, другой — весь плоть; где же был ум? Я полагаю, в обоих. Только у Алексея был совершенно русский ум: много догадливости, смывленности, сметливости; он рожден был для одной России, в другой земле не годился бы он. В Михаиле почти все заимствовано было у Запада: в конституционном государстве он равно блистал бы на трибуне, как и в боях; у нас под конец был он только что сладкоречивым, приятным салонным говоруном.<sup>99</sup>

Однако же и в России тогда уже был он хотя самым молодым, но совсем не рядовым генералом. Император имел о нем высокое мнение и часто употреблял в важных делах. В день монмартрского сражения его послал он в Париж для заключения условий о сдаче сей столицы. После того отправлен был он к датскому принцу Христиану, объявившему себя норвежским королем, дабы уразуметь его и заставить примириться со Швецией и Бернадотом. И такой препрославленный человек пожелал быть с нами! С восторгом приняли мы его. Не знаю почему, я думаю, по плавным речам его, как чистые струи Рейна, у нас получил он название сей реки.

Я говорил и даже с похвалою об отсутствующем сыне Катерины Федоровны Муравьевой, Никите Михайловиче. После войны этот юноша воротился к матери, полон радости и надежд. В звании офицера генерального штаба года два или три сряду сражался он за независимость Европы; тиран, ее угнетавший, пал, и все обещало в непродолжительном времени ей и отечеству его окончательное освобождение от всякого поносного ига. Бедный Муравьев! Как не быть иногда фаталистом, когда видишь людей, которых судьба как будто насильно, взяв за руку, влечет к бедам и гибели? Добродетельный отец Муравьева был кроткий философ

<sup>97</sup> Он хорошо и успешно делал придворную карьеру. Много помог Николаю Первому в день 14 декабря 1825 г. и был осыпан за это милостями, используя их и для облегчения участи брата Михаила, который благодаря ему избег участи товарищей — каторги.

<sup>98</sup> В лоно тех неведомых вод,

Куда все низвергается безвозвратно (*фр.*).

<sup>99</sup> М. Ф. Орлов был выдающийся оратор — сохранилось несколько ярких речей его (до 1825 г.) о вреде крепостного права и т. п. Это был один из образованнейших людей своего времени. В «Арзамасе» выступал он с политическими речами, предлагал издавать политический журнал «для распространения идей свободы». Он был женат на сестре жены декабриста Волконского — Е. Н. Раевской. Помилуванный Николаем, он прозябал в Москве до смерти (1842, род. 1788).

и друг свободы, которого утопии остались наследием его семейства; злая мать его была недовольна государем и вечно роптала на самодержавную власть; наконец, нечестивый Магйер (которого прошу вспомнить) с младенчества старался якобинизировать его. Случай свел его в Париже с Сиэсом и, что еще хуже того, с Грегуаром. Французская революция, точно так же, как история Рима и республик средних веков, читающему новому поколению знакома была по книгам. Все действующие в ней лица унесены были кровавым ее потоком; из них небольшое число ее переживших молниеподобным светом, разлитым Наполеоном, погружено было во мрак, совершенно забыто. Встреча с Брутом и Каталиной не более бы поразила наших русских молодых людей, чем появление сих исторических лиц, как будто из фобов восставших, дабы вещать им истину. Все это сильно подействовало на просвещенный наукою, но еще незрелый и неопытный ум Муравьева: он сделался отчаянным либералом.

Слово либерализм в это время только что начало входить в употребление. Что значило оно? В настоящем смысле щедрость; только оно проистекало от другого слова, *liberté*, то есть свобода. Наши тогдашние либералы были действительно люди щедрые, не то что нынешние, коим по большей части нечего терять. Почти все те, с коими тогда я был знаком, были молодые люди с богатым состоянием, по службе на прекрасной дороге, которым в настоящем порядке вещей будущее сулило всякого рода успехи; и всем этим готовы были они пожертвовать. Чему? Идее. Одним словом, они готовы были, вопреки пословице, променять ястреба на кукушку, бессмысленно твердящую одно имя — свобода. Ими населена была гостиная госпожи Муравьевой, а как все арзамасцы были также частыми ее посетителями, то сын ее без всякого затруднения поступил в их общество. Ему одному только не помню я, какое дал прозвание Жуковский [«Адель стан»].

В начале 1817 года был весьма примечательный первый выпуск воспитанников из Царскосельского лицея; немногие из них остались после в безызвестности. Вышли государственные люди, как, например, барон М. А. Корф, поэты, как барон А. А. Дельвиг, военнoученые, как В. Д. Вальховский, политические преступники, как В. К. Кюхельбекер. На выпуск же молодого Пушкина смотрели члены «Арзамаса» как на счастливое для них происшествие, как на торжество. Сами родители его не могли принимать в нем более нежного участия; особенно же Жуковский, восприемник его в «Арзамасе», казался счастлив, как будто бы сам Бог послал ему милое чадо. Чадо показалось мне довольно шаловливо и необузданно, и мне даже больно было смотреть, как все старшие братья наперерыв баловали маленького брата. Почти всегда со мною так было: те, которых предназначено мне было горячо любить, на первых порах знакомства нашего мне казались противны. Спросят: был ли и он тогда либералом? Да как же не быть восемнадцатилетнему мальчику, который только что вырвался на волю, с пылким поэтическим воображением и кипучею африканскою кровью в жилах, и в такую эпоху, когда свободомыслие было в самом разгаре. Я не спросил тогда, за что его называли «Сверчком»; теперь нахожу это весьма кстати: ибо в некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах лицея, прекрасными стихами уже подавал он оттуда свой звонкий голос. Я здесь не буду более говорить об Александре Сергеевиче Пушкине: глава эта и так уже слишком растянута. О, если б я мог дописаться до счастливого времени, в которое удалось мне узнать его короче! Его хвалили, бранили, превозносили, ругали. Жестоко нападая на проказы его молодости, сами завистники не смели отказывать ему в таланте; другие искренно дивились его чудным стихам, но немногим открыто было то, что в нем было, если возможно, еще совершеннее, — его всепостигающий ум и высокие чувства прекрасной души его.

Показалось Орлову, что свободная стихия достаточно наполняет «Арзамас», чтобы сделаться в нем преобладающею. Он задумал приступить к его преобразованию и дать ему новое направление. В один прекрасный весенний вечер собрались мы на даче у г. Уварова; заседание открыто было в павильоне Штейна, как в месте особенно вдохновительном. В приготовленной им речи, правильно по-русски написанной, Орлов, осыпав всех нас похвалами, с горестью заметил, что превосходные дарования наши остаются без всякого полезного употребления. Дабы дать занятие уму каждого, предложил он завести журнал, коего статьи новостью и смелостью



идей пробудили бы внимание читающей России. Расширив таким образом круг действия общества, он находил необходимым и умножить число его членов; сверх того, предлагал каждому отсутствующему члену предоставить право в месте пребывания его учреждать небольшие общества, которые бы находились в зависимости и под руководством главного. Изумив сочленов своих неожиданностью предложений, он надеялся вырвать их согласие.

Не знаю каким образом о намерении его заблаговременно предупрежденный Блудов отвечал ему также приготовленной речью. Учтивее, пристойнее и вместе с тем убедительнее нельзя делать опровержений; он доказывал ему невозможность исполнить его желание, не изменив совершенно весь первобытный характер общества. Касаясь до распространения света наук, о коем неоднократно упоминал Орлов, заметил он ему, что сей светоч в руках злонамеренных людей всегда обращается в факел зажигательства; и сие сравнение после того не раз случалось мне слышать от других. Когда вспомнишь это прение, кажется, что будущий жребий сих людей был написан в их речах.

Орлов не показал ни малейшего неудовольствия, вечер кончился весело, и все разъехались в добром согласии. Только с этого времени замечен стал совершенный раскол: неистощимая веселость скоро прискучила тем, у коих голова полна была великих замыслов; тем же, кои шутя хотели заниматься литературой, странно показалось вдруг перейти от нее к чисто политическим вопросам. Два века, один кончающийся, другой нарождающийся, встретились в «Арзамасе»; как при вавилонском столпотворении, люди перестали понимать друг друга и скоро рассеялись по лицу земли. И действительно, в этом году, с отлучкою многих членов, и самых деятельных, прекратились собрания, и «Арзамас» тихо, неприметно заснул вечным сном. Но прежде кончины своей породил он чувство, редко, никогда почти ныне не встречаемое, — неизменную, твердую дружбу между людей, которые, оказывая великие услуги государству, в век обмана и златолюбия служили примером чести и бескорыстия.

Полагать должно, что в воздухе бывают и нравственные повальные болезни: даже меня самого в это время так и тянуло все к тайным обществам. Арзамасские таинства, совсем не элевзинские, были секретом комедии: мне было их мало. В доме у Оленина встречал я иногда родственника его, одного московского князька Голицына, который стороною, обиняком, иносказательно раз заговорил со мною об удовольствиях, коими люди весьма рассудительные наслаждаются вдали от света. Я слушал его со вниманием, и наконец он предложил мне быть проводником моим в масонскую ложу. Я дал ему отвезти себя в большой дом на Фонтанке близ Аничкова моста; там в передней дал завязать себе глаза и водить сверху вниз и снизу вверх по комнатам. Не из опасения казаться нескромным или нарушить клятвенное обещание, мною данное, не буду я описывать здесь обряда, который совершается над вступающим в масонство, а потому только, что всякий может это найти в печатных книгах.

Хорошенько не знаю я истории этого ордена; усердные масоны возводят начало его до жрецов Изиды. После многих столетий рыцари храма обрели в Иерусалиме таящийся его неугасимый огонь и перенесли его в Европу. Когда они были казнены и сожжены, слабые их остатки скрылись в Шотландии и опять, после столетий, возродились под именем братства вольных каменщиков. Происхождение это заслуживает вероятия, ибо Иаков Моле между ними почитается главным святым мучеником. Нет сомнения, что первоначальную целью их учреждения были желание мести и ниспровержение власти католических государей и папы. Пока власть сия была неограничена, и они, закутанные в аллегии, за непроницаемыми завесами ковали и изошряли на нее орудия, их орден был силен и опасен. Самая цветущая его эпоха предшествовала французской революции. Когда же, после падения престолов, королевская власть хотя опять и восстановлена, но в камерах, в журналах, в памфлетах можно смело и явно нападать на нее, существование масонства сделалось бессмысленно: народы не так уже церемонятся теперь с царями. К нам вошло масонство во второй половине царствования Екатерины, и завелись ложи даже в некоторых губернских городах, между прочим в Пензе; вскоре после начала революции их велено закрыть. Так много было еще тогда если не невинности, то неведения, что масонство не оставило никаких вредных впечатлений, ни даже памяти по себе.

Наших добрых помещиков и чиновников тешило фармазонство и иногда заменяло им камедь: они играли в него как в жмурки или в фанты, прятались, рядились как о святках и далее ничего не видели. Несовершеннолетние народы, коих называют варварами, как дети и обезьяны, все охотно перенимают и все скоро забывают, пока не вырастут и не родится у них собственный смысл, собственные страсти. На воспитателях лежит, кажется, обязанность удалять от них дурные примеры.

После Тильзитского мира, в конце 1808 года, прошел слух о новом появлении у нас ма- сонства. Правительство, не поощряя его, не мешало, однако же, его распространению. Оно понравилось своею новизной; любопытство, дух братства, произведенный тогдашними обстоя- тельствами и перешедший к нам из Германии, многих людей привлекали к нему. В Москву, в провинции сначала не скоро оно проникло; вся сила его сосредоточилась в Петербурге. В нем показались два «Востока», или две главные ложи: одна «Астрея», а другая просто называемая «Провинциальной». Между ними было соперничество, и образовался какой-то схизм; не до- стигнув высших степеней ордена, я не могу сказать, какие догматы произвели их несогласие. Они назывались также «ложами-матерями», и каждая из них народила много дочерей — рус- ских, французенок, немок и даже полек.

Я принят был в ложу *des Amis du Nord* [Друзья Севера], французскую, как имя ее пока- зывает, находящуюся в зависимости от «Провинциальной». Работы производились в ней, то есть обряды совершались, на французском языке. Великим мастером в ней был отсутствующий генерал-майор Александр Александрович Жеребцов. Место его заступал служащий в пажес- ком корпусе полковник Оде де-Сион, предобрый человек, который не имел ни нахальства, ни буйства нации, к которой принадлежал, а всю ее веселость и довольно ума, чтобы в пажах и масонах вместе с любовью вселять к себе некоторое уважение. Дабы дать понятие о составе сей ложи, назову я главных сановников ее, двух надзирателей и обряд одержателя.

Прево де-Люмиан, Иван Иванович, уже старик, настоящий осел из южной Франции, ко всеобщему удивлению, в русской службе достиг до чина генерал-майора, и что удивитель- нее — по артиллерии, что и еще удивительнее, при Екатерине. Мужик добрый, не спесивый, он довольствовался местом первого надзирателя, второго же занято было промотавшимся после сыном графа Раstopчина, Сергеем. Тут свысока смотрел только Федор Федорович, один из пяти или шести надутых братьев Гернгроссов, о коих, кажется, уже я говорил. Он нажил в карты до- вольно большое состояние и сделался ужасным аристократом, во-первых, потому, что не хотел посещать ни одного второстепенного дома в Петербурге (так как Дмитрий Львович Нарышкин брал его иногда с собою прогуливаться), но более всего потому, что он женился на любимице и воспитаннице Марьи Антоновны [Нарышкиной], прелестнейшей англичаночке, мисс Салли, дочери какого-то столяра. Впрочем, может быть, я и грешу, говоря о нем всю правду, тогда как брат его, находясь полковым командиром в том полку, где зять мой Алексеев был шефом, жил с ним очень дружно; тогда как мать моя другому брату его, во время бегства его из Смоленска, дала убежище и приют у себя в деревне; наконец, тогда как сам он за мною всегда чрезвычайно как ухаживал. Секретарем был отставной актер Далмае; все же прочие члены в этой француз- ской ложе почти на две трети состояли из русских и поляков.

Главная «Провинциальная» ложа состояла из должностных лиц всех подчиненных ей лож да из нескольких эмеритов, все степени ордена перешедших и во все сокровенные его таинства проникнувших. Великим мастером в ней был граф Михаил Виельгорский, с которым за год до того я познакомился; вторым же мастером — Сергей Степанович Ланской, которого слух тогда не был еще столь туп, как ныне, а понятия — как и всегда<sup>100</sup>. Оба они в том же качестве заседали в подведомственной ложе «Елисаветы к Добродетели», в которой, рав- но как и в «Провинциальной», работы производились по-русски. Она должна была служить нормой, образцом для всех других сестер своих; все узаконениями установленные обряды соблюдались в ней с величайшею строгостью. В первом из общих собраний Виельгорский не

<sup>100</sup> Он был при Николае I губернатором, а при Александре II министром внутренних дел и принимал участие в уничтожении крепостного права.

мог скрыть удивления и сожаления своего, увидев меня принадлежащим к обществу, которое между потомками храмовников не пользовалось доброю славою; казалось, что нравственности моей грозит опасность.

Никто из северных друзей не был проникнут чувством долга истинного, вольного каменщика: Сион, Прево и все прочие были народ веселый, гульливый; с трудом выдержав серьезный вид во время представления пьесы, спешили они понатешиться, поесть, попить и преимущественно попить; все материнские увещания «Провинциальной» остались безуспешны. Но когда я разглядел пристальнее елисаветинских масонов, то нашел, что они ничем не лучше: они также любили ликовать, пировать, только вдали от взоров света, в кругу самых коротких. Исключая главы их Виельгорского, не встретил я между ними ни одного человека, уважения достойного; особенно противен мне был святоша их, обер-прокурор Петр Яковлевич Титов, ставленный вор и бесстыдный взяточник. Лицемерие мне всегда было гадко, а тут показалось оно мне и глупо. Из чего эти люди бьются, подумал я, и кого они думают морочить? Нет, лучше остаться с моими руссо-французами.

На волнения в «Провинциальной» ложе спокойно смотрела соперница ее, «Астрея», и тайком переманивала к себе недовольных ею. Северные друзья были весьма многочисленны и бурливы. Что удивительного? Между ними было много французов и поляков. Сперва последние взбунтовались и составили из себя особливую ложу, под именем «Белого орла»; вскоре дурному их примеру последовали и русские и основали ложу «Российского орла». Я помаленьку отставал от масонства и не знал, что в нем происходит, как в одно утро приехал ко мне Гернгрос с объявлением, что большая часть французских членов нашего союза готова отделиться и перейти к «Астрее» и что он главою этого восстания. Почитая оппозицией небольшие шутки, которые изредка позволял я себе над педантством «Провинциальной», предложил он мне быть участником в этой французской революции. Мне показалось довольно смешно и забавно; я согласился, и мы завели ложу под названием «Des Amis réunis», «Соединенных друзей», где и стали масонствовать по-французски. Великим мастером выбран Гернгрос, а на меня взвалили многотрудную должность второго надзирателя. Сначала это меня некоторым образом заняло, но скоро наскучило, даже огадилось, и по просьбе получил я совершенное увольнение от дел. Сим кончается история моего масонства, коего существование скоро прекратилось во всей России; ибо, видя в нем непонятную мне опасность, несколько лет спустя правительство приказало закрыть все ложи.

Это многочисленное братство продолжает существовать в западных государствах без связи, без цели. Ложи не что иное, как трактиры, клубы, казино, и их названия напечатаны вместе в «Путеводителе по Европе» г. Рейхардта. Некоторая таинственность, небольшие затруднения при входе в них задорят любопытство; разнообразные обряды и мнимое повышение некоторое время бывают занимательны, и все оканчивается просто одною привычкой. У нас в России разогнанная толпа масонов рассеялась по клубам и кофейным домам, размножила число их и там, хотя не столь затейливо, предается прежним обычным забавам.

Неизвестно, Аракчеев подал ли государю мысль о военных поселениях или, усвоив ее себе, сделался ревностным ее исполнителем и через то более чем когда нужным царю? В древности римляне на берегах Рейна и в Паннонии заводили вооруженные колонии, дабы защитить империю от варварских вторжений. Ныне в Венгрии, вдоль по Дунаю, под именем военной границы поселены храбрые сербские полки. Во дни порабощения России, ее бессилия и неустойчивости, на южных пределах ее, без ее участия и ведома, сама собою встала живая стена, составленная из ратников, которые удалством своим долго изумляли окрестные края. То, что мудрость человеческая сделала для охранения Рима и не спасла его, провидению угодно было сотворить для нас. От обоих берегов Днепра, от порогов его и вдоль по тихому Дону, перстом Всевышнего проведена была блестящая черта; она должна была, как межа, означить будущие владения возвеличенной им России. Когда же они достигли этой грани, то черта сама собою, естественным образом, стала передвигаться и тянуться на нескончаемое пространство. Мы находим ее на берегах Кубани и Терека, Урала и Иртыша, и, наконец, ее видели на Амуре, до

втока его в Тихое море. Запас самим небом для нас приготовленный, за который мы не можем достаточно возблагодарить его, — казачье войско сберегло нам половину Украины, помогло взять обратно другую и теперь в отдаленнейших местах стоит везде на страже, как передовые ведеты сил русских. Его заслуги неисчислимы.

Ничего с ним общего не могло иметь аракчеевское создание. Для чего внутри государства нужны военные поселения и от каких внутренних врагов могут они защитить его? Вот вопросы, которые многие друг другу делали. Надобно полагать, что государь, во время последнего пребывания своего за границей, убедясь в непокорном расположении западных народов к правительствам своим и предвидя в будущем новые беспокойства, нашел необходимым для обуздания их сохранить многочисленную армию, которая нужна ему была во время общей войны. Он думал о средствах сделать сие без обременения государства, и несчастная мысль о военных поселениях представилась ему. Вероятно, он открылся в ней Аракчееву, который, избран быв плановым орудием в этом важном предприятии, не посмел или, скорее думать надобно, не захотел ее оспаривать. Сначала, приступая к делу медленно, государь, как видно, имел намерение колонизировать всю армию, которая, таким образом утроенная числом, сама бы себя содержала. Первый опыт сделан над казенными и у помещиков на сей предмет скупленными крестьянами в селениях Новгородской губернии, находящихся поблизости к владениям графа Аракчеева. Заведенный им в достопамятном с той поры селе его Грузине ужасный порядок, превращающий людей в бесчувственные машины, стал распространяться на несчастных хлебопашцев, в окрестности живущих, и на воинов, посреди их селимых. В следующих годах по этому образцу заведены военные поселения в Белоруссии, потом на Буге и, наконец, в Харьковской губернии, в Чугуеве. Кажется, что будущая дешевизна содержания войск в настоящем обходилась чрезмерно дорого и была разорительна для казны. Сие самое остановило распространение зла, коего несчастные последствия были бы неисчислимы. Чего бы не могли сделать полтора миллиона людей, недовольных, измученных, выведенных из терпения, с оружием в руках?

Пример казаков, без всякого пособия, без всякого надзора образовавшихся, первоначально должен был породить мысль о сем чудовищном учреждении. Искусство в этом случае, подражая природе, думало превзойти ее. Произведение ее, совокупно с обстоятельствами, казаки были какая-то особая стихия, в состав коей вошли все другие. У них все было свободно, как степной воздух, коим они дышали; в сердцах и взорах их не угасал огонь отваги, движения их были быстры, как течение рек, по коим они селились, и между тем, как земля их, покорная законам той же природы, и они непринужденно повиновались властям, над ними поставленным. А тут бедные поселенцы осуждены были на вечную каторгу. Два состояния между собою различные впряжены были под одним ярмом: хлебопашца приневолити взяться за ружье, воина за соху. Русский человек, трудолюбивый и беспечный вместе, после работы вместо отдыха любит погулять на свободе. Что за дело, если изба его не слишком чиста, лишь бы, по пословице, красна она была пирогами. От всего несчастные должны были отказаться: все было на немецкий, на прусский манер, все было счетом, все на вес и на меру. Измученный полевою работой военный поселенец должен был вытягиваться во фронт и маршировать; возвратясь домой, он не мог находить успокоение: его заставляли мыть и чистить избу свою и мести улицу. Он должен был объявлять о каждом яйце, которое принесет его курица. Что говорю я! Женщины не смели родить дома: чувствуя приближение родов, они должны были являться в штаб.

Жестокости Аракчеева не всем русским могли быть понятны: его бессердие было чисто немецкое. Он любил ломать бессильные препятствия, неволить человеческую натуру и все подводить под один уровень. Все выше мною означенные подробности принадлежат ему исключительно, про многие из них не ведал царь. Терпение, коим одарены русские, у военных поселенцев иногда лопалось: бывали сильные возмущения, за которыми следовали кровавые усмирения их.

Между происшествиями в мирное время важное место занимает всякая перемена министра, и я долгом считаю их означить здесь.

В то время министерство народного просвещения наскучило богатому и гордому графу Разумовскому, который давно уже вздыхал о московском дворце своем и о подмосковном замке и стал проситься в отставку. Кого было дать ему преемником? Свобода и христианство были паролем и лозунгом того времени: одна должна была умеряема быть другим. Дабы дать юношеству некоторым образом духовное образование, избран был любимец государев, главноуправляющий духовными делами иностранных исповеданий, князь Александр Николаевич [Голицын], который влез тогда по уши в мистицизм. Мне почти нечего сказать после всего, что уже говорил я об нем; могу только прибавить, что даже наших знатных людей прежнего времени, столь образованных для света, превосходил он любезностию и невежеством.

Малое министерство, коим он управлял, оставлено ему было в приданое и в соединении с большим составило министерство духовных дел и народного просвещения, разделенное на два департамента. Директором первого назначен уже управлявший сею частью Александр Тургенев. В этом департаменте положено быть четырем отделениям: 1-е для дел православных, 2-е для римско-католических, 3-е для протестантских, 4-е для магометанских и еврейских<sup>101</sup>. Итак, Голицыну с Тургеневым удалось господствующую веру сравнить не только с другими терпимыми, но даже с нехристианскими; на негодование, на ропот нашего духовенства эти люди не обратили внимания. До получения звания министра Голицын продолжал сохранять должность обер-прокурора Святейшего Синода; тут на свое место избрал он князя Петра Сергеевича Мещерского, некоторым образом подчинив его департаменту духовных дел. Должности у нас таким образом часто подвергаются возвышению и понижению курса.

В департамент народного просвещения сделан был директором Василий Михайлович Попов, кроткий изувер, смиренный, простой человек, которого, однако же, именем веры можно было подвигнуть на злодеяния<sup>102</sup>. Забавно подумать (если можно только назвать сие забавным), что оба директора чуждались вверенных им частей: Тургенев весь занят был обществом и происками, а Попов помышлял единственно о делах религиозных. Он был слепым орудием «Библейского общества», которое не скрывало своего намерения, разливая свет Божественной Книги, рассеять тьму нелепостей и суеверий, называемых греко-кафолическим восточным исповеданием. Усердствуя соединению вер, о чем непрестанно молится наша Церковь, он, вместе с министром своим, сделался гонителем их и покровителем всех сект. Размножение их последователей, во время управления Голицына, было неимоверное.

В первый раз после пожара, осенью 1816 года, государь посетил Москву, которая из развалин начинала подыматься. Он оказал себя в ней чрезвычайно милостивым и щедрым. Один указ, им подписанный там, всех крайне удивил. В нем было сказано, что, по дошедшим невыгодным слухам о Сперанском и Магницком, они были удалены от должностей, но дабы дать им возможность оправдать себя, назначаются они: первый гражданским губернатором в Пензу, а последний вице-губернатором в Симбирск. Они были не только отставлены, они были сосланы, следовательно, наказаны; за что же, неужели по одним только подозрениям? А это походило на право выслуги, дарованное разжалованным. Вместо того чтоб объяснить, это дело стало еще темнее.

О Сперанском совсем почти забыли, а когда вспомнили, то уже начали жалеть о нем. Не знаю, назвать ли это добродушием русских или слабодушием их? Он два года прожил в Перми, никем почти не посещаемый; но человек с высокими думами уединение всегда предпочтет обществу необразованных людей. В бездействии, в унынии, он обратился, говорят, к Богу, к подавателю всех утешений, и занялся переводом «Подражания Иисусу Христу» Фомы Кемпийского. Я стараюсь уверить себя, что тут не было лицемерия, желания сблизиться вновь с набожным императором. Он не нажил богатства: все имущество его состояло в небольшой деревне близ Новгорода, в которую, по ходатайству соседа-Аракчеева<sup>103</sup>, дозволено ему было переселиться.

<sup>101</sup> Позднее этим департаментом в министерстве внутренних дел управлял Вигель.

<sup>102</sup> Он замучил родную дочь за то, что она не хотела присутствовать на мистических собраниях и радениях.

<sup>103</sup> Его униженно просил о том Сперанский после напрасных ходатайств другими путями и непосредственно у царя. Бывший враг Сперанского оказался великодушнее его бывших друзей.

Оттуда, вероятно, пошли переговоры. Изю всех отдаленных губерний мысль о Пензе его менее пугала: она находилась вне больших путевых сообщений; ее уединение, здоровый воздух ему нравились, там же находилось преданное ему семейство Столыпинах.

По известиям из Пензы, Сперанский полюбился там своею кроткою и умеренною обходительностью. Управление ладью после стопушечного корабля не могло казаться важным опытному моряку: оттого-то он мало входил в дела, подобно предместникам своим предоставляя большую власть Арфалову<sup>104</sup>, в котором помещики начинали уже видеть неизбежную судьбину. Губернаторское место почитал Сперанский почетною для себя ссылкой. В этом случае я согласен был с его мнением и находил, что определением его оно более унижено, чем возвышено.

В начале 1814 года молоденький великий князь Николай Павлович, с меньшим братом, проезжая через Берлин, во время отсутствия короля, во дворце его был угощаем его семейством. Тут первый раз в жизни влюбился он в старшую дочь его и умел понравиться сей только из ребячества выходящей принцессе Шарлотте. В июне месяце 1816 г. приехала невеста в сопровождении брата своего, принца Вильгельма; 25-го числа, в день рождения жениха, было обручение, миропомазание ее и наречение Александрой Феодоровной, а 1 июля, в день ее рождения, была свадьба.

Рядом с прусским принцем ехал государь с видом чрезвычайно довольным. За ним следовал Николай Павлович. Русские тогда еще мало знали его; едва вышед из отрочества, два года провел в походах за границей, в третьем проскакал он всю Европу и Россию и, возвратясь, начал командовать Измайловским полком. Он был несообщителен и холоден, весь преданный чувству долга своего; в исполнении его он был слишком строг к себе и к другим. В правильных чертах его белого, бледного лица видна была какая-то неподвижность, какая-то безотчетная суровость. Тучи, которые в первой молодости облегли чело его, были как будто предвестием всех напастей, которые посетят Россию во дни его правления. Не при нем они накопились, не он навлек их на Россию; но природа и люди при нем ополчились. Ужаснейшие преступные страсти в его время должны были потрясать мир, и гнев Божий справедливо карать их. Увы, буря зашумела в то самое мгновение, когда взялся он за кормило, и борьбою с нею должен был он начать свое царственное плавание. Никто не знал, никто не думал о его предназначении; но многие в неблагоприятных взорах его, как в неясно писанных страницах, как будто уже читали историю будущих зол. Сие чувство не могло привлекать к нему сердец. Скажем всю правду: он совсем не был любим. И даже в этот день ликованья царской семьи я почувствовал в себе непонятное мне самому уныние.

Я не могу здесь умолчать о впечатлении, которое сделала на меня Марья Андреевна Мойер [в Дерпте, где Вигель был с Блудовым проездом за границу]. Это совсем не любовь; к сему небесному чувству примешивается слишком много земного; к тому же, мимоездом, в продолжение немногих часов влюбиться, мне кажется, смешно и даже невозможно. Она была вовсе не красавица; разбирая черты ее, я находил даже, что она более дурна; но во всем существе ее, в голосе, во взгляде было нечто неизъяснимо обворожительное. В ее улыбке не было ничего ни радостного, ни грустного, а что-то покорное. С большим умом и сведениями соединяла она необыкновенные скромность и смирение. Начиная с ее имени, все было в ней просто, естественно и в то же время восхитительно. Других женщин, которые нравятся, кажется, так взял бы да и расцеловал; а находясь с такими, как она, в сердечном умилении все хочется пасть к ногам их. Ну, точно она была как будто не от мира сего. Как не верить воплощению Богочеловека, когда смотришь на сии хрупкие и чистые сосуды? В них только могут западать небесные искры. «Как в один день все это мог ты рассмотреть?» — скажут мне. Я выгодным образом был предупрежден насчет этой женщины; тут поверял я слышанное и нашел в нем не преувеличение, а ослабление истины.

И это совершенство сделалось добычей дюжего немца, правда, доброго, честного и ученого, который всемерно старался сделать ее счастливою; но успевал ли? В этом позволю я себе

<sup>104</sup> Многолетний правитель канцелярии губернатора в Пензе — вор и взяточник.

сомневаться. Смотреть на сей неровный союз было мне нестерпимо; эту кантату, эту элегию никак не умел я приладить к холодной диссертации. Глядя на госпожу Мойер, так рассуждал я сам с собой: «Кто бы не был осчастливлен ее рукой? И как ни один из молодых русских дворян не искал ее? Впрочем, кто знает, были, вероятно, какие-нибудь препятствия, и тут кроется, может быть, какой-нибудь трогательный роман». Она недолго после того жила на свете: подобным ей, видно, на краткий срок дается сюда отпуск из места настоящего жительства их<sup>105</sup>.

Судьба наслала мне [в Париже] не товарища, не путеводителя, не собеседника, а, так сказать, согулятеля. В жизни этого человека было довольно превратностей, чтобы вкратце упомянуть о них. Когда, во избежание поединков, Александр офицерам своей гвардии велел носить в Париже фраки, каждый полк, по своему вкусу, выбрал себе портного. На Монмартрском бульваре был один магазин платьев, который полюбился Измайловским офицерам. Красивый и веселый мальчик, довольно самолюбивый, из него носил к ним примеривать жилеты и панталоны. Он всем им чрезвычайно понравился, полком его усыновили и хотели увезти с собой в Россию; но в услужение он ни к кому идти не хотел. Как быть? Решились на обман: отыскали где-то неимущего, молодого легитимиста, кавалера св. Людовика, который за двадцать луидоров согласился написать и подписать просительное письмо к Константину Павловичу. В нем объяснял он, что несчастья революции заставили родного племянника его, древнеблагородного происхождения, скорее чем служить хищнику, тирану, приняться за ремесло, но что ныне желает он посвятить его служению избавителя Европы. А этот мнимый племянник был сын гюиссье (род сторожа неважного суда в небольшом городе Оксерре) и назывался Оже<sup>106</sup>. Известно, что цесаревич имел слабость к французам: на основании этого единственного документа молодой человек принят подпрапорщиком в Измайловский полк и с ним на корабле приплыл в Петербург.

Не удивительно, что тайна хорошо сохранилась: все были виновны в подлоге. Ипполит Оже, или г. Оже де-Сент-Ипполит, как он себя назвал, содержим был на счет офицерской складчины: «с мира по нитке — голому рубашка», говорит пословица. Подпрапорщики позволяли себе также не носить тогда мундиров, и он введен был кое в какие общества. Я увидел его у двоюродной невестки моей Тухачевской, о галломании коей я уже говорил; она затеяла домашний французский театр, и он играл на нем. Булеварные фарсы в точном смысле не были прежде известны в Петербурге; о Жокрисах, Каде-Русселе знал я только понаслышке; но мне сдавалось, что он должен на них походить. Это был настоящий парижский *gamin*, малый очень добрый, но вооруженный чудесным бесстыдством; он не краснея говорил о великих своих имуществвах во Франции, выдавал за свои стихи, которые, вероятно, выкапывал из бесчисленных брошенных и забытых альманахов. После вторичного возвращения государя все военные оделись опять в мундиры; а он в продолжение этого времени не хотел выучиться ни русской грамоте, ни фронтовой службе, не знал никакой дисциплины, становился дерзок, всем надоел, и его просто вытурили из полка. В это время составила какая-то французская вольная труппа актеров из оборышей прежней и вербовала всех, кто ей ни попадался. Государь слышать не хотел о принятии ее на казенное содержание, и она играла в манеже князя Юсупова на Обуховском проспекте; мне сказывали, что ничего нельзя было видеть хуже. Не имея никаких средств к существованию, бедный Оже решился показаться тут на сцене и тем довершил падение свое во мнении небольшого круга, которому был известен. Не знаю после того, что бы стал он делать, если бы кавалергардский М. С. Лунин не вышел в отставку, осенью не поехал бы морем во Францию за новыми либеральными идеями и не взял бы его с собою.

Я нечаянно встретил его в Тюльерийском саду, и он мне чрезвычайно обрадовался. Видно, обстоятельства его были не в самом лучшем положении; ибо, несмотря на нероскошное житье мое, он охотно ко мне приписался. Чем он жил, право, не знаю; полагать должно, как

<sup>105</sup> Известный хирург И. Ф. Мойер был человек больших достоинств, но Вигель правильно охарактеризовал его союз с М. А. Протасовой (о ее романе с Жуковским упоминалось выше), как союз кантаты, элегии с холодной диссертацией.

<sup>106</sup> Это был известный впоследствии французский писатель Ипполит Оже, оставивший интересные воспоминания о своих встречах с Вигелем, Луниным и др.

тысячи других в огромном Париже, падающими крупницами. Около меня много поживиться ему было нечего; правда, почти каждый день, хотя умеренно, но даром он обедал, часто даром ездил гулять и ходил в театр, а для француза, которому забавы потребны столько же, как воздух, это уже очень много. Под конец, однако же, за его услужливость, за всегдашнюю готовность исполнять мои поручения, нечаянно удалось мне и ему оказать услугу. За несколько времени до выезда из Пензы, чтобы чем-нибудь развлечь грусть свою и занять ум, перевел я на французский язык «Марфу Посадницу» Карамзина; не знаю, каким образом рукопись эта была со мною. Оже увидел ее, нашел, что нехудо бы ее напечатать, а я предоставил ее в полное его владение. Кто мог бы ожидать? За нее книгопродавец предложил ему полторы тысячи франков. Либералам полюбилась мысль, что и посреди снегов севера, в варварской России, в отчизне рабов, знали некогда свободу, имели народное правление. Она вышла в свет, как сочинение г. Оже и подражание Карамзину. Даже слогом остались довольны; когда бы знали, что написано русским, были бы взыскательнее: французы чужестранцам неохотно позволяют хорошо писать на их языке. После того корифеи оппозиции, и между прочим сам Бенжамен-Констан, пожелали узнать Оже; он был не безграмотен, стали употреблять его, заставляли писать в журналах, поправляя его статьи, поддерживали его, и он, не думав, не гадав, попал в литераторы. С легкой руки моей пошел он в гору, только поднялся невысоко. Гораздо после случалось мне если не читать, то пробежать его печатные романы, и я находил, что они ничем не хуже многих других краткожизненных своих собратий.

Монферран адресовал меня к родительнице своей, мадам Коммариэ, по второму мужу. Счастливый случай свел эту женщину, вдову безвестного бедного артиста, с русским богачом Николаем Никитичем Демидовым. Не знаю, какого рода услуги с самого начала могла она оказывать ему, только пользовалась полною доверенностью как его самого, так и супруги его, урожденной Строгановой, недавно перед тем преставившейся. От обоих тайно принимала она незаконнорожденных их детей и потом въявь воспитывала их; разумеется, не из чести лишь одной делала она такие одолжения. На русские деньги нанимала она, в улице Тетбу, большую и щеголеватую квартиру и в ней нередко принимала гостей, потчевая их вкусным обедом. Ее знакомство было для меня весьма приятно, а для богатых русских могло быть и полезно. Она имела связи во всех лучших магазинах Парижа; вместе с нею можно было покупать в них лучшие вещи безубыточно, так что и продавец оставался без наклада, и она была с барышом. Такого рода женщины, когда подымутся до порядочного общества, делаются несносны чопорностию своею и притязаниями на уважение, в котором знают, что всякий вправе отказать им. Разговор г-жи Коммариэ остался мил, чрезвычайно жив и смел, однако же слегка подернут полупрозрачною благопристойностью. Такой животрепещущей старухи мне не случалось еще видеть; сколько раз, гуляя с ней, должен я, бывало, просить ее убавить ходу, когда в шестьдесят лет, в капоте розе, в соломенной шляпке с розанами, скорее бежала, чем шла она со мною по булевару.

Из русских довольно часто я видел [в Париже] двух не весьма обыкновенных людей, которые, не будучи вовсе знакомы между собою, едва ли знавшие о существовании друг друга, в некотором смысле имели большое сходство и вели одинаковый образ жизни. У обоих ровно ничего не было, а их житие иной достаточный человек мог бы позавидовать. Карты объясняют расточительность иных бедных людей, но ни который из них не был игроком: целый век умели они скрывать от глаз человеческих тайник, из коего черпали средства к постоянному поддержанию своей роскоши. Первый Иван Петрович Липранди, служивший тогда подполковником генерального штаба при дивизии Алексеева, часто отлучался из Ретеля и всегда останавливался в отеле, в котором я жил. Незадолго перед тем меньшая сестра его, сиротка, вышла за сына двоюродного брата моего Тухачевского; все вместе сделало для меня знакомство его неизбежным. Откуда был он родом и какого происхождения, мне неизвестно; судя по фамильному имени, надобно было почитать его итальянцем или греком, но он не имел понятия о языках сих народов, знал хорошо только русский и принадлежал к православному исповеданию. Умом и даже рассудком был он от природы достаточно награжден; только в последнем



чего-то недоставало. Какими бы средствами человек ни собирал материалы для сооружения фортуны своей, по крайней мере, нельзя отказать ему в предусмотрительности; тут этого вовсе не было: добытые деньги медленнее приходили к нему, чем уходили.

Вечно бы ему пировать! Еще был бы он весельчак, нимало: он всегда был мрачен, и в мутных глазах его никогда радость не блистала. В нем было бедуинское гостеприимство, и он готов был и на одолжения, отчего многие его любили. Доброго Алексеева тайно поджигал он против Воронцова, ко всем распрям между военными был он примешан, являясь будто примирителем, более возбуждал ссорящихся и потом предлагал себя секундантом. Многим оттого казался он страшен; но были другие, которые уверяли, что когда дело дойдет собственно до него, то ни в ратоборстве, ни в единоборстве он большой твердости духа не покажет <sup>107</sup>.

Всякий раз, что, немного поднявшись по лестнице, заходил я к нему, находил я изобильный завтрак или пышный обед: на столе стояли горы огромных персиков, душистых груш и доброго винограда, искусственно произрастающего в Фонтенбло под названием шассела. Я не принимал участия в сих лукулловских трапезах: предписанная мне диета служила мне предлогом к отказу. И кого угощал он? Людей с такими подозрительными рожами, что совестно и страшно было вступать в разговоры. Раз один из них мне понравился: у него было очень умное лицо, на котором было заметно, что сильные страсти не потухли в нем, а утихли. Он был очень вежлив, сказал, что обожает русских и в особенности мне желал бы на что-нибудь пригодиться; тотчас после того объяснил, какого рода услуги может он оказать мне. Как султан, властвовал он над всеми красавицами, которые продали и погубили свою честь.

Видя, что я с улыбкою слушаю его, сказал он: «Я не скрою от вас моего имени; вас, по крайней мере, не должно оно пугать: я Видок». И действительно, оно не испугало меня, потому что я слышал его в первый раз. Вскоре растолковали мне, что я знаком с главою парижских шпионов, мушаров, как их называли; что этот человек за великие преступления был осужден, несколько лет был гребцом на галерах и носит клеймо на спине. Нет, от такого человека не захотел бы я и Магометова рая! Не помню, после того был ли я у Липранди. Неприятно же было всегда встречать каторжных <sup>108</sup>.

И что за охота принимать таких людей? Из любопытства, подумал я: через них знает он всю подноготную, все таинства Парижа, которые тогда еще не были напечатаны. После я лучше понял причины знакомства с сими людьми: так же, как они, Липранди одною ногою стоял на ультрамонархическом, а другою на ультрасвободном грунте, всегда готовый к услугам победителей той или другой стороны.

Другой промышленник, Николай Александрович Старынкевич, был давнишний мой знакомец. Уроженец из Белоруссии, сын шкловского священника, он хорошо учился в Московском университете под покровительством отца Тургеневых. Из них несколькими годами старше Александра, сохранял он с ним связи, а через него был знаком и с нами. Пользуясь природными способностями, быстротою понятия, удивительною легкостью в работе, гибкостью характера, стал он шибко подвигаться в чинах по юстицкой части и, в звании начальника отделения канцелярии, сделался любимцем самого министра князя Лопухина. Но он слишком любил житейское, веселые холостые беседы; не имея денежных средств, чтобы вдоволь натешиться, начал прибегать к займам; это много повредило ему, и самые невыгодные о нем слухи стали доходить до министра, который просто велел ему оставить службу. Привычка делать долги обратилась у него в страсть; пока он находился в службе, она легко могла быть удовлет-

---

<sup>107</sup> Ив. Петр. Липранди — кишиневский и одесский знакомый Пушкина, человек литературного дарования (оставил интересные воспоминания о Пушкине), в описываемое время заведовал русской тайной полицией за границей; и позднее работал в той же области — в России — выслеживал заговор петрашевцев в 1848 году. После появления Записок Вигеля в печати написал по поводу них свои воспоминания, стараясь выгородить себя. Средства к жизни Липранди действительно черпал не из светлых источников. Кишиневский приятель Пушкина, совсем не сплетник и не интриган, Н. С. Алексеев писал ему в октябре 1826 года о кишиневских знакомых: «Липранди тебе кланяется, живет по-прежнему здесь довольно открыто и, как другой Калиостро, Бог знает откуда берет деньги».

<sup>108</sup> Однако Липранди сообщает, что Вигель охотно воспользовался услугами Видока в темной истории, где имя автора наших Записок было связано с именем одного парижского парикмахерского ученика, заночевавшего у Вигеля и стащившего у него золотые часы.

воряема: заимодавцы его по большей части были просители, коих дела были ему поручены; они не преследовали его. Но тут на свободе надобно было видеть изворотливость его, когда, не отказывая себе ни в чем, пришлось ему жить одними долгами; надобно было видеть ловкость, искусство, с какими, умножая число кредиторов своих, умел он защищать себя, убежать от них. Такая тревожная жизнь другому была бы мукою, но он находил в ней наслаждение. Наконец, когда угрожаем был тюрьмою, он решился спастись от нее службой и определился правителем канцелярии к герцогу Александру Виртембергскому, которого тогда назначили белорусским генерал-губернатором. Под его именем управлял он краем и, надобно полагать, не нуждался там ни в чем. Он начинал уже не ладить с своим герцогом, когда последовало нашествие галлов; тогда пристал он к ретирующейся нашей армии и с нею более не расставался от Витебска до Москвы и от Москвы до Парижа.

Своею вкрадчивостью, всегда веселым видом, длинными, но искусными рассказами, наполовину приправленными красным словцом, сей умный и приятный краснобай пленил всех наших генералов, начиная с Милорадовича и Платова; находился то при том, то при другом, в каком качестве, не знаю, и жил в изобилии, беззаботно, на казенный ли счет или на неприятельский, не ведаю.

Достигнув Парижа, долго не мог он оторваться от него, да и не думал о том: как рыбе в быстрой и широкой реке, было в нем ему раздолье. Он сделался корреспондентом корпусного начальника, графа Воронцова, получал за то содержание из экстраординарных сумм и забавлял его исправно не весьма правдивыми, но всегда любопытными известиями. Тут-то совершенно разладил он с постоянным, почтения достойным трудом, который открыл ему дорогу по службе; мелочной деятельностью его представилась тысяча предметов, из коих плел он свои сплетни. Ум и ласковое обхождение всегда привлекают французов, и Старынкевича, в котором вообще было много липкого, полюбили они, хотя и почитали тайным агентом России. Кого не знал он в Париже! Журналистов, адвокатов, депутатов, проникнул даже в Сен-Жерменское предместье. Политических мнений своих он решительно не объявлял, потому что не имел их, говоря всегда двусмысленно, и каждая партия почитала его своим <sup>109</sup>.

Много непонятого, необъяснимого было тогда в жизни Старынкевича; сам он искусно накидывал на нее таинственность, которая придавала ему некоторую важность. Денег, получаемых от Воронцова, не могло ему быть достаточно; в Париже долги делать легко, но отделяться от них трудно. Там была неумолимая святая Пелагея [тюрьма], не мученица, а мучительница; те, коих заключала она в холодные свои объятия, не скоро могли от них освободиться. Чем же он жил? И для чего нанимал он в одно время три квартиры, в разных частях города, отдаленных одна от другой, и прятался в них от посетителей. Меня же всегда предупреждал о том, где могу его найти, и вообще сохранил ко мне прежнюю обязательность <sup>110</sup>.

Я не видал Растопчина с той памятной для меня минуты, когда брат водил меня к нему мальчиком с просьбою об определении в службу, и я не без робости вошел в его кабинет [в Париже]. Лета, покойное, тихое положение, в коем он находился, и приветливый вид, который хотел он показать мне, смягчили прежнюю угрюмость лица его.

Растопчин, как все стареющие люди, что я знаю по себе, любил рассказывать о былом. Разница только в том, что от иных рассказчиков все бегут, а других не наслушаются. Не уважая и не любя французов, известный их враг в 1812 г., жил безопасно между ними, забавлялся их легкомыслием, прислушивался к народным толкам, все замечал, все записывал и со стороны собирал сведения, в чем много помогал ему Старынкевич. Наблюдения его и вследствие их

---

<sup>109</sup> В своих Замечаниях на «Воспоминания Вигеля» Липранди отмечает преувеличения автора и вольное обращение его с действительными фактами, как, напр., относительно трех квартир Старынкевича, оскорбительный намек на источник доходов его и т. п. Эти скверные отзывы о Старынкевиче не помешали Вигелю, быть может, в то самое время, когда он писал свои Записки, вести с ним дружеские беседы. Так, в октябре 1842 г. А. И. Тургенев писал из Москвы П. А. Вяземскому: «Старынкевич давно уехал. Мы провели с ним три ночи и одну, в числе оных, с Вигелем. Да будет стыдно тому, кто подумает об этом плохо», — намекает Тургенев на известный порок Вигеля. (И цитирует при этом девиз ордена Подвязки — прим. Константина Дежарева)

<sup>110</sup> Длинный роман его жизни оканчивается благополучно: он давно живет в Варшаве и, кажется, не имеет нужды делать долги. — Авт.

суждения о настоящем всегда остроумные, часто справедливые, умножали занимательность его разговора. Жаль только, что, совершенно отказавшись от честолюбия, он предавался забавам, неприличным его летам и высокому званию.

Регентство, Людовик XV, необузданность и расточительность Марии Антуанетты, а после них революционный ужас пополам с развратом совершенно превратили Париж в Вавилон новейших времен. Старики еще более молодых испытывают влияние этой нравственной заразы, особенно же те, кои, неохотно оставив бремя государственных дел, чувственными наслаждениями хотят заглушить сожаление о потерянной власти. Совсем несхожий с Растопчиным, другой недовольный, взбешенный Чичагов, сотовариществовал ему в его увеселениях. Не знаю, могут ли парижане гордиться тем, что знаменитые люди в их стенах, как непристойном месте, почитают все себе дозволенным. Раз получил я от Растопчина предложение потешиться с ним забавным зрелищем, приготовленным у одной пожилой маркизы д'Эстенвиль, в пышных ее апартаментах, подле королевской библиотеки, под аркадою Кольбер. Это была настоящая маркиза, не вымышленная; но не только Сен-Жерменское предместье, все честные женщины других состояний давно уже чуждались ее общества. Во время революции, а может быть, и прежде, лишилась она большого состояния, но и в бедности сохранила тон важной дамы. Знатные, богатые люди, во мзду ее угодливости, старались окружить ее новою роскошью и дом ее поставить на высокой ноге.

Изо всех тех, кои играли роли во время революции, республики и при Наполеоне, удалось мне видеть только одного. В Тюльерийском саду указали мне на человека, который сидел на одном из плетеных стульев, за которые платится два су; я поспешил занять его. Баррас был человек весьма пожилой, худощавый, бледный, не с распущенными, а на уши приглаженными волосами, еще не седыми, во фраке старого покроя, в шляпе с большими полями, и обеими руками упирался на трость клюкой. Нелегко было войти в разговор с таким соседом, он смотрел так угрюмо; но я прикинулся простачком, новичком, только что приехавшим из России и всему дивящимся, и он охотнее стал отвечать. Когда я хвалил великолепие Тюльерийского дворца и красоту его сада, он сказал мне, что он не всегда был в этом виде и что некогда большая аллея его была вся засажена капустой. Мне только и надобно было посмотреть на него из любопытства и услышать его голос: знакомиться с ним было бы трудно, да и не для чего <sup>111</sup>.

Последний месяц пребывания моего в Париже я часто бывал и обедал у воротившегося рано с дачи, расслабленного Николая Николаевича Демидова. Соотечественники упрекали его в скупости: человек, который жил с такою роскошью, что французы непременно хотели видеть в нем владетельного князя, называя его принцем Демидовым, а иные Термидором, скорее мог почитаться мотом. Но он был расчетлив и, при всей пышности своей, находил средства умножать состояние свое. Все жизненные наслаждения в Париже сами идут навстречу к тому, кто в состоянии за них платить; они осаждали Демидова, он предавался им, и оттого постигла его рановременная старость. За вкусным, изысканным его обедом он почти ни до чего не касался, кряхтел и что-то часто жаловался мне, говоря его словами, на барометровской елей. Не знаю, как другие, а я нашел в нем великую склонность к одолжениям. Я не просил у него денег, отказывался даже от них, а он под простую расписку навязал мне четыре тысячи франков с тем, чтоб я отдал их в Петербурге управляющему его делами. Когда я объяснил ему, что не имею никакой в них нужды, он указал мне на употребление, которое могу из них сделать. Совет его был очень полезен, я последовал ему, а между тем совещусь и поныне не только говорить о том, даже вспоминать. С помощью г-жи Коммарье накупил я множество хороших вещей, дешевых во Франции, с руляжем отослал их в корпусную квартиру, откуда в казенных ящиках отправлены были они в Россию, где и проданы с изрядным барышом. Конечно, это торговля,

---

<sup>111</sup> П. Баррас, граф (1755—1829) — один из главных деятелей Великой французской революции; требовал казни короля безотлагательно; был самый твердый и решительный сторонник диктатуры якобинцев; впоследствии участвовал в низвержении Робеспьера; выдвинул Бонапарта, которому оставался верен все дальнейшее время; усилившись, Наполеон боялся его влияния и выслал его из Франции.

но вместе с тем и контрабанда. Находясь тогда в числе тысячи виновных, старался я извинить себя в собственных глазах.

Пробыв не более трех месяцев с половиной как бы в шумном водовороте, где на каждом шагу встречал я предметы удовольствия или отвращения, только на лету мог я сделать свои замечания и наблюдения. Характер французов давно мне был известен; природа в каждого из них влила много добра и зла и все это переболтала, так что, если бы можно было химически разложить их, трудно было бы одно отделить от другого. Сколько мог, следил я за их политическими мнениями. С каждым годом они становятся неуловимее и изменчивее; от абсолютизма тысячью оттенками можно неприметно дойти до якобинца. Меня удивило совершенное забвение, которому парижане предали тогда Наполеона: ни порицаний, ни похвал ему не слышал я. Видел я большое свободомыслие и вместе с ним ужас, который производили одно слово революция и воспоминание о ней. Вообще заметно было безотчетное, основательное презрение, впрочем, без ненависти, к королевской фамилии.

В составе общества [в Пензе, по возвращении в Россию], после пяти лет, также не нашел я никаких перемен. В наших отдаленных губерниях дворянские поколения следуют одно за другим, но названия их остаются почти все прежние. Правда, иные из них проматываются, беднеют от наследственных разделов; зато другие, часто их сыновья или внуки, посредством женитьбы, откупа или каким-либо другим дозволенным или недозволенным средством опять наживаются. Таким образом имения, переходя из рук в руки, от одной фамилии к другой, все-таки по большей части остаются собственностью одной касты, освященной временем, составленной из людей, носящих давно известное имя. Они смотрят довольно спесиво на чиновников, насылаемых к ним из столиц; перед одними откупщиками, из какого бы состояния те ни были, готовы они преклонять выю.

Главное влияние на общество в губернских городах имели некогда губернаторы. Мы видели, как легкомысленный Голицын заставлял Пензу наряжаться и плясать даже во время ужасов Отечественной войны; более для ее пользы он сделать не умел. На его место приехал Сперанский, ненавистный всему русскому дворянству. Он ударился с собою об заклад, что заставит его обожать себя, и заклад выиграл. Этот цвет бюрократии был в Александровской ленте, следственно вельможа по прежним понятиям; недавно управлял он государством. К такому человеку невольное чувствуется уважение; оно ограждало его от скучных, беспрестанных посещений людей, ему вовсе не равных по уму и знанию, хотя двери его были всегда на отперти, хотя всем был он доступен. Так иные государи не имеют нужды в страже, хранимы будучи народною любовью. Действительно, он казался Наполеоном на острове Эльбе. Может быть, к счастью, немногим дано понимать превосходство перед собою необыкновенных людей, постигать их высоту; число их завистников и врагов без того было бы слишком велико. Одни звездочеты могут измерять небеса и с точностью определять расстояние солнца от земли, или, по крайней мере, люди, имеющие некоторое понятие об астрономии. Кому в Пензе было оценить великие свойства Сперанского и все его недостатки? Закатившееся туда солнце, сверх того, подернуто всегда было облаком задумчивости и тем еще более скрывало свой блеск. Его тихий, приветливый голос и печальный взгляд до того обезоружили жителей, что они прощали ему явное невнимание его к их делам. Он брезгал своею должностью, когда бы ему следовало поднять ее до себя; мне кажется, так было бы лучше. Подобно Наполеону, не мог он с своей Эльбы мигом шагнуть в Петербург: ему нужно было пять лет, и то через Сибирь, куда в начале этого 1819 г. назначен был он генерал-губернатором, чтобы воротиться в него, только уже не на прежнее могущество.

На его место назначен был также опальный друг его, Федор Петрович Лубяновский, который и прибыл в Пензу месяца за полтора до приезда моего в нее. Он никогда так высоко не поднимался, как Сперанский, был неодинакового с ним характера; только участь их во многом имела сходство. Отец его (протоиерей Петр, говорили) принадлежал к малороссийскому дворянству. Я повторяю вопрос: до Екатерины существовало ли малороссийское дворянство? Были богатые и небогатые владельцы, чиновные и нечиновные, и, наконец, простые казаки.

Родственник его (да полно, не родной ли дядя?), Захар Яковлевич Карнеев, весьма умный человек, впоследствии сенатор, открыл ему дорогу по службе. Будучи в тесной связи с мартинистами, он поручил его милостям фельдмаршала Репнина, великого их покровителя. Последний записал его сперва в Измайловский полк, а потом взял к себе адъютантом. Сначала, при Павле, князь Репнин был честим, но вскоре потом, как и все другие, погнался к нему в немилость и принужден был оставить службу со всеми своими адъютантами. Он сохранил, однако же, довольно кредиту, чтобы внуку своему (что тогда было весьма трудно) выпросить дозволение ехать за границу; с ним и Лубяновский путешествовал по Германии и Италии. Дабы сколько-нибудь умножить благосостояние свое, он с пользою для себя употребил свободное время, стал переводить довольно изрядным русским языком тогдашних немецких мечтателей, Юнга, Штиллинга, Сведенборга и, между прочим, «Тоску по отчизне». По возвращении молодой Репнин<sup>112</sup> женился на Разумовской, двоюродной сестре графини Кочубей, жены министра. По всем сим украинским связям Лубяновский, в чине коллежского асессора, попал к последнему в секретари. Должность эта была важная, ибо министры тогда не имели не только директоров, но даже и правителей канцелярии. Тогда Лубяновский познал истинное призвание свое: он не рожден был ни богословом, ни сектатором, ни литератором, а весьма искусным администратором и судьей. Без службы самые прежние произведения его остались бы неизвестны; но как все губернаторы имели до него дело, то всякой из них рад был угодить ему покупкою за дорогую цену сотни экземпляров совсем не распроданных его творений. Сие было слабым началом сделанной им огромной фортуны, по примеру начальника его Кочубея.

Он так быстро поднялся и так много прославился, что уже в 1809 году сам государь избрал его руководителем молодого принца Ольденбургского по правительственной части. Он пожалован статс-секретарем и вместе с тем назначен директором департамента путей сообщения. В Твери с Болотниковым разделили они между собою власть. Один забрал к себе в руки часть придворную, другой начал почитать себя главным директором путей сообщения и генерал-губернатором трех губерний, забывая, что принц только второстепенное тут лицо, и не угадав, что высокоумная великая княгиня долго не потерпит самоуправной власти двух наставников. Болотникова скоро умела она спровадить, умом же Лубяновского уважала и несколько времени выносила его. Но ум имеет разные свойства, и в числе их есть такт, врожденное чувство приличия, которое иногда приобретается и навыком; а этот человек был его вовсе лишен. С каждым днем становясь более дерзким, более повелительным с светлейшим начальником своим, он раз до того забылся, что самой великой княгине сказал что-то такое, чего бы не могла вынести и жена частного человека. Вообще замечена как между многими из коренных жителей Москвы, так и, начиная с архиереев, почти во всех воспитанниках духовных академий и семинарий какая-то беспощадность к чужому самолюбию. Екатерина Павловна не задумалась и в тот же день отправила курьера к государю с просьбою, чтобы Лубяновский был удален от должности, или ей самой дозволено было оставить Тверь. Во удовлетворение ее требования он был отставлен от службы с тем, чтобы, пока она жива, он принят в нее быть не мог. Она скончалась во цвете лет, и через четыре месяца после ее кончины он назначен в Пензу губернатором.

С городскими жителями [в Нижнем Новгороде, в 1819 году] мы имели мало сношений, исключая одного, именно гражданского губернатора, Александра Семеновича Крюкова<sup>113</sup>. Он был при Екатерине офицером конной гвардии. Тогда была, так же как и ныне, не весьма похвальная мода разоряться на содержание преимущественно какой-нибудь иностранки или актрисы. Часто эти женщины, по приобретении большей части имения своих содержателей, с этим приданным за них же выходили замуж. Я не думаю, чтобы скромная, прекрасная и бедная англичанка, к которой привязался Крюков, была в числе их; только сожитие их предшествовало их супружеству. Госпожа Бетанкур, также англичанка, в 1818 году посетив Нижний, позна-

<sup>112</sup> Это был кн. Н. Г. Волконский — брат известного декабриста, внук Н. В. Репнина по матери. В честь деда, за прекращением рода Репниных, Н. Г. Волконскому присвоена фамилия матери.

<sup>113</sup> Два его сына были участниками заговора декабристов по Южному обществу. Оба получили хорошее образование.

комилась и сблизилась с сею единоеземкою, женой вице-губернатора. А как в этом же году вышли большие неприятности у губернатора Быховца с ее мужем, то вследствие их первый был отставлен и, по ходатайству последнего, Крюков назначен был губернатором. Устрашенный примером своего предместника и обязанный новою должностью своею Бетанкуру, г. Крюков, и без того слишком мягконравный, совсем отдал себя ему в кабалу. Он казался чиновником, принадлежащим к его свите, и со всеми нами, особенно со мною, был не только ласков, даже угодлив. А меня это возмущало: я видел в этом совершенный упадок губернаторского звания, которое, вспоминая отца моего, так высоко я ценил.

Мы часто его посещали: дом его вместе с нашим и с домом барона Бодэ составлял как бы один. За неимением казенного губернаторского дома жил он в собственном весьма изрядном, пестро и довольно изукрашенном. Лучшим украшением оного служила единственная дочь его, очень молодая, но уже замужняя, княгиня Надежда Александровна Черкасская. Она еще более походила на англичанку, чем мать. Пусть заглянут в лучший английский кипсек и выберут прелестнейшее из женских лиц: с ним только можно сравнить красоту ее в восемнадцать лет. Старость или безобразие мужа красивой жены всегда у людей влюбчивых рождает надежды, умножают желания. Князь Черкасской хотя был молод, богат, но при весьма подлой наружности был самая бессловесная тварь. Вот отчего, начиная от шестидесятипятилетнего Бетанкура до четырнадцатилетнего сына его Альфонса, мы все были влюблены в его княгиню. Она же смотрела так невинно и благосклонно вместе, что не любить ее было столь же невозможно, как ревновать или подозревать в чем-нибудь. Я не понимаю, как отец ее не попользовался сим нежным расположением нашего старика, чтобы держать его в своей зависимости. Напротив, сей последний необычайную его снисходительность, по мнению моему, часто слишком употреблял во зло.

Среди сего малого круга жил я до половины июля. Город был весьма немногочислен; в нем оставались одни только должностные лица; помещики же все разъехались по деревням и вместе с толпами иногородных к началу ярманки должны были только приехать; следственно, мне никакого почти не было случая с ними познакомиться. С барабанным боем 15 июля ярманка была открыта; но никого почти еще не было, и купцы только что начинали раскладывать свои товары. Прежде, бывало, оканчивалась она 25-го числа, в день святого Макария, а с перенесением ее в Нижний Новгород каждый год опаздывают с ее открытием, так что 25 июля едва начинается она, а торг продолжается весь август.

Сделать подробное описание этой знаменитой ярманки считаю здесь ненужным, да и невозможным; ибо из бумаг о сем предмете, бывших у меня в руках, не сохранил я ни одной.

Маленький город, с маленьким дворцом, с храмами православным и иноверными, в котором полтора месяца кишит до двухсот тысяч приезжих и пришедших, не удалось мне видеть, а только возвышение грунта для его построения. Что же касается до временной ярманки, я находил, что, в самом большом размере, она походит на пензенскую. Также из досок сколоченные ряды, только в некотором от них расстоянии прочные строения, театр, трактиры, бани. Там только во всякое время дозволено было разводить огонь. Не знаю почему, один купец Колесов серед ярманки пользовался тою же привилегией. У него, говорили, была молодая жена, которую он ко всем ревновал, с которою не хотел разлучаться и для того, за большие деньги, выпросил себе право построить хотя временное, но прочное помещение. Он был царем китайской у нас торговли, через его руки проходил весь чай, который распивается в России, и одних пошлин, говорили, платил он более ста тысяч рублей ассигнациями. Такому человеку снисходительность оказать можно было. Невидимая часть ярманки была самая важная: оптовая продажа и вообще все большие торговые сделки, которые, за неимением биржи, совершались на домах.

Я упомянул о временном ярманочном театре; был еще в городе другой, деревянный, постоянный. Надобно знать, что в царствование Екатерины, когда русские бегом бежали на встречу к просвещению, они воспринимали преимущественно, как народ молодой, все новые забавы, которые представлял им Запад: оттого-то так много расплодилось домашних оркест-

ров и труп. В каждом губернском городе был обыкновенно один помещик-забавник или, лучше сказать, забавитель публики. В одной Пензе, как видели, было их некогда трое. Сего мало: почти в каждой губернии был еще один помещик-тиран, обыкновенно человек богатый, а иногда знатный и чиновный. Безответные крестьяне и дворяне не имели никаких причин на них жаловаться: зато горе соседям, не только мелкопоместным, даже зажиточным дворянам, когда они отказывались исполнять их прихоти. Первых они дарили, последних часто угощали у себя грубо-роскошною трапезой. Но коль скоро произойдут какие-нибудь несогласия, возбудится в них досада, они не удовольствуются одними обыкновенными неприятностями: потравой полей, порубкой леса: они посягали на их личность, с ватагой врываются в их селения с тем, чтоб иногда предавать их телесному наказанию. Непонятно, как такое жестокое самоуправие могло быть терпимо. Для такой нравственной силы, однако, богатства было бы недостаточно: нужны были смелость и великая твердость воли. Зато эти люди всем располагали на выборах: исправники трепетали пред ними, и сами губернаторы старались обходиться с ними осторожнее.

Учредителем нижегородского театра был меньшой брат богатого в Москве князя Бориса Григорьевича Шаховского, бедный князь Николай Григорьевич. Оба одержимы были сильно сценичностью, но старший имел актеров для своей забавы, меньшой для прибыли. Странно видеть человека, когда он берется совсем не за свое дело: этот Шаховской не имел никакого понятия ни о музыке, ни о драматическом искусстве, а между тем ужасным образом законодательствовал в своем закулисном царстве. Все, что ему казалось несколько неприличным или двусмысленным, он беспощадно выкидывал из пьес; в труппе своей вводил монастырскую дисциплину, требовал величайшей благопристойности на сцене, так чтобы актер во время игры никогда не мог коснуться актрисы, находился бы всегда от нее не менее, как на аршин, и когда она должна была падать в обморок, только примерно поддерживал ее.

После того можно себе представить, как движения их были свободны и ловки. Я не имел довольно пристрастия к Пензе, чтобы актеров ее предпочесть нижегородским, однако ж и этим перед теми преимуществами дать не могу; вообще, трудно мне решить, которые из них были хуже. Вот еще одна странность Шаховского: он находил (вероятно, из экономических видов), что сцена производит гораздо более эффекта, когда она одна только освещена, а все другие части театра погружены во тьму. Оттого-то в партере можно было в жмурки играть, а в ложах, чтобы рассмотреть друг друга в лицо, всякой привозил с собою кто восковую, кто сальную свечку, а иные даже лампы. И этот друг Талии и Момуса был молчаливый, мрачный и невзрачный старичок. У него была жена гораздо моложе его, отменно добрая, но без всякого образования, да три подрастающих дочери, которых после, не знаю, кому он роздал.

Сверх того, в самом городе была еще зала, не весьма огромная и не весьма красивая, в которой собирались дворяне выбирать друг друга в должности, а зимой играть в карты и танцевать. Я видел ее еще до ярманки, когда дворянство Бетанкуру давало бал. Постоянным старшиной этого собрания был тот же самый печальный Шаховской, следственно, — источником всех городских увеселений.

Я представил веселую, забавную (хотя не слишком) сторону тогдашнего нижегородского житья, а затем вот и ужасная. Всеповелительным деспотом с давних пор проживал в сей губернии сын одного грузинского царевича, князь Егор Александрович. Я уже означил вкратце деяния его, когда говорил о подобных ему, коих число, впрочем, не было велико и из коих один только рязанский Лев Дмитриевич Измайлов мог равняться с ним в необузданности. Не знаю, первые ли шаги его ознаменованы были насилиями, или он постепенно достиг до власти, ни на каких законах не основанной?

Царского происхождения, с полуденною кровью, с пылкими страстями, с крутым нравом, князь Грузинский точно княжил в богатом и обширном селении своем Лыскове, на берегу Волги, насупротив маленького города Макарьева. Все приезжие, покупатели и торгующие, находя в Лыскове гораздо более удобств и простора, нанимали тут квартиры во время ярманки, и это время для Грузинского было самое блистательное и прибыльное в году, так

что с каждым годом, казалось, сила его умножается. Переведение этого огромного торжища в Нижний Новгород нанесло первый, но решительный удар его могуществу. Я не нашел его столь страшным, хотя показалось мне, что глаза его выражают еще утихающую бурю. Видно, к приезжим был он милостивее; ибо я не могу нахвалиться его приемом, когда у него обедал. Он был в это время вдов: жена его, урожденная Бахметьева, скончалась во цвете лет, замученная столько же частыми изъявлениями его бешеной любви, как и порывами его некротимого гнева, и оставила ему сына и дочь. Сын, офицер гвардии, умер еще в молодости; а единственная, прелестная тогда дочь его убегала общества и, вопреки обычаям других красавиц, столь же тщательно скрывала красоту свою, как те ее любят показывать. Впоследствии она была замужем за одним весьма мне знакомым графом Толстым<sup>114</sup>. Не знаю, как ныне, а прежде в некоторых губернских городах существовала еще одна особенная должность, не показанная в высочайше утвержденных штатах, а не менее того полуофициальная, должность не жены, а подруги губернатора. В Нижнем исправляла ее тогда одна госпожа Жданова, дочь почтмейстера Руднева. Ей было лет за тридцать, а она была еще женщина свежая, красивая, видная. Лет восемнадцати вступила она в нее; с тех пор переменялись три или четыре губернатора: она оставалась верна не человеку, а месту. Всякий новый начальник губернии спешил утвердить ее в избранном ею звании. Должно полагать в ней, так же как в польках и еврейках, чрезмерную любовь ко власти. Впрочем, хотя всюду была она принята, но везде с холодностью. Снисходительного супруга, всегда жившего с нею в согласии, мне не случилось видеть или, лучше сказать, заметить. Желая ничего примечательного не пропустить в посещенном мною городе, упомянул я и о ней.

---

<sup>114</sup> Ее набожность, ее уединенная жизнь до высочайшей степени возбуждали любопытство праздных провинциалов; оттого множество догадок, выдумок. Пострижение в монахи одного юноши, воспитанного в доме отца ее, подало мысль о целом романе. Утверждали, что когда влюбленные признались князю во взаимной страсти, он объявил им, что брак их дело невозможное, ибо молодой человек его побочный сын и на сестре жениться не может; тогда оба дали обет посвятить себя монашеству. Одна путешественница, английская леди, бывшая в Москве, посетила и Троицкую лавру, где отец Антоний, мнимый любовник, был тогда наместником. Ей рассказали о поэтическом начале его жизни, она составила из этого трогательную повесть и напечатала ее в одном великолепном кипсеке. А я полагаю, что, наследуя упрямство отца, девица просто отказывалась от света, потому что он желал ее видеть в нем и того требовал. — *Авт.*



## ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

К началу 1820 года вновь созрели плоды, посеянные еще в пятнадцатом столетии сперва богословами, потом философами. От века до века жатва их делается обильнее. Во все времена бывали восстания против злоупотреблений власти первосвященников и царей; но с этой поры люди, внимая гласу возмутителей, стали ополчаться для совершенного истребления этой власти. В шестнадцатом столетии пол-Германии и весь север Европы отвергли постановления Вселенских Соборов; в семнадцатом Англия первая подала пример законного или, скорее, судебного цареубийства; в восемнадцатом Франция последовала сему примеру. Освободясь от опеки и вступая таким образом в совершеннолетие, человеческий ум стал действительно преуспевать и расширяться. Он все спросил, все подвергнул рассмотрению, исследованию: и догматы веры и права, освященные временем. Свет наук стал быстрее распространяться; но по мере как новые изобретения с каждым днем создавали для человека новые удобства, новые наслаждения в жизни, законы нравственности все более теряли свою силу. Все для ума, для тела; ничего для души, которой и в существовании скоро стали отказывать. Не вдруг, но, наконец, та же участь постигла художества и поэзию. Во дни молодости своей Европа без числа производила гениальные творения резца, кисти и пера. В эти только дни могла породить она Тасса, Рафаэля и Микель-Анджело и все эти блестящие фаланги, которые под названием школ украшали собою между прочим Гишпанию и Фландрию. Источник всего прекрасного стал, наконец, иссякать, изображение юных народов гасло и уступало место мрачным и преступным думам зрелого возраста. Итак, в Германии произошла религиозная революция, которая направляла человечество к политической; сия последняя совершилась во Франции; согласно с духом сего народа началась она шутками и кончилась ужасами. Кажется, непременно нас поведет она к общественной или социальной, то есть к ниспровержению целого общественного здания. Тогда-то человечество уподобит себя божеству, сокрушая то, что создавало.

И где же показалось первое зарево нового пожара? В стране верноподданничества, среди народа, который шесть лет сражался с сильнейшим врагом, ничего не щадил, всем жертвовал, чтобы избавить от плена законного короля своего. В самый день нового 1820 года, 1 января нового стиля, вспыхнуло возмущение в Кадиксе и вскоре распространилось по всей Гишпании. К удивлению целого мира, встретились в этой стране конституция с инквизицией, демократические постановления с грандессой и либерализм с иезуитами; первые, разумеется, изгнали последних. Но как могла совершиться такая быстрая, невероятная перемена в повериях и навыках народа совсем нелегкомысленного? Во время продолжительного союза с Францией гишпанцы если не приняли еще республиканских идей, то ознакомились уже с ними. Когда же их народному самолюбию нанесена была жесточайшая обида; когда чужеземный владыка, без их ведома, даже без права завоевания; стал располагать их престолом, они вступились более за честь свою, чем за отсутствующего короля. Шесть лет потом, не видя его посреди себя, начали они отвыкать от его власти. Кортесы управляли ими, а великодушная Великобритания, великая их помощница, предписывала законы свои на всем полуострове и, внушая им свободомыслие, потрясала в них и самую веру.

Непонятно, как так долго бесчеловечная политическая система Англии оставалась неразгаданной? Она одна безнаказанно, безопасно умеет пользоваться свободой, народу своему всегда мастерски выставляя ее призрак. Правительство всегда умеет обуздывать его безрассудные порывы, опираясь на древние учреждения свои, как на столпы готических своих храмов, и карая его силою законов, которые успело в глазах его сделать оно священными. Англия не что иное, как торговый дом в самом гигантском размере; Англия и компания, то есть правительство и камеры; они связаны общими огромными выгодами; все спорят, иногда ссорятся, но до разрыва никогда дойти не могут, И вся эта меркантильность покрыта блеском короны, роскошью и славою знаменитых имен. Ничего столь чудовищно-чудесного, ничего подобного Англии в мире не бывало и смело можно сказать — никогда не будет. А она примером своим ищет ослепить другие народы, зная, что мятежи сокрушат у них государственные силы, убьют промышленность и таким образом предадут их в ее руки.

С одной только Францией у нее вековая наследственная вражда. Но стала ли бы она так ополчаться на ее революцию, если бы безумные, от крови опьяневшие демагоги, французские правители, сами не полезли на драку? Правда, когда получено известие о падении личного врага ее, Людовика XVI, посланнику Шовелену воспрещен был приезд ко двору; но это была одна только благопристойность. К тому же война с Францией, на которую вооружала она всю Европу, представляла ей тысячу выгод. Истребляя или захватывая все слабые ее флоты, она уничтожала всякое соперничество на море и облегчала тем себе завоевания ее колоний и островов. С Наполеоном, восстановителем порядка, лишившим ее торговли целой Европы, еще менее могла она мириться. Во время же борьбы с ним должна была она казаться защитницей монархических прав.

Только в гишпанских делах обнаружилась вся ее недобросовестность. Ей приятно было видеть, как сердца гишпанцев остыли к поддержанному ею до конца союзнику Фердинанду VII, когда возвратился он из плена. Он был упрям, сердит, слаб умом, к сожалению, слаб и характером там, где необходимо показать твердость. Он защищал права свои, кои почитал священными, и был строг в наказаниях с теми, кои восставали против них. Английские журналы сделали из него величайшего злодея. Правление короля французского было постоянной критикой правления гишпанского короля, и столица, где царствовала старшая линия Бурбонов, была верным убежищем для спасшихся бегством врагов младшей, оттуда могли они смело и свободно составлять против нее заговоры. Как ни кричали тогда, участь Фердинанда мне всегда казалась достойною сожаления.

Любопытно было видеть, как Англия в это время постановила правилом невмешательство в дела чужих народов, она, которая так недавно назначала своего Веллингтона тюремщиком Франции, и он три года сохранял сию должность. Это значило, что всякое государство имеет право тайно возбуждать народы против правительства ему неприятного, но ни одно не должно осмелиться усмирять первых; одним словом, это значило, что государи, в случае восстания подданных, лишаются всякой надежды на помощь соседей. Известие о происшествии в Кадиксе принято было в Лондоне правительством, как все последующие затем известия о возмущениях, с притворно-равнодушным одобрением. Общество же, журнализм и все состояния приветствовали его с непритворно радостными похвалами. Сколь счастливыми должны были почитать себя гишпанцы, имея столь добрых союзников! Но вскоре потом отечество их лишилось лучшего достояния своего — всех заокеанских владений: Перу, Чили, Мексика отторгнулись от них и составили из себя новые республики. Англия первая признала их независимость и поспешила войти с ними в дипломатические и торговые сношения. Такое бесстыдство изумило бы и в частном человеке, хотя бы он был признан отъявленным мошенником.

Не знаю, до какой степени гишпанская революция огорчила Людовика XVIII; только, вероятно, любимый министр его, либерал Деказ, старался в глазах его уменьшить ее важность. Но не прошло шести недель после ее взрыва, как убиение племянника его, герцога Беррийского, открыло ему весь ужас истины. Старик показал некоторую энергию, и реши-

тельные меры, им принятые, не допустили тогда профессоров революции, французов, последовать примеру учеников своих гишпанцев.

На нас мятеж, в стране от нас столь отдаленной, первоначально не сделал никакого впечатления. Исключая одного человека, и при дворе немногие им занялись. Скоро увидели, что дело идет не на шутку: на всем протяжении Европы послышался какой-то гул; везде как бы глухие отклики на страшный призыв. Как во время пожара сильным вихрем далеко иногда заносятся воспламененные отломки и зажигают здания, по-видимому, вне опасности находившиеся, так и тогда внезапно там и сям показывалось пламя мятежа. Вспыхнули Португалия, Неаполь, Сардиния, а в следующем году и Греция. Еще скорее сие пагубное действие можно было сравнить с электрическим проводником, который в минуту пожирает великое пространство; ибо порывы бури, возникшей на берегах Таго, к концу года (хотя весьма слабо) отозвались и на берегу Невы.

Молодая Германия, новое поколение, возросшее среди унижения своего отечества, воспитанное в университетах, вскормленное ненавистью к насилиям Наполеона, возгордившееся своим освобождением, себе одному его приписывая, и жаждущее совершенной свободы, ему обещанной, смотрело с радостью на происшествия сего года, не решаясь, однако же, принять в них большого участия. Немцы не то что французы: глупостям, которые они делают, всегда должны предшествовать продолжительные и глубокие размышления.

Но что должен был восчувствовать император Александр, увидев, что основанное им так непрочное? Священный союз, для блага народов им поставленный, спешили они с бешеным усилием разорвать. У великих душ всегда и высокая цель; общему благу часто жертвуют они самолюбием и, когда увидят ошибки свои, спешат их поправить. Одни слабые умы хотят, чтобы их почитали непогрешимыми. Совершенную перемену в образе мыслей государя своего увидели русские из его действий. К сожалению, первое, которое обнаружило то, можно было почитать несправедливостию.

Три года прошло, как семнадцатилетний Александр Пушкин был выпущен из лицея и числился в иностранной коллегии, не занимаясь службой. Сие кипучее существо в самые кипучие годы жизни, можно сказать, окунулось в ее наслаждения. Кому было остановить, остеречь его? Слабому ли отцу его, который и умел только что восхищаться им? Молодым ли приятелям, по большей части военным, упоенным прелестями его ума и воображения и которые, в свою очередь, старались упивать его фимиамом похвал и шампанским вином? Театральным ли богиням, с коими проводил он большую часть своего времени? Его спасали от заблуждений и бед собственный сильный рассудок, беспрестанно в нем пробуждающийся, чувство чести, которым весь был он полон, и частые посещения дома Карамзина, в то время столь же привлекательного, как и благочестивого.

Он был уже славный муж по зрелости своего таланта и вместе милый, остроумный мальчик не столько по летам, как по образу жизни и поступкам своим. Он умел быть совершенно молод в молодости, то есть постоянно весел и беспечен: наука, которая ныне с каждым годом более забывается.

Молодежь, охотно повторяя затверженные либеральные фразы, ничего не понимала в политике, даже самые корифеи, из которых я иных знал; а он, если можно, еще менее, чем кто. Как истый поэт, на весне дней своих, подобно соловью, он только любил и пел. Как опытный, написал он уже чудесную свою поэму «Руслан и Людмила», а между тем как цветами беспрестанно посыпал первоначальное свое поэтическое поприще прелестными мелкими стихотворениями.

Из людей, которые были его старше, всего чаще посещал Пушкин братьев Тургеневых; они жили на Фонтанке, прямо против Михайловского замка, что ныне Инженерный, и к ним, то есть к меньшому Николаю, собирались нередко высокоумные молодые вольнодумцы. Кто-то из них, смотря в открытое окно на пустой тогда, забвенью брошенный дворец, шутя предложил Пушкину написать на него стихи. Он по матери происходил от арапа генерала Ганнибала и гибкостию членов, быстротой телодвижений несколько походил на негров и на человекопо-

добных жителей Африки. С этим проворством вдруг вскочил он на большой и длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать. Стихи были хороши, не превосходны; слегка похвалив свободу, доказывал он, что будто она одна правителей народных может спасти от ножа убийцы; потом с омерзением и ужасом говорил в них о совершивших злодеяния в замке, который имел перед глазами. Окончив, показал стихи и не знаю почему назвали их «Одой на свободу». Об этом экспромте скоро забыли, и сомневаюсь, чтобы он много ходил по рукам. Ничего другого в либеральном духе Пушкин не писал еще тогда.

Заметя в государе склонность карать то, что он недавно поощрял, граф Милорадович, русский Баярд, чтобы более приобрести его доверенность, сам собою и из самого себя сочинил нечто в виде министра тайной полиции. Сия часть, с упразднением министерства сего имени, перешла в руки графа Кочубея, который для нее, можно сказать, не был ни рожден, ни воспитан и который неохотно ею занимался. Для нее был нужен человек государственный, хотя бы не весьма совестливый, как у Наполеона Фуше, который бы понапрасну не прибегал к строгим мерам и старался более давать направление общему мнению. Отнюдь не должно было поручать ее невежественным и пустоголовым ветреникам, коих усердие скорее вредило, чем было полезно их государям, каковыми были, например, Милорадович и другой, которого здесь еще не время называть [А. Х. Бенкендорф].

Кто-то из употребляемых Милорадовичем, чтобы подслужиться ему, донес, что есть в рукописи ужасное якобинское сочинение под названием «Свобода» недавно прославившегося поэта Пушкина и что он с великим трудом мог достать его. Сие последнее могло быть справедливо, ибо ни автор, ни приятели его не имели намерения его распускать. Милорадович, не прочитав даже рукописи, поспешил доложить о том государю, который приказал ему, призвав виновного, допросить его. Пушкин рассказал ему все дело с величайшим чистосердечием; не знаю, как представил он его императору, только Пушкина велено... сослать в Сибирь. Трудно было заставить Александра отменить приговор; к счастью, два мужа твердых, благородных, им уважаемых, Каподистрия и Карамзин, дерзнули доказать ему всю жестокость наказания и умоливать о смягчении его. Наш поэт причислен к канцелярии попечителя колоний южного края генерала Инзова и отправлен к нему в Екатеринослав, не столько под начальство, как под стражу. Это было в мае месяце.

Когда Петербург был полон людей, велегласно проповедующих правила, которые прямо вели к истреблению монархической власти, когда ни один из них не был потревожен: надобно же было, чтобы пострадал юноша, чуждый их затеям, как последствия показали. Дотоле никто за политические мнения не был преследуем, и Пушкин был первым, можно сказать, единственным тогда мучеником за веру, которой даже не исповедовал. Он был в отношении к свободе то же, что иные христиане к религии своей, которые не оспаривают ее истин, но до того к ней равнодушны, что зевают при одном ее имени. И внезапно ни за что, ни про что, в самой первой молодости оторвать человека ото всех приятностей образованного общества, от столичных увеселений юношества, чтобы погрузить его в скуку Новороссийских степей! Мне кажется, у меня сердце облилось бы желчью и навсегда в ней потонуло. Если бы Пушкин был постарее, его могла бы утешить мысль, что ссылка его, сделавшись большим происшествием, объявлением войны вольнодумству, придаст ему новую знаменитость, как и случилось.

Если император Александр имел намерение поразить ужасом вольнодумцев, за безделицу не пошалив любимца друзей русской литературы, то цель его была достигнута. Куда девался либерализм? Он исчез, как будто ушел в землю; все умолкло. Но тогда-то именно и начал он делаться опасен. Люди, которые как попугаи твердили ему похвалы, скоро забыли о нем, как о брошенной моде. Небольшое же число убежденных или злонамеренных нашли, что пришло время от слов перейти к действиям, и под спудом начали распространять его. И тогда начали составляться тайные общества, коих только пять лет спустя открылось существование.

Вольнолюбивые мнимые друзья Пушкина даже возрадовались его несчастью; они полагали, что досада обратит его, наконец, в сильное и их намерениям полезное орудие.

Как они ошибались! В большом свете, где не читали русского, где едва тогда знали Пушкина, без всякого разбора его обвиняли, как развратника, как возмутителя. Грустили немногие, молча преданные правительству и знавшие цену не одному таланту изгнанника, но и сердцу его. Они за него опасались; они думали, что отчаяние может довести его до каких-нибудь безрассудных поступков или до неблагородных привычек и что вдали от нас угаснет сей яркий луч нашей литературной славы. К счастью, и они ошиблись.

О делах политики говорю я всегда по необходимости и тогда только, когда они находятся в связи с внутренними делами нашего государства. Внутри его, даже во дни Наполеона, мало или совсем почти о них не думали; в одном только Петербурге беспрестанно занимались ею, то есть политикой, или, лучше сказать, им, то есть Наполеоном: другой тогда быть не могло. Смотря по сомнительным или решительным успехам его, говорили то со страхом, то с надеждой, то с унынием. После падения его в провинциях, да, я думаю, даже и в Москве, заграничное стали забывать, полагая, что там все покойно, и, получая и политические журналы, внимательны были к одному модному. То же самое было бы и в Петербурге, если бы не вошло в обычай в образованном свете хоть что-нибудь да сказать о конституциях, дабы казаться сведущим. Некоторая часть, и самая малая, нового возмужавшего поколения толковала все о теории представительных правлений. Не имея никаких основательных познаний, эти господа (исключая разве одного Николая Тургенева) совсем не понимали этого предмета и сами не знали, чего хотят. Во всем этом было чрезвычайно много детского.

Так застал нас 1820 год. Так как он богат был происшествиями, а служба моя обильна досугами, то внимание мое вновь устремилось на Европу. Нет ничего ни веселого, ни приятного в этих воспоминаниях; но дабы кончить рассказ и не прерывать нить его, в одной этой главе хочу поместить все примечательное из тогдашних событий.

Александр, как известно, любил лично находиться на конгрессах. Триумvirаты Священного союза согласились для того осенью съехаться в Троппау. Но наперед отправился государь в Варшаву для открытия сейма. Поляки (то есть магнаты-паны, ибо в Польше народ всегда шел ни по чем), почуя распространяющийся в Европе революционный дух, были вне себя. Заседания сейма делались шумны, речи дерзки до того, что, для обуздания их, конституционный король должен был призвать на помощь русское самодержавие свое. И какое счастье это было для России! Не раз доказывал я, сколь часто враги ее обращались в орудия ее спасения, успехов или славы. С самого начала Александр не скрывал намерения отнять у России силу ее оружия возвращенные ею отторгнутые от нее западные ее области (Подолию, Волынь, Минск и Литву) и усилить ими Польшу. Нетерпеливое безумие этих сорванцов на неопределенное время отдалило тогда исполнение сего намерения, пагубного для обеих наций.

С каким стыдом, с каким раскаянием благонамеренный Александр должен был внутренне сознаться в ошибках своих! Он взялся врачевать человечество и увидел, сколь вредна метода лечения его. Впрочем, не знаю, можно ли обвинять и поляков. Что сделали они? Пользовались дарованными им правами, смело выражали свои мысли. По большей части люди, даже опытные и пожилые, остаются вечно старыми детьми. Зачем же ребятам давать сласти и требовать, чтобы они их не ели? И можно ли с народом обходиться, как с любимой собакой: держать над ним лакомый кусок и твердить: *tout beau*? В Троппау новая печаль постигнула государя; но дабы говорить об ней, нужно объяснить прошедшее.

Любимым полком императора, коего при отце еще был он шефом. Семеновским полком, командовал генерал-адъютант Яков Алексеевич Потемкин, отлично храбрый офицер, но раздушенный франтик, который туалетом своим едва ли не более занимался, чем службой. Офицеры любили его без памяти, и было за что. В обхождении с ними был он дружественно вежлив и несколько менее взыскателен перед фронтом, чем другие полковые командиры. Дисциплина от того нимало не страдала. При поведении совершенно неукоризненном, общество офицеров этого полка почитало себя образцовым для всей гвардии. Оно составлено было из благовоспитанных молодых людей, принадлежащих к лучшим, известнейшим дворянским фамилиям. Строго соблюдая законы чести, в товарище не потерпели бы они ни малейшего пятна на ней. Сего мало:

они не курили табаку, даже между собою не позволяли себе тех отвратительных, непристойных слов, которые сделались принадлежностью военного языка. Если которого из них увидят в Шустерклубе, на балах Крестовского острова или в каком-нибудь другом подозрительном месте, из полку общим приговором был он изринут. Они составляли из себя какой-то рыцарский орден, и все это в подражание венчанному своему шефу. Они видели в себе частицы его самого, мелкую его монету с его изображением, и самое их свободолюбие проистекало из желания ему сколько-нибудь уподобиться. Их пример подействовал и на нижние чины: и простые рядовые возымели высокое мнение о звании телохранителей государевых. Семеновец в обращении с знакомыми между простонародья был несколько надменен и всегда учтив. С такими людьми телесные наказания скоро сделались ненужны: изъявление неудовольствия, строгий взгляд, сердитое слово были достаточными исправительными мерами. Все было облагорожено так, что, право, со стороны любо-дорого было смотреть.

В этом отборном полку примечательны были два брата Муравьевы. Отец их Иван Матвеевич, любезник и красавец времен Екатерины, был двоюродным братом не раз упомянутому Михаилу Никитичу и по жене или по матери вместе с именем принял фамильное имя предка ее, гетмана Даниила Апостола. Великая была в нем способность к изучению языков: он прекрасно, безошибочно говорил на всех европейских и очень хорошо писал по-русски. Умный, но легкомысленный человек, он, кажется, убеждений, собственных мыслей не имел. Таких людей, как он, ныне много, и их можно назвать либеральствующими аристократами. Сперва занимал он должность посланника в Мадриде, а потом, чем-то недовольный, жил долго за границей без службы и в Париже воспитывал двух старших мальчиков своих.

Там набрались они идей, которые так благосклонно были принимаемы в их отечестве, когда они начали ему служить. Старший, Матвей, казался угрюм и, верно, любезность свою берег про приятелей, ибо они одни его без меры восхваляли. Другой, Сергей, был гораздо живее, блистательнее, приманчивее. Оба были идолами полку своего. Воспитанные во Франции, они могли если не основательнее, по крайней мере толковитее говорить о предмете, о коем однополчане их рассуждали, ничего о нем не понимая, и оттого были они оракулами их. Муравьевы-Апостолы, равно как и другие семеновские офицеры, охотно посещали хорошее общество, где были отлично приняты. Понятия, которые имели в большом свете о любезности молодых людей, в последнее время несколько изменились. Быть неутомимым танцовщиком, в разговорах с дамами всегда находить что-нибудь для них приятное, в гостиных при них находиться неотлучно: все это перестало быть необходимостью. Требовалось более ума, знаний; маленькое ораторство начинало заступать место комплиментов. Исполняя часть сих условий, семеновские офицеры продолжали быть развязны, ловки, учтивы и не совсем чуждались танцев. И вот это-то было вовсе не по вкусу их нового бригадного начальника.

Три последние поколения царствующего дома, как всем известно, имели... как бы сказать, слабость, страсть или манию к фронтовой службе. Может быть, это самое дало русскому войску всеми признанное превосходство перед другими европейскими армиями. Я не берусь о том судить; только требуемая лишняя исправность совсем была не в русском духе. В первые деятельные годы царствования Александра у него на все доставало времени; к тому же, в деле устройства гвардии и армии имел он славного помощника, брата своего Константина Павловича. Когда же судьбою поставлен был он на страже, дабы блюсти спокойствие Европы, и все помышления его были устремлены на сей предмет, то уже невозможно было ему входить во все подробности, мелочи обмундировки и маршировки; брат же его цесаревич переселился уже в Варшаву. Но подросли и мужали меньшие два брата его, из коих особенно младший, Михаил Павлович, как будто для этого дела был рожден.

Все старания благочестивой, просвещенной матери, для России вечно памятной императрицы Марии Федоровны, которая часть времени своего посвящала воспитанию младших детей своих, остались тщетны. Ничего ни письменного, ни печатного он с малолетства не любил. Но при достаточном уме с живым воображением любил он играть в слова и в солдатики: каламбуры его известны всей России. От гражданской службы имел совершенное отвраще-

ние, пренебрегал ею и полагал, что военный порядок достаточен для государственного управления. Самое высокое понятие имел он о военной иерархии, так что звание начальника полка, бригады, а кольми паче корпуса или армии гораздо более льстило его самолюбию, чем великокняжеский сан его. И он дивился, как сами министры с гражданским чином не вытягивались перед последним генералом. Он создал себе идеал совершенства строевой службы и не мог понять, как все подчиненные его не стремятся к тому. Перед фронтом был он беспощаден, а в частной жизни был добросердечен, сострадателен, щедр, особенно же к жертвам своим, офицерам и солдатам.

Сделавшись начальником бригады, в которой находился Семеновский полк, он с крайним неудовольствием смотрел на щеголеватые формы офицеров сего полка. По приглашениям они ездили на все большие званые балы. Как можно заниматься удовольствиями света людям, которых единственным помышлением, жизнью их должны быть полковые учения, караулы, выправка солдат? По чрезвычайной молодости своей не позволял он еще себе быть слишком строгим с полком, усыновленным самим государем, хотя и сам он, особенно же по усердию его к делам службы, был им любим, как сын родной.

Видя, какое действие произвели на Александра европейские происшествия, он воспользовался тем, чтобы представить ему, сколь вреден всем известный образ мыслей будто бы целого полка, что доказывалось будто бы пренебрежением его к фронту. Для исправления его предложил он встреченного им во время путешествия по России чудесного фронтовика, который, беспрестанно содержа семеновцев в труде и поте, выбьет из них дурь. К сожалению, государь согласился и в самый светлый праздник командира Екатеринославского гренадерского полка, полковника Шварца, назначил командиром Семеновского вместо генерала Потемкина, которому оставлена была гвардейская дивизия.

Этот Шварц был из числа тех немцев низкого состояния, которые, родившись внутри России, не знают даже природного языка своего. С черствыми чувствами немецкого происхождения своего соединял он всю грубость русской солдатчины. Палка была всегда единственным красноречивейшим его аргументом. Не давая никакого отдыха, делал он всякий день учения и за малейшую ошибку осыпал офицеров обидными словами, рядовых — палочными ударами; все страдало нравственно и физически. Не говоря уже о Семеновском полку, другие смотрели на то с ужасом и рассуждали между собою, что если так поступают с любимцами, какая же участь их ожидает.

Конечно, до 1812 года дворянство было недовольно Александром и роптало на него; но войско всегда равно оставалось ему преданным; после же взятия Парижа никто без восторга не произносил его имени. Но то, чего не могли военные поселения и Аракчеев, удалось Михаилу Павловичу со Шварцом, и то в одном Петербурге и только между военными. Явной хулы никто еще не позволял себе, но при его имени все хранили угрюмое молчание. Я видел, как прежний розовый цвет либерализма стал густеть и к осени переходить в кроваво-красный, каким он ныне на Западе. Раз случилось мне быть в одном холостом, довольно веселом обществе, где было много и офицеров. Рассуждая между собою в особом углу, вдруг запели они на голос известной в самые ужасные дни революции песни: *Veillons au salut de l' Empire*<sup>115</sup> — богомерзкие слова ее, переведенные надменным и жалким поэтом, полковником Катениным, по какому-то неудовольствию недавно оставившим службу. Я их не затверживал, не записывал; но они меня так поразили, что остались у меня в памяти, и я передаю их здесь, хотя не ручаюсь за верность:

Отечество наше страдает  
Под игом твоим, о злодей!  
Коль нас деспотизм угнетает,  
То свергнем мы трон и царей.  
Свобода! Свобода!

<sup>115</sup> Пойдем спасать империю.

Ты царствуй отныне над нами.  
Ах, лучше смерть, чем жить рабами:  
Вот клятва каждого из нас.

У меня волосы встали дыбом. Заметив мое смущение, некоторые подошли ко мне и сказали, что это была одна шутка и что мысли их вовсе не согласны с содержанием этой песни. Я спешил поверить им и самого себя успокоить.

В первой половине ноября, шедши пешком по Гороховой улице, встретил я Сергея Муравьева с каким-то однополчанином. «Что с вами? — спросил я его, — мне кажется, вы нездоровы». — «Нет, здоров, — отвечал он, — только не весел: радоваться нечему». — «И полноте, — сказал я, — скоро царь придет; он не даст детей своих в обиду; потерпите, надейтесь». Грустно взглянув на меня, промолвил он: «*Vivere in sperando, morire in casando*»<sup>116</sup>, — поклонился и пошел далее. Боюсь, сказал я сам себе, он что-то недоброе замышляет!

Неделю спустя после того, в один из ноябрьских [октябрьских], более осенних, чем зимних, дней, 18-го числа, погода была ужасная, так что на свет не хотелось бы смотреть. Холодный мрак покрывал небо и землю; густой туман, рассеявшись, превратился в дождик со снегом, и зловонное тесто коричневого цвета лежало на мостовой. Я продолжал жить близ Семеновского моста и все это утро оставался дома, как слуга мой, вошед в некотором замешательстве, сказал мне, что слышал в лавочке, будто бы взбунтовался весь Семеновский полк. «Быть не может, — сказал я. — Впрочем, отсюда близко, сбегай и разузнай». Возвратясь скоро, он донес мне, что действительно вся площадь перед гошпиталем наполнена солдатами, неподвижно стоящими в шинелях и без ружей; но зачем и почему они тут, этого не мог дознаться.

Известно сделалось в продолжение дня, что на рассвете все нижние чины, в один час и минуту, как бы по данному сигналу, высыпали из казарм, собрались и построились на площади, отвечая допрашивающим их батальонным и ротным командирам, что не хотят более находиться под начальством полковника Шварца и что, исключая того, готовы исполнять все, что им прикажут. Тщетно старались обратить их к порядку корпусный начальник, почтенный Ларион Васильевич Васильчиков, другие генералы и сам великий князь; они остались непреклонны. Сия мирная демонстрация не менее того сильно встревожила жителей Петербурга, особенно же высшее общество; может быть, в иных людях других сословий и возродила она преступные надежды. На другой день все успокоились, узнав, что три тысячи человек, внимая единому повелительному слову, признали себя арестантами и беспрекословно отправились в крепость.

Все были уверены, что все было ими сделано по наущению офицеров; но такова была твердость сих русских воинов, такое доброе согласие между ними и такая преданность к начальникам своим, что при допросах они ни на которого не показали. Последних же похвалить нельзя; в их поступке видны легкомыслие и некоторая робость: выставляя орудия, они надеялись скрыть руку.

Любопытно было знать, как примет это государь, который находился тогда в Троппау на конгрессе. Рассказывали после, что на какой-то утренней конференции князь Меттерних сказал ему: «Государь, да полно, у вас все ли покойно? По частным сведениям, вчера вечером полученным, один из ваших гвардейских полков взбунтовался, и именно Семеновский». — «Не верьте, — отвечал будто Александр, — это суцая ложь; это мой любимый полк». В тот же вечер, в каком-то собрании, Меттерних подтвердил ему то же самое, ибо с этим известием в самый полдень получил курьера от австрийского посла в Петербурге. Можно посудить о беспокойстве государя и о гневе его, когда только в продолжение следующего дня прибыл адъютант Васильчикова с донесением о сем происшествии.

Приостановимся. Посланный Васильчикова, этот недобрый вестник, заслуживает быть представленным миру. И хотя он имя свое почитает бессмертным, сомнительно, однако же,

---

<sup>116</sup> Жить в надежде — умереть в говне.



чтобы без употребляемого мною способа, впрочем, весьма неверного, оно могло дойти когда-либо до потомства.

Петр Яковлевич Чаадаев был красивый мальчик, круглый сирота, с малолетства воспитанный родною теткой, старою княжною Анною Михайловною, дочерью историка Щербатова. Она ничего не щадила для его образования; но женщине, и в тогдашнее время, нельзя было помышлять о том, чтобы дать ему основательные познания. Мальчик, как и все русские, а может быть, еще более, чем кто из них, имел способность выучиваться иностранным языкам: по-французски и по-английски говорил он бегло, чисто и безошибочно; а к тому же, как он был нрава серьезного, то в семействе и в обществе своем с ребячества признан и объявлен маленьким чудом.

Уверенный в своем совершенстве, во время Отечественной войны вступил он в военную службу и при взятии Парижа находился в Семеновском полку. По возвращении из похода перешел он в лейб-гусарский. В мундире этого полка всякому нельзя было не заметить молодого красавца, белого, румяного, тонкого, стройного, с приятным голосом и благородными манерами. Сими дарами природы и воспитания он отнюдь не пренебрегал, пользовался ими, но ставил их гораздо ниже других преимуществ, коими гордился и коих вовсе в нем не было: высокого ума и глубокой науки. Его притязания могли бы возбудить насмешки или досаду; но он не был заносчив, а старался быть скромно величествен, и военные товарищи его, рассеянные, невнимательные, охотно предоставляли ему звание молодого мудреца, редко посещающего свет и не предающегося никаким порокам.

Он был первый из юношей, которые тогда полезли в гении. На беду, стоя с полком в Царском Селе, познакомился он и сблизился с лицейским воспитанником Пушкиным. Все поэты немного льстецы с теми, коих любят; Пушкин польстил ему стихами, а Карамзин по добродушию своему ласкал его. Это совершенно вскружило ему голову. Никто не замечал в нем нежных чувств к прекрасному полу: сердце его было слишком преисполнено обожания к сотворенному им из себя кумиру. Когда изредка случалось ему быть с дамами, он был только что учтив; они же между собою называли его настоящим розаном, а он был Нарцисс, смертельно влюбленный в самого себя. Чтобы дать понятие о чудовищном его самодовольствии, расскажу следующее, тогда мною слышанное. В наемной квартире своей принимал он посетителей, сидя на возвышенном месте, под двумя лавровыми деревьями в кадках; справа находился портрет Наполеона, с левой Байрона, а напротив его собственный, в виде скованного гения, с надписью:

Он б Риме был бы Брут,  
В Афинах Демосфен,  
А здесь лишь офицер гусарской <sup>117</sup>.

И так не с большим двадцатилетний молодой человек, который ничего не написал, ни на каком поприще ничем себя не отличил, ни к какому роду службы не был годен и который всю ученость свою почерпал из новых французских брошюр, почитал себя одним из светил, озаривших начало девятнадцатого века. Какой бы он был находкой для насмешника-мистификатора; но такового не оказалось, и он не поступил еще тогда, а разве только после, в нарядные шуты.

Крайне дивился он, что, удостоив службу вступлением в нее, он не быстро в ней возносится, а, как обыкновенные смертные, производится по старшинству. В ожидании скорых успехов принял он чье-то предложение доставить ему место адъютанта при Васильчикове и в этом уповании отправился он в Троппау. Он был уверен, что, узнав его короче, Александр, плененный его наружностью, пораженный его гением, приблизит его к своей особе и на первый случай сделает флигель-адъютантом. Надо еще знать, что гусар и доктор философии в отношении к наряду был вместе с тем и совершенная кокетка; по часам просиживал он за

---

<sup>117</sup> Из стихотворения Пушкина, посвященного Чаадаеву.

туалетом, чистил рот, ногти, протирался, мылся, холил, прыскался духами. Дорогой он предавался тем же упражнением и оттого с прибытием опоздал двумя сутками.

Приемом разгневанного государя как громовым ударом в одно мгновение были разрушены воображением его созданные замки. Всегда умеренный, Александр бывал ужасен в редкие минуты, когда переставал владеть собою. Разобиженный Чаадаев на другой день был обратно отправлен в Петербург и, дабы наказать царя, отнял у него себя, в ту же зиму вышел в отставку.

В присутствии государя семеновской вспышки не могло бы быть: его тихо-повелительный взгляд все умирал вокруг себя. Даже издали ощутительно было его могущество. Гвардия с трепетом ожидала его решения. Оно получено: приказом, в коем дышит негодование вместе с милостью, полк велено уничтожить, кассировать, нижние чины разослать по линейным полкам; офицеры же, коих вина не доказана, но на коих падало сильное подозрение, переведены также в армию, только с повышением двумя чинами; Шварц отставлен от службы<sup>118</sup>. Тем же приказом велено набрать новый Семеновский полк из лучших офицеров и рядовых гренадерского корпуса.

Ожидали более. И что же? Мне случилось слышать тех же самых офицеров, которые прежде восхваляли смелость семеновцев, читающих не только с одобрением, даже с восторгом грозный приказ царя. Надобно подумать, что в этом человеке было действительно нечто волшебное.

Это происшествие, которое причинило Петербургу только кратковременный испуг, имело, однако же, важные последствия. Рассеянные по армии, недовольные офицеры встречали других недовольных и вместе с ними, распространяя мнения свои, приготовили другие восстания, которые через пять лет унять было труднее.

Московская жизнь в эту зиму [1820 г.] напоминала прежнюю ее, старинную, беззаботную, шумную веселость. Как в начале двенадцатого года, она мало заботилась о том, что происходит в Европе, и на этот раз я нахожу, что поступала благоразумно. Летом, говорили, можно еще было видеть кой-где следы разрушения; но тут старуха предстала мне в праздничном виде: она как будто набелилась; снег покрывал и изглаживал морщины ее и рубцы, нанесенные ей неприятельским вторжением. За год перед тем скончался военный губернатор граф Торماسов; на его место назначен был барич, вельможа, князь Димитрий Владимирович Голицын, преблагороднейший и предобрейший человек, который успел поселить к себе уважение и любовь. Знатность нового градоначальника умножала еще радость и веселие чванных москвичей.

Я встретил несколько старых знакомых, новых же знакомств сделал мало. Тут находилась Прасковья Юрьевна Кологривова с своим вечным смехом; у нее не было друга Финмуша, а все тот же шпиц, и тот же муж<sup>119</sup>. Ее приехала навестить дочь ее, княгиня Вяземская, из Варшавы, где оставила супруга своего на службе. По ее предложению, сопровождал я ее и меньшую сестру ее Любовь, с мужем, генералом Полуектовым, на единственный бал, который я тут видел. Его давал Алексей Михайлович Пушкин, с которым в 1814 году я мимоездом познакомился. Между многими хорошенькими лицами поразила меня тут необыкновенная красота двух княжон Урусовых, из коих одна вышла после за графа Пушкина, а другая за князя Радзивилла. Тут также я мог полюбоваться танцевальными и волокитными подвигами племянника моего Алексея.

После того г. Пушкин пригласил меня к себе обедать. С его умом, ему нельзя было не заметить, что дух века совсем переменялся; однако же он продолжал кощунствовать и богохульничать, я думаю, более по старой привычке. Супруга его, Елена Григорьевна, урожденная Воейкова, как заметил один веселый человек, любила гнать спирт или, как говорят французы, делать ум и чувствительность; первое было ей из чего, а последнего в ней вовсе не было. К тому же она чрезвычайно либеральничала и жестоко нападала на правительство и царя. Чета эта находилась

<sup>118</sup> Несколько офицеров, в числе их И. Д. Шербатов, двоюродный брат Чаадаева, приговорены к смертной казни, замененной разжалованием в солдаты и ссылкой.

<sup>119</sup> Стихи Пушкина в «Евгении Онегине». — *Авт.*

в постоянном возмущении против властей небесной и земной, и, как мне казалось, более для тона. Все это мне весьма не понравилось, и я уже к ним более не возвращался.

У Прасковьи Юрьевны познакомился я также с графиней де-Броглио, урожденною Левашевой, бывшею ее невесткою, бывшею в первом замужестве за братом ее, князем Трубецким. Эта женщина, под именем княгини Анны Петровны, была долго слишком известна целой Москве. В ней примечательны были не красота ее, совсем не изумительная, ни даже кокетство, а нечто более; она изменяла первому мужу, бросила второго и осталась верна одному только другу. Смешон бы я был, если б, чрез меру держась строгой нравственности, отказался от знакомства с старой греховодницей, не раскаявшейся, но унявшейся. Это знакомство повело меня к другому, приятнейшему и любопытнейшему.

У нее в доме распоряжался, хозяйничал один иностранец, впрочем у нее не живущий, и о котором московское общество и поныне вспоминает с сожалением. Я не назвал г. Кристина французом, хотя любезнее его, приятнее в обхождении, занимательнее в разговорах я ни одного француза прежнего времени не знавал. Это потому я сделал, что он родом был швейцарец, из города Ивердона, на прежней французской границе. История его заслуживает быть рассказанною хотя вкратце; увы, и подробности ее сделались бы известны без варварства той женщины, у которой мы с ним обедали и познакомились.

Ребачество свое провел он во Франции и в молодых еще летах попал в секретари к известному министру Калонну, видел начало революции и вместе с покровителем своим бежал от нее. После того в Кобленце, по его рекомендации, употреблен он был принцами, братьями короля. Особенно полюбился он графу д'Артуа [Карлу X]. От него с тайными поручениями, переодетый, неоднократно ездил он в Париж и тайком, с опасением для жизни, проникал во внутренность Тюльерийского дворца, представлял письма, подавал утешения пленному королю. Эtiquette уже тут не могло быть; он запросто разговаривал с ним, с королевой, с принцессой Елисаветой и ласкал малютку, несчастного дофина. Когда злодеяние свершилось, когда пали головы царских невинных жертв, граф д'Артуа взял его с собою в Петербург. Известно, какой блестящий прием сделала ему Екатерина; он уехал, а Кристина остался в России. Не управляя иностранной коллегией, граф Марков был, однако же, главною ее пружиной. Он жил тогда с французскою трагическою актрисой Гюс и через нее познакомился, можно сказать, сдружился с Кристином.

Вдруг сей последний взбесился, уехал в Швецию и там стал явно поносить Россию и русских. Тогдашний регент, герцог Зюдерманландский, после Карла XIII, до конца жизни нас ненавидел и оттого человека почти без имени начал принимать, ласкать и даже звать на придворные балы. На одном из них, как ветреный француз, он, как будто разбежавшись, наткнулся на стоящего у камина несовершеннолетнего, молоденького короля Густава IV; низко кланяясь и как будто в смущении извиняясь, понизив голос, промолвил он ему: «Ваше величество, вас обманывают, хотят женить на уроде; позвольте с вами объясниться». Едва внятным голосом тот отвечал ему: «У меня математический учитель ваш земляк, шевалье такой-то: напишите мне через него». В записке своей Кристина изобразил все прелести великой княжны Александры Павловны и всю пользу от родственного союза с Екатериной. В это время через месяц ожидали невесту, кривобокую принцессу Мекленбургскую. Король вдруг заупрямился, объявил, что сему браку не бывать, и, как ни старались убедить его, он поставил на своем. Никто не мог понять причины такой внезапной перемены; но король ли проговорился, шевалье ли проболтался, или сами догадались, гроза висела над главою тайного агента. Кто-то по секрету пришел ему сказать, что на другой же день хотят его взять и отправить в рудники Далекарлийские. Будучи хорошо знаком со всеми дипломатами, он побежал к английскому посланнику и объяснил ему весь ужас своего положения. У того были бланки, и он задним числом причислил его к своей миссии; когда пришли его брать, он показал предписание отправиться курьером в Берлин. Оттуда только через несколько месяцев воротился он в Россию<sup>120</sup> и приехал в самое то время, когда в Петербурге

<sup>120</sup> С ним случился тогда презабавный анекдот. Екатерина приняла его у себя в кабинете, осыпала ласками и велела ему быть при представлении в Эрмитажном театре, только в закрытой ложе. Он в ней соскучился, пошел бродить за кулисы и забрался на самый верх. Уставши, присел он на какое-то седалище, которое вдруг стало опускаться; он закричал, его успели приподнять и видны были одни только его ноги. Это было облако, на котором был должен спускаться Меркурий. Что, если б он показался двору и приезжим гостям? Екатерина очень смеялась, когда ей рассказали об этом апропо. — *Авт.*

находился король шведский с дядей и шло уже сватовство. Разумеется, в то время нигде нельзя было ему показаться. Хотя предполагаемый брак и не состоялся, императрица щедро наградила его, велела определить в иностранную коллегия прямо надворным советником и пожаловала ему 400 душ близ Летичева, в Подольской губернии.

При Павле пришла невзгода на графа Маркова: он был отставлен и сослан в Летичев, ему принадлежащий. Крестин, которого именнице было подле, всегда верный дружбе и несчастью, также вышел в отставку и четыре года добровольно разделял изгнание своего мецената.

При Александре Марков был вызван и отправлен в Париж; с ним поехал и Крестин, уже вычеркнутый из списка эмигрантов. Деятельность возвратилась к нему; он еще не унимался. Войдя в знакомство с семейством Бонапарте, с сестрами его, приблизившись к Жозефине и Гортензии, неизменный роялист, он тайно переписывался с графом д'Артуа, который находился в Англии. О том проведали, исхитили его из русского посольства, послали в Лион и посадили в крепость Пьер-ан-Сиз. Это была одна из причин дерзостей, сделанных Марковым первому консулу. Верный слуга доставил узнику средство бежать из крепости, и он скрылся в Коппе, у госпожи Сталь. Не знаю, как оттуда пробрался он в Москву, где и простился навсегда с романическою жизнью.

Он жил у Маркова на дружеской ноге и занимал часть дома его; продал свое имение и, пользуясь частью процентов с вырученного капитала, помаленьку умножал его. Большие вельможи нередко посещали его. Надобно было видеть обхождение их с ним: как оно было не-принужденно и как вежливо! Может быть, сперва и был он любовником графини де-Броглио (не всегда же она походила на старого мужика, дурно выучившегося по-французски); только когда я их видел вместе, то и тени нежности между ими не было. Всех удивляло продолжение этой связи; надобно было полагать, что они были соединены взаимными денежными интересами. Мы скоро с ним сошлись; с такими людьми, как он, был я нескромно вопросителен, а он снисходительно ответлив: вот отчего узнал я главные обстоятельства его жизни. Он признался мне, что записывает все случившееся с ним, и первый подал мысль о составлении сих Записок — намерение, коего исполнение последовало гораздо позже. Умирая, отказал он все имущество смелой злодейке, которая в старости своей овладела его старостью. Какие рукописные сокровища достались, какие перлы рассыпались перед этою... Переписка со множеством исторических лиц (чего стоили одни читанные мне письма Сталь), самый роман его жизни, все это, как ненужное, рукою невежества предано огню <sup>121</sup>.

С самой кончины Павла не случилось мне так близко разглядеть Москву, то есть обшество ее и разные состояния; тогда, выходя из малолетства, смотрел я на все неопытным, отнюдь не наблюдательным оком; после того нередко проезжал я через нее, по большей части летом, и останавливался дня на два, на три, иногда на пять или на шесть, и она оставалась для меня terra ignota [неведомая страна]. Тут сколько-нибудь мог я изучить этот чудный город, ни на какой другой в мире не похожий. Все было в нем для меня занимательною новостью; сколько странностей нашел я, сколько добра и зла! Здесь не место делать тому описание; достаточно будет сказать, что я от души полюбил Москву, как женщину старую, добрую, умную, веселую, хотя с большими капризами, и что желание спокойно кончить в ней век сделалось постоянною моею мечтой.

Как в истекшем 1820 году, так и в наступившем 1821 и в последующем 1822 положение мое не менялось. Оно было не приятно, но покойно. В семействе моем также никаких важных перемен не последовало. Итак, мне придется вкратце говорить о том лишь, что у нас в это время происходило в России, едва касаясь Европы. Тем лучше, может быть, скажет читатель.

Из Троппау, дабы быть ближе к театру происшествий в Италии, конгресс зимой перенесен был в Лайбах. Там на царском съезде положено австрийские войска направить к Неаполю и к Пиемонту, для усмирения бунтующих. А на всякий случай, для поддержания их, велено первой нашей армии, под начальством Сакена, двинуться за границу.

<sup>121</sup> Его интересная переписка с княжной В. И. Туркестановой сохранилась и опубликована значительно позднее.

Вместе с тем и гвардия в апреле месяце получила приказание выступить в поход к Литве. Государь был ею недоволен, узнав о сожалении и участии, оказанных ее полками товарищам своим семеновцам. Он хотел ее проветрить, надеясь, что трудности переходов разгонят чад дурных помышлений, которых, право, вовсе не было. Во изъявление гнева своего государь генерала Васильчикова перед самым выступлением удалил от начальствования гвардейским корпусом, поручив его любимому генерал-адъютанту своему, Федору Петровичу Уварову. Это еще было милостиво: ибо Ларион Васильевич сделан был членом Государственного совета. Начальникам же гвардейских дивизий, генерал-адъютанту Потемкину и барону Григорию Владимировичу Розену, взамен их, даны простые пехотные дивизии.

После девятимесячного отсутствия, в половине мая, государь возвратился в Петербург, на пути не удостоив гвардию свою отеческо-монаршим взглядом своим. Еще более, чем в прошедшем году, обнаруживал он твердое намерение противодействовать направлению, которое так неосторожно сам он дал общественным мнениям.

Прежде всего по религиозным делам заметили в нем уклонение от прежних идей. По сей части доверенную его особу, жалкого князя Голицына, все более втягивали в мистицизм. Он посещал богослужение различных раскольничьих сект, находившихся в Петербурге, и одной из них умел выпросить помещение в императорском дворце. Тут должен я остановиться, чтобы рассказать об одном случае, коего отчасти был я свидетелем и который покажет, до какого нелепого изуверства был доведен этот человек.

По возвращении из Нижнего Новгорода, в один воскресный день, раз посетил я доброе семейство Лабат-де-Виванс, чрезвычайно уменьшившееся, с которым я никогда не прерывал давнишних связей моих. Оно состояло из старых девок, ревностных, чтобы не сказать бешеных, католичек, которым, по милости государя, за службу отца дана была квартира в верхнем этаже Михайловского замка. За дружеским разговором последовало минутное молчание, во время которого слышалось мне странное пение. «Что это значит?» — спросил я. «Ah, c'est le sabbat», — воскликнули они, заливаясь слезами. Окна их выходили на Фонтанку, рядом с округленным выступом, вовнутрь которого из них сбоку вниз можно было смотреть. Там находилась зала, отведенная секте для ее духовных упражнений. Я полюбозыствовал взглянуть и мог только рассмотреть фигуры, как бы в саваны наряженные, с остроконечными белыми колпаками, которые, с невероятною быстротою кружась молниеобразно, появлялись и исчезали. Девицы Лабат после того предложили мне войти в темный коридор и в открытую трубу прислушаться к их пению; на голос: «За долами, за горами» — мог я разобрать только слова: «Бог нам дал и Дева».

Эти люди были род квакеров, называемых в Англии шекерами. Один очевидец, допущенный зрителем к их проказливым таинствам, рассказывал мне после следующее. Верховная жрица, некая г-жа Татаринова, урожденная Буксгевден, посреди залы садилась в кресла; мужчины садились вдоль по стене, женщины становились перед нею, ожидая от нее знака. Когда она подавала его, женщины начинали вертеться, а мужчины петь, под такт ударяя себя в колена, сперва тихо и плавно, а потом все громче и быстрее; по мере того и вращающиеся превращались в юлы. В изнеможении, в иступлении тем и другим начинало что-то чудиться. Тогда из среды их выступали вдохновенные, иногда мужик, иногда простая девка, и начинали импровизировать нечто ни на что не похожее. Наконец, едва передвигая ноги, все спешили к трапезе, от которой нередко вкушал сам министр духовных дел, умевший подчинить себе Святейший Синод. Первенствующими членами общества были директор департамента просвещения Попов и некто Мартын Пилецкий, прозванный Мартыном Задегом, племянник бывшего пензенского губернатора Крыжановского. Татаринова, Пилецкий и некоторые другие жительствовавали даже во дворце <sup>122</sup>.

<sup>122</sup> Ек. Фил. Татаринова, урожд. Буксгевден (1783—1856), перешедшая в 1817г. из лютеранства в православие, основала «духовный союз», по своему ритуалу близкий к хлыстовству и скопчеству, от которых секта Татариновой переняла свои радения. К «союзу» ее были очень близки А. Н. Голицын, А. Ф. Лабзин, директор департамента духовных дел В. С. Попов и др. Сам Александр одно время с интересом беседовал с Татариновой и покровительствовал ее «союзу». Императрица Елизавета

Столкновение двух фанатизмов было ужасное. Мои бедные, набожные Лабатки вообразили себе, что между ими водворился сам дьявол и что подле них бывают сходбища ведьм. К несчастью, они должны были ходить по одной лестнице с ненавистными им существами; встречаясь с ними, они с ужасом отворачивались, невольно произнося несколько неприятных слов; сверх того самое соседство представляло поводы к частым ссорам. Я старался внушить им умеренность и благоразумие и, говоря их языком, доказывал, что они должны с покорностью нести крест, Господом им посланный. Впрочем, все ограничивалось более жалобами на такое положение, приносимыми посещающим их. И чем же кончилось? Бедняжки были изгнаны из дворца гораздо прежде, чем он отдан в инженерное ведомство и переименован был Инженерным замком.

Совершенно невежественный в богословских науках Голицын принадлежал ко всем сектам и ни к одной. Странно было видеть смиренного человека, сделавшегося жестоким гонителем за вопросы, которых он не умел ни объяснять, ни даже понимать. А между тем знаменитейшие жертвы падали под ударами его.

Возвратись в Петербург, неизвестно по чьему внушению, говорят, по совету Аракчеева, преемником Михаилу [митрополиту] избрал государь московского митрополита Серафима, умного старика, и хитрого и стойкого вместе. Его назначение можно почитать началом постепенного падения Голицына, Библейского общества и мистицизма.

В следующем году высочайшим рескриптом на имя графа Кочубея велено закрыть все масонские ложи и тайные общества и всех служащих, равно как и вступающих в службу, обязать подпискою не посещать их и к ним не принадлежать. Эта мера была бы весьма полезна за несколько лет перед тем, когда мода и любопытство привлекали в них множество разного звания людей. Тогда злонамеренные старались вербовать туда неопытных юношей. Я давно перестал ходить в ложи и только понаслышке знаю, что они были брошены большею половиною прежних посетителей и продолжали существовать без цели и значения.

Один огромный памятник обращал в это время на себя особое внимание государя — вечно строящийся Исаакиевский собор. В конце 1817 года утвердил он новый чертеж и план сего здания и для перестройки его учредил комиссию под председательством обер-шенка графа Николая Николаевича Головина. Генерал Бетанкур назначен членом сей комиссии по искусственной части, то есть настоящим строителем; именем же строителя почтен Монферран, архитектор невзначай.

Найдено, и весьма справедливо, что величина угловатого, неправильного пространного поля, которое под именем площади окружало прежний собор, повредит колоссальности возводимого нового храма, и для того, по воле царя, сделан новый план площади; кусок в виде треугольника отрезан от нее для постройки на нем частного строения, которое могло бы служить частию красивой рамы великолепной картины.

Я не видел начала исполнения сего предприятия: к нему приступлено после отъезда моего за границу, весною 1818 года.

Когда я возвратился, нашел я подле собора в одно лето выросший огромный дом, который по форме своей походил на фортепиано и принадлежал родному племяннику министра юстиции, князю Лобанову-Ростовскому. Сей последний разбогател от женитьбы на графине Безбородко, племяннице и одной из наследниц князя Безбородки. Что же касается до самого собора, то кирпичный купол, построенный при Павле, был уже с него снят, и небольшая часть его к Почтовой улице сломана. Других перемен я не нашел, и в последующие годы видел мало.

А между тем полтора миллиона рублей ассигнациями ежегодно отпускаемо было для строения. На что употреблялись они? На постройку существующего и поныне деревянного за-

Алексеевна любила ее. Одному из главных деятелей этой секты, Никитушке (музыкант кадетского корпуса Н. Федоров), своего рода Распутину той эпохи, Александр дал чин 14-го класса и беседовал с ним. Впавший в это время в мистицизм царь писал, что сердце его «пламенеет любовью к Спасителю», когда он читает о собраниях «союза» Татариновой. При Николае I секта Татариновой пользовалась некоторой свободой, хотя и лишена была покровительства царя. Лишь в 1837 году существовавшая за городом колония Татариновой была закрыта, а участники ее были разосланы по монастырям.

бора и спрятанного за ним деревянного городка для помещения рабочего народа и зрителей за работами, на сооружение гранитного фундамента под новое, к Почтовой улице вытягивающееся строение, более же всего на заготовление драгоценных материалов. Ими изобиловали в Финляндии Рускиальские каменоломни, и один простой русский промышленник, Яковлев, в кафтане и бороде, нашел удобное и легкое средство добывать огромнейшие их массы без помощи инженеров и механиков и доставлять их водою в Петербург. Тут узнал я все недоброжелательство и несправедливость западных иностранцев к русским; немногие говорили об этом человеке с некоторым одобрением, только двое или трое дивились его изобретательности. Зато русские осыпали его похвалами, когда летом 1822 года на Исаакиевскую площадь с Невы вывалил он чудовищный монолит, первый из тех, кои поддерживают ныне фронтоны собора. Нерукотворная гора под стопами Медного Всадника, воспетая Рубаном, вблизи его казалась карлицей подле великана. Нужен был и в Бетанкуре гений механики, чтобы поднять такую тяжесть и как простую палку воткнуть перед зданием. Выдуманные им машины служили великою помощью Монферрану, а после смерти его сделались его наследством. Все спешествовало этому человеку: искусство и Бетанкура, и Яковлева, и, наконец, каменного дела мастера Квадри, который прочно умел строить, лучше всякого архитектора. Ему оставалось только рисовать да пока учиться строительной части.

За забором нельзя было видеть, как фундамент нового строения подымается из земли; только все видели, как каждый год что-нибудь отламывалось от старого, так что, наконец, осталась одна самая малая часть его и, можно сказать, украшала все еще новый Петербург, ибо была в нем единственную великолепную руиной.

Чтобы, между тем, чем-нибудь потешить царя, Монферран, с одобрения Бетанкура, затеял сделать деревянный модель новой церкви. Более года отделялся он в надворном строении того дома, где мы жили с Монферраном, и стоил более восьмидесяти тысяч рублей ассигнациями. Когда он был окончен, его перенесли и поставили в большой комнате, которую он всю наполнил собою. Она была рядом с моей квартирой, и я мог досыта налюбоваться этой щеголеватой и великолепной игрушкой. Купол как жар был вызолочен; лакированное дерево можно было принять за гранит и мрамор: до того оно им уподоблялось. Посредством рукоятки модель раздвигался надвое и давал вход во внутренность храма: там все было, и штучный пол, и раззолоченный иконостас, и миниатюрные иконы, его украшающие, и все чудесно было отделано. В комнате, через которую надобно было проходить, для противоположности нарочно поставлен был довольно грубой работы небольшой модель старой церкви, от времени попортившийся и который дотоле хранился в Академии художеств. Разница должна была броситься в глаза, хотя одно было плодом воображения пресловутого Растрелли, а в сочинении другого, как в иных французских водевилях, участвовали три автора. Может быть, ныне посмотрели бы снисходительнее и беспристрастнее, но тогда строго держались чисто-греческого стиля, соединяющего простоту с величием, не хотели слышать о ренессансе, о моенаже, и слово рококо было вовсе неизвестно.

Государю угодно было модель сей удостоить своим воззрением. По соседству мне захотелось быть свидетелем сего посещения. Не предупредив Бетанкура, а только условясь с Монферраном, явился я тут в каком качестве? право, сам не знаю, ремесленника ли, или помощника архитектора. Это было в мае 1820 года. Нас было всего трое, ожидавших с некоторым волнением, четвертый — прибывший государь. Вот первый и единственный раз, что вдали от толпы, на столь небольшом пространстве и так продолжительно мог я видеть и слышать его. Сперва жался я к двери, но скоро любопытство победило во мне почтительный страх (к счастью, он ничего не спросил обо мне). С величайшим вниманием он все рассматривал, обо всем расспрашивал, делал свои замечания и несколько раз низко нагибался, чтобы посудить об эффекте, который произведет внутренность храма. Как он был еще хорош с лишком в сорок лет и с обнаженным челом и при умножающейся тучности как был он еще строен!

Не меня дарил он улыбками, не ко мне обращал он милостивое слово, а я весь был очарован. Удаляясь и взглянув на оба модели, на пестрый и потускневший и на тот, который блистал

белизной, обратился он к Бетанкуру и сказал ему: «Вы знаете, насчет нашего предприятия как много в городе сплетен и пересудов; эти модели будут лучшим на них ответом». И действительно, все художники роптали. Как можно для векового здания не сделать конкурса? — говорили они. Архитекторы ненавидели Бетанкура за Монферрана, инженеры — за Ранда, все знатные завидовали его кредиту; другие состояния видели в нем иностранца, презирающего их отчизну, и все восстало на доброго человека, только ослепленного успехами. Европейцы и до сих пор не постигли нас; они полагают, что в России нет другой России, кроме царя. Одни немцы хорошо нас поняли и оттого, если Бог попустит, долго будут они у нас первенствовать.

Из двух проектированных замечательных зданий одно в это время было построено, хотя еще не отделано: это новый Михайловский дворец. Покойный император Павел, при рождении младшего сына Михаила Павловича, велел ежегодно откладывать не помню по скольку сотен тысяч рублей, дабы сей Вениамин, коему не суждено было царствовать, достигнув совершеннолетия, по крайней мере мог жить по-царски. Говорят, что накопилось до девяти миллионов, коих употребление молодой человек предоставил старшему брату-государю. На них-то, под наблюдением Росси и по плану его, выстроен дворец, для которого образцом, хотя не совсем удачно, архитектор взял Лувр.

К исполнению другого проекта при мне еще не было приступлено; оно последовало немедленно после моего отъезда. На Дворцовой площади с правой стороны находился закругленный так называемый Ланской дом, а с левой — целый ряд частных домов, образующий какой-то топорок, что ей давало вид совсем неблагообразный. Дабы сделать ее более регулярною, положено скупить все дома, сломать их и на их месте, в виде неправильного полукружия, построить те бесконечные здания, в коих помещаются ныне главный штаб и два министерства — иностранных дел и финансов.

К этому времени принадлежит и перестройка Большого каменного театра, сгоревшего 1 января 1811 года, хотя она произведена гораздо ранее. Француз Модюи принял на себя этот труд так, от нечего делать, говорил он, и дабы доказать русским, что и в безделице может выказаться гений. Этот первый опыт его в Петербурге был и последний. Не совсем его вина, если наружность здания так некрасива, если над театром возвышается другое строение, не соответствующее его фасаду. Тогдашний директор, князь Тюфякин, для умножения прибыли требовал, чтобы его как можно более возвысили. Когда перестройка была кончена, в начале 1818 года, двор находился в Москве, а государь на несколько дней приезжал в Петербург. Он осмотрел театр, остался доволен, но при открытии его быть не хотел. Щедро наградил он Модюи и деньгами и чином коллежского асессора; а тому более хотелось крестика.

Упомянув о театре, кстати приходится мне здесь говорить и о театральных представлениях. В русской труппе больших перемен произойти не могло. Целое новое поколение молодых актеров — Сосницкий, Рамазанов, Климовский — показалось в пятнадцатом году; в столь короткое время они не могли состариться, а, напротив, возмужали и усовершенствовались.

Опера шла тихим шагом с своим прежним Самойловым и с меньшою Семеновою. Комедий новых было мало, а новых трагедий и вовсе не было. Но в старых, и особенно в драмах, явился маленький феномен, молодой Каратыгин. Как законный наследник престола, заступил он место отошедшего в вечность Яковлева, всеми почитаемого отцом его. Хотя в голосе двух трагических артистов было большое сходство, зато в прочем совершенная разница. Рослый и величавый Каратыгин, с благородною осанкой и красивым станом, умел пользоваться своими дарами природы; скоро учением и терпением приобрел он и искусство. Он женился на дочери танцовщицы Колосовой, девочке благовоспитанной, которая с ним явилась на сцене и которой вредил только недостаток в произношении. Он с нею ездил в Париж, там пример Тальмы и советы умной жены не только развили, даже породили талант, которого от природы, как утверждают, он не имел. Как бы то ни было, после Дмитревского, которого, еле живого, видел я в глубокой старости, выше актера в этом роде мы не имели.



По каким-то несогласиям с Тюфякиным Шаховской оставил служение в театральной дирекции, но сохранил на нее большое влияние, ибо актеров и актрис, воспитанников и воспитанниц один учил декламировать и для них один почти писал пьесы. В это время сделался он неистощимее, плодовитее, чем когда-либо, только в легком роде: по большей части писал он хорошенские водевили, которые трудно бы мне было здесь припомнить и исчислить. Для этого рода образовал он еще двух миленьких актрис, с французским прозванием, Монруа и Дюрову; они были хороши собой, особливо последняя. В водевилях был также весьма забавен Шаховским же образованный шут Величкин.

Недочеты, передержки наделали князю Тюфякину много неприятностей, которые и его понудили оставить главную дирекцию.

Для поправления финансового состояния театра управление его, с сохранением должности генерал-губернатора, поручено графу Милорадовичу, у которого, кроме неоплатных долгов, ничего уже не было. Он давно добивался этого места и получил его как одну из наград за его великие подвиги. Карикатурный Баярд в одном только был схож с подлинником, которого передразнивал: он был столько же храбр, как и тот. Не в целомудрии подражал он этому рыцарю, когда театральную школу превратил в свой гарем. И так сильны в нас привычки, так влечет нас опять к покинутой власти, что бедный Шаховской, по настоянию Ежовой, согласился быть его Кизлярагой. Сего ему было мало; он захотел иметь свой Парк-*<неразборчиво>* [олений парк в Версале, где французские короли устраивали свои гаремы] и давно брошенный Екатерингофский лесок избрал местом своих увеселительных занятий. На украшение его вытребовал он у города более миллиона рублей, для молодых актрис и воспитанниц кругом велел нанять дачки, и в выстроенном зале, под именем воксала, начал (разумеется, не на свой счет) давать балы, на которых плясали перед ним одалиски, баядерки и алме, и он по прихоти бросал им свой платок. Не знаю, при таком начальнике усовершенствовалось ли драматическое искусство? Только после трехлетнего управления его открылся ужасный дефицит как в городских, так и в театральных суммах. Он без счета бросал некогда собственные деньги; когда их не стало, принялся за чужие и, зная, что ему нечем будет заплатить, где только можно, особенно у подчиненных, везде занимал. Спрашивается, можно ли назвать это кражей?<sup>123</sup>

Долго не могли склонить государя вновь завести французскую труппу, тщетно представляя ему, что дипломатический корпус, тысячи иностранцев и лучшее общество умирают без нее со скуки. Наконец согласился он, не принимая их на придворное ведомство, дозволить прибывшим актерам явиться на Малом театре, где обыкновенно играли немцы. Там увидел я их по возвращении из-за границы, в конце 1818 года, и даже после Парижа нашел, что они недурны.

Играли все почти одни небольшие комические оперы: к ним приучила Филис петербургскую публику. Первою певицей была довольно молодая, полная и красивая мадам Данжевиль-Вандерберг, которая пением напоминала, но не заменяла Филис. Первым или, лучше сказать, сперва единственным тенором был толстый Брис; жена его, худощавая, почти высохшая, но живая француженка, игрой, фигурой и манерами несколько напоминала Филис, но отнюдь не пением. Сию чету называли у нас картофелем со спаржей. Еще привезли они с собой одного несносного поляка Валдовского, выросшего, а может быть, и родившегося во Франции и оттого переименовавшего себя в Валдоски. Им на подмогу играли прежние оставшиеся здесь актеры: Монготье, Андре и братья Мезиеры. Вскоре приехал и другой тенор, Жено, красавец собой и довольно изрядный певец, которого на сцене я видел в Париже.

<sup>123</sup> Один случай покажет всю бесчувственность этого бессовестного человека; мне его рассказывали очевидцы. Когда он начальствовал в Бухаресте, занял он у одного провиантского чиновника до десяти тысяч казенных денег. Вскоре другой чиновник приехал первому на смену и стал требовать сдачи. Тот убедительно умолял должника о заплате, представляя, что он рискует попасть под суд и быть разжалован. «Подожди, помилуй, неужели ты мне не веришь?» — всегда был ответ; последний же был — приглашение к себе на бал. Несчастный явился и в промежутке танцев стал посреди залы и воскликнул: «Знаете ли, господа, мы у кого? У злодея, у вора». С тем вместе вынул он пистолет и туг же застрелился. «Мой Бог (известная поговорка Милорадовича), — закричал он, — что это значит? Велите скорей вынести этого сумасброда». А после того, как бы ни в чем не бывало, принялся за мазурку. — *Авт.*

В следующем году позволено им играть на Большом и Малом театрах, а потом вскоре и совсем поступили они на казенное содержание. Для удовлетворения желания молодых великих князей, которых в Париже так потешал Потье, выписан Сен-Феликс, верная с него копия, и несколько других забавников и забавниц, которые ввели к нам пиесы с театра Де-Варьете. Наконец, стали показываться комедии и, вместе с фарсами, мало-помалу вытеснять французскую оперу, которая пришлось уже не по вкусу нового поколения.

Зато опять стали мы знакомиться с итальянским пением. Только о целой опере в это время и думать было невозможно: стали только появляться залетные птицы для концертов. Первая из них, Сесси, куда нехороша была собою; по-моему, и пела она неприятным образом; сила и чистота были в ее голосе, но ничего выразительного. Знатоки велели дивиться ей, им повиновались и, зевая, восхищались и платили деньги.

Почти то же, что о Сесси, можно сказать о прибывшей через год после нее одной европейской знаменитости. У г-жи Каталани в горле были все ноты, от тонкого сопрано до густого баса, и сим натуральным инструментом владела она превосходно: вот все, что могу сказать о ней. Англичане, которые, как известно, не имеют врожденного вкуса к музыке, а из тщеславия сыплют гинейми на прославленных артистов, дивились ее голосу, как игре природы, и из Альбиона, войною тогда отрезанного от Европы, несколько лет гремели ей хвалы. На такой высоте увидела она соперника в Наполеоне и объявила ему войну. За Бурбонами последовала она в Париж, где двор и легитимисты старались прославить и поддержать ее. Лондон и Париж владеют правом раздавать дипломы на артистическую славу; вооруженная ими, предшествуемая молвой, заметив, что число ее слушателей безмерно уменьшается, Каталани пустилась по белу свету собирать дань с других народов.

Все столицы посетила она потом, но имела осторожность более двух, много трех или четырех концертов нигде не давать; сего было достаточно, чтоб истощить восторги, произведенные ее пением; дело шло для нее более об умножении капитала. Я уже сказал в предыдущей части, что в Аахене, сквозь окно или два окна, через улицу или переулок, слышал я громогласие ее и совсем не был обворожен; в Петербурге, послушав ее ближе, я надеялся лучше о том посудить. Плата за вход была не огромная, в сравнении с нынешними чудовищными ценами, по 25 рублей ассигнациями; два раза ходил я слушать ее, издержал пятьдесят рублей и, право, на пятьдесят копеек не имел удовольствия. С аристократическими затеями установила она для себя особый церемониал: публика с нетерпением наполняла филармоническую залу; лядащий оркестр, ею привезенный с собою, состоявший из двух или трех музыкантов, стоял уже на эстраде, а об ней еще помину не было. Кто-нибудь из знатных дождался ее у подъезда, вынимал из кареты, подавал руку, подымался с нею по лестнице, провожал сквозь толпу и возводил на возвышение, откуда она милостиво взирала на жаждущих слышать ее. Концерты ее ограничивались одною ее особой, и это было ей нетрудно: как у цыганок, было у нее десять или двенадцать годами затверженных арий, между коими вечная *la placida campania*.

Такие почести, признаюсь, меня возмущали, а это было только вступлением в нынешнее безумное время, когда жители на себе возят артисток в колесницах. Когда Рим властвовал над миром, когда было для него время великих мужей и великих деяний, одни победители, триумфаторы восходили в Капитолий; под папским владением, чести, которой не имели ни Виргилий, ни Гораций, удостоивались посредственные поэты, венчанные, названные лауретами. Италия, униженная, несколько веков поработенная немцами, никак не может забыть своей прежней славы и из сынов своих уделяет ее кому попало. Замечено, что, когда высокие чувства гаснут в душе, когда мелеют народные характеры, тогда люди боготворят одни только свои наслаждения. Неужели так и у нас? Нет, все, что творится у меня перед глазами, — действие нашей подражательности. Нам несвойствен фурур южных народов; одно истинное, великое должно возбуждать в нас восторги.

Показавшись раз пять, чудо европейское от нас скрылось и не оставило не только сожаления, едва ли воспоминания между людьми, которые считали обязанностью пленяться ее

голосом. Сию обязанность гораздо легче было выполнить, когда через года полтора приехала к нам Боргондио. Вот это уж была певица: если б она и не очаровала нас своим пением, то поразила бы новостью его рода. В Италии прекратился наконец жестокий обычай младенцев лишать пола; ибо сии несчастные, как бы хорошо ни пели, в слушателях производили некоторое отвращение. Взамен их начали искать контральто между женщинами, и Боргондио была в числе сих счастливых обретенных. Мы не слышали ее в концертах, а несколько раз в одной лишь опере, в которой на подмогу дана ей была немецкая труппа. В ней явилась она Танкредом, а целую четверть столетия блиставшая перед немцами примадонна их г-жа Брюкль Линденштейн — Аменаидой; стареющему тенору Шварцу весьма кстати пришлось роль Аржира. Тут в первый раз услышал я усладительную музыку божественного Россини, и Боргондио, для которой написал он эту оперу, достойна была ознакомить его с петербургской публикой. Судить о музыке я не умею, хотя дело весьма нетрудное (стоит только внимательнее прислушаться к толкам знатоков), зато чувствовать ее так сильно, как я, не всякому дано.

Говоря о французах, об итальянках, я было совсем упустил из виду вообще состояние русского театра, ничего не сказал о драматических авторах. Их было трое: Загоскин, Хмельницкий, Грибоедов, которые тогда состязались с Шаховским если не в плодовитости, то в искусстве. Загоскин поставил на сцену «Богатона», «Роман на большой дороге», «Благородный театр», Хмельницкий — «Воздушные замки», и хотя Грибоедов написал уже известную комедию свою «Горе от ума», она ходила только по рукам в рукописи, а печатать ее и играть, не знаю почему, не было дозволено.

Милорадович, который столько тешился всем театральным и так презирал его, с правителя канцелярии своей Хмельницкого взял клятвенное обещание не писать более комедий; лучше запретил бы он ему воровать. Когда уличенный в лихоимстве Хмельницкий был с бесчестьем отставлен, то нарушил клятву и снова принялся авторствовать.

В эти годы я почти совершенно охладел к театру и литературе. Оттого-то с прежнею отчетливостью и не могу говорить о первом из сих предметов; может быть, еще менее о последнем. Однако же, сколько могу, слабые воспоминания мои о том постараюсь сообщить читателю.

«Беседы» и «Арзамаса» давно уже не стало: первая, кажется, погибла под ударами последнего, последний почил на лаврах. И кому было поддержать «Беседу»? Державин отошел в вечность, оставив по себе вечную память, Шишков совершенно устарел, Шаховской унялся, прочие члены рассеялись, как овцы без пастырей. Почти то же можно сказать и об арзамасцах: Блудов продолжал в Лондоне, Дашков назначен был советником посольства в Константинополь, чувствительному Батюшкову было пагубно пламенное небо Неаполя, под которым рассудок его начинал расстраиваться; Жуковский неоднократно по несколько месяцев проживал в Германии, сопровождая порфирородную чету, при коей находился. Без них совершенно ослабли узы, вязавшие прежде наше веселое общество. Многие другие члены также находились в отлучке: Вяземский служил в Варшаве, Михаил Орлов командовал дивизией в южной армии, Пушкин был сослан, Жихарев женился и поселился в Москве. Из наличных членов Александр Тургенев помышлял единственно об удовольствиях света и о приобретении больших выгод по службе; брат его Николай с Никитою Муравьевым помышляли совсем не о литературе.

Положение Карамзина сделалось самое возвышенное, от всех отдельное, недостижимое для интриг и критики. Он пользовался совершенно доверенностью царя, который, на лето помещая его у себя в Царском Селе, нередко посещал его. Там спокойно продолжал он огромный и полезный труд свой, по временам издавая новые томы русской истории своей; но уже болезни посетили его совсем еще неглубокую старость.

На литературном горизонте в это время показалось великое множество новых писателей, мирными годами порожденных.

Но как назвать их или как различить человеку, к появлению их тогда столь равнодушному? Я сравню их со звездами, в белую массу слитыми на Млечном Пути... Одна фигура, впро-

чем, совсем не серафическая, отделяясь, выступала на первом плане, так что и мне удавалось видеть ее простыми глазами.

Это был Фаддей Венедиктович Булгарин, литовский дворянин, весьма хорошей фамилии, кажется, русского происхождения, воспитанный в русском первом кадетском корпусе, выпущенный из него в армию уланским офицером и сражавшийся с французами, потом под французскими знаменами бывший в Гишпании и, наконец, по приобретении небольшого имения близ Дерпта, сделавшийся эстляндским помещиком.

Кому приличнее мог быть космополитизм, как не человеку, прошедшему сквозь огонь и воду и которого, употребляя простое русское выражение, можно было назвать тертым калачом? Он сперва сделался известен одними журнальными статьями, что и сблизило его с Николаем Ивановичем Гречем, постоянным издателем «Сына отечества». В обоих было много веселости и злоязычия; но в Грече, при некотором добродушии, более остроты, а в Булгарине одна только язвительность. Они слегка придерживались Оленинского общества, которое в умеренности своей стояло неподвижно, пока, подобрав дружину (чтобы не сказать шайку) молодых, смелых пероносцев, с умножившимися силами они не сделались совершенно независимыми. Дерзость и осторожность были их девизом. Первые нападения их были на обезглавленную «Беседу», к которой Греч сам некогда принадлежал. «Беседа» и «Арзамас» тягались за честь, за вкус; тут сражались за одни барыши. Во дни преобладания Англии, по ее примеру, и в литературе должны были явиться ратоборствующие торговцы.

При беспрестанно возрастающем числе и смешении новых идей философических, политических, религиозных, трудно честному человеку мимо их идти прямым путем. Они — как подводные камни, возникающие среди бурного моря. Одни искусные люди умеют лавировать между ними: вот что делал Булгарин. Не бескорыстно, как утверждали, преданный правительству, которое приметным образом преследовало либерализм, он в то же время явно подавал руку, не выдавая их, людям, которые составляли особое литературное общество, распространяющее тайно самые свободные мысли<sup>124</sup>.

Адъютант начальника моего, гвардии поручик Александр Александрович Бестужев, о коем случалось мне упоминать, был вместе с известным после Рылеевым одним из главных членов этого общества. Этот оригинальный писатель повестей мне чрезвычайно нравился своим умом и приятным обхождением. Служба сознакомила нас, но коротких сношений у нас не было, всего раза два-три, не более, посетил он меня. Мне и в голову тогда прийти не могло, чтоб у него были вредные умыслы, ибо насчет мнений своих был он всегда очень скромнен. Он говорил мне о Булгарине с участием и уважением и даже хвалился тесными связями с ним. После падения Бетанкура герцог Виртембергский взял его к себе в адъютанты. Участь его, как всем известно, была потом весьма печальная, но под конец, под псевдонимом Марлинского, и довольно блистательная.

Вот все, что имею сказать я о словесниках этой эпохи. Вскоре потом другой образ жизни, другие занятия на время совершенно изгнали литературу из головы моей.

Более тринадцати лет горделивый граф Гурьев оставался министром финансов и в денежный век почитал себя первым министром. Никто не ожидал его увольнения; на Страстной неделе при докладе как-то проговорился он о своих немочах, о потребности отдохновения, а государь придрался к тому, чтобы с видом сожаления снять с него тяжкое бремя, на нем лежащее, из него оставив ему самую легкую часть — кабинет и уделы. Преемник ему давно уже приготовлен был Аракчеевым.

Генерал-интендант первой армии, Егор Францович Канкрин, не ей одной известен был умом, едва ли не через меру деятельным, и обширными познаниями во всех частях. Наука была наследственное имущество в его семействе. Дед его, раввин Канкринус, принявший не во святом, а в реформатском крещении имя Людовика, весьма известен был не целому, а только всему немецкому ученому миру. Сын его Франц Людовикович был также, как утверж-

---

<sup>124</sup> Булгарин состоял на службе в тайной полиции, но декабристов-писателей, среди которых он особенно был близок с Рылеевым и Бестужевым, он действительно не выдавал.

дают, хороший писатель; он прибыл в Россию и, не так как иные чужеземцы, был ей отменно полезен; он умер действительным статским советником и управляющим Старорусскими соляными заведениями. Наконец, сын последнего, Егор Францович, должен был далеко превзойти предков своих.

Он сперва долго находился в гражданской службе. Я помню в 1809 году его длинную фигуру, когда в чине статского советника посещал он соляное отделение департамента государственного хозяйства, к коему был он причислен и в коем я временно занимался; он ни над кем не начальствовал, а служащие изъявляли ему особенное уважение. Военный министр, после главнокомандующий, Барклай открыл его великие способности, перевел в военное министерство и взял с собою в армию, где поручил ему продовольственную часть. Четыре года сряду в России, в Германии, во Франции войско наше, благодаря его попечениям, ни в чем не нуждалось. Находясь все между военными, захотелось ему надеть их платье, и генеральские эполеты были одною из наград за труды его.

Когда его назначили на место вельможи нового издания, Гурьева, казалось, что министерство финансов с ним упадет. Нимало: человек с необыкновенным умом всегда будет равен месту своему, как бы высоко оно ни было. При великой учености, хотя он любил выдавать себя за немца и отчасти был им, не показывал он ни малейшего педантизма; живость другого происхождения проявлялась не в действиях, не в поступки его, а в речах: он был чрезвычайно остер. Самолюбие было в нем чрезмерное, но спеси вовсе не было: со всеми обходился просто, хорошо, хотя слегка и давал чувствовать высокое мнение о себе. Сей порок, если сие так назвать можно, был в нем источник благороднейшего чувства — великодушия: он до того презирал врагов своих, что даже, когда мог, никогда им не хотел мстить. Его занимали не одни дела и науки: он изрядно играл на скрипке и любил говорить о музыке; но еще лучше судил он об архитектуре и написал книжку под названием: «Über das Schöne in der Baukunst» [О красоте в архитектуре]. И хотя сие не входило в прямые его обязанности, он умел украсить Петербург и его окрестности общественными полезными постройками, отличающимися и прочностью и вкусом.

Я воображаю себе, что должны были почувствовать директора департаментов, когда после важного, тупоголового Гурьева они начали заниматься с человеком, у которого была такая ясность в мыслях, такая быстрота в понятиях. Мне два раза в жизни случилось говорить с ним: один раз просителем, не за себя; другой раз даже беседовать с ним около часу. Я с большим почтением подошел к министру и не с меньшим удовольствием долго слушал разумника <sup>125</sup>.

Он женился в Могилеве на Катерине Захаровне, дочери Захара Матвеевича Муравьева, брата Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола. По матери-немке была она двоюродною племянницей жене фельдмаршала Баркляя и жила у тетки. Сия последняя главную квартиру армии находила весьма удобным местом для сбыта племянниц. Кажется, с окончательным «ин», женившись на русской, чего бы стоило Егору Францовичу сделаться совершенно русским? Нет, звание немца льстило его самолюбию, а звание русского, в его мнении, унизило бы его. Кто же виноват, если не мы сами, когда без всякого спора так постоянно уступаем у себя иностранцам первенство перед собою? И оно так останется, пока не явится другой Петр и не подымет из унижения, в которое ввергнул нас Первый Петр.

Узнав об увольнении Гурьева, многие, встречаясь, произносили: «Христос воскрес» — еще радостнее обыкновенного.

В этот же день последовала другая важная перемена, но о которой мало говорили, вероятно, потому, что она не была окончательною. Когда в конце 1818 года возвращался я из Мобёжа в Петербург с доктором Никулиным, дорогой мы мало ли кой о чем переговаривали; между прочим, многое узнал я от него о князе Петре Михайловиче Волконском...

---

<sup>125</sup> Е. Ф. Канкрин был выдающимся министром финансов своего времени и много сделал для поднятия русской валюты; был человек исключительной честности. Жена его — сестра декабриста Арт. Муравьева. Канкрин старался облегчить положение последнего в Сибири.

Свойства таких людей более открыты бывают их врачам и камердинеру, чем духовнику их. В качестве мелкого медика приписанный к свите государя Пикулин находился во всех первых его походах и путешествиях, и Волконский неоднократно прибегал к его помощи, требуя скорых, хотя бы сильных, средств к исцелению. Тщетно Пикулин объяснял ему, что одно радикальное лечение может ему помочь, а что таким образом зло придавленное впоследствии жестоким образом может обнаружиться. «Вы увидите, что рано или поздно (точные слова Никулина) все это ему отрыгнется». Предсказания Никулина сбылись... Видно, в этом году стало ему невмочь; без того неужели бы он решился разлучиться с царем под опасением, что отвычка и забвение могут уменьшить милости его к нему? Как бы ни было, он сам стал проситься в отпуск за границу к минеральным водам, а недруг его, Аракчеев, подготовил уже на его место одного из подручников своих, начальника штаба первой армии, барона Дибича. Через шесть месяцев, возвратясь к должности, он уже в нее не вступал, ибо заступающий его место утвержден в звании начальника главного штаба. Во время оно, когда посещал я дом госпожи Танеевой, видел я у нее все аракчеевское общество и раза два его самого. На балах, на вечеринках встречал я семейства Апрелевых, Дибичей, Клейнмихелей и других и никак не мог предвидеть будущего их величия. Судьба Аракчеева сходствует с участию Наполеона, когда тот и другой гасли в заточении: люди ими взысканные, ими созданные, удерживались, а некоторые и возрастали в могуществе. Но никто из них так скоро и так высоко не поднялся и так быстро не исчез, как Дибич.

Отец его, так же как и он, Иван Иванович, был престарелый прусский полковник, родом из Силезии, как славянское прозвание его показывает. По призыву ли Павла или сам собою прибыл он в Россию, по доброй ли воле, или нет оставил Пруссию, не знаю; если поневоле, то тем более ему делает чести. Он слыл великим тактиком, только не на практике. Скоро произвели его у нас генерал-майором, дали большое содержание и поместили в Михайловском замке; и хотя потом всеми признана была его бесполезность, дарованное ему оставлено. Двух сыновей его, из коих меньшей так прославился, определили в русскую службу.

Семеновские офицеры, как уже говорил я, старались в обществе отличаться любезностью, ловкостью и щегольством. Между ними молодой Дибич примечателен был неуклюжестью и невзрачностью. Товарищи, однако же, не могли пренебрегать юношей, одаренным великою твердостью и благоразумием, напротив, в своих недоумениях, несогласиях всегда прибегали к его советам и подчиняли себя его суду. В нем ничего не оставалось славянского, одно только германское во всем было видно. Всегда степенный, рассудительный, хладнокровный в делах обыкновенной жизни, как бы равнодушный к окружающему, он исполнен был огня; не сердце кипело у него, а горела голова и, как у всех немцев новейшего времени, полна была фантазий. Во время первых двух французских кампаний, не оставляя гвардии, был он откомандирован в армию и не в больших еще чинах умел показать храбрость и искусство. Когда прусская королева с супругом посетили Петербург, несколько гвардейских офицеров-молодцов назначены были для бессменного при них дежурства во время их пребывания. Както в число их попал и Дибич; кто-то из высших вычеркнул его имя, промолвив: «Как можно? Таковую гнусную фигуру!» Он узнал о том, обиделся и вышел в генеральный штаб.

Двенадцатый год открыл ему славное поприще, на котором он славно был остановлен Парижским миром. Находясь в Могилеве первым лицом после фельдмаршала, привыкал он уже там к главному начальствованию. Так же, как Канкрин, женился он на племяннице госпожи Барклай, баронессе фон Тронау. Сам Барклай любил его с нежностью отца, однако же не был ослеплен насчет его недостатков. Я повторяю здесь слова его, переданные мне одним из приближенных: «Нельзя лучше Дибича найти начальника штаба; но горе ему и армии, если он будет главнокомандующим». Не того ли же мнения был Наполеон о Бертье? Многие полагали, что по привычке трудно будет Александру без Волконского; они не знали немцев: из них самый суровый на вид лучше всякого русского умеет быть гибок и угодителен там, где его польза.

В это время и помину еще не было о намерении графа Кочубея оставить должность; через четыре месяца спустя узнал я уже в провинции об увольнении его. Надобно полагать, что он надеялся созданное им министерство внутренних дел возвысить до прежнего значения и самому вновь приобрести доверенность царя; его ожидания не сбылись, и он видел приближение минуты, в которую предложат ему успокоиться; он не хотел дожидаться ее. Была еще и другая причина, законная, естественная: тринадцатилетняя дочь его, без ног, страдала всем телом до того, что не могла вынести движение кареты, а доктора советовали отправить ее в южный край. Тогда Кочубей едва ли не первый проложил путь, которому и теперь мало следуют, хотя посредством пароходов мог бы он быть удобен. На водах, на которых сопровождал я Бетанкура, поплыл он до Нижнего Новгорода, оттуда вниз по Волге поехал он в Саратов и Дубовку, откуда, по краткости волока, дочь его перенесли на руках до Качалинской станицы на Дону. По этой реке спустился он в Азовское и Черное моря и к осени на зиму приплыл в Феодосию.

Управляющим министерством на его место назначен был государственный контролер и, можно сказать, государственный муж барон Кампенгаузен. Опять немец! Но когда знатные чада России любят себя гораздо более, чем ее, почему не употреблять наемников? Кампенгаузен не успел оглядеться, как один несчастный случай прекратил его дни: карета, в которой сидел он, упала, а как человек был он тощий, точно хрустальный, то и должен был расшибиться вдребезги.

На первый случай, чтобы заместить его, взялись за устаревшего Василия Сергеевича Ланского, а потом, забывшись, остался он на этом месте. Он был некогда лихим гусарским полковником Сумского полка и страстным обожателем прекрасных. Видно, было в нем что-нибудь еще другое, ибо Екатерина избрала его губернатором в Саратов, и там он был совсем не лихим, а деятельным и искусным правителем вверенной ему страны. По его желанию, при Александре в том же звании он переведен в Гродну и там, кажется, оставался до 1812 года. Супруг и отец семейства, он в прелестях полек находил извинение частым своим неверностям. По занятии русскими Варшавы находился он долго членом временного там правительства, пока не сделали его членом Государственного совета. В двух Капуях, Гродне и Варшаве, труды и наслаждения изнурили умственные силы этого старца еще более, чем телесные. Он хорошо понял, что слепому случаю обязан он министерством, и совершенно предался ему, мало заботясь о делах, никогда не имея докладов у государя и все почитая себя накануне увольнения.

Мы видели, как пошатнулся кредит князя Александра Николаевича Голицына; недоброжелатели его не упустили тем воспользоваться. Один умный и смелый изувер, архимандрит Новгородского Юрьева монастыря Фотий, с грубым чистосердечием соединяя большую дальновидность, сильный дружбой Аракчеева, преданностию и золотом графини Орловой-Чесменской, дерзнул быть душою заговора против него. Тайно поддержанный и митрополитом Серафимом, он следил за преподаваемым в учебных заведениях и вопил против неправославного, даже нехристианского направления, которое оно принимает. Три человека, находившиеся под начальством Голицына и им облагодетельствованные, Магницкий, Рунич и Кавелин, имели также связи с противниками его и втайне строили ему кобы. О двух из поименованных случалось мне говорить и, может быть, еще случится; о Рунице не стоит того. Когда все было готово, когда все назрело, одною книжкой, изданною Библейским обществом и пропущенною цензурой, как уверяли меня, нанесен решительный удар Голицыну. В ней, между прочим, сказано было, будто Спаситель наш, прежде земли, воплощался уже в других мирах и что у Богоматери, исключая его, были другие дети от Иосифа. Александр сильно вознегодовал: цензоры полетели на гауптвахту; оба директора департаментов, Попов и Тургенев, были отставлены, а Голицын уволен только от управления министерством духовных дел и народного просвещения. Для препровождения времени оставлен ему почтовый департамент под именем главного управления или министерства. Это один из примеров, что у нас не людей избирают для министерств, а министерства создают для людей.

Чтобы посадить на его место, вырыли из забвения полумертвого Шишкова. Триумвиры, выше названные мною, взяли его к себе в опеку и из видов корысти, личного мщения (а один, Магницкий, по врожденной злости), именем его стали преследовать зло, но, противодействуя ему, творили ужасные несправедливости. С назначением Шишкова православная часть отошла от департамента духовных дел и, в виде особой канцелярии, перешла к синодальному обер-прокурору; доклады же Святейшего Синода государю представлялись через Аракчеева. Из четырех министров троим (военному, юстиции и внутренних дел) было за семьдесят лет, а четвертому, министру просвещения, около осмидесяти. Сия геронтократия должна была нравиться Аракчееву своим бессилием и покорностию. Впрочем, спасибо ему за трех полезных немцев.

Трудно изобразить состояние, в котором находился Петербург весною 1823 года. Он был подернут каким-то нравственным туманом; мрачные взоры Александра, более печальные, чем суровые, отражались на его жителях, и это влияние проникало даже до людей, подобно мне, малозначительных. Говорили многие: «Чего ему надобно? Он стоит на высоте могущества». Всякий объяснял по-своему причину его неутешной грусти. Человеку, который должен был жить в веках, прославленному другу свободы, по необходимости сделавшемуся ее стеснителем, тяжело было думать, что он должен отказаться от любви современников и от похвал потомства.

Мне кажется, что пример Наполеона возбудил в нем сильное честолюбие; но для удовлетворения его думал он употребить не насилия, а совсем иные средства. Он пленялся Западом и хотел пленить его; вот что объясняет непонятное пристрастие его к Польше: она была преддверием Германии, и, подобно Наполеону, надеялся он со временем быть ее главою. Мятежный дух, поднявшийся в этой стране, показал ему, что ожидания его не сбудутся. Многие другие обстоятельства и некоторые семейные тяготили его душу.

Напрасно человеку даны воля и рассудок. Судьба часто располагает нами по прихоти своей или скорее по воле того, кто ею правит. Со мною, по крайней мере, в жизни все хорошее и дурное приключалось внезапно, неожиданно. Таким же образом в этом году вдруг судьба моя переменилась, как читатель увидит ниже. Но прежде того должен я напомнить ему двух юношей-отроков, бывших моими товарищами в Московском архиве иностранных дел, особенно об одном, коего имя в сих Записках было раз упомянуто, но никогда не повторено.

То был Константин Яковлевич Булгаков, который вскоре после коронации Александра, по протекции отца (некогда посланника в Константинополе), получил место в многочисленной венской миссии. Работы ему там было мало, да, я думаю, и вовсе не было: зато в сем материальном городе нашел он бездну наслаждений. Он был красив лицом, крепок телом, любил без памяти женщин и умел им нравиться. Успехи его по сей части были вседневные, бесконечные; уверяли, что вся австрийская аристократия перебивалась в его объятиях. Он бы век прожил в Вене, если бы смерть отца не заставила его воротиться в Россию. Покойный Яков Иванович, выпросив двум незаконнорожденным сыновьям фамильное имя свое, полагал, что с ним вместе связаны права законных детей, и не заботился о духовной. Племянницы, после смерти его, стали оспаривать наследство у сыновей; тяжба длилась, и положение Булгаковых было совсем незавидное. Тогда Константин задумал отправиться в молдавскую армию, в надежде, что там золото сыплется дипломатическим чиновникам.

Надобно отдать ему справедливость: не одним красивым женщинам, но и сильным людям умел он нравиться, с теми и с другими быв смел без дерзости и угодителен без унижения, вообще стараясь приравливаться ко нраву каждого. И поочередно был он любимцем Каменского, Кутузова и Чичагова; с сим последним достигнув Березины, встретился он опять с Кутузовым, другом отца своего, который оставил его при себе. После того постоянно находился он в большой армии или, лучше сказать, в свите государя до самого Парижа; был также и на Венском конгрессе. Тут много перенес он трудов, переписывая депеши и снимая копии с трактатов. Для редакции его употребить никак нельзя было. Он сам хорошо это знал и, возвратясь в Петербург, стал приискывать место, которое бы представляло приятную деятельность без больших трудов. Он сделан почт-директором сперва в Москву, а потом в Петербург.



Это место, с коим сопряжено было до восьмидесяти тысяч доходу, было место завидное, однако же не столько уважаемое. Оно находилось в зависимости от почтового департамента и почиталось ниже директора ононого. Занимавшие его были люди тихие, образованные, жившие в небольшом кругу знакомых, благословляя судьбу свою и откладывая ежегодно суммы для обогащения детей своих или родственников, Булгаков умел поставить его на высокую ногу, придать ему какую-то важность министерскую<sup>126</sup>. Греческую хитрость свою прикрывая дипломатическою умеренною учтивостию и видом военной откровенности, которую принял он во время своих походов, составил он связи с лучшими генералами и особенно с приближенными из них к царю. То же самое было и с высшими гражданскими чиновниками; но со всеми весьма искусно умел он поставить себя на ногу почти совершенного равенства. В пребольших комнатах почтового дома, ярко на казенный счет освещенных, два раза в неделю принимал он гостей. Вечера эти были новостью для Петербурга; соединяя лучшее общество с нелучшим, они привлекали совершенною свободой и равенством, которые на них царствовали. Сам хозяин являлся в сюртуке и с трубкою во рту, а курительный табак был к услугам всех гостей. Дамы, разумеется, тут не показывались, и это можно было бы назвать холостою компаниею, если бы в гостиной не сидела хозяйка, жена Булгакова, дочь валахского бояра Варлама, которая, впрочем, все хохотала, обходилась свободно и нимало не стесняла веселья общества. Смело ручаюсь, что усерднее монархиста, чем Булгаков, не могло быть; но судьба влечет людей, и, освобождая себя и других от уз приличия, сие поведет, может быть, к разрыву других уз, более священных.

Что ни говори, это был клуб или трактир такого рода, в котором самим министрам не зазорно было показываться, и вход в него ничего не стоил. Еще скорее залу или бильярдную Булгакова можно было назвать биржей для не торговых, а гражданских оборотов. Тут можно было встретить статс-секретарей, сенаторов, обер-прокуроров, директоров департаментов, которых сперва зазывали и которые после сами напрашивались. Между ними были сделки, условия, взаимные соглашения об определении чиновника на места. Булгаков играл тут роль главного посредника; о ком бы ни замолвили ему слово, о человеке, которого он никогда не видал, которого вовсе не знал ни честности, ни способностей (об этом он мало заботился), спешил он ходатайствовать за него. Отказы получал он нередко и не сердился за то: вообще покровительство было у него не страстию, а расчетом. Все прославляли его гостеприимство, которое ему ничего не стоило, и благодеяния его, которые стоили ему несколько рассеянно сказанных слов. Что касается до тяжб, то просьбы его бывали упорнее, настойчивее; он также не брал труда читать бумаги, входить в существо дела, а просто делался защитником одного из просителей... Удовольствие было целию его жизни... И никто еще из смертных не наслаждался столько житейскими благами! С самой первой молодости я не чувствовал к нему симпатии; после того, не имея никакой нужды ни в особе, ни в обществе моем, он едва замечал меня, а я едва ему кланялся.

Другой человек более всех других известен читателю. Блюдов возвратился из Лондона и возвращается в сии Записки. Он находился в иностранном министерстве без должности, но не без дела. С высочайшего соизволения, по докладу графа Каподистрии, поручено ему было создать русский дипломатический язык, то есть под его наблюдением должны были заниматься молодые чиновники переводом всех актов венского конгресса. Переводы были дурны, и переправка их ему стоила более труда, нежели если б он переводом сам занялся, но дело сие окончено с желаемым успехом. Вскоре потом возложено на него другое важное поручение.

Когда, в конце 1815 года, государь вторично воротился из Парижа, вспомнил он о сделанном им в эти шумные годы небольшом завоевании, на которое дотоле он не обращал внимания. Бессарабия была сперва управляема, по гражданской части, престарелым молдавским

---

<sup>126</sup> К. Я. Булгаков, как и брат его, московский почт-директор А. Я., сумел сделать свою должность «важною» еще тем, что перекрестно сообщал содержание частной переписки лицам, занимавшим высшие должности в государстве. Такое использование своего служебного положения не мешало братьям Булгаковым быть в дружеских отношениях с Жуковским, Вяземским, Крыловым, А. Тургеневым, Пушкиным и другими писателями.

бояром, русским действительным статским советником, Скарлатом Дмитриевичем Стурдзою, по военной генерал-майором Иваном Марковичем Гартингом. Первый скоро умер, и обе власти соединились в руках последнего. Неустройствам там не было конца, самоуправление было чрезмерное. Сын умершего Стурдзы, столь известный Александр Скарлатович, находился тогда при уважаемом государем статс-секретаре Каподистрии, был его другом и сотрудником. Исполненный тогдашних идей и зная склонность Александра отделять от России сделанные ею завоевания, он затеял из частицы своего отечества сделать маленькое образцовое государство с представительным правлением. Через Каподистрию он успел в том: подольский военный губернатор, Алексей Николаевич Бахметев назначен полномочным наместником в Бессарабскую область, и она сделана независимою от власти Сената и наших министров. Еще хотелось ему, чтобы, по примеру Польши и Финляндии, назначен был для нее особый министр-статс-секретарь, и это желание отчасти исполнилось. Граф Каподистрия согласился докладывать государю по делам нового края, а Стурдза, заправляя ими, приготавливать доклады, и некоторым образом сделался статс-секретарем по сей части.

Таким образом продолжалось до 1821 года, до возвращения государя из Лайбаха. Когда греки восстали на турок, положение России в отношении к сему делу было самое затруднительное. Возмущение сие совпадало с другими совершившимися на Западе, казалось, в тайной связи с ними и как бы продолжением мятежной цепи от Тага до Босфора. Стараясь усмирять одних, как можно было явно помогать другим против султана, законного владыки, в нарушение святости трактатов! Католический мир, французское правительство и особенно Австрия открыто держали сторону турок; Англия, по обыкновению, смотрела спокойно на резню народов. Нам же, с другой стороны, без всякого участия внимать воплям наших братии, наших единоверцев, наших первых наставников и учителей во святой нашей вере, было невозможно. Все народы европейские, вся Россия зывали к государю; а Турция, тайно подстрекаемая, вероятно, самими же либералами, своими дерзкими поступками сама вызывала нас на бой. Демократический дух этого возмущения один уже должен был нас от того удерживать. Целому свету известна тут умеренность Александра; по моему мнению, никогда не поступал он столь осторожно, столь благоразумно и, смею прибавить, столь справедливо. Греку Каподистрии, которого турки подозревали, обвиняли и который явно показывал республиканские наклонности, оставаться при нем долее было бы трудно. Он оставил и нашу службу и Россию; за ним последовал и Стурдза, вышел в отставку и поселился в южном крае.

Но как оставить без призрения любезную Бессарабию? Кому завещать ее? Упросили графа Кочубея, при других его больших занятиях, заменить в этом случае графа Каподистрию, а Блудова — принять в свое заведование дела, находившиеся у Стурдзы. Он уже приучил себя к трудам, а при Нессельроде не мог он ожидать никакого важного значения. Да и в Лондоне бывал он занят только во время отсутствия посла графа Ливена, когда он на его месте оставался поверенным в делах. Супруга сего последнего, графиня Дарья Христофоровна, сестра двух Бенкендорфов, Александра и Константина, при нем исправляла должность и посла и советника посольства, ежедневно присутствовала при прениях парламента и сочиняла депеши. Сия женщина, умная, сластолюбивая, честолюбивая, всю деятельную жизнь свою проводила в любовных, общественных и политических интригах. Веллингтон, Каннинг и весь лондонский фэшион [высший свет] были у ног ее. Куды какую честь эта женщина приносила России, ей чуждой по чувствам и по рождению! Я не одобрял согласия Блудова: мне казалось, что, в превосходительном его чине, доклады по одной малой области суть дело мелочное. Я не знал, что это делает его известным самому царю.

И вот два человека, совсем различных свойств, которые нечаянным образом в это время имели влияние на переворот в судьбе моей.

Совсем собрался я если не на вечный, то на долгий покой. Не более пяти или шести раз случилось мне в Петербурге посетить немецкий театр; не понимаю, как мне вздумалось вдруг еще раз взглянуть на него; я думаю, оттого, что на нем играли любимую оперу мою — «Деревенские певички» Фиораванти. В креслах увидел я Булгакова с постоянным наперсником его

Маничаровым: они тут ухаживали за какими-то актрисами. Последний во время междудействия подошел ко мне и сперва начал было говорить с сожалением о нашем бывшем начальнике и о моем положении. Но, несмотря на свой серьезный вид, он до печальных речей был не охотник, любил одни веселые. Вдруг сказал он мне:

— Знаете ли что? Вам предстоит случай приятным образом продолжать службу. Граф Воронцов назначен Новороссийским генерал-губернатором.

Не желая объяснить ему мнения, которое об этом человеке составил я себе в Мобеже, я отвечал, что за меня некому его просить.

— Как некому? А Булгаков-то на что? Ведь они с ним страшные друзья.

— Нет, Булгакова я утруждать не буду; да и он сам меня не очень жалует, — отвечал я.

— Как вы ошибаетесь на его счет! Он на всякие одолжения готов.

Тем и кончился разговор наш.

Дня через три заехал ко мне Блудов, к удивлению моему, с упреками: как можно искать покровительства человека, которого я не люблю и не уважаю, не предупредив о том приятеля, который в исполнении моего желания гораздо лучше мог бы мне способствовать? Я ничего не понимал. Еще в Лондоне хорошо был он знаком с Воронцовым, а тут, когда назначили того вместе и полномочным наместником Бессарабской области, то и по делам должен был он войти с ним в ближайшие сношения. Я ничего про то не знал, да и мало о том заботился. Он приехал ко мне прямо от Воронцова, который, между прочим, спросил у него, знает ли он меня.

— Мне рекомендует его Булгаков, — сказал он, — но вы знаете, какой он добрый, за всех хлопочет: ему трудно поверить.

Увлеченный приятным чувством, Блудов, вероятно, не побранил меня.

— О, если оно так, то не худо бы поскорее с ним сознакомиться! Да почему бы не завтра часов в двенадцать? Я буду его дожидаться.

Я вспомнил театральную встречу мою с добрым Маничаровым, рассказал ее и прибавил, что ни намерения, ни желания служить при Воронцове не имею.

— Все равно, — сказал Блудов, — надобно все-таки сходить к нему и найти средство учтивым образом отказаться.

Последнего я никак не умел сделать. Кто не знает ныне Воронцова? Кто не знает, как увлекателен бывает его прием тем, коих он желает при себе иметь? Разве один Александр бывал очаровательнее, когда хотел нравиться. Он имел какую-то щеголеватую неловкость, следствие английского воспитания, какую-то мужественную застенчивость и голос, который, не переставая быть твердым, бывал отменно нежен. Более получаса разговаривал он со мною наедине о разных предметах, преимущественно же о крае, коим собирался управлять. Я, с своей стороны, ничего не упоминал о себе, не изъявлял никаких надежд, не указывал ни на какое место. Прощаясь со мной, просил он меня понаведаться к нему, дабы пообстоятельнее поговорить о наших делах. На этот раз нашел я его в каких-то хлопотах; он успел сказать со мною несколько слов, еще приглубить меня и пригласить дня через два к себе обедать. Потом опять присылал он меня звать к себе, потом... потом не знаю, как это сделалось, я признал себя в совершенном его распоряжении. Он обошел меня, да и я, кажется, не совсем ему был противен. Даже граф Кочубей расхваливал меня ему, Я некогда служил под его начальством, но как было ему знать меня? Не принимал ли он меня за отца моего? По соглашению с Кочубеем и Блудовым, условлено по прибытии на место сделать меня правителем особой канцелярии бессарабского наместника.

Я, виноват, не пошел благодарить Булгакова: мне не хотелось в этом деле признавать его участия. Итак, едва оставив службу, не думав, не гадав, я опять готов был поступить в нее.

Мне оставалось только отправиться надолго и в долгий путь, ибо непременно надобно мне было заехать в Пензу, где меня ожидали и куда заблаговременно, не предвидя, что со мной случится, отправил я свои пожитки и всю накопленную мною маловажную движимость.

Зрелищем совершенно для меня новым в Пензе были войска, в ней и вокруг нее расположенные. С незапамятных времен, кроме ополчения 1812 года да внутренней стражи, других

воинов в ней не видали. Дивизией начальствовал генерал-лейтенант Иван Федорович Эмме, семидесятилетний старец, совсем не маститый. Чудесно-крепкого сложения, он еще бегал в саду у брата моего, при мне перепрыгивал через довольно широкий ров, в четвертый раз был женат (у немцев это дозволено), жене своей, лет сорок его моложе, начинал изменять и собирался развестись с нею. Хотя он и смотрел молодцом, о военных подвигах его что-то мало знали. Получив изрядное образование, он в обществе бывал довольно приятен и весел. Мне все это в его лета не нравилось, и он мне все казался старым мекленбургским жеребцом, еще годным под седло.

Как в Рим, так и в Одессу все пути ведут из Киева. Мне сказали, что их несколько; как мне было выбирать из них? У меня было письмо от матери к графине Браницкой, и потому сперва поехал я в Белую Церковь, в ночь с 20 на 21 июля.

Ночи в это время бывают еще коротки, да и путь был мне не длинен; я совершил его до рассвета. В Белой Церкви жила графиня только по зимам; летом же — в трех верстах отсюда, в своей любезной Александрии, собственными ее стараниями возвращенный огромный парк. Туда я прямо проехал и остановился в довольно чистой корчме. Выспавшись, часу в одиннадцатом я принарядился и пошел являться.

Проходя садом или парком, я подивился его красоте; строения, которые нашел я на конце его, меня удивить не могли. Над каменным двухэтажным домом, которому предназначено было вмещать в себе гостиницу, большими буквами выставлено было слово Аустерия, и в нем-то помешалась владетельница замка. Я нашел ее после чая или завтрака одну с дочерью, в большой комнате нижнего этажа, служащей ей и гостиной и кабинетом, в черном тавтяном, довольно поношенном капоте, в белом, довольно заношенном чепце. Она не расточительна была на ласки и приветствия; зато простое, доброжелательное обхождение ее вселяло уважение и доверенность. Поговорив со мной о матери моей, она сказала, что я непременно сколько-нибудь должен у нее погостить, а потом, позвонив, велела мне во флигеле отвести две или три весьма чистые комнаты.

В этой женщине было так много оригинального, что распространиться немного об ней считаю вовсе не излишним. При необъятном ее богатстве, все говорили, что она чрезмерно скупа, и я имел тут случай убедиться в том; зато на доброе дело случалось ей бросать по сту и по двести тысяч рублей<sup>127</sup>. В этой русской барыне, совершенно старинной помещице, было так много ума, важности и приличия, что ни один поляк, даже по заочности, не дерзал попрекать ее варварством. Царствование Екатерины было на ней напечатано.

За обедом, исключая хозяйки и меня, сидели четыре женщины и один мужчина, и вот кто они были.

Младшая дочь, графиня Елисавета Ксаверьевна Воронцова, жена моего будущего начальника. Ей было уже за тридцать лет, а она имела все право казаться еще самую молоденькою. Долго, когда другим мог надоесть бы свет, она жила девочкой при строгой матери в деревне; во время первого путешествия за границу вышла она за Воронцова, и все удовольствия жизни разом предстали ей и окружили ее. Со врожденным польским легкомыслием и кокетством желала она нравиться, и никто лучше ее в том не успевал. Молода была она душою, молода и наружностью. В ней не было того, что называют красотой; но быстрый, нежный взгляд ее миленьких небольших глаз пронзал насквозь; улыбка ее уст, которой подобной я не видал, казалось, так и призывает поцелуи. Сие изображение служит доказательством моему беспристрастию, ибо впоследствии была она ко мне чересчур немилосерда, хотя на этот раз старалась быть отменно любезна.

Как контраст, сидела подле нее дочь генерала Раевского, Елена Николаевна, дева еще не старая, но мрачная и больная. Все семейство ее страдало полножелчием, и, смотря по сложению каждого из членов его, желчь более или менее разливалась в их речах и действиях. Графиня Браницкая приходилась двоюродною теткой Николаю Николаевичу, и оттого

<sup>127</sup> Одним из таких проявлений «щедрости» Браницкой было крупное ассигнование на усмирение восстания в южной армии в 1825 году, когда С. И. Муравьев-Апостол со своим Черниговским полком едва не занял Белой Церкви.

покровительствовала и поддерживала его семейство, за что не весьма хорошо отблагодарило оно ее <sup>128</sup>.

Третья особа была старая знакомка моя, Наталья Николаевна Ергольская, дочь киевского советника Николая Ивановича, о коем говорил я в начале сих Записок. Об имени четвертой женщины, какой-то шляхтянки, паньи-экономки, я не только не спросил, но даже хорошенько не поглядел ей в лицо, хотя она сидела рядом со мною.

Предметом общего, особого внимания гордо сидел тут англичанин-доктор, длинный, худой, молчаливый и плешивый, которому Воронцов, как соотечественнику; поручил наблюдение за здоровьем жены и малолетней дочери: перед ним только одним стояла бутылка красного вина.

Порядочно отдохнув после обеда, графиня предложила мне показать сама свое прекрасное создание. Она не повезла и не повела меня с собою. С ослабевшими и опухшими ногами, она ходить не могла; два казака повезли ее в креслах на колесах, а я сопутствовал ей пешком. «Посмотри, батюшка, — сказала она мне, — двадцать пять лет тому назад здесь было голое поле, прутика не видать было, а теперь мы гуляем в густом лесу». Быстрая речка Рось, в ином месте удержанная, в другом выющаяся по воле, протекает весь этот длинный сад. От палящего зноя этим летом вся трава пожелтела; близ речки сохраняла она только свою свежесть, и большие голубые цветы на высоких стеблях, по берегам ее насаженные, казались бесконечною сапфировою цепью. Всех прелестей этого очаровательного места я описывать не буду: их было слишком много. Графиня Браницкая сроднилась с природой; деревья сделались ее обществом и друзьями. Проезжая мимо иных, проговаривала она: «Голубчик, красавец ты мой!» С досадой отворачиваясь от других, говорила мне: «Я этих терпеть не могу», — однако же не лишала их жизни, не велела рубить. Сперва я не чувствовал усталости, но, наконец, готов был в ней признаться моей вельможной путеводительнице, когда закат солнца заставил нас воротиться.

Следующий день провел я почти таким же образом. Делаясь доверчивее и смелее с графиней, я заговорил ей про толки, которые идут о ее капиталах, и находил, что, по моему мнению, счет им должен быть преувеличен. «Не знаю, право, батюшка, наверное не могу сказать, а кажется, у меня двадцать восемь миллионов», — отвечала она. Потом прибавила: «Меня все бранят за то, что я не строю дворца. Я люблю садить, а не строиться; одно потруднее другого и требует гораздо более времени. После меня, если сыну моему вздумается взгромоздить хотя мраморные палаты, будет ему из чего.

Из Белой Церкви чем свет выехал я 23 числа по тракту, мне там указанному. Первый городок, который увидел я, был ледащий Тараш, а после большое местечко Ольшаны, принадлежащее Василью Васильевичу Энгельгардту, племяннику Потемкина и брату Браницкой. Тут мог я немного своротить с дороги, чтобы взглянуть на Казацкое, где провел я год моего отрочества, и мне до смерти того хотелось, но время становилось дорого и, околесив большую часть России, дорога начинала мне надоедать. От Ольшаны и Казацкого вплоть до Херсонской губернии идут именья, купленные Потемкиным у князя Любомирского; из них могло бы составить княжество Потемкинское, пространнее и богаче иного немецкого герцогства. После его смерти разделены они между потомками трех сестер, и каждому из наследников досталось более пяти тысяч душ. В тот же вечер проехал я Шполу, доставшуюся Дарье Николаевне Лопухиной, внучке сестры его; рано утром — Золотополье, принадлежащее Николаю Петровичу Высоцкому, сыну той же сестры. Тотчас после сего местечка вступаешь в Новороссийский край. Насилу в десять часов вечера 26 июля приехал я в Одессу.

Среди ночной темноты все показалось мне громадно. Я остановился в известнейшем отеле Рено, близ театра, перед которым горела блестящая иллюминация. Она была по случаю

---

<sup>128</sup> Известный герой войны 1812 года, сын одной из племянниц Потемкина. Сыновья его, Александр и Николай, друзья Пушкина, прикосновенны были к заговору декабристов, но отделались легко благодаря заслугам отца. Другая дочь его — М. Н. Волконская, которую Пушкин воспел в «Евгении Онегине» и которой посвятил «Полтаву», поехала за мужем-декабристом в Сибирь. Единоутробный брат ген. Раевского-отца В. Л. Давыдов был одним из главарей Южного тайного общества. Другой зять ген. Раевского, М. Ф. Орлов, — один из главных деятелей тайных обществ.

приезда графа Воронцова и должна была продолжаться три дня. Подмости были сделаны, шкалики куплены, и хотя в это самое утро отправился он в Бессарабию, ее все-таки зажгли. Следовательно, как будто праздновали его отбытие.

Никогда еще столь богатых материалов не имел я для разработки; никогда столь длинной галереи замечательных портретов не представлялось мне для списывания, как там, куда в первый раз приехал я: новый край, молодой еще, но высоко поднявшийся город, с разнородным населением, можно сказать, в малом виде рождающийся целый мир; наконец, настоящий двор, сборное, беспрестанно меняющееся общество. И когда пришлось мне все это описывать? Когда воображение гаснет, память тупеет, охота пропадает. Если бы я был так счастлив, чтобы в читателе возбудить какое-нибудь участие собственно к судьбе моей, то продолжение простого рассказа о похождениях моих достаточно бы было для удовлетворения его любопытства.

Рядом со мной, об стену, жил Пушкин, изгнанник-поэт. Из первых частей видно, что чрезмерной симпатии мы друг к другу не чувствовали; тут как-то сошлись.

В Одессе, где он только что поселился, не успел еще он обрести веселых собеседников; в Бессарабии звуки лиры его раздавались в безмолвной, а тут только что в шумной пустыне: никто с достаточным участием не в состоянии был внимать им. Встреча с человеком, который мог понимать его язык, должна была ему быть приятна, если б у него и не было с ним общего знакомства и он собою не напоминал бы ему Петербурга. Верно, почитали меня человеком благоразумным, когда перед отъездом Жуковский и Блудов наказывали мне стараться войти в его доверенность, дабы по возможности отклонять его от неосторожных поступков. Это было не легко: его самолюбие возмутилось бы, если б он заметил, что кто-нибудь хочет давать направление его действиям. Простое доброжелательство мое ему полюбилось, и с каждым днем наши беседы и прогулки становились продолжительнее. Как не верить силе магнетизма, когда видишь действие одного человека на другого? Разговор Пушкина, как бы электрическим прутиком касаясь моей черными думами отягченной главы, внезапно порождал в ней тысячу мыслей, живых, веселых, молодых, и сближал расстояние наших возрастов. Беспечность, с которою смотрел он на свое горе, часто заставляла меня забывать и собственное. С своей стороны, старался я отыскать струну, за которую зацепив, мог бы я заставить заиграть этот чудный инструмент, и мне удалось.

Чрезвычайно много неизданных стихов было у него написано и, между прочим, первые главы «Евгения Онегина»; и я могу сказать, что я наслаждался примерами (на русском языке нет такого слова) его новых произведений. Но одними ли стихами пленял меня этот человек? Бывало, посреди пустого, забавного разговора из глубины души его или сердца вылетит светлая, новая мысль, которая изумит меня, которая покажет и всю обширность его рассудка. Часто со смехом, пополам с презрением, говорил он мне о шалунах-товарищах его в петербургской жизни, с нежным уважением о педагогах, которые были к нему строги в лице. Мало-помалу открыл я весь зарытый клад его правильных суждений и благородных помыслов, на кои накинута была замаранная мантия цинизма. Вот почему все заблуждения его молодости, впоследствии от света разума его исчезли как дым.

В первую седмицу пребывания моего в Кишиневе [в должности члена Верховного совета Бессарабии) воздержусь от описания лиц и мест, мне представившихся, а буду вести простой дневник случавшемуся со мною.

Радич повез меня 19 числа [сентября] в трактир к какой-то немке; обед был опрятный и сытный, и я удостоверился, что не везде тут скверно едят. Следующие дни беспрестанно получал я приглашения на обеды. В продолжение 20-го наехала вся свита и канцелярия графа [Воронцова], Казначеев, Марини, Врунов, Леке и другие, а к ночи и сам он прибыл.

Для него, в год за двенадцать тысяч левов, нанят был не весьма большой и низкий дом Варфоломея, прозванный Пестрым <sup>129</sup>. Он едва мог вместить толпы пришедших утром поклон-

---

<sup>129</sup> Пушкин упоминает этот дом в послании к Вигелю о Кишиневе (1823), как упоминает в своих стихотворениях и письмах того периода всех называемых здесь Вигелем лиц.

ников, посетителей и просителей. Я отправился в Верховный совет и был немного смущен при первом взгляде на состав его: наружностью и величиной сие высшее судилище походило на сборную избу. Кто-то ссудил меня мундиром, и я в первый раз прицепил свой Владимирский крест. Сам наместник председательствовал и приводил меня к присяге.

Он уехал 23 числа, свита его — 24, а я 25 переехал в Пестрый дом Варфоломея, что в глазах жителей придало мне великую важность.

У Радича спал я на соломе; тут нашел я атласные, бархатные диваны, мебели всех времен и фасонов, в азиатском и европейском вкусе, некоторые предметы роскоши, странные, стародавние, перемешанные с самыми новомодными, стены, расписанные всевозможными цветами. Хозяин этого дома был Варфоломей, недобросовестный, запутавшийся в делах откупщик, которому помогли за высокую цену отдать его со всем убранством внаймы для казны.

При отъезде из Петербурга, дав Блудову слово в частных письмах изображать ему состояние края, сверх того, имея от Воронцова поручение сообщать ему о всем любопытном, в нем происходящем, расчел я, что гораздо лучше будет составить из всего одну общую записку, в которой представить им картину во всех ее подробностях. Мне нужны были сведения о лицах и делах; собирать их было нетрудно; во взаимных обвинениях служащих, конечно, было много клеветы, и я старался из рассказов их отделять одно вероподобное. Главный же источник, из коего черпал я, хотя с осторожностью, был Липранди, парижский мой знакомый, который находился тут в отставке и в бедности. Я с усердием принялся за сей труд, совершенно новый для меня в своем роде, и я смело могу похвалиться, что из всего касающегося до образа управления, до порядка, до особых узаконений края и до исполнителей их ничто тут не пропущено.

Я писал тогда в самом дурном расположении духа, под влиянием мрачной погоды и окружающей меня скуки и беспрестанно внимая мерзостям, мне сообщаемым. За истину мною писанного я могу ручаться, но истина, может быть, и преувеличена. Доходя до причин, надобно с некоторою снисходительностью смотреть на шалости ребят, на своенравие стариков и на излишнюю запальчивость юношей, а во мне сей снисходительности не было. Главная же ошибка моя состоит в том, что на людей и на их нравы в этом новом краю смотрел я с самой фальшивой точки зрения.<sup>130</sup>

Несколько лет спустя, под управлением русского генерала П. Д. Киселева, знаменитого мужа девятнадцатого столетия, довершено начатое<sup>131</sup>. С помощью двух-трех, по мнению его, просвещенных людей состряпал он для княжеств Молдавии и Валахии нечто в роде конституции. В молодости, когда он ничего не писал и не читал, наслышался он о свободе и представительных правлениях; в совершенно зрелых летах захотел он узнать, что это такое, и принялся за дело. Со врожденным, необыкновенным, чисто русским умом увидел он, что почти все один обман, но обман, который может быть полезен. Он из числа тех людей, которые дружатся со свободой, обнимают ее с намерением после оковать ее в свою пользу, чего они, однако же, никогда не дождутся: явятся люди побойчее их, которые будут уметь для себя собрать плоды их преступного посева. А между тем он был причиною, что в нравственном смысле молдаване и волохи решительно отделились от России, в которой до него все еще видели они избавительницу. Юношество толпами поспешило в Париж, к источнику знаний и всех земных наслаждений; сколько мне известно, сими последними только пресытились они. И что будет из сих несчастных, полных страстей и бедных рассудком? Не будут ли они со временем пагубой своего отечества?

Со времени присоединения области постоянно играл в ней важную роль М. Е. Крупенский, принадлежащий к боярской фамилии. Он был тщеславен, как все молдаване, роскошен, но более их знаком с европейским житьем. У него в руках всегда находилась казна, и, следуя обычаю, принятому в Яссах, он полагал, что он может брать из нее все для него потребное.

<sup>130</sup> Эта записка Вигеля о Бессарабии, как позже записка его о Керчи, представляет собой набор пасквилей, клеветы и ругани по адресу местных жителей и вызвала, так же как и записка о Керчи, ненависть к автору, которого пришлось убрать с обеих должностей.

<sup>131</sup> Т. е. «развращение» края предоставлением ему некоторой самостоятельности.

Особенно же в звании вице-губернатора при двух наместниках, Бахметеве и Инзове, он делал что хотел, не думая о дне отчетов и ответственности. Сей день настал для него с прибытием Воронцова; он скоро должен был оставить службу и поплатиться почти всем наследственным имением за неосторожно сделанные казенные займы.

На его место прибыл херсонский вице-губернатор Василий Васильевич Петрулин, добродушнейший и честнейший человек в мире, бывший долго адъютантом при дюке де-Ришельё. Едва успел он приехать, как, с наставления графа, меня, ему прежде неизвестного, поспешил посетить он в дорожном платье. Мы оба были залетные птицы в незнакомой стороне, оба должны были действовать с оглядкой, что нас скоро чрезвычайно и сблизило. Его ужасала бездна беспорядков, которые надлежало ему исправить. Деятельность его изумляла всех, его утомляла, а меня заставляла бояться за жизнь его; ибо здоровье у него было самое плохое.

Председатель уголовного суда Курик совсем не был так страшен, так опасен и так могущ, каким я вообразил себе его и каким представил в Записке о Бессарабии. Он был украинец, ополячившийся во время служения в Варшаве и пристрастный к евреям; что же могло оставаться русского в этом провинциальном ораторе? В совете, в котором видел он какой-то парламент, надоедал он мне своими умствованиями, бесплодную плодovitостью речей. В ласковых его со мною разговорах не мог я поймать выражения ни единого чувства, согласного с моими. Все вместе породило во мне преувеличенную антипатию к нему, и оттого, может быть, и сказал я об нем что-нибудь лишнее.

О депутате от дворянства Иване Константиновиче Прункуле говорил я тоже не с весьма выгодной стороны, и теперь не буду ставить его примером добродетели. Но в нем было много примечательного; он казался выродком из тяжеловесных молдаван. Его чудный ум, быстрота, с какою обнимал он дела, и способность объяснять их на русском языке, которому выучился он уже не в молодых летах, мне нравились так же, как и выразительный его взгляд и проворство телодвижений. По поставкам на армию, во время последней турецкой войны, имел он расчеты с казною. Такого рода дела предпринимаются не из усердия, а из барышей, и всякому хочется получать их более. Если требования его были неумеренны, не надобно было удовлетворять их. Из дела, в котором обращались миллионы, извлек он небольшое состояние в Бессарабии, и это ему ставили в вину. Не только ничего ему не уплачивали, но тянули и тянут еще разорительный для него процесс и его же еще преследовали. Вообще надлежит быть справедливее и таких людей беречь для будущего, дабы их примером не напугать их соотечественников и не охладить их к России. Сами земляки необыкновенный ум его называли плутовством; везде горе от ума!

Прежде всего следовало бы говорить о гражданском губернаторе К. А. Катакази; но из главных лиц он оставался так мало замечателен, что, бывало, всегда между ними его последнего разглядишь. Молоденьким гречонком из Константинополя в Молдавию вывез его господарь Ипсиланти, потом женил на одной из дочерей своих и по незрелости тогда ума его (и с тех пор мало созревшего) дал ему только звание каминара, как бы сказать — титулярного советника. После побега из Ясс привез он его с собою в Петербург. В награду за преданность Ипсиланти и за понесенные им потери, по его просьбе, два зятя его, Негри и Катакази, приняты в русскую службу с чином действительного статского советника, будто бы соответствующего их молдавскому званию.

Нечто вроде представительного правления введено было в Бессарабии под названием «Образования». С помощью наставлений, насылаемых из Петербурга, его составлял Криницкий, который, как всякий поляк, искренно или притворно любил вольность. Поляки, коими многие места наполнил он в области, воскликнули: республика! а недовольные молдаване возмечтали, что могут делать все, что хотят. В 1820 году сделалась настоящая республика, только с осторожным президентом, Инзовым, которому помогали прикрываться постановлениями и законами. Вдруг узнают, что известный либерал, англичанин в душе, назначен наместником; вот тут-то пришло время совершенной свободы. Многие, вероятно, мечтали уже и о безначалии с Катакази, тем более что место областного управления должно было перенестись



в Одессу. Спросили бы они в великобританских колониях, как либеральничают там англичане. Спокойная твердость Воронцова всех поразила: в нем, более чем наместника, увидели наперсника царского. Как бы то ни было, с самой первой минуты, во все время многолетнего управления своего, не встретил он и тени сопротивления.

Вместо безначалия в делах показалось гораздо более порядка, и деятельность необходимая, дабы оживить сих неподвижных. Анархию нашел я только в общежительности; в городе, наполненном помещиками, служащими и эмигрантами из Молдавии и Греции, все жили порознь, нигде не было точки соединения. Старый холостяк, Иван Никитич Инзов, который никогда не приближался к женщинам и до конца жизни сохранил целомудрие, жил по-солдатски; оставшись в Кишиневе по званию попечителя колоний южного края, он ничего не переменил в образе жизни своей. Катакази получал большое содержание серебром и, хотя не справлял, как говорится, царских торжественных дней, проживал его сполна, да еще делал долги. Он ежедневно принимал у себя и кормил одних греков, и они-то объедали его, сердечного.

Из моих соотечественников короче всех сошелся я с одним молодым человеком, так же как я, учившимся в Форсеуилевом пансионе, только несколько годов позже. Николай Степанович Алексеев родился в Москве, воспитывался в ней, вырос, возмужал и сражался за нее на Бородинском поле.

В 1819 году властвовал еще Бахметев или, скорее, супруга его Виктория Станиславовна, разводная жена графа Шоазеля-Гуфье, урожденная графиня Потоцкая. Как всякая полька, любила она власть и оттого любила начальствовавшего мужа, безногого, пожилого и хворого. Как полька, любила она деньги и оттого любила дикую еще Бессарабию, в которой видела для себя золотой рудник. Как полька, любила она роскошную жизнь, всякий вечер принимала у себя гостей и часто делала балы. Она жила во вновь построенном каменном доме о двух этажах, в нижней части города. Общество при ней процветало, тешилось, а земля платила за его увеселения: ведь нельзя же забавлять людей все даром. Министром финансов ее был армянский архиепископ Григорий, столь же любезный, как глубоко и откровенно безнравственный человек; я бы его возненавидел, если б он принадлежал к православному духовенству, но до чуждой мне веры какое мне дело? и мы всегда жили с ним по-приятельски. Сей весельчак в архиерейском доме давал иногда и балы, присутствовал при танцах, но сам не принимал в них участия. Собираемыми не совсем добровольных приношений были вызванные ею из Подольской губернии евреи.

Итак, Алексеев с лощеных паркетов, на коих вальсировал в Москве, шагнул прямо к ломберному столу в гостиной Бахметева. Больших рекомендаций ему было не нужно; его степенный, благородный вид заставлял всякого начальника принимать его благосклонно. В провинциях, кто хорошо играет в карты, скоро становится нужным человеком, и он сделался домашним у Бахметева. Тогдашнее малочиние его заставляло других канцелярских чиновников смотреть на него с завистью и досадою; но он всегда спокойно оставался вне сферы их.

Великая потеря, которую сделал он с отбытием Бахметева, скоро заменена была отбытием дивизионного начальника, Михаила Феодоровича Орлова, который, как известно читателю, был опасной красой нашего «Арзамаса». Сей благодушный мечтатель более чем когда бредил въявь конституциями. Его жена, Катерина Николаевна, старшая дочь Николая Николаевича Раевского, была тогда очень молода и даже, говорят, исполнена доброты, которой через несколько лет и следов я не нашел. Он нанял три или четыре дома рядом и начал жить не как русский генерал, а как русский боярин. Прискорбно казалось не быть принятым в его доме, а чтобы являться а нем, надобно было более или менее разделять мнения хозяина. Домашний приятель, бригадный генерал Павел Сергеевич Пущин не имел никакого мнения, а приставал всегда к господствующему. Два демагога, два изувера, адъютант К. А. Охотников и майор В. Ф. Раевский (совсем не родня г-же Орловой) с жаром витийствовали<sup>132</sup>. Тут был и Липранди, о котором много говорил я прежде и о котором много должен буду говорить пос-

---

<sup>132</sup> Оба были члены тайных обществ.

ле. На беду, попался тут и Пушкин, которого сама судьба всегда совала в среду недовольных. Семь или восемь молодых офицеров генерального штаба известных фамилий, воспитанников московской муравьевской школы <sup>133</sup>, которые находились тут для снятия планов по всей области, с чадолюбием были восприняты. К их пылкому патриотизму, как полынь к розе, стал прививаться тут западный либерализм. Перед своим великим и неудачным предприятием нередко посещал сей дом с другими соумышленниками русский генерал князь Александр Ипсиланти, шурин губернатора, когда «на брега Дуная великодушный грек свободу вызывал» <sup>134</sup>. Перед нашим Алексеевым, тайно исполненным дворянских предрассудков и монархических поверий, не иначе раскрылись двери, как посредством легонького московского оппозиционного духа. Для него, по крайней мере, знакомство сие было полезно, ибо оно сблизило его с Пушкиным, который и писал к нему известные послания в стихах.

Все это говорилось, все это делалось при свете солнечном, в виду целой Бессарабии. Корпусный начальник, Иван Васильевич Сабанеев, офицер суворовских времен, который стоял на коленях перед памятью сей великой подпоры престола и России, не мог смотреть на это равнодушно. Мимо начальника штаба Киселева, даже вопреки ему, представил он о том в Петербург. Орлову велено числиться по армии, Пушину подать в отставку, Охотников кстати умер, а Раевский заключен в тираспольскую крепость; тем все и кончилось <sup>135</sup>. Это, кажется, было за несколько месяцев до нашего приезда, и без пастыря нашел уже я безгласных и не бляющих более овец.

Назначение графа Воронцова, который любил выводить своих подчиненных, особенно тех, кои находились при лице его, представляло Алексею много успехов и более приятное житье в Одессе: напрасно он выпросил себе какое-то постоянное поручение в Кишиневе. Страстно влюбленный, счастливый и верный, он являл в себе неслыханное чудо. Он был в связи с женою одного горного чиновника Эйхфельда, милой дочерью боярина М. Е. Мило; а для милой чем не пожертвуешь! Я, по крайней мере, должен благодарить ее: она мне сохранила Алексея и утешительные для меня беседы его.

Совсем иначе поступал Липранди. Вскоре по возвращении в Россию, из генерального штаба был он переведен в линейный егерский полк и, наконец, принужден был оставить службу. Все это показывает, что начальство смотрело на него не с выгодной стороны. Не зная, куда деваться, он остался в Кишиневе, где положение его очень походило на совершенную нищету. Граф Воронцов везде любил встречать мобёжских своих подчиненных; Липранди явился к нему, разжалобил его и на первый случай получил вспомоществование, кажется, из собственного его кармана. Не смея еще представить об определении его в службу, граф частным образом поручил ему наблюдение за сокращением и устройством новых дорог в области, чему много способствовало недавнее обмежевание ее. Тогда на разъезды из казенной экспедиции начали отпускать ему суммы, в употреблении коих ему очень трудно было давать отчеты. Очень искусно потом умел он выдать себя за первого любимца графа и всем, у коих занимал деньги, обещал свое покровительство. Вдруг откуда что взялось: в не весьма красивых и не весьма опрятных комнатах карточные столы, обильный и роскошный обед для всех знакомых и пуды турецкого табаку для их забавы. Совершенно бедуинское гостеприимство. И чудо! Вместе с долгами возрастал и кредит его.

Мое скудное житье в двух каморках служило совершенным контрастом его роскоши, и когда он везде без счета забирал деньги, старался я по возможности уплачивать сделанный мною на путешествие небольшой долг. Столь возвышенное над моим положение его дало ему, впрочем, всегда ко мне благосклонному, возможность объявить себя моим защитником и покровителем, что мне показалось очень забавным.

---

<sup>133</sup> Школа, основанная ген. Н. Н. Муравьевым. Из нее вышли многие будущие декабристы. Сыновья его А. Н. и М. Н. были основателями первых тайных обществ в 1817 году. М. Н. Муравьев позднее заслужил прозвище Муравьева-Вешателя — за деятельность в Литве в 1863 г.

<sup>134</sup> Стихотворение Пушкина из послания «К Овидию».

<sup>135</sup> Во время процесса декабристов Николай вспомнил и В. Ф. Раевского, который был сослан в Сибирь.

Мне бы не следовало много жаловаться на положение свое. Дела у меня было еще не слишком много, жизнь была чрезвычайно дешевая; новость предметов и разнородность общества и жителей, которые были у меня перед глазами, должны были привлекать мое любопытство, и все это посреди одних только доброжелателей. Меня мучило отсутствие не удовольствий Петербурга, а удобств его.

Это продолжалось недолго. Декабрь проходил, я неотступно просил графа прислать мне бумагу, коею для объяснений потребовал бы он меня в Одессу, и получил ее. В самый сочельник, 24 декабря 1823 г. рано поутру оставил я Кишинев.

Было очень поздно, когда приехал я в Дольник, где последняя перемена лошадей до Одессы. Как мне было не возблагодарить себя, отчасти за лень свою, которая заставила меня накануне остановиться в Дольнике, когда днем только что проехал я тираспольскую заставу! Ночью был изрядный мороз, и меня повезли так называемым греческим базаром, как местом, где дорога глаже. Взрытая и остывшая грязь представляла вид окаменевших морских волн. Для проезда по одесским улицам мне нужно было столько же времени, как на сделание последней станции. Измученный приехал я в обычную уже мне гостиницу Рено.

Надобно, однако, объяснить причины этой, для не видавших ее, баснословной грязи. Когда строился город, то, по приказанию Ришелье, с обеих сторон улиц вырыты были глубокие и широкие канавы. Вынутый из них чернозем высоко поднялся на середине улицы. Сия рыхлая земля, вязкого свойства, не была еще большим неудобством при малом народонаселении; когда же оно увеличилось, то проезд через эту клейкую землю по временам делался невозможным даже для легоньких дрожек тройкой. Все отпечатывалось на этом липком веществе, ступни людей и скотов, и уверяли, что кто-то, упав в него прямо носом, надолго оставил на нем свою маску. Собщения делались невозможны; дабы посетить друг друга, все должны были идти пешком между канав и домов, а для перехода через улицы надевать длинные сапоги выше колен сверх других сапогов и панталон. В таком бедственном положении нашел я Одессу.

Много еще было в ней провинциального, и скоро все узнавалось. По случаю великого праздника, Рождества Христова, в этот день у графа обедал весь многочисленный его штат. Там уже знали о приезде моем. Через кого-то из бывших тут граф велел сказать мне, что ожидает меня к себе на другой день поутру. Многие с этого обеда, в длинных сапогах, прибежали навестить меня. В том числе, разумеется, был и Пушкин.

Я обозначил все главные лица многочисленной свиты графа. Изображать остальных — дело невозможное; но некоторых из сих, по-моему, нижних чинов пропустить в молчании как-то совестно; а дабы не позабыть их, что весьма легко может случиться, здесь же спешу их назвать.

Два молодых человека, приехавших из Петербурга, которые были почти ровесниками Пушкина и почти в одних с ним чинах, оттого почитали себя совершенно ему равными. Один, по крайней мере, имел на то как будто некоторое право: он пописывал стихи. Но какие? Преплохие. Стихи не есть еще поэзия; а ни малейшей искры ее не было в душе Василия Ивановича, принадлежащего к известному в Малороссии по надменности своей роду Туманских. Самодовольствие его, хотя учтивое, делало общество его не весьма приятным; ему нельзя было совсем отказать в уме; но, подобно фамильному имени его, он светился сквозь какой-то туман. Всегда бывал он пристоен, хладнокровен; иногда же, когда вздумается ему казаться веселым и он захочет сказать или рассказать что-нибудь смешное, никого как-то он не смешил. Его кое-куда посылали, ему кое-что поручали, он что-то писал и казался не совсем праздным.

Не знаю, зачем выбрал он себе под пару другого юношу, который сотнею сажень стоял его ниже. Меня судьба водила по всем этажам петербургских домов и по всем разрядам петербургских обществ; даже те, коих хозяевами были довольно чиновные люди, а некоторые из гостей в звездах, не могли еще почитаться второстепенными; в них мог я насмотреться на тон их франтов. Излишняя смелость нынешних молодых людей в знатных салонах была ничто в сравнении с их наглостию. Пожилые люди и женщины, вероятно, смотрели на то как на

неизбежное последствие распространившегося образования. Мне случалось слышать, как с нежным, трепетным изумлением, смотря на ухарство которого-либо из них, девицы говорили: что за пострел! Мне случилось видеть, как один из них стал посреди дамского круга и воскликнул: «Кто хочет со мною танцевать? Никто, ну так я сам возьму!»

Не знаю, из которого из сих обществ попал в Одессу Никита Степанович Завалиевский, сын отставного петербургского вице-губернатора и сам отставной офицер гвардии саперного батальона. Всем показался он очень оригинален; меня не мог он удивить: тип таких молодцов мне был знаком, и я тотчас увидел в нем выходца из Коломны или с Песков.

Таких людей ничто не останавливает; они ничего не разбирают, ничем не уважают. Например, когда я спросил у него, зачем он оставил военную службу? Завалиевский отвечал мне: мне нельзя было оставаться, мы беспрестанно ссорились с Николаем. А этот Николай был великий князь, брат императора. Росту был он небольшого, но хорошо сложен, имел очень ловко выточенную фигурку, одевался лихим франтом по последней моде и прекрасно танцевал; к тому же невежественные его глупости были чрезвычайно забавны: сколько достоинств! Раз в гостиной у графа спросил он, кто бы таков был г. Ниагара, изобретатель модных тогда галстуков, носящих его имя и коих концы ниспадали каскадой? Все засмеялись и сказали, что он никому не известен. Более всего состоял он под покровительством Казначеева, который для сего безграмотного создал место эскутера канцелярии. Для нее было куплено сто сажень дров, и он письменным рапортом для хранения их требовал разрешения купить замок во сто сажень дров: уж это был бы целый замок! Пушкин, который чрезвычайно любил общество молодых людей, забавлялся им более, чем кто, и оттого позволял ему всякие с собою фамильярности, а Завалиевский, всегда гораздо лучше его одетый, почитал сие знакомство более лестным для Пушкина <sup>136</sup>.

Если наместник между определяемыми к себе гражданскими чиновниками искал ум и способности, то, конечно, не руководствовался он сим желанием при выборе новонабранных им четырех адъютантов. Как природа бывает изобретательна в своих причудах и какое разнообразие было в умственных недостатках сих господ!

Первый из них, князь Валентин Михайлович Шаховской, был добрейший, благороднейший малый, весьма красивый собою; жаль, что остальное тому не отвечало. Рассудок не допустил бы его до тесных связей с людьми, коих мнений, кажется, он совсем не разделял. А впоследствии если сие не погубило его, то много повредило его службе <sup>137</sup>.

Другой, Иван Григорьевич Синявин, был двоюродным братом графу Воронцову. Он старался давать всем это чувствовать и с некоторой досадой смотрел на сослуживцев, в коих видел почти подчиненных, себя ему не подчиняющих. Он был виден собою, бел и румян; но дурь и спесь, так ясно выражаемые его оловянными глазами, делали всю наружность его неприятною. Может быть, он сам только поверил бы тогда предсказанию о высоте, которая его ожидает. Если долго проживешь, то чего не увидишь у нас! Я осужден был видеть, к стыду России, как сие, никем не оспариваемое, совершенное ничтожество, достигнув высочайших гражданских степеней, готово было вступить в звание министра. Во время революций высоко поднимаются люди из грязи, но, по крайней мере, они все с головой.

Спесь третьего адъютанта, Константина Константиновича Варлама, была не так досадна, зато, если возможно, еще глупее, скучнее и несноснее. А чем он гордился? Тем, что был сыном волошского бояра и шурином почт-директора Булгакова. Впрочем, ему много воли не давали, и только можно было заметить в нем ужасную охоту чваниться.

---

<sup>136</sup> Следующим летом веселил он всю Одессу. Ему вздумалось прикинуться влюбленным в единственную дочь князя Петра Михайловича Волконского, которая находилась тут с матерью. Ни той, ни другой не был он представлен, а первую преследовал он на бульваре с апельсинами и конфетами. И хотя они не были приняты, через кого-то предложил он свою руку. Отказ смутил бы другого; его нимало, и бедная княжна не могла выйти на улицу, на гулянье, чтобы не видеть его по пятам своим. Наконец, принуждены были его куда-то отправить с комиссией. — *Авт.* Позднее Завалиевский женился на пожилой богатой вдове генерала М. В. Раевского. Пушкин издевался над ним в письмах к друзьям.

<sup>137</sup> Его сестра была замужем за декабристом А. Н. Муравьевым. Сам он был женат на сестре декабриста П. А. Мухомова.

Четвертого адъютанта, Преображенского офицера, князя Захара Семеновича Херхеулидзева, случалось мне видеть в Петербурге в обществах, подобных тем, кои посещал Завалиевский; но он был в них только что добродушным балагуром и безвинное ремесло свое перенес с собою в Одессу. Впрочем, был он здоровья плохого, и сие заставило его через покровительство великого князя Михаила Павловича искать места в теплом краю.

Побойчее, поострее и покрасивее его был некто Алексей Михайлович Золотарев, майор, состоящий по кавалерии и по особым поручениям при графе. Он также охотник был смешить, и таким образом веселие разливалось повсюду. Барон Франк своим передражничаньем, каламбурами чрезвычайно потешал графиню и все ее приватное общество; Херхеулидзева заставлял от души смеяться всех приближенных графа, а Золотарев — одну только канцелярию его.

Я не мог надивиться совершенно доброму согласию, царствовавшему между сим смешанным, перемешанным обществом, жившим несколько отдельно от городского: не было ни зависти, ни интриг, ни даже пересудов, иногда только бывали необидные насмешки. Причиною сему, кажется, было то, что в добровольной ссылке люди скорее сближаются друг с другом и делаются менее взыскательны. Много способствовал тому и характер главного начальника: он старался тогда быть беспристрастен и неохотно слух свой склонял к наушничеству. Исключая прежних своих мобёжских, и то наедине, со всеми равно умел он обходиться умеренно-ласково и умеренно-повелительно. Раз навсегда всех пригласил он хотя бы ежедневно у него обедать.

Перехожу опять к описанию образа домашней жизни нашего повелителя. Через день, если не каждый день обедал я у него.

Большая зала, почти всегда пустая, разделяла две большие комнаты и два общества. Одно, полуплебейское, хотя редко покидал его сам граф, постоянно оставалось в бильярдной. Другое, избранное, отборное, находилось в гостиной у графини; туда едва ли я заглядывал. Без всякой видимой причины графиня оказывала мне убийственную холодность; невидимой же причиной был один человек, живущий без службы, которого воздерживаюсь еще назвать (до того воспоминание об нем меня тревожит и бесит) и который, как утверждали после, пользовался дружбою ее <sup>138</sup>. Сей самолюбивый и злой человек не мог простить мне явного несогласия с ним в мнениях и правилах. Исключая его, всегда можно было найти тут Марини, Брунова, Пушкина, Франка и близкого родственника Синявина. Из дам вседневной посетительницей была одна только графиня Ольга Станиславовна Потоцкая, месяца за два перед тем вышедшая за Льва Александровича Нарышкина, двоюродного брата графа Воронцова. В столовой к обеду сходились вместе, а вечером у Казначеева все опять смешивались.

Опять принужден сделать отступление; но как, назвав знаменитую у нас тогда Ольгу Потоцкую, не рассказать чудную историю о ее матери и о ее семействе? В одном из константинопольских трактиров была служанкой гречаночка <sup>139</sup> лет тринадцати или четырнадцати; секретарь польского посольства Боскамп сманил ее оттуда и через несколько месяцев уступил польскому же посланнику Деболи. С сим последним совсем распустившеюся розой приехала она в Варшаву, где всех изумила необычайной красотой своей. Она стала жить на свободе, и счастливым, щедрым обожателям ее не было числа; но, наконец, всем им предпочла она одного пожилого польского генерала графа Витта, ибо он один предложил ей свою руку. Не знаю, когда и где встретил ее князь Потемкин, только мужа переманил в русскую службу с генеральским чином и назначил обер-комендантом в Херсон, а жену увез с собою в Яссы. Там щеголял он ею, как великолепным трофеем, а она гордилась привязанностию человека, которого слушалась вся Россия и который совершенно царствовал в двух княжествах. И великие души, видно, не чужды тщеславию; ибо Потемкин напоказ повез ее и в Петербург. Сопровождаемый многочисленной свитой, верхом для выставки развозил он ее с собою в открытом

<sup>138</sup> А. Н. Раевский — брат М. Н. Волконской, троюродный племянник Е. К. Воронцовой, Демон Пушкина. В 1842 г. Вигель в письме к А. С. Хомякову передавал привет А. Н. Раевскому и писал о нем: «Этот Демон мне мил, как Ангел».

<sup>139</sup> Софья Константиновна, рожд. Глявоне.

кабриолете по улицам и гуляньям <sup>140</sup>. После смерти Потемкина, чрез несколько лет, сделалась она знатной дамой.

Польский коронный гетман, граф Станислав-Феликс Потоцкий посещал местечко свое Тульчин в Подольском воеводстве и часто жил в нем. Прекрасная сия страна, вдали от Варшавы, была заброшена, и магнат мог делать в ней, что хотел. Недавно еще старики внукам своим с ужасом рассказывали о несправедливостях Потоцких, которые можно назвать даже злодеяниями. У богатых жидов он насильно занимал большие суммы; по содействию все имения, коих завладение представляло ему выгоды, отхватывал он посредством заводимых тяжб, и трепещущие судьи не смели иначе решить, как в его пользу. Таким образом несметное богатство свое успел он удвоить. Грабительства его прекратились только с поступлением этого края под русское владение; но он заблаговременно передался России, и все им захваченное осталось за ним. От первого брака было у него четыре сына и несколько дочерей. Об одной, неверной Констанций, упомянул уже я во второй части сих записок, когда говорил о почтенном супруге ее, графе Иване Потоцком же, путешествовавшем в Китай, другая Виктория Шоазель-Бахметева, прославившаяся между прочим обжорством. О третьей, Розе, вечно враждебной России, на которой, против воли матери, женился граф Владислав Браницкий и которую почтенная свекровь не пускала на глаза, не говорил я ни слова. О добродетелях других сестер и братьев лучше умолчать. Скажу только, что коротко знавшие сие семейство польских Атридов насчитывали в нем гораздо более семи смертельных грехов.

В совершенной старости хищник был наказан судьбой. Он пленился графиней Витт в одно время с Феликсом, старшим сыном своим от первого брака. По условию с сыном, она предпочла отца и вышла за него, стыдодейния свои соединив со злостью Потоцких. Новая Федра, перед которой древняя жалка, спокойно предалась своему Ипполиту и, как та, истерзанная совестью и раскаянием, верно не восклицала: *Et des crimes peüiegre inconnus aux entens!* <sup>141</sup> От сего кровосмешения родилось три сына и две дочери, из них Ольга меньшая. И безумный Феликс не подумал о том, что и себя и братьев лишает большей части наследства. Какая была развязка в этой семейной драме? Старик, наконец, узнал всю истину; вскоре затем последовали две внезапные кончины, сперва сына, потом отца. Клевета в таких случаях до некоторой степени извинительна и весьма походит на правду. Польские дворяне говорили тогда о черной каве, о черном кофее, как о вещи весьма обыкновенной.

Пасынки и падчерицы вдовы графини Потоцкой завели с нею ужасный процесс, оспаривая законность ее брака, следственно и законное рождение ее детей: ибо Витт был еще жив и не разведен с нею, когда она вступила во второй брак. Сие понудило ее, наконец, приехать в Петербург. Греческие хитрые уловки заменили ей увядшую красоту. Министрам и сенаторам рассыпала она лесть и ласки, для подчиненных не щадила золота. Главным адвокатом в ее деле был сумасброд граф Милорадович, который влюбился в молоденькую дочь ее Ольгу. Сия последняя, с дозволения матери, нередко посещала его, просиживала с ним наедине по часу в его кабинете и принимала от него великолепные подарки. От яблони яблочко, говорят, не далеко падает. Говорили, что это польский обычай; но величественный и строгий в приличиях двор Александра смотрел на то не весьма благосклонно.

Как ожидать было должно, дело кончилось в ее пользу. Она отправилась в доставшийся ей по разделу город Умань, где, в подражание добродетельной Браницкой, и она развела обширный сад под именем Софиевки <sup>142</sup>. Ей оставалось спокойно доживать век и пользоваться плодами долголетних интриг, как вдруг явилась неумолимая. Ужасна была смерть грешницы: в совершенной памяти, при нестерпимых мучениях, смердящим трупом прожила она несколь-

<sup>140</sup> Забавно, что будущий зять ее Л. А. Нарышкин, уже женатый на ее дочери, рассказывал при мне, будто в порицание нравов Екатеринина века, как он в ребячестве был очевидцем этого срама. — *Авт.*

<sup>141</sup> Грехи, неведомые даже аду!

<sup>142</sup> Это знаменитый уманский сад, разведенный в честь Софьи Потоцкой ее мужем в 1793—1796 гг. Роскошью и красотою он соперничал с европейскими чудесами этого рода.

ко месяцев. Весь дом был заражен зловонным воздухом, все бежало от него; одни дочери остались прикованными к ее одру. И как не похвалить их за сей геройский подвиг!

После ее смерти сии девицы отнюдь не казались сиротами, меньшая еще менее, чем старшая София, которая в то же время [1821] вышла за скользящего у меня все под пером начальника штаба второй армии, Павла Дмитриевича Киселева. Он умел в Тульчине приобрести более власти, чем сам главнокомандующий Витгенштейн. Сие могущество пленило Ольгу, которая приехала погостить к сестре. Она недолго тут нагостила: Киселева застала ее в объятиях своего мужа, что наделало много шуму в главной квартире <sup>143</sup>. Если сие скопление мерзостей дойдет до потомства, не знаю, поверит ли оно ему. Пусть вспомнит историю семейства Борджиа; а католическая Польша, едва вышедшая из времен насилий и безначалия, право, стоила Италии средних веков.

Еще летом в Одессе увидел я сию столь уже известную Ольгу Потоцкую. Красота ее была во всем своем блеске, но в ней не было ничего девственного, трогательного; я подивился, но не восхитился ею. Она была довольно молчалива, не горда, но и невнимательна с теми, к кому не имела нужды, не столько задумчива, как рассеянна и в самой первой молодости казалась уже вооруженною большою опытностию. Все было разочтено, и стрелы кокетства берегла она для поражения сильных <sup>144</sup>. Как все это уладилось, как просватали ее за Л. А. Нарышкина, все это покрыто тайной и не могло доходить до меня в Кишиневе. Как согласился он без любви играть при ней жалкую второстепенную роль? Мне нередко за столом случаясь сидеть против нее, и мы взоров не спускали; я умел, когда нужно, полагать хранение устам моим, но глаза мои всегда были болтливы. Тут же хотя никто еще не смел говорить правды, она сама собою бросалась в глаза.

Зато были в Одессе другие графини ко мне весьма благосклонные. Я уже сказал, что градоначальник Гурьев был со мною на ноге старинного знакомого и что я нередко посещал его. Его графиня Авдотья Петровна, при светской образованности, восхищала меня своею совершенно русскою оригинальностью. Отнятое первенство у нее и мужа ее не могла она простить Воронцовой; заметив, что и я не имею к ней большой симпатии, она свою несколько умножила ко мне. Она жила не в ладах с жительницами Одессы. В больших торговых городах бывает всегда коммерческая аристократия; тут из бедности вдруг поднявшиеся богачи, по большей части иностранцы, французы, англичане, греки (Сикар, Рено, Моберли, Маразли, Ризнич), оттого были еще спесивее. Она не могла растолковать себе взыскательности их жен. «Что мне до этой разношерстной компании, — говорила она, — и как смеют эти купчихи считаться со мной!» Этих купчих, хотя изредка, Воронцова приглашала на свои вечера; а ее они совсем бросили.

Другая графиня была для меня совершенно новым знакомством. Меня ребенком знавал в Киеве граф Ланжерон, когда в полковничьем чине бывал он часто у моих родителей.

Это воспоминание, казалось, заставляло его меня любить; впрочем, со мною, так же как и со всеми, обходился он излишне фамильярно для шестидесятилетнего Андреевского кавалера. Не одна подчиненность моя, но и привязанность к графу была, однако, великим пороком в его глазах. Из истории управления его Новороссийским краем составилось бы несколько томов, и она была бы весьма занимательна; только вышло бы из нее большое собрание забавных и веселых анекдотов. Пересватав тщетно всех богатых и знатных невест в России, он женился, наконец, в Одессе на бедной девушке, дочери полковника Бриммера, Елисавете Адольфовне. Он представил меня ей, а я спешу представить ее читателю.

<sup>143</sup> Вигель имеет в виду упорные слухи о романе Ольги Потоцкой с мужем ее сестры П. Д. Киселевым. Жenu последнего — Софью князь П. А. Вяземский, бывший к ней равнодушным, называл похотливой Минервой.

<sup>144</sup> Вигель имеет в виду близкие отношения Ольги Потоцкой-Нарышкиной к двоюродному брату ее мужа Нарышкина (1785—1846) — М. С. Воронцову. Сам Нарышкин, по-видимому, не искал этого брака (состоявшегося в 1823 году), так как всю жизнь был влюблен в свою тетку М. А. Нарышкину (у нее с Александром I был длительный роман), за которой всюду следовал. О «соблазнительной связи» Воронцова с сестрой его жены О. Нарышкиной говорит Пушкин в своем «Дневнике» под 8 апреля 1834 г.

Мне не случалось видеть красивого лица столь угрюмого, как у графини Ланжерон; однако мне оно всегда улыбалось, и, право, этим можно похвастать. Прекрасные глаза ее были даже выразительны, но она не чувствовала того, что они выражали. Холодна как лед, она редко с кем открывала уста. В Одессе, где она была воспитана, все знали ее девочкой дикой и несообщительной, и когда вдруг поднялась она на генерал-губернаторство, то, ничего не переменяя в своем обхождении, отнюдь не казалась горда; зато и ей не оказывали большой внимательности. Довольствуясь наружным уважением, в котором нельзя было отказывать женщине, выше других поставленной, она ничего более не требовала. Когда она сопровождала мужа своего в Париж, ей было душно в Сен-Жерменском предместье, и она все вздыхала по Одессе. Красивой женщине, одаренной твердостью и хладнокровием, не трудно было овладеть старым ветренником, и, повинуясь только ее воле, решился он без службы воротиться в Одессу, где, впрочем, были у него и дом и хутор. Присутствие Воронцовой было как острый нож для бывшей генерал-губернаторши. К сожалению, она не чужда была зависти; а богатство, знатность, воспитание, все эти преимущества должны были возбуждать ее в ней. Я не думаю, чтобы это было причиной особенной ее ко мне благосклонности; а впрочем, кто знает! Когда с другими прилично она от-малчивалась, со мной всегда находила о чем говорить.

Уже под именем графини Эделинг находилась тут женщина, которой Каподистрия обязан был доверенностию Александра, о чем я говорил в пятой части сих Записок. При дворе, где почти всегда красота предпочиталась уму, в Роксандре Скарлатовне Стурдзе видели только безобразнейшую из фрейлин, и все от нее отдалялись, как нечаянный случай сблизил ее с императрицей Елисаветой Алексеевной. Тогда ее распознали и невольно стали благоговеть пред необыкновенным превосходством ее ума. Государыня взяла ее с собой за границу, и на Венском конгрессе все отличные мужи и многие принцессы искали ее знакомства, а некоторые и сдружились с ней. Лишившись надежды выйти за Каподистрию, встретила она человека, с которым была счастливее, чем бы, может быть, с этою знаменитостию. Граф Альберт Эделинг, обер-гофмейстер Саксен-Веймарского двора, был один из тех старинных немецких владельцев-баронов, честных, добродушных, благородных, коих тип сохранился ныне только в романах Августа Лафонтена, которых также едва ли ныне найти где можно. Он душою полюбил девицу Стурдзу, и она его; сочетавшись с нею браком, он согласился оставить отечество и поселиться с нею в южной России. Наружностию ее плениться было трудно: на толстоватом, несколько скривленном туловище, была у нее коровья голова. Но лишь только она заговорит, и вы очарованы, и даже не тем, что она скажет, а единственно голосом ее, нежным, как прекрасная музыка. И когда эти восхитительные звуки льются, льются, что выражают они? Или глубокое чувство, или высокую мысль, или необыкновенное знание, облеченное во всю женскую грациозность, и притом какая простота! Какое совершенное отсутствие гордости и злобы! Превосходство души равнялось в ней превосходству ума. Из Бессарабии, где у нее были родные, писали к ней обо мне чудеса, и оттого-то сею четою был я принят, можно сказать, с отверстыми объятиями. Во мне оставалось еще довольно греколюбия, филэллинства, чтобы и с этой стороны ей угодить. Как любил я ее в эти минуты, когда, всегда спокойная, она вдруг приходила в восторг при имени геройски борющейся тогда Греции. Ну, право, житье мне было: посмеявшись с графиней Гурьевой, наглядявшись на графиню Ланжерон, спешил я наслушаться графиню Эделинг. Лишивши меня полуцарских милостей Воронцовой, судьба послала мне взамен большие утешения.

Почти так же, как у г-жи Эделинг, был я принят у брата ее, Александра Скарлатовича Стурдзы. Сперва два слова о матери и о жене его. Первая казалась весьма умна и всегда сердита, имя ей было Султана. Другая, дочь знаменитого немецкого врача Гуфланда (Елизавета), принадлежала к числу тех прежних немок, кои, будучи домашним сокровищем, единственно супругами и матерями, не имели никакой наружной цены и не искали ее. Отца его, Скарлата Димитриевича, лет десять как не было на свете. Преданный России, он в последнюю войну с турками при Екатерине бежал из Молдавии и, кажется, лишился части своего имения; зато щедро был он вознагражден богатым поместьем близ Могилева, чином действительного статского советника и Владимирской звездой. Он был женат на вышереченной Султане, дочери



молдавского господаря князя Мурузи. Три поколения из сей фамилии за Россию в Цареграде прияли мученическую смерть. И сия пролитая кровь, налагая на нас долг благодарности, должна бы и в них возродить привязанность к нашему отечеству; но не совсем оно так было. В глубокой старости на Скарлата Стурдзу возложено было тяжкое бремя управления новоприсоединенной Бессарабией; он, видно, изнемог под ним, ибо вскоре умер.

Изобразить самого Александра Стурдзу не безделица: в этом человеке было такое смешение разнородных элементов, такое иногда противоречие в мнениях, такая выпяченность в уме; при мелочных расчетах в действиях, он так весь был полон истинно-христианских правил и глубокого, неумолимого злопамятства, осуждаемого нашею верою, что прежде чем начертать его образ, надлежало бы, если возможно, химически разложить его характер. Грек по матери, он более сестры принимал участие в судьбе эллинов; молдаван по отцу, он искренно любил своих соотечественников и всегда горячо за них вступался, забывая, что они враги его любезным грекам. Едва не сделавшись в Германии жертвою преданности своей к законным престолом, он обожал ее философию и женился на немке. Желая светильник наук возжечь на Востоке, он сей священный огонь хотел заимствовать у поврежденной уже в рассудке Европы. Друг порядка и монархических установлений, он мечтал о республике под председательством Каподистрии. Друг свободы, он ненавидел Пушкина за его мнимо-либеральные идеи<sup>145</sup>. Он был все; к сожалению только совсем не русский. Воспитанный в Могилевской губернии, не понимаю, как он мог приобрести запас учености, с которым вступил на дипломатическое поприще; в знании языков древних и новейших мог бы он поспорить с Меццофанти. С 1815 года сделался он известен вместе с покровителем и другом своим, Каподистрией, в 1822-м вместе с ним сошел со сцены (как где-то уже я сказал) и на покое, так же как ныне я, строил историческо-политические воздушные замки.

Мне весьма памятливы его беседы со мной; ибо, вследствие их, мнения мои о делах Европы и Востока начали изменяться. Он не скрывал желаний своего видеть Молдовлахию особым царством, с присоединением к ней Бессарабии, Буковины и Трансильвании. Освобождением одной Греции, по мнению его, дело на Востоке не должно было кончиться.

По небольшому хотя числу названных мною в сем провинциальном городе высоких особ женского пола можно посудить, как много еще было в нем не названных мною образованных и приятных женщин.

Исключая двух столиц, нет ни одного города в России, где бы находилось столько материалов для составления многочисленного и даже блестящего общества, как в Одессе; а оно тогда как бы не существовало. Вообще Одесса была всегда, или по крайней мере долго, невеселым городом. Настоящий основатель ее, дюк де Ришелье, был человек серьезный; он искал одного только полезного и думал, что приятное придет после само собою: строил дома и магазины и не заботился о заведении рощиц, разведении лесных деревьев, как бы не зная, что тень в степи есть райское блаженство. Не столько по его примеру, как по собственной охоте, и купцы поступали так же: каждый из них жил особняком, проводя утро в заботах и трудах, отдыхал в семейном кругу и неохотно из него выходил. Некоторые из жителей имели вдоль моря спрятанные хутора; но и тут выгодному пожертвовано было приятное: в них насадили одни фруктовые деревья, некрасивые и высокого роста не достигающие. Посреди города, на весьма небольшом пространстве, был публичный сад; на него было отвратительно и жалко смотреть. С мая невозможно было в нем гулять; видел ли в нем кто зелень когда-нибудь, не знаю: густые облака пыли с окружающих его улиц всегда его обхватывали и наполняли; мелкие листки акаций и тополей, коими был он засажен, серый цвет сохраняли все лето. И это было единственное место соединения для жителей и вечерних для них прогулок; зато никого в нем не было видно. Зимой страшная грязь препятствовала сообщениям; о том одесситы мало заботились: это служило им новым предлогом, чтобы сидеть дома. Одно увеселительное место, в коем собирались люди, был итальянский театр. Зачем именно итальянский, не могу ска-

---

<sup>145</sup> Пушкин был с ним коротко знаком. Стурдза глубоко уважал его талант. Это не мешало поэту писать на мистика и монархиста Стурдзу иронические стихи и даже ругательные эпиграммы.

зять. Французский язык во всеобщем употреблении, его почти все понимают, и французскую труппу достать было бы легче и содержать дешевле. Кто были бешеные меломаны, которые подали мысль об итальянской труппе и упорно поддерживали ее? Я, по крайней мере, их уже не нашел: все мне показались отменно равнодушными к музыке. Но уже так оно завелось, так оно и продолжается. Цены на места были самые низкие, и ложи все абонированы по большей части негоциантами. Летом, во время морских купаний, приезжие, не зная куда вечером деваться, посещали театр и наполняли его. Негоцианты, всегда расчетливые, отдавали ложи свои гораздо дороже сим приезжим, так что в год приходились они им даром. Зимой не сами эти господа, а жены их исправно посещали театр: тут только могли они видаться друг с другом, переходить из ложи в ложу, переговорить кой о чем, и все это, как я сказал выше, ничего им не стоило. Не будучи музыкантом, я с некоторого времени, благодаря Россини, сделался страстным любителем итальянской музыки и оттого не мог терпеть в ней посредственности, а тут все было ниже ее. Что сказать мне о певцах и певицах? Я видел в них кочевой народ, который, перебивав на всех провинциальных сценах, в Болонье, Сиенне, Ферраре и других местах, привозит к нам свои изношенные таланты. Через год, через полтора их прогонят; но те, коих выпишут на их место, не лучше их. Я назову примадонну Каталани, оттого что она носила громкое имя и была невесткой (женой брата) известной певицы, да хорошенькую Витали, да тенора Монари, который пел довольно приятно, но так слабо, что в середине залы его уже не слышно было. Давали прекрасные оперы: «Севильского цирюльника», «Итальянку в Алжире», «Сороку-воровку», но что за исполнение! А все согласно хлопали, хвалили. Так уже было принято: обычай, мода.

Не Ланжерону было заставить жителей Одессы отставать от принятых ими привычек; они его не уважали, его бы не послушались, и при нем сохранили они весь прежний образ жизни. Улучшений по устройству города он также ввести не был в состоянии. Ему было весело, он был главным лицом, мог болтать сколько ему было угодно, его все слушали, а вечером всегда готова ему была партия виста или бостона.

В том состоянии, в коем Ришелье оставил Одессу, нашел ее граф Воронцов. К сожалению, должно сказать, что и он сначала мало помышлял о введении в ней общежительности. Казалось, что знатный помещик приехал в богатое село свое, начал в нем жить по-барски, судить крестьян своих по правде, искать умножения их благосостояния, но что до забав их ему нет никакого дела. Еще скорее можно было сравнить сие с житьем владетельного немецкого герцога в малой столице: двор, его окружающий, достаточен для составления ему приятного общества. Однако же чиновники, служащие и отставные, повыше в классах, небольшое число помещиков и главные негоцианты, равно как и жены их, представленные графине, несколько раз в зиму приглашаемы были на полуофициальные вечера, на которых танцевали. Сколь ни лестно было сим господам находиться на таких вечерах, они охотно отказались бы от сей чести. Роскошь, только что приличная сану и состоянию графа, их пугала.

Но что по справедливости должно было приводить их в ужас — это богатые костюмы графини и подруги ее Ольги (Потоцкой), которые они беспрестанно меняли. Женщинам невозможно было не следовать, хотя издали, сим блестящим примерам. Графиня же без памяти любила наряды и не только на себе, но и на других, как сие было после, в другом месте. Оттого-то столь приветливо разговаривала она с посетительницами, и было о чем: о цвете, о покрое их платий.

Но каково же было крохоборству, меркантильности отцов и мужей? Они, которые дрожали над каждым рублем, видя в нем зародыш сотни тысяч, должны были сотни сих рублей тратить на красивое и щеголеватое тряпье. Это более отдаляло их от приятностей общественных, чем привлекало их к ним.

Прибыль, барыш были единственною постоянною их мыслию. Конечно, она приводит в движение как умы, так и большие и малые капиталы, и необходима для первоначального основания торгового города. Неужели Одесса не имеет и другого предназначения? Давно уже повадились мы ездить за границу, там находим теплый, благоуханный климат, со всеми

удобствами и приятностями жизни. Зачем бы не поискать в России места, которое все это соединяло бы в себе? Да где же бы? В Киеве; но находят, что там еще довольно холодно. Подольская губерния, рай земной; но как в него попасть? Поляки мешают русским в нем селиться. Остается только берег Черного моря: на нем возник и быстро вырос молодой город со всеми недостатками молодости. Искусный правитель мог бы их исправить; стоит только приложить хорошенько к нему руки, и он заменил бы нам Флоренцию и Ниццу. Об этом после много думали; к сожалению, поздно; привычка едва ли не сильнее натуры, и мы более чем когда таскаемся в южную Европу.

Ни в городе, ни за городом не было [тогда] такого места, где бы после удушливого, знойного дня можно было освежиться вечерним воздухом и где бы знакомые и приезжие могли встретиться и беседовать. Ничего, кроме денег, не нужно было жадным и негостеприимным купцам Одессы. Из свиты графа никого не приглашали они к себе и таким образом совсем отделяли городское общество от того, которое почитали придворным. Сия новорожденная колония при Ришелье, а еще более при Ланжероне, была демократическою республикой; Воронцов, как отблеск трона, поразил и ослепил ее. Жаловаться никто не смел, не было к тому ни малейшей причины; но сначала втайне все были недовольны этой переменою.

Эту зиму в Одессе находилось несколько важных людей. Все они были равного чина с графом, все в той же Александровской ленте, и все начальствовали над частями от него зависящими. Он не старался воздыматься над ними, а целою головою казался их выше. Оттого ли, что он был богаче их? Нимало: от природы получил он счастливый дар заставлять без усилий равных себе признавать его превосходство.

Двое из них были искренними его приятелями. Одного, вице-адмирала Грейга, знал уже я в Николаеве; с другим, корпусным командиром Иваном Васильевичем Сабаневым, тут имел я честь познакомиться. Он был маленький, худой, умный и деятельный живчик. Не думая передражнить Суворова, он во многом имел с ним сходство. В армии известен был он как храбрый и искусный генерал, во время войны чрезвычайно попечительный о продовольствии подчиненных ему, которые при нем ни в чем не нуждались.

Третий, по наружности в самом добром согласии с Воронцовым, был тайный недруг его, граф Иван Осипович Витт. Был он сын гречанки Потоцкой от первого ее брака. Полный огня и предприимчивости, как родовитый поляк, он с греческою врожденною тонкостью умел умерять в себе страсти и давать им даже вид привлекательный. Он великий был мастер притворяться; только в Аустерлицком сражении, в чине кавалергардского полковника, не умел он притворяться храбрым и оттого должен был оставить службу и скрыться. Из сего поносного положения нельзя было выйти более счастливым и искусным образом. В 1812 году, когда вся Россия ополчалась, умел он из жителей берегов Буга набербовать два или три конных полка. С ними пришел он к армии во время совершенной ретирады французов, и они успели еще смело преследовать бегущих, за что ему дан генеральский чин. После того из сих всадников образовано регулярное войско под его начальством; в две последующие кампании они везде отличились, вероятно и он с ними, ибо воротился обвешанный лентами и крестами. Учреждение военных поселений было для него счастливым событием: он полюбился Аракчееву, гораздо еще более самому царю и назначен начальником сих поселений в Новороссийском краю. Тут в мирное время награды, почести сыпались на него еще обильнее, чем во время войны.

Избалованный первенец безнравственной матери, в ребячестве и в первой молодости ничему не учился. Тем удивительнее казалось, что при его безграмотности он так сладко и так складно умел говорить. Всем изустным умел он пользоваться и в обществе всегда кстати вводить его в разговоры. Деятельность его умственная и телесная были чрезвычайные: у него ртуть текла в жилах. По наружной части под его руками все быстро зрело и поспевало; зато в хозяйственную он почти совсем не входил, бумаги ненавидел, не только подписывал он не читавши, но, уезжая из столицы своей, Вознесенска, подчиненным оставлял множество бланков. Можно себе представить, как они сим пользовались и какому расхищению подвергались казенные суммы. Оттого необходимо было входить в большие долги. Все сходило ему с рук, и

он вымаливал их уплату. Ко всем и особенно к женщинам, коих без памяти любил он, всегда ластился, и многие из них пленились его черномазым лицом, сухотою и малым ростом.

Всякого рода интриги были стихией этого человека. Преуспевая во всем, стал он добиваться звания Новороссийского генерал-губернатора. Тайные происки его против Ланжерона повели только к тому, что на сие место посажен Воронцов. Заметив досаду его, поручили ему наблюдать за поступками последнего, подозреваемого в либерализме; он неосторожно согласился, и многие о том узнали. Какие чувства должен был в графе возбуждать его надсмотрщик? Но образованность обоих, постоянная учтивость одного и услужливость другого ничего не давали замечать публике. Подчиненным графа это было известно, и они уклонялись от всякого знакомства с Виттом. Я не убежал его, но ему не для чего было искать меня. Года через три сие знакомство само собою сделалось, и оно мне было чрезвычайно приятно.

Еще был один Александровский кавалер, член государственного совета, граф Северин Осипович Потоцкий, который находился тут в отпуску, на отдыхе. Старший брат Ивана Осиповича, сибирского нашего спутника, он гораздо любезнее его был в обществе, имел менее странностей, столько же познаний, воображение столь же живое и сверх того государственный ум, которого в том не было. Неподалеку от Одессы поселил он сотни две крестьян, сию колонию, деревню назвал Севериновкой и затеял в ней обширные виноградники. Сколь приятно было, говорили, посещать его там по его приглашениям, столь же ужасно было вкушать предлагаемое им и восхваляемое, на месте выделываемое вино. Сия отдаленная ветвь Потоцких ничего, кроме имени и происхождения, не имела общего с тульчинскими Потоцкими; к сожалению, однако же, посредством браков соединялась иногда с ними. Тогда я еще не был осчастливлен знакомством графа Северина; несколько времени спустя удостоивал он меня особою благосклонностию.

Я надеялся, что представлением Записки о Бессарабии должна окончиться моя миссия и что туда уже более я не ворочусь. Напротив: к счастью или к несчастью, граф возымел высочайшее мнение о моих способностях и нашел, что я в сем краю необходим. «Вы на опыте показали, — говорил он мне, — как пристально умеете вы вникать в предметы; все более и более приобретаемые вами сведения мне будут светить в этом хаосе; будьте же там моим глазом и моим ухом. Конечно, это сопряжено для вас с великими пожертвованиями, но разве они не будут вознаграждены?» Тогда, хотя не весьма ясно, дал он провидеть губернаторское место.

Вскоре начал он нудить меня отправиться обратно, ибо сам намерен был на короткое время побывать в Кишиневе (кто знает, может быть, чтобы проверить мои показания) и хотел непременно меня там найти.

Не с большим неделю прожил граф в Кишиневе, и пребывание его было полезно для весьма многих дел. Он поступал благоразумно, справедливо, но, признаться должно, довольно самоуправно. Устройство края, улучшения во всех частях кипели в голове у нового наместника, и все это отозвалось на мне. В продолжение двухлетнего моего тут пребывания сколько учреждено комитетов, и во всех посажен я был или председателем, или членом.

Архиепископ Димитрий, человек умный и правдивый, по слабости человеческой, желая угодить А. Н. Голицыну, господствовавшему до мая 1824 года, всеми мерами в Кишиневе поддерживал Библейское общество, которое в Петербурге начинало уже разрушаться.

В этом деле не только содействовал ему, но и руководствовал им Иван Никитич Инзов. Рассеянные в сих Записках черты характера его должны были ознакомить с ним; нахожу, однако, необходимым обстоятельнее говорить об этом человеке. Глубокая тайна покрывает его рождение. Приемным вырос он в доме Трубецких, которые дали ему наречение Иной Зов или Инзов. Братья князя Трубецкие, Юрий и Николай Никитичи, люди ума весьма слабого, увлечены были учением Николая Новикова, покровительствуемого фельдмаршалом князем Репниным. С малых лет воспитанника своего посвятили они в мартинизм, и оттого при Екатерине был он долго старшим адъютантом Н. В. Репнина. Время открыло важную тайну всех этих германских филозофически-религиозных сект, которые дышали чистойшею любовью к человечеству и привели к чистойшему, грубейшему материализму. Слепление их первых

последователей не доказывает большого ума, но не дает права подозревать их в безнравственности. От природы гневный и самолюбивый Инзов старался в себе убить сии страсти, а тем ослабил свой характер и остался просто зол и втайне раздражителен. Слабости, однако, не показывал он в виду неприятеля: в царствования Павла и Александра неоднократно бывал он в сражениях, всегда отличался храбростью и самому себе обязан был дальнейшими успехами по службе. По замирении его тянуло к покою и мирным занятиям; согласно его желаниям, дано ему место главного попечителя колоний южного края, не совсем соответствующее его генерал-лейтенантскому чину, и он поселился в Екатеринославе, где находилось центральное управление колоний.

Прибытие к нему под надзор вольнодумца Пушкина было как бы предвестием наступивших для него бурных дней. Религиозные его чувства, которых настоящим образом не понимали, наружная его кротость были известны Стурдзе, ревнителю веры, и он на место Бахметева через Каподистрию, а может, и с помощью Голицына, выпросил, чтобы его назначили временно исправляющим должность Бессарабского наместника, не отнимая, впрочем, у него и колониального управления, которое вместе с собою перевез он в Кишинев. Не прошло двух лет, как, вследствие отбытия Ланжерона, по соседству поручили ему и весь Новороссийский край. Душевные силы были давно им самим придавлены, телесные силы начали оставлять его, а как он добросовестно принялся за исполнение своих обязанностей, то решительно можно сказать, что изнемогал под бременем дел и сперва обрадовался назначению Воронцова.

Тогда в Кишиневе было поветрие любить меня; надобно полагать, что и он подвергнулся сему не весьма пагубному влиянию: иначе как объяснить внезапную его ко мне приязнь? Я не искал его знакомства, не бывал у него, встречаясь, только что почтительно кланялся, а он осыпал меня нежнейшими ласками. Наконец, решился он позвать меня к себе обедать, что после того нередко повторялось. Суждения его были правильны, рассказы любопытны, и беседы наши бывали приятны для обоих. Иногда скажет он что-нибудь совсем несогласное с моими мнениями, я замолчу: с ребячества приучен я был уважать старость и не позволять себе входить с нею в споры. Ныне никто не даст соврать старику; даже тот, кто сам вовсе ничего не смыслит. Весьма неприятно мне было в Инзове отвращение его ото всего отечественного, порождаемое обыкновенно заграничною мечтательностью. Он терпеть не мог наш простой народ и ненавидел его наряд. В то же время говорил он с особым уважением о бородах молдавских бояр, называя их патриархами. «Да ведь и у наших мужиков есть также борода», — заметил я ему. «О, да это совсем другое дело», — отвечал он.

Тайна ласк сего совсем непритворного человека открылась мне наконец. Он увидел во мне чудное орудие, насланное судьбою в Бессарабию для поддержания и усиления Библейского общества, во мне, которому так известна была цель его! Я дал ему себя записать членом, но, извиняясь множеством дел, не отвечал ни на одну из присылаемых мне бумаг, дабы нигде и подписи моей не было видно. Я смело могу сказать, что совершенно неповинен в действиях сего общества.

Нередко, разговаривая со мною, вздыхал он о Пушкине, любезном чаде своем. Судьба свела сих людей, между коими великая разница в летах была малейшим препятствием к искренней взаимной любви. Сношения их сделались сколько странными, столько и трогательными и забавными. С первой минуты прибывшего совсем без денег молодого человека Инзов поместил у себя житьем, поил, кормил его, оказывал ласки, и так осталось до самой минуты последней их разлуки. Никто так глубоко не умел чувствовать оказываемые ему одолжения, как Пушкин, хотя между прочими пороками, коим не был он причастен, накидывал он на себя и неблагодарность. Его веселый, острый ум оживил, осветил пустынное уединение старца. С попечителем своим, более чем с начальником, сделался он смел и шутив, никогда не дерзок; а тот готов был все ему простить. Была сорока, забавница целомудренного Инзова; Пушкин нашел средство выучить ее многим неблагопристойным словам, и несчастная тотчас осуждена была на заточение; но и тут старик не умел серьезно рассердиться. Иногда же, когда дитя его распроказничает, то более для предупреждения неприятных последствий, чем для

наказания, сажал он его под арест, т. е. несколько дней не выпускал его из комнаты. Надобно было послушать, с каким нежным участием и Пушкин отзывался о нем.

«Зачем он меня оставил? — говорил мне Инзов, — ведь он послан был не к генерал-губернатору, а к попечителю колоний; никакого другого повеления об нем с тех пор не было; я бы мог, но не хотел ему препятствовать. Конечно, в Кишиневе иногда бывало ему скучно; но разве я мешал его отлучкам, его путешествиям на Кавказ, в Крым, в Киев, продолжавшимся несколько месяцев, иногда более полугода? Разве отсюда не мог он ездить в Одессу, когда бы захотел, и жить в ней сколько угодно? А с Воронцовым, право, несдобровать ему».

Такие печальные предчувствия родительского сердца, хотя я и не верил им, трогали меня. Я писал к Пушкину, что непростительно ему будет, если он не приедет потешить старика, умоляя его именем всех женщин, которых любил он в Кишиневе, навестить нас. И он в половине марта приехал недели на две, остановился у Алексеева и многих, разумеется в том числе и меня, обрадовал своим приездом.

Он заставил меня сделать довольно странное знакомство. В Кишиневе проживала не весьма в безызвестности гречанка-вдова, называемая Полихрония, бежавшая, говорили, из Константинополя. При ней находилась молодая, но не молоденькая дочь, при крещении получившая мифологическое имя Калипсо и, что довольно странно, которая несколько времени находилась в известной связи с молодым князем Телемахом Ханджери. Она была невысока ростом, худощава, и черты у нее были правильные; но природа с бедняжкой захотела сыграть дурную шутку, посреди приятного лица ее прилепив ей огромный ястребиный нос. Несмотря на то, она многим нравилась, только не мне, ибо длинные носы всегда мне казались противны. У нее был голос нежный, увлекательный, не только когда она говорила, но даже когда с гитарой пела ужасные, мрачные турецкие песни; одну из них, с ее слов, Пушкин переложил на русский язык под именем «Черной шали»<sup>146</sup>. Исключая турецкого и природного греческого, хорошо знала она еще языки арабский, молдавский, итальянский и французский. Ни в обращении ее, ни в поведении не видно было ни малейшей строгости; если б она жила в век Перикла, история верно сохранила бы нам имя ее вместе с именами Фрины и Лаисы.

Любопытство мое было крайне возбуждено, когда Пушкин представил меня сей деде и ее родительнице. В нем же самом не заметил я и остатков любовного жара, коим прежде горел он к ней. Воображение пуще разгорячено было в нем мыслию, что лет пятнадцати будто бы впервые познала она страсть в объятиях лорда Байрона, путешествовавшего тогда по Греции. Ею вдохновленный, написал он даже известное, прекрасное послание к «Гречанке»:

Ты рождена воспламенять  
Воображение поэтов,  
Его тревожить и пленять  
Любезной живостью приветов,  
Восточной странностью речей,  
Блистаньем зеркальных очей, и пр.

Мне не соскучилось у этих дам, только и не слишком полюбилось. Не помню, ее ли мне завещал Пушкин, или меня ей, только от наследства я тотчас отказался. После отъезда Пушкина у этих женщин не знаю был ли я более двух раз.

Гораздо более полезным готов я был находить знакомство с матерью. По всему городу носилась молва о силе ее волшебства. Она была упованием, утешением всех отчаянных любовников и любовниц. Ее чары и по заочности умягчали сердца жестоких и гордых красавиц и холодных как мрамор мужчин и их притягивали друг к другу. Один очевидец, если не солгал, рассказывал мне, как он был свидетелем ее магических действий. Пифионисса садилась в старинные кресла, брала в руки прямой, длинный, белый прут и надевала на голову ермолку или

<sup>146</sup> Вигель запомнил: «Черная шаль» написана в 1820 г., за год до прибытия Калипсо в Россию.

скуфью из черного бархата с белыми кабалистическими знаками и буквами. Потом начинала она возиться, волноваться, даже бесноваться; вдруг трепет пробежал по членам ее, она быстрее поворачивала прутом, произносила какие-то страшные слова, и седые волосы становились дыбом на челе ее, так что черная шапочка от силы движения прыгала на поверхности их. Когда она успокоивалась, просящему о помощи объявляла, что дело кончено, что неумолимая отныне в его власти. Ну, как было не желать посмотреть на такое зрелище? Я стал умолять старуху Полихронию, называя первое женское имя, которое пришло мне на память; все убеждения мои остались тщетны. Она сказала мне: «В ваших глазах читаю я ваше безверие; а в таких случаях, как и во всем, вера есть главное дело!» Сие слово, почитаемое мною священным, в устах такой женщины показалось мне богохульством.

У Калипсо было много ума и смелости. Она написала красноречивое и трогательное послание к Константину Павловичу, и ей посчастливилось: не только прислал он ей денежное пособие, но и рекомендательное письмо к графу Воронцову. Чтобы оказать особое уважение к высокому ходатайству цесаревича, тот сам середь дня сделал ей церемонный визит. Он ужаснулся, когда ему растолковали, у кого он был. А между тем это посещение произвело важное действие на всех и особенно на ее соотечественников, которые перестали ее чуждаться. Другое обстоятельство еще более сблизило ее с порядочным обществом: узнав, что молдаване вдруг меня возненавидели, принялась она обременять меня проклятиями и выдавать себя за оставленную мною, обруганную жертву. Из мщения, желая досадить мне, и бояре стали приглашать ее к своим женам. Куда как это мне было больно и как лестно даром прослыть Тезеем носастой Ариадны! Следующей зимой находил я ее по вечерам у самой губернаторши Катакази. Нет, даже в петербургском высоком, самом лучшем нынешнем обществе, где везде встречаешь девиц Смирновых, сомневаюсь, чтобы этот классический разврат мог бы быть принят.

Все было [в Кишиневе] тихо и спокойно; но дня через три случилось происшествие, которое наполнило город не столько страхом, как любопытством. Тут приходится мне досказать историю о разбойниках.

В двух княжествах, где не было ни войска, ни полиции, шайки разбойников почти беспрепятственно, безнаказанно могли производить грабежи. Они слились в одну под предводительством известного в тех местах Урсула, медведя на валахском языке. Появление турецкой армии рассеяло сию шайку; остаток ее вместе с своим атаманом перешел к нам через Прут и усилился потом пристающими к нему арнаутами.

Долго не могли совладать с этими людьми; но частые поимки уменьшили их число, так что под конец состояло оно из трех человек, между коими находился и сам Урсул. Они скрылись в шести верстах от Кишинева, в месте, называемом Малина.

В этом месте, можно сказать точно, что природа раскапризничалась: это был Кавказ в самом малом виде. В нем, гневная и прекрасная, как возвышенные места, так и ущелья, овраги, пропасти наполнила она своими прелестями. Привлеченные ими, некоторые из жителей Кишинева и окрестных мест завели тут свои кишла или хутора. Ими овладел Урсул и заставил живущих повиноваться себе, объедая и опивая их. Военная команда содержала сие неприступное место в осаде, но не дерзала проникнуть в него.

Долго могли бы эти люди в нем оставаться; но почувствовали ли они какой недостаток, или просто скуку, или лукавый попутал Урсула, он решился его оставить. Он имел тайные сношения с мошенниками в нижней части города и с их согласия намерен был скрыться между ними. Одним утром вместе с двумя сподвижниками оставил он свое убежище, но, подъезжая к городу, заметил сильную за собою погоню. Во всю прыть поскакал он по широким улицам верхней части города, имея в виду достигнуть нижней и, своротив немного, исчезнуть в ее излучистом зловонии, что, при плохой тогда полиции, было бы удобно. Народ толпами бежал за ним, восклицая: толгар, толгар (вор), но не смея приступить к нему: ибо, имея во рту поводья, в каждой руке держал он по пистолету, равно как и оба товарища его; и раза два должны были они дать выстрелы. Со всех сторон преследуемый, доскакал он под горой до мостика через Бык. Неисправность полиции была в этом случае полезна:

лошадь его попала ногой в одну из дыр, находящихся на непочиненном мостике; бегущие за ним товарищи наскочили на него, и все это перепуталось; тогда легко было всех троих схватить и перевязать.

К сожалению, не мог я быть свидетелем сего странного зрелища, среди дня полгородом виденного. Но по званию должностного лица, захотел я увидеть содержащихся под стражей, для коих отведена была особая тюрьма с железными решетками на окнах. Я нашел Урсула задумчиво сидящим на наре, сложив руки. Он был лет сорока, широкоплеч, черноволос и весь оброс бородой. Лицо его было не без благородства: ни страха, ни злости оно не выражало. Когда я вступил с ним в разговор, сказал он мне, что у него, исключая имени, данного ему волохами, есть еще другое, но объявлять которого он не видит нужды. Потом прибавил: «Буйная молодость завела меня не туда, куда следовало. Как быть! И я знаю, что был бы отличный воин». По показаниям сообщников, никогда рука его не обогрелась кровью.

В углу на соломе лежал также скованный товарищ его Богаченко, лет двадцати шести. Более походить на гиену человеку невозможно: как у нее, взор его сверкал наглостью, беспокойством и бешенством. Я не подошел к нему, а посмотрел в лорнет, «Что, барин, — сказал он мне, злобно улыбаясь, — ты, кажется, не стар, а видно, совсем ослеп». Потом пустился он мне доказывать права разбойников вооруженной рукой собирать дани с господ, которые безо всякого труда и опасности грабят своих крестьян. Я взглянул на него с ужасом и омерзением. «Ну, барин, — сказал он мне, — хорошо, что меня встретил не в лесу, не так бы там на меня ты посмотрел».

Третий на соломе был семнадцатилетний мальчик Славич, усыновленный Урсолом. Этот был весел и, кажется, никак не понимал своего положения. Он полагал, что батько себя и их непременно будет уметь выручить. Все трое были беглые украинцы: молдаване за их ремесло неохотно брались.

Суд над ними продолжался все лето. Ничего не дознались, а в это время хитрый и смелый Богаченко успел кого-то подкупить и, перепилив свои оковы, бежал один. Тогда поспешили с исполнением приговора. Все дивились твердости духа Урсула, который во все время казни не испустил не единой жалобы, ни единого вздоха. Мальчик Славич шел бодро, но после первого удара, данного палачом, как ребенок раскричался, приговаривая: простите, виноват, виноват, не буду. Первый после тяжкого наказания кнутом через два дни умер, последнего сослали на каторжную работу.

Ночью с 15 на 16 мая [1824] приехал в Одессу. Летом в Одессе обыкновенно гораздо веселее, чем в другие времена года. Торговля оживляется, приплывают целые флоты купеческих судов, наезжают множество помещиков для продажи пшеницы и несколько любопытных путешественников. Из последних не встречал я ни одного прежнего знакомого, новых знакомств между ними делать не хотел и жил посреди того самого общества, которое узнал я зимой. Одного человека, которого не только в Одессе, но гораздо прежде в Париже и Мобеже случалось мне часто встречать, рассмотрел я в это время ближе. Но чтобы основательнее говорить об нем, надлежит коснуться всего семейства его.

Внук сестры князя Потемкина, Николай Николаевич Раевский из огромного его наследства получил изрядную часть. Он не умножил сего имения, а, напротив, кажется, расстроил его с небрежностью военного человека. С другой стороны, родство с знатными домами и высокий чин давали и ему некоторое право на название знатного. На войне всегда показывал он себя искусным и храбрым генералом и к сему ремеслу с малолетства приучал и двух сыновей своих. Они находились при нем молоденькими офицерами во время турецкой кампании 1809 и 1810 годов: следственно, Жуковский, певец в стане русских воинов, в 1812, кажется, напрасно называет их младенцами-сынами<sup>147</sup>. Меньшой Николай высоко поднялся по службе и пошел бы далее, если бы смерть не остановила его на славном поп-

<sup>147</sup> Имеется в виду эпизод в сражении при Дашкове в 1812 г., когда Раевский-отец воодушевил свои войска тем, что вывел вперед двух своих сыновей: Александра (род. 1795 г.) и Николая (род. в 1801 г.). Этот эпизод воспел Жуковский; на эту же тему были впоследствии изданы литографированные плакаты.



рище. Обоих отец не удалял от опасностей; зато придирался ко всему, чтобы выпрашивать им чины и кресты.

Старший из младенцев, Александр, не знал над собой иной власти, кроме родительской, самой снисходительной; всякую другую, и даже, полно, не эту ли, он презирал и ненавидел. Граф Воронцов по окончании войны взял его к себе по особым поручениям и доставил ему средство с большим содержанием, без всякого дела, три года приятным образом прожить во Франции. Если бы кто захотел попристальнее всмотреться в чувства Раевского, то и тогда мог бы заметить жестокою ненависть его к сему, начальнику, несмотря на удвоенную с ним любезность сего последнего. Неблагодарность есть врожденное чувство во всяком греке; благотворения тягостны для его самолюбия. Мать Раевского была дочь грека Константинова и единственной дочери нашего знаменитого Ломоносова: внук, видно, уродился в дедушку.

Вообще все члены этого семейства замечательны были каким-то неприязненным чувством ко всему человечеству, Александр же Раевской особенно между ними отличался оным. В нем не было честолюбия, но из смещения чрезмерного самолюбия, лени, хитрости и зависти составлен был его характер. Не подобные ли чувства Святое Писание приписывает возмущившимся ангелам? Я напрасно усиливаюсь здесь изобразить его: гораздо лучше меня сделал сие Пушкин в немногих стихах под названием «Мой Демон». Но подробности о нем могут более объяснить действия его, о коих приходится мне говорить.

Наружность его сохранила еще некоторую приятность, хотя телесные и душевные недуги уже иссушили его и наморщили его чело. В уме его была твердость, но без всякого благородства; голос имел он самый нежный. Не таким ли сладкогласием в Эдеме одарен был змий, когда соблазнял праматерь нашу?

В Мобёже он либеральничал, как и все другие, не более, не менее; но втайне не разделял восторгов заблужденной молодости. Верноподданничество, привязанность к монархическим правилам ему казались отвратительными и ненавистными; на друзей конституции, в том числе на зятя своего Орлова, смотрел с величайшим пренебрежением, однако ж, с некоторою снисходительностью: ибо затеи их, по мнению его бессмысленные, могли причинить много беспорядков, много зла. После Мобёжа, в быстро достигнутом чине полковника, чтобы сохранить ему независимость, выпросили ему бессрочный отпуск. Он еще пользовался им, когда в 1823 году нашел я его в Одессе, по-видимому, ко мне столь же невнимательного, как и прежде, но тайными наговорами лишившего меня гостиной графини Воронцовой, что не мог я почитать для себя великой бедой<sup>148</sup>.

В продолжение последних пяти лет накопилось число причин ненависти его к Воронцову и его семейству. Графиня Браницкая была только что двоюродная тетка генералу Раевскому, но, всегда покровительствуя его, в его семействе видела собственное. Оттого старший сын его был принят ею в Белой Церкви как сын родной и с дочерьми ее имел право обходиться как брат. Когда, по выступлении русского корпуса из Франции, лишился он больших средств к поддержанию себя, сия женщина, прослывшая скупой, положила ему по двенадцати тысяч рублей ассигнациями ежегодного содержания; как было не мстить за такое жестокое оскорбление? В Молдавии, в самой нежной молодости, говорят, успевал он понапрасну опозоривать безвинных женщин; известных по своему дурному поведению не удостоивал он своего внимания: как кошка, любил он марать только все чистое, все возвышенное, и то, что французы делали из тщеславия, делал он из одной злости. Я не буду входить в тайну связей его с Е. К. Воронцовой, но, судя по вышесказанному, могу поручиться, что он действовал более на ее ум, чем на сердце и на чувства.

Он поселился в Одессе и почти в доме господствующей в ней четы. Но как терзалось его ужасное сердце, имея всякий день перед глазами этого Воронцова, славою покрытого, этого счастливого, богача, которого вокруг него все превозносило, восхваляло. Он мог бы легко причислиться к нему и, спокойно дождавшись генеральства, получить место градоначальни-

---

<sup>148</sup> Биограф Раевского, М. О. Гершензон, отмечает правильность этой характеристики пушкинского Демона, сделанной Вигелем.

ка или гражданского губернатора. Но нет; такие мысли показались бы ему унижительными; его цель была выше. Он прослыл опасным человеком, и все старались учтиво уклоняться от него, исключая его мобёжских товарищей, которые не любили его, но и не чуждались. Они знали его лучше; они знали, что он не станет тратить времени, чтобы стрелять в простых птиц, подавай ему орлов да соколов. И действительно в Одессе, исключая двух или трех, не было довольно славных жертв для заклания в честь этого божества <sup>149</sup>.

При уме у иных людей как мало бывает рассудка! У Раевского был он помрачен завистию, постыднейшею из страстей. В случае даже успеха какую пользу, какую честь мог он ожидать для себя? Без любви, с тайною яростию устремился он на сокрушение семейного счастья, супружеского согласия Воронцовых. И что же? Как легкомысленная женщина, Е. К. Воронцова долго не подозревала, что в глазах света фамильярное ее обхождение... с человеком ей почти чуждым его же стараниями перетолковывается в худую сторону. Когда же ей открылась истина, она ужаснулась, возненавидела своего мнимого искусителя и первая потребовала от мужа, чтобы ему отказано было от дому.

Козни его, увы, были пагубны для другой жертвы. Влюбчивого Пушкина не трудно было привлечь милостивою Воронцовой, которой Раевский представил, как славно иметь у ног своих знаменитого поэта. Известность Пушкина во всей России, хвалы, которые гремели ему во всех журналах, превосходство ума, которое внутренне Раевский должен был признавать в нем над собою, все это тревожило, мучило его. Он стихов его никогда не читал, не упоминал ему даже об них: поэзия была ему дело вовсе чуждое, равномерно и нежные чувства, в которых видел он одно смешное сумасбродство. Однако же он умел воспалять их в других; и вздохи, сладкие мучения, восторженность Пушкина, коих один он был свидетелем, служили ему беспрестанной забавой. Вкравшись в его дружбу, он заставил его видеть в себе поверенного и усерднейшего помощника, одним словом, самым искусным образом дурачил его.

Еще зимой чутьем слышал я опасность для Пушкина, не позволяя себе давать ему советов, но раз шутя сказал ему, что по африканскому происхождению его все мне хочется сравнить его с Отелло, а Раевского с неверным другом Яго. Он только что засмеялся.

Через несколько дней по приезде моем в Одессу встревоженный Пушкин вбежал ко мне сказать, что ему готовится величайшее неудовольствие. В это время несколько самых низших чиновников из канцелярии генерал-губернаторской, равно как и из присутственных мест, отряжено было для возможного еще истребления ползающей по степи саранчи; в число их попал и Пушкин. Ничего не могло быть для него унижительнее... Для отвращения сего добрейший Казначеев [управляющий канцелярией Воронцова] медлил исполнением, а между тем тщетно ходатайствовал об отменении приговора. Я тоже заикнулся было на этот счет; куда тебе! Он побледнел, губы его задрожали, и он сказал мне: «Любезный Ф. Ф., если вы хотите, чтобы мы остались в прежних приятельных отношениях, не упоминайте мне никогда об этом мерзавце, — а через полминуты прибавил: — Также и о достойном друге его Раевском». Последнее меня удивило и породило во мне много догадок. <sup>150</sup>

<sup>149</sup> Александр Раевский, которому посвящены известные стихотворения Пушкина «Демон», «Коварность», «Ангел», — был человек образованный. Воронцову он действительно любил, и есть основания верить рассказу Вигеля о том, что Раевский устроил так, чтобы обратить ревность мужа на Пушкина. Впрочем, Воронцов через несколько лет применил к самому Раевскому средство, использованное им для избавления от Пушкина: он не постеснялся донести в Петербург о политической неблагонадежности А. Н. Раевского, который так же, как раньше Пушкин, был выслан в деревню. Однако Раевский, в силу особых свойств своего характера, увековеченных Пушкиным в «Демоне», не увлекался политикой и презирал тогдашних либералов. Но в силу тех же свойств он, на допросе по делу о заговоре декабристов, отвечал Николаю, на упрек в недонесении об известных ему собраниях членов тайных обществ, очень гордо и смело. При всех изменениях в характере личных отношений между Пушкиным и А. Н. Раевским — первый всегда уважал ум своего Демона, а второй постоянно интересовался отношением поэта к нему.

<sup>150</sup> Раз сказал он мне: Вы, кажется, любите Пушкина; не можете ли вы склонить его заняться чем-нибудь путным, под руководством вашим? — Помилуйте, такие люди умеют быть только что великими поэтами, — отвечал я. — Так на что же они годятся? — сказал он. — *Авт.* М. С. Воронцов, сын посла в Лондоне, родственник больших вельмож и временщиков, один из богатейших людей в России, пользовавшийся по участию в наполеоновских войнах большой известностью в Европе (его — англомана — Александр поставил во главе русских войск во Франции после низвержения Наполеона), по вельможеской спеси своей (хотя и умный, образованный, даровитый администратор) смотрел с презрительным изумлением на Пушкина, гордившегося своим шестисотлетним дворянством и желавшего быть на равной ноге с магнатами. Об этой стороне характера Пушкина — в записках о нем его товарища И. И. Пущина.

Во всем этом было так много злого и низкого, что оно само собою не могло родиться в голове Воронцова, а, как узнали после, через Франка внушено было самим же Раевским. По совету сего любезного друга Пушкин отправился и, возвратясь дней через десять, подал донесение об исполнении порученного. Но в то же время, под диктовкой того же друга, написал к Воронцову французское письмо, в котором между прочим говорил, что дотоле видел он в себе ссыльного, что скудное содержание, им получаемое, почитал он более пайком арестанта; что во время пребывания его и Новороссийском крае он ничего не сделал столь предосудительного, за что бы мог быть осужден на каторжную работу (*aux travaux forcés*), но что, впрочем, после сделанного из него употребления он, кажется, может вступить в права обыкновенных чиновников и, пользуясь ими, просит об увольнении от службы. Ему велено отвечать, что как он состоит в ведомстве министерства иностранных дел, то просьба его передана будет прямому его начальнику графу Нессельроде; в частном же письме к сему последнему поступки Пушкина представлены в ужасном виде. Недели через три после того, когда меня уже не было в Одессе, получен ответ: государь, по докладу Нессельроде, повелел Пушкина отставить от службы и сослать на постоянное жительство в отцовскую деревню, находящуюся в Псковской губернии.

Какой-нибудь Талейран сказал бы, что он видит тут более чем дурное дело, что тут ошибка, великий промах. Такие люди, как Воронцов, не должны довольствоваться успехами по службе, умножением власти: у них в предмете должна быть народная молва, всеобщая народная любовь, переходящая между соотечественниками из рода в род. Вот прочная собственность, которой никакая царская немилость лишить не может. Когда разнеслось по России, что одна из слав ее губит другую, блеск первой приметным образом начал меркнуть. Ото всего сердца любил я обеих, и оно раздиралось. Теперь когда вспомню, то самому себе кажусь смешным; а тогда, право, готов был как Химена воскликнуть: *La moitié de ma vie a mis l'autre au tombeau*. [Одна половина моей жизни губила другую.]

Накануне отплытия графа [в Крым] случилось мне быть с ним наедине в его кабинете. Он вынул полученное им письмо от Катакази и, отдавая его мне, сказал: «Растолкуйте мне, что это все значит?» Катакази писал, что в Кишиневе все заняты одним каким-то сочинением, писанным моею рукою, которое в молдаванах производит крайнее неудовольствие. Я рассказал, каким образом второпях отдал я Скляренке рукопись [Записки о Бессарабии] свою на сбережение. «Но если он выдал ее, то это не делает большой чести хваленому вашему Скляренке». — «Я уверен, что ее выкрали у него, — отвечал я. — Но после этого, — продолжал я, — согласитесь, что мне трудно будет показаться, и лучше возьмите меня с собою: если эти люди и останутся спокойны, мне совестно будет на них глядеть». — «И, полноте, — отвечал он, — что за беда, если эти мошенники узнали ваше мнение об них; они, пожалуй, могут подумать, что вы не смеете приехать». И это дело, подумал я.

Не более двух суток оставался я потом в Одессе. В этот тесный промежуток времени хочу вместить изображение одного человека, о котором давно бы мне следовало говорить. Австрийский генеральный консул, венгерец Том, с самого рождения этого города был радостью и украшением его общества. Огромный рост и могучие плечи одни показывали в нем маджара; но ни в одном из образованных государств нельзя было сыскать человека любезнее его в обхождении. Ему было за восемьдесят лет, а он казался не более шестидесяти; и это уже старость, а дамы старые и молодые, равно как и юноши, искали его беседу. Он всегда был весел и всегда степенен, и смех, который сам старался он производить, всегда смешан был с невольным уважением к сему добрейшему и честнейшему старцу. В редкие маскарады, которые бывали при Ришелье и при Ланжероне, всегда являлся он переряженным, и раз огромной книгой, назади которой написано было: Том I-й. Страсть имел он к каламбурам, и они часто бывали у него забавны. Нужно ли говорить, что в знакомстве его видел я для себя находку, клад?

Он взялся проводить меня до первой станции Дольника, или, лучше сказать, до собственного хутора, в одной версте от нее находящегося. Он называл его *coureur*, ибо, не принося ему никакого дохода, стоил больших издержек, и он, редко расставаясь с городом, приезжал в него попить и угощать приятелей. Для умножения удовольствия моего, а может быть, и Пушкина, пригласил он и его на сию загородную прогулку. Я послал экипаж свой прямо в Дольник, и мы в Иванов день 24 июня втроем отправились в коляске Тома.

Он имел великое искусство сохранять в комнатах теплоту зимой и свежесть в летнее время: в этом состоял его эпикуреизм. Все было приготовлено на кутёре: окна везде были открыты, но снаружи завешаны предлинными маркизами, которые беспрестанно поливались студеной колодезной водой. Пол был мраморный, и в четырех углах стояли кадочки со льдом. В то же время множество резеды и тубероз распространяли приятный запах по комнате. По приглашению хозяина мы развалились на диванах; и когда полуденное солнце со всею силою горело над нами, мы находились среди прохлады и благоухания, и я мог любоваться ясным, теплым вечером долгой безукоризненной жизни. Нет, не забыть мне этого дня! Разные возрасты были веселы и хохотали как ребята. Это было не перед добром: мне предстояли довольно тягостные, а Пушкину весьма скорбные дни. Когда жар начал спадать, простился я с хозяином и с гостем; с последним, кажется, гораздо нежнее, как бы предчувствуя долгую разлуку.

Я не скоро мог заснуть: все мне мерещился с столь приятными людьми столь весело проведенный день. Заря совсем уже занялась, когда проснулся я в Тирасполе. Пока перепрягали лошадей, вышел я из коляски и вдруг увидел без памяти скачущую тройку. Она остановилась, из повозки выскочил молодой канцелярской и подал мне письмо. Господа Лонгинов и Леке [чиновники, приятели Вигеля] уведомляли меня, что по известиям, полученным из Кишинева, ярость жителей превосходит всякое описание, что рукопись моя переведена на молдавский язык, всюду распускается и что все друг друга возбуждают против меня, почему они и советуют мне воротиться в Одессу. Словесно поручил я посланному от всей души благодарить Никанора Михайловича и Михаила Ивановича за принимаемое во мне участие. «Если бы вы настигли меня прежде, — сказал я ему, — то, может быть, я воротился бы с вами; но вы видите, вот Бессарабия: право, как-то совестно бежать в виду неприятеля».

Однако, признаюсь, я чувствовал в себе сильное волнение, когда переправился через Днестр. Оно еще было умножено в Бендерах на почтовом дворе письмом от приятеля моего Алексеева: он не пугал, а спешил предупредить, дабы заранее мог я принять свои меры. Узнав о внезапной ненависти целого населения и испытывая действия несомненной приязни нескольких человек, я не могу описать своих чувств.

Молдаване оставались покойны, пока не узнали о моем приезде. Тогда через областного предводителя послали они просьбу к наместнику, требуя удаления моего из области, как врага народа молдавского <sup>151</sup>.

Я чувствовал тоску неодолимую и оттого мучил графа просительными письмами об увольнении меня от должности. Он не согласился и из Крыма прислал мне опять приказание приехать в Одессу по делам службы. Я и тому обрадовался и 15 сентября, почти ровно через год после первого приезда моего в Кишинев, оставил его.

К вечеру приехал я в обычный мне отель де-Рено.

Еще граф не воротился из Крыма. В городе и особенно на пристани было много торговой деятельности, но веселого шума нигде. Один театр занимал тогда всю публику и даже разделял ее. Приехала из Петербурга певица Данжевиль-Вандерберг, которую я там видел на сцене и о которой говорил в начале сей части. Она за что-то поссорилась с дирекцией, привезла в Одессу двух плохих актеров, Валдоски и Огюста, еще кой-кого понабрала и пустилась потчевать жителей водевилями. Старожилы, если только могли они быть в двадцатилетнем городе, видели в этом посягательство на священные, исключительные права, дарованные итальянцам. Им вторил старик граф Ланжерон, вероятно, по обязанности бывшего одесского градоначальника. Зато новый, граф Гурьев, ничего не смысливший в музыке и всегда отличавшийся галломанией, всею силою поддерживал французов. Конечно, в искусстве пения Данжевиль не могла бы состязаться даже с посредственными одесскими певицами, зато играла превосходно, была хороша собою и умела выбирать веселые пьесы, при представлении коих партер всегда бывал полон. Не доказывает ли это, что итальянская опера была только делом условным, а настоящею потребностью — французской или даже русской театр? Но о сем последнем никто не смел даже думать, и нельзя было предвидеть, что через несколько лет две русские труппы в

---

<sup>151</sup> Что после было исполнено переводом Вигеля на должность градоначальника в Керчь.

одно время будут играть на двух разных сценах и всегда привлекать множество зрителей. В таком разноязычном городе, как Одесса, был необходим общий язык; им сделался русский. Грек или англичанин, жид или француз, каждый произносил по-своему, но все друг друга понимали. Заведение театра еще более распространило употребление его между жителями.

Больно мне бывало слышать ругательства против русского народа, а еще больнее внутренне сознавать, что они были заслужены. Первое население Одессы состояло из русских бродяг, людей порочных, готовых на всякое дурное дело. Нравы их не могли исправиться при беспрестанном умножении прибывающих подобных им людей. Но они служили основой, так сказать, фундаментом новой колонии. А между тем, если послушать иностранцев, каждая нация приписывала себе ее основание; во-первых, французы, которые столь много лет при Ришелье и Ланжероне пользовались первенством; потом итальянский сброд, гораздо прежде Рибасом<sup>152</sup> привлеченный, в этом деле требовал старшинства. Жида, которые с самого начала овладели всей мелкой торговлей, не без основания почитали себя основателями. Немцы, которых земляки в Лустдорфе и Либентале были единственными скотоводами, хлебопашцами, садовниками и огородниками в окрестностях и одни снабжали население съестными припасами, имели равное на то с ними право. Наконец, поляки, которые привозили свою пшеницу, родившуюся на русской земле, обработанной русскими руками, и поддерживали там хлебную торговлю, видели в Одессе польский город. Одна Россия не участвовала в сооружении сего града, разве только покровительством царским, миллионами ею на то пожертвованными да десятками тысяч рук ее сынов, не трудолюбивых, но неутомимых. На сих сынов ее иностранцы смотрели как на навоз. Спросить бы у сих господ, что бы сделали они без этого навоза, который лучше камня служил основанием их фортунам. До того этот город почитался иностранным, что на углах улиц видны были французские и итальянские надписи, как, например, rue de Richelieu, Strada di Ribas. Тогда граф Воронцов был одушевлен самым благородным, патриотическим жаром и все эти надписи велел заменить русскими.

Около месяца дожидались мы возвращения нашего генерал-губернатора. Он зажился посреди прелестей природы на южном крымском берегу и, вероятно, вследствие какой-нибудь неосторожности захворал неотвязчивою крымскою лихорадкою. Дотоле я не знал человека здоровее его; он достигнул настоящего зрелого возраста и был самого крепкого сложения; с этих пор болезни нередко стали его посещать. Он воротился изнеможенный, бледный, худой, занимался делами, но мало кому показывался. Я не мог много похвалиться ласкою его первого приема; я приписывал это действию лихорадки, а это было действием наговоров.

Во время последнего пребывания в Крыму прогневался он [Воронцов] на таврического вице-губернатора, статского советника Куруту, за одно дело, в котором, правду сказать, сей последний был вовсе не виноват, и просил министра финансов перевести его в какую-нибудь другую губернию; на его место прочил он меня. Но Канкрин не показывал никакого расположения удовлетворить сие желание графа, а я покамест оставался как бы между двух стульев. Увы, скоро одно из них должно было для меня опорожниться.

За несколько дней до графа прибыл из Крыма другой граф, еще знаменитее его, но который присутствием своим его затмить не мог. Граф Кочубей, оставя дела службы по болезни дочери, провел зиму в Феодосии; но пребывание в сем мертвом городе семейству его показалось слишком унылым, и он морем приплыл с ним в Одессу, дабы в ней провести эту зиму. Он так высоко стоял надо мною, не по званию, не по гениальности, а по горделивому характеру, что я не видел повода ему представляться. Однако же за обедом у графини Воронцовой он сам обратился ко мне с речью и после обеда милостиво разговаривал; после того счел я обязанностию явиться к нему. Обыкновенно вельможи в провинциях на величие свое накидывают

---

<sup>152</sup> Неаполитанец Иосиф де-Рибас (1749—1800), сын испанского генерала, поступивший при Екатерине II в русскую службу и дослужившийся до адмиральского чина. Успешно участвовал во всех русско-турецких войнах своего времени, пользовался любовью Потемкина и Суворова. Де-Рибас первый устроитель Одессы. Ему поручались, впрочем, более или менее щекотливые дела: напр., похищение самозваной княжны Таракановой, которая представляла некоторую опасность для Екатерины, так как выдавала себя за дочь императрицы Елисаветы; он же и его жена Н. И., внебрачная дочь знаменитого И. И. Бецкого, имели поручение наблюдать за воспитанием первого графа Бобринского, сына Екатерины II и Гр. Орлова. Де-Рибас, перед смертью, участвовал в разработке плана убийства Павла I.

тонкое покрывало, дабы блеск его смягчить для слабого зрения провинциалов и сделаться доступнее. Меня граф Кочубей позвал к себе в кабинет и тотчас посадил; одаренный удивительною памятью, говорил он со мною о китайском посольстве, с участием вспоминал об отце моем и с любопытством расспрашивал о Бессарабии. У таких людей надобно ожидать их сигнала к отбытию; я не дождался его, встал, а он меня опять усадил. Прощаясь объявил он мне, что с такого-то по такой-то час он не занят делом и что в это время он всегда меня охотно примет. Мне едва верилось.

Маленькое самолюбие заставило меня еще раза два воспользоваться его дозволением или приглашением, и я не имел причины в том раскаиваться. Не знаю, чему обязан я за его хорошее расположение. Разве добрым словом, за меня замолвленным ему Блудовым?

О сем последнем давно не имел я никакого известия. По болезни, по неудовольствию ли какому, иди просто для прогулки отправился он, как говорили наши старики, на теплые воды, а потом странствовал по Германии. Отъезжая, передал он бессарабские дела и, кажется, заботы в случае нужды обо мне приятелю своему, статскому советнику Аполлинару Петровичу Бутеневу, бывшему впоследствии посланником в обоих Римах, в нашем и в католическом.

В это время одесское или, лучше сказать, семейное общество графа умножилось одною прибывшею из Петербурга четою. Не слишком богатый казанский помещик, молодой красавчик Дмитрий Евлампиевич Башмаков служил в кавалергардском полку. Мундир, необыкновенная красота его, ловкость, смелость открыли ему двери во все гостинные большого света. Он получил там право гражданства до того, что решился искать руки внучки Суворова у Марьи Алексеевны Нарышкиной и получил ее. Право, как-то совестно много толковать о таких людях, как эти Башмаковы, но по заведенному мною порядку сие необходимо. Человека самонадеяннее, упрямее и непонятливее Башмакова трудно было сыскать; кто-то в Одессе прозвал его *Brise-raison* [пустомеля, болтун]. Молодая супруга его, Варвара Аркадьевна, была не хороша и не дурна собою, но скорее последнее; только на тогдашнее петербургское высшее общество, столь пристойное, столь воздержанное в речах, она совсем не походила, любила молоть вздор и делать сплетни; бывало, совет что-нибудь мужу, тот взбесится, и выйдет у него с кем-нибудь неприятность. А Ольга Потоцкая и Раевский были опять тут как тут и более чем когда ненавидели друг друга<sup>153</sup>. Они не очень сближались с Башмаковым; зато Синявин подружился с ним, и сии люди, пожаловавшие себя в аристократы, были неразлучны. Я было и забыл сказать, что г-жа Башмакова по матери была двоюродной племянницей графа и что муж ее, при оставлении военной службы получив чин действительного статского советника и камергерский ключ, приехал под покровительство дядюшки. Вот какая родня и дальняя и близкая облепила графа и графиню Воронцовых. Последняя сделалась ко мне милостивее, и я смотрел на нее с некоторым сожалением. Можно себе представить, какие неудовольствия, толки, пересуды должны были произвести претензии и несогласия сих людей между окружающими графа. Бог избавил меня по крайней мере от этой напасти: ибо, по возвращении его из Крыма, судьба не дозволила мне долее трех недель оставаться в Одессе.

В Михайлов день, 8 ноября, дабы праздновать именины мужа, графиня [Воронцова] сделала великолепный бал, украшенный присутствием двух андреевских кавалеров, Кочубея и Ланжерона. Не без труда на этот бал могла она вытащить графа, все еще страждущего, в мундирном сюртуке и без эполетов. Он отозвал меня в сторону и сказал, что имеет кое-что со мной переговорить, но что тут не место, и для того приглашает меня к себе на другой день поутру. Лекс, обыкновенно столь скромный, из особой приязни проговорился мне, что, вероятно, будет мне сделано предложение занять место Петрулина [вице-губернатора], об ожидаемой кончине которого, последовавшей 6 числа, перед вечером получено известие. Меня это чрезвычайно смутило; как было отказываться, но как было и согласиться ехать опять в этот ужасный, для меня как бы неизбежный Кишинев?

<sup>153</sup> Раз на танцевальном вечере у графа случилось мне сидеть между Раевским и графом Александром Потоцким, братом Ольги и по доброте своей выродком из Потоцких. Он сказал мне на ухо: «Позвольте мне вас предостеречь, вы так откровенно и приязненно разговариваете с вашим соседом, может быть, не зная, что это самый опасный и ядовитый человек». Я поблагодарил его и сказал потихоньку, что с такими людьми всегда говорю осторожно. — *Авт.*

Он хотел, чтобы, исключая Казначеева и Лекса, временное назначение меня в должность вице-губернатора, по особому праву, ему данному, оставалось пока в тайне даже для находившегося тут губернатора Катакази. Нужные о том бумаги в совет были написаны 9 числа, а я, не сказав никому о том ни слова, ни с кем не простившись, 10 числа оставил Одессу.

Погода и дорога были прескверные. Уставши, в Тирасполе остановился я переночевать на каком-то постоялом дворе. Я тут оставался недолго: начальник 17-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант Сергей Федорович Желтухин, в отсутствие генерала Сабанеева исправлявший должность корпусного командира, прислал убедительно просить меня к нему приехать. У него нашел я отличный прием, славный ужин и мягкую чистую постель. Все прекрасно; но он поразил меня ужасною вестью, что в Измаиле открылась сильная чума и что вследствие сего известия, только что полученного, едва ли по Днестру не приняты все строгие карантинные меры. Случись это суток двое или трое прежде, и, вероятно, я не решился бы ехать.

Верно изобразить г. Желтухина я колеблюсь. Многим покажется, что я плачу ему неблагодарностью за его гостеприимство; да разве я не обязался исправно дань платить истине? Если кто захочет порыться во второй части этих Записок, тот найдет в Казани родителей Желтухина, отставного сенатора и супругу его, которые, несмотря на свои ласки, произвели на меня ужасное впечатление; тут мимоходом упомянул я и об нем. В самой первой молодости служил он в гвардии, потом в армии, всегда в военной службе; не понимаю, как он выбрал этот путь. Я бы мог умолчать об его необычайной трусости, если бы в редких сражениях, в коих он находился, он свидетелем ее не сделал все войско. В то же время был он чрезвычайно жесток с подчиненными, особенно с нижними чинами, и чрезмерно ласков с теми, в коих полагал иметь надобность: одним словом, при уме более чем посредственном имел все пороки низких душ. Дивизионная квартира его находилась в Кишиневе; узнав об отменном ко мне благорасположении начальника своего Сабанеева, также и графа Воронцова, из коих первый просто его не любил, а последний не мог скрывать отвращения своего от него, он надеялся через меня попасть к ним в милость и душил меня своими ласками<sup>154</sup>. Как умел, отделялся я от них; но во время молдавского гонения на меня он стал чаще меня навещать и оказывать все знаки уважения и дружелюбия; против этого не совсем я устоял, и вот какого рода были наши связи.

Долго проспал я следующим утром: и сам я не очень спешил выездом, да и Желтухин удерживал меня до завтрака, то есть до обеда. Невесело же мне будет в Кишиневе, думал я.

Вскоре получено было из столицы самое печальное известие. Я провел большую часть жизни в Петербурге и с сокрушенным сердцем узнал о его потоплении. Не знаю отчего, но тогда же сие событие показалось мне предвестником других, еще несчастнейших. С другой стороны близость чумы, мрачное, холодное осеннее время, все располагало меня к ипохондрии. Бывали минуты, в которые до того я чувствовал себя расстроенным, что с трудом мог заниматься делом.

Была одна добрая, сумасшедшая старушка, госпожа Богдан, которая оставила Яссы единственно потому, что у нее был там сын с предлинной бородой и внук с изрядным усом, а ей все еще хотелось казаться молодою. Она получила некоторое образование и каким-то непонятным французским языком описала путешествие свое в Италии. Она была богата и имела большой вес между земляками. Не знаю, как ей вздумалось свататься за меня<sup>155</sup>; я, разумеется, не позволил себе отказаться от ее руки и просил только времени на размышление. Этим временем пользовался я, чтобы заставить ее делать, что хочу. Я уверил ее, что на этих балах будет она царицей, а как царице нужен двор, то и просил ее, чтоб она склонила молодых кокон и кокониц участвовать в сих увеселениях; сие было ей не трудно, ибо им самим до смер-

<sup>154</sup> Желтухин такими же ласками душил П. И. Пестеля, к которому подслуживался ввиду того, что глава заговора декабристов до 1826 года пользовался исключительным доверием и любовью главнокомандующего второй армией графа П. Х. Витгенштейна.

<sup>155</sup> Липранди по этому поводу пишет: «Сказка и о старушке, будто бы думавшей выйти за него замуж: это намекает он на Богданеску, проживавшую в Кишиневе. Эта старуха, за 60 лет, полуболезненная, жена гетмана Балша, известного по оплеухе, данной ему Пушкиным, любила соединять у себя общество. Если эта старуха была равнодушна (по преданиям, конечно) к мужскому полу, то ни в каком уже случае Ф. Ф. не мог возжечь в ней этой страсти».

ти хотелось танцевать. Немногие, однако ж, из бояр согласились отпускать жен и дочерей на сии вечера; только те, которые искали со мною примирения и показывали, будто мне из уважения сие делали. О молодых молдаванах и говорить нечего: им бы только поплясать. Во всех землях, куда проникает европейское просвещение, первым делом его бывают танцы, наряды и гастрономия.



## ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Приближался конец первого двадцатипятилетия девятнадцатого века. Всеобщий мир, устроенный сонмом царей на Венском съезде или, лучше сказать, тем, кого почитали все их главою, все еще существовал.

Аракчеев, умнейший изо всех действующих тогда лиц, друг и блюститель порядка, был сильнее чем когда. Жестокий его характер был, однако, более вреден, чем полезен, самодержавию.

Тайная полиция, под именем особой канцелярии, находилась тогда в заведовании министерства внутренних дел. Граф Кочубей как бы гнушался этою частию, а преемник его, престарелый и беспечный Ланской, мало о ней заботился. Под ними этою частию управлял статский советник Максим Яковлевич фон-Фок, мне знакомый человек: ибо отцы наши были друзьями, и мы оба образованы были одним наставником г. Мутом, только он лет шесть попрежде меня. Он был немецкий мечтатель, который свободомыслие почитал делом естественным и законным и скорее готов был вооружаться на противников его. Вообще же он никогда не был расположен под кого-либо подыскиваться.

Рыцарь Милорадович добровольно обратился в главу шпионов и каждый вечер терзал царя целыми тетрадами доносов, по большей части ложных.

Только по части духовной и особенно в министерстве просвещения введено было нечто совершенно инквизиционное. Министр Шишков был не что иное, как труп, одним злодеем гальванизированный.

Таков был Магницкий. Первые годы молодости своей провел он в эпикурейской Вене и в революционном еще Париже; там рано развратилось сердце его. Когда он возвратился в отечество, то сперва вместо трости носил яковинскую дубинку, с серебряной бляхой и с надписью: *droit de l'homme* [право человека]. Потом он был самым усердным англоманом, а после Тильзитского мира отчаянным обожателем Наполеона, что, кажется, и было причиной ссылки его в Вологду. Оттуда назначен он был воронежским вице-губернатором, а вскоре потом губернатором в Симбирск. В это время сильно пристал он к мистицизму и тем угодил министру князю Голицину, который испросил ему место попечителя Казанского университета, а по званию члена главного правления училищ держал его при себе в Петербурге. Он совершенно оседлал Голицына; но, предвидя скорое его падение, способствовал оному, войдя в тайные сношения с его противниками. Езда на Шишкове показалась ему еще гораздо покойнее.

Вот первый случай, что в руках его, находилась достаточная власть для преследований: он им воспользовался. Более всего нападения его направлены были на Библейское общество, к коему он принадлежал; вообще, нападал он на все то, что сам прежде исповедовал. Горе профессорам, которые на кафедре дерзнут выразить какую-нибудь смелую мысль; горе писателям, если в их творениях ему покажется что-нибудь двусмысленным; горе цензорам, то пропустившим. И если бы у него были какие-нибудь убеждения! Но он никого и ничего не любил и ни во что не веровал.

Подручником себе избрал он одного неумолимого пустомелю Рунича, который в должности попечителя Петербургского университета занял место умного и ученого Уварова. Этот, кажется, был чистосердечнее, зато уже бессмысленнее его ничто не могло

быть. Можно себе представить, в каком положении находилась тогда подрастающая наша словесность.

Знаменитая госпожа Крюденер около этого времени испытала также гонение правительства. Года три-четыре оставалась она в Петербурге, но учение свое мало успела в нем распространить. Под ее председательством составилось только небольшое общество мечтательниц. Главным из них и ей самой в 1823 году посоветовали выехать из столицы. В числе их была и моя любезная, устаревшая Александра Петровна Хвостова. Уведомляя меня о намерении их избрать местопребыванием южную Россию, она требовала моего совета, а я предлагал ей Бессарабию. Но как она сделалась истинно набожною, то остановилась в Киеве, где и поднесь находится в живых.

В ответе моем мне вздумалось поэтизировать, в блестящем виде представить полуденный берег Крыма, который я знал только по описаниям и наслышке. Письмо мое представила Хвостова на общее суждение дамского совета. Главною распорядительницею в деле переселения была богатейшая из сих женщин, мужественная княгиня Анна Сергеевна Голицына, урожденная Всеволожская. Описание мое, как уведомляла меня Хвостова, воспламенило ее воображение; она начала бредить неприступными горами, стремнинами, шумными водопадами. Как всех на дорогу снабжала она деньгами, то в капитуле имела первенствующий голос. Как леди Стенгоп<sup>156</sup> на Ливане, избрала она красивое место над морем и начала тут строить церковь и дом. Госпожа Крюденер с зятем и дочерью, бароном и баронессой Беркгейм, поселилась пока в маленьком городе, называемом Эски-Крым; но вскоре потом в 1824 году переселилась в вечность<sup>157</sup>.

За нею скоро последовала привезенная Голицыной одна примечательная француженка. Она никогда не снимала лосиной фуфайки, которую носила на теле, и требовала, чтобы в ней и похоронили ее. Ее не послушались, и оказалось по розыскам, что это была жившая долго в Петербурге под именем графини Гашет сеченая и клейменная Ламотт, столь известная до революции, которая играла главную роль в позорном процессе о королевском ожерелье<sup>158</sup>.

Занимая читателя все предметами мне посторонними, медлю говорить ему о себе и не знаю, как приступить к тому. Тяжело мне воспоминание о мучительном, хотя кратковременном, губернаторстве моем.

Вечером [28 ноября 1825 г.] я не велел без нужды никого к себе пускать, развалился на диване и предался приятнейшим мечтаниям. Вдруг послышался мне в передней небольшой шум, и мне пришли сказать, что приехавший из Одессы Липранди непременно желает меня

---

<sup>156</sup> Леди Эстер Стенгоп (1776—1839) — дочь английского государственного деятеля; была секретарем у Питта-младшего; путешествовала по турецкому Востоку, участвовала в местной политической жизни и имела огромное влияние на все население Сирии.

<sup>157</sup> Баронесса Варв. Крюденер (1765—1825), ур. Фитингоф, — известная проповедница мистического суеверия и шарлатанка. Александр I встретился с нею в 1815 году и поддался ее влиянию, советуясь с нею о государственных делах. Кн. Анна Сергеевна Голицына (1779—1838), одна из самых усердных сторонниц Крюденер, была женщина эксцентричная. Выйдя замуж, она прямо от венца разошлась с мужем, отдав ему половину своего огромного состояния, ударила в мистицизм и взяла на свое содержание всю колонию бар. Крюденер; когда деятельности последней стали ставить препятствия в столице, Голицына собрала всех этих кликуш, снарядила огромную барку, и они прямо от Качинкина моста в Петербурге отплыли в Крым. Здесь Голицына начальствовала в своей колонии, носила мужской костюм и сама называла себя «старухой гор». Имела большое влияние на все татарское население округа.

<sup>158</sup> Жанна де-Ла-Мотт (род. 1756) — родственница старого французского королевского дома Валуа, близкая приятельница королевы Марии-Антуанетты, казненной в 1793 году. Прославилась участием в процессе об ожерелье королевы (1784—1786). История эта заключается в следующем. У двух парижских ювелиров осталось невыкупленным огромной ценности бриллиантовое ожерелье, заказанное для любовницы Людовика XV, Дюбарри. Они предлагали его королеве, но у Марии-Антуанетты не было денег для этой покупки. Ламотт решила использовать эту историю и для своего обогащения и для возвеличения своего любовника кардинала Рогана, который в то время тщетно пытался вернуть себе бывшее влияние при дворе. Благодаря сложной интриге Ламотт через Рогана выманила у ювелира ожерелье якобы для королевы, дурочила в этой интриге и кардинала, и королеву, и ювелиров и в результате всей истории была посажена в тюрьму. Хотя королева доказывала свою непричастность к воровству, но, несомненно, была заинтересована в сокрытии этой грязной истории; вскоре после осуждения Ламотт бежала из тюрьмы при содействии Марии-Антуанетты. История эта с внешней стороны так же содействовала подрыву престижа монархии во Франции, как у нас история с Распутиным в последние годы царизма. По официальным источникам Ламотт умерла еще до казни королевы, в 1791 году, но очень многие верили в то, что она умерла в Крыму; среди них был Вигель. Польский поэт, приятель Пушкина и Мицкевича, гр. Г. Олизар встречал эту приятельницу Голицыной и также называл ее в своих воспоминаниях г-жой Ламотт, участницей процесса об ожерелье.

видеть. О, этого подавай сюда, и ну его расспрашивать! Он неохотно отвечал; лицо его, всегда довольно мрачное, показалось мне еще мрачнее. После минутного молчания вот короткие слова, которыми обменялись мы: — Я привез вам худые вести. — Что такое? — Государь опасно болен. — Быть не может!

На другой день все узнали [о смерти Александра I] и все молчали, по крайней мере со мною. Не получив никакого официального извещения, мне и не следовало говорить; а другие, может быть, щадили мою скорбь. Греки же и филэллины не скрывали своей радости: они возлагали великие надежды на Константина Павловича, потому что он в молодых годах говорил по-гречески, имел при себе Куруту [грек-генерал, любимец Константина] и покровительствовал иногда единоземцев их, находящихся в России. Сии бессмысленные не знали, что никто так не вооружался против войны с турками<sup>159</sup>. Все они толпились вокруг вестника Катакази и сделались так надменны, что встречающимся не хотели кланяться.

Молдаване тоже не показывали большой печали и оставались довольно равнодушны; им было все равно: не тот, так другой.

Вся Россия находилась тогда в странном положении. Обыкновенно преемник усопшего императора манифестом возвещал нам в одно время о кончине его и своем воцарении. Тут более тысячи верст отделяло наследника престола от столицы, и вдали от нее, совсем в другой стороне последовала кончина его предшественника. Сколько времени нужно было на разъезды, на сообщение известий; сей промежуток времени имел вид междуцарствия. Я ожидал сведений и приказаний из Таганрога, из Петербурга, из Варшавы. Наконец, 3 декабря получил я первую формальную бумагу с черной каймой, подписанную заместителем 25 ноября, в день приезда его в Таганрог. В ней, извещая меня о несчастном событии, он предписывает, чтобы во всех актах сохраняемо было имя покойного, впредь до повеления ныне царствующего государя императора Константина Павловича. Я подчеркнул точные слова его предписания.

По военному ведомству дело шло проворнее. Вследствие полученных им приказаний, генерал Желтухин 6 декабря, в Николин день, на широком дворе митрополии, после обедни приводил к присяге новому царю всех воинов, налицо находящихся в Кишиневе. Духовное начальство также не замедлило получить указ из Святейшего Синода, и архиепископ Димитрий официальным отзывом пригласил меня на панихиду 12 декабря, в самый день рождения усопшего. Одним словом, я пел еще за здравие, когда духовенство и войско пели за упокой. Однако же вечером того же числа прибыл ко мне сенатский курьер с указом из Сената, и весь этот вечер просидел я в областном правлении, дабы скорее привести указ сей в исполнение. Надобно было присяжные листы перевести на молдавский язык, печатные указы с нарочным разослать по иннугам [уездам] и повестить всех гражданских и отставных чиновников об учинении присяги. На другой день, 13 декабря, сие совершено мною в крестовой церкви архиерейского дома.

По совершении сего священного обряда, казалось, нам оставалось только спокойно ожидать распоряжения нового правительства; но нет, почти месяц прошел после того, что скончался Александр, а Константин хранил молчание. Царствовал один только густой мрак неизвестности, подобный тому, который постоянно покрывал тогда наше полуденное небо.

Впотьмах все предметы кажутся страшнее. И вблизи и вдали, казалось, грозит нам опасность. Неизвестно откуда взялись слухи, что во второй армии (из коей две дивизии занимали Бессарабию) готов вспыхнуть мятеж. И действительно, и солдаты и офицеры равно не любили цесаревича, почитая его жестокосердым, руссо-ненавистником. Сии слухи имели по крайней мере какое-нибудь основание, и верноподданный, трусливый генерал Желтухин придавал им вероятность, запершись и нигде не показываясь. Но другие, самые нелепейшие слухи ходили насчет Петербурга. Уверяли, будто великий князь Николай Павлович, пользуясь смертью одного брата и отсутствием другого, захотел воссесть на престол и был засажен в крепость;

<sup>159</sup> По дошедшим после до меня сведениям из Константинополя известие о смерти государя Александра поразило султана Махмуда. Смутьившись, схватил он себя за бороду и сказал: буй-адам, добрый был человек. А наследника его, которого одно имя его устрасало, называл Асланом, т. е. разъяренным львом. — *Авт.*

будто у него сильная партия, и может последовать междоусобная война. Надобно было жить в таком отдалении от истины, чтобы поверить такому вздору.

Экстра-почта в восемь дней из Петербурга приходила к нам два раза в неделю. По последней полученной почте, 23 декабря к вечеру, не было ни бумаг, ни писем. «Долго ли это будет?» — подумал я. На другой день, часу в двенадцатом утра, по окончании обычных моих занятий, пришел ко мне от архиепископа Димитрия секретарь консистории с важными, по словам его, бумагами. Преосвященный получил их накануне по почте и, сообщая их мне одному, просил о содержании их никому не говорить. Тут были печатные листы, манифест покойного государя, отречение Константина Павловича и, наконец, манифест о восшествии на престол императора Николая I. Сим, казалось, развязывалась загадка; но во мне, привыкшем сомневаться, умножилось недоумение. Для объяснений поспешил я к архиерею; он показал мне коротенькое письмо директора почтового департамента тайного советника Жулковского. Препровождая к нему манифесты, он прибавлял только: «Дай Бог много лет здравствовать молодому нашему государю, тяжел был для него первый день его царствования». Выходя от архиерея, я зашел к ранней вечерне в его домовую церковь, и как это был сочельник, то слышал возношение имени еще Константина, царя казанского, астраханского и прочее, и провозглашение всего императорского титула его.

Тайна не могла долго укрываться; в тот же вечер многие стали подозревать ее. На другой день, 26 числа, сделал я несколько посещений, а возвратясь домой, нашел много бумаг, полученных с почты. Ни в одной особенной важности не было, исключая петербургских газет, в которых нашел я манифесты, читанные мною за два дня до того, и назначение множества генерал-адъютантов. В прибавлениях находилась подробная реляция о происшествии 14 декабря.

Слышно было, что число заговорщиков против правительства было гораздо значительнее числа возмутителей, схваченных в день мятежа; слышно было, что их отыскивают по губерниям и под стражей отправляют в Петербург. У нас пока еще ничего подобного не было.

И в самые лучшие годы моей жизни иногда без всякой причины находил на меня сплин, что в переводе у нас значит хандра. Свет становился мне не мил, и все казалось постылым. Такой недуг напал на меня в воскресный день, 10 января. Я не велел никого к себе пускать и, только что смерклось, при слабом мерцании одной свечки, лежал один с черными думами: вдруг письмо от Липранди. Он пишет, что, несколько дней будучи нездоров, сам не может явиться, и спрашивает, не слыхал ли я чего об ужасном происшествии, бывшем в окрестностях Белой Церкви? На этом самом письме написал я только сии слова: «Ничего не ведаю» — и отослал к нему назад. Раз уже веселые мысли мои разогнал он недоброю вестью; тут мрачные рассеял он, возбуждив опасения насчет графа, который находился в Белой Церкви.

Не прошло часу, как возвестили мне полицеймейстера Радича и с ним присланного от графа чиновника. Отказать им в приеме я не мог, да и не захотелось бы после письма Липранди. Чиновник сей был девятнадцати- или двадцатилетний юноша, Степан Васильевич Сафонов, только что в августе поступивший на службу в канцелярию графа, бывший при нем в Таганроге и в короткое время сделавшийся его первым любимцем (впоследствии времени был он первым его министром). Он подал мне две незначительные бумаги. «Неужели ничего более?» — спросил я. «Да, — отвечал он, — я проездом в Кишиневе, имею секретное поручение далее и только переночую у Якова Николаевича» (Радича). Все это было так странно, что крайне меня удивило. Насчет происшествия сказал он, что граф приехал в Белую Церковь после оногo. Это было возмущение Черниговского пехотного полка под начальством бывшего семеновца, знакомого мне Сергея Муравьева. 2 января происходило небольшое, но настоящее сражение: Муравьев и брат его Матвей взяты в плен, третий брат (Ипполит) убит, а некоторые из офицеров разбежались неизвестно куда,

На другой день, 11-го числа, рано явились ко мне опять Радич с Сафоновым. Они совершили важный подвиг: арестовали Липранди, опечатали его бумаги, не велели никого к нему допускать, а мне предоставили отправление его в Петербург. «Так как все сделано мимо

меня, — сказал я, — так как по сему делу не имею я ни строчки от наместника, то пусть г. полицеймейстер возьмет на себя и сей последний труд. Мне, по крайней мере, позволено будет его видеть?» Радич отвечал: помилуйте, вам везде открыт вход. Мне хотелось освободить вчерашнее письмо, и я в том успел. Липранди нашел я чрезвычайно упавшего духом, и, хотя он божился мне, я почитал его виновным. После с удовольствием узнал, что я ошибся. На другой день Радичем был он отправлен с полицейским офицером.

Какая мысль была у графа устранить меня от этого дела? Неужели подозревал он меня в каком-либо соучастии с подозреваемыми? Нет, этого не было; но он почитал меня большим приятелем Липранди и знал всю сербскую вражду Радича против него. Вообще, он не любил церемониться с губернаторами и часто без их ведома давал свои предписания исправникам и городничим. Иные обижались этим; в таком случае что могло быть удобнее Катакази, и напрасно он удалил его. Везде сперва его произвол, а потом, пожалуй, и закон, лишь бы он был согласен с его видами.

Дней через пять после отсылки Липранди были новые арестации, новые отправления. Два бежавших офицера Черниговского полка находились в Кишиневе под чужими именами, и мы того не подозревали. Николаевский полицеймейстер, подполковник Павел Иванович Федоров, человек тонкий, всеведущий, неутомимый<sup>160</sup>, не Радичу чета, тайно уведомил нас о том, прибавляя, что один из них, под новым именем, ожидает писем и денег из Кременчуга. Посредством мнимой повестки с почты, посредством этой ловушки не трудно было схватить обоих. Названий сих офицеров не помню, да и их самих не имел духу видеть. Один из них был ранен, а согласно предписаниям следовало их закованными отправить в Петербург. Сию жестокую операцию предоставил я Радичу<sup>161</sup>.

Как сладостно мне было увидеть спасительную бумагу об отпуске, дарующем мне свободу! Совершенная весна наступила уже несколько дней, когда 4 марта [1826] оставил я Кишинев.

Я сперва намеревался отправиться в Пензу; последние происшествия заставили меня переменить сие намерение. При начале нового царствования могут быть благоприятные случаи для выгодной перемены службы, подумал я между прочим.

В Житомире находились тогда квартира одного пехотного корпуса и корпусный начальник генерал-лейтенант Рот, Логин Осипович, с которым в Петербурге случалось мне встречаться, с которым даже был я знаком, но не коротко. Родом из Альзаса, он соединял в себе всю дореволюционную изысканную учтивость французов с немецкою жестокостию и педантством. Будучи другом порядка и поборником законной власти, он, древний дворянин, пошел простым рядовым в корпус принца Конде и, неоднократно сражаясь за короля своего, достигнул офицерского чина. Когда корпус сей распустили или, лучше сказать, когда он разошелся, Рот поступил офицером в русскую службу. Во время турецкой войны в 1809 году начал он выходить из неизвестности и быстро подвигаться в чинах. Отечественная наша война в 1812-м и в последующих годах представляла множество случаев отличиться; он отчаянно сражался и не раз был ранен, между прочим, в рот: фамильное имя его рану эту сделало известною всей России.

Судьба определила этому человеку быть деятельным врагом мятежников: войско под его начальством и под его распоряжением усмирило недавно бунт Черниговского полка, за это молодой император и наградил его Александровской лентой.

Мне никакого следа не было посетить генерала Рота, но любопытство взяло верх над чувством приличия. Проездом через город, где он начальствовал, счел я будто бы обязанностью явиться к нему, хотя это было после обеда, и я был во фраке. Довольствуясь и сим изъявлением глубокого уважения, он пригласил меня с ним побеседовать. Он сделался словоохотен,

<sup>160</sup> Он не ожидал тогда, что некогда будет управлять Новороссийским краем. — *Авт.*

<sup>161</sup> В Кишиневе был арестован один из деятельных участников восстания Черниговского полка И. И. Сухинов-Емельянов; под своей второй фамилией он и скрывался в Кишиневе. Отсюда он пытался было скрыться за границу, но не мог на это решиться, представив себе «товарищей, обремененных цепями и брошенных в темницы». Сухинов был в Кишиневе один, без товарищей.

рассказлив, и насчет последних происшествий узнал я от него много любопытных подробностей. Между прочим сказывал он мне, как Шервуд, получивший в награду название Верного, по ночам приезжал к нему из Махновки. Никому во второй армии, к которой он принадлежал, не решался Шервуд представить своих тайных изветов, а по соседству с одной из корпусных квартир первой армии решился доверить их Роту. От сего последнего донесения отправлены были в Таганрог и хотя застали императора в живых, но при последнем издыхании.

В Петербург после почти трехлетнего отсутствия я приехал 21 марта.

На другой день поспешил я посетить всех добрых знакомых моих; вестей, вестей о происходившем в последние четыре месяца наслушался я досыта. Сообщать же все слышанное мною тогда нахожу, что здесь еще не место.

В это время (не помню, в конце апреля или в начале мая) прибыл граф Воронцов для поклонения новому императору. Болезнь моя была причиной или, лучше сказать, послужила предлогом неявки моей к нему. С ним были только Левшин да новый любимец его Сафонов.

Левшин испросил мне дозволение, аки больному, явиться [к Воронцову] в сюртуке и с зонтиком на глазах. Итак, я предстал пред его графские светлые очи, подобно моим тогда, омраченные и зонтиком осененные. Сходство в болезненном положении растрогало меня; может быть, и его.

Он сознался, что, после всего происходившего со мною в Бессарабии, мне воротиться туда некстати. И вдруг не с другого слова предложил мне новое место керчь-еникальского градоначальника. Я в изумлении молчал. Он представил мне всю блестящую сторону сего нового назначения, власть почти независимую и почти неограниченную, большое содержание, начальство над флотилией и казаками, составляющими таможенную и карантинную стражи, широкое поле для созидательной моей деятельности, имя в истории и, наконец, может быть, статую после смерти. В другое время у меня загорелось бы в голове, а тут я оставался довольно равнодушен. Я не смел ни отказаться от предлагаемого мне места, ни принять его и выпросил себе неделю на размышление.

Он спешил тогда в Одессу, ибо в Аккермане назначен был конгресс, на который ожидали турецких полномочных: с ними должен был он стараться устранять все недоразумения, все неудовольствия наши с Портой. Дня за два до его отъезда опять явился я к нему с изъявлением согласия; он обнял меня и, уезжая, отправил к государю все представления свои.

В день рождения нового императора, 25 июня, ровно через два года после восстания на меня в Кишиневе, подписан указ, который разлучал меня с ним.

Это время для меня столь горестное, по расположению души моей даже убийственное, было, однако же, обильно всем тем, что могло меня утешить и даже порадовать. Все действия императора Николая были согласны с моими правилами и моими желаниями. Либерализм, столь нам несвойственный, обезоружен и придавлен; слова правосудие и порядок заменили сакраментальное дотоле слово свобода. Строгость его никто не смел да и не хотел назвать жестокостию: ибо она обеспечивала как личную безопасность каждого, так и вообще государственную безопасность. Везде были видны веселые и довольные лица, печальными казались только родственники и приятели мятежников 14 декабря.

По указанию расслабленного и встревоженного Карамзина, в самый день мятежа не имевшего сил владеть пером, государь в тот же вечер призвал к себе друга его Блудова. Он поручил ему изобразить со всею точностью происшествие, от которого столица находилась в ужасе, и сделать сие поспешно тут же, не выходя из его кабинета. На другой день сие известие, припечатанное в газетах, должно было разойтись по всей России. По внезапности поручения не знаю, кто бы в таком случае не потерялся? Блудову посчастливилось. Он представил истину с такою ясностию, с такою откровенностию, к которой мы в России тогда не привыкли; всегда раскрашенная в официальных актах, она невольно порождала сомнения, а тут, напротив, должна была поселить совершенную доверчивость к словам нового правительства. Государь был совершенно доволен и с этой ночи человека, мало ему дотоле известного, оставил при своей особе.

После того для рассмотрения действий мятежников учреждена была в крепости, в которой они находились, следственная комиссия под председательством великого князя Михаила Павловича. Государю угодно было назначить в нее Блудова производителем дел, что поставило бы его в необходимость каждый день находиться при допросах обвиненных, из коих некоторые были ему весьма знакомы. Для души его это было бы слишком тягостно, и он умолил царя уволить его от сей обязанности. Зато каждый день лично вручаемы ему были государем протоколы заседаний комиссии, и в одной из соседственных от кабинета царского комнат занимался он составлением из того общего дела. Часть зимы и всю весну провел он в сих занятиях и довершил труд свой известным «Донесением следственной комиссии» за подписанием председателя и всех членов ее и за его скрепою, которое тогда же было напечатано особой книжкой для всеобщего сведения.

Из документов, находившихся у него в руках, он мог усмотреть, что, исключая Пестеля, Рылеева и некоторых других, настоящих революционеров, понимающих цель, к которой идут, все заговорщики, по большей части военные, были молодые люди, увлеченные примером обычая и распространившейся моды и почитающие свободомыслие лучшим выражением ума и познаний, коих не было в них. Заметно было, что зачинщики более всего старались действовать на неопытных и на недалководидных. Как же было не пожалеть о сих несчастных. Излагая их суждения, Блудов умел умалить их значительность и тем самым, вероятно, надеялся смягчить над ними приговор суда. Иногда действия их были так смешны, что в описании их проглядывала у него невольная ирония. И были люди, которые это ставили ему в вину! Как можно ругаться над жертвами, готовыми пасть под ударами закона? Их следовало бы венчать цветами, представить хотя злодеями, но великими людьми смелых проказников, которым хотелось только шума и тревоги и не помышлявших о последствиях, возбудить не сострадание к ним, а энтузиазм к их дерзким подвигам. Кажется, это не совсем было бы согласно с видами правительства. Впрочем, он сказал одну только правду, и все присутствовавшие в комиссии подтвердили ее своим подписом.

Затем учрежден Верховный уголовный суд, составленный из всех членов Государственного совета, Синода и сената, к коим присовокуплено было несколько полных генералов. В числе судящих находился Сперанский, в числе подсудимых задушевный друг его, инженерный полковник Батенков, с которым познакомился он в Сибири (от управления коей он давно был уволен) и которого удалось ему перевести в Петербург. Тесные связи его с ним ни для кого не были тайной, и в следственной комиссии все ожидали, что из уст Батенкова выйдет наконец имя его. Иногда действительно оно как бы скользило по ним; но сей скромный и твердый человек, говорят, чрезвычайно умный и ученый, весь преданный ему, до конца не выдал друга. Казалось, что сих подозрений было бы достаточно, чтобы удалить его по крайней мере от службы<sup>162</sup>; напротив, сей хитрец, разгаданный и отвергнутый покойным Александром, нашел средство войти в милость к новому государю. Представив ему, что в России недостаток в законах, он возбудил в нем весьма похвальную жажду к славе законодателя; по словам его, имя Николая в России должно было стать выше имен Ярослава и царя Алексея Михайловича, а вообще в потомстве наравне с именами Юстиниана, Феодосия и Наполеона. Принимая на себя огромный труд составления свода существующих узаконений и издания потом нового уложения, он уверил царя, что сей труд не может быть довольно успешно совершен без личного участия и надзора его величества. И потому комиссия составления законов обращена в II отделение императорской канцелярии, а он назначен одного главноуправляющим. Таким образом открыл он себе свободный доступ в кабинет царский, каждую неделю имел доклад, сохранил доверенность Николая до самого конца жизни своей, но не приобрел того влияния, которое надеялся иметь вообще в целом государстве.

---

<sup>162</sup> Николай нашел лучший способ наказать Сперанского за его несомненное для царя-следователя сочувствие либерализму. Он велел Сперанскому составить роспись заговорщиков и определить степень виновности и наказания каждого. Сперанский в этом деле проявил усердие, удовлетворившее Николая и успокоившее царя насчет его революционности: не доверяя Сперанскому безоглядно, Николай счел после этого возможным вернуть его к государственной деятельности.

По высочайшей воле Блудов потрясен был в Верховный уголовный суд для доставления, в случае нужды, потребных объяснений по делу о подсудимых. Тут встретился он и хорошо познакомился со Сперанским; но кажется, что взаимной симпатии сии господа не восчувствовали. За все труды Блудов был награжден Аннинской лентой и званием статс-секретаря, что как будто поставило его на путь, ведущий к занятию министерского места.

В первых числах июля, не помню именно, в какой день (ибо мой ум находился тогда в таком же расстройстве, как и тело), над виновными совершен приговор суда [13 июля]. Полтораста осужденных выведены на пласис перед крепостию, им прочтено решение суда, над ними переломлены шпаги, сняты с них мундиры и фраки, они облечены в крестьянское платье и отправлены в ссылку. Пять человек были повешены. Все это происходило вскоре по восхождении солнца и в отдаленной части города, следственно, зрителей не могло быть много. Несмотря на то, в этот день жители Петербурга исполнились ужаса и печали. Более шестидесяти лет после Мировича не видели они торговой смертной казни.

В тоскливом уединении моем я мало ведал о том, что происходило в городе. Несколько доброжелателей с намерением развеселить меня, сколько-нибудь рассеять грусть мою, назвали ко мне обедать и условились насчет дня. Я поручил кому-то заказать обед в трактире и закупить вина. Надобно же было случиться, чтобы это было в самый печальный день казни. Тут был Левшин, который приехал объявить мне, что указ 25 июня, о назначении меня градоначальником, из сената только что получен им в канцелярии отсутствующего уже графа Воронцова, и меня с тем поздравить. Доктор Груби сообщил мне известие о наградах, полученных Блудовым. Первое принял я почти с огорчением, последнее довольно равнодушно: печальное все принимал я к сердцу, все радостное скользило по нем. Между прочим находился у меня один знакомый мне лейб-гренадерский офицер Пересекин, который со взводом гренадер в это утро был свидетелем происходившего перед крепостию; с прискорбием и большими подробностями описывал он сцены, раздирающие душу. И вместо веселия гости мои умножили мою грусть.

Возвратившийся из-за границы Кочубей нашел с удовольствием прежнего подчиненного своего Блудова; деятельно-употребленным мнением своим он еще более утвердил государя в высоком мнении, которое возымел он об нем. Дашков, управляющий дотол в Петербурге делами константинопольской миссии, мало-помалу стал переходить на другое поприще и также был предназначен для высших занятий. Жуковский по учебной части был наставником наследника престола и почти домашним среди императорской фамилии. Полетика, оставивший должность посланника и возвратившийся из Америки в предыдущем году, сделан был сенатором. Будучи великим князем, Николай Павлович встретил его за границей, полюбил его оригинальный и смелый ум, продолжал быть с ним милостивым, и все были уверены, что он будет очень силен у двора. Все друзья, арзамасцы! Касательно успехов по службе, не тот, так другой, каждый готов был протянуть мне руку помощи. И кто бы поверил? В это время никак не входило мне это в голову.

Особая канцелярия по секретной части со времен Балашова существовала сперва при министерстве полиции, а по уничтожении его при министерстве внутренних дел. Действия ее были незаметны, особенно после взятия Парижа. Все говорили смело, даже нескромно, всякий что хотел: время самое удобное для распространения вольнодумства. С 1820 года начали показываться некоторые строгие меры, но и они были только вследствие явно дерзких поступков. Похвалы свободе продолжались только по принятому обычаю; но горсть недовольных, замышляющих ниспровергнуть образ правления, сделалась скромнее и от мечтаний перешла к сокровенным действиям. Во всяком другом народе сие могло бы иметь самые зловерные последствия и приготовить всеобщие возмущения, но у русских священная власть царская всегда была главным догматом их веры. И как легко было бы тогда правительству, дознавшись до истины, более виновных удалить от службы; для обуздания же их, по их малочисленности, достаточно было бы одних угроз и строгого присмотра, а совсем не наказаний. Но секретною частию, как сказал я, управлял фон-Фок, который не имел с ними никаких связей, а питал к ним братскую нежность. Происшествие 14 декабря и его последствия явно обнару-



жили, как невелико число было людей опасных для государственного спокойствия; что значили сотни беспокойных и ничтожных умов в сравнении с десятками миллионов жителей? К тому же виновные все отправлены были в ссылку, а ужас казни должен был утратить готовых подражать им. Кажется, после того можно было бы, хотя на некоторое время, остаться спокойным; но не так думал г. фон-Фок. Он часто был призван в следственную комиссию и там познакомился и сблизился с одним из членов ее, также немцем, генерал-адъютантом Бенкендорфом, чрез которого надеялся он успеть в одном важном предприятии. Первый раз еще генерал сей является в моих Записках, и потому да позволено мне будет вкратце изобразить его. Описывая странствование мое по Сибири, говорил уже я о меньшем брате его Константине Христофоровиче, отлично благородном и любезном человеке, которого с тех пор потерял я из виду; ибо после того служил он в разных посольствах, а в 1812 году поступил в военную службу, сражался в боях и жил вне Петербурга. Оба брата, Александр и Константин, в малолетстве лишившись матери, которая была другом императрицы Марии Федоровны, возросли под ее покровительством и были воспитаны в пансионе аббата Николя. Кажется, где-то сказал я, в чем состояло это воспитание: светское образование было единственною целию его, а о высших науках там никто не помышлял. Для дальнейшего усовершенствования молоденького флигель-адъютанта Александра Бенкендорфа посредством путешествий, под разными предложениями и с разными ничтожными поручениями, сперва беспрестанно рассылали его по всем концам России, потом в чужие государства, также в Турцию и на Ионические острова. Нигде почти долго не останавливаясь, проскакал он великие пространства с невежественностию тогдашнего воспитания, с ветреностию юноши и с рассеянностию наследственною в семействе Бенкендорфов. Так прошли первые годы самой первой молодости его, как вдруг начались наполеоновские войны, и десять лет сряду Россия не могла вложить в ножны меча своего. В сих войнах он везде участвовал, был отменно храбр и счастлив и так же, как Милорадович, нигде не был даже оцарапан. Он быстро поднялся в чинах; но император Александр, которой так хорошо умел распознавать людей, хотя в угождение матери своей и сделал его своим генерал-адъютантом, но при себе никогда не хотел употреблять, и он, почти забытый, безвестный, в мирные годы командовал в Харькове кавалерийской дивизией. Там он, говорят, ничего не читал, совершенно презирал гражданскую службу и ее дела, а занятиями военной беспрестанно жертвовал своим забавам и любовным интригам.

Кто бы мог подумать тогда, что скоро участь многих, премногих умных и честных людей будет зависеть совершенно от этого пустоголового создания. Новый царь, конечно, не обманулся насчет его беспредельной к нему преданности: за него дал бы он себя изрубить в куски; но не нужно ли было взять в соображение и способности человека? Для занятия важной государственной должности никто менее его их не имел. То и надобно было фон-Фоку. Он видел старость, бессилие и приближающееся падение начальника своего Ланского и задумал часть свою поставить гораздо выше, на более прочном и обширном основании. Вероятно, он представил Бенкендорфу, как выгодно будет ему в руках своих иметь большую власть без больших забот и без всякой ответственности и в то же время чрез то находиться в ежедневных и беспрерывных сношениях с государем. Он предложил ему министерство полиции, но уже в новом виде и под другим именем, и составил оному проект. Как ведено было это дело, был ли кто призван на совет? Вот что, кажется, никому не было известно, ибо вскоре после коронации сие новое учреждение было для всех неожиданною новостью.

Особая канцелярия по секретной части переименована в III отделение собственной его величества канцелярии; фон-Фок остался одного управляющим, а Бенкендорф назначен главноуправляющим. Но главное состоит в том, что он назначен вместе и шефом корпуса жандармов, которому поручен был надзор за порядком в целом государстве. Этот корпус составлен был из нескольких округов; к каждому из них принадлежало несколько губерний. Окружными начальниками назначаемы были генералы, а в губернии определяемы были один штаб и несколько обер-офицеров, и весь этот обсервационный корпус сформирован был к концу года, как ни трудно было сначала склонить несколько порядочных людей войти в него. Голубой мун-

дир, ото всех других военных своим цветом отличный как бы одеждою доносчиков, производил отвращение даже в тех, кои решались его надевать.

Учреждение сего нового рода полиции, кажется, имело двоякую цель. Жандармы обязаны были открывать всякие дурные умыслы против правительства и, если где станут проявлять смелые политические, вольнолюбивые идеи, препятствовать их распространению. Это было немного трудно: ибо число зараженных либерализмом и непричастных к делу 14 декабря было не велико, и они более чем когда притаились и с великою осторожностью сообщали свои мнения. Потом всякий штаб-офицер сего корпуса должен был в губернии, где находился, наблюдать за справедливым решением дел в судах, указывать губернаторам на всякие вообще беспорядки, на лихоимство гражданских чинов, на жестокое обращение помещиков и доносить о том своему начальству. Намерение, конечно, казалось наилучшим, но к исполнению его где было сыскать людей добросовестных, беспристрастных, сведущих и прозорливых? Разве не было губернаторов, городских и земских полиций и, наконец, прокуроров, которые должны были наблюдать за законным течением дел? Неужели дотоле не было в России ни малейшего порядка? Неужели везде в ней царствовало беззаконие? А если так, могла ли все исправить горсть армейских офицеров, кое-как набранных?

Даровать таким людям полную доверенность значило лишать ее все местные власти, высшие и низшие. Многим из штаб-офицеров, поступившим в жандармскую команду, было любо жить в губернии, совершенно независимыми, без всякого постоянного, определенного занятия и для всех быть грозою. От самых неблагонамеренных людей, изгнанных из общества, принимали они изветы и с своими дополнениями отправляли в Петербург. Если по следствию окажется, что их донесения были ложны, что за беда? Они от усердия могли ошибиться и не подлежали никакой за то ответственности. И где было искать защиты против них губернским начальствам, а кольми паче частным людям, когда и сам глава их Бенкендорф некоторым образом поставлен был надсмотрщиком над другими министрами? Вся спокойная провинциальная, деревенская жизнь была оттого потревожена. Можно себе представить, какая... да пропустят мне сие слово... какая деморализация должна была от того произойти!

В сентябре сия черная туча поднялась над Россией и на многие годы возлегла на ее горизонте. Конечно, время ослабило ее действия и ужас, но она не дала вполне насладиться счастьем, которым бы без нее мы пользовались в первые года царствования справедливейшего из государей. Ее появление опечалило даже окружавших его приверженцев, и я под присягой могу сказать, что не встречал ни единого человека, который бы учреждение сие одобрил, который бы говорил об нем без крайнего неудовольствия.

Один только человек был совершенно доволен: разумеется, г. фон-Фок. Он хотел, чтобы просвещенный, по мнению его, образ мыслей не совсем погиб в России и людей, имеющих его, намерен был защищать от преследований. Вообще же, надобно отдать ему сию справедливость, он совсем не был зол и, повторяю, ничьей не искал гибели. Безграмотный его начальник, почти всегда не читая, подписывал бумаги и таким образом иногда слепо и неумышленно губил людей, и потому фон-Фоку было весьма удобно большую часть ложных доносов, не доводя до его сведения, бросать в камин, тем более что беспрестанно увеличивающееся число их было не в соразмерности с числом трудящихся в канцелярии. Бенкендорф тогда только ускользал из рук его, когда находился под каким-нибудь посторонним, сильным влиянием.

Что сказать мне еще о сем последнем? Все познали, что воскрес Милорадович, но только на том свете в короткое время выучившийся хорошо говорить по-французски, а, впрочем, все то же фанфаронство, все то же пустословие.

Когда дошли до меня вести о жандармерии, не понимаю, отчего я не обратил на то особого внимания. Но вскоре я приведен был ею в ужас; первые ее удары должны были пасть на мое семейство. Это требует подробного рассказа.

Не раз приходилось мне говорить о старшем сыне сестры моей Алексеевой, Александре Ильиче, которого оставил я в Ельце адъютантом при пьяном генерале графе Палене. Из особой милости к отцу покойный государь перевел потом обоих сыновей его в гвардию: старшего

в конноегерский полк, а меньшего в новый Семеновский. Хотя гвардейский конно-егерский полк стоял в Новгороде, однако служивший в нем уже штабс-капитаном Алексеев под разными предложениями жил почти безвыездно в Петербурге. Что он в нем делал? Почти одни шалости. Он любил поплясать, погулять, поиграть, но отнюдь не был буяном; напротив, какая-то врожденная ластительность (*câlinerie*) всегда в отношении к нему склоняла родителей и начальство к снисходительности; может быть, излишней.

Я сам был обезоружен его ласковым и услужливым характером, как вдруг в начале октября я узнаю, что он схвачен и под караулом отправлен в Москву. Вот что случилось. Кто-то еще в марте дал ему какие-то стихи, будто Пушкина, в честь мятежников 14 декабря<sup>163</sup>; у него взял их молоденькой гвардейский конно-пионерный офицер Молчанов, взял и не отдавал, а тот об них совсем позабыл. Так почти всегда водилось между армейскими офицерами: немногие знали, что такое литература; возьмут, прочитают стишки, выдаваемые за лихие, отдадут другому, другой третьему и так далее. То же самое и с книгами: тот, который имел неосторожность дать их, и кому они принадлежат никогда их не увидит.

Между тем лишь только учредилась жандармская часть, некто донес ей в Москве, что у офицера Молчанова находятся возмутительные стихи. Бедняжку, который и забыл об них, схватили, засадили, допросили, от кого он их получил? Он указал на Алексеева. Как за ним, так и за Пушкиным, который все еще находился ссылкой в псковской деревне, отправили гонцов.

Это послужило к пользе последнего. Государь пожелал сам видеть у себя в кабинете поэта, мнимого бунтовщика, показал ему стихи и спросил, кем они писаны? Тот не обвиняясь сознался, что он. Но они были писаны за пять лет до преступления, которое будто бы они восхваляют, и даже напечатаны под названием «Андрей Шенье». В них Пушкин нападает на революцию, на террористов, кровожадных безумцев, которые погубили гениального человека. Небольшую только часть его стихотворения, впрочем, одинакового содержания, неизвестно почему цензура не пропустила, и этот непропущенный лоскуток, который хорошенько не поняли малограмотные офицерики, послужил обвинительным актом против них. Среди бесчисленных забот государь, вероятно, не захотел взять труда прочитать стихи; без того при малейшем внимании увидел бы он, что в них не было ничего общего с предметом, на который будто они были написаны. Пушкин умел ему это объяснить, и его умная, откровенная, почтительно-смелая речь полюбилась государю. Ему дозволено жить где он хочет и печатать что он хочет. Государь взялся быть его цензором с условием, чтобы он не употреблял во зло дарованную ему совершенную свободу, и до конца жизни своей остался он под личным покровительством царя.

Иная участь ожидала бедных офицеров. По крайней мере Молчанову во мзду его признания дозволено было оставить службу. Но Алексеев, который не хотел или, лучше сказать, не мог назвать того, кто дал ему стихи, по привезении в Москву, где нет крепости, посажен был в острог, в сырую, только что отделанную комнату, в которой скоро расстроилось его здоровье, и он едва не потерял зрение.

И для родителей его в то же время были ужасные сцены. Отец мало выезжал и редко читал письма от сыновей, а мать всемерно старалась скрыть от него постигнувшее их несчастье, предупреждая посетителей, чтобы они ничего ему о том не говорили. Вдруг вбегает без доклада какой-то адъютант и, не поклонясь даже генералу, начинает сими словами: «Ваш сын преступник, злоумышленник против государя». Как громовой удар были эти слова для престарелого воина, можно сказать, закаленного в верноподданнической преданности к престолу. Как, что? и пошатнулся. Адъютант продолжает: «Извольте же сейчас отправиться со мною к генералу Бенкендорфу, там увидите вы сына вашего и, может быть, склоните его сказать, наконец, правду». Послушен страшному адъютантскому призыванию, он приказал заложить карету. «Нет, — сказал тот, — генералу некогда вас долго дожидаться; извольте со мною

---

<sup>163</sup> Известное стихотворение Пушкина «Андрей Шенье», написанное до событий 14 декабря 1825 года, но, как сам Пушкин писал Вяземскому, во многих отношениях пророческое; правительство всполошилось вследствие того, что в стихотворении видно было сочувствие революционным идеям.

ехать на моих парных дрожках: они вас доvezут назад». Все это в присутствии изумленной, отчаянной сестры моей. Вероятно, следуя в подобных случаях примеру начальника своего, нового генерал-инквизитора, вот как поступал офицер с человеком, которого имя известно было всей армии и который не раз командовал корпусом. Совсем растерянный Алексеев машинально повиновался. Бенкендорфа он уже не застал, а в присутствии дежурного генерала Потапова грозил сыну проклятием, если не объявит истины, а тот клялся Богом со всеми святыми, что решительно не помнит, от кого получил несчастные стихи. Как легко можно было видеть, что тут не было ни упрямства, а еще менее благородной твердости в испуганном, ветреном молодом человеке. Истерзанный отец воротился домой и в тот же день почувствовал первый легкий удар паралича.

Нет любви сильнее материнской, а где любовь, тут нет рассудка: конечно, его было мало в предприятии моей бедной сестры. Она решилась пасть к ногам императора и просить о помиловании сына, объяснив по возможности его безвинность. В Москве этого никак сделать было нельзя. Узнав, что в назначенный день государь с императрицей намерен посетить Воскресенский монастырь, новый Иерусалим именуемый, в 45 верстах от Москвы, она, собравшись с силами, отправилась туда в сопровождении одного доброго друга нашего семейства: одной ей было бы слишком страшно. При выходе из келий архимандрита, в сенях дожидалась она царскую чету. Она сделала шаг вперед, но онемела, не могла вымолвить слова и только что указала на грудь, где находилась просительная бумага. «Что вам надобно? Как вы смели?» — сказал ей прогневанный государь. Более не могла она расслышать, ибо действительно пала к ногам его, только без чувств. Говорят, будто вид отчаянного безумия на лице ее встревожил, испугал чувствительную императрицу вместо того, чтобы возбудить в ней сострадание. Она очнулась в какой-то кухне, куда была отнесена; присланный доктор приводил ее в чувство и старался успокоить, уверяя, что ее бумага, взятая во время ее беспомысленности, находится в руках государя. Она могла опасаться, что ее посадят под караул, а такая снисходительность подала ей хотя слабую надежду.

Все было тщетно. Бенкендорф не хотел выпускать из рук своей жертвы; как было ему сознаться, что первое действие его было промахом? Он представил обвиняемого великим шалуном, что было и правда; но он по самому себе мог знать большую разницу между либералом и *libertin* [вольнодумец, распутный]. Меньшой Николай Алексеев попросил его о дозволении повидаться с заключенным братом и за то, яко подозрению подлежащий, из Семеновского полка тем же чином переведен был в армейский, находившийся в Рязани. Тут уже видно явное гонение. И так злополучие, во образе безжалостного глупца, вдруг налегло на все семейство, дотоле спокойное и любимое в Москве.

Чем же все это кончилось? Обвиняемый был отправлен к полку в Новгород, где велено содержать его под строжайшим караулом, пока не допытаются от него истины. По снисходительности начальства, могли его посещать однополчане. Кто-то из них назвал при нем одного Леопольдова. Глаза у него засверкали: как! что! точно так! воскликнул он: так называется человек, который дал мне стихи. Этот Леопольдов, довольно еще молодой, из духовного звания, был учителем в одном из приходских училищ Петербурга и в то же время преподавал русский язык и Закон Божий в частных домах, между прочим молодому Молчанову. После того был вхож в дом его родителей, где мельком видел его Алексеев. Не знаю, с чего он предложил ему стихи Пушкина; тот любопытствовал их видеть, и он ему доставил их. Потом Молчанов пожелал их иметь, а как у Леопольдова не было другого списка, то он сказал ему, что может получить от Алексеева, который впоследствии признавался мне, что их даже не читал. Шесть месяцев спустя, не знаю каким образом, Леопольдов находился в Москве, и он-то был тайным доносчиком на юношу, которого семейство ему благодетельствовало.

Казалось, этим объяснялось все дело; не могло оставаться ни тени подозрения насчет дурного умысла Алексеева; но, видно, по законам г. Бенкендорфа для обвиненных не было оправдания, а следовало неизбежно наказание. Несчастливого молодого человека нельзя же было сослать в Сибирь. Из гвардейского тем же чином перевели его в армейский конно-егерский

полк, с лишением права на производство и с воспрещением не только подавать в отставку, но даже проситься во временный отпуск. Года через два вымолили ему увольнение от службы. А Леопольдов? И его недели на две посадили под караул за неосновательный донос, а потом месяца через три был он помещен в тайную полицию. Это было началом ужасных нелепостей бенкендорфовских, которые, быть может, еще встретятся под пером моим, как ни избегать я буду говорить о них.

Мне бывало довольно весело на холостых вечерах у почт-директора Константина Булгакова, который весьма ласково пригласил меня на них. Обыкновенно не покидал я одной гостиной, где восседала супруга его Марья Константиновна, женщина чрезвычайно веселая, даже чересчур, с которой хорошо познакомился я в Кишиневе, когда она приезжала навестить в нем родителя своего Варлама. Эта комната была для меня единственным убежищем от табаку, которым все другие были накурены. Мне приходило в голову: что, если бы привести в этот дом незнакомого человека с завязанными глазами и посадить его в бильярдной? Он задыхался бы от табачного дыма, услышал бы стук ногой иного нетерпеливого игрока, который после неудачной били произносил бы слова саперлот и сапристи; услышал бы громкий хохот неизвестной ему женщины. Если бы спросить у него, как он думает, где он находится? Он, верно, отвечал бы: в самом простом немецком трактире и слышу голос содержательницы его. Когда спала бы с него завязка, как удивился бы он, увидя графа Липу, князя П. М. Волконского и других знатных людей, посетителей сей аристократической таверны. Приметным образом менялись нравы: начинали отбрасывать узы пристойности и приличия.

Я должен упомянуть здесь еще об одном возобновленном в это время знакомстве и вывести на сцену одного человека, и прежде того уже сделавшегося известным. У найденного мною в Аккермане цинутного [уездного] комиссара Буткова, не весьма молодого, хворого, холостого, честного, хотя и богатого, был старший брат, Петр Григорьевич, человек умный, проворный, сведущий, не совсем добродетельный<sup>164</sup>. Некогда был он правителем канцелярии при начальствовавшем в Грузии генерале Кнорринге, а впоследствии находился по аудиторской части в Молдавской армии. Тут составил он тесную связь с адъютантом главнокомандующего графа Каменского, Закревским. Сей последний был уже финляндским генерал-губернатором, а Бутков правой его рукой по управлению сим великим княжеством; оба жили, однако же, в Петербурге. От младшего Буткова имел я письмо к старшему, отцу довольно большого семейства, что умножало его братскую нежность к хворому холостяку. Я не мог довольно нахвалиться его приемом, и когда мне стало лучше и я посещал его, сказал он мне, что генерал Закревский очень желает меня видеть, и мы вместе к нему отправились. Все вышесказанное вело к изображению сего лица и к краткой о нем биографии.

Сын самого бедного дворянина Тверской губернии, Закревский воспитан был в кадетском корпусе и выпущен из него прапорщиком в Архангелогородский пехотный полк. Какая участь могла ожидать офицера малограмотного, без всяких военных познаний и, как уверяют свидетели, неодаренного даже отважным, воинственным духом? Пробыв годов десятка полтора в армии, оканчивал бы он свое поприще где-нибудь исправником, многое что городничим. Но есть нечто непонятное в мире, всемогущее, слепое счастье, наперекор рассудку, всем вероятностям, неотвязчивое от одних, для других всегда недоступное. Шефом того полка, куда попал сей юноша, был граф Каменский, немного постарее его. Он имел страсть к игре, а счастье тогда уже начинало ласкать неопытную молодость Закревского: от нужды принялся он за карты и почти всегда оставался в выигрыше. Узнав о том, Каменский обратил внимание на едва замеченного им дотолде офицера, заставил его вместо себя метать банк, приблизил к себе и, наконец, взял к себе адъютантом.

Для успехов у Закревского было нечто гораздо лучше высокого ума: в нем были осторожность, сметливость и какая-то искусная вкрадчивость, не допускающая подозрения в подлости. Для Каменского он сделался необходимостью; однако к чему бы повела его милость

<sup>164</sup> П. Г. Бутков (отец известного участника судебной реформы при Александре II), 1775—1857, писатель по русской истории, академик, сенатор.

одного из младших генералов русской армии? Но загорелась война неугасимая, и молодому герою, начальнику его, открылся широкий путь к блестящим успехам; и тот, который в конце 1805 года командовал полком или бригадой, в начале 1810 предводительствовал армией против турок. Среди сражений находился ли при нем любимый адъютант его, разделял ли его опасность? Это не совсем известно; по крайней мере вслед за ним быстро подвигался он в чинах и за отличие получал военные награды. Впрочем, для военных подвигов много молодых людей окружало Каменского, а этот был более комнатный, домашний адъютант и занимался преимущественно его собственными, хозяйственными делами.

Я имел случай познакомиться с ним в 1809 году, по окончании шведской войны, когда зять мой, раненый генерал Алексеев, приехал в Петербург. Его посещал Каменский, иногда адъютанты его. Закревский был тогда капитаном и в крестах. Главным достоинством показала мне в нем скромность его<sup>165</sup>: он лишнего слова даром не выпускал; в речах его с малознакомыми была учтивость и пристойность. Оттого-то мне казалось больно, что Каменский иногда понукает им как слугой; может быть, у армейских генералов такое обращение с любимыми адъютантами было общепринятым обычаем.

Во время турецкой кампании играл он потом довольно важную роль правителя военной канцелярии главнокомандующего. Тут имел он возможность сблизиться с двумя возникающими знаменитостями, Ермоловым и Воронцовым. Блудов был тут главным лицом по части правительственной и дипломатической; отношения его к Каменскому были совсем иные, родственные, почти братские, чему Закревский завидовал, и оттого-то между сими господами, кажется, никакой симпатии никогда не было.

В начале следующего года Каменский скончался в Одессе на руках неотлучного своего Закревского и завещал ему триста душ. При составлении духовной, видно, не были соблюдены все формальности; ибо старший брат Каменского, граф Сергей Михайлович, который, впрочем, много обязан был меньшому брату, опровергнул ее и не захотел исполнить его последней воли. Счастье и тут послужило Закревскому. Этот Сергей Михайлович был вообще презираем; неделикатность его поступка всех паче вооружила против него, а Закревского сделала интересным. Цари в окружающих любят находить беспредельную преданность и высоко ценят ее, когда она оказывается и начальству. Сам государь велел военному министру Барклаю, в утешение Закревского, взять его к себе и, кажется, с чином подполковника перевести в гвардию. Нет сомнения, что без того, получив имение, он оставил бы службу и покойно зажил бы помещиком; но судьба влекла его выше. Существование его в Петербурге было, впрочем, незавидное; я встречал его нередко в доме тетки Каменских, вдовы сенатора Поликарпа. Он был беден, промышлял кое-как картишками; как говорили, гордиться ему было нечем, и он ни с кем не менялся в обращении.

Перед самым открытием Отечественной войны 1812 года великий делец при Барклае полковник Воейков, по подозрению в связях со Сперанским, был удален. Никто на его место не был подготовлен; на первый случай Барклай приблизил к себе Закревского и взял его с собою в армию. После Бородинского сражения великие неудовольствия, возникшие между Кутузовым и Барклаем, заставили сего последнего удалиться. Все находившиеся при нем захотели продолжать принимать участие в военных действиях; один только Закревский, может быть, оглушенный громом сей ужасной битвы, пожелал сопровождать начальника своего в Петербург. И это послужило к его пользе. Государь, который особенно любил Барклая, увидел в этом новый опыт верности и преданности начальству. Последующие годы находился он неотлучно при Барклае и главной квартире; а в 1815 увидели мы его генерал-адъютантом, в ленте и покровительственно всем кланяющегося. Между тем предался он всепреданнейшему князю П. М. Волконскому, который доставил ему место дежурного генерала главного штаба, т. е. директора инспекторского департамента. Лучше ничего нельзя было для него придумать. Ничего, кроме именных и формулярных списков, тут не было; дело не головоломное: нужна

<sup>165</sup> У французов для названия скромности есть два слова, *modestie* [скромность, стыдливость] и *discretion* [скромность, осторожность, сдержанность], коих значение различно. Закревский был *discret*. — *Авт.*

была только великая точность, а в этом у Закревского не было недостатка. Когда в начале 1818 года двор находился в Москве, его вельможеские замашки внушали к нему почтение москвитян, и оттого легко было его сосватать на молодой, богатой наследнице, единственной дочери графа Федора Андреевича Толстого. Всегда верный закону преданности, он оставил место свое, коль скоро и последний патрон его Волконский, одержимый тяжкими недугами, в 1823 году принужден был расстаться с должностью начальника главного штаба и уехать за границу. Он, верно, знал, что сие новое пожертвование не останется без возмездия. Меня не было в Петербурге, когда его сделали финляндским генерал-губернатором. Каким образом это случилось, я вовсе не понимаю: жители Финляндии не знали и не знают поныне русского языка, а он не знал ни одного иностранного или, лучше сказать, ничего не знал. Но, впрочем, страна сия управлялась особыми законами. Генерал-губернатор, как конституционный король, мог входить в дела только поверхностно. К тому же Закревский, в виде подручника и наперсника, призвал к себе на помощь грамотея Буткова.

По должности дежурного генерала хорошо ознакомился он с молодыми великими князьями Николаем и Михаилом, бывшими сперва бригадными, потом дивизионными начальниками в гвардии. По воцарении первого мог он питать честолюбивейшие надежды. Предложив мне посетить его, Бутков, вероятно, имел намерение одолжить меня, и я за то благодарен ему; но сам я никак не ожидал величия, которое предстоит Закревскому. Один со мною в кабинете разговаривал он, можно сказать, приязненно, жалел о том, что я должен отправиться в отдаленное место, жалел и о том, что в Финляндии нельзя ландсгевдингами (губернаторами) никого определять из русских: без того мне первому предложил бы такое место. Потом прибавил он с улыбкою: «Теперь я ничто; но кто знает, утро вечера мудренее, может быть, и я на что-нибудь могу пригодиться, тогда смело обращайтесь ко мне, я рад буду, что могу, для вас сделать». За столь доброе намерение как было его не возблагодарить? Только, подумал я про себя, мудрено, чтоб этот человек мог подняться еще выше и чтобы я мог воспользоваться его благотворными обещаниями, которых не требовал. Я оттого так распространился о Закревском, что и он впоследствии имел некоторое влияние на судьбу мою.

В продолжение истекших лета и даже осени куда мне было заниматься тем, что происходило и при дворе, и в обществе, и в политическом, и в словесном мире? Всему оставался я чуждым. Тем более возбуждено было мое любопытство, когда опять начали приходиться ко мне силы. По случаю траура почти целый год театры были закрыты. А между тем для драматического искусства наступила счастливая эпоха: оно было особенно покровительствуемо новым государем, который любил зрелища. По раздраженному состоянию, в котором еще находились мои веки, не дозволено мне было употреблять лорнета; по близорукости же моей не мог я, без его помощи, ясно различать предметы на сцене, а слушать только что говорится. Оттого, несмотря на сильное желание, не спешил я посетить театр. Один раз, и всего только один раз, не мог я одолеть сего желания. Давали французскую комедию в пяти действиях «L'école des vieillards» (Школа стариков), сочинение Казимира Де-Лавиня, и в ней главную роль играл нововыписанный, весьма хороший актер Жениес. Мне показалось, что она отзывается революционным духом; в ней были изображены гнусные поступки одного знатного человека Дюка, а выражения всех благородных чувств вложены в уста людей среднего состояния, которые покрывают стыдом и срамом, преследуют убийственными поношениями порочного и терпеливого Дюка. В своей Бессарабии, а потом в Крыму я ничего не читал, кроме делового, и оттого никак не подозревал, что с некоторого времени, благодаря свободе книгопечатания, все французские романы и драмы наперерыв старались снабжать всеми добродетелями простонародие и унижать, топтать в грязь высшие сословия. Почти вся заграничная литература взяла это направление, и немного лет спустя обнаружилось пагубные ее последствия<sup>166</sup>. В этой главе не место еще говорить как о ней, так и о нашей словесности в особенности.

<sup>166</sup> В это время можно было сравнить ее с началом революции 1789 года, но неизбежно затем должна была последовать эпоха ее терроризма. — *Авт.*

Все ожидали великих перемен в министерстве, даже целого возобновления. Оно совершилось медленно. Правда, в этом же году вновь учреждены два министерства: полиция или корпус жандармов, о котором уже я говорил, и другое — министерство императорского двора, в вознаграждение примерной, испытанной верности князя П. М. Волконского. Все придворные части, гофинтендантская, конюшенная, театральная и другие, не переменяя названий, поступили в ведомство его в виде департаментов. Высшие придворные чины также как бы обратились в придворных директоров, что, кажется, не возвысило их звания. Из прежних министров старики сохраняли свои места и не показывали намерения оставить их; дабы склонить их к тому, придумано было средство, и кажется, что граф Кочубей подал о том мысль. Давно уже у министров не было товарищей; надлежало воскресить сие знание. Каждому из тех, коих желали удалить, дано было по товарищу, сим же последним в руководство инструкция, дающая им право входить во все дела и некоторым контролировать действия самих министров. Выборы были довольно счастливы: назначены люди зрелых лет, некоторые с большою опытностью, другие с достаточным умом и познаниями, чтобы скорее приобрести ее.

Первого назову я генерал-адъютанта князя Александра Сергеевича Меншикова, знаменитого потомка знаменитого предка, хотя он и не получил звания товарища, а дан был просто в помощь морскому министру адмиралу Моллеру. Он дотоле находился в военной сухопутной службе, но всегда имел страсть к морской части. Он только что воротился из Персии, куда отправлен был перед войной с чрезвычайным поручением, и в удовлетворение желания его был переименован контр-адмиралом. Я скоро буду иметь приятный случай говорить пространнее о сем необыкновенном человеке <sup>167</sup>.

Министру юстиции князю Лобанову нельзя было дать товарища менее чем князя, и оттого на сие место назначен был сенатор Алексей Алексеевич Долгоруков. До полковничьего чина находился он на военной службе; но, познав, что рожден он более мирным, хотя деятельным гражданином, чем воином, перешел в статскую. Он был гражданским губернатором в Симбирске, потом в Москве. Даром, что князь, он был небогат и для поправления состояния два раза женился на купеческих дочерях, что влекло его в связи не совсем знатные. Он дружил преимущественно с людьми деловыми, и тяжёлые дела давали пищу его разговорам и помышлениям. Когда кто из сенаторов примется усердно за исполнение своих обязанностей (что бывает очень редко), когда он начнет пристально вникать в существо дел, его суждениям подлежащих, когда он сочленов своих будет избавлять от труда читать и мыслить и они слепо будут приставать к его мнениям, то он прослышет величайшим дельцом. Когда же он из знатного рода (что почти никогда не бывает), то слава его оттого еще более умножится. Долгоруков совсем оподъячился, когда его посадили в сенат, и тогда уже он мог заменить лучшего обер-секретаря. Аристократия смотрела на него с почтительным изумлением: ей казалось сверхъестественным, что человек из среды ее мог добровольно и исключительно посвятить себя сухим и скучным занятиям законоведения. Молва о нем доходила до государя, и он сам избрал его почти преемником Лобанову.

Много распространяться о Блудове мне нечего: он давно и коротко знаком моим читателям. Говорили, что государь имел намерение назначить его товарищем министра внутренних дел, но что будто бы князю А. Н. Голицыну, премного оскорбленному преемником его Шишковым, казалось забавным к престарелому ребенку приставить довольно молодого еще дядьку, того самого, который мальчиком писал на старика эпиграммы и которого имени тот равнодушно слышать не мог. Уверяли, будто Голицын представил государю, что часть, введенная Шишкову, более согласна с прежними, любимыми занятиями Блудова, и он назначен был товарищем министра народного просвещения.

Некоторые из директоров департаментов Министерства внутренних дел, старее в чине Дашкова, обиделись, когда его назначили товарищем к их министру. Но в этом человеке было

---

<sup>167</sup> Все достоинства Меншикова сводились к салонному балагурству и циничному остроумию при полной неспособности к административному труду; особенно ярко это сказалось в севастопольскую войну 1854—55 гг., когда он был главнокомандующим.



нечто равняющее его тотчас с местом, которое он получал, как бы высоко оно ни было: какая-то нравственная сила, которой скоро и охотно покорялись ему подчиняемые. Он также не вовсе безызвестен моим читателям. Им предоставляю я посудить о чувствах, какие возбудили во мне сии назначения. Зависти я никогда не знал; правда, иногда сильно досадовал я, видя быстрое возвышение злых глупцов, ибо в этом я видел вред для службы и для общества; зато с какою искреннею, неописанною радостью смотрел я на успехи людей мною любимых и достойно уважаемых!

Давно уже наступила пора — прибавить ли? давно уже прошла пора — отправиться мне к должности. Шесть месяцев после моего назначения я не думал еще трогаться с места. В начале осени, когда двор воротился из Москвы, пытался было я приткнуться к какому-нибудь министерству, чтобы оттуда занять потом иное место; но мне объясняли, что, если не вступая в должность, к которой назначен, буду проситься об увольнении от нее, то навсегда должен буду расстаться с службой. Потом пугала меня мысль о дальнем пути, в глухую осень и со здоровьем не совсем еще исправным. Что же более всего останавливало меня — был совершенный недостаток в деньгах. Небольшая их сумма от жалованья, сбереженная в Бессарабии на черные дни в Петербурге, была вся истрачена. Однако же я начал собираться в дорогу на обещанные мне займы тысячу рублей ассигнациями.

По службе принадлежал я тогда к двум министерствам, финансов и внутренних дел. Вместе со званием керченского градоначальника был я и начальником таможенного округа. Это поставило меня в необходимость перед отъездом явиться к министру Канкрину. Я знал, что он не благоволит к Воронцову и вообще к Новороссийскому краю, и не без труда решился на такое предприятие; в исполнении его не имел, однако ж, причины раскаиваться. Я давно заметил, что весьма умные люди почти всегда меня любили. «Отчего бы это было?» — спросил я себя. «Оттого, что, чувствуя свое превосходство над тобою, они не могут видеть в тебе соперника; а между тем расстояние, тебя от них отделяющее, не так велико, чтобы язык их для тебя остался непонятным и чтобы ты не в состоянии был дать настоящую цену их умственным способностям; к тому же в разговорах с ними ты всегда наслаждаешься, и это у тебя написано на лице». Этим ответом, самому себе данным, остался я доволен, хотя он и не совсем польстил моему самолюбию. После обмена нескольких слов с угрюмым Канкринным сделался он как будто ласковее и повел меня в свой кабинет, где посадил против себя подле камина и начал пускать ужаснейшие облака табачного дыма. Глаза мои страдали; но я заговорился, заслушался. Я коснулся Бессарабии, сказав ему, что я был в ней единственным в России вице-губернатором, который не имел чести находиться под его начальством. Он с любопытством стал меня спрашивать о сем крае; пользуясь сим, я старался представить ему, сколь вредно для благосостояния области положение, в котором она находится, будучи стиснута на всем протяжении своим двумя таможенными линиями, прутскою и днестровскою. Зная, сколь все минуты для него дороги, и начиная чувствовать боль в глазах, я хотел было сократить свое посещение, но он меня удерживал. Увидев столь неожиданное для меня благорасположение его, я дерзнул обратиться к нему со всепокорнейшей просьбой: объяснил ему причины, удерживавшие меня в Петербурге, и просил, чтобы жалованье мое (которое простиралось тогда до десяти тысяч рублей ассигнациями) за время просрочки не было задержано. Он подумал и сказал: «Это не совсем в порядке; но так и быть, я не забуду и распоряжусь, чтобы вы были удовлетворены». С предовольным сердцем и с распухшими веками воротился я домой. Дня через два отправился я к министру внутренних дел за приказаниями и наставлениями. Это было не в первый раз, кажется, в третий по возвращении его из Москвы. Старик Василий Сергеевич был добр и ласков; заставит, бывало, меня подождать с минуту, позовет потом к себе и усадит; но лишь только я заикнусь о чем-нибудь дельном, он меня прервет и найдет средство меня учтиво выпроводить.

Не понимаю и не помню, как речь зашла о Варшаве и о живущем в ней бывшем первом секретаре китайского посольства Байкове, которого лет двадцать потерял я из виду. Одно уже имя этого наглого человека сделалось неблагопристойностью. Министр с веселым видом и

весьма вольным слогом пустился мне рассказывать о его похождениях, о его любовных подвигах с польками. Старый екатерининский гусарский полковник мне весь открылся. Моложе, я бы покраснел, а тут мне даже не стошнилось, и в свою очередь рассказал я два-три анекдота довольно соблазнительных; после того он не хотел меня выпустить. И вот человек, подумал я, который известен своим умом и своею опытностью! О старость, старость с молодыми привычками и желаниями!

О Керчи ни полслова; я знал, что все будет напрасно. Но за градоначальника ее начал я ходатайствовать. При определении в должность все губернаторы получают известную сумму на подъем и путевые издержки; о градоначальниках на этот счет ничего положительного не было сделано; вероятно все были довольно богаты, чтобы не хлопотать о том; мне трудно было без того обойтись. На просьбу мою отвечал Ланской: «Пришлите мне записку, я представлю ее в комитет министров; я чай у вас там есть знакомые, да и я сам вас поддержу». Вследствие того получил я пять тысяч рублей ассигнациями.

30 января в восемь часов утра оставил я Петербург. Зима стояла в нем такая теплая, какой не запомню; только 14 декабря, в день годовщины после бунта. Нева покрылась льдом, и в генваре при всяком появлении солнца таяло на мостовой и капало с крыш.

Таким образом полегоныку дотащился я до Москвы, 5 февраля поутру.

В английском клубе встретил я Ив. Ив. Дмитриева, и в этот приезд знакомство мое с ним завязалось покороче. Если бы частые утренние посещения мои ему наскучили, я бы тотчас заметил; но, кажется, было совсем противное. Он был всегда степенно весел, пока разговор не касался недавно умершего друга его Карамзина. Один раз позвал он меня к себе обедать вместе с некоторыми литераторами и полулитераторами, коих не вижу нужды называть здесь. Замечателен был мне сильный спор, который после обеда зашел о романтизме и классицизме. В Бессарабии и потом в петербургском уединении моем едва подозревал я существование первого, а тут познал, сколько силы он уже успел приобрести.

Еще захотелось мне видеть другого старика, которого общество мне было столь же приятно, хотя в другом роде. Швейцарец-француз Кристин помолодел, стал добрее с тех пор, как патрон его, граф д'Артуа, под именем Карла X начал царствовать во Франции. Душа его рвалась туда, он мечтал о переселении; многолетние привычки, удобная, красивая оседлость, собственный дом, старость, а паче всего старая ведьма, графиня де-Броль, его околдовавшая, приковывали его к Москве. У него часто бывал один прескучный, по-моему, даже нелепый, француз Декамп, который приехал с тем, чтобы на публичных лекциях преподавать новейшую французскую литературу, и Кристин помогал ему набирать подписчиков и слушателей. Он с глубоким презрением говорил о Расине, о Буало и даже о поэтическом таланте Вольтера и все называл новейших писателей, Виктора Гюго и других, которых гениальные мысли, не стесненные узами правил Аристота, возьмут высокий полет и должны удивить мир своею смелостью. «Да ведь совершенное безначалие в словесности рано или поздно должно повлечь за собою ниспровержение законных властей и постановлений», — говорил я ультралегитимисту Крестину и никак не мог того растолковать ему. Француз, как бы умен ни был, если нет основательности в рассудке, всегда будет прельщаться всякой новизной.

Несколько лет уже тогда завелась в Москве итальянская труппа; она играла на небольшом театре в доме Ст. Ст. Апраксина, у Арбатских ворот. Но в эту зиму он умер; вместе с его жизнью должно было прекратиться и ее существование; последние представления ее были на масленице. Истинных любителей музыки, как и всегда, у нас было весьма немного; подражание нескольким знатным домам, мода — поддерживали сие частное заведение, которое, впрочем, обходилось довольно дешево. Но и тут говорили, будто тот самый Гедеонов, который управлял императорскими театрами, а тогда заведовал кассой этой труппы, не всегда держал ее в исправности и часто черпал из нее. Мне хотелось испытать, выдержат ли мои нервы громкие звуки оперы, и я поехал слушать «Ворону-воровку» Россини; к большому удовольствию, которое я ощутил, примешалось еще нечто, похожее на боль. Примадонна мадам Анти имела неприятный голос; тенора звали, кажется, Перуцци, а у Този был славный бас. Все вместе

было прекрасно, все было гораздо выше одесской посредственности, хотя далеко от совершенства, которым гораздо позже восхищались мы в Петербурге. Там было ужасно дорого и превосходно, а тут дешево и мило; последнее, мне кажется, лучше, ибо большему числу людей доставляет средства часто наслаждаться.

Тут в креслах встретил я двух одесских знакомых, Пушкина и Завалиевского. Увидя первого, я чуть не вскрикнул от радости; при виде второго едва не зевнул. После ссылки в псковской деревне Москва должна была раем показаться Пушкину, который с малолетства в ней не бывал и на неопределенное время в ней остался. Я узнал от него о месте его жительства и на другой же день поехал его отыскивать. Это было почти накануне моего отъезда, и оттого не более двух раз мог я видеть его; сомневаюсь, однако, если бы и продлилось мое пребывание, захотел ли бы я видеть его иначе, как у себя. Он весь еще исполнен был молодой живости и вновь попался на разгульную жизнь: общество его не могло быть моим. Особенно не понравился мне хозяин его квартиры, некто Соболевский<sup>168</sup>. Хотя у него не было ни роду, ни племени, однако нельзя было назвать его непомнящим родства, ибо недавно умерла мать его, некая богатая вдова Анна Ивановна Лобкова, оставив ему хороший достаток, и незаконный отец его, Александр Николаевич Соймонов никак от него не отпирался, хотя и не имел больших причин его любить. Такого рода люди, как уже где-то сказал я, все берут с бою и наглостью стараются предупредить ожидаемое презрение. Этот был остроумен, даже умен и расчетлив и не имел никаких видимых пороков. Он легко мог бы иметь большие успехи и по службе и в снисходительном нашем обществе, но надобно было подчинить себя требованиям обоих. Это было ему невозможно, самолюбие его было слишком велико. Оставив службу в самом малом чине, он жил всегда посреди так называемой холостой компании. Слегка уцепившись за добродушного Жуковского, попал он и на Вяземского; без увлечения, без упоения разделял он шумные его забавы и стал искать связей со всеми молодыми литературными знаменитостями. Как Николай Перовский лез на знатность, так этот карабкался на равенство с людьми, известными по своим талантам. Находка был для него Пушкин, который так охотно давал тогда фамильярничать с собою: он поместил его у себя, потчевал славными завтраками, смешил своими холодными шутками и забавлял его всячески. Не имея ни к кому привязанности, человек этот был желчен, завистлив и за всякое невнимание лиц, ему даже вовсе посторонних, спешил мстить довольно забавными эпитафиями в стихах, кои для успешности приписывал Пушкину. Сего не совсем любезного оригинала случится, может быть, встретить на поле, несколько более обширном.

19 февраля, почти в сумерки, оставил я Москву.

По прошествии девяти месяцев после назначения моего в должность наконец вступил я в нее 29 марта.

Если в Кишиневе осужден я был на муку, то в Керчи на скуку. Не знаю, что лучше? Как везде, куда я вновь поступал на службу, и здесь был я окружен незнакомыми мне лицами, людьми, о коих никогда не слыхивал. Мне были нужны наблюдательность и осторожность, и долго ни с кем не решался я быть доверчивым. Без общества, без книг, без больших занятий по службе, житье мое было не самое веселое.

Я вспомнил первые месяцы пребывания моего в Кишиневе. Тут было у меня еще более свободного времени, и один добрый человек снабдил меня книгами, у него хранящимися, им некупленными и даже не читанными, в которых много говорится о Пантикапее и бывшем Босфорском царстве. Представился случай создать мне себе довольно большой труд, и я воспользовался им. В виде записки начал я составлять вкратце историю классических мест, куда судьбою заведен я был во дни их запустения. Все более увлекаемый предметом моим, я довел ее до настоящих времен, все это заключил и описанием вверенного мне города и его окрестностей и взглядом на

---

<sup>168</sup> Серг. Ал. Соболевский — товарищ А. С. Пушкина по пансиону и друг поэта. Очень остроумный, образованный, хорошо начитанный, он свои литературные способности проявлял в писании резких эпитаграмм. Вигель ненавидел Соболевского за эпитаграмму, в которой язвительно высмеян известный «порок» Вигеля — его однополая любовь. О «разгульной» жизни Пушкина в это время говорят многие современники.

будущую возможную судьбу его. Сочинением сей записки занимался я все лето и в начале осени; в ней находится множество подробностей, кои повторять здесь было бы напрасно.

Пользуясь правом, осматривая заставы, разъезжать по берегам, я летом два раза отлучался из Керчи. Первое путешествие сделал я на азиатский берег, в Тамань; не успели мы еще доплыть до противоположного берега, когда все потемнело, как в сумерки. Счастливыми почли мы себя, вошед в приготовленную нам квартиру, ибо в эту самую минуту пошел проливной дождь и сделалась гроза, какие можно видеть только в жарких климатах. Гром заглушал речи наши, а с огненного неба ниспадали целые катаракты.

Хозяин, нас приютивший, был некто г. Арцыбашев [Дмитрий Александрович Арцыбашев, кавалергард], дворянин старинной фамилии, очень приятный и благовоспитанный юноша, с большим состоянием, который весьма косвенно принимал участие в деле 14 декабря. Зато и не был он сослан в Сибирь, а из кавалергардского полка переведен тем же поручичьим чином в Таманский гарнизонный баталион. Наказание немаловажное: он вел тут самую томительную жизнь. Он нанимал лучший дом, то есть один только порядочный в этом пригороде, имел хороший стол, и сам начальник его, полковник Бобоедов, почти всякий день приходил к нему обедать. Я не верил ему, когда он утверждал, что в Керчь приезжает как бы в какую столицу; а тут имел я случай убедиться в истине его слов.

Арцыбашев был совершенно прав: увидев Керчь, нам показалось, что из гробов мы возвратились к жизни.

А покамест дни тяжко шли для меня за днями, и я начинал уже терять надежду на получение обещанного официального приглашения [в Одессу]. С каким-то внутренним остервенением я почти решился, если нужно, остаться часть зимы, не подавая просьбы об отставке, и, воздерживаясь от малейшей запальчивости, хладнокровно продолжать войну свою с греками, в то время когда европейские державы начинали вооружаться за них. Наконец, когда уже переставал я думать об Одессе, получил бумагу из нее и поспешно собрался в дорогу. Сдав должность свою, в воскресенье 10 октября, без прощаний и проводов оставил я Керчь.

Когда, 19-го, явился я к Палену [врем. генерал-губернатору], встретил он меня холодно, но с приметным замешательством. Он принужден был объявить мне, что из Керчи получена на меня ужаснейшая жалоба.

Греки утверждали, во-первых, будто я, неизвестно по какой вражде к ним, всех людей, принадлежащих к их нации, велел выгонять со службы, 2-е, будто бы я, под предлогом выпрямления улиц, безжалостно ломаю обывательские дома и, между прочим, сломал домик, единственное достояние и убежище бедной вдовы. Наконец, 3-е, что я бросил Керчь, поселился на хуторе и туда никого не велел пускать к себе. В заключении своем говорят греки, что, если я не буду удален от должности, они со всем населением оставят Россию и что подобная сему просьба отправлена от них и к управляющему министерством внутренних дел.

Но довольно о Керчи; постараюсь на время забыть об ней, и веселая моя одесская жизнь поможет мне в том.

У графини Ланжерон была старшая сестра Генриетта Адольфовна, вдова некоего Аркудинского, во втором замужестве за отставным генерал-майором Павлом Сергеевичем Пуциным. С свойствами дебелой натуры, была она сообщительна, весела, гостеприимна и нередко лучшее одесское общество собирала у себя на вечерах, кои, по ее приглашению, с удовольствием я посещал. Муж ее принимал всех учтиво и весьма приличным образом играл роль хозяина. О нем, как о бригадном начальнике в дивизии Орлова, некстати попавшемся в либералы и зато лишившемся службы, мимоходом уже говорил я; надобно еще что-нибудь к тому прибавить. Некогда камер-паж, офицер и потом полковник в Семеновском полку, он, разумеется, часто бывал в петербургских обществах. Держать в них себя пристойно, не слишком выставляя себя, говорить недурно по-французски достаточно было тогда, чтобы почитаться образованным человеком; и все сии условия выполнял он как в Петербурге, так и в Одессе. Никогда, бывало, ничего умного не услышишь от него; никогда ничего глупого он не

скажет <sup>169</sup>. Он был в числе тех людей, которых иногда называют, но о коих никогда не говорят. Счастливые люди, как безмятежно течет их жизнь!

Мы, однако же, с ним иногда рассуждали кой о чем.

Исключая двух многоречивых графов [Палена и Лаюкерона], было тогда еще в Одессе два высокочинных графа. Графа Северина Потоцкого и графа Витта знал я уже за четыре года перед, изобразил их, но тут только с ними познакомился. Все вместе составляли не только сиятельную, но, по мнению моему, в разных родах блестящую четверку. Все ко мне казались отменно благосклонны, только Пален и Ланжерон с некоторой стороны не совсем баловали меня: каждый из них по одному только разу удостоил меня своим посещением. Граф же Потоцкий, погулявши пешком, часто заходил ко мне отдохнуть и побеседовать. Витт делал то же, но только реже.

Причиною особого ко мне благоволения Витта была незаконная связь его с одною женщиною и ею мне оказываемая приязнь. Каролина Адамовна Собаньская, урожденная графиня Ржевуская, разводная жена, составила с ним узы, кои бы легко могли быть извиняемы, если бы хотя немного прикрыты тайной. Сколько раз видели мы любовников, пренебрегающих законами света, которые покидают его и живут единственно друг для друга. Тут ничего этого не было. Напротив, как бы гордясь своими слабостями, чета сия выставляла их напоказ целому миру. Сожитие двух особ равного состояния предполагает еще взаимность чувств: Витт был богат, расточителен и располагал огромными казенными суммами; Собаньская никакой почти собственности не имела, а наряжалась едва ли не лучше всех и жила чрезвычайно роскошно, следственно, не гнушалась названием наемной наложницы, которое иные ей давали. Давно уже известно, что у полек нет сердца, бывает только тщеславный или сребролюбивый расчет да чувственность. С помощью первого завлекая могучих и богатых, приобретают они средства к удовлетворению последней. Никаких нежных чувств они не питают, ничто их не останавливает; сами матери совесть, стыд истребляют в них с малолетства и научают их только искусству обольщать.

Так сужу я ныне, и мне кажется это довольно гадко; но тогда, ослепленный привлекательностью Собаньской, я о том не помышлял. Ей было уже лет под сорок, и она имела черты лица грубые; но какая стройность, что за голос и что за манеры! Две или три порядочные женщины ездили к ней и принимали у себя, не включая в то число графиню Воронцову, которая приглашала ее на свои вечера и балы единственно для того, чтобы не допустить явной ссоры между мужем и Виттом; Ольга же Нарышкина-Потоцкая, хотя по матери и родная сестра Витту, не хотела иметь с ней знакомства; все прочие также чуждались ее. В этом унижительном положении какую твердость умела она показывать и как высоко подыматься даже над преследующими ее женщинами!

Мне случалось видеть в гостиных, как, не обращая внимания на строгие взгляды и глухо шумящий женский ропот негодования, с поднятой головой она бодро шла мимо всех прямо не к последнему месту, на которое садилась, ну, право, как бы королева на трон. Много в этом случае помогали ей необыкновенная смелость (ныне ее назвал бы я наглостию) и высокое светское образование.

Она еще девочкой получила его в Вене, у родственницы своей, известной графини Розалии Ржевуской, дочери той самой княгини Любомирской, которая во время революции погибла на эшафоте за беспредельную любовь свою к Франции. Салон этой Розалии некогда слыл первым в Европе по уму, любезности и просвещению его посетителей. Нашей Каролине захотелось нечто подобное завести в Одессе, и ей несколько удалось. Пален [Ф. П.] и Потоцкий часто бывали то на утренних, то на вечерних ее беседах и веселостию ума оживляли на них разговор; Витта считать нечего, он имел собственный дом, а проводил тут дни и ночи; Ланжерона строгая жена не пускала к ней. Вообще из мужского общества собирала она у себя все

---

<sup>169</sup> П. С. Пущин — член Союза благоденствия, по отзывам знавших его — человек честный, умный, прекрасный, хоть и был оставлен по делу о заговоре декабристов без наказания, но испугался так сильно, что в 1826 г. сделал самый злостный и самый глупый донос на Пушкина, соседом которого он был по Псковской губернии.

отборное, прибавляя к тому много забавного, потешного, между прочим, одну г-жу Кирико и одного г. Спада, о которых говорится будет после. Из Вознесенска, из военных поселений приезжали к ней на поклонение жены генералов и полковников, мужья их были перед ней на коленях. Несмотря на свои аристократические претензии, она высватала меньшую сестру свою за одного весьма богатого, любезного и образованного негоцианта Ивана Ризнича <sup>170</sup>, который в угождение ей давал пышные обеды, что и составляло ей другой дом, где она принимала свое общество. Такое существование было довольно приятно и совсем не уединенно, и она тешилась мыслию, что позорный ее триумф производит зависть в женщинах, верных своему долгу.

Имея от Витта обещание жениться на ней, она заблаговременно хотела пользоваться правами супруги; он же просил о разводе с законной женой, которая тому противилась, и с ее же согласия тайно старался длить тяжбу по этому делу. У Собаньской было много ума, ловкости, хитрости женской и, по-видимому, самый верный расчет; но был ли б ней рассудок? Вся жизнь ее прежде и после доказывала противное. Блестящая сторона ее поразила мой ум, но отнюдь не проникла в сердце; а как к удивлению, которое производят в нас женщины, всегда примешивается несколько нежности, то и сочтено это страстию; дамы жалели обо мне, а я внутренне тем забавлялся. Я так много распространился об этой женщине, во-первых, потому, что она была существо особого рода, и потому еще, что в доме ее находил большую отраду. Из благодарности питал я даже к ней нечто похожее на уважение; но когда несколько лет спустя узнал я, что Витт употреблял ее и серьезным образом, что она служила секретарем сему в речах столь умному, но безграмотному человеку и писала тайные его доносы, что потом из барышей и поступила она в число жандармских агентов, то почувствовал неборимое от нее отвращение. О недоказанных преступлениях, в которых ее подозревали, не буду и говорить. Сколько мерзостей скрывалось под щеголеватыми ее формами! <sup>171</sup>

Самый младший из шести братьев Сушковых, Москве и разным губерниям известный смелостию своих поступков, которые нередко имели для них весьма неприятные последствия, Николай Васильевич, принялся было сперва за поэзию и довольно успешно, но вскоре потом бросил ее, чтобы заняться службой. Весьма молодым человеком был он советником таврической казенной палаты и сильно поссорился с вице-губернатором Курутой. Он очень полюбился Воронцову, который в этом деле весьма несправедливо держал его сторону, за что, кажется, был он преследуем министерством финансов. Гораздо после отъезда моего из Кишинева, по представлению покровительствующего ему Воронцова, назначен был он членом бессарабского Верховного совета. Варлам в то время гостил у слепого отца. Причину раздора его с Сушковым была г-жа Фурман, равно к обоим приветливая; подробности же неприятных между ими встреч мне неизвестны. Раз где-то, не умея отвечать на колкости Сушкова, глупый, вздорный и вместе с тем довольно трусливый Варлам в запальчивости при всех дал ему пощечину и потом ну бежать, оставив шляпу и шинель. Тем не должно было кончиться; на следующее утро

---

<sup>170</sup> Первая его жена, знаменитая Амалия Ризнич, в которую был влюблен и которую воспел Пушкин, умерла в 1825 году.

<sup>171</sup> Графиня Каролина (Розалия) Адамовна Собаньская, рожд. Ржевуская (1794—1885), красавица и умница, воспетая Мицкевичем, который был в нее безумно влюблен. Вместе с ним бывал у Собаньской и Пушкин, который в ее альбоме и, как полагают, для нее написал свое прелестное и нежнее стихотворение «Что в имени тебе моем». Любовь Мицкевича увенчалась успехом, но Собаньская, легко менявшая своих поклонников и мужей, скоро оставила его, а поэт, разочаровавшись в ней, выразил ей свое презрение в язвительном стихотворении «Прощание». По утверждению биографов Мицкевича, Собаньская была самою красивою из всех живших в Одессе полек, а в числе их была знаменитая Ольга Потоцкая-Нарышкина; безмерно веселая, любительница изящных искусств, прекрасная пианистка, она была душою общества, к которому принадлежала. Оставив своего мужа ради гр. И. О. Витта (брата О. Нарышкиной и С. Киселевой), она всюду следовала за ним и в конце концов вышла за него замуж. Николай I опасался ее вредного политического влияния на поляков, когда Витт был назначен военным губернатором в Варшаву, и требовал высылки Собаньской оттуда. Николай не хотел даже назначать Витта на более высокий административный пост в Польше из-за Собаньской, так как она, по словам царя, «самая большая и ловкая интриганка и полька, которая под личиною любезности и ловкости всякого уловит в сети». В 1836 г. Витт бросил Собаньскую, которая искала защиты у русских вельмож, но скоро утешилась, выйдя замуж за Х. Чиркоанча — адъютанта гр. Витта. В 1850 г. Собаньская жила в Париже, где у нее снова бывал Мицкевич, а затем, когда ей было лет под шестьдесят, вышла замуж за французского писателя и поэта П. Лакруа. Сестра ее Эвелина, бывшая в первом браке за Ганским, имела длительный роман с знаменитым писателем Бальзаком, который после женился на ней.

вооруженные враги выехали за город в условленное место, но самим Варламом предупрежденная полиция была в засаде и не допустила их до драки; начальство же вскоре под предлогом комиссии разослало их в противоположные стороны. Дело было серьезное, оно сделалось национальным. Молодежь молдаванская с самодовольствием твердила: вот как наши бьют русских! Торжество, однако, не было на стороне Варлама; никто из русских, особенно из военных его сослуживцев, не хотел ни говорить с ним, ни глядеть на него; Воронцов из Англии велел написать к нему, чтобы он искал другого начальника, а что с таким пятном он при нем остаться не может. Приведенный в отчаяние, он тайно согласился наконец на возобновление поединка. Между тем все казалось забытым, как вдруг узнали, что Сушков, проезжая чрез Тирасполь, в нем остановился, что господа сии стрелялись в поле и что Варлам пал от руки своего противника. Кажется, и тут ожидал он помощи; она опоздала, однако успела схватить виновного на месте преступления. Несколько месяцев содержался он в тираспольской крепости, был судим, осужден, прощен, и время заключения его сочтено ему за наказание. Потом отправился он опять на север и довольно счастливо продолжал там службу.

Жаль мне, что я обещал читателей моих познакомить с двумя курьезными созданиями, Кирико и Спада; но как быть, надо выполнить данное слово. Находившийся долго в Бухаресте генеральным консулом действительный статский советник Лука Григорьевич Кирико, армяно-католик, был просто человек необразованный и корыстолюбивый. Жена же его, смолоду красотка, всегда в обществе изумляла его совершенным неведением приличий, какою-то простодушною, детски-откровенною неблагопристойностию в речах и действиях. Она мыслила вслух, никогда не смеялась, зато всех морила со смеху своими рассказами. Худенькая, живая, огненная, беда, бывало, если кто ее раздражит; несмотря на то, мистификациям с ней конца не было. Из анекдотов об ней составила бы книжица, но кто бы взялся ее написать и какая цензура пропустила бы ее? Я позволю себе привести здесь два или три примера ее наивного бесчинства. Описывая счастливую жизнь, которую вела она среди валахских бояр, говорила она мне, как и многим другим: «Все они были от меня без памяти, а как эти люди не умеют изъясняться в любви иначе как подарками, то и засыпали меня жемчугом, алмазами, шальями. Как же мне было не чувствовать к ним благодарности? Иным скрепя сердце оказывала ее; с другими же, которые мне более нравились, признаюсь, предавалась ей с восторгом». Раз поутру у Собаньской сидели мы с Паленом; вдруг входит мадам Кирико, объявляет, что намерена провести тут целый день и для того привезла с собою рукоделье. Живость разговора не позволила сперва заметить, в чем оно состояло; когда же Собаньская на столе увидела малиновое бархатное мужское исподнее платье, то почти с ужасом вскрикнула: что это такое, моя милая? «Да так, — отвечала она, — вы знаете, какой мерзкой скряга у меня муж; с трудом могла у него выпросить эту вещь; хочу ее здесь распороть и выкроить из нее шпинцеры для дочерей». С трудом могли ее уверить, что это уже слишком бесцеремонно. Из этого можно посудить о прочих поступках сей нарядной, даже превосходительной шутихи, которая, впрочем, кое-как выучилась по-французски и давала у себя иногда вечера. Две миленькие скромные дочки ее, Констанция и Валерия, перестали уже краснеть от ее слов, а показывали вид, будто их не слышат. Вообще служила она публичным увеселением, но Собаньская как-то особенно умела ею овладеть.

Тот, которого ставили ей в пару, был совсем иных свойств, чопорный, осторожный, размеряющий слова свои. Португальский жидок Спада мальчиком привезен был во Францию, крещен и воспитан у капуцинов, которые и постригли его монахом своего ордена. Во время революции все монастыри были уничтожены, и он явился в Россию светским человеком и эмигрантом. Он одарен был большою памятью, знал числа всех важных происшествий в мире, имена всех владетельных государей в Европе, предков их и родословную их фамилий; знал также наизусть множество стихов из французских классических сочинений. Хронологические таблицы не суть еще история, и вытверженные стихи не доказывают еще больших познаний в литературе, но и в тогдешнее время, и особенно в тогдешнем большом свете, все это принято за ученость. Ему посчастливилось; за высокую цену в знатных домах находился он то

домашним секретарем, то чтецом, то библиотекарем, а более всего собеседником. Долее всего оставался он у князя Белосельского, которого дурные французские стихи он переписывал и выслушивал их с подобострастием. Разделяя мнения петербургского аристократического общества, как все челядинцы домов, его составляющих, смотрел он с презрением на просвещенных, независимых и даже богатых людей, к тому кругу не принадлежащих. По мере как науки и истинное просвещение начали проникать и в высший круг, ценность Спады, хотя и не плата ему, стала ниспадать. Под конец находился он при графе Кочубее, не знаю в каком качестве, и отправился с ним в Крым и в Одессу. Кажется, наконец, надоел он всему семейству, ибо нашли средство благотворным образом освободиться от него. Для него создали в Одессе место цензора иностранной литературы, с довольно хорошим содержанием. Тут все-таки мог он подышать аристократическом воздухом: было довольно графов и князей с европейским образованием. Он не чуждался также иностранных негоциантов, только самых богатых. Право дурачить его признавал он единственно в людях и женщинах, им знатными признаваемых, и некоторые из них пользовались им бесчеловечно. Малого роста, худенький, стянутый, всегда опрятно одетый фертик, он мог бы казаться молодым, если б глубокие морщины на лице и лысина во все пространство головы не обнаруживали его лет; к тому же и дыхание его было не весьма свежее. А он был чрезвычайно влюбчив и между тем по этой части довольно хвастлив. Мне случилось подслушать, как он Собаньской рассказывал сцену свою с графиней Кочубей. Увлеченный неодолимою страстию, один раз он пал к ее ногам, когда никого не было в комнате; вдруг отворяется дверь, входит сам Кочубей, останавливается, с хладнокровием государственного человека говорит: «Меня это не удивляет, я давно того ожидал» — и выходит вон. «Что ты сделал, — воскликнула графиня, — удались, несчастный, ты нас обоих губишь». Если это была и правда, то уже наверно наперед приготовленная фарса. Его взяла с собой Воронцова, когда верст за сорок вместе с Ольгой Нарышкиной и Киселевой, сестрой ее, она поехала навстречу мужу; его посадили в особую двухместную карету с весьма некрасивой горничною Ольги. По прибытии на место свидания, в ожидании, остановились они в довольно тесном помещении, куда горничная часто входила с видом смущенным, даже отчаянным. Ее спросили о причине ее горя, а она, указывая на Спаду, сказала: «Зачем вы меня сгубили, зачем так долго оставили наедине вот с этим известным соблазнителем?» С ним приняли вид грозный, укоризненный и стали называть человеком, во зло употребляющим доверенность своих знакомых, Тщетно клялся он и божился, почти плакал, уверяя, что во всю дорогу даже не глядел на нее. «Нет, нет, — отвечали ему, — она шляхтянка, следовательно, дворянка, и вас будут уметь заставить загладить ваш проступок и женитьбой возратить честь вашей жертве». Несчастный вопил, что эта мерзавка, конечно, влюбилась в него, к тому же хочет сделать выгодную партию. Несколько дней потом трепетал он при мысли сего совсем не аристократического союза.

Ольга Нарышкина, безжалостная, бессердечная, как все Потоцкие, поступала с ним иногда хуже. Прогуливаясь пешком, она по-приятельски заходила навестить его в опрятной, с некоторым кокетством убранной его квартирке. Желая будто ближе посмотреть на картинки, в ней развешанные, она с грязными ногами лазила на канапэ, на кресла и как бы не нарочно раздирала материи, их покрывающие.

Забавные сии два существа, Кирико и Спада, ненавидели друг друга. Он с ужасом смотрел на нее, как на дикую женщину, она же видела в нем подлого шута, а Собаньская старалась приглашать их в одно время. Благодаря Палену, находился я в самом веселом расположении духа, и оттого сии карикатурные лица доставляли мне иногда минуты блаженства; во дни скорби я уверен, что без отвращения не мог бы я смотреть на них.

Из двух дам, о коих говорил я, описывая первое пребывание мое в Одессе, упомянул я лишь об одной, об Ольге Нарышкиной, о графине же Эделинг не сказал ни слова. Ту и другую встречал я только на вечерах у Пущиной. Последняя из братолюбия почитала обязанностью на меня коситься и мало со мною говорить. Александр Стурдза продолжал ото всей души ненавидеть меня за бессарабские дела.



Что касается до мужа Ольги, Льва Нарышкина, то он вел самую странную жизнь, то есть скучал ею, никуда не ездил и две трети дня проводил во сне. Она также мало показывалась, но, дабы не отстать от привычки властвовать над властями, в ожидании Воронцова, задумала пленить Палена и, к несчастью, в том успела. Из любви и уважения к нему никто не позволял себе говорить о сем маленьком его сумасбродстве.

Владычество Ольги над Паленом не простиралось так далеко, чтобы поссорить его со мною, Я продолжал пользоваться правом один сидеть с ним в ложе. Никогда еще не видали в Одессе столь славной итальянской труппы, как в это время, и никогда после подобной ей не бывало. Примадонна Амати была хороша, очень хороша, да и только. Двадцатилетняя же Морикони была чудесна, очаровательна и красотой лица, и стройностью тела, и искусством играть и петь, а паче всего голосом контральто, который, я уверен, с трудом бы найти и в самой Италии. Мужественная красота Дезиро совершенно отвечала его голосу, густому басу, вместе с тем нежному и гибкому. Тенора Молиелли я только слушал, а не глядел на него; как можно было сочетать столь прелестный голос с таким гадким лицом, несносной игрой и подлой фигурой! Все, что было для подставки, — было также весьма не худо. Россини был тогда во всем своем могуществе, соперников у него не было и, казалось, никогда не будет: оперы его, переведенные на все языки, игрались на всех театрах; в Одессе других тогда знать не хотели. Из бесчисленного их множества я назову только те, кои более других меня восхищали: Семирамиду, Танкреда, Отелло. После жестоких нервных страданий в 1826 году, в продолжение лета 1827 брал я в Керчи ванны из морской воды; тем много успокоились мои бедные нервы, и оставшееся в них легкое раздражение умножало только мои музыкальные наслаждения. Можно посудить, какие удовольствия доставлял мне тогда одесский театр.

Шумных удовольствий не было, и потому новый, 1828 год начался весьма тихо, может быть, приятно для тех, кои встретили его в кругу семейств своих и друзей; я же всю эту ночь провел в глубоком сне. Одна Ольга Нарышкина умела начать его забавным образом. Она созвала к себе на вечер все общество свое, составленное из людей ей поклоняющихся или ее забавляющих. Все были костюмированы и замаскированы, и, между прочим, бедную Казначееву, толстую и кривобокою, нарядила она тирольским мальчиком. Муж, по обыкновению своему, в десять часов залег спать; но по условию между им и женою в полночь вся гурьба с шумом вошла в его спальню и заставила его встать с постели. Будто раздосадованный, будто спросонья, будто никого не узнавая, принялся он всех бранить; более всех досталось Казначеевой... На другой день рассказы об этой проделке занимали весь город.

Мог ли я ожидать, что эта знаменитая Ольга будет причиною поспешного моего отъезда из Одессы? Разговаривая с Паленом, раз заметил я ему, что ничего не нахожу в ней особенно привлекательного. «Это оттого, сказал он с жаром, — что она не удостоивает вас своего внимания: займись она вами полчаса — и вы бы были у ног ее». Мне бы следовало замолчать, а я спросил: «Да полно, вы не влюблены в нее, граф?» — «Оно, может быть, и так, — отвечал он, — но только слишком нескромно спрашивать меня о том». Он повернулся ко мне спиной и вдруг охладел ко мне. В целой Одессе я один не знал о его слабости; ибо никто мне о том не говорил и я их вместе не видел. Это было в первой половине января.

Дня через два после этой пустой размолвки пошел я к Палену, зная его благородство и скромность и не опасаясь никакой неприятной встречи. Он встретил меня если не дружески, то вежливо, а я объявил ему, что, согласно его совету, скоро намерен ехать в Керчь. Вместе с тем вручил ему просьбу об увольнении, прося его убедительно представить ее по усмотрению, так, чтобы мог я удалиться сколько-нибудь выгодным образом. Он обещался сделать все, что может, и мы расстались как нельзя лучше.

Выучившись сам, наконец, лечить глаза свои и в запасе имея некоторые нужные лекарства, я не призывал на помощь врача: терпение, диета и употребляемые мною средства скоро помогли; все-таки, однако, целую неделю должен был я выдержать карантин [в Николаеве]. Раза два навестил меня Федоров, а об адмирале Грейге [начальник черноморского флота] не было ни слуху ни духу: всякий англичанин более или менее почитал себя лордом.

Несмотря на то, будучи с ним знаком, я не хотел оставить Николаев, не явившись к нему, и 26 [января 1828 г.] поутру отправился с моим почтением на дрожках моей хозяйки. У подъезда встретил меня слуга, который сказал, что адмирал на той половине, и пошел провожать меня туда. Та половина была на дворе длинная пристройка к главному корпусу строения. По входе в переднюю слуга сказал мне, что я могу идти без доклада. Не знаю, или часы шли у меня неверно, или в приморских городах обедали тогда гораздо ранее даже, чем в губернских, только в первой комнате нашел уже я накрытый стол, а в другой даму и с полдюжины мужчин, все моряков. Замешательство Грейга было едва ли не сильнее того, которое я в себе почувствовал. Нахмурясь угрюмо, не сказав мне ни слова, он обратился к даме и сквозь зубы назвал меня по фамильному имени. «Ах, Боже мой! Ах, как я рада! Как много наслышана об вас, как давно хотела с вами познакомиться, и наконец нечаянный случай, кажется, хочет нас сблизить». Вот восклицания дамы, на которые едва успевал я отвечать поклонами. Надобно объяснить причины таких странностей.

В Новороссийском краю все знали, что у Грейга есть любовница-жидовка и что мало-помалу, одна за другой, все жены служащих в черноморском флоте начали к ней ездить как бы к законной супруге адмирала. Проезжим она не показывалась, особенно пряталась от Воронцова и людей его окружающих, только не по доброй воле, а по требованию Грейга. Любопытство насчет этой таинственной женщины было возбуждено до крайности, и оттого узнали в подробности все происшествия ее прежней жизни. Так же, как Потоцкая, была она сначала служанкой в жидовской корчме под именем Лии или под простым названием Лейки. Она была красива, ловка и умением нравиться наживала деньги. Когда прелести стали удаляться и доставляемые ими доходы уменьшаться, имела она уже порядочный капитал, с которым и нашла себе жениха, прежних польских войск капитана Кульчинского. Надобно было переменить веру; с принятием св. крещения к прежнему имени Лия прибавила она только литеру «ю» и сделалась Юлией Михайловной. Через несколько времени, следуя польскому обычаю, она развелась с ним и под предлогом продажи какого-то строевого корабельного леса приехала в Николаев. Ни с кем, кроме главного начальника, не хотела она иметь дела, добилась до свидания с ним, потом до другого и до третьего. Как все люди с чрезмерным самолюбием, которые страшатся неудач, в любовных делах Грейг был ужасно застенчив; она на две трети сократила ему путь к успеху. Ей отменно хотелось выказать свое торжество; из угождения же гордому адмиралу, который стыдился своей слабости, жила она сначала уединенно и ради скуки принимала у себя мелких чиновниц; но скоро весь город или, лучше сказать, весь флот пожелал с нею познакомиться. Она мастерски вела свое дело, не давала чувствовать оков, ею наложенных, и осторожно шла к цели своей, законному браку. Говорили даже, что он совершился и что у ней есть двое детей; тогда не понимаю, зачем было так долго скрывать его.

Оправдываясь в неумышленной нескромности, я слагал вину на слугу, а Юлия Михайловна сказала, что не бранить его, а благодарить должна. Сам же Алексей Самойлович, видя мое учтивое, приветливое, хотя свободное с нею обхождение, начал улыбаться и заставил у себя обедать. В ее наружности ничего не было еврейского; кокетством и смелостию она скорее походила на мелкопоместных польских паней, так же, как они, не знала иностранных языков, а с польским выговором хорошо и умно выражалась по-русски. За столом сидел я между нею и адмиралом. Неожиданно с сим последним зашел у нас разговор довольно серьезный. Речь коснулась до завоевательницы и создательницы Новороссийского края [Екатерины].

На другой день, 27-го, помаленьку я начал собираться в дорогу, когда явился ко мне курьер с приглашением Алексея Самойловича и Юлии Михайловны пожаловать к ним на вечер, бал и маскарад 28 числа. Мне следовало бы отказаться, во-первых, потому, что это был день кончины отца моего, во-вторых, что я два лишних дня должен был потерять в пути; но мне не хотелось невниманием платить за учтивость, да и любопытство увидеть николаевское общество во всем его блеске взяло верх над долгом. Дней за десять перед тем видел я одесское, но не мог судить о великой разнице между ними, не будучи ни с кем знаком. Мужчины несколько пожилые и степенные, равно как и барыни их, сидели чинно в молчании; барышни

же и офицерики плясали без памяти. Масок не было, а только две или три костюмированные кадрили. Женщины были все одеты очень хорошо и прилично по моде, и госпожа Юлия уверяла меня, что она всех выучила одеваться, а что до нее они казались уродами. Сама она, нарядившись будто магдебургской мещанкой, выступила сначала под покрывалом; ее вел под руку адъютант адмирала Вавилов, также одетый немецким ремесленником, который очень забавно передражничал их и коверкал русский язык. На лице Грейга не было видно ни удовольствия, ни скуки, и он прехладнокровно расхаживал, мало с кем вступая в разговоры. Сильно возбудил во мне удивление своим присутствием один человек в капucinском платье; он был не наряженный, а настоящий капуцин с бородой, отец Мартин, католический капеллан черноморского флота, который, как мне сказывали после, тайно венчал Грейга с Юлией. Оттого при всех случаях старалась она выставить его живым доказательством ее христианства и законности ее брака; только странно было видеть монаха на бале. Мне было довольно весело, смотря на большую часть веселящихся, которые казались совершенно счастливыми.

Наконец, 29-го поутру, вырвался я из Николаева. Скоро приехал я в Херсон и на этот раз хотел непременно его осмотреть. Войдя в собор, мне хотелось увидеть место, где положено было тело князя Потемкина; но мне отвечали, что никто о том не знает. Уверяют, что, когда по приказанию Павла Первого должно было вынуть останки основателя Херсона, тайно вырыт был труп протопопа и вместо Потемкина похоронен где-то в поле.

В марте получил я наконец и письмо от графа Воронцова, собственноручное, длинное, ласковое, в ответ на давно мною к нему писанное. Вот что, между прочим, говорит он в нем: «Вы хотите меня оставить, и я должен исполнить ваше желание; а если бы вы знали, сколько копий принужден я был ломать за вас с одним здесь весьма сильным человеком». Этот сильный человек не мог быть иной, как Нессельроде. Насчет же обеспечения существования моего после отставки выражался очень неясно.

Приятным образом изумило меня и вместе с тем несколько смутило назначение статс-секретаря Блудова в должность главноуправляющего духовными делами иностранных исповеданий, с оставлением его товарищем министра просвещения. Ливен был протестант, и самый усердный, а только православный мог заведовать делами иноверцев, дабы не давать предпочтения одной религии перед другой. Для того эта часть, в виде особого министерства, опять отделена была от народного просвещения, как было то сначала при Голицыне. Но зачем было при этом случае не произвести Блудова в тайные советники? Это и сделано несколькими месяцами позже. Когда где-нибудь установится какой-нибудь порядок и несколько поколений привыкнут к нему, и то зачем без всякой нужды нарушать его? Все увидели в том совершенное изменение всего существовавшего со времен Петра Великого: разрыв чинов с местами. И мало ли что после увидели!<sup>172</sup>

Кажется, давно ли оставил я Одессу, а как много из зимних моих знакомых не нашел я в ней! Ланжерон как-то приплелся к армии, где и без него было так много главных начальников и полных генералов. Пален отправился на председательство в Бухарест и имел неосторожность правителем дел взять с собою алчного земляка Брунова, в чем после много должен был раскаиваться. Перед отъездом сделал он другой промах: пал к ногам Ольги Нарышкиной, умоляя ее развестись с мужем и выйти за него; она расхохоталась и указала ему двери, Собаньская старалась казаться веселою, любезною. Вот все, что на этот раз могу сказать я об Одессе, в которой сам не знаю зачем, без всякой для себя пользы, прожил я две недели.

Я прибыл благополучно в Москву 14 июня, часу в десятом утра. Была причина, остановившая меня тогда в Москве.

---

<sup>172</sup> Одна московская дама спросила у одного английского путешественника, какой чин имеет Питт? Тот никак не умел отвечать ей на это. Тогда русское генеральство ездило цугом, а штаб-офицеры четверней. «Ну, сколько лошадей запрягает он в карету?» — спросила она. «Обыкновенно ездит парой», — отвечал он. «Ну, хороша же великая держава, у которой первый министр только что капитан», — заметила она. Многие и поныне готовы еще так думать. — *Авт.*

Мне повторяли врачи и в Петербурге и на юге, что мне необходимо пользоваться мариенбадскими минеральными водами, и для того посылали за границу; а с чем бы я туда отправился? Старый и знаменитый Лодер с помощью молодого доктора Енихена завел первые в России искусственные минеральные воды. Они только что были открыты над Москвой-рекой, близ Крымского брода, в переулке, в обширном доме с двумя вновь пристроенными галереями и садом. Как же мне было не воспользоваться сим случаем? Всякий день рано поутру ходил я пешком со Старой Конюшенной на Остоженку. Движение, благорастворенный утренний воздух, гремущая музыка и веселые толпы гуляющих больных (из коих на две трети было здоровых), разгоняя мрачные мысли, нравственно врачевали меня не менее чем мариенбадская вода, коей я упивался. Знакомств, разговоров я избегал и довольствовался беседой любезного старика Кристина, который почти всегда бывал здоров, а тут лечился, кажется, от неизлечимой болезни, от старости. Новизна, мода обыкновенно влекут праздное московское общество, как сильное движение воздуха все гонит его к одному предмету. Потому-то сие новое заведение сделалось одним из его увеселительных мест.

Было еще и другое, куда также отправлялся я по воскресным дням. Место за тремя горами, принадлежавшее графу Толстому, прозванное Трехгорным, было им передано зятю его, новому министру внутренних дел Закревскому, который приказал открыть его для публики. Слово загородный дом состарелось для москвичей, его начало заменять слово дача. Вот, кажется, отчего дача Закревского, во что переименовали Трехгорное, как бы волшебством всех привлекала. Все другие гульбища брошены, опустели. Новый владелец действительно хорошо изукрасил сие место. От больших ворот шла прямая, широкая и длинная аллея для экипажей, с двумя боковыми узкими для пешеходцев, до главного дома над самой рекой. С обеих сторон сих аллей было по три острова, четверугольных, равной величины, разделенных между собою вновь прокопанными канавами, наполненными тогда еще чистой, проточной водой и соединенными деревянными мостиками. Каждый из сих островов был посвящен памяти одного из героев, под начальством которых Закревской находился: Каменского, Барклая, Волконского и других. На каждом посреди густоты деревьев находился или храмик, или памятник сказанным воинам: необыкновенная, нового рода правильность, напоминающая нечто фрунтовое. Самая чистота, в которой все это было содержано, как бы заимствована была у аракчеевских военных поселений. Недолго сия дача была в славе у москвичей. Она продана и ныне под названием уже Студенец принадлежит обществу садоводства, которое мало заботится о порядке и чистоте. А как место низкое, сырое и болотистое, то оно и находится в отвратительном запущении.

Московский английский клуб есть место прелюбопытное для наблюдателя. Он есть представитель большей части московского общества, вкратце верное его изображение, его эссенция. Записные игроки суть корень клуба: они дают пищу его существованию, прочие же члены служат только для его красоты, для его блеска. Почти все они люди достаточные, старые или молодые помещики, живущие в независимости, в беспечности, в бездействии; они не терпят никакого стеснения, не умеют ни к чему себя приневолить, даже к соблюдению самых простых, обыкновенных правил общежития. Член московского английского клуба! О, это существо совсем особого рода, не имеющее подобного ни в России, ни в других землях. Главною, отличительною чертою его характера есть уверенность в своем всеведении. Он с важностью будет рассуждать о предметах вовсе ему чуждых, незнакомых, без опасения выказать все свое невежество. Он горячо станет спорить с врачом о медицине, с артистом о музыке, живописи, ваянии, с ученым о науке, которую тот преподает, и так далее. Я почитаю это не столько следствием невежества, как весьма необдуманного самолюбия. Выслушав вас не совсем терпеливо, согласиться с вами значило бы в чем-нибудь да признать перед собою ваше превосходство. Эти оспаривания сопровождались всегда не весьма вежливыми выражениями. «Нет, воля ваша, это неправда, это быть не может, ну кто этому поверит?» — так говорилось с людьми мало знакомыми, а с короткими: «Ну полно, братец, все врешь; скажи просто, что солгал». Удивительно, как все это обходилось миролюбиво, без всякой взаимной досады. Не нравилось мне, что эти господа трунят друг над другом; пусть бы насчет преклон-

ности лет, а то насчет наружных, телесных недостатков и недостатков фортуны; это казалось мне уже бесчеловечно. Не доказывается ли тем, что наше общество было еще в детстве? Дети всегда безжалостны, ибо не испытали еще сильной боли; мальчики в кадетских корпусах, в пансионах точно так же обходятся между собою. Хотя я не достиг тогда старости, хотя не был еще и близок к ней, мне не нравилось также совершенное равенство, которое царствовало в клубе между стариками и молодыми.

Вестовщики, едуны составляли замечательнейшую, интереснейшую часть клубногословия. Первые ежедневно угощали самыми неправдоподобными известиями, и им верили, их слушали, тогда как истина, все дельное, рассудительное отвергалось с презрением. Последние были законодателями вкуса в отношении к кушанью и были весьма полезны: образованные ими преемники их превзошли, и стол в английском клубе до днесь остался отличным. Что касается до прочих, то, право, лучше бы было их не слушать. Что за нелепости, что за сплетни! Шумим, братец, шумим, как сказано в комедии Грибоедова. Некоторые берутся толковать о делах политики, и им весьма удобно почерпать об ней сведения: в газетной комнате лежат на столе все дозволенные газеты и журналы, русские и иностранные; в нее не часто заглядывают, а когда кому вздумается присесть да почитать, то обыкновенно военные приказы о производстве или объявления о продаже просроченных имений. Был один такой барин-чудак, который в ведомостях искал одни объявления об отдаче в услуги, то есть о продаже крепостных девок, как за ним подметил один любопытствующий. Самый оппозиционный дух, который тут находим, совсем не опасен для правительства: он, как и все прочее, не что иное, как совершенный вздор.

Да не подумают, однако же, что в клубе не было ни одного человека с примечательным умом. Напротив, их было довольно, но они посещали его реже и говорили мало. Обыкновенно их можно было находить в газетной комнате; я назову пока одного Ив. Ив. Дмитриева, не раз мною упомянутого, и похваляюсь тем, что со мною бывал он многоречив. Его холодная, важная наружность придавала еще более цены его шутовству и остроумию. Кто бы мог ожидать? Как афинские мужики Аристида, хотели было исключить его из общества, право, не помню за что; но вдруг опомнились и выбрали его почетным членом. Но он с тех пор, кажется, не являлся к ним.

Меня взяло раздумье. Время шло для меня быстро, незаметно, среди рассеянной жизни, от которой я начинал уже уставать. Кончился 1828 год, начался 1829-й, и наступил уже Великий пост. Я жил почти даром, издержек у меня было мало, исключая экипажа, что обходилось тогда довольно дешево, и, по моим расчетам, я мог бы продлить мое пребывание в Москве до осени. А там... подымался передо мной ужасный призрак Пензы. Мысль об обманутых надеждах моей матери также меня мучила.

Тут вспомнил я лестные предложения Закревского, когда он еще не был министром, и решился писать к нему. По слухам, нижегородского гражданского губернатора, Ивана Семеновича Храповицкого, с тем же званием переводили в Петербург, и я стал проситься на его место. Я недолго дожидаясь ответа: министр в самых любезных выражениях предлагал мне приехать в Петербург, ибо по заочности будто бы нельзя было ничего сделать. Сестра присоветовала мне воспользоваться случаем, и я, не задумавшись, ни с кем не простясь, 23 марта отправился опять искать счастья.

Странное дело! В который раз Петербург встречал меня неудачами?

На другой день по приезде поспешил я в мундире к Закревскому и был им тотчас ласково принят, но с первого слова получил от него отказ. В Нижнем Новгороде, по словам его, должен быть губернатором богатый человек, ибо нигде для этого места не требуется более представительности. К тому, прибавил он, сам государь на сие место выбрал Бибикова.

«Да разве нет других губерний в России? — сказал он мне, — вот-таки теперь открывается вакансия в Екатеринославе». — «Я бы не желал, — отвечал я, — возвращаться в Новороссийский край» — «Понимаю, — сказал он, — вы не поладили с Воронцовым; ну, что за беда, не бойтесь, мы вас отсюда не выдадим». Это меня изумило: по последним словам Воронцова в Одессе, я почитал их в теснейшей связи. Я объяснил ему, что мне желательнее начальствовать там, где нет генерал-губернатора, и находиться под непосредственным, ми-

лостивым его начальством и покровительством. Это ему полюбилось, и он сказал: «Хорошо, да только в таком случае надобно будет немного подождать. А покамест вы у меня навевдываетесь, навешайте меня, только с условием, без мундира, а во фраке, как вы посещаете других знакомых ваших». Все это казалось довольно ободряющим.

Был я у Блудова, но не охотно согласился он говорить за меня Закревскому. Они оба в Валахии и за Дунаем служили некогда при графе Каменском и играли там важные роли; и хотя не было между ними несогласий, а еще менее вражды, но совершенная разность в характере и воспитании никогда не допускала их сойтись между собою.

Сделавшись товарищем Шишкова, совестливый Блудов щадил его старость, оказывал всевозможное уважение, старался заставить его забыть прежние литературные ссоры, прилежно вникал во все дела министерства, но, при случае несогласия в мнениях, всегда искусно и осторожно склонял его на свою сторону, тогда как, в силу данной ему инструкции, он ежедневно мог бы раздражать его. Впрочем, и Шишков так ослабел, что при докладывании ему бумаг почти всегда засыпал крепким сном.

Никогда почти Шишков не видал государя; а Блудов, имея много и особых поручений, нередко бывал у него с докладом.

Полгода прошло с тех пор, как я приехал в Петербург, и в нем ничто меня так не занимало, как вступление мое в службу и приспособление себя к новой должности, на которую был предназначен <sup>173</sup>. За ходом дел как в Европе, так и у нас я не следил, и, может быть, тем лучше: никогда еще в столь блестящем виде не представлялся мне мир.

Быстрые успехи по службе, коих дотоле я никогда не знавал, заставляли меня думать, что у нас все идет как нельзя лучше. Я почитал себя как бы в ковчеге, предназначенном для спасения и возрождения рода человеческого, и хотя с прискорбием, но без страха смотрел на потоп, готовившийся поглотить весь Запад.

Весь политический горизонт казался ясен, а барометр его внимательным умам уже показывал непогоду. Всегда великим народным революциям в мире предшествовали сильные перевороты в нравах, в мнениях и особенно в словесности, которая служила верным изображением.

Совсем без умысла с 1823 года я уклонился от точных сведений о том, что происходит в Европе. Мой мир заключался весь в одной Бессарабии, а потом в Керчи. Но в 1829 году, находясь более в сношениях с просвещенным миром, я с новым, особенным любопытством принялся за литературу, как иностранную, так и нашу. Каким удивлением, каким ужасом я был поражен! Те, которые не переставали следить за постепенным развитием пагубных систем, не могли того восчувствовать.

От театра я почти отвык и редко его посещал. А никогда еще на него не тратилось так много денег, никогда еще костюмы, декорации и представления балетов не были так великолепны, французская и русская труппы никогда еще не были так многочисленны. Но трагедия и высшая комедия совсем были брошены; их заменили так называемые мещанские драмы и комедии (*comédies bourgeoises*); особенно же изобиловали мелодрамы и водевили; одним словом, трогательное или умно-забавное должно было уступить место ужасному и отвратительному или непристойно-шутовскому. Это было мне не совсем по вкусу...

Уже несколько лет, как молодой Каратыгин блистал на русской сцене в трагических ролях. Природа сама сложила его для них: мужественный голос и лицо, высокий и красивый стан, все дала она ему. Но дала ли она ему способности? Если нет, то он умел приобрести их прилежным изучением своего искусства и благодаря советам умной, образованной и достаточной жены. По ее желанию, с нею ездил он в Париж и там, дивясь Тальме, как переимчивый русский, удачно старался подражать ему. Но, увы, время классицизма прошло, и он мог только изумлять нас в чудовищных ролях. Жена его тож имела много таланту в благородных ролях, только картавый выговор много вредил ей. Старшая Семенова сошла со сцены и вышла за князя Гагарина; меньшая, Нимфодора, продолжала все еще пленять в маленьких операх. Сосницкий, хотя уже весьма в зрелых летах, играл еще молодых людей в комедиях. Дюр,

<sup>173</sup> Директором департамента духовных дел иностранных исповеданий, куда Блудов устроил Вигеля.

славный буф, был еще молод, но вскоре потом умер. Воротников был уморителен, когда играл деревенских дурачков, и создал роли Филаток. Прочие были все прежние актеры; а из новых, право, назвать некого.

Переходя из одной крайности в другую, я охолодел к французскому театру: он опротивел мне, и я никогда почти его не посещал. И оттого могу только припомнить себе и говорить здесь о двух главных лицах тогдашней труппы. Я уже раз назвал Жениеса; мне случилось видеть его в обществе; это был самый несносный француз, зато на сцене достоин бы он был играть одинаковые роли с Тальмою. Мадам Виржини Бурбье, красивая собою, также создана была играть Селимен и Эльмир; но все это уже было брошено.

Только один итальянский театр меня тогда еще притягивал. Года за два перед тем поручено было меломану, знатоку в музыке и самому артисту, графу Михаилу Виельгорскому на казенный счет выписать из Италии певцов и певиц, и он сделал сие удачно и дешево. Но так как это был один только высший каприз, то первую зиму желание угождать, новизна, мода заставляли лучшее общество посещать представления опер плодovitого и разнообразного Россини, который тогда был неистощим...